А.СОЛЖЕНИЦЫН

В КРУГЕ ПЕРВОМ



YMCA-PRESS

ПАРИЖ

А.СОЛЖЕНИЦЫН

В КРУГЕ ПЕРВОМ

Роман

YMCA-PRESS
11 rue de la Montagne-Ste-Geneviève, Paris V

Обложка работы
художника Ю. П. Анненкова

YMCA - PRESS
PARIS 1969



В КРУГЕ ПЕРВОМ

Роман

А кто вы такой ?
Идея Данте
Протестантское Рождество
Хьюги-буги
Мирный быт
Женское сердце
Остановись, мгновенье !
Пятого года упряжки
Розенкрейцеры
Зачарованный замок
Семерка
И надо было солгать ! . .
Синий свет
Девушку ! Девушку !
Тройка лгунов
Насчет кипятка
Сивка-Бурка
Юбиляр
Язык — орудие производства
Верните нам казнь, Иосиф Виссарионович !
Старость
Бездна зовет назад
Церковь Никиты Мученика
Пилка дров
Работы младшины
Работа подполковника
Недоуменный робот
Как штопать носки
Взмывая к потолку
Штрафные палочки
Звуковиды
Поцелуи запрещаются
Фоноскопия
Немой набат
Изменяй мне !
Красиво сказать — в тайгу !
Свидание
Еще одно

И у молодых
Женщина мыла лестницу
Псы империализма
Замок св. Грааля
Двойник
Жизнь — не роман
Старая дева
Огонь и сено
За воскресение мертвых!
Ковчег
Хохма
Князь-предатель
Кончая двадцатый...
Арестантские мелочи
Лицейский стол
Улыбка Будды
Но и совесть дается один только раз!
Званый ужин
Два зятя
З у б р
Первыми вступали в города
Поединок не по правилам
Хождение в народ
Спиридон
Критерий Спиридона
Сжимая кулаки
Д о т т и
Булатной сабли острый клинок
Гражданские храмы
Космополит безродный
Рассвет понедельника
Бочка во дворе
Любимая профессия
Освобожденный секретарь
Два инженера
Сто сорок семь рублей
Воспитание оптимизма
Король стукачей
Насчет расстрелять
Ученик Эпикура
Не по моей специальности
У истоков науки
Нет, не тебя!..
Да оставит надежду входящий!
Хранить вечно
Второе дыхание
Утро стрелецкой казни
Прощай, шарашка!
М я с о

1

А КТО ВЫ ТАКОЙ ?

Кружевные стрелки показывали пять минут пятого.

В слепом замирающем декабрьском дне бронза этих часов на этажерке казалась совсем темной.

Незатуманенные двойные стекла высокого окна, начинавшегося от самого пола, открывали глазу где-то внизу торопливое снование улицы и дворников, сгребавших только-что выпавший, но уже отяжелевший, коричнево-грязный снег из-под ног пешеходов.

Видя все это и не видя этого всего, государственный советник второго ранга Иннокентий Володин, прислонившись к ребру оконного уступа, высвистывал что-то тонкое-долгое. Концами пальцев он перекидывал глянцевые пестрые листы иностранного журнала. Но не видел, что в нем.

Государственный советник второго ранга, что значило подполковник дипломатической службы, высокий, узкий, не в мундире, а в костюме скользящей ткани, Иннокентий Володин скорее казался состоятельным молодым бездельником, чем ответственным служащим министерства Иностранных Дел.

Пора была или зажечь в кабинете свет — но он не зажигал, или ехать домой — но он не двигался.

Пятый час означал не конец служебного дня, но — его дневной, меньшей части. Теперь все поедут домой — пообедать, поспать, а с десяти вечера снова засветятся тысячи и тысячи окон сорока пяти общесоюзных и двадцати республиканских министерств. Одному единственному человеку за дюжиной крепостных стен не спится по ночам — и он приучил всю чиновную Москву бодрствовать с ним до трех и до четырех часов ночи. Зная ночные повадки владыки, все шесть десятков министров, как школьники, бдят в ожидании вызова. Чтобы не клонило в сон, они вызывают заместителей, заместители дергают столоначальников, справкодатели на лесенках облазывают картотеки, делопроизводители мчатся по коридорам, стенографистки ломают карандаши.

И даже сегодня, в канун западного Рождества (все посольства уже два дня как стихли, замерли, не звонят, вот сейчас, наверно, садятся к елкам) — в их министерстве все равно будет ночная работа. Кто в шахматы играть, кто анекдоты рассказывать, кто спать на диване — но работа.

Нервные пальцы Володина быстро и бессмысленно перелистывали журнал, а внутри — страшок то поднимался и горячил немного, то опускался, и становилось холодновато.

Как хорошо Иннокентий запомнил с детства именно доктора Доброумова ! Тогда он не был еще таким светилом, не посылали его с делегациями за границу, не называли, кажется, и ученым, а просто доктором, и он запросто ездил с визитами. Мама часто болела и всегда старалась вызывать именно его. Она ему верила. Едва входил он и снимал в прихожей котиковую шапку — распространялись по всей квартире некое добродушие, успокоение, уверенность. Невозможно было, чтоб у постели он сидел меньше получаса. Он старательно должен был каждую жалобу выспросить, потом как бы с удовольствием осмотреть больного и подробнейше разъяснить лечение. Невозможно было, чтоб он прошел потом мимо мальчика и не задал ему вопроса — и не остановился бы выслушать ответа как от взрослого, будто всерьез ожидая чего-то умного. Доктор уже тогда был седоват — что же теперь на его голове ? . .

Иннокентий швырнул журнал и, ежась, прошелся по комнате.

Позвонить или не позвонить ?

Если бы все это касалось какого-нибудь другого профессора-медика, ему не знакомого, Иннокентий пожалуй и не подумал бы, что надо предупредить. Но именно Доброумов ! . .

Неужели есть средства дознаться, кто говорил из автомата ? Если не задерживаться, быстро уйти. Неужели узнают по телефонному сдавленному голосу ? Не может быть такой техники.

Он подошел к письменному столу. В сумерках, не читая, различил верхний лист инструкции к его новому назначению. Он должен улететь еще до Нового Года, в среду или в четверг.

Логичнее — подождать. Разумнее — подождать.

О, черт ! — ознобом повело его плечи, не привычные к тяжестям. Уж лучше б он не узнал. Не знал. Не узнал . . .

Он взял инструкцию и все другое со стола, понес в несгораемый шкаф.

Почему, собственно, можно быть против того, что обещал Доброумов? Это щедрость таланта. Талант знает, что у него всегда много, ему не жалко поделиться.

А волнение расходилось сильней и сильней. Иннокентий прислонился к несгораемому шкафу, опустил голову и отдохнул с закрытыми глазами.

И вдруг, как будто упуская последние мгновения, не позвонив за машиной в гараж, не закрыв чернильницы, Иннокентий запер дверь, отдал ключ в конце коридора дежурному, оделся, почти бегом сбежал с лестницы, в своем гражданском пальто, обгоняя постоянных здешних с золотым шитьем и позументами. И выбежал в сыроватый смеркающийся день.

От быстрых движений стало легче.

Французские полуботинки окунались в грязно-тающий снег.

Полузамкнутым двориком министерства пройдя мимо памятника Воровскому, Иннокентий поднял глаза и вздрогнул. Новый смысл представился ему в новом здании Большой Лубянки, выходящем на Фуркасовский. Эта серо-черная девятиэтажная туша была линкор, и восемнадцать пилястров как восемнадцать орудийных башен высились по правому его борту. И одинокий утлый челночек Иннокентия так и тянуло туда, через маленькую площадь, под нос тяжелого быстрого корабля.

Он увернулся, спасаясь, — направо, по Кузнецкому мосту. Впритирку к тротуару стояло, собиралось отъехать такси. Иннокентий сел, погнал его по Кузнецкому вниз, там велел вывернуть налево, под первозажженные фонари Петровки.

Он еще колебался — откуда звонить, чтоб не стучали ребром монетки в стекло. Но искать отдельную тихую будку — даже заметнее. Не лучше ли — в самом водовороте где-нибудь, только чтобы кабина была глухая, в камне ? Он еще думал, что глупо плутать и брать шофера в свидетели. Он еще рылся в кармане, ища пятнадцать копеек.

Но все это становилось уже не главное. В истекшие минуты Иннокентий внезапно успокоился: он ясно почувствовал, что другого решения нет. Опасно или не опасно, но если этого не сделать . . .

Чего-то всегда остерегаясь — остаемся ли мы людьми ?

Перед светофором в Охотном Ряду его пальцы нащупали

и вытянули сразу две пятнадцатикопеечных монеты — знак удачи!

Минули Университет — Иннокентий кивнул направо. Взлетели к Арбату, Иннокентий отдал две бумажки без сдачи и пошел по площади, стараясь умерять шаг.

Арбат был уже весь в огнях. Перед кино густо стояли в очереди на «Любовь балерины». Красная буква «М» над метро чуть скрывалась сизоватым туманцем. Женщина вроде цыганки продавала желтенькие веточки мимозы.

Только надо стараться как можно быстрей. Как можно короче сказать — и вешать трубку. И тогда опасность минимальная.

Иннокентий шел очень прямой. На него вскинула глаза спешащая мимо девушка.

И еще одна.

Среди деревянных наружных кабин была пустая, но Иннокентий пренебрег ею, прошел внутрь.

Здесь четыре, углубленные в стену, были все заняты. Но в левой кончил какой-то простоватый тип, немного пьяненький, уже вешал трубку. Сменяя его, Иннокентий быстро вошел, тщательно притянул и так держал одной рукой толстостекленную дверь, другой же рукой, подрагивающей, не стягивая замши, опустил монету и набрал номер.

После нескольких долгих гудков трубку сняли.

— Вас слушают, — сказал женский голос как бы с одолжением или с раздражением.

— Скажите, это квартира профессора Доброумова?

(Он старался изменить голос).

— Да

— Будьте любезны, попросите, пожалуйста, профессора.

— А кто его спрашивает? — голос дамы был сыт и ленив, она наверно, сидела на диване, никуда не торопилась.

— Видите... Вы меня не знаете... Это не так важно. Мне крайне необходимо. Позовите, пожалуйста, профессора!

(Много лишних слов и все из-за проклятой вежливости!)

— Но профессор не может подходить и разговаривать со всяким неизвестным человеком, — оскорбилась дама.

Тон ее был таков, что она могла сейчас повесить трубку.

За зеркальным стеклом, чуть поодаль от ряда кабин, неслись, торопились, обгоняя друг друга. Кто-то стал уже в очередь к кабине Иннокентия.

— Кто вы такой? Почему вы не можете ответить?

— Я ваш доброжелатель ! У меня важное известие для профессора !

— Ну, так что ? Почему вы боитесь назвать себя ?

(Как раз было ему время бросить трубку. Не надо иметь бестолковых жен !)

— А кто — вы ? Вы — жена его ?

— Да почему это я вам первая должна отвечать ? — — взвилась дама. — Скажите мне вы !

И сейчас бы он нажал рычаг ! Но ведь не об одном профессоре тут шло... Уже вскипая, уже не удерживаясь изменять голос или говорить тихо, Иннокентий стал возбужденно уговаривать трубку:

— Слушайте ! Слушайте ! Я должен предупредить его об опасности !

— Об опасности ? — так и осел голос дамы. Она прервалась. Но не пошла за мужем, нет. — Так тем более я его звать не могу ! А может это еще неправда ? Как вы можете доказать, что вы скажете правду ?

Под ногами Иннокентия горел пол будки, и трубка черная с тяжелой стальной цепью плавилась в руке.

— Слушайте, слушайте ! — уже отчаиваясь, вскрикнул он. — Когда профессор был в командировке в Париже, он там обещал своим французским коллегам кое-что им передать!

Ну, препарат. И на днях должен передать ! Иностранцам ! Понимаете ? Так вот этого делать не надо ! Иностранцам — ничего не передавать ! Вокруг этого затевается, может быть, целая провока...

Но — щелкнуло глухо в трубке, и наступило ватное молчание, без шорохов и гудков.

Кто-то разорвал их линию.

2

ИДЕЯ ДАНТЕ

— Новички !

— Новичков привезли !

— Откуда, товарищи ?

— Приятели, откуда ?

— А что это у вас у всех на груди, на шапке — пятна какие-то ?

— Тут наши номера были. Вот на спине еще, на колене. Когда из лагеря отправляли — спороли.

— То-есть, как — номера ? !

— Господа, позвольте, в каком веке мы живем ? На людях — номера ? Лев Григорьич, позвольте узнать, это что — прогрессивно ?

— Валентуля, не генерируйте, идите ужинать.

— Да не могу я ужинать, если где-то люди ходят с номерами на лбу !

— Апокалипсис ! Откровение Иоанна Богослова !

— Друзья ! Дают « Беломор » по 9 пачек за вторую половину декабря. Имеете шанс. На цирлах !

— Беломор — « Ява » или Беломор « Дукат » ?

— Пополам.

— Вот гады, « Дукатом » душат. Буду министру жаловаться, клянусь.

— А что за комбинезоны на вас ! Почему вы все здесь как парашютисты ?

— Форму ввели. Зажимают падлы. Раньше шерстяные костюмы выдавали, пальто драповые.

— Смотри, новички !

— Новичков привезли.

— Э ! орлы ! Что вы, живых зэков не видели ? Весь коридор загородили !

— Ба ! Кого я вижу ! Доф-Днепровский ! ? Да где же вы были, Доф ? Я вас в сорок пятом году по всей Вене, по всей Вене искал !

— А ободранные, а небритые ! Из какого лагеря, друзья ?

— Из разных. Из Речлага...

— ... из Дубровлага...

— Что-то я — девятый год сижу — таких не слышал...

— А это новые лагеря, Особ-лаги. Их создали только с прошлого, 48-го года. Была такая деректива Сталина об укреплении тыла...

— Какого тыла ? !

— У самого входа в венский Пратер меня загребли и в воронок.

— Подожди, Митенька, давай новичков послушаем...

— Нет, гулять, гулять ! На свежий воздух ! Распорядок дня — даже в дни землетрясений ! Новичков опросит Лев, не беспокойся.

— Вторая смена ! На ужин !

— Озерлаг, Луглаг, Степлаг, Песчанлаг...

— Можно подумать, что в МВД сидит какой-то большой непризнанный поэт масштаба Пушкина, на поэму не разгонится, на стихотворение не соберется, но дает поэтические названия лагерям.

— Ха-ха-ха! Смешно, господа, — в каком веке мы живем?

— Ну, тихо, Валентуля !

— Простите, как вас зовут ?

— Лев Григорьич.

— Вы сами тоже инженер ?

— Нет, я не инженер, я филолог.

— Филолог ? Здесь держат даже филологов ?

— Вы спроси́те, кого здесь не держат ? Здесь математики, физики, химики, инженеры-радисты, инженеры по телефонии, художники, переводчики, переплетчики, архитекторы, конструкторы, даже одного геолога по ошибке завезли.

— И что же он делает ?

— Ничего, в лаборатории пристроился.

— Лев ! Ты выдаешь себя за материалиста, а пичкаешь людей духовной пищей. Внимание, друзья ! Когда вас поведут в столовую, — там на последнем столе у окна мы для вас составили тарелок десятка три. Рубайте от пуза, только не лопните !

— Большое вам спасибо, но зачем вы отрываете от себя ?

— Ничего не стоит. Кто же нынче ест селедку мезенского засола и пшённую кашу ! По́шло !

— Как вы сказали ? По́шло ? Пшенная каша — по́шло ? Да я пять лет пшенной каши не видел !

— Наверно, не пшенная, наверно — магара !

— Да вы с ума сошли — магара ! Попробовали б они дать магару ! Мы б им в морду кинули !

— А как сейчас на пересылках кормят ?

— На Челябинской пересылке...

— На Челябинской-новой или на Челябинской-старой ?

— Ваш вопрос изобличает знатока. На новой.

— Что там, по-прежнему ватер-клозеты на этажах экономят, а зэки оправляются в параши и носят с третьего этажа ?

— По-прежнему.

— Вы сказали — шарашка. Что значит — шарашка ?

— А по сколько здесь хлеба дают ?..

— Кто еще не ужинал ? Вторая смена !

— Хлеба белого по четыреста грамм, а черный — на столах.

— Простите, как — на столах ?

— Ну так, на столах, нарезан, хочешь — бери, хочешь не бери.

— Да, но за это маслице и за этот «Беломор» мы горбим по двенадцать и по четырнадцать часов в сутки.

— Э-то не горбите ! Если за столом сидите, то уже не горбите ! Горбит тот, кто киркой машет.

— Черт знает, на этой шарашке сидишь, как в болоте — от всей жизни отрываешься. Вы слышали, господа ? — говорят, блатных прижали и даже на Красной Пресне уже не курочат.

— Масло сливочное профессорам по сорок грамм, инженерам по двадцать. От каждого по способности, каждому по возможности.

— Так вы работали на Днепрострое ?

— Да, я у Винтера работал. Я за этот Днепрогэс и сижу.

— То-есть, как ?

— А я, видите ли, продал его немцам.

— Днепрогэс ? Его же взорвали !

— Ну, и что ж, что взорвали ? А я взорванный им же и продал.

— Честное слово, как будто вольный ветер подул ! пересылки ! столыпины ! лагеря ! движение ! Эх, сейчас бы до Совгавани прокатиться !

— И назад, Валентуля, и — назад !

— Да ! И скорей назад, конечно !

— Вы знаете, Лев Григорьич, от этого наплыва впечатлений, от этой смены обстановки у меня кружится голова. Я прожил пятьдесят два года, я выздоравливал от смертельных болезней, я женился на хорошеньких женщинах, у меня рождались сыновья, я получал академические премии, — никогда я не был так блаженно счастлив, как сегодня ! Куда я попал? Завтра меня н е погонят в ледяную воду! Сорок грамм сливочного масла ! ! Черный хлеб — н а с т о л а х ! Не запрещают книг ! Можно самому бриться ! Надзиратели н е бьют зэков ! Что за великий день ? Что за сияющая вершина ? Может быть я умер ? Может быть, мне это снится ? Мне чудится, я — в раю ! !

— Нет, уважаемый, заговорил Рубин, вы по-прежнему в аду, но поднялись в его лучший и высший круг — в первый круг. Вы спрашиваете, что такое ш а р а ш к а ? Шарашку придумал, если хотите, Данте. Помните, — Данте разрывался — куда ему поместить античных мудрецов ? Долг христианина повелевал кинуть этих язычников в ад. Но совесть возрожденца не могла примириться с тем, чтобы светлоумных мужей смешать с прочими грешниками и обречь телесным пыткам. И Данте придумал для них в аду особое место. Позвольте... это в 4-й песне звучит примерно так:

« Высокий замок предо мной возник...
...посмотрите, какие здесь старинные своды !
...Семь раз обвитый стройными стенами...
Сквозь семь ворот тропа вовнутрь вела...
...вы на воронке въезжали, поэтому ворот не видели...
Там были люди с важностью чела,
С неторопливым и спокойным взглядом...
Их облик был ни весел, ни суров...
Я видеть мог, что некий многочестный
И высший сонм уединился там...
Скажи, кто эти, не в пример другим
Почтенные среди толпы окрестной ?..»

— Э-э, Лев Григорьевич, вы слишком поэт. Я гораздо доступнее объясню товарищу, что такое шарашка. Надо читать передовицы:

« Доказано, что высокие настриги шерсти с овец зависят от питания и от ухода ».

3

ПРОТЕСТАНТСКОЕ РОЖДЕСТВО

Елка была — сосновая веточка, воткнутая в щель табуретки. Плетеница разноцветных маловольтных лампочек, обогнув ее дважды, спускалась молочными хлорвиниловыми проводами к батарейке на полу.

Табуретка стояла в проходе между двухэтажными кроватями в углу комнаты, и один из верхних матрасов оттенял весь уголок и крохотную елку от яркости подпотолочных ламп.

Шесть человек в плотных синих комбинезонах парашютистов привстали у елки и, склонив голову, слушали, как один из них, смуглый тонколицый Макс Рихтман, читал протестантскую рождественскую молитву.

Во всей большой комнате, тесно уставленной такими же двухэтажными наваренными в ножках кроватями, больше не было никого: после ужина и часовой прогулки все ушли на вечернюю работу.

Макс окончил молитву — и шестеро сели. Пятерых из них охлынуло горько-сладкое ощущение родины — устроенной, устоявшейся страны, милой Германии, под черепичными крышами которой был так трогателен и светел этот первый в году праздник. А шестой среди них — крупный мужчина с пышной черной бородой библейского пророка, был еврей и коммунист.

Льва Рубина судьба сплела с Германией и ветвями мира и прутьями войны.

В миру он был филолог-германист, разговаривал на безупречном современном hochdeutsch, обращался при надобности к наречиям средне-, древне- и верхне-германским. Всех немцев, когда-либо подписывавших свои имена в печати, он без напряжения вспоминал как личных знакомых. О маленьких городках на Рейне он рассказывал так, как если б хаживал не раз их умытыми тенистыми улочками.

А побывал он — только в Пруссии, и то — с фронтом.

Он был майором « Отдела по разложению войск противника ». В лагерях военнопленных он выуживал тех немцев,

которые соглашались ему помогать. Он отбирал их оттуда и безбедно содержал в особой школе. Одних он перепускал через фронт с тринитротолуолом, с фальшивыми рейхсмарками, фальшивыми отпускными свидетельствами и солдатскими книжками. Они могли подрывать мосты, могли прокатиться домой и погулять, пока не поймают. С другими он говорил о Гёте и Шиллере, обсуждал подписи на листовках, а через машины - « звуковки » уговаривал воюющих братьев обернуть оружие против Гитлера. С третьими он сам переходил через фронт и силою убеждения брал укрепленные пункты, сберегая советские батальоны.

Но нельзя было убеждать немцев, не вростая в них, не полюбив их, а с дней, когда Германия была повержена — и не пожалев. За то и был Рубин посажен в тюрьму: враги по Управлению обвинили его, что он после январьского наступления агитировал против лозунга « кровь за кровь и смерть за смерть ».

Было и это, он не отрекался. Только было все неизмеримо сложней, чем можно было написать в газете или чем написано было в его обвинительном заключении.

Рядом с табуреткой, где светилась сосновая ветвь, были сплочены две тумбочки, образуя как бы стол. Стали угощаться: консервами из « Гастронома » (зекам шарашки с их лицевых счетов делали закупки в магазинах столицы), уже остывающим кофе и самодельным тортом. Завязывался степенный разговор. Макс направлял его все больше на мирные темы: на старинные народные обычаи, умильные истории рождественской ночи. Недоучившийся физик, венский студент Альфред, в очках, смешно выговаривал по-австрийски. Почти не смея вступить в беседу старших, таращил глаза на рождественские лампочки круглолицый с просвечивающими, как у поросенка, розовыми ушами юнец Густав из Гитлерюгенд (он взят был в плен через неделю после конца войны).

И все-таки разговор сорвался с дорожки. Кто-то вспомнил Рождество сорок четвертого года, пять лет назад, тогдашнее наступление в Арденнах, которым немцы единодушно гордились как античным — побежденные гнали победителей. И вспомнили, что в тот сочельник Германия слушала Геббельса.

Рубин, одной рукой теребя отструек своей жесткой черной бороды, подтвердил. Он помнит эту речь. Она удалась. Геббельс говорил с таким душевным трудом, будто волок на себе все тяготы, под которыми падала Германия. Вероятно, он уже предчувствовал свой конец.

Обер-штурм-банн-фюрер СС Райнгольд Зиммель, чей длинный корпус едва умещался между тумбочкой и сдвоенной кроватью, не оценил тонкой учтивости Рубина. Ему невыносима была даже мысль о том, что этот еврей вообще смеет судить о Геббельсе. Он никогда не унизился бы сесть с ним за один стол, если бы в силах был отказаться от рождественского вечера с соотечественниками. Но остальные немцы все непременно хотели, чтобы Рубин был. Для маленького немецкого землячества, занесенного в позолоченную клетку шарашки в сердце холодной и дикой для них страны, единственным близким и понятным здесь человеком только и был этот майор неприятельской армии, всю войну сеявший среди них раскол и развал. Только он мог растолковать им обычаи и нравы здешних людей, посоветовать, как надо поступить, или перевести с русского свежие международные новости.

Ища, как бы выразиться подосадней для Рубина, Зиммель сказал, что в Райхе вообще были сотни ораторов-фейерверкеров; интересно, почему у большевиков предпочитают согласовывать тексты заранее и читать речи по бумагам.

Упрек пришелся тем обидней, чем справедливей. Не объяснять же было врагу и убийце, как это все исторически произошло. Именно к Зиммелю Рубин испытывал устойчивое отвращение. Он помнил его только что привезенным на шарашку из многолетнего заключения в Бутырках — в хрустящей кожаной куртке, на рукаве которой угадывались споротые нашивки гражданского эсэсовца — худшего вида эсесовца. Даже тюрьма не могла смягчить выражения устоявшейся жестокости на лице Зиммеля. Тавро палача проставлено было там. Именно из-за Зиммеля Рубину было неприятно прийти сегодня на этот ужин. Но очень просили остальные, и было жалко их, одиноких и потерянных здесь, и отказом своим невозможно было омрачить их праздник.

Подавляя желание взорваться, Рубин привел в переводе совет Пушкина кое-кому не судить свыше сапога.

Насторожившийся Макс поспешил прервать нарастающую схватку: а он, Макс, под руководством Льва, уже по складам читает по-русски Пушкина. А почему Райнгольд взял торт без крема ? А где был Лев в тот рождественский вечер ?

Райнгольд прихватил и крем. Лев припомнил, что был он тогда на наревском плацдарме, у Рожан, в своем блиндаже.

И как эти пять немцев вспоминали сегодня свою растоптанную и разорванную Германию, окрашивая ее лучшими красками души, так и у Рубина вдруг разживились воспоми-

нания сперва о наревском плацдарме, потом о мокрых лесах возле Ильменя.

Разноцветные лампочки отражались в согретых человеческих глазах.

О новостях спросили Рубина и сегодня. Но сделать обзор за декабрь ему было стеснительно. Ведь он не мог себе позволить быть беспартийным информатором, отказаться от надежды перевоспитать этих людей. И не мог он уверить их, что в сложный наш век истина социализма пробивается порою кружным искаженным путем. А поэтому следовало отбирать для них, как и для Истории (как бессознательно отбирал он и для себя) — только те из происходящих событий, которые подтверждали столбовую дорогу, и пренебрегать теми, которые затемняли ее.

Но именно в декабре кроме советско-китайских переговоров, и то затянувшихся, ну и кроме семидесятилетия Вождя Народов, ничего положительного как-то не произошло. А рассказывать немцам о процессе Трайчо Костова, где так грубо полиняла вся судебная инсценировка, где корреспондентам с опозданием предъявили фальшивое раскаяние, будто бы написанное Костовым в камере смертников, — было и стыдно и не служило воспитательным целям.

Поэтому Рубин сегодня больше остановился на всемирно-исторической победе китайских коммунистов.

Макс слушал Рубина и утвердительно кивал. Его коричневые, прорезанные как сливы, глаза были невинны. Он был привязан к Рубину, но со времени блокады Берлина что-то стал ему не очень верить и (Рубин не знал), рискуя головой, у себя, в лаборатории дециметровых волн, стал временами собирать, слушать и опять разбирать миниатюрный приемник, ничуть не похожий на приемник. Так он уже слышал из Кельна и по-немецки от Би-Би-Си не только о Костове, что он опроверг на суде те ложные самообвинения, которые из него вынудили на следствии, но и о планах атлантического союза и экономические новости о Западной Германии. Все это, конечно, он передал остальным немцам.

А Рубину они — кивали.

Впрочем, Рубину давно пора была идти — ведь его не освобождали от сегодняшней вечерней работы. Рубин похвалил торт (венский студент польщенно поклонился), попросил у общества прощения. Гостя задерживали, сколько требовала вежливость, и отпустили. Немцы настраивались вполголоса попеть песни рождественской ночи.

Как был, держа в руках монголо-финский словарь и томик Хемингуэя на английском, Рубин вышел в коридор.

Коридор — широкий, с некрашенным разволокнившимся деревянным временным полом, без окон, день и ночь с электричеством — был тот самый, где Рубин с другими любителями новостей час назад, в оживленный ужинный перерыв, интервьюировал новых зэков, приехавших из лагерей. В коридор этот выходила одна дверь с внутренней тюремной лестницы и несколько дверей комнат-камер. Комнат, потому что на дверях не было запоров, но и камер, потому что в полотнах дверей были прорезаны г л а з к и — застекленные окошечки. Эти глазки никогда не пригожались здешним надзирателям, но и заимствованы были из настоящих тюрем по уставу, по одному тому, что в бумагах ш а р а ш к а именовалась « спецтюрьмой ».

Через такой глазок сейчас виден был в одной из комнат подобный же рождественский вечер землячества латышей, тоже отпросившихся с работы.

Остальные зэки были на работе, и Рубин опасался, чтоб его не задержали и не потащили к майору Шикину писать объяснение.

В обоих концах коридор кончался распашными на всю ширину дверьми: деревянными четырехстворчатыми под полукруглой аркой, ведшими в бывшее надалтарье домашней помещичьей церкви, теперь тоже комнату-камеру, — и двуполотенными запертыми, доверху окованными железом, называвшимися у арестантов « царские врата ».

Рубин подошел к этой железной двери и постучал в окошечко. С противной стороны к стеклу прислонилось внимательно-неподвижное лицо надзирателя.

Тихо повернулся ключ. Надзиратель попался равнодушный.

Рубин вышел на парадную лестницу старинной постройки с расходящимися и сходящимися маршами, прошел по мраморной площадке мимо двух старинных, теперь уже не светящих, узорочных фонарей. Тем же вторым этажом вошел в коридор лабораторий. В коридоре толкнул дверь с надписью: « А к у с т и ч е с к а я ».

4

ХЬЮГИ - БУГИ

Акустическая лаборатория занимала комнату высокую, обширную, в несколько окон, беспорядочно и тесно уставленную — физическими приборами на тёсовых стеллажах и на стойках из ярко-белого алюминия, монтажными верстачками, новехонькими фанерными шкафами с московской фабрики и уютными трофейными конторками для письма.

Большие лампы в матовых шарах давали сверху приятный нежелтый, рассеянный свет.

В дальнем углу комнаты, не доставая до потолка, высилась звуконепроницаемая акустическая будка. Она выглядела недостроенной: снаружи обшита была простой мешковиной, под которую натолкали соломы. Ее дверь, аршинная в толщину, но полая внутри, как гири цирковых клоунов, сейчас была отпахнута, и поверх двери откинут для проветривания будки шерстяной полог. Близ будки медно посверкивал рядами штепсельных гнезд черный лакированный щиток центрального коммутатора.

У самой будки, спиною к ней, чуть кутая узкие плечи в платок из козьего пуха, сидела за письменным столом хрупкая, очень маленькая девушка со строгим лицом.

До десятка остальных людей в комнате все были мужчины, все в тех же синих комбинезонах. Освещенные верхним светом и пятнами дополнительного от гибких настольников, они хлопотали, ходили, стучали, паяли, сидели у монтажных и письменных столов.

Там и сям по комнате вразнобой вещали джазовую, фортепьянную музыку и песни восточных народов три самодельных приемника, скорособранных на случайных алюминиевых панелях, без футляров.

Рубин шел по лаборатории к своему столу медленно, с монголофинским словарем и Хемингуэем в опущенной руке. Белые крошки печенья застряли в его вьющейся черной бороде.

Хотя комбинезоны всем арестантам были выданы одинаково сшитые, но носили их по-разному. У Рубина одна пуговица была оторвана, пояс — расслаблен, на животе обвисали какие-то лишние куски ткани. Напротив, у преграждавшего ему сейчас путь молодого человека с подвижными каштановыми прядями, такой же синий комбинезон носился франтовски, матерчатый синий пояс был затянут пряжками вкруг тонкого стана, а на груди, в распахе комбинезона, виднелась голубая шелковая рубашка, хотя и линялая от частых стирок, но замкнутая ярким галстуком. Молодой человек этот занял всю ширину бокового прохода, куда направлялся Рубин. Правой рукой он чуть помахивал горячим включенным паяльником, левую ногу поставил на стул, облокотился о колено и напряженно разглядывал радио-схему в разложенном на столе журнале « Wireless Engineer », одновременно напевая:

« Хьюги-Буги, Хьюги-Буги,
Самба ! Самба !
« Хьюги-Буги, Хьюги-Буги,
Самба ! Самба ! »

Рубин не мог пройти и минуту постоял с показным кротким выражением. Молодой человек словно не замечал его.

— Валентуля, — оклинул Рубин. — Вы не могли бы немножечко подобрать вашу заднюю ножку ?

Валентуля, не поднимая головы от схемы, ответил, энергично отрубливая фразы:

— Лев Григорьич ! О т р ы в а й т е с ь ! Р в и т е к о г т и ! Зачем вы ходите по вечерам ? Что вам тут делать ? — И поднял на Рубина очень удивленные светлые молодые глаза. — Да на кой черт нам тут еще филологи ! Ха-ха-ха ! — (раздельно выговаривал он). — Ведь вы же не инженер ! ! Позор !

Смешно вытянув мясистые губы детской трубочкой и невероятно расширив глаза, Рубин прошепелявил:

— Детка моя ! Но инженеры бывают разные. Некоторые успешно торгуют газированной водой.

— Эт-то не мой стиль ! Я — первоклассный инженер ! Учтите, парниша ! — резко отчеканил Валентуля, положил паяльник на проволочную подставку и выпрямился.

В нем была юношеская умытость, кожа лица не исчерчена следами жизни, движения мальчишеские — никак нельзя было поверить, что он кончил институт еще до войны, прошел

немецкий плен, побывал в Европе и уже пятый год сидел в тюрьме у себя на родине.

Рубин вздохнул:

— Без заверенных характеристик из Бельгии администрация не может...

— Какие еще характеристики ? ! — У Валентина взлетели чуткие брови. — Ха-ха-ха ! Да вы просто отупели ! Ну, подумайте сами — ведь я безумно люблю женщин ! !.

Строгая маленькая девушка не могла удержаться от улыбки.

Еще один заключенный от окна, куда пробирался Рубин, бросил все занятия и очень поощрительно слушал Валентина.

— Кажется, только теоретически, — скучающим жевательным движением ответил Рубин.

— И безумно люблю тратить деньги !

— Но их у вас не бывает...

— Так как же я могу быть плохим инженером ? ! Подумайте: чтобы любить женщин — и все время разных ! — надо иметь много денег ! Чтобы иметь много денег — надо их много зарабатывать ! Чтобы их много зарабатывать, будучи инженером — надо блестяще владеть своей специальностью ! А это невозможно, если не увлекаться ею искренно ! Ха-ха ! Вы бледнеете.

Щедрая убежденность светилась на продолговатом лице Валентули, задорно поднятом к Рубину.

— Ага ! — воскликнул тот зэк от окна, чей письменный стол смыкался лоб в лоб со столом маленькой девушки. — Вот, Лёвка, когда я поймал валентулин голос ! К о л о к о л ь ч а т ы й у него ! Так я и запишу, а ? Такой голос — по любому телефону можно узнать. При любых помехах.

И он развернул большой лист, на котором шли столбцы наименований, разграфка на клетки и классификация в виде дерева.

— Ах, что за чушь ! — отмахнулся Валентуля, схватил паяльник и задымил канифолью.

Проход освободился, и Рубин, идя к своему креслу, тоже наклонился над классификацией голосов.

Вдвоем они рассматривали молча.

— А порядочно мы продвинулись, Глебка, — сказал Рубин. — В сочетании с в и д и м о й р е ч ь ю у нас хорошее оружие. Очень скоро мы с тобой-таки поймем, от чего же зависит голос по телефону. — И встрепенулся: — Это что передают ?

В комнате громче был слышен джаз, но тут, с подоконника, пересиливал свой самодельный приемник, из которого лилась журчащая перебегающая фортепьянная музыка, в ней настойчиво выныривала, и опять уносилась, и опять выныривала, и опять уносилась одна и та же мелодия. Глеб ответил:

— Это — чудо. Это — семнадцатая ре-минорная соната Бетховена. О ней почему-то никогда... Ты слушай, слушай.

Они оба нагнулись к приемнику, но очень мешал джаз.

Валентайн ! — сказал Глеб. — Уступите. Проявите великодушие !

— Я уже проявил великодушие, — огрызнулся тот, — сляпал вам приемник. Я ж вам и катушку отпаяю, не найдете никогда.

Маленькая девушка повела строгими бровками и вмешалась:

— Валентин Мартыныч ! Это, правда, невозможно — слушать сразу три приемника. Выключите свой, вас же просят.

(Приемник Валентина как-раз сейчас играл слоу-фокс, и девушке он очень нравился...)

— Серафима Витальевна ! Это чудовищно ! — Он наткнулся на пустой стул, подхватил его на переклон и жестикулировал, как с трибуны: — Нормальному здоровому человеку как может не нравиться энергичный бодрящий джаз ? ! А вас затягивают под растленное влияние всякого старья ! Да неужели вы никогда не танцевали Голубое Танго ? Да неужели вы никогда не видели эстрадных обозрений Аркадия Райкина ? Так вы не знаете лучшего, что создано человечеством ! Больше того — вы и в Европе не были ! Откуда ж вам научиться жить ?... Я очень-очень советую: вам нужно кого-то полюбить ! — ораторствовал он через спинку стула, не замечая горькой складки у губ девушки. — Кого-нибудь, са депан ! Сверкание ночных огней ! Шелест нарядов !

— Да у него опять с д в и г ф а з ! — тревожно сказал Рубин. Так нужно власть употребить !

И сам за спиной Валентули выключил джаз.

Валентуля ужаленно повернулся:

— Лев Григорьич ! Кто вам дал право ?

Он нахмурился и хотел смотреть угрожающе.

Освобожденная бегущая мелодия семнадцатой сонаты полилась в чистоте, соревнуясь теперь только с грубоватой песней из угла.

Фигура Рубина была расслаблена, лицо его было — уступчивые карие глаза и борода с крошками печенья.

— Инженер Прянчиков ! Вы все еще вспоминаете атлантическую хартию ? А завещание вы написали ? Кому вы отказали ваши ночные тапочки ?

Лицо Прянчикова вдруг посерьезнело. Он посмотрел светло в глаза Рубину и тихо спросил:

— Слушайте, что за черт ? Это меня бесит. Ведь в тюрьме-то должна же быть человеку свобода ?

Его позвал кто-то из монтажников, и он ушел, подавленный.

Рубин бесшумно опустился в свое кресло, спиной к спине Глеба и приготовился слушать, но успокоительно-ныряющая мелодия оборвалась неожиданно, как речь, прерванная на полуслове, — и это был скромный непарадный конец семнадцатой сонаты.

Рубин выругался матерно, внятно для одного лишь Глеба.

— Дай по буквам, не слышу, — отозвался тот, оставаясь к Рубину спиной.

— Всегда мне не везет, говорю, — хрипло ответил Рубин, так же не поворачиваясь. — Вот — сонату пропустил . . . Не слышал никогда.

— Потому что неорганизован, сколько раз тебе долбить ! выговорил приятель. Только-что он был так оживлен, когда записывал голос Прянчикова, и вот опять уже медленен и печален. — А соната оч-чень хороша. Почему нет у нее названия, как у других ? « Мелькающая » — не пойдет ? В ней все мелькает — плохое и хорошее, грустное и веселое, как в жизни. И — нет конца, как у жизни. Так бы и назвать — « как в жизни ». Соната ut in vita . . . . . А где ты был ?

— С немцами, Рождество встречал, — усмехнулся Рубин.

Они разговаривали, не видя друг друга, почти откинув затылки друг к другу на плечи.

— Молодчик. — Глеб подумал. — Мне нравится твое отношение к ним. Ты часами учишь Макса русскому языку. А ведь имел бы основание их и ненавидеть.

— Ненавидеть ? Нет. Но прежняя любовь моя к ним, конечно, омрачена. Даже этот беспартийный мягкий Макс — разве и он не делит как-то ответственности с палачами ? Ведь он — не помешал ?

— Ну, как мы сейчас с тобой не мешаем ни Абакумову, ни Шишкину-Мышкину . . .

— Слушай, Глебка, в конце концов, ведь я — еврей не

больше, чем русский ? И не больше русский, чем гражданин мира ?

— Хорошо ты сказал. Гражданин мира ! — это звучит бескровно, чисто.

— То-есть, космополит. Нас правильно посадили.

— Конечно, правильно. Хотя ты все время доказываешь Верховному Суду обратное.

Диктор с подоконника пообещал через полминуты « Дневник производственного соревнования ».

Глеб Нержин за эти полминуты рассчитанно-медленно донес руку до приемника и, не дав диктору хрипнуть, повернул ручку выключателя. Усталое лицо его было сероватое.

А Прянчикова захватила новая проблема. Подсчитывая, какой поставить каскадик усиления, он громко беззаботно напевал:

« Хьюги-Буги, Хьюги-Буги,
Самба ! Самба ! »

5

МИРНЫЙ БЫТ

Нержин был ровесник Прянчикова, но выглядел старше. Хотя русые волосы его, немного распадающиеся на бока, не были редки, ни седы, но на вытянутом лице уже легли многочисленные тяжелые морщины — целые венцы морщин у глаз, у губ, и продольные бороздки на лбу. Кожа лица, чувствительная к недостаче свежего воздуха, имела оттенок вялый. Особенно же старила его скупость в движениях — та мудрая скупость, какою природа защищает иссякающие в лагере силы арестанта. Правда, в вольных условиях шарашки, с мясной пищей и без надрывной мускульной работы, в скупости движений не было нужды, но Нержин старался, как он понимал, в отведенный ему тюремный срок закрепить и усвоить эту рассчитанность движений навсегда.

Сейчас на большом столе Нержина были сложены баррикадами стопы книг и папок, а оставшееся посредине живое место опять-таки захвачено папками, машинописными текстами, книгами, журналами, иностранными и русскими, и все они были разложены раскрытыми. Всякий неподозрительный человек, подойдя со стороны, увидел бы тут застывший ураган исследовательской мысли.

А между тем все это была ч е р н у х а (путаница), Нержин темнил по вечерам на случай захода начальства.

На самом деле его глаза не видели лежавшего перед ним. Он отдернул светлую шелковую занавеску и смотрел в стекла черного окна. За глубиной ночного пространства начинались разные крупные огни Москвы, и вся она, не видимая из-за холма, светила в небо неохватным столбом белесого рассеянного света, делая небо темнобурым.

Особый стул Нержина — с пружинистой спинкой, удобно поддающейся каждому движению спины, и особый стол с ребристыми опадающими шторками, каких не делают у нас, и удобное место у южного окна — человеку, знакомому с историей Мавринской шарашки, всё открыло бы в Нержине одного из ее основателей.

Шарашка названа была Мавринской по деревне Маврино, когда-то здесь бывшей, но давно уже включенной в городскую черту. Основание шарашки произошло около трех лет назад, июльским вечером. В старое помещичье подмосковное здание, загодя обнесенное колючей проволокой, привезли полтора десятка зэков, вызванных из лагерей. Те времена, называемые теперь на шарашке к р ы л о в с к и м и, вспоминались ныне как пасторальный век. Тогда можно было вечерами самочинно гулять по з о н е, лежать на росеющей траве, противоуставно не скошенной (траву полагается скашивать под корень, чтобы зэки не подползали к проволоке), и следить хоть за вечными звездами, хоть за бренным вспотевшим старшиной МВД Жвакуном, как он во время ночного дежурства воровал с ремонта здания бревна и катал их под колючую проволоку домой на дрова.

Шарашка тогда еще не знала, что ей нужно научно исследовать, и занималась распаковкой многочисленных ящиков, притянутых двумя железнодорожными составами; захватывала удобные стулья и столы; сортировала устаревшую и доставленную битой аппаратуру по телефонии, ультра-коротким радиоволнам, акустике; выясняла, что лучшую аппаратуру и новейшую документацию немцы успели растащить или уничтожить, пока капитан МВД, посланный передислоцировать фирму, хорошо понимавший в мебели, но не в радио и не в немецком языке, выискивал под Берлином гарнитуры для московских квартир начальства и своей.

С тех пор траву давно скосили, двери на прогулку открывали только по звонку, шарашку передали из ведомства Берии в ведомство Абакумова и заставили заниматься секретной телефонией. Тему эту надеялись решить в год, но она уже тянулась два года, расширялась, запутывалась, захватывала все новые и новые смежные вопросы, и здесь, на столах Рубина и Нержина, докатилась вот до распознания голосов по телефону, до выяснения — что делает голос человека неповторимым.

Никто, кажется, не занимался подобной работой до них. Во всяком случае, они не напали ни на чьи труды. Времени на эту работу им отпустили полгода, потом еще полгода, но они не очень продвинулись, и теперь сроки сильно подпирали.

Ощущая это неприятное давление работы, Рубин пожаловался все так же через плечо:

— Что-то у меня сегодня абсолютно нет рабочего настроения...

— Это поразительно, — буркнул Нержин. — Кажется, ты воевал только четыре года, не с и д и ш ь еще и пяти полных ? И уже устал ? Добивайся путевки в Крым.

Помолчали.

— Ты — с в о и м занят ? — тихо спросил Рубин.

— У-гм.

— А кто ж будет заниматься голосами ?

— Я, признаться, рассчитывал на тебя.

— Какое совпадение ! А я расчитывал на тебя.

— У тебя нет совести. Сколько ты под эту марку перебрал литературы из Ленинки ? Речи знаменитых адвокатов. Мемуары Кони. « Работу актера над собой ». И наконец, уже совсем потерял стыд, — исследование о принцессе Турандот ? Какой еще зэк в ГУЛаге может похвастаться таким подбором книг ?

Рубин вытянул крупные губы трубочкой, отчего всякий раз его лицо становилось глупо-смешным:

— Странно ! Все эти книги и даже о принцессе Турандот — с кем я в рабочее время читал вместе ? Не с тобой ли ?

— Со мной. И я бы работал. Я бы самозабвенно сегодня работал. Но меня из трудовой колеи выбивают два обстоятельства. Во-первых, меня мучит вопрос о паркетных полах.

— О каких паркетных полах ?

— На Калужской заставе, дом МВД, полукруглый, с башней. На постройке его в сорок пятом году был наш лагерь, и там я работал учеником паркетчика. Сегодня узнаю, что Ройтман, оказывается, живет в этом самом доме. И меня стала терзать, ну, просто добросовестность созидателя или, если хочешь, вопрос престижа ! скрипят там мои полы или не скрипят ? Ведь если скрипят — значит халтурная настилка ? И я бессилен исправить !

— Да, это может стать кошмаром.

— Вот. А во-вторых: не пòшло ли работать в субботу вечером, если знаешь, что в воскресенье выходной будет только вольняшкам ?

Рубин вздохнул:

— И даже уже сейчас вольняги рассыпались по увеселительным заведениям. Конечно, довольно откровенное гадство.

— Но те ли увеселительные заведения они избирают ? Больше ли они получают удовлетворения от жизни, чем мы — это еще вопрос.

По вынужденной арестантской привычке они разговаривали тихо, так что даже Серафима Витальевна, сидевшая против

Нержина, не слышала их. Они развернулись теперь вполоборота и оказались ко всей прочей комнате спинами, а лицами к окну, к фонарям зоны, к угадываемой в темноте охранной вышке, к отдельным огням отдаленных оранжерей и мреющему в небе белесоватому столбу света от Москвы.

Нержин, хотя и математик, но очень не чужд был языкознанию, и с тех пор, как звучанье русской речи стало материалом работы Мавринского научно-исследовательского института, Нержина все время спаривали с единственным здесь филологом Рубиным. Два года уже они по двенадцати часов в день сидели, соприкасаясь спинами. С первой же минуты выяснилось, что оба они — фронтовики, что вместе были на Северо-Западном фронте и вместе на белорусском, и одинаково имели « малый джентльменский набор » орденов, что оба они в одном месяце и одним и тем же СМЕРШем арестованы с фронта, и оба по одному и тому же о б щ е д о с т у п н о м у (то есть, не связанному с возрастным, образовательным, имущественным цензом или доступом к материальным ценностям) д е с я т о м у п у н к т у, и оба получили одинаково по д е с я т к е (впрочем, и все получали по столько же). И в годах между ними была разница всего лет на шесть, и в военном звании всего на единицу — Нержин был капитаном. И еще оказалось, что Нержин до войны чуть-чуть не слушал лекций доцента Рубина.

Посмотрели еще туда, в темноту.

Рубин чмокнул с сожалением:

— Все-таки ты умственно убог. Это меня беспокоит.

— А я не гонюсь охватить: умного на свете много, мало — хорошего.

— Так вот, на тебе хорошую книжку, прочти.

— Хемингуэя ? Это опять про замороченных бедных быков ?

— Нет.

— Так про загнанных львов ?

— Да нет же !

— Слушай, я не могу разобраться с людьми, зачем мне быки ?

— Ты должен прочесть ее !

— Я никому ничего н е д о л ж е н, запомни ! Со всеми долгами р а с п л а т ё м ш и с ь, как говорит Спиридон.

— Жалкая личность ! Это — из лучших книг двадцатого века !

— И она действительно откроет мне то, что всем нужно понять ? Он действительно разобрался, на чем люди заблудились ?

— Умный, добрый, беспредельно-честный писатель, солдат, охотник, рыболов, пьяница и женолюб, спокойно и откровенно презирающий всякую ложь, взыскующий простоты, очень человечный, гениально-наивный...

— Да ну тебя к шутам, — засмеялся Нержин. — Ты все уши забьешь своим жаргоном. Без Хемингуэя тридцать лет я прожил, еще поживу немножко. То ты мне Чапека навязываешь, то Фалладу. Мне и так жизнь растерзали. Дай мне о г р а н и ч и т ь с я ! Дай мне хоть направиться куда-то...

И он отвернулся к своему столу.

Рубин вздохнул. Рабочего настроения он по-прежнему в себе не находил.

Он стал смотреть на карту Китая, прислоненную к полочке на столе перед ним. Карту эту он вырезал как-то из газеты и наклеил на картон. Весь минувший год Рубин красным карандашом закрашивал по ней продвижение коммунистических войск, а теперь, после полной победы, оставил ее стоять перед собой, чтобы в минуты упадка и усталости поднималось бы его настроение.

Но сегодня настойчивая грусть пощемливала в Рубине, и даже красный массив победившего Китая не мог ее пересилить.

А Нержин, иногда задумчиво посасывая острый кончик пластмассовой ручки, мельчайшим почерком, как будто не пером, а острием иглы, выписывал на крохотном листике, утонувшем меж служебного камуфляжа:

« У Маркса, я помню, есть запись (найти ее !), что, может быть, победившему пролетариату удастся обойтись и без экспроприации зажиточного крестьянства. Значит, он видел какие-то экономические пути включения в с е г о крестьянства в новую социальную систему. П а х а н в 1929 году, конечно, не искал этих путей. А что̀ тонкое, что̀ умелое он когда-нибудь искал ? Зачем мяснику учиться на терапевта ?.. »

Большая комната Акустической лаборатории жила своим повседневным мирным бытом. Гудел моторчик электро-слесаря. Слышались команды: « Включи ! » « Выключи ! » Какую-то очередную сентиментальную чушь передавали по радио. Кто-то громко требовал радиолампу « шесть-Ка-семь ».

Улучая минуты, когда она никому не была видна, Серафима Витальевна внимательно взглядывала на Нержина, продолжавшего микроскопически исписывать клочек бумаги.

Оперуполномоченный майор Шикин поручил ей следить за этим заключенным.

6

ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ

Такая маленькая, что трудно было не назвать ее Симочкой, — Серафима Витальевна, одетая в батистовую блузку и кутавшаяся в теплый платок, была лейтенантом МГБ.

Вольные сотрудники в этом здании все были офицеры МГБ.

Вольные сотрудники в соответствии со сталинской конституцией имели самые разнообразные права и в том числе — право на труд. Однако, право это было ограничено восемью часами в день и тем, что труд их не был создателем ценностей, а сводился к догляду над зэками. Зэки же, лишенные всех прочих прав, зато имели более широкое право на труд — двенадцать часов в день. Эту разницу, включая ужинный перерыв, — с шести вечера и до одиннадцати ночи — вольным сотрудникам каждой из лабораторий приходилось отдежуривать по очереди для надзора за работою зэков.

Сегодня и была очередь Симочки. В Акустической лаборатории эта маленькая, похожая на птичку девушка была сейчас единственная власть и единственное начальство.

По инструкции она должна была следить, чтобы заключенные работали, а не бездельничали, чтобы они не использовали рабочего помещения для изготовления оружия или для подкопа, чтобы они, пользуясь обилием радиодеталей, не наладили бы двусторонней коротковолновой связи с Белым Домом. Без десяти минут одиннадцать она должна была принять от них всю сверхсекретную документацию в большой несгораемый шкаф и опечатать дверь лаборатории.

Не прошло еще и полугода, как Симочка, окончив институт инженеров связи, была по своей кристальной анкете назначена в этот особый таинственный номерной научно-исследовательский институт, которые заключенные в своем дерзком просторечии звали шарашкой. Принятых в о л ь н я ш е к здесь сразу же аттестовали офицерами, выплачивали

увеличенную по сравнению с обычным инженером зарплату, и еще за звание, и еще на обмундирование — а требовали в основном только преданности и бдения.

То, что не требовали знаний по специальности, было на руку Симочке: из института не одна она, но и многие ее подруги тоже не вынесли знаний. Причин тут было много. Девчонки и из школы пришли, не очень-то зная математику и физику (еще в старших классах до них дошло, что директор на педсовете ругает учителей за двойки, — и хоть совсем не учись, — аттестат тебе выдадут). И в институте, когда находилось время, и девочки садились заниматься — они пробирались сквозь эту математику и радиотехнику как сквозь беспонятный безвылазный бор. Но чаще просто не было времени. Каждую осень на месяц и больше всех студентов угоняли в колхозы убирать картошку, из-за чего весь год потом слушали лекции по восемь и по десять часов в день, а разбирать конспекты было некогда. А по понедельникам, по вечерам, была политучеба; еще в неделю раз какое-нибудь собрание обязательно; а когда-то надо было и общественную работу, выпускать стенгазеты, давать шефские концерты; да надо было и дома помочь, и в магазины сходить, и помыться, и приодеться. А в кино ? а в театр ? а в клуб ? Если в студенческое время не погулять, не поплясать — так когда же потом ? И вот к экзаменам Симочка и ее подруги писали большое количество шпаргалок, прятали в недоступные для мужчин места женской одежды, а на экзамене вытаскивали нужную и, разгладив, выдавали ее за листок подготовки. Экзаменаторы, конечно, легко могли дополнительными вопросами обнаружить несостоятельность знаний своих студенток, — но сами они тоже были до крайности обременены заседаниями, собраниями, многоразличными планами и формами отчетности перед деканатом, перед ректоратом, и повторно проводить экзамен им было тяжело, да — еще их поносили за неуспеваемость как за брак на производстве, опираясь на знаменитое положение, что нет плохих учеников, а есть только плохие преподаватели. Поэтому экзаменаторы не старались сбить отвечающих, а, напротив, поблагополучнее и побыстрее принять экзамен.

К старшим курсам Симочка и ее подруги с унынием поняли, что специальности своей они не полюбили и даже тяготились ею, но было поздно. И Симочка трепетала — как она будет на производстве ?

И вот попала в Маврино. Здесь ей сразу очень понрави-

лось, что не поручали никакой самостоятельной разработки. Но даже и не такой малышке, как она, было жутко переступить зону этого уединенного подмосковного замка, где отборная охрана и надзорсостав стерегли выдающихся государственных преступников.

Их инструктировали всех вместе — десятерых выпускниц Института Связи. Им объяснили, что они попали хуже, чем на войну — они попали в змеиную яму, где одно неосторожное движение грозит им гибелью. Им рассказали, что здесь они встретятся с отребьем человеческого рода, с людьми, не достойными той русской речи, которою они, к сожалению, владеют. Их предупредили, что люди эти особенно опасны тем, что не показывают открыто своих волчьих зубов, а постоянно носят лживую маску любезности и хорошего воспитания, если же начать их расспрашивать об их преступлениях (что категорически запрещается !) — они постараются хитросплетенной ложью выдать себя за невинно-пострадавших. Им указали, что и они, комсомолки, тоже не должны изливать на этих гадов всей ненависти, а в свою очередь выказывать внешнюю любезность — но не вступать с ними в неделовые переговоры, не принимать от них никаких поручений на волю, а при первом же нарушении, подозрении в нарушении или возможности подозрения в нарушении — спешить с исповедью к оперуполномоченному майору Шикину.

Майор Шикин — черноватый низенький важный мужчина с седеющим ежиком на большой голове и с маленькими ногами, обутыми в мальчиковый размер ботинок, высказал при этом такую мысль: что, хотя ему и другим бывалым людям предельно ясно змеиное нутро этих злодеев, но из таких неопытных девушек, как прибывшие, может найтись одна, в ком дрогнет гуманное сердце, и она допустит какое-нибудь нарушение — например, даст прочесть книгу из вольной библиотеки (он не говорит — опустит письмо, ибо письмо, какой бы Марье Ивановне оно ни было адресовано, неизбежно будет направлено в иностранный шпионский центр). Майор Шикин наставительно просит остальных девушек, увидевших падение подруги, в этом случае оказать ей товарищескую помощь, а именно: сообщить майору Шикину о происшедшем.

И в конце беседы майор не скрыл, что связь с заключенными карается уголовным кодексом, а уголовный кодекс, как известно, растяжим, он включает в себя даже двадцать пять лет каторжных работ.

Нельзя было без содрогания представить себе того бес-

просветного будущего, которое их ждало. У некоторых девушек даже навернулись на глаза слезы. Но недоверие уже было поселено между ними. И, выйдя с инструктажа, они разговаривали не об услышанном, а о постороннем.

Ни жива, ни мертва вошла Симочка вслед за инженер-майором Ройтманом в Акустическую и даже в первый момент ей хотелось зажмуриться — как при падении.

С тех пор прошло полгода — и что-то странное случилось с Симочкой. Нет, не была поколеблена ее убежденность в черных кознях империализма. И так же она легко допускала, что заключенные, работающие во всех остальных комнатах — кровавые злодеи. Но каждый день встречаясь с дюжиной зэков Акустической, тщетно силилась она в этих людях, мрачно-равнодушных к свободе, к своей судьбе, к своим срокам в десять лет и в четверть столетия, в кандидате наук, инженерах и монтажниках, повседневно озабоченных одною только работой, чужою, не нужной им, не приносящей им ни гроша заработка, ни крупицы славы, — разглядеть тех отъявленных международных бандитов, которых в кино так легко угадывал зритель и так ловко вылавливала контрразведка.

Симочка не испытывала перед ними страха. Она не могла найти в себе к ним и ненависти. Люди эти возбуждали в ней только безусловное уважение — своими разнообразными познаниями, своей стойкостью в перенесении горя. И хотя ее долг трубил, хотя ее любовь к отчизне призывала придирчиво доносить оперуполномоченному обо всех проступках и поступках арестантов, — необъяснимо почему, Симочке это стало казаться подлым и невозможным.

Тем более невозможно это было по отношению к ее ближайшему соседу и сотруднику — Глебу Нержину, сидевшему лицом к ней через два их стола.

Всё прошедшее время Симочка тесно проработала с ним, отданная ему под начало для проведения артикуляционных испытаний. На Мавринской шарашке то и дело требовалось оценивать качество слышимости по различным телефонным трактам. При всем совершенстве приборов еще не был изобретен такой, который бы стрелкой показывал это качество. Только голос диктора, читающего отдельные слоги, слова или фразы, и уши слухачей, ловящие текст на конце испытуемого тракта, могли дать оценку через процент ошибок. Такие испытания и назывались артикуляционными.

Нержин занимался математической организацей этих испытаний. Они шли успешно, и Нержин даже разродился трех-

томной монографией об их методике. Когда у них с Симочкой нагромождалось много работы сразу, Нержин четко соображал последовательность отложных и неотложных действий, распоряжался уверенно, при этом лицо его молодело, и Симочка, воображавшая войну по кино, в такие минуты представляла себе, как Нержин в мундире капитана, среди дыма разрывов с развевающимися русыми волосами выкрикивал батарее: « Огонь ! »

Но вся эта быстрота нужна была Нержину, чтобы, исполнив внешнюю работу, отделаться от самого движения. Он так и сказал раз Симочке: « Я действенен потому, что ненавижу действие ». « А что ж вы любите ? » — спросила она с робостью. « Размышление » — ответил он. И действительно, спадал шквал работы — он часами сидел, почти не меняя положения, кожа лица его серела, старела, изрывалась морщинами. Куда девалась его уверенность ? Он становился медленен и нерешителен. Он подолгу думал, прежде чем вписать несколько фраз в те игольчато-мелкие записи, которые Симочка и сегодня ясно видела на его столе среди навала технических справочников и статей. Она даже примечала, что он засовывал их куда-то в левую тумбочку своего стола, словно бы и не в ящик. Симочка изнывала от любопытства узнать, о чем он пишет и для кого. Нержин, того не зная, стал для нее средоточием сочувствия и восхищения.

Девичья жизнь Симочки до сих пор складывалась очень несчастно. Она не была хороша собой: лицо ее портил слишком удлиненный нос, волосы были почему-то не густы, плохо росли, собирались на затылке в жиденький узелок. Рост у Симочки был не просто маленький, что красит женщину, но чрезмерно маленький, и контуры у нее было скорей как у девочки 7-го класса, чем как у взрослой женщины. К тому же она была строга, не расположена к шуткам, к пустой игре — и это тоже не привлекало молодых людей. Так к двадцати пяти годам у нее сложилось, что еще никто за ней не ухаживал, никто не обнимал и не целовал.

Недавно, всего месяц назад, что-то не ладилось с микрофоном в будке, и Нержин позвал Симу починить. Она вошла с отверткой в руке; в беззвучной душной тесноте будки, где два человека едва помещались, наклонилась к микрофону, который разглядывал уже и Нержин, и при этом, не загадывая того сама, прикоснулась щекой к его щеке. Она прикоснулась и замерла от ужаса — что̀ теперь будет ? И надо было бы оттолкнуться, — она же бессмысленно продолжала рассма-

тривать микрофон. Тянулась долгая страшнейшая минута в жизни — щеки их горели, соединенные, — он не двигался! Потом вдруг охватил ее голову и поцеловал в губы. Все тело Симочки залила радостная слабость. Она ничего не сказала в этот миг ни о комсомоле, ни о родине, а только:

— Дверь не заперта!..

Тонкая синяя шторка, колыхаясь, отделяла их от шумного дня, от ходивших, разговаривавших, могущих откинуть шторку людей. Арестант Нержин не рисковал ничем, кроме десяти суток карцера, — девушка рисковала анкетой, карьерой, может быть даже свободой, — но у нее не было сил оторваться от рук, запрокинувших ее голову.

Первый раз в жизни ее целовал мужчина!..

Так, змеемудро скованная стальная цепь, развалилась в том звене, которое выковали из женского сердца.

7

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ

— Чья там лысина сзади трется ?

— Дитя мое, у меня все-таки лирическое настроение. Давай потрепемся.

— Вообще-то я занят.

— Ну, ладно тебе — занят ! .. Я расстроился, Глебка. Сидел у этой импровизированной немецкой елочки, заговорил что-то о своем блиндаже на плацдарме северней Пултуска, и вот — фронт ! — нахлынул фронт ! — и так живо, так сладко ... Слушай, и война может вспоминаться хорошо, а ?

— Нельзя себе этого разрешать. Даосская этика говорит: « Оружие — орудие несчастья, а не благородства. Мудрый побеждает неохотно ».

— Что я слышу ? Из скептиков ты уже записался в даосцы ?

— Еще не решено.

— Сперва вспомнил я своих лучших фрицев — как мы вместе с ними составляли подписи к листовкам — мать, обнявшая детей, потом — белокурая плачущая Маргарита, это коронная была наша листовка, со стихотворным текстом.

— Я помню, я подбирал ее.

— И как мы с ними на звуковках в тихие вечера выезжали на передний край ...

— ... и вперемежку с трогательными танго утоваривали воюющих братьев обернуть оружие против Гитлера. Мы вылезали из блиндажей и с удовольствием слушали тоже. Но призывы ваши были немножко наивны.

— Как сказать ? Взяли же мы Грауденц и Эльбинг без единого выстрела.

— Так это в сорок пятом !

— Капля точит камень ! .. Я тебе не рассказывал про Милку ? Она была студентка Ин-Яза, кончила в 41-м, и

послали ее сразу переводчицей в наш отдел. Немножко курносенькая, движения резкие.

— Подожди, эта та, которая вместе с тобой пошла принимать капитуляцию крепости ?

— Ага-га, удивительно тщеславная была девчонка, очень любила, чтоб ее хвалили за работу (а ругать — упаси Боже!) и представляли к орденам. Ты на Северо-Западном, помнишь, вот здесь за Ловатью, если от Рахлищ на Ново-Свинухово, поюжней Подцепочья — лес ?

— Там много лесов. По тот бок Редьи или по этот ?

— По этот.

— Ну, знаю.

— Так вот в этом лесу мы с ней целый день бродили. Была весна... Не весна ! — март ! — ногами по воде хлюпаешь, в кирзовых сапогах по лужам, а голова под меховой шапкой от жары взмокла, — и этот, знаешь, извечный запах пробуждения. Мы бродили как первовлюбленные, как молодожены. Почему, если женщина — новая для тебя, переживаешь с нею все с самого начала, как юноша набухаешь и... А ?.. Бесконечный лес ! Редко где — дымок блиндажа, батарейка семидесяти шести на поляне. Мы избегали их. Добродились до вечера — сырого, розового. Весь день она меня томила. А вечером... Нашли пустой блиндажик...

— Надземный.

— Ты помнишь ? Именно. Там за год много было понастроено таких, как хижины для зверья.

— Там же земля мокрая, не вкопаться.

— Ну да. Внутри — хвои набросано, запах от бревен смолистый, на́дымь от костров — печек нет, так та́к прямо отапливали. А в крыше дырка. Ну, и света, конечно, никакого... Пока костер горел — тени на бревнах... Глебка ! Жизнь, а ? !

— Я заметил: в тюремных рассказах если участвует девушка, то все слушатели, и я в том числе, остро желают, чтобы к концу рассказа она была уже не девушка. И это составляет для зэков главный интерес повествования. Здесь есть поиск мировой справедливости, ты не находишь ? Слепой должен удостоверяться у зрячих, что небо осталось голубым, а трава зеленой. Зэк должен верить, что теоретически на свете еще остались милые живые женщины и они отдаются счастливцам... Ишь ты, какой вечер вспомнил ! — с любовницей, да в смолистом блиндаже, да когда не стреляют ! Война ! ! . А твоя жена в этот вечер отоваривала сахарные

талоны слипшеюся, раздавленной, перемешанною с бумагой подушечкой, и считала, как разделить дочкам на тридцать дней!.. В Бутырках, в 73-ей камере...

— ...на втором этаже, в узком коридоре...

— ...точно! — молодой московский историк профессор Разводовский, только что посаженный и никогда, конечно, не бывавший на фронте, умно, горячо, убедительно доказывал соображениями социальными, историческими и этическими, что в войне есть и хорошее. А в камере были ребята отчаюги, где только не воевали, во всех армиях, — так они чуть не загрызли этого профессора, рассвирепели — нет в войне ни хренышка хорошего! Я слушал и молчал. У Разводовского были доводы сильные, минутами он казался мне прав, и мои воспоминания тоже мне подсказывали хорошее иногда, — но я не осмелился спорить с солдатами: кое-что, на которое я хотел согласиться со штатским профессором, было то кое-что, что отличало меня, артиллериста РГК, от пехоты. Лев, пойми, ты был на фронте — кроме взятия этих городов — полный придурок, раз у тебя не было своего боевого порядка, с которого б ты не мог отступить — ценою головы! А я — придурок отчасти, раз я сам не ходил в атаку и не поднимал людей. И вот в нашей лживой памяти ужасное тонет...

— Да я не говорю...

— ...а приятное всплывает. Но от такого денька, когда «Юнкерсы» пикирующие чуть не на части меня рвали под Орлом — никак я не могу воссоздать в себе удовольствия. Нет, Левка, хороша война за горами!

— Да я не говорю, что хороша, но вспоминается хорошо.

— Так и лагеря когда-нибудь хорошо вспомним. И пересылки.

— Пересылки? Горьковскую? Кировскую? Не-е...

— Это потому, что у тебя там администрация чемодан захалтырила и ты не хочешь быть объективным. А кто-нибудь и там был большим человеком — каптером или банщиком, да жил в законе с шалашовкой, так и будет всем рассказывать, что нет места лучше пересыльной тюрьмы. Вообще-то ведь понятие счастье — это условность, выдумка.

— Мудрая этимология в самом слове запечатлела преходящность и нереальность понятия. Само слово счастье происходит от се-частье, то-есть, этот час, это мгновение!

— Нет, магистр, простите! Читайте Владимира Даля.

« Счастье » происходит от со-частье, то-есть, кому какая часть, какая доля досталась, кто какой пай урвал от жизни. Мудрая этимология дает нам очень низменную трактовку счастья.

— Подожди ! Так мое объяснение тоже из Даля !

— Удивляюсь. Мое тоже.

— Это надо исследовать по всем языкам. Запишу !

— Маньяк !

— От дурынды слышу ! Давай сравнительным языкознанием заниматься !

— Все происходит от р у к и ? Марр ?

— Ну пёс с тобой, слушай — ты вторую часть « Фауста » читал ?

— Спроси — читал ли я первую ? Все говорят, что гениально, но никто не читает. Или изучают его по Гуно.

— Нет, первая часть доступна, чего там !

« Мне нечего сказать о солнце и мирах, —
Я вижу лишь одни мученья человека . . . »

— Вот это до меня доходит !

— Или:

« Что нужно нам — того не знаем мы,
Что знаем мы — того для нас не надо ».

— Здорово ! . .

— А вторая часть, правда, тяжеловата. Но эато какая глубокая идея ! — ты же знаешь уговор Фауста с Мефистофелем — только тогда получит Мефистофель душу Фауста, когда Фауст воскликнет: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно !» Но все, что не раскладывает Мефистофель перед Фаустом — возвращение молодости, любовь Маргариты, легкая победа над соперником, бескрайнее богатство, всеведение тайн бытия — ничто не вырывает из груди Фауста заветного восклицания. Прошли долгие годы, Мефистофель уже сам измучился бродить за этим ненасытным существом, он видит, что сделать человека счастливым нельзя и хочет отстать от этой бесплодной затеи. Вторично состарившийся, ослепший, Фауст велит Мефистофелю созвать тысячи рабочих и начать копать каналы для осушения болот. В его дважды старческом мозгу, кажущемся циничному Мефистофелю затемненным и безумным, засверкала великая идея — осчастливить человечество. По знаку Мефистофеля являются слуги ада — лемуры, и

начинают рыть могилу Фаусту. Мефистофель хочет просто закопать его, чтоб отделаться, уже без надежды на его душу. Фауст слышит стук многих заступов. Что это ? — спрашивает он. Мефистофелю не изменяет дух насмешки. Он рисует Фаусту ложную картину, как осушаются болота. Наша критика любит истолковывать этот момент в социально-оптимистическом смысле: дескать, ощутя, что принес пользу человечеству и найдя в этом высшую радость, Фауст восклицает:

« Остановись, мгновенье ! Ты прекрасно ! »

Но разобраться — не посмеялся ли Гёте над человеческим счастьем ? Ведь на самом-то деле никакой пользы, никакому человечеству. Долгожданную сакраментальную фразу Фауст произносит в одном шаге от могилы, обманутый и, может быть, правда обезумевший ? — лемуры тотчас же спихивают его в яму. Что же это — гимн счастью или насмешка над ним ?

— Ах, Левочка, вот таким, как сейчас я тебя только и люблю — когда ты рассуждаешь от сердца, говоришь мудро, а не лепишь ругательные ярлыки.

— Жалкий последыш Пиррона ! Я же знал, что доставлю тебе удовольствие. Слушай дальше. На этом отрывке из « Фауста » на одной из своих довоенных лекций, — а они тогда были чертовски смелые ! — я развил элегическую идею, что счастья нет, что оно или недостижимо, или иллюзорно.

И вдруг мне подали записку, вырванную из миниатюрного блокнотика с мелкой клеточкой:

« А вот я люблю — и с ч а с т л и в а ! Что вы мне на это скажете ? »

— И что ты сказал ? . . .

— А что на это скажешь ? . . .

8

ПЯТЫЙ ГОД УПРЯЖКИ

Они так увлеклись, что совсем не слышали шума лаборатории и назойливого радио из дальнего угла. На своем поворотном стуле Нержин опять обернулся к лаборатории спиной, Рубин избоченился и положил бороду поверх рук, скрещенных на кресельной спинке.

Нержин говорил задушевно, как поведывают давно выношенные мысли:

— Когда раньше, на воле, я читал в книгах, что мудрецы думали о смысле жизни, или о том, что такое счастье, — я мало понимал эти места. Я отдавал им должное: мудрецам и по штату положено думать. Но смысл жизни ? Мы живем — и в этом смысл. Счастье ? Когда очень-очень хорошо — вот это и есть счастье, общеизвестно... Благословение тюрьме ! ! Она дала мне задуматься. Чтобы понять природу счастья, — разреши, мы сперва разберем природы сытости. Вспомни Лубянку или контрразведку. Вспомни ту реденькую полуводяную — без единой звездочки жира ! — ячневую или овсяную кашицу ! Разве ее е ш ь ? разве ее к у ш а е ш ь ? — к ней со священным трепетом приобщаешься, причащаешься ! — как к той п р а н е йогов ! Ешь ее медленно, ешь ее с кончика деревянной ложки, ешь ее, весь уходя в процесс еды, в думанье о еде — и она нектаром расходится по твоему телу, ты содрогаешься от сладости, которая тебе открывается в этих разваренных крупинках и в мутной влаге, соединяющей их. И вот, по сути дела н и ч е м н е п и т а я с ь, — ты живешь шесть месяцев и живешь двенадцать ! Разве с этим сравнится грубое пожирание отбивных котлет ?

Рубин не умел и не любил подолгу слушать. Всякую беседу он понимал так (да так чаще всего и получалось), что именно он размётывал друзьям духовную добычу, захваченную его восприимчивостью. И сейчас он порывался прервать, но Нержин пятью пальцами впился в комбинезон на его груди, тряс, не давал говорить:

— Так на бедной твоей шкуре и на несчастных наших товарищах мы узнаем природу сытости. Сытость совсем не зависит от того, *сколько* мы едим, а от того, *как* мы едим ! Так и счастье, так и счастье, Левушка, оно совсем не зависит от объема внешних благ, которые мы урвали у жизни. Оно зависит только от нашего отношения к ним ! Об этом сказано еще в даосской этике: « Кто умеет довольствоваться, тот всегда будет доволен ».

Рубин усмехнулся:

— Ты эклектик. Ты выдираешь отовсюду по цветному перу и все вплетаешь в свой хвост.

Нержин резко покачал рукой и головой. Волосы сбились ему на лоб. Очень интересно оказалось поспорить, и выглядел он как мальчишка лет восемнадцати.

— Не путай, Левка, совсем не так ! Я делаю выводы не из прочтенных философий, а из людских биографий, которые рассказываются в тюрьмах. Когда же потом мне нужно *свои* выводы сформулировать — зачем мне открывать еще раз Америку ? На планете философии все земли давно открыты ! Я перелистываю древних мудрецов и нахожу там мои новейшие мысли. Не перебивай ! Я хотел привести пример: в лагере, а тем более здесь, на шарашке, если выдастся такое чудо — тихое нерабочее воскресение, да за день отмерзнет и отойдет душа, и пусть ничего не изменилось к лучшему в моем внешнем положении, но иго тюрьмы чуть отпустит меня, и случится разговор по душам или прочтешь искреннюю страницу — и вот уже я на гребне ! Настоящей жизни много лет у меня нет, но я забыл ! Я невесом, я взвешен, я нематериален ! ! Я лежу там у себя на верхних нарах, смотрю в близкий потолок, он гол, он худо оштукатурен — и вздрагиваю от полнейшего счастья бытия ! засыпаю на крыльях блаженства ! Никакой президент, никакой премьер-министр не могут заснуть столь довольные минувшим воскресеньем !

Рубин довольно оскалился. В этом оскале было и немного согласия и немного снисхождения к заблуждающемуся младшему другу.

— А что говорят по этому поводу великие книги Вед ? — спросил он, вытягивая губы шутливой трубочкой.

— Книги Вед — не знаю, — убежденно парировал Нержин, а книги Санкья говорят: « Счастье человеческое причисляется к страданию теми, кто умеет различать ».

— Здорово ты насобачился, — буркнул в бороду Рубин. — Это тебя Митяй сбивает ?

— Может быть. Идеализм ? Метафизика ? Да ? Что ж ты не клеишь ярлыков ? Борода лохматая ! Слушай ! Счастье непрерывных побед, счастье триумфального исполнения желаний, счастье успеха и полного насыщения — есть *страдание* ! Это душевная гибель, это некая непрерывная моральная изжога ! Не философы Веданты или там Санкья, а я, я лично, арестант пятого года упряжки Глеб Нержин, поднялся на ту ступень развития, когда плохое уже начинает рассматриваться и как хорошее, — *и я лично* придерживаюсь той точки зрения, что люди сами не знают, к чему стремиться. Они исходят в пустой колотьбе за горстку благ и умирают, не узнав своего собственного душевного богатства. Когда Лев Толстой мечтал, чтоб его посадили в тюрьму — он рассуждал как настоящий зрячий человек со здоровой духовной жизнью.

Рубин расхохотался. Он часто хохотал в спорах, если совершенно отвергал взгляды своего противника.

— Внемли, дитя ! В тебе сказывается неокреплость юного сознания. Свой личный опыт ты предпочитаешь коллективному опыту человечества. Ты отравлен ароматами тюремной параши — и сквозь эти пары хочешь увидеть мир. Из-за того, что мы лично потерпели крушение, из-за того, что нескладна наша личная судьба — как может мужчина дать измениться, хоть сколько-нибудь повернуться своим убеждениям ?

— А ты гордишься своим постоянством ?

— Да ! Hier stehe ich und kann nicht anders.

— Каменный лоб ! Вот это и есть метафизика ! Вместо того, чтобы здесь, в тюрьме учиться, впитывать живую жизнь...

— Ка-кую жизнь ? Ядовитую желчь неудачников ?

— ... Ты сознательно залепил глаза, заткнул уши, занял позу — и в этом видишь свой ум ? В отказе от развития — ум ?

— В беспристрастии — ум.

— Ты ? ! Ты — беспристрастен ?

— Абсолютно ! — с достоинством сказал Рубин.

— Да я в жизни не знал человека, пристрастнее тебя !

— Да поднимись ты выше своей кочки ! Да взгляни же в историческом разрезе ! Неудобно самого себя цитировать, но:

Мгновенье длится жизнь мотылька,
Столетие дуб цветет !

Закономерность ! Ты понимаешь это слово ? Неизбежная, обусловленная закономерность ! Все идет туда, куда

надо. И нечего рыться носом, выворачивать какой-то трухлявый скепсис!

— Не думай, Левка, что мне легко. Скептицизм у меня, может быть, сарай при дороге — пересидеть непогоду. Но скептицизм есть форма высвобождения догматического ума, вот в чем ценность.

— Догматического? Балда ты! Неужели я догматик? — большие теплые глаза Рубина смотрели с упреком. — Я такой же арестант призыва сорок пятого года. И четыре года фронта у меня осколком в боку сидят, и пять лет тюрьмы на шее. Так я не меньше тебя вижу! Но что надо, то надо! Без разветвленной пенитенциарной системы государство существовать не может!

— Я слышать этого не могу! Я не принимаю этого!

— Вот-вот. А туда же скепсис! Утки в дудки, тараканы в барабаны! Какой Секст Эмпирик откопался! Чего ж ты кипятишься? Разве так из тебя может выйти порядочный скептик? Скептику положено воздержание от суждений! Скептику положена невозмутимость.

— Да! Ты прав! — Глеб в отчаянии взялся за голову. Я мечтаю быть сдержанным, я воспитываю в себе только... парящую мысль, — а обстоятельства завертят, и я кружусь, огрызаюсь, негодую.

— Парящую мысль! А мне в глотку готов вцепиться из-за того, что в Джезказгане не хватает питьевой воды...

— Тебя бы туда загнать, падло! Из всех нас ты же один считаешь, что Пахан прав, что методы его необходимы, закономерны — вот бы тебя и загнать в Джезказган, что бы ты там запел!

— Слушай, слушай! — теперь Рубин властно схватил Нержина за комбинезон. — Это величайший человек! Ты когда-нибудь поймешь. Это вместе — и Робеспьер и Наполеон нашей революции. Он — мудр! Он действительно мудр! Он видит так далеко, как не захватывают наши куцые взгляды!

— Не верь брату родному, верь своему глазу кривому! — отбивался Нержин. — Я еще мальчишкой взял его книги после ленинских — я читать их не мог. После быстрого, горячего, точного стиля — вдруг какая-то манная каша на тарелке. Любая его мысль огрубляется, оглупляется — и самое важное зернышко он и сам не замечает, как теряет.

— И это все ты рассмотрел мальчишкой?

— Старшеклассником! Не веришь? И следователь не верил... и бесит эта многозначительность, эта поучительность.

с которой он вещает. Он серьезно уверен, что он умней любого русского человека.

— Но так оно и есть!

— ...и просто осчастливливает нас возможностью им восхищаться!..

Захлебнувшись спором, друзья потеряли осторожность, и их восклицания уже стали слышны Симочке, со строгим неодобрением давно взглядывавшей на Нержина. Ей обидно было, что проходил вечер ее дежурства, а он никак не хотел использовать этого удобного вечера и даже не удосуживался обернуться в ее сторону.

— У тебя — аберрация! И аберрация именно потому, что ты лезешь не в свои дела. Ты математик, ни истории, ни философии ты путем не знаешь, — почему ты берешь на себя смелость выносить такой приговор?

— Слушай, довольно этих басен, что умы, которые обнаружили нейтрино и взвесили Сириус-Б, обоих не видя, — такие дети, что не могут разобраться в трех соснах человеческого бытия! А что остается делать? Математикам и техникам, что нам остается делать, если вы, историки, перестали заниматься историей? Я же вижу, кому присуждают премии и кому платят академическую зарплату. Они не историю пишут, а вылизывают языком одно известное место. Значит приходится заняться историей нам, техническим интеллигентам!

— Фу ты, ну ты, как страшно!

— К тому ж и хватка у нас техническая, и математические навыки — это не плохо! История от этого не пострадает.

На пустующем столе инженер-майора Ройтмана, начальника Акустической, зазвонил внутри-институтский телефон. Симочка встала и подошла к нему.

— ...Да! Вот и следователь не верил, что моя пятьдесят восемь десять потянулась с изучения диамата. Живой жизни я не знал никогда, книгоед, каюсь, но я сравнивал и сравнивал эти два стиля, эти два пера, эти два способа аргументации, и в текстах...

— Глеб Викентьич!

— ...в текстах я увидел отходы, искажения, огрубления — и вот я здесь!

— Глеб Викентьич!

— А? — очнулся Нержин, отрываясь от Рубина.

— Вы не слышали? По телефону звонили! — очень сурово, сдвинув брови, в третий раз обращалась Симочка, стоя за своим столом, руками крест-накрест стягивая на себе

коричневый платок козьего пуха. — Антон Николаевич вызывает вас к себе в кабинет.

— Да-а ?.. — на лице Нержина явственно угас порыв спора, исчезнувшие морщины вернулись на свои места. — Хорошо, спасибо, Серафима Витальевна. Ты слышал, Левка — Антон. С чего бы это ?

Вызов в кабинет начальника института в десять часов вечера в субботу был событием чрезвычайным. Хотя Симочка старалась казаться официально-равнодушной, но взгляд ее, как понимал Нержин, выражал тревогу.

И как будто не было возгоравшегося ожесточения ! Рубин смотрел на друга заботливо. Когда глаза его не были искажены страстью спора, они были почти женственно мягки.

— Не люблю, когда нами интересуется высшее начальство, — сказал он. — Не строй двора близ княжа дворца.

— Но мы, кажется, и не строим. Наши задания второстепенны, какие-то голоса...

— Вот Антон нас и наладит скоро по шее. Выйдут нам боком воспоминания Станиславского и речи знаменитых адвокатов, — засмеялся Рубин. — А, может, насчет артикуляции Семерки ?

— Так уж результаты подписаны, отступления нет. На всякий случай, если я не вернусь...

— Да глупости !

— Чего глупости ? Наша жизнь такая... Сожжешь там, знаешь где.

Он с грохотом защелкнул шторки тумбочек стола, ключи тихо переложил в ладонь Рубину и пошел неторопливой походкой арестанта пятого года упряжки, который потому никогда не спешит, что от будущего ждет только худшего.

9

РОЗЕНКРЕЙЦЕРЫ

По красной ковровой дорожке широкой лестницы, безлюдной в этот поздний час, под сенью медных бра и высокого лепного потолка, Нержин поднялся на третий этаж, придавая своей походке беспечность, миновал стол вольного дежурного у городских телефонов и постучал в дверь начальника института инженер-полковника госбезопасности, Антона Николаевича Яконова.

Кабинет был широк, глубок, устлан коврами, обставлен креслами, диванами, голубел посередине ярко-лазурной скатертью на длинном столе заседаний и коричнево закруглялся в дальнем углу гнутыми формами письменного стола и кресла Яконова. В этом великолепии Нержин бывал только несколько раз и больше на совещаниях, чем сам по себе.

Инженер-полковник Яконов, за пятьдесят лет, но еще в расцвете, роста выдающегося, с лицом, может быть даже чуть припудренным после бритья, в золотом пенснэ, с мягкой породностью какого-нибудь Оболенского или Долгорукова, с величественно-уверенными движениями, выделялся изо всех сановников своего министерства.

Он широко пригласил:

— Садитесь, Глеб Викентьич! — несколько хохлясь в своем полуторном кресле и поигрывая толстым цветным карандашом над коричневой гладью стола.

Обращение по имени-отчеству означало любезность и доброжелательство, одновременно не стоя инженер-полковнику труда, так как под стеклом у него лежал перечень всех заключенных с их именами-отчествами (кто не знал этого обстоятельства, поражался памяти Яконова). Нержин молча поклонился, не держа рук по швам, однако и не размахивая ими, — и выжидающе сел за изящный лакированный столик.

Голос Яконова, играючи, рокотал. Всегда казалось странным, что этот барин не имеет изысканного порока грассирования:

— Вы знаете, Глеб Викентьевич, полчаса назад пришлось мне к слову вспомнить о вас, и я подумал — каким, собственно, ветром вас занесло в Акустическую, к... Ройтману ?

Яконов произнес эту фамилию с откровенной небрежностью и даже — перед подчиненным Ройтмана ! — не присовокупив к фамилии — звание майора. Плохие отношения между начальником института и его первым заместителем зашли так далеко, что не считалось нужным их скрывать.

Нержин напрягся. Разговор, как чуял он, принимал дурной оборот. Вот с этой же небрежной иронией не тонких и не толстых губ большого рта, Яконов несколько дней назад сказал Нержину, что может быть, он, Нержин, в результатах артикуляции и объективен, но отнесся к Семерке не как к дорогому покойнику, а как к трупу беззвестного пьяницы, найденного под мавринским забором. Семерка была главная лошадка Яконова, но шла она плохо.

— ...Я, конечно, очень ценю ваши личные заслуги в науке артикуляции...

(Издевается !)

— ...Чертовски жалко, что ваша оригинальная монография напечатана засекреченным малым тиражом, лишающим вас славы некоего русского Джоржа Флетчера...

(Нагло издевается !)

— ...Однако, я хотел бы иметь от вашей деятельности несколько больший... « профит », как говорят англо-саксы. Ведь вы знаете, что при всем моем преклонении перед абстрактными науками, я — человек деловой.

Инженер-полковник Яконов находился уже на той высоте положения и еще не в той близости к Вождю Народов, при которых мог разрешить себе роскошь не скрывать ума и не воздерживаться от своеобычных суждений.

— Ну, так-таки вас спросить откровенно — ну что вы там сейчас делаете, в Акустической ?

Нельзя было придумать вопроса беспощаднее ! Яконову просто некогда было за всем доспеть, он бы раскусил.

— Какого черта вам заниматься этой попугайщиной — « стыр », « смыр » ? Вы — математик ? Универсант ? Оглянитесь.

Нержин оглянулся и привстал: в кабинете их было не двое — трое ! Навстречу Нержину с дивана поднялся скромный человек в гражданском, в черном. Круглые светлые очки поблескивали перед его глазами. В щедром верхнем свете Нержин узнал Петра Трофимовича Веренёва, довоенного до-

цента в своем Университете. Однако, по привычке, выработанной в тюрьмах, Нержин смолчал и не выказал никакого движения, полагая, что перед ним — заключенный и опасаясь ему повредить поспешным узнанием. Варенёв улыбался, но тоже казался смущенным. Голос Яконова успокоительно рокотал:

— Воистину, в секте математиков завидный ритуал сдержанности. Математики мне всю жизнь казались какими-то розенкрейцерами, я всегда жалел, что не пришлось приобщиться к их таинствам. Не стесняйтесь. Пожмите друг другу руки и располагайтесь без церемоний. Я оставлю вас на полчаса: для дорогих воспоминаний и для информации профессором Веренёвым о выдвигаемых перед нами задачах.

И Яконов поднял из полуторного кресла свое представительное нелегкое тело, означенное серебряно-голубыми погонами, и довольно легко понес его к выходу. Когда Веренёв и Нержин встретились в рукопожатии, они были уже одни.

Этот бледный человек в светлых очках показался устоявшемуся арестанту Нержину — привидением, незаконно вернувшимся из забытого мира. Между миром тем и сегодняшним прошли леса под Ильмень-озером, холмы и овраги Орловщины, пески и болотца Белоруссии, сытые польские фольварки, черепица немецких городков. В ту же девятилетнюю полосу врезались ярко-голые « боксы » и камеры Большой Лубянки. Серые провонявшиеся пересылки. Удушливые отсеки « столыпинов ». Режущий ветер в степи над голодными, холодными зэками. Все это делало совершенно невозможным возобновить в себе то чувство, с каким выписывались буковки функций действительного переменного на податливом линолеуме доски.

Почему же Нержин взволновался ?

Оба закурили и сели, разделенные маленьким лакированным столиком.

Веренёв не в первый раз встречал своих прежних студентов — по Московскому университету и по Р-скому, куда его в борьбе теоретических школ послали перед войной для проведения т в е р до й линии. Но и для него было необычное в сегодняшней встрече: уединенность подмосковного объекта, окутанного дымкой трегубой секретности, оплетенного многими рядами колючей проволоки; странный синий комбинезон вместо привычной людской одежды.

По какому-то праву, резко обозначив морщины у губ, спрашивал младший из двух, нетитулованный неудачник, а

старший отвечал — застенчиво, будто стыдясь своей незатейливой биографии ученого: эвакуация, реэвакуация, работал три года у К, защитил докторскую по топологии... До неучтивости рассеянный, Нержин не спросил даже темы диссертации из этой сухотелой науки, из которой сам когда-то выбирал курсовой проект. Ему вдруг стало жаль Веренёва... Множества упорядоченные, множества не вполне упорядоченные, множества замкнутые... Топология! Стратосфера человеческой мысли! В двадцать четвертом столетии она, может быть, и понадобится кому-нибудь, а пока... А пока...

Мне нечего сказать о солнце и мирах,
Я вижу лишь одни страданья человека...

А как он попал в это ведомство? почему ушел из Университета?.. Да направили... И нельзя было отказаться?.. Да отказаться можно было, но... Тут и ставки двойные... Есть детишки?.. Четверо...

Стали зачем-то перебирать студентов нержинского выпуска, последний экзамен которого был в день начала войны. Кто поталантливей — контузило, убило. Такие вечно лезут вперед, себя не берегут. От кого и ждать было нельзя — или аспирантуру кончает, или ассистенствует. Да, ну а гордость-то наша Дмитрий Дмитрич! Горяинов-Шаховской!?

Горяинов-Шаховской! Маленький старик, уже неопрятный от глубокой старости, то перемажет мелом свою черную вельветовую куртку, то тряпку от доски положит в карман вместе носового платка. Живой анекдот, собранный из многочисленных «профессорских» анекдотов, душа Варшавского императорского университета, переехавшего в девятьсот пятнадцатом в коммерческий Р. как на кладбище. Полвека научной работы, поднос поздравительных телеграмм — из Милуоки, Кэптауна, Йокагамы. А потом вычищен был комиссией по чистке в порядке освежения аппарата. Потом поехал в Москву, привез от Калинина записку: не трогать этого старца! (говорили, будто отец Калинина был крепостным у отца профессора).

Тогда не стали трогать. До того стали не трогать, что вчуже становилось страшно: то напишет исследование по естествознанию с математическим доказательством бытия Бога. То на публичной лекции о своем любимце Ньютоне прогудит из-под желтых усов:

— Тут мне прислали записку: «Маркс написал, что

Ньютон — материалист, а вы говорите — идеалист». Отвечаю: Маркс неправ. Ньютон верил в Бога, как всякий крупный ученый.

Ужасно было записывать его лекции! Стенографистки приходили в отчаяние! По слабости ног усевшись у самой доски, к ней лицом, к аудитории спиной, он правой рукой писал, левой следом стирая — и все время что-то непрерывно бормотал сам с собой. Понять его идеи во время лекции было совершенно исключено. Но когда Нержину с товарищем удавалось вдвоем, деля работу, записать, а за вечер разобрать — душу осеняло нечто, как мерцание звездного неба.

Так что же с ним?.. При бомбежке Р. старика контузило, полуживого его увезли в Киргизию. Потом он вернулся, но, кажется, в университете его уже не держат, он в пединституте теперь... Значит, жив?.. Жив... Удивительно. Идет время и не идет...

Но за что, все-таки... Нержин с е л?

Нержин усмехнулся.

— Ну, а за что, все-таки?

— За образ м ы с л е й, Петр Трофимович. В Японии есть такой закон, что человека можно судить за образ его невысказанных мыслей.

— В Японии! Но ведь у нас такого закона нет?..

— У нас-то он как раз и есть и называется п я т ь д е с я т в о с е м ь - д е с я т ь.

И Нержин плохо стал слышать то главное, для чего Яконов свел его с Веренёвым. Веренёв прислан для углубления и систематизации криптографическо-шифровальной работы здесь. Нужны математики, много математиков, и Веренёву радостно увидеть среди них своего студента, подававшего столь большие надежды.

Нержин полусознательно задавал уточняющие вопросы, Петр Трофимович, постепенно разгораясь в математическом задоре, стал разъснять задачу, рассказывая, какие пробы придется сделать, какие формулы перетряхнуть. А Нержин думал о тех мелко исписанных листиках, которые так безмятежно было писать, обложась бутафорией, под затаённо-любящие взгляды Симочки, под добродушное бормотание Рубина. Эти листики были — его первая тридцатилетняя зрелость.

Конечно, завиднее достичь зрелости в своем исконном предмете. Зачем, кажется, ему головой соваться в эту пасть, откуда и историки-то сами уносят ноги в прожитые безопасные века? Что влечет его разгадать в этом раздутом мрачном

великане, кому только ресницею одной пошевельнуть — и отлетит у Нержина голова? Как говорится — *что тебе надо больше всех*? Больше всех — что тебе надо?

Так отдаться в лапы осьминогу криптографии?... Четырнадцать часов в день, не отпуская и на перерывы, будут владеть его головой, теория вероятностей, теория чисел, теория ошибок... Мертвый мозг. Сухая душа. Что же останется на размышления? Что же останется на познание жизни?

Зато — шарашка. Зато не лагерь. Мясо в обед. Сливочное масло утром. Не изрезана, не ошершавлена кожа рук. Не отморожены пальцы. Не валишься на доски замертво бесчувственным бревном, в грязных чунях, — с удовольствием ложишься в кровать под беленький пододеяльничек.

Для чего же жить всю жизнь? Жить, чтобы жить? Жить, чтобы сохранять благополучие тела?

Милое благополучие! Зачем — ты, если ничего, кроме тебя?..

Все доводы разума — да, я согласен, гражданин начальник!

Все доводы сердца — отойди от меня, сатана!

— Петр Трофимович! А вы... сапоги умеете шить?

— Как вы сказали?

— Я говорю: *сапоги* вы меня шить не научите? Мне бы вот сапоги научиться шить.

— Я, простите, не понимаю...

— Петр Трофимович! В скорлупе вы живете! Мне ведь, окончу срок, ехать в глухую тайгу, на вечную ссылку. Работать я руками ничего не умею — как проживу? Там медведи бурые. Там Леонарда Эйлера функции еще три мезозойских эры никому не понадобятся.

— Что вы говорите, Нержин? В случае успеха работы вас как криптографа досрочно освободят, снимут судимость, дадут квартиру в Москве...

— Снимут судимость! — зло воскликнул Нержин, и глаза его сузились. — Да откуда вы взяли, что я хочу этой подачки: хорошо работал, так мол освобождайся?! Мы тебя *прощаем*! Нет, Петр Трофимович! — и он опущенным и потому утяжеленным пальцем постучал по лакированной поверхности столика, — не с того конца! Пусть признают сперва, что за образ мыслей нельзя сажать — а там *мы* посмотрим — прощаем ли!

Дверь растворилась. Вошел осанистый вельможа с золотым пенснэ на дородном носу.

— Ну, как, розенкрейцеры ? Договорились ?

Не поднимаясь, твердо встретив взгляд Яконова, Нержин ответил :

— Воля ваша, Антон Николаич, но я считаю свою задачу в Акустической лаборатории не законченной.

Яконов уже стоял за своим столом, опершись о стекло суставами мягких кулаков. Только знающие его могли бы признать, что это был гнев, когда он сказал:

— Математика ! — и артикуляция . . . Вы променяли пищу богов на чечевичную похлебку. Идите.

И двуцветным грифелем толстого карандаша начертил в настольном блокноте:

— Нержина — с п и с а т ь .

10

ЗАЧАРОВАННЫЙ ЗАМОК

Уже много лет — военных и послевоенных, Яконов занимал верный пост главного инженера Отдела специальной техники. Он с достоинством носил заслуженные его знаниями серебряные погоны с голубой окаёмкой и тремя крупными звездами инженер-полковника. Пост его был таков, что руководство можно было осуществлять издали и в общих чертах, порою сделать эрудированный доклад перед высоко-чиновными слушателями, порою умно и цветисто поговорить с инженером над его готовой моделью, а в общем слыть за знатока, не отвечать ни за что и получать в месяц изрядно тысяч рублей. Пост был таков, что красноречием своим Яконов осенял колыбели всех технических затей Отдела; увихал от них в пору их трудного возмужания и болезней роста; вновь чтил своим присутствием или долблённые корыта их черных гробов, или золотое коронование героев.

Антон Николаевич не был так молод и так самонадеян, чтобы самому гнаться за обманчивым поблеском Золотой Звезды или значком сталинского лауреата, чтобы собственными руками подхватывать каждое задание министерства или даже самого Хозяина. Антон Николаевич был уже достаточно опытен и в годах, чтобы избегать этих спаянных вместе волнений, взлетов и глубин.

Придерживаясь таких взглядов, он безбедно существовал до января тысяча девятьсот сорок восьмого года. В этом январе Отцу западных и восточных народов кто-то подсказал идею создать особую, только для него предназначенную, секретную телефонию — такую, чтобы никто никогда не мог бы понять, даже перехватив, его телефонный разговор. Августейшим пальцем с желтым пятном никотина у ногтя, Отец Народов выбрал на карте объект Маврино, до того занимавшийся созданием портативных милицейских радиопередатчиков. Исторические слова при этом были сказаны такие:

— За̀-чэм мне эти передатчики ? Ква̀р-тырных варо̀в ловить ? Ка-му оны мешают ?

И сроку дал — до первого января сорок девятого года. Потом подумал и сказал:

— Ладна, да̀ первого мая.

Задание было сверхответственно и исключительно по сжатому сроку. В министерстве подумали — и определили Яконову вытаскивать Маврино самому. Тщетны были попытки Яконова доказать свою загруженность, невозможность совмещения. Начальник Отдела, Фома Гурьянович Осколупов посмотрел на Яконова кошачьими зеленоватыми глазами — Яконов вспомнил замаранность своей анкеты (он шесть лет просидел в тюрьме) и смолк.

С тех пор, скоро два года, пустовал кабинет главного инженера Отдела в аппартаментах министерства. Главный инженер дневал и ночевал в загородном здании, венчавшемся шестиугольной башнею над куполом отмененного алтаря.

Сперва даже приятно было самому поруководить: устало захлопнуть дверцу в персональной « Победе », убаюканно домчаться в Маврино, миновать в оплетённых колючкою воротах вахтёра, отдающего приветствие, и весной, когда все юно так и так незрело, ходить в окружении свиты капитанов и майоров меж столетними липами мавринской рощи. Начальство еще ничего не требовало от Яконова — только планы, планы, планы и соцобязательства. Зато рог изобилия опрокинулся над Мавринским институтом: импортные и советские радиодетали, аппаратура, мебель; техническая библиотека на тридцать тысяч новинок; заключенные специалисты, вызванные из лагерей; лучшие оперуполномоченные и архивариусы, зубры секретного дела; наконец, особая железная охрана. Понадобилось отремонтировать старый корпус, возвести новые — для ш т а б а спецтюрьмы, для экспериментальных механических мастерских, — и в пору желтоватого цветения лип, когда они слади́ли запахом, под сенью исполинов послышалась печальная речь нерадивых немецких военнопленных в потрепанных ящеричных кителях. Эти ленивые фашисты на четвертом году послевоенного плена совершенно не хотели работать. Невыносимо было русскому взгляду смотреть, как они разгружают машины с кирпичом: медленно, бережно, будто он из хрусталя, передавали с рук на руки каждый кирпичик до укладки в штабель. Ставя радиаторы под окнами, перестилая подгнившие полы, немцы слонялись по сверхсекретным комнатам и исподлобья читали то немецкие, то

английские надписи на аппаратуре — германский школьник мог бы догадаться, какого профиля эти лаборатории ! Все это было изложено в рапорте заключенного Рубина на имя инженер-полковника и было совершенно справедливо, но очень неудобен был этот рапорт оперуполномоченным Шикину и Мышину (в арестантском просторечии — Шишкину-Мышкину), ибо что теперь делать ? не рапортовать же выше о своей оплошности ? А момент все равно был упущен, потому что военнопленных уже отправляли на родину, и кто уехал в Западную Германию, тот мог, если это интересно, доложить желающим расположение всего института и отдельных лабораторий. И потому, не дав хода рапорту Рубина, майор Шикин налег на то, чтобы здесь, на объекте, ни одна комната не знала о секретах другой больше, чем о рыночных новостях острова Мадагаскара. Когда же офицеры других управлений их министерства искали инженер-полковника по служебным делам, он не имел права называть им адреса своего объекта, а для соблюдения неущербленной секретности ехал разговаривать с ними на Лубянку.

Немцев отпускали, а на ремонт и строительство вместо немцев прислали таких же, как на шарашке, зэков, только в грязных рваных одеждах и не получавших белого хлеба. Под липами теперь по надобности и без надобности гудела добрая лагерная брань, напоминавшая зэкам шарашки об их устойчивой родине и неотвратимой судьбе; кирпичи с грузовика как ветром срывало, так что уцелевших почти не оставалось, а только половняк; зэки же с покрикиванием « раздва-взяли ! » опрокидывали на кузов грузовика фанерный колпак, затем, чтоб их легче было охранять, влезали под него сами, весело обнимаясь с матюгающимися девками, всех их под колпаком запирали и увозили московскими улицами — в лагерь, ночевать.

Так в этом волшебном замке, отделенном от столицы и ее несведущих жителей очарованною огнестрельною зоной, лемуры в черных бушлатах создавали сказочные перемены: водопровод, канализацию, центральное отопление и разбивку клумб.

Между тем благоучрежденное заведение росло и ширилось. В состав Мавринского института влили в полном штате еще один исследовательский институт, уже занимавшийся сходной работой. Этот институт приехал со своими столами, стульями, шкафами, папками, скоросшивателями, аппаратурой, стареющей не по годам, а по месяцам, и со своим начальником

инженер-майором Ройтманом, который стал заместителем у Яконова. Увы, создатель новоприехавшего института, его вдохновитель и покровитель, полковник Яков Иванович Мамурин, начальник Особой и Специальной связи, один из самых выдающихся государственных мужей, погиб прежде того при трагических обстоятельствах.

Однажды Вождь Всего Прогрессивного Человечества разговаривал с провинцией Янь-Нань и остался недоволен хрипами и помехами в трубке. Он позвонил Берии и сказал по-грузински:

— Лаврентий ! Какой дурак у тебя начальником связи ? Убери.

И Мамурина у б р а л и — то-есть, посадили на Лубянку. Его убрали, но не знали, что с ним делать дальше. Не было привычных дальнейших указаний — судить ли и за что, и какой давать срок. Будь это человек посторонний, ему бы дали ч е т в е р т н у ю и п я т ь п о р о г а м и отправили бы в Норильск. Но помня истину « сегодня ты, а завтра я », бывшие коллеги попридержали Мамурина; когда же убедились, что Сталин о нем забыл — без следствия и без срока отправили на загородную дачу.

Как-то, летним вечером 48-го года, на мавринскую шарашку привезли нового зэка. Все было необычно в этом приезде: и то, что привезли его не в воронке, а в легковой машине; и то, что сопровождал его не простой вертухай, а Начальник Отдела Тюрем; и то, наконец, что первый ужин ему понесли под марлевой накидкой в кабинет начальника спецтюрьмы.

Слышали (зэкам ничего не положено слышать, но они всегда все слышат) — слышали, как приезжий сказал, что « колбасы он не хочет » (? !), начальник же Отдела Тюрем уговаривал его « покушать ». Подслушал это через перегородку зэк, который пошел к врачу за порошком. Обсудив такие вопиющие новости, коренное население шарашки пришло к выводу, что приезжий все-таки зэк, и, удовлетворенное, легло спать.

Где ночевал приезжий в ту ночь — историки шарашки не выяснили. Но ранним утренним часом у широкого мраморного крыльца (куда позже арестантов уже не пускали) один простецкий зэк, косолапый слесарь, столкнулся с новичком лицом к лицу.

— Ну, браток, — толкнул он его в грудки, — откуда ? На чем погорел ? Садись, покурим.

Но приезжий в брезгливом ужасе отшатнулся от слесаря. Бледнолимонное лицо его исказилось. Слесарь разглядел белые глаза, выпадающие светлые волосы на облезшем черепе и в сердцах сказал:

— Ух, ты, гад из стеклянной банки ! Ни хрена, после отбоя запрут с нами — разговоришься !

Но « гада из стеклянной банки » в общую тюрьму так и не заперли. В коридоре лабораторий, на третьем этаже, нашли для него маленькую комнатку, бывшую проявительную фотографов, втеснили туда кровать, стол, шкаф, горшок с цветами, электроплитку и сорвали картон, закрывавший обрешеченное окошко, выходившее даже не на свет Божий, а на площадку задней лестницы, сама же лестница — на север, так что свет и днем еле брезжил в камере привилегированного арестанта. Конечно, окно можно было бы и разрешетить, но тюремное начальство, после колебаний, решило все же решеточку оставить. Даже оно не понимало этой загадочной истории и не могло определить верной линии поведения.

Тогда-то и окрестили приехавшего « Железной Маской ». Долгое время никто не знал его имени. Никто не мог и поговорить с ним: видели через окно, как он сидел, понурясь, в своей одиночке или бледной тенью бродил под липами в часы, когда простым зэкам гулять было не дозволено. Железная Маска был так желт и тощ, как только бывает доходно̀й зэк после хорошего двухлетнего следствия, — однако, безрассудный отказ от колбасы противоречил этой версии.

Много позже, когда Железная Маска уже стал выходить на работу в Семерку, зэки узнали от вольных, что он и был тот самый полковник Мамурин, который в Отделе Особой Связи запрещал проходить по коридору, ступая на пятки, а только на носках; иначе он в бешенстве выбегал через комнату секретаря и кричал:

— Ты м и м о ч ь е г о кабинета топаешь, хам ? Как твое фамилие ?

Много позже выяснилось и то, что причина страданий Мамурина была нравственная. Мир вольных оттолкнул его, к миру зэков он сам пренебрегал пристать. Сперва в своем одиночестве он все читал книги — такие бессмертные творения, как « Борьба за мир » Панферова, « Кавалер золотой звезды » Бабаевского, читал Соболева, Никулина, потом стихи Прокофьева, Грибачева — и ! — с ним случилось чудесное превращение — он и сам стал писать стихи ! Известно, что поэтов рождает несчастье и душевные муки, а муки у Мамури-

на были острей, чем у какого-нибудь другого арестанта. Сидя второй год без следствия и суда, он по-прежнему жил только последними директивами и по-прежнему боготворил Мудрого Учителя. Мамурин так открывался Рубину, что не тюремная баланда страшна (ему, кстати, готовили отдельно), и не разлука с семьей (его, между прочим, один раз в месяц тайком возили на собственную квартиру с ночевкой), вообще — не примитивные животные потребности, — горько лишиться доверия Иосифа Виссарионовича, больно чувствовать себя не полковником, а разжалованным и опороченным. Вот почему таким, как он или Рубин, неизмеримо тяжелей переносить заключение, чем окружающей беспринципной сволочи.

Рубин был коммунист. Но услышав откровения своего как будто ортодоксального единомышленника и почитав его стихи, Рубин отшатнулся от такой находки, стал избегать Мамурина, даже прятаться от него, — все же свое время проводил среди людей, несправедливо на него нападающих, но делящих с ним равную участь.

А Мамурина стегало безутешное, как зубная боль, стремление — оправдаться теперь на работе. Увы, все знакомство со связью его, начальника связи, кончалось на держании в руках телефонной трубки. Поэтому р а б о т а т ь он, собственно, не мог, мог только руководить. Но и руководство, если б это было руководство делом заведомо-гиблым, не могло вернуть ему расположения Лучшего Друга Связистов. Руководить надо было делом заведомо надёжным.

К этому времени в Мавринском институте вырисовывались два таких обнадёживающих дела: Вокодер и Семерка.

По какой-то глубинной причине, рвущей сети логических доводов, люди сходятся или не сходятся с первого взгляда. Яконов и его заместитель Ройтман не сошлись. Что ни месяц, они становились невыносимее друг для друга и лишь, впряженные более тяжелой рукой в одну колесницу, не могли из нее вырваться, а только тянули в разные стороны. Когда секретная телефония начала осуществляться пробными параллельными разработками, Ройтман, кого мог, стянул в Акустическую для разработки системы « вокодер », что по-русски окрестили « аппарат искусственной речи ». В ответ и Яконов ободрал все прочие группы: самых схватчивых инженеров и самую богатую импортную аппаратуру стянул в Семерку, лабораторию № 7. Хилые поросли прочих разработок погибли в неравной борьбе.

Мамурин избрал для себя Семерку: и потому, что не мог

же он войти в подчинение к своему бывшему подчиненному Ройтману, и потому, что в министерстве тоже считали разумным, чтоб за плечами беспартийного подпорченного Яконова горел бы неусыпный огненный глаз.

С этого дня Яконов мог быть или не быть ночью в институте — разжалованный полковник МВД, подавивший в себе Гомера и Грибачева, одинокий узник с горячечными белыми глазами, с безобразной худобой ввалившихся щек, отклоняя пищу и сон, таял на руководстве до двух часов ночи, переведя Семерку на пятнадцатичасовой рабочий день. Такой удобный рабочий день мог быть только в Семерке, ибо над Мамуриным не требовалось контроля вольняшек и их особых ночных дежурств.

Туда, в Семерку, и пошел Яконов, когда оставил Веренёва с Нержиным у себя в кабинете.

11

СЕМЕРКА

Как у простых солдат, хотя никто не объявляет им генеральских диспозиций, всегда бывает ясное сознание — попали они на направление главного или неглавного удара, — так и среди трехсот зэков шарашки Маврино утвердилось верное представление, что на решающий участок выдвинута Семерка.

Все в институте знали ее истинное наименование — «лаборатория клиппированной речи», но предполагалось, что об этом никто не знает. Слово клиппированная было с английского и означало «стриженная» речь. Не только все инженеры и переводчики института, но и монтажники, токари, фрезеровщики, чуть ли даже не глуховатый столяр знали, что установка эта строится с использованием американских образцов, но принято было, что — только по отечественным; и поэтому американские радиожурналы со схемами и теоретическими статьями о клиппировании, продававшиеся в Нью Йорке на лотках книжных разносчиков, здесь были пронумерованы, прошнурованы, засекречены и опечатывались от американских же шпионов в несгораемых шкафах.

Клиппирование, демпфирование, амплитудное сжатие, электронное дифференцирование и интегрирование привольной человеческой речи было таким же инженерным издевательством над ней, как если б кто-нибудь взялся расчленить Новый Афон или Гурзуф на кубики вещества, втиснуть их в миллиард спичечных коробочек, перепутать, перевезти самолетом в Нерчинск, на новом месте распутать, неотличимо собрать и воссоздать субтропики, шум прибоя, южный воздух и лунный свет.

То же, в пакетиках-импульсах, надо было сделать и с речью, да еще воссоздать ее так, чтобы не только было все понятно, но Хозяин мог бы по голосу узнать, с кем говорит.

На шарашках, в этих полубархатных заведениях, куда, казалось, не проникал зубовный скрежет лагерной борьбы за существование, издавна было достойно учреждено начальст-

вом: в случае успеха разработки, ближайшие к ней зэки получали всё: — свободу, чистый паспорт, квартиру в Москве, остальные же не получали ничего — ни дня скидки со сроку, ни ста граммов водки в честь победителей.

Середины не было.

Поэтому арестанты, наиболее усвоившие ту особенную лагерную цепкость, с которой, кажется, зэк может ногтями удержаться на вертикальном зеркале, — самые цепкие арестанты старались попасть в Семерку, чтоб из нее выскочить на волю.

Так попал сюда жестокий инженер Макрушев, прыщеватое лицо которого дышало готовностью умереть за идеи инженер-полковника Яконова. Так попали и другие, того же духа.

Но проницательный Яконов выбирал в Семерку и из тех, кто не напрашивался. Таков был инженер Амантай Булатов, казанский татарин в больших роговых очках, прямодушный, с оглушающим смехом, осужденный на десять лет за плен и за связи с врагом народа Мусой Джалилем. Таков был и Андрей Андреевич Потапов, специалист совсем не по слабым токам, а по сверх-высоким напряжениям и строительству электро-станций. На шарашку Маврино он попал по ошибке неосведомленного человека, отбиравшего карточки в картотеке ГУЛага. Но, будучи истинным инженером и беззаветным работягой, Потапов в Маврино быстро развернулся и стал незаменимым при аппаратуре наиболее точных и сложных радио-измерений.

Еще тут был инженер Хоробров, большой знаток радио. В группу № 7 он был назначен с самого начала, когда она была рядовая группа. Последнее время он тяготился Семеркой, никак не включался в ее бешенный темп — и Мамурин тоже тяготился им.

Наконец, « людей и лошадей знобя », сюда, в мавринскую Семерку, был доставлен из-под Салехарда, со знаменитой 501-й стройки, из бригады усиленного режима каторжного лагеря мрачный арестант и гениальный инженер Александр Бобынин — и сразу поставлен надо всеми. Бобынин был взят из самого зева смерти. Бобынин был первый кандидат на освобождение в случае успеха. Поэтому он работал и сидел после полуночи, но работал с таким презрительным достоинством, что Мамурин боялся его и ему одному не смел делать замечаний.

Семерка была такая же комната, как Акустическая, толь-

ко этажом над ней. Так же она была заставлена аппаратурой и смешанной мебелью, только не было в ее углу одоробла акустической будки.

Яконов по несколько раз на дню бывал в Семерке, поэтому приход его не воспринимался тут как приход большого начальства. Только Маркушев и другие угодники выдвинулись вперед и захлопотали еще радостней и быстрей, да Потапов добавил частотомер — в просвет, на многоэтажный стеллаж приборов, отгораживающий его от остальной лаборатории. Он свою работу выполнял без рывков, с долгами всеми был разочтен, и сейчас мирно ладил портсигар из прозрачной красной пластмассы, предназначенный на завтрашнее утро в подарок.

Мамурин поднялся навстречу Яконову как равный к равному. Он был не в синем комбинезоне простых зэков, а в костюме дорогой шерсти, но и этот наряд не красил его изможденного лица и костлявой фигуры.

То, что было сейчас изображено на его лимонном лбу и бескровных губах нежильца на этом свете, условно означало и было воспринято Яконовым как радость:

— Антон Николаич ! Перестроили на каждый шестнадцатый импульс — и гораздо лучше стало. Вот, послушайте, я вам почитаю.

« Почитать » и « послушать » — это была обычная проба качества телефонного тракта: тракт менялся по несколько раз в день — добавкой, или устранением, или заменой какого-нибудь звена, а устраивать каждый раз артикуляцию было громоздко, невдоспех за конструктивными мыслями инженеров, да и расчета не было получать неутешительные цифры от этой науки, когда-то объективной, а теперь захваченной ройтмановским выкормышем Нержиным.

Привычно подчиненный единой мысли, ничего не спрашивая и не объясняя, Мамурин пошел в дальний угол комнаты и там, отвернувшись, прижав трубку к скуле, стал читать в телефон газету, а Яконов около стойки с панелями надел наушники, включенные на другом конце тракта, и стал слушать. В наушниках творилось что-то ужасное: звуки разрывались треснами, грохотами, визжанием. Но как мать с любовью вглядывается в уродства своего детёныша, так Яконов не только не сдергивал телефонов со страдающих ушей, но плотнее вслушивался и находил, что это ужасное было как будто лучше того ужасного, которое он слышал перед обедом. Речь Мамурина была вовсе не живая разговорная речь, а раз-

меренное нарочито-четкое чтение, к тому же Мамурин читал статью о наглости югославских пограничников и о распоясанности кровавого палача Югославии Ранковича, превратившего свободолюбивую страну в сплошной застенок, — поэтому Яконов легко угадывал недослышанное, понимал, что это — угадка, и забывал, что это угадка, и все более утверждался, что слышимость с обеда стала лучше.

И ему хотелось поделиться с Бобыниным. Грузный, широкоплечий, с головой, демонстративно остриженной под польку, хотя на шарашке разрешались любые прически, — Бобынин сидел неподалеку. Он не обернулся при входе Яконова в лабораторию и, склонясь над длинной лентой фото-осциллограммы, что-то мерил остриями измерителя.

Этот Бобынин был букашка мироздания, ничтожный зэк, член последнего сословия. Яконов был вельможа.

И Яконов не решался отвлечь Бобынина, как ему этого ни хотелось !

Можно построить Эмпайр-стейт-билдинг. Вышколить прусскую армию. Взнести иерархию государства выше престола Всевышнего.

Нельзя преодолеть какого-то странного духовного превосходства иных людей.

Бывают солдаты, которых боятся их командиры рот. Чернорабочие, перед которыми робеют прорабы. Подследственные, вызывающие трепет у следователей.

Бобынин знал все это и нарочно так ставил себя с начальством. Всякий раз, разговаривая с ним, Яконов ловил себя на трусливом желании угодить этому зэку, не раздражать его, — негодовал на это чувство, но замечал, что и все другие так же разговаривают с Бобыниным.

Снимая наушники, Яконов прервал Мамурина:

— Лучше, Яков Иваныч, определенно лучше ! Хотелось бы Рубину дать послушать, у него ухо хорошее.

Кто-то когда-то, довольный отзывом Рубина, сказал, что у него у х о х о р о ш е е. Бессознательно это подхватили и поверили в это. Рубин на шарашку попал случайно, перебивался тут переводами. Было у него левое ухо, как у всех людей, а правое даже приглушено контузией на Северо-Западном фронте, что после похвалы пришлось скрывать. Славой своего « хорошего уха » он и держался тут прочно, пока еще прочней не окопался капитальной трехтомной работой « Русская речь с точки зрения слухо-синтетической и электроакустической ».

Позвонили в Акустическую за Рубиным. Пока ждали его, стали, уже по десятому разу, слушать сами. Маркушев, сильно сдвинув брови, с напряженными глазами, чуть-чуть подержал трубку и резко заявил, что — лучше, что немного лучше (идея перестройки на шестнадцать импульсов принадлежала ему, и он еще до перестройки знал, что будет лучше). Дырсин кривовато, или извиняясь как бы, улыбнулся и кивнул головой. Булатов завопил на всю лабораторию, что надо согласовать с шифровальщиками и перестроить на тридцать два импульса. Двое услужливых электромонтажников, разодрав наушники между собой, стали слушать каждый одним ухом и тотчас же с кипучей радостью подтвердили, что стало именно разборчивее.

Бобынин, не поднимая головы, продолжал мерить осциллограмму.

Черная стрелка больших электрических часов на стене перепрыгнула на половину одиннадцатого. Скоро во всех лабораториях, кроме Семерки, должны были кончать работу, сдавать секретные журналы в несгораемый шкаф, зэки — уходить спать, а вольняшки — бежать к остановке автобусов, ходящих попоздну уже реже.

Илья Терентьевич Хоробров задней стороной, не на виду у начальства, тяжелой поступью прошел за стеллаж к Потапову. Хоробров был вятич, и из самого медвежьего угла — из-под Кая, откуда сплошным тысячеверстным царством не на одну Францию по болотам и лесам раскинулась страна ГУЛаг. Он навидался и понимал побольше многих, но необходимость постоянно скрывать свои мысли, подавлять свое ощущение справедливости, — пригнула его фигуру, сделала взгляд неприятным, врезала трудные морщины у губ. Наконец, в первые послевоенные выборы он не выдержал и на избирательном бюллетене написал мужицкое ругательство против самого Гениальнейшего из Гениальных. Это было время, когда из-за нехватки рабочих рук не восстанавливались жилища, не засевались поля. Но несколько лбов-сыщиков в течение месяца изучали почерки всех избирателей участка — и Хоробров был арестован. В лагерь он ехал с простодушной радостью, что хоть выскажется там от души. Но не таким оказался бытовой лагерь ! — на Хороброва посыпались доносы стукачей, и ему пришлось смолкнуть.

Сейчас благоразумие требовало, чтобы он толпошился средь общей работы Семерки и обеспечил бы себе если не освобождение, то безбедное существование. Но тошнота от

несправедливости, даже не касавшейся лично его, поднялась в нем до той высоты, когда человеку уже не хочется и жить.

Зайдя за стеллаж Потапова, он приклонился к его столу и тихо предложил:

— Андреич ! Смываться пора. Суббота.

Потапов как раз прилаживал к прозрачному красному портсигару бледно-розовую защелку. Он отклонил голову, любуясь, и спросил:

— Как, Терентьич, подходит ? По цвету ?

Не получив ни одобрения, ни порицания, Потапов посмотрел на Хороброва поверх очков в простой металлической оправе, как смотрят бабушки, и сказал:

— Зачем раздражать дракона ? Время работает на нас. Антон уйдет и мы т о т ч а с же испаримся.

У него была манера иногда делить по слогам и поддерживать мимикой какое-нибудь важное слово во фразе.

Тем временем в лаборатории уже был Рубин. Именно сейчас, к одиннадцати часам ночи, когда работа кончалась, Рубину, и без того весь вечер настроенному лирически, хотелось только идти скорей в тюрьму и продолжать Хемингуэя. Однако, придав своему лицу подобие большого интереса к новому качеству тракта Семерки, он попросил, чтобы читал обязательно Маркушев, ибо его высокий голос с основным тоном 160 герц должен проходить хуже (этим подходом к делу сразу проявлялся специалист). Надев наушники, Рубин несколько раз подавал команды Маркушеву читать то громче, то тише, то повторять фразы « Жирные сазаны ушли под палубу » и « Вспомнил, спрыгнул, победил » — фразы, придуманные Рубиным же для проверки отдельных звукосочетаний и известные всем на шарашке. Наконец, он вынес приговор, что общая тенденция к улучшению есть, гласные звуки проходят просто замечательно, несколько хуже с глухими зубными, еще беспокоит его форманта « ж » и вовсе не идет столь характерное для славянских языков сочетание согласных « всп », над чем и надо поработать.

Сразу раздался хор голосов, обрадованный, что, значит, тракт стал лучше. Бобынин поднял голову от осциллограммы и насмешливым густым басом сказал:

— Глупости ! Лапоть вправо, лапоть влево. Не наугад щупать надо, а метод искать.

Все неловко замолчали под его твердым неотклоняемым взглядом.

А за стеллажом Потапов грушевой эссенцией приклеивал

к портсигару розовую защелку. Все три года немецкого плена Потапов просидел в лагерях и выжил главным образом своим нечеловеческим умением делать привлекательные зажигалки, портсигары и мундштуки из отбросов, да еще и не пользуясь никакими инструментами.

Никто не спешил уйти с работы! И это было накануне украденного воскресения!

Хоробров выпрямился. Положив свои секретные дела на стол Потапову для сдачи в шкаф, он твердо вышел из-за стеллажа и неторопливо направился к выходу, по дороге обходя всех столпившихся у стойки клиппера.

Мамурин бледно полыхнул ему в спину. Окликнул:

— Илья Терентьич! А вы почему не послушаете? Вообще — куда вы направились?

Хоробров также неторопливо обернулся и, искаженно улыбаясь, ответил раздельно:

— Я хотел бы избежать говорить об этом вслух. Но если вы настаиваете, извольте: в данный момент я иду в уборную, то бишь в сортир. Если там обойдется все благополучно — проследую в тюрьму и лягу спать.

В наступившей густой тишине Бобынин, чьего смеха почти никогда не слышали, гулко расхохотался.

Это был бунт на военном корабле! Словно собираясь ударить Хороброва, Мамурин сделал к нему шаг и спросил визгливо:

— То есть, как это — спать? Все люди работают, а вы — спать?

Уже взявшись за ручку двери, Хоробров ответил едва на грани самообладания:

— Да так — просто с п а т ь! Я по конституции свои двенадцать часов отработал — и хватит! — И, уже начиная зарываться, что-то хотел добавить непоправимое, но дверь распахнулась — и дежурный по институту объявил:

— Антон Николаич! Вас — срочно к городскому телефону.

Яконов поспешно встал и вышел перед Хоробровым.

Вскоре и Потапов погасил настольную лампу, переложил свои и Хороброва секретные дела на стол к Булатову и средним шагом, совсем безобидно, прохромал к выходу. Он прилегал на правую ногу после пережитой еще до войны аварии с мотоциклом.

Звонил Яконову зам. министра Севастьянов. К двенадцати часам ночи он вызывал его в министерство.

И это была жизнь!..

Яконов вернулся в свой кабинет к Веренёву и Нержину, отправил второго, первому предложил подъехать в его машине, оделся, уже в перчатках вернулся к столу и под записью «Нержина — списать» добавил:

«и — Хороброва».

12

И НАДО БЫЛО СОЛГАТЬ

Когда Нержин, сознавая, что произошло непоправимое, но еще до конца его не почувствовав, вернулся в Акустическую, — Рубина не было. Остальные были все те же, и Валентуля, возясь в проходе с панелью, усаженной десятками радиоламп, вскинул живые глаза.

— Спокойно, парниша ! — задержал он Нержина взброшенной пятерней, как автомашину. — Почему у меня в третьем каскаде нет накала, вы не знаете ? — И вспомнил: — Да ! А зачем вас вызывали ? Кес кэсэ пассэ ?

— Не хамите, Валентайн, — хмуро уклонился Нержин. Этому жрецу своей науки он не мог бы признаться, что отрёкся, только что отрёкся от математики.

— Если у вас неприятности, — посоветовал Валентин, — могу порекомендовать: включайте танцевальную музыку. Вы читали этого ?.. как его ... ну, папироса в зубах, метр курим, два бросаем ... сам лопатой не ворочает, других призывает ... ну, вот это:

« Моя милиция
Меня стережет !
В запретной зоне
Как хорошо ! »

В самом деле — чего нам еще ?

Но уже не слушая, занятый новой мыслью, Прянчиков подавал команду:

— Вадька ! Осциллограф включи-ка !

Нержин подошел к своему столу, еще не сел и увидел, что Симочка была вся в тревоге. Она открыто смотрела на Глеба, и тонкие бровки ее подрагивали.

— А где б о р о д а , Серафима Витальевна ?

— Его тоже Антон Николаевич вызвал, в Семерку, — громче ответила Симочка. И, отойдя к щитку коммутатора, еще громче, чтобы слышно было всем, попросила:

— Глеб Викентьич ! Вы проверьте, как я новые таблицы читаю. Еще есть полчаса.

Симочка была в артикуляции одним из дикторов. Полагалось следить, чтобы чтение всех дикторов было стандартным по степени внятности.

— Где ж я вас проверю в таком шуме ?

— А... в будку пойдемте. — Она со значением посмотрел на Нержина, взяла таблицы, написанные тушью на ватмане, и прошла в будку.

Нержин последовал за ней. Закрыл за собой сперва полую, аршинной толщины, дверь на засов, потом протиснулся в маленькую вторую дверь, закрыл и ее, опустил штору — и Сима повисла у него на шее, привстав на цыпочки, целуя в губы.

Он взял на руки эту легкую девушку — было так тесно, что носки ее туфель стукнулись о стену — сел на единственный стул перед концертным микрофоном и на колени к себе опустил ее.

— Что вас Антон вызывал ? Что было плохого ?

— А усилитель не включен ? Мы не договоримся, что нас через динамик будут транслировать ? . .

— ... Что было плохое ?

— Почему ты думаешь, что плохое ?

— Я сразу почувствовала, когда еще звонили. И по вас вижу.

— Сколько раз тебе говорить, чтобы называла меня на « ты » ?

— Но если мне трудно ?

— А я так хочу...

— Что было плохое ?

Тепло ее легонького тела передавалось его коленям и через их прижатые щеки. Это было так необычно для арестанта ! Сколько уже лет он не чувствовал этого так близко !

Симочка была удивительно легка: кости ли ее были надуты воздухом, из воска ли ее сделали — она казалась до смешного невесомой, как птица, увеличенная в объеме перьями.

— Да, перепёлочка... Кажется, я... скоро уеду.

Она извернулась в его руках и, роняя платок с плеч, маленькими ладонями сжала его за виски:

— Ку-да ?

— Как — к у д а ? Мы — люди бездны. Мы исчезаем туда, откуда выплыли — в лагерь.

— Миленький мой ! За что ? ? .

В расширенные глаза этой некрасивой девушки, любовь которой он так нечаянно заслужил, Нержин смотрел близко, недоумённо. Она была захвачена его судьбой больше, чем он сам.

— Можно было и остаться, — невесело сказал он. — Но в другой лаборатории. Мы все равно не были бы вместе...

Всем своим маленьким тельцем она теснилась к нему, целовала его, спрашивала, любит ли он ее.

Это минувшие недели, после первого поцелуя, — зачем было щадить Симочку, жалеть ее призрачное будущее счастье? Вряд ли найдет она жениха, все равно достанется кому-нибудь так, на ходу. Девушка сама идет в руки, и с такой испуганной налитостью стучит у обоих... Зачем отказывать себе и ей? Перед тем, как нырнуть в лагеря, где уж этого ни за что не будет, много лет.

Глеб сказал, волнуясь:

— Мне жаль будет уехать... так... Я хотел бы увезти память о... о твоем... о твоей... Вообще оставить тебя... с ребенком...

Она стремглав опустила пристыженное лицо и сопротивлялась его пальцам, пытавшимся вновь запрокинуть ей голову.

— Перепёлочка... ну, не прячься... Ну, подними головку... Что ты замолчала? А ты — хочешь?

Она вскинула голову и изглубока сказала:

— Я буду вас ждать! Вам п я т ь осталось? — я буду вас пять лет ждать! А вы, когда освободитесь — вернетесь ко мне?

Он этого не говорил. Она поворачивала так, будто у него нет жены. Она обязательно хотела замуж, долгоносенькая!

Жена Глеба жила тут же, где-то в Москве. Где-то в Москве, но все равно, как если бы и на Марсе.

А кроме Симочки на коленях и кроме жены на Марсе, еще были в письменном столе захороненные — его конспекты, забравшие столько труда; его первые собственные заметки о послеленинском времени, первые формулировки, втянувшие лучшие мысли.

При этапе судьба всех записок была бы — огонь.

И надо было солгать сейчас! Солгать, пообещать, как это всегда обещается. Тогда, уезжая, безопасно оставить написанное у Симочки.

Но и во имя такой цели не было у него сил солгать перед глазами, смотревшими с надеждой.

Убегая от них, он стал целовать ее маленькие неокруглые плечи, оголенные из-под блузки его руками.

— Ты меня как-то спрашивала, что я все пишу да пишу, — с затруднением сказал он.

— А что ? Что ты пишешь ? — жадно, любопытно спросила Симочка.

Если б она не перебила, не спросила так жадно — он бы, кажется, сейчас ей сам что-то рассказал. Но она с нетерпением спросила — и он насторожился. Он столько лет жил в мире, где протянуты были всюду хитрые проволочки мин, проволочки ко взрывателям.

Вот эти доверчивые любящие глаза — они вполне могли работать на оперуполномоченного.

Ведь с чего началось у них ? Первый раз прикоснулся щекою не он, — она. Так это могло быть подстроено ! . .

Так, историческое, — ответил он. — Вообще историческое, из петровских времен . . . Но мне это дорого. Пока Антон меня не вышвырнет — я еще буду писать. А куда я все дену, уезжая ?

И подозрительно углубился глазами в ее глаза.

Симочка покойно улыбнулась:

— Как — куда ? Мне отдашь. Я сохраню. Пиши, милый. — И, высматривая в нем свое, спросила: — Скажи, а твоя жена — очень красивая ?

Зазвонил индукторный полевой телефон, которым будка соединялась с лабораторией. Сима взяла трубку, нажала разговорный клапан, так что ее стало слышно на другом конце провода, но не поднесла трубку ко рту, а — раскрасневшаяся, в растрепанной одежде — стала читать бесстрастным мерным голосом артикуляционную таблицу:

— . . . дьер . . . фскоп . . . штап . . . Да, я слушаю . . . Что, Валентин Мартыныч ? Двойной диод-триод ? . . Шесть-Гэ-семь нету, но, кажется, есть шесть-Гэ-два . . . Сейчас я кончу таблицу и выйду . . . жан . . . друть . . . и опустила клапан. И потерлась головой о голову Глеба. Надо идти, это становится заметно. Ну, отпустите меня, умоляю вас . . .

Но в голосе ее не было решительности.

Он еще плотней охватил и сильно прижал ее к себе вверху, внизу, всю:

— Никуда не пойдешь ! . . Я хочу . . . Я . . .

— Опомнитесь, меня ждут, надо лабораторию закрывать !

— Сейчас ! Здесь ! — требовал он.

И целовал.

— Только не сегодня !

— Когда же ?

Она смотрела послушно:

— В понедельник. Я опять буду дежурить. Вместо Лиры. Приходите тогда в ужинный перерыв, целый час будем одни... Если этот сумасшедший Валентуля не придет работать . . .

Пока Глеб открывал одни и отпирал другие двери, Сима была уже застегнута, причесана и вышла первая, неприступно-холодная.

13

СИНИЙ СВЕТ

— Я в эту синюю лампочку когда-нибудь сапогом запузы́рю, чтоб не раздражала.

— Не попадешь.

— С пяти метров — чего не попасть ? Спорим на завтрашний компот ?

— Ты ж разуваешься на нижней койке, метр добавь.

— Ну, с шести. Ведь вот, гады, чего не выдумают — лишь бы зэкам досадить. Всю ночь на глаза давит.

— Синий свет ? . .

— А что ? Световое давление. Лебедев открыл. Аристипп Иваныч, вы не спите ? Не откажите в любезности, подайте мне наверх один мой сапог.

— Сапог, Вячеслав Петрович, я могу вам передать, но ответьте прежде, чем вам не угодил синий свет ?

— Хотя бы тем, что у него длина волны короткая, а кванты большие. Кванты по глазам бьют.

— Светит он мягко, и мне лично напоминает синюю лампадку, которую в детстве зажигала на ночь мама.

— Мама ! — в голубых погонах ! Вот вам, пожалуйста, разве можно людям дать подлинную демократию ? Я заметил: в любой камере по любому мельчайшему вопросу — о мытье мисок, о подметании пола, вспыхивают оттенки всех противоположных мнений. Свобода погубила бы людей. Только дубина, увы, может указать им истину.

— А что, лампадке здесь было бы подстать. Ведь это — бывший алтарь.

— Не алтарь, а купол алтаря. Тут перекрытие междуэтажное добавили.

— . . . Дмитрий Александрыч ! Что вы делаете ! В декабре окно открываете ! Пора это кончать.

— Господа ! Кислород как-раз и делает зэка бессмертным. В комнате двадцать четыре человека, на дворе — ни мороза, ни ветра. Я открываю на Эренбурга.

— И даже на полтора ! На верхних койках духотище !

— Эренбурга вы как считаете, — по ширине ?

— Нет, господа, по длине, конечно, очень хорошо упирается в раму.

— С ума сойти, где мой лагерный бушлат ?

— Всех этих кислородников я послал бы на Ой-Мякон, на о б щ и е. При шестидесяти градусах ниже нуля они бы отработали двенадцать часиков, — в козлятник бы приползли, только бы тепло !

— В принципе я не против кислорода, но почему кислород всегда холодный ? Я — за подогретый кислород.

— ... Что за черт ? Почему в комнате темно ? Почему так рано гасят белый свет ?

— Валентуля, вы фрайер ! Вы бродили б еще до часу ! Какой вам свет в двенадцать ?

— А вы — пижон !

« В синем комбинезоне
Надо мной пижон.
В лагерной зоне —
— Как хорошо ! »

Опять накурили ? Зачем вы все курите ? Фу, гадость ... Э-э, и чайник холодный.

— Где Лев ?

— А что, его на койке нет ?

— Да книг десятка два лежит, а самого нет.

— Значит, около уборной.

— Почему — около ?

— А там лампочку белую вкрутили, и стенка от кухни теплая. Он, наверно, книжку читает. Я иду умываться. Что ему передать ?

— ... Да-а ... Стелет она мне на полу, а себе тут же, на кровати. Ну, сочная баба, ну, такая сочная ...

— Друзья, я вас прошу — о чем-нибудь другом, только не про баб. На шарашке с нашей мясной пищей — это социально-опасный разговор.

— Вообще, орлы, кончайте ! Отбой был.

— Не то что отбой, по-моему уже гимн слышно откуда-то.

— Спать захочешь — уснешь, небось.

— ... В Африке я служил. У Роммеля. Там что плохо ? — жарко очень и воды нет ...

— ... В Ледовитом океане есть остров такой — Махоткина. А сам Махоткин — летчик полярный, сидит за антисоветскую агитацию.

— ... Михаил Кузьмич, что вы там все ворочаетесь ?

— Ну, повернуться с боку на бок я могу ?

— Можете, но помните, что всякий ваш даже небольшой поворот внизу отдается здесь, наверху, громадной амплитудой.

— Вы, Иван Иваныч, еще лагерь миновали. Там — в а г о н к а четверная, один повернется — трех качает. А внизу еще кто-нибудь цветным тряпьем завесится, бабу приведет — и наворачивает. Двенадцать балов качка ! Ничего, спят люди.

— Григорий Борисыч, а когда вы на шарашку первый раз попали ?

— ... Я думаю там пентод поставить и реостатик маленький.

— ... Человек он был самостоятельный, аккуратный. Сапоги на ночь скинет — на полу не оставит, под голову ложит.

— В те года на полу не оставляй !

— ... В Освенциме я был. В Освенциме вот страшно: с вокзала к крематориям ведут — и музыка играет.

— ... Рыбалка там замечательная, это одно, а другое — охота. Осенью час походишь — фазанами весь изувешен. В камыши зайдешь — кабаны, в поле — зайцы ...

— ... Все эти шарашки повелись с девятьсот тридцать первого года, когда осудили Промпартию и решили попробовать, как зэки-инженеры будут работать в неволе. Ведущим инженером самой первой шарашки был, таким образом, Леонид Константинович Рамзин. Опыт понравился. На воле невозможно собрать в одной конструкторской группе двух больших инженеров или больших ученых: борясь за имя, за славу, за сталинскую премию, обязательно один другого выживет. Поэтому все конструкторские бюро на воле — это бледный кружок вокруг одной яркой головы. А на шарашке ? Ни слава, ни деньги никому не грозят. Николаю Николаичу полстакана сметаны и Петру Петровичу полстакана сметаны. Дюжина академических медведей мирно живет в одной берлоге, потому что деться некуда. Поиграют в шахматы, покурят — скучно. Может, изобретем что-нибудь ? Давайте ! Так создано многое ! И в этом — основная идея шарашек.

— ... Друзья ! Новость ! ! Бобынина куда-то повезли !

— Валька, не скули, подушкой наверну !

— Куда, Валентуля ?

— Как повезли ?

— М л а д ш и н а пришел, сказал — надеть пальто, шапку.

— И с вещами ?

— Без вещей.

— Наверно, к начальству большому.

— К Фоме ?

— Фома бы сам приехал, хватай выше !

— Чай остыл, какая пошлость ! . .

— Валентуля, вот вы ложечкой об стакан всегда стучите после отбоя, как это мне надоело !

— Спокойно, а как же мешать сахар ?

— Беззвучно.

— Беззвучно происходят только мировые катастрофы, потому что в мировом пространстве звук не распространяется. Если бы за нашими плечами разорвалась Новая Звезда, — мы бы даже не услышали. Руська, у тебя одеяло упадет, что ты свесил ? Ты не спишь ? Тебе известно, что наше Солнце — Новая Звезда, и Земля обречена на гибель в самое ближайшее время ?

— Я не хочу в это верить. Я молодой и хочу жить !

— Ха-ха ! Примитивно ! . . Какой чай холодный . . . С'э лё м о ! Он хочет жить !

— Валька ! Куда повезли Бобынина ?

— Откуда я знаю ? Может — к Сталину.

— А что бы вы сделали, Валентуля, если бы к Сталину повезли вас ?

— Меня ? Хо-хо ! Парниша ! Я б ему объявил протест по всем пунктам !

— Ну, по каким, например ?

— Ну, по-всем по-всем по-всем. П а р э к с е л я н с — почему живем без женщин ? Это сковывает наши творческие возможности.

— Прянчик ! Заткнись ! Все спят давно — чего разорался ?

— Но если я не хочу спать ?

— Друзья, кто курит — прячьте огоньки, идет младшина.

— Что это он, падло ? . . Не споткнитесь, гражданин младший лейтенант — долго ли нос расшибить ?

— Прянчиков !

— А ?

— Где вы ? Еще не спите ?

— Уже сплю.

— Оденьтесь-оденьтесь, пальто, шапку.

— С вещами ?

— Без вещей. Машина ждет, быстро.

— Это что — я вместе с Бобыкиным поеду ?

— Уж он уехал, за вами другая.

— А какая машина, младший лейтенант, — воронок ?

— Быстрей, быстрей. « Победа ».

— Да кто вызывает ?

— Ну, Прянчиков, ну что я вам буду все объяснять ? Сам не знаю, быстрей.

— Валька, скажи там !

— Про свидания скажи ! Что, гады, пятьдесят восьмой статье свидание раз в год ?

— Про прогулки скажи !

— Про письма ! . .

— Про обмундирование !

— Рот фронт, ребята ! Ха-ха ! А д ь ё !

— Товарищ младший лейтенат! Где, наконец, Прянчиков?

— Даю, даю, товарищ майор ! Вот он !

— Про все, Валька, кроши, не стесняйся ! . .

— Во́ псы разбегались среди ночи !

— Что случилось ?

— Никогда такого не было . . .

— Может, война началась ? Расстреливать возят ? . .

— Тю на тебя, дурак ! Кто б это стал нас — по одному возить ? Если война начнется — нас скопом перебьют или чумой заразят через кашу . . .

— Ну, ладно, спать, браты ! Завтра узнаем.

— . . . Это вот так, бывало, в тридцать девятом — в сороковом Бориса Петровича Стечкина с шарашки вызовет Берия, — уж он с пустыми руками не вернется: или начальника тюрьмы переменят или прогулки увеличат . . . Стечкин терпеть не мог этой системы подкупа, этих категорий питания, когда академикам дают сметану и яйца, профессорам — сорок грамм сливочного масла, а простым лошадкам по двадцать . . Хорош человек был Борис Петрович, Царство ему Небесное . . .

— Умер ?

— Нет, освободился . . . Лауреатом стал.

14

ДЕВУШКУ ! ДЕВУШКУ !

Потом стих и мерный усталый голос повторника Адамсона, побывавшего на шарашках еще во время своего первого срока. В двух сторонах дошептывали начатые истории. Кто-то громко и противно храпел, минутами будто собираясь взорваться.

Неяркая синяя лампочка над широкими четырехстворчатыми дверьми, вделанными в круглую входную арку, освещала с дюжину двухэтажных наваренных коек, веером расставленных по большой полукруглой комнате. Эта комната — может быть, единственная такая в Москве, имела двенадцать добрых мужских шагов в диаметре, вверху — просторный высокий купол, сведенный парусом под основание шестиугольной башни, а по дуге — пять стройных, округленных поверху, окон. Окна были обрешетчены, но намордников на них не было, днем сквозь них был виден по ту сторону шоссе парк, необихоженный, как лес, а летними вечерами доносились тревожащие душу песни безмужних девушек московского предместья.

Нержин на верхней койке у центрального окна не спал, да и не пытался уснуть. Внизу под ним безмятежным сном рабочего человека давно спал инженер Потапов. На соседних верхних койках — слева, через проходец, доверчиво раскидался и посапывал круглолицый вакуумщик « Земеля » (под ним пустела кровать Прянчикова), справа же, на койке, приставленной вплотную, метался в бессонице Руська Доронин, один из самых молодых зэков шарашки.

Сейчас, отдаляясь от разговора в кабинете Яконова, Нержин понимал все яснее: отказ от криптографической группы был не служебное происшествие, а поворотный пункт целой жизни. Он должен был повлечь — и, может быть, очень вскоре — тяжелый долгий этап куда-нибудь в Сибирь или в Арктику. Привести к смерти или к победе над смертью.

Хотелось и думать об этом жизненном изломе. Что̀ успел он за трехлетнюю шарашечную передышку ? Достаточно ли

он закалил свой характер перед новым швырком в лагерный провал ?

И так совпало, что завтра Глебу тридцать один год (не было, конечно, никакого настроения напоминать друзьям эту дату). Середина ли это жизни ? Почти конец ее ? Только начало ?

Но мысли мешались. Огляд вечности не состраивался. То вступала слабость: ведь еще не поздно и поправить, согласиться на криптографию. То приходила на память обида, что одиннадцать месяцев ему все откладывают и откладывают свидание с женой — и уж теперь дадут ли до отъезда ?

И, наконец, просыпался и раскручивался в нем — хват, тот, кто вынужденно родился еще в мальчике в очередях у хлебных магазинов первой пятилетки. Этот внутренний, цепкий, уже бодро соображал, какие шмоны (обыски) ждут — на выходе из Маврино, на приеме в Бутырки, на Красную Пресню, и как спрятать в телогрейке кусочки изломанного грифеля, как суметь вывезти с шарашки старую спецодежду (работяге каждая лишняя шкура дорога), как доказать, что алюминиевая чайная ложка, весь срок возимая им с собой — его собственная, а не украдена с шарашки, где были почти такие же.

И был зуд — прямо хоть сейчас, при синем свете, вставать и начинать все приготовления, перекладки и похоронки.

Между тем Руська Доронин то и дело резко менял положения: он валился ничком, по самые плечи уходя в подушку, натягивая одеяло на голову и стаскивая его с ног; потом перепластывался на спину, сбрасывая одеяло, обнажая белый пододеяльник и темноватую простыню (каждую баню меняли одну из двух простынь, но сейчас, к декабрю, спецтюрьма перерасходовала годовой лимит мыла, и баня подзадерживалась). Вдруг он сел на кровати и посунулся назад вместе с подушкой, к железной спинке, открыв там на углу матраца томище Моммзена « Историю древнего Рима ». Заметив, что Нержин, уставив глаза в синюю лампочку, не спит, Руська хриплым шопотом попросил:

— Глеб ! У тебя есть близко папироса ? Дай.

Руська обычно не курил. Нержин дотянулся до кармана комбинезона, повешенного на спинку, вынул две папиросы, и они закурили.

Руська курил сосредоточенно, не оборачиваясь к Нержину. Лицо Руськи, всегда изменчивое, то простодушно-мальчишеское, то лицо вдохновенного обманщика, — под клубом

вольных темно-белых волос даже в мертвенном свете синей лампочки казалось привлекательным.

— На вот, — подставил ему Нержин пустую пачку из-под « Беломора » вместо пепельницы.

Стали стряхивать туда.

Руська был на шарашке с лета. С первого же взгляда он очень понравился Нержину и возбудил желание покровительствовать ему.

Но оказалось, что Руська, хотя ему было только двадцать три года (а лагерный срок закатали ему двадцать пять), в покровительстве вовсе не нуждался: и характер, и мировоззрение его вполне сформулировались в короткой, но бурной жизни, в пестроте событий и впечатлений — не так двумя неделями учебы в Московском университете и двумя неделями в Ленинградском, как двумя годами жизни по поддельным паспортам под всесоюзным розыском (Глебу это было сообщено под глубоким секретом) и теперь двумя годами заключения. С мгновенной переимчивостью, как говорится — с ходу, усвоил он волчьи законы ГУЛАГа, всегда был настороже, лишь с немногими — откровенен, а со всеми — только казался ребячески откровенным. Еще он был кипуч, старался уместить много в малое время — и чтение тоже было одним из таких занятий.

Сейчас Глеб, недовольный своими беспорядочными мелкими мыслями, не ощущая наклона ко сну и еще меньше предполагая его в Руське, в тишине умолкшей комнаты спросил шёпотом:

— Ну ? Как теория циклов ?

Эту теорию они обсуждали недавно, и Руська взялся поискать ей подтверждений у Моммзена.

Руська обернулся на шепот, но смотрел непонимающе. Кожа лица его, особенно лба, перебегала, выражая усилие доосмыслить, о чем его спросили.

— Как с теорией цикличности, говорю ?

Руська глубоко вздохнул, и вместе с выдохом с его лица ушло то напряжение и та беспокойная мысль, с которой он выкуривал папиросу. Он поник, сполз на локоть, бросил погасший недокурок в подставленную ему пустую пачку и вяло сказал:

— Все надоело. И книги. И теории.

И опять они замолчали. Нержин хотел уже отвернуться

на другой бок, как вдруг Руська усмехнулся и зашептал, постепенно увлекаясь и убыстряя:

— История до того однообразна, что противно ее читать. Чем человек благородней и честней, — тем хамее поступают с ним соотечественники. Спурий Кассий хотел добиться земли для простолюдинов — и простолюдины же отдали его смерти. Спурий Мелий хотел накормить хлебом голодный народ — и казнен, будто бы он добивался царской власти. Военачальник Марк Манлий, тот, что проснулся по гоготанию хрестоматийных гусей и спас Капитолий — казнен как государственный изменник ! А ?... — он рассмеялся. — Великого Ганнибала, без которого мы и Карфагена бы не знали — этот ничтожный Карфаген изгнал, конфисковал имущество, срыл жилище! Все — уже было ... Уже тогда Гнея Невия сажали в колодки, чтоб он перестал писать смелые и свободные пьесы. Еще этолийцы объявили лживую амнистию, чтобы заманить эмигрантов на родину и умертвить их. Еще в Риме выяснили истину, забытую потом — что раба неэкономично оставлять голодным и надо кормить. Вся история — одно сплошное ... ядство ! Нет истины и нет заблуждения ! И некуда з в а т ь . И идти некуда ! ..

В безжизненном синем освещении особенно растравно выглядело подергивание неверия на губах — таких молодых !

Мысли эти отчасти были подготовлены в Руське самим же Нержиным, но сейчас, из уст Руськи, вызывали желание протестовать. Среди своих старших товарищей Глеб привык ниспровергать, но перед арестантом более молодым чувствовал ответственность.

— Хочу тебя предупредить, Ростислав, — очень тихо возразил Нержин, склонясь почти к уху соседа. — Как бы ни были остроумны и беспощадны системы скептицизма или там агностицизма, пессимизма, — пойми, они по самой сути своей обречены на безволие. Ведь они не могут руководить человеческой деятельностью — потому что люди ведь не могут о с т а н о в и т ь с я , и значит не могут отказаться от систем, что-то утверждающих, куда-то призывающих.

— Хотя бы в болото ? Лишь бы переться ? — со злостью возразил Руська.

— Хотя бы ... Ч-ч-черт его знает, — заколебался Глеб. — Ты пойми, я сам считаю, что скептицизм человечеству очень нужен. Он нужен, чтобы расколоть каменные лбы, чтобы поперхнуть фанатические глотки. Но скептицизм не может

стать твердой землей под ногой человека. А земля, может быть, все-таки — нужна ?

— Дай еще папиросу ! — попросил Ростислав. И закурил нервно. — Слушай, как хорошо, что МГБ не дало мне учиться, — раздельным громковатым шепотом говорил он. — Ну, кончил бы я университет или даже аспирантуру, кусок идиота. И вот стал бы, допустим, ученым. Написал бы пухлый том. С какой-то еще восемьсот третьей точки зрения посмотрел бы на новгородские пятины или на войну Цезаря с гельветами. Столько на Земле культур! языков! стран! и в каждой стране столько умных людей и еще больше умных книжек — какой дурак все это будет читать ? ! Как это ты приводил ? — « То, что с трудом великим измыслили знатоки, раскрывается другими, еще большими знатоками, как призрачное », да ?

— Вот-вот ! — упрекнул Нержин. — Ты теряешь всякую опору и всякую цель. Сомневаться можно, и нужно. Но не нужно ли что-нибудь и полюбить ?

— Да, да, любить ! — торжествующим хриплым шепотом перехватил Руська. — Любить ! — но не историю, не теорию, а де-вуш-ку ! — Он перегнулся на кровать к Нержину и схватил его за локоть. — А ч е г о лишили нас, скажи ? Права ходить на собрания ? Подписываться на заем ? Единственное, в чем Пахан мог нам повредить — это лишить нас женщин ! И он это сделал. На двадцать пять лет ! Собака ! ! Да кто это может представить, — бил он себя кулаком в грудь, — что такое женщина для арестанта ?

— Ты... ты не кончи сумасшествием ! — пытался обороняться Нержин, но самого его окатила внезапная горячая волна при мысли о Симочке, и ее обещании в понедельник вечером... — Выбрось эту мысль ! На ней мозг затемнится. Фрейдовский комплекс или симплекс, как его там черта ? В общем: сублимация ! Переключай энергию в другие сферы ! Занимайся философией — не нужно ни хлеба, ни воды, ни женской ласки.

(Но в понедельник !.. То, чего совсем не ценят благополучные семейные люди, но что подымается ознобляющим зверством в измученном арестанте !)

— У меня мозг у ж е затемнился ! Я не засну до утра ! Девушку ! Девушку каждому надо ! Чтоб она в руках у тебя тряслась ! Чтобы... а, да что там !.. — Руська обронил еще горящую папиросу на одеяло, но не заметил того, резко отвернулся, шлепнулся на живот и дернул одеяло на голову, стягивая его с ног.

Нержин еле успел подхватить и погасить папиросу, уже скатывавшуюся между их кроватей вниз, на Потапова. Да ! Да ! Нужно было дожить только эти меньше, чем двое суток — и Симочка... Он вдруг представил подробно все как будет послезавтра — и с содроганием отталкиваясь от этой до ужаса сладкой мысли, мутясь разумом, наклонился к уху Руськи:

— Руська ! А у тебя — что ? Кто-нибудь есть ?

— Да ! Есть ! — с мукой прошептал Ростислав, лежа пластом, сжимая подушку. Он дышал в нее — и ответный жар подушки и весь жар юности, так зло-бесплодно чахнущей в тюрьме, — все накаляло его молодое, пойманное, просящее выхода и не знающее выхода тело. Он сказал — « есть », и он хотел верить, что девушка есть, но было только неуловимое — не поцелуй, даже не обещание — было только то, что девушка со взглядом сочувствия и восхищения слушала сегодня вечером, как он рассказывал о себе — и в этом взгляде девушки Руська впервые осознал сам себя как героя, и биографию свою — как необыкновенную. Ничего еще не произошло между ними, — и вместе с тем уже произошло что-то, отчего он мог сказать, что девушка у него — е с т ь .

— Но кто она, слушай ? — допытывался Глеб.

Чуть приоткрыв одеяло, Ростислав ответил из темноты:

— Тс-с-с... Клара...

— Клара ? ? Дочь прокурора ! !

15

ТРОЙКА ЛГУНОВ

Начальник Ноль-Первого отдела кончал свой доклад у министра Абакумова.

Высокий, с зачесанными назад черными волосами, с погонами генерального комиссара второго ранга, Абакумов победно попирал локтями свой крупный письменный стол. Он был дюж, но не толст (он знал цену фигуре и даже поигрывал в тенис). Глаза его были неглупые и имели подвижность подозрительности и сообразительности. Где надо, он поправлял начальника отдела, и тот спешил записывать.

Кабинет Абакумова был если и не зал, то и не комната. Тут был и бездействующий мраморный камин (оставшийся от давних времен), и высокое пристенное зеркало. Потолок был высокий, лепной, на нем люстра, и нарисованы купидоны и нимфы в погоне друг за другом (министр разрешил там оставить все цвета, кроме зеленого, а зеленый перекрасить, потому что терпеть его не мог). Была балконная дверь, глухо забитая на зиму и на лето; и большие окна, выходившие на площадь и не отворявшиеся никогда. Часы тут были — стоячие, отменные футляром; и каминные, с фигуркою и боем; и вокзальные электрические на стене. Часы эти показывали довольно-таки разное время, но Абакумов никогда не ошибался, потому что еще двое золотых у него было при себе: на волосатой руке и в кармане.

В этом здании кабинеты росли с ростом чинов их обладателей. Росли письменные столы. Росли столы заседаний под бархатными скатертями. Но ревнивее всего росли портреты Великого Генералиссимуса. Даже в кабинете простых следователей он был изображен много больше своей натуральной величины, в кабинете же Абакумова Гениальнейший Стратег всех времен и народов был выписан художником реалистом на полотне пятиметровой высоты, в полный рост от сапог до маршальского картуза, в блеске всех орденов (никогда им и не носимых), полученных большей частью от самого себя, частью — от других королей и президентов, и только югослав-

ские ордена были старательно потом замазаны под цвет сукна кителя.

Как бы, однако, сознавая недостаточность этого пятиметрового портрета и испытывая потребность всякую минуту вдохновляться видом Лучшего Друга контр-разведчиков, даже когда глаза не подняты от стола, — Абакумов еще и на столе держал стоячий портрет Сталина.

А еще на одной стене просторно помещался квадратный портрет сладковатого человека в пенснэ, кто направлял Абакумова непосредственно.

Когда начальник Ноль-Первого отдела ушел, — во входных дверях показались цепочкой и прошли цепочкой по узору ковра заместитель министра Севастьянов, начальник отдела специальной техники генерал-майор Осколупов и главный инженер того же отдела инженер-полковник Яконов. Соблюдая чинопочитание друг перед другом и выказывая особое уважение к обладателю кабинета, они так и шли, не сходя со средней полоски ковра, гуськом, по-индейски, ступая след в след, слышны же были шаги одного Севастьянова.

Худощавый старик с перемешанными седыми и серыми волосами, стриженными бобриком, в сером костюме невоенного покроя, Севастьянов из десяти заместителей министра был на особом положении как бы нестроевого: он заведовал не оперативными и не следовательскими управлениями, а связью и хрупкой техникой. Поэтому на совещаниях и в приказах ему меньше перепадало от гнева министра, он держался в этом кабинете не так скованно и сейчас уселся в кожанное толстое кресло перед столом.

Когда Севастьянов сел, — перед ним уже оказался Осколупов. Яконов же стоял позади него, как бы пряча свою дородность.

Абакумов посмотрел на открывшегося ему Осколупова, которого видел в жизни разве что раза три — и что-то симпатичное показалось ему в нем. Осколупов был расположен к полноте, шея его распирала воротник кителя, а подбородок, сейчас подобострастно подобранный, несколько отвисал. Одубелое лицо его было простое честное лицо исполнителя, а не заумное лицо интеллигента, много из себя воображающего.

Прищурясь поверх его плеча на Яконова, Абакумов спросил:

— Ты — кто ?

— Я ? — перегнулся Осколупов, удрученный, что его не узнали.

— Я ? — выдвинулся Яконов чуть вбок. Он втянул, сколько мог, свой вызывающий мягкий живот, выросший вопреки всем его усилиям, — и никакая мысль не выражалась в его больших синих глазах, когда он представился.

— Ты, ты, — подтвердительно просопел министр. — Объект Маврино — твой, значит ? Ладно, садитесь.

Сели.

Министр взял разрезной нож из рубинового плексигласа, почесал им за ухом и сказал:

— В общем, так... Вы мне голову морочите сколько ? Два года ? А по плану вам было пятнадцать месяцев ? Когда будут готовы два аппарата ? — и угрожающе предупредил: — Не врать ! Вранья не люблю !

Именно к этому вопросу и готовились три высоких лгуна, узнав, что их троих вызывают вместе. Как они и договорились, начал Осколупов. Как бы вырываясь вперед из отогнутых назад плеч и восторженно глядя в глаза всесильного министра, он произнес:

— Товарищ министр !.. Товарищ генерал-полковник ! Разрешите заверить вас, что личный состав Отдела не пожалеет усилий...

Лицо Абакумова выразило удивление:

— Что мы ? — на собрании, что-ли ? Что мне вашими усилиями ? задницу обматывать ? Я говорю — к числу какому ?

И взял авторучку с золотым пером и приблизился ею к семидневке-календарю.

Тогда по условию вступил Яконов, самым тоном своим и негромкостью голоса подчеркивая, что говорит не как администратор, а как специалист:

— Товарищ министр ! При полосе частот до двух тысяч четырехсот герц, при среднем уровне передачи ноль целых девять десятых непера...

— Герц, герц ! Ноль целых, герц десятых — вот это у вас только и получается ! На хрена мне твои ноль целых ? Ты мне аппарата дай два ! ц е л ы х ! Когда ? А ? — И обвел глазами всех троих.

Теперь выступил Севастьянов — медленно, перебирая одной рукой свой серо-седой бобрик:

— Разрешите узнать, что вы имеете в виду, Виктор Семенович ? Двусторонние переговоры еще без абсолютной шифрации...

— Ты что из меня дурочку строишь ? Как это — без шифрации ? — быстро взглянул на него министр.

Пятнадцать лет назад, когда Абакумов не только не был министром, но ни сам он, ни другие и предполагать такого не могли, — а был он фельдъегерем НКВД, как парень рослый, здоровый, с длинными ногами и руками — ему тогда вполне хватало его четырехклассного начального образования. И поднимал он свой уровень только в джиу-джицу и тренировался только в залах « Динамо ».

Когда же, в годы расширения и обновления следовательских кадров, выяснилось, что Абакумов хорошо ведет следствие, руками длинными ловко и лихо подносся в морду, и началась его великая карьера, и за семь лет он стал начальником контр-разведки СМЕРШ, а теперь вот и министром, — ни разу во всем этом долгом пути восхождения он не ощутил недостатка своего образования. Он достаточно ориентировался и тут, наверху, чтобы подчиненные не могли его дурачить.

Сейчас Абакумов уже начинал злиться и приподнял над столом сжатый кулак с булыгу, — как растворилась высокая дверь и в нее без стука вошел Михаил Дмитриевич Рюмин — низенький кругленький херувимчик с приятным румянцем на щеках, которого все министерство называло Минькой, но редко кто — в глаза.

Он шел, как котик, беззвучно. Приблизившись, невинно-светлыми глазами окинул сидящих, поздоровался за руку с Севастьяновым (тот привстал), подошел к торцу стола министра и, склонив головку, маленькими пухленькими ладонями чуть поглаживая ребро столечницы, задумчиво промурлыкал:

— Вот что, Виктор Семеныч. Если такими задачами будем заниматься, так надо их поручить Севастьянову. Что ж мы их, даром хлебом кормим ? Неужели они не могут по магнитной ленте узнать голоса ? Разогнать их тогда.

И улыбнулся так сладко, будто угощал девочку шоколадкой. И ласково оглядел всех трех представителей Отдела.

Рюмин прожил много лет совершенно незаметным человечком — бухгалтером потребсоюза в Архангельской области. Розовенький, пухловатый, с тонкими обиженными губками, он, сколько мог, донимал ехидными замечаниями своих счетоводов, постоянно сосал леденцы, угощал ими экспедитора, с шоферами разговаривал дипломатически, с кучерами заносчиво и аккуратно подкладывал акты на стол председателя.

Но во время войны его взяли во флот и приготовили из него следователя Особого Отдела. Работка эта ему понравилась, и уже вскоре он стал мотать дело на ни в чем неповинного северофлотского корреспондента. Но дело он сляпал так грубо и так нагло, что прокуратура, не мешавшаяся обычно в работу органов, тут донесла Абакумову. Маленький северофлотский смершевский следователь был вызван к Абакумову на расправу. Он робко вступил в кабинет, чтобы потерять там голову. Дверь затворилась. Когда она растворилась через час, Рюмин вышел оттуда со значительностью, назначенный в центральный аппарат СМЕРШа старшим следователем по спецделам. С тех пор звезда его только взлетала.

— Я их и без этого разгоню, Михаил Дмитрич, поверь. Так разгоню — костей не соберут ! — ответил Абакумов и грозно оглядел всех троих.

Трое виновато потупились.

— Но что ты хочешь — я тоже не понимаю. Как же можно по телефону узнать незнакомого человека ?

— Так я им ленту дам, разговор записан. Пусть крутят, сравнивают.

— Ну, а ты — арестовал кого-нибудь ?

— А как же ? — сладко улыбнулся Рюмин. — Взяли четверых около метро « Арбат ».

Но по лицу его промелькнула тень. Про себя он понимал, что взяли их слишком поздно, это не они. Но уж раз взяты — освобождать не полагалось. Да может кого-то из них по этому же делу и придется оформить, чтоб не осталось оно нераскрытым. Во вкрадчивом голосе Рюмина проскрипнуло раздражение:

— Да я им полминистерства иностранных дел сейчас на магнитофон запишу, пожалуйста. Но это лишнее. Там выбирать из человек пяти-семи, кто мог знать, в министерстве.

— Так арестуй их всех, собак, чего голову морочить ? — возмутился Абакумов. — Семь человек ! У нас страна большая, не обедняем !

— Нельзя, Виктор Семеныч, — благорассудно возразил Рюмин. — Это министерство — не Пищепром, так мы все нити потеряем. В посольствах народ узнает — взволнуется. Тут именно надо найти — кто ? И как можно скорей.

— Гм-м . . . — подумал Абакумов. — Ленту с лентой . . . Да когда-то надо ж эту технику осваивать. Севастьянов, сможете ?

— Я, Виктор Семеныч, еще не понимаю, о чем речь.

— А чего тут понимать ? Тут и понимать нечего. Какая-то сволочь, гадюга какой-то, наверно, что дипломат, иначе ему неоткуда было узнать, сегодня вечером позвонил одному профессору, фамилию не выговоришь...

— Доброумову, — подсказал Рюмин.

— ...Да, Доброумову. Медику. Ну, в общем, тот только что вернулся из Франции, из командировки, и там пока был, так пообещал, сукин сын, какой-то свой новый препарат послать им — в порядке, так сказать, обмена опытом, сволочь. О приоритете он не думает ! Так вот нам надо было, чтоб он этот препарат передал — и тут их захапать, и создать большое политическое дело — о низкопоклонстве. А этот какой-то гаденыш позвонил профессору, чтоб тот препарата не давал. Мы-то все равно профессора возьмем и дело оформим, но уже оно будет смазано. Ну, как ? Угадай, молодчик будешь !

Севастьянов, минуя Осколупова, посмотрел на Яконова. Яконов встретил его взгляд и немного приподнял брови, как бы расправляя их. Он хотел этим сказать, что дело новое, методики нет, опыта тоже, а хлопот и без того хватает — не стоит браться. Севастьянов был достаточно интеллигентен, чтобы понять и это движение бровей и всю обстановку. И он приготовился запутать ясный вопрос в трех соснах.

Но у Фомы Гурьяновича Осколупова шла своя работа мысли. Он вовсе не хотел быть дубиной на месте начальника Отдела. С тех пор, как он был назначен на эту должность, он исполнился достоинства и сам вполне поверил, что владеет всеми проблемами и может в них разбираться лучше других — иначе б его не назначили. И хотя он в свое время не кончил и семилетки, но сейчас совершенно не допускал, чтобы кто-нибудь из подчиненных мог понимать дело лучше его — разве только в деталях, в схемах, где нужно руку приложить. Недавно он был в одном первоклассном санатории, был там в гражданском, без мундира, и выдавал себя за профессора электроники. Там он познакомился с очень известным писателем, так тот глаз не спускал с Фомы Гурьяновича, все записывал в книжку и говорил, что будет с него писать образ современного ученого. После этого санатория Фома окончательно почувствовал себя ученым.

И сейчас он сразу понял проблему и рванул упряжку:

— Товарищ министр ! Так это мы можем !

Севастьянов удивленно оглянулся:

— На каком объекте ? Какая лаборатория ?

— Да на телефонном, в Маврино. Ведь говорили — по телефону ? Ну !

— Но Маврино выполняет более важную задачу.

— Ничего-о ! Найдем людей ! Там триста человек — что ж, не найдем ?

И вперился взглядом готовности в лицо министра.

Абакумов не то, что улыбнулся, но выразилась в его лице опять какая-то симпатия к генералу. Таким был и сам Абакумов, когда выдвигался — беззаветно готовый рубить в окрошку всякого, на кого покажут. Всегда симпатичен тот младший, кто похож на тебя.

— Молодец ! — одобрил он. — Так и надо рассуждать ! Интересы государства ! — а потом остальное. Верно ?

— Так точно, товарищ министр ! Так точно, товарищ генерал-полковник !

Рюмин, казалось, ничуть не удивился и не оценил самоотверженности генерал-майора. Рассеянно глядя на Севастьянова, он сказал:

— Так утром к вам приедут.

Переглянулся с Абакумовым и ушел, ступая неслышно.

Министр поковырялся пальцем в зубах, где застряло мясо с ужина.

— Ну, так когда же ? Вы меня манили-манили — к первому августа, к октябрьским, к новому году, — ну ?

И уперся глазами в Яконова, вынуждая отвечать именно его.

Как будто что-то стесняло Яконова в постановке его шеи. Он повел ею чуть вправо, потом чуть влево, поднял на министра свой холодноватый синий взгляд — и опустил.

Яконов знал себя остро-талантливым. Яконов знал, что и еще более талантливые люди, чем он, с мозгами, ничем другим, кроме работы не занятыми, по четырнадцать часов в день, без единого выходного в году, сидят над этой проклятой установкой. И чужие авторы, печатающие свои изобретения в открытых журналах, также участвуют в создании этой установки. Яконов знал и те тысячи трудностей, уже побежденных и еще только возникающих, среди которых, как в море пловцы, пробираются его инженеры. Да, через шесть дней истекал последний из последних сроков, вымоленных ими же самими у этого куска мяса, затянутого в китель. Но выпрашивать и назначать несуразные сроки приходилось потому, что с самого начала на эту десятилетнюю работу Корифей Наук отпустил сроку год.

Там, в кабинете Севастьянова, договорились просить отсрочки до десяти дней. К десятому января обещать два экземпляра телефонной установки. Так настоял замминистра. Так хотелось Осколупову. Расчет был на то, чтобы дать хоть какую-нибудь недоработанную, но свежепокрашенную вещь. А пока дело дойдет по испытаний и проверки абсолютности шифрации, пройдет время еще, а там можно будет попросить еще сроку на доработку и усовершенствование.

Но Яконов знал, что мертвые вещи не слушаются человеческих сроков, что и к десятому января будет выходить из аппаратов не речь человеческая, а месиво. И неотклонимо повторится с Яконовым то же, что с Мамуриным: Хозяин позовет Берию и спросит: какой дурак делал эту машину ? У б е р и его. И Яконов тоже станет в лучшем случае Железной Маской, а то и снова простым зэком.

И под взглядом министра почувствовав, как неразрываемо стягивается петля на его шее, Яконов преодолел жалкий страх и так же бессознательно, как набирает человек воздуха в легкие, хрипло сказал:

— Месяц еще ! Еще один месяц ! До первого февраля !

И просительно, почти по-собачьи, смотрел на Абакумова.

Талантливые люди иногда несправедливы к другим. Абакумов был умней, чем казалось Яконову, но просто от долгого неупражнения ум стал бесполезен министру: вся его карьера складывалась так, что от думанья он проигрывал, а от служебного рвения выигрывал. И Абакумов старался меньше напрягать голову.

Он мог в душе понять, что не помогут шесть дней и не поможет месяц там, где ушли два года. Но в его глазах виновата была эта тройка лгунов, сами были виноваты — Севастьянов, Осколупов и Яконов. Если так трудно — зачем, принимая задачу двадцать три месяца назад, согласились на год ? Почему не потребовали три ? (Он уже забыл, что так же нещадно торопил их и тогда). Упрись они тогда перед Абакумовым, — уперся бы Абакумов перед Сталиным, два бы года выторговали, а третий протянули.

Но столь велик страх, вырабатываемый долголетним подчинением, что ни у кого из них ни тогда, ни сейчас не хватало мужества отстоять перед начальством.

Сам Абакумов следовал известной похабной поговорке про з а п а с и перед Сталиным всегда набавлял еще пару запасных месяцев. Так и сейчас: обещано было Иосифу Виссарионовичу, что один аппарат будет стоять перед ним пер-

вого м а р т а. Так что на худой конец можно было разрешить еще месяц, — но чтоб это был действительно месяц.

И опять взяв авторучку, Абакумов совсем просто спросил:

— Это как — месяц ? По-человечески месяц или опять брешете ?

— Это точно ! Это — точно ! — обрадованный счастливым оборотом, сиял Осколупов так, будто прямо отсюда, из кабинета, порывался ехать в Маврино и сам браться за паяльник.

И тогда, мажа пером, Абакумов записал в настольном календаре:

— Вот. К ленинской годовщине. Все получите сталинскую премию. Севастьянов — будет ?

— Будет ! будет !

— Осколупов ! Голову оторву ! ? Будет ?

— Да, товарищ генеральный комиссар, да там всего-то осталось . . .

— А — ты ? Чем рискуешь — знаешь ? Будет ?

Еще удерживая мужество, Яконов настоял:

— Месяц ! К первому февраля.

— А если к первому не будет ? Полковник ! Взвесь ! Врешь.

Конечно, Яконов лгал. И, конечно, надо было просить два месяца. Но уж было откроено.

— Будет, товарищ генеральный комиссар, — печально пообещал он.

— Ну, смотри, я за язык не тянул ! Все прощу — обмана не прощу ! Идите.

Облегченные, все так же цепочкой, след в след, они ушли, потупляясь перед ликом пятиметрового Сталина.

Но они рано радовались. Они не знали, что министр устроил им крысоловку.

Едва их вывели, как в кабинете было доложено:

— Инженер Прянчиков !

16

НАСЧЕТ КИПЯТКА

В эту ночь по приказу Абакумова сперва через Севастьянова был вызван Яконов, а потом, уже втайне от них всех, на объект Маврино были посланы с перерывами по пятнадцать минут две телефонограммы: вызывался в министерство зэ-ка Бобынин, потом зэ-ка Прянчиков. Бобынина и Прянчикова доставили в отдельных машинах и посадили дожидаться в разных комнатах, лишая возможности сговориться.

Но Прянчиков вряд ли был способен сговариваться — по своей неестественной искренности, которую многие трезвые сыны века считали душевной ненормальностью. На шарашке ее так и называли: « сдвиг фаз у Валентули ».

Тем более не был он способен к сговору или какому-нибудь умыслу сейчас. Вся душа его была всколыхнута светящимися видениями Москвы, мелькавшими и мелькавшими за стеклами « Победы ». После полосы окраинного мрака, окружавшего зону Маврина, тем разительней был этот выезд на сверкающее большое шоссе, к веселой суете привокзальной площади, потом к неоновым витринам улиц. Для Прянчикова не стало ни шофера, ни двух сопровождающих переодетых — казалось, не воздух, а пламя входило и выходило из его легких. Он не отрывался от стекла. Его и по дневной-то Москве никогда не возили, а вечерней Москвы еще не видел ни один арестант за всю историю шарашки !

Перед Сретенскими воротами автомобиль задержался: из-за толпы, выходящей из кино, потом в ожидании светофора.

Миллионам заключенных, им казалось, что жизнь на воле без них остановилась, что мужчин нет, что одинокие женщины посыпают пеплом голову от избытка никем не разделенной, никому не нужной любви. А тут катилась сытая, возбужденная столичная толпа, мелькали шляпки, вуалетки, чернобурки — и вибрирующие чувства Валентина воспринимали как, сквозь мороз, сквозь непроницаемый кузов автомобиля, его обдают удары, удары, удары духов проходящих женщин.

Слышался смех, смутный говор, не до конца разборчивые фразы, — Валентину было хоть головой расшибить неподатливое пластмассовое стекло и крикнуть этим женщинам, что он молод, что он тоскует, что он с и д и т ни за что. После монастырского уединения шарашки это была какая-то феерия, кусочек той и з я щ н о й жизни, которою ему никак не доводилось пожить то из-за студенческой скудости, то из-за плена, то из-за тюрьмы.

Потом, находясь в комнате для ожидания, Прянчиков не различал столов и стульев, стоявших там: чувства и впечатления, захватив его, отпускали нехотя.

Какой-то молодой лощенный подполковник попросил его следовать за собой. Прянчиков, с нежной шеей, с тонкими запястьями, узкоплечий, тонконогий, никогда не выглядел еще таким щуплым, как когда вступал в этот зал-кабинет, на пороге которого сопровождающий оставил его.

Прянчиков даже не догадался, что это — кабинет (так он был просторен), и что пара золотых погонов в конце зала есть хозяин кабинета. И пятиметрового Сталина за своей спиной он тоже не заметил. Перед глазами его все еще шли ночные женщины и проносилась ночная Москва. Валентин был словно пьян. Трудно было сообразить, зачем он в этом зале, что это за зал. Еще нелепее было предположить, что в какой-то полукруглой комнате, освещенной синею лампочкой, хотя война кончилась пять лет назад, остался его недопитый холодный стакан чая.

Ноги ступали по ковру, расточительно расстеленному по полу. Ковер был мягок, ворсист, по нему хотелось просто кататься. Правой стороной зала шли большие окна, а на левой стороне высилось зеркало от самого пола.

Вольняшки не знают цены вещам ! Для зэка, пользующегося, и то не всегда, дешевеньким зеркальцем меньше ладони, посмотреть на себя в большое зеркало — это праздник.

Прянчиков, как притянутый, остановился около зеркала. Он подошел к нему очень близко, с удовлетворением рассматривая свое чистое свежее лицо. Поправил немного галстук и воротник голубой рубашки. Потом стал медленно отходить, неотрывно оглядывая себя анфас, в три четверти и профиль. Чуть прошелся так, сделал некое полутанцующее движение. Опять приблизился и посмотрелся вплотную. Найдя себя, несмотря на синий комбинезон, вполне стройным и изящным, и прийдя в наилучшее расположение духа, он не потому двинулся дальше, что его ждал деловой разговор (об этом Прян-

чиков вовсе забыл), а потому, что намеревался продолжить осмотр помещения.

А человек, который мог в половине мира любого посадить в тюрьму, всевластный министр, перед которым впадали в бледность генералы и маршалы, теперь смотрел на этого щуплого синего зэка с любопытством. Миллионы людей арестовав и осудив, он сам давно уже не видел их близко.

Походкой гуляющего франта Прянчиков подошел и вопросительно посмотрел на министра, как бы не ожидав его тут встретить.

— Вы-инженер... — Абакумов сверился с бумажкой, — ...Прянчиков?

— Да, — рассеянно подтвердил Валентин. — Да.

— Вы — ведущий инженер группы... — он опять заглянул в запись... — аппарата искусственной речи?

— Ка-кого аппарата искусственной речи! — отмахнулся Прянчиков. — Что за чушь! Его никто так у нас не называет. Это переименовали в борьбе с низкопоклонством. Во-кодер. Voice coder. Кодированный голос.

— Но вы — ведущий инженер?

— Вообще да. А что такое? — насторожился Прянчиков.

— Садитесь.

Прянчиков охотно сел, заправски придерживая разглаженные ножные трубки комбинезона.

— Прошу вас говорить совершенно откровенно, не боясь никаких репрессий со стороны вашего непосредственного начальства. Вокодер когда будет готов? Откровенно! Через месяц будет? Или, может быть, нужно д в а месяца? Скажите, не бойтесь.

— Вокодер? Готов?? Ха-ха-ха-ха! — звонким юношеским смехом, никогда не раздававшимся под этими сводами, расхохотался Прянчиков, откинулся на мягкие кожанные спинки и всплеснул руками. — Да вы что???! Что вы?! Вы, значит, просто не понимаете, что такое вокодер. Я вам сейчас объясню!

Он упруго вскочил из пружинящего кресла и бросился к столу Абакумова.

— У вас клочок бумажки найдется? Да вот! — Он вырвал лист из чистого блокнота на столе министра, схватил его ручку цвета красного мяса и стал торопливо коряво рисовать сложение синусоид.

Абакумов не испугался — столько детской искренности и непосредственности было в голосе и во всех движениях

странного инженера, что он стерпел этот натиск и с любопытством смотрел на Прянчикова, не слушая.

— Надо вам сказать, что голос человека составляется из многих гармоник, — почти захлебывался Прянчиков от напирающего желания все скорей высказать. — И вот идея вокодера состоит в искусственном воспроизведении человеческого голоса... Черт! Как вы пишете таким гадким пером?.. воспроизведении путем суммирования если не всех, то хотя бы основных гармоник, каждая из которых может быть послана отдельным датчиком импульсов. Ну, с системой Декартовых прямоугольных координат вы, конечно, знакомы, это каждый школьник, а ряды Фурье вы знаете?

— Подождите, — опомнился Абакумов. — Вы мне только скажите одно: к о г д а будет готово? Г о т о в о — когда?

— Готово? Хм-м... Я над этим не задумывался. — В Прянчикове уже сменилась инерция вечерней столицы на инерцию его любимого труда, и снова уже ему было трудно остановиться. — Тут вот что интересно: задача облегчается, если мы идем на огрубление тембра голоса. Тогда число слагаемых...

— Ну, к какому числу? К какому? К первому марта? К первому апреля?

— Ой, что вы! Апреля?.. Без криптографов мы будем готовы месяца... ну, через четыре, через пять, не раньше. А что покажут шифрация и дешифрация импульсов? Ведь там качество еще огрубится! Да не станем загадывать! — уговаривал он Абакумова, тяня его за рукав. — Я вам сейчас все объясню. Вы сами поймете и согласитесь, что в интересах дела не надо торопиться!..

Но Абакумов, остановившимся взглядом упершись в бессмысленные кривые линии чертежа, уже надавил кнопку в столе.

Появился тот же лощеный подполковник и пригласил Прянчикова к выходу.

Прянчиков повиновался с растерянным выражением, с полуоткрытым ртом. Ему досаднее всего было, что он не досказал мысли. Потом, уже на ходу, он напрягся, соображая, с кем это он сейчас разговаривал. Почти уже подходя к двери, он вспомнил, что ребята просили его жаловаться, добиваться... Он круто обернулся и направился назад:

— Да! Слушайте! Я же совсем забыл вам..

Но подполковник преградил дорогу и теснил его к двери, начальник за столом не слушал, — и в этот короткий не-

ловкий момент из памяти Прянчикова, давно уже захваченной одними радиотехническими схемами, как на зло ускользнули все беззакония, все тюремные непорядки, и он только вспомнил и прокричал в дверях:

— Например, насчет кипятка ! С работы поздно вечером прийдешь — кипятка нет ! чаю нельзя напиться ! . .

— Насчет кипятка ? — переспросил тот начальник, вроде генерала. — Ладно. Сделаем.

17

СИВКА - БУРКА

В таком же синем комбинезоне, по крупный, рыжий, с остриженной каторжанской головой вошел Бобынин.

Он проявил столько интереса к обстановке кабинета, как если бы бывал здесь по сто раз на дню, прошел, не задерживаясь, и сел, не поздоровавшись. Сел он в одно из удобных кресел неподалеку от стола министра и обстоятельно высморкался в не очень белый, им самим выстиранный в последнюю баню платок.

Абакумов, несколько сбитый с толку Прянчиковым, но не принявший всерьёз легкомысленного юнца, был доволен теперь, что Бобынин выглядел внушительно. И он не крикнул ему « встать », а, полагая, что тот не разбирается в погонах и не догадался по анфиладе преддверий, куда попал, спросил почти миролюбиво:

— А почему вы без разрешения садитесь ?

Бобынин, едва скосясь на министра, еще кончая прочищать нос при помощи платка, ответил запросто:

— А, видите, есть такая китайская поговорка: стоять — лучше, чем ходить, сидеть — лучше, чем стоять, а еще лучше — лежать.

— Но вы представляете — кем я могу быть ?

Удобно облокотясь в избранном кресле, Бобынин теперь осмотрел Абакумова и высказал ленивое предположение:

— Ну, — кем ? Ну, кто-нибудь вроде маршала Геринга ?

— Вроде к о г о ? ? ?

— Маршала Геринга. Он однажды посетил авиазавод близ Галле, где мне пришлось работать. Там тамошние генералы на цыпочках ходили, а я даже к нему не повернулся. Он посмотрел-посмотрел и дальше пошел.

По лицу Абакумова прошло движение, отдаленно похожее на улыбку, но тотчас же глаза его нахмурились на неслыханно-дерзкого арестанта. Он мигнул от напряжения и спросил:

— Так вы что ? Не видите между нами разницы ?

— Между вами ? Или между нами ? — голос Бобынина гудел как растревоженный чугун. — Между нами отлично вижу: я вам нужен, а вы мне — нет !

У Абакумова был тоже голосок с громовыми раскатами, и он умел им припугнуть. Но сейчас он чувствовал, что кричать было бы беспомощно и несолидно. Он понял, что арестант этот трудный.

И только предупредил:

— Слушайте, заключенный. Если я с вами мягко, так вы не забывайтесь . . .

— А если бы вы со мной грубо — я б с вами и разговаривать не стал, гражданин министр. Кричите на своих полковников да генералов, у них слишком много в жизни есть, им слишком жалко этого всего.

— Сколько нужно — и вас заставим.

— Ошибаетесь, гражданин министр ! — И сильные глаза Бобынина сверкнули ненавистью. — У меня ничего нет, вы понимаете — нет ничего ! Жену мою и моего ребенка вы уже не достанете — их взяла бомба. Родители мои — уже умерли. Имущества у меня всего на земле — носовой платок, а комбинезон и вот белье под ним без пуговиц (он обнажил грудь и показал) — казенное. Свободу вы у меня давно отняли, а вернуть ее не в ваших силах, ибо ее нет у вас самого. Лет мне отроду сорок два, сроку вы мне отсыпали двадцать пять, на каторге я уже был, в номерах ходил, и в наручниках, и с собаками, и в бригаде усиленного режима — чем еще можете вы мне угрозить ? чего еще лишить ? Инженерной работы ? Вы от этого потеряете больше. Я закурю.

Абакумов раскрыл коробку « Тройки » особого выпуска и пододвинул Бобынину:

— Вот, возьмите этих.

— Спасибо. Не меняю марки. Кашель. — И достал « беломорину » из самодельного портсигара. — Вообще, поймите и передайте там, кому надо выше, что вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у людей не все. Но человек, у которого вы отобрали все — уже не подвластен вам, он снова свободен.

Бобынин смолк и углубился в курение. Ему нравилось дразнить министра и нравилось полулежать в таком удобном кресле. Он только жалел, что эффекта ради отказался от роскошных папирос.

Министр сверился с бумажкой.

— Инженер Бобынин ! Вы ведущий инженер установки « клишированная речь » ?

— Да.

— Я вас прошу сказать совершенно точно: когда она будет готова к эксплуатации ?

Бобынин вскинул густые темные брови.

— Что за новости ? Не нашлось никого старше меня, чтобы вам на это ответить ?

— Я хочу знать именно от вас. К февралю она будет готова ?

— К февралю ? Вы что — смеетесь ? Если для отчета, на скорую руку да на долгую муку — ну, что-нибудь... через полгодика. А абсолютная шифрация ? Понятия не имею. Может быть — год.

Абакумов был оглушен. Он вспомнил злобно-нетерпящее подергивание усов Хозяина — и ему жутко стало тех обещаний, которые, повторяя Севастьянова, он дал. Все опустилось в нем, как у человека, пришедшего лечить насморк и открывшего у себя рак носоглотки.

Обеими руками министр подпер голову и сдавленно сказал:

— Бобынин ! Я прошу вас — взвесьте ваши слова. Если можно быстрей скажите: что нужно сделать ?

— Быстрей ? Не выйдет.

— Но причины ? Но какие причины ? Кто виноват ? Скажите, не бойтесь ! Назовите виновников, какие бы погоны они ни носили ! Я сорву с них погоны !

Бобынин откинул голову и глядел в потолок, где резвились нимфы страхового общества « Россия ».

— Ведь это получается два с половиной — три года ! — возмущался министр. — А вам срок был дан г о д !

И Бобынина прорвало.

— Что значит — д а н с р о к ? Как вы представляете себе науку: Сивка-Бурка, вещая каурка ? Воздвигни мне к утру дворец — и к утру дворец ? А если проблема неверно поставлена ? А если обнаруживаются новые явления ? Дан срок ! А вы не думаете, что кроме приказа еще должны быть спокойные, сытые, свободные люди ? Да без этой атмосферы подозрения. Вон мы маленький токарный станочек с одного места на другое перетаскивали — и не то у нас, не то после нас станина хрупнула. Черт ее знает, почему она хрупнула ! Но ее заварить — тридцать рублей стоит. Да и станок —

г . . . , ему полтораста лет, без мотора, шкив под открытый ременной привод ! — так из-за этой трещины оперуполномоченный майор Шикин две недели всех тягает, допрашивает, ищет, кому второй срок за вредительство намотать. Это на работе — о п е р , дармоед, да в тюрьме еще один о п е р , дармоед, только нервы дергают, протоколы, закорючки — да на черта вам это оперное творчество ? ! Вот все говорят — секретную телефонию для Сталина делаем, лично Сталин наседает — и даже на таком участке вы не можете обеспечить технического снабжения — то конденсаторов нужных нет, то радиолампы не того сорта, то электронных осциллографов не хватает. Нищета ! Позор ! « Кто виноват » ! А о людях вы подумали ? Работают вам по двенадцать, иные по шестнадцать часов в день — а вы мясом только ведущих инженеров кормите, а остальных — костями ? . . Свиданий с родственниками почему по пятьдесят восьмой не даете ? Положено раз в месяц, а вы даете раз в год ! От этого что — настроение поднимается ? Может, воронков не хватает — в чем арестантов возить ? Или надзирателям — зарплаты за выходные дни ? Р е ж и м ! ! Ре-жим вам голову мутит, с ума скоро сойдете от режима. По воскресеньям раньше можно было весь день гулять — теперь запретили. Это зачем ? Чтобы больше работали ? На г . . . сметану собираете ? От того, что без воздуха задыхаются — скорее не будет. Да чего говорить ! Вот меня зачем ночью вызвали ? Дня не хватает ? А ведь мне работать завтра. Мне спать нужно.

Бобынин выпрямился, гневный, большой.

Абакумов тяжело сопел, придавленный к кромке стола.

Было двадцать пять минут второго ночи. Через час, в половине третьего, Абакумов должен был предстать с докладом у Сталина, на кунцевской даче.

Если этот инженер прав — как теперь изворачиваться ?

Сталин — не прощает . . .

Но тут, отпуская Бобынина, он вспомнил эту тройку лгунов из Отдела специальной техники. И темное бешенство обожгло ему глаза.

И он позвонил за ними.

18

ЮБИЛЯР

Комната была невелика, невысока. Окон в ней не было, а двери — две. Хотя не было форточки, но воздух стоял свежий, приятный (особый инженер отвечал за впуск и выпуск воздуха и химическую безвредность его).

Много места занимала низкая темная оттоманка с цветистыми подушками.

На стене над ней горели сдвоенные лампы, прикрытые абажуриками чуть розоватого стекла.

На оттоманке лежал человек, чье изображение столько раз было изваяно в статуях, писано маслом, акварелью, гуашью, сепией, рисовано углем, мелом, толченым кирпичем, сложено из придорожной гальки, из морских ракушек, поливанной плитки, из зерен пшеницы и соевых бобов, вырезано по кости, выращено из травы, выткано на коврах, составлено из самолетов, заснято на кинопленку — как ничье никогда за три миллиарда лет существования земной коры.

А он просто лежал, немного подобрав ноги в мягких кавказских сапогах, похожих на плотные чулки. На нем был френч с четырьмя большими карманами, нагрудными и боковыми, — старый, обжитый, из тех серых, защитных, черных и белых френчей, какие он усвоил носить с гражданской войны и сменил на маршальский мундир только после Сталинграда.

Имя этого человека склоняли газеты земного шара, бормотали тысячи дикторов на сотнях языков, выкривали докладчики в началах и окончаниях речей, выпевали тонкие пионерские голоса, провозглашали во здравие архиереи. Имя этого человека запекалось на обмирающих губах военнопленных, на опухших деснах арестантов. По имени этому во множестве были переназваны города и площади, улицы и проспекты, школы, санатории, горные хребты, морские каналы, заводы, шахты, совхозы, колхозы, линкоры, ледоколы, рыболовные баркасы, сапожные артели, детские ясли — и группа московских журналистов предлагала также переименовать Волгу и Луну.

А он был просто маленький старик с усохшею на шее кожной сумочкой (ее не изображали на портретах), со ртом, пропахшим листовым турецким табаком, с жирными пальцами, оставлявшими следы на книгах. Ему нехорошо было вчера и сегодня. Спиною и плечами он в теплом воздухе ощущал холодок и прикрыл их бурой верблюжьей шалью.

Он никуда не спешил и с удовольствием перелистывал небольшую книжечку в коричневом твердом переплете. Он охотно смотрел на фотографии и местами читал текст, уже почти знакомый наизусть, и их опять перелистывал. Книжечка была тем удобна, что могла, не погнувшись, поместиться в кармане пальто — она могла повсюду сопровождать людей в их жизни. Страниц в ней было четверть тысячи, но редким крупным толстым шрифтом, так что и малограмотный и старый могли без утомления ее читать. На переплете ее было золотом выдавлено: «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография».

Незамысловатые честные слова этой книги ложились на человеческое сердце покойно и неотвратимо: Стратегический гений. Его мудрая прозорливость. Его мощная воля. Его железная воля. С 1918-го года стал фактическим заместителем Ленина. (Да, да, так и было!..). Полководец революции застал на фронте толчею, растерянность. Сталинские указания лежали в основе оперативного плана Фрунзе...

(Верно. Верно.). Это наше счастье, что в трудные годы Отечественной войны нас вел мудрый и испытанный Вождь — Великий Сталин. (Да, народу повезло)... Все знают сокрушительную силу сталинской логики, кристальную ясность его ума... (Без ложной скромности — все это правда). Его любовь к народу. Его чуткость к людям. Его нетерпимость к парадной шумихе. Его удивительную скромность. (Скромность — это очень верно).

Очень хорошо. И, говорят, расходится бойко. Это, второе, издание вышло пятью миллионами экземпляров. Для такой страны — маловато. Можно будет третье издание запустить миллионов на десять, на двадцать. Продавать прямо на заводах, в школах, в колхозах.

Подташнивало. Он отложил книгу, взял с круглого столика очищенный плод фейхуа, откусил. Если его посасывать, тошнота отступает, а во рту остается приятный вкус со слабым оттенком йода.

Он замечал, но боялся признать, что здоровье его становилось с каждым месяцем хуже и хуже. Постигали провалы в памяти. Мучила тошнота. Не было явной боли, но часы

противной слабости приковывали его к оттоманке. Не облегчал и сон: он просыпался таким же неосвеженным, разбитым, со сдавленой головой, каким лег, и двигаться ему не хотелось.

По кавказским понятиям семьдесят лет — это еще джигит ! — на гору, на коня, на женщину. И он так был здоров ! так был здоров ! Так надо ему дожить до девяноста ! Но что теперь случилось ? Великой радости жизни — наслаждаться вкусной едой, Сталин не находил в себе последний год. Сок апельсинов щипал язык, икра вязла на зубах, и даже острое харчо, запрещенное ему, он ел с мутным безразличием. Не было и прежнего яркого ощущения в переборе вин, хмель переходил в тупую головную боль. И мысль о женщинах стала отвратительна тоже.

Положив себе дожить до девяноста лет, Сталин с тоскою думал, что лично ему эти годы не принесут радости, что он просто должен домучиться еще двадцать лет ради человечества.

Один врач предупредил его, что... (Впрочем, кажется, его расстреляли потом). У знаменитостей московской медицины фонендоскопы дрожат в руках. Никаких уколов они ему не прописывают (он сам отменил уколы), а Д'Арсенваль да « побольше фруктов ». Рассказывай кавказскому человеку о фруктах !..

Он откусил еще, прижмурил глаза.

Три дня назад отгремело его славное семидесятилетие. Праздновал так: 20-го вечером забили на смерть Трайчо Костова. Только когда глаза его собачьи остеклели — мог начаться настоящий праздник. 21-го в Большом театре было торжественное чествование, выступали Мао-Цзе-Дун, Ибарури и другие товарищи. Потом был широкий банкет. Еще потом был узкий банкет. Пили древние вина испанских погребов. Пить приходилось с опаской, все время ища лукавство в раскрасневшихся лицах. Потом отдельно с Лаврентием пили кахетинское, пели грузинские песни. 22-го был большой дипломатический прием. 23-го смотрел о себе — вторую серию « Сталинской битвы » Вирты и « Незабываемый 1919-й » Вишневского.

Хотя и утомив, произведения эти ему очень понравились (сталинскую премию им обоим !). Теперь все более и более правдиво вырисовывается его роль не только в Великой Отечественной, но и в гражданской войне. Видно, каким большим человеком он был уже тогда. Память сохранила ему, как часто он серьезно предупреждал и поправлял слишком доверчивого, опрометчивого Ленина. И еще Вишневский очень хо-

рошо вложил в его уста: « Каждый трудящийся свои мысли имеет право высказывать ! — когда-нибудь внесем в конституцию такую статью ». Что это значит ? Это значит: еще обороняя Петроград от Юденича, Сталин уже думал о будущей демократической конституции. Тогда это называлось диктатурой пролетариата, но все равно — верно, сильно !

А вот у Вирты хорошо сочинена эта ночная сцена с Другом. Хотя такого преданного большого Друга у Сталина никого не осталось из-за постоянной неискренности и коварства людей (да даже и за всю жизнь не было такого Друга ! вот так складывалось, что никогда его не было!), но, смотря на экране сцену, сочиненную Виртой, Сталин почувствовал умиление в горле и слезы в глазах (это художник — так художник) — как бы хотел он иметь такого правдивого бескорыстного Друга и то, что думаешь вот целыми ночами про себя — говорить ему вслух.

Ничего, зато простой народ любит своего Вождя, понимает и любит, правда. Это и по газетам видно, и по кино, и по выставке подарков. День рождения его стал всенародным праздником, это радостно сознавать. Сколько пришло приветствий ! — от учреждений приветствия, от организаций приветствия, от заводов приветствия, от отдельных граждан приветствия ! Просили разрешения печатать их в « Правде » не все сразу, а по два столбца каждый номер. Ну, растянется на несколько лет, ничего, это не плохо.

А подарки в музее Революции не уместились в десяти залах. Чтоб не мешать москвичам осматривать их днем, Сталин съездил посмотреть их ночью. Труд тысяч и тысяч мастеров, лучшие дары земли, стояли, лежали и висели перед ним — но и тут его настигла та же безучастность, то же угасание интересов. Зачем ему были все эти подарки ? . . Он соскучился быстро. И еще какое-то неприятное воспоминание подступило к нему в музее, но, как часто в последнее время, мысль не дошла до ясности, он не ухватил ее, а осталось только, что — неприятно. Сталин прошел три зала, ничего не выбрал, постоял у большого телевизора с гравированной надписью « Великому Сталину от чекистов » (это был самый крупный советский телевизор, сделанный в одном экземпляре в Маврино) — повернулся и уехал.

Так прошел замечательный праздник — а полноты торжества не было.

Что-то, в груди застрявшее, досаждало и пекло Сталина после музея, только не мог он понять — что.

Народ-то его любил, это верно, но сам народ кишел очень многими недостатками. И как их исправить ? И куда быстрей бы строился коммунизм, если б не... Если б не бездушные бюрократы. Если б не зазнавшиеся вельможи. Если б не слабость организационно-разъяснительной работы в массах. Не самотёк в партийном просвещении. Не замедленные темпы строительства. Не простои на производстве. Не выпуск недоброкачественной продукции. Не плохое планирование. Не безразличие к внедрению новой техники. Не уклонение молодежи от посылки в глушь. Не потери зерна на поле. Не растраты бухгалтеров. Не хищения на базах. Не жульничество завхозов. Не саботаж заключенных. Не либерализм милиции. Не злоупотребления жилищным фондом. Не нахальные спекулянты. Не жадные домохозяйки. Не избалованные дети. Не трамвайные болтуны. Не критиканство в литературе. Не вывихи в кинематографии.

Нет, слишком много в народе еще недостатков.

И в сорок первом году — из-за кого отступали ? Ведь приказано было народу стоять насмерть — а почему не стоял ? А кто ж тогда отступал, как не народ ?

Но вспоминая сорок первый год, Сталин не избежал вспомнить и своей слабости — своего поспешного не нужного отъезда из Москвы в октябре. Это, конечно, совсем не было бегство. И, уезжая, Сталин оставил ответственных людей и дал им твердые указания защищать столицу до последней капли крови. Но беда в том, что вот именно эти-то товарищи дрогнули — и пришлось опять самому, опять самому возвращаться и защищать.

Он потом велел брать в тюрьму поголовно всех, кто вспоминал о панике шестнадцатого октября. Но наказал и себя — вывел себя на ноябрьский военный парад. Это была минута жизни, как — в прорубь в туруханской ссылке: лед и отчаяние, но через них силы. Шутка сказать — военный парад, когда враг у стен !

Но быть Величайшим из всех Великих — разве легко ?...

Расслабляемый лежанием, Сталин невольно предался угнетенному строю мыслей. Он ни на чем не собирал сейчас свое уставшее внимание. Он жмурился, лежал — и лезли в голову бессвязнейшие воспоминания из долгой-долгой жизни его. Но вспоминалось почему-то не хорошее, а все плохое и обидное. Если Гори — то не зеленые веселые холмики, не извивы Меджуды и Лиахви, а — то постылое, из-за чего потом никогда ни на час не заехал он в свой родной городок. Если

вспоминался семнадцатый год, то — как приехал Ленин и своими самоуверенными тезисами перевернул, что было до него, и как смеялись над Сталиным, что он предлагал растить легальную партию и жить с Временным правительством тихомирно. Над ним смеялись не раз, но почему принято было все тяжелое и неблагодарное на него же сваливать ? Над ним смеялись, но почему шестого июля из дворца Кшесинской послали в Петропавловку не кого другого, а именно его — когда надо было убедить матросов отдать крепость без боя Керенскому, а самим уходить в Кронштадт ? Потому что Гришку Зиновьева камнями бы забросали матросы. Потому что уметь надо разговаривать с русским народом... Вспоминался ли двадцатый год — и опять: как Тухачевский кривил губы и кричал, что Варшавы он не взял из-за Сталина. Докричался, сосунок...

Так всю жизнь не везло. Не везло всю жизнь, и всегда кто-нибудь мешал. И пока одного уберешь — уже следующий мешал.

Раздался легкий четырехкратный стук в дверь — не стук даже, а четыре мягких поглаживания по ней, как будто в дверь терлась собака.

Сталин повернул около оттоманки ручку тяги дистанционного запора, предохранитель сощелкнул, и дверь приотворилась. Ее не прикрывала портьера (Сталин не любил пологов, складок, всего, где можно прятаться) и видно было, как голая дверь раскрылась ровно настолько, чтобы пропустить собаку, но не в нижней, а в верхней части двери просунулась голова как будто еще молодого, но уже лысеющего Поскребышева с постоянным выражением честной преданности и полной готовности на лице.

С тревогой за состояние Хозяина он посмотрел, как тот лежал, полуприкрывшись верблюжьей шалью, но не спросил прямо о здоровьи (считалось, что здоровье вполне хорошо), а тихо:

— Ись Сарионыч ! Вы сегодня на полтретьего Абакумову назначили. Будете принимать ? Нет ?

Иосиф Виссарионович отстегнул клапан грудного кармана и на цепочке вытащил часы (как все люди старого времени, терпеть он не мог ручных).

Еще не было и двух часов ночи.

Вставать переодеваться, идти в кабинет не хотелось. Но и распускать никого нельзя: чуть-чуть ослабь узду — сразу почувствуют.

— Па-смотрим, — устало ответил Сталин и моргнул. — Нэ знаю.

— Ну, пусть себе едет. Подождет ! — подтвердил Поскребышев и кивнул с излишком раза три. (Подчеркивание своего как бы мальчишества очень укрепляло его в должности). И замер опять, со вниманием глядя на Хозяина: — Какие распоряжения еще, Ё-Сарионыч ?

Сталин печально посмотрел на это существо, которое тоже, увы, не могло быть ему другом, потому что стояло слишком низко.

— Иды-пока, Саша, — сказал он из под усов.

Поскребышев еще кивнул, убрал голову, плотно притворил дверь.

Иосиф Виссарионович установил опять дистанционный запор и, придерживая плед, повернулся на другой бок.

И тут на низенькой — еще ниже оттоманки — тумбочке он увидел книгу дешевого издания в бумажном черно-красном переплете.

И сразу вспомнил, что̀, в груди застрявшее, его пекло, что̀ отравило ему юбилей, кто еще и сегодня мешал и не был убран — Тито ! Тито !

Как ? ! Как можно было ошибиться в этой скорпионовой душе ? Такие славные были тридцать шестой — тридцать седьмой годы ! Стольким еще недодушенным тогда оторвали головы ! А Тито выпустили из рук.

Сталин со стоном спустил ноги с оттоманки, сел, взялся за рыжеватую, уже с сединой и с плешиной голову. Ничем не поправимая досада саднила его. Как сказочный богатырь, Сталин всю жизнь рубил и рубил вырастающие и вырастающие головы гидры. Целые Эльбрусы врагов свалил он за свою жизнь. А на кочке споткнулся.

Иосиф споткнулся на Иосифе . . .

Ничуть не мешал Сталину доживающий где-то Керенский. Пусть бы из гроба вернулся и Николай Второй или Колчак — против всех них Сталин не имел личного зла: открытые враги, они не изворачивались предлагать какой-то свой, новый, лучший социализм.

Лучший социализм ! . . . И н а ч е, чем у Сталина ! Сопляк ! Да кто ж бы мог построить социализм б е з Сталина ? !

Не в том, что у Тито что-нибудь получится — выйти у него ничего не может ! — как старый коновал, перепоровший множество этих животов, отсекший несчетно этих конечностей в

курных избах, на бревнах, на дорогах, смотрит на беленькую практикантку-медичку, — так смотрел Сталин на Тито.

Но три раза уже сменено собрание сочинений Ленина, дважды — Основоположников. Давно заснули все, кто спорили, кто упоминался в старых примечаниях, все, кто думали и н а ч е строить социализм. И вот, когда даже в шелесте тайги уже не расслышать ни критики, ни сомнения — выползает Иосиф Тито со своим начетчиком Карделем и говорит, что что-то надо было делать н е т а к !

Тут Сталин заметил, что сердце его ожесточенно бьется, глаза застлало, во все члены вступило неприятное желание подергиваться.

Он перевел дух. Разгладил рукой лицо, усы. Нельзя же поддаваться. Так отнимает у него Тито последнее спокойствие, последний аппетит, последний сон.

Проясненными глазами опять он увидел черно-красную книжечку. Книжечка не была виновата. Сталин с удовольствием потянулся за ней, подмостил подушек и на несколько минут полуприлег опять.

Это был экземпляр из подготовленного на десяти европейских языках многомиллионного издания « Тито — маршал предателей » Рено де-Жувенеля (удачно, что автор — как бы посторонний в споре, объективный француз, да еще с дворянской частицей). Сталин уже прочел эту книгу подробно несколько дней назад, но, как со всякой приятной книгой, с ней не хотелось расстаться. Скольким миллионам людей она откроет глаза на этого тщеславного, самолюбивого, жестокого, трусливого, гадкого, лицемерного, подлого тирана ! гнусного предателя ! безнадежного тупицу ! Ведь даже коммунисты на Западе растерялись. Старый дурак Андре Марти — и того за защиту Тито придется выгнать из ком-партии.

Он перелистал книжку. Вот ! Пусть не венчают Тито героем: дважды п о трусости он хотел сдаться немцам, но начальник штаба Арсо Иованович з а с т а в и л его остаться главнокомандующим ! Благородный Арсо ! Убит. А Петричевич ? « Убит только за то, что любил Сталина ». Благородный Петричевич ! Лучших людей всегда кто-нибудь убивает, а худших достается приканчивать Сталину.

Все здесь есть, все — и как Тито, наверно, был английским шпионом, и как кичился доставшимися ему кальсонами с королевской короной, и как он физически безобразен, похож на Геринга, и пальцы все в бриллиантовых перстнях, увешан ор-

денами и медалями (что за жалкое чванство в человеке, не одаренном полководческим гением !).

Объективная, принципиальная книга. Нет ли еще у Тито половой неполноценности ? Об этом тоже надо бы написать.

« Югославская компартия во власти убийц и шпионов ». « Тито потому только мог заняться руководством, что за него поручились Бела Кун и Трайчо Костов ».

Костов ! ! — как укололо Сталина. Бешенство бросилось ему в голову, он сильно ударил сапогом — в морду Трайчо, в окровавленную морду ! — и серые веки Сталина вздрогнули от удовлетворенного чувства справедливости.

Проклятый Костов ! Грязный мерзавец !

У-у-дивительно, как задним числом становятся понятны козни этих негодяев ! Как они маскировались ! Куна хоть хлопнули в тридцать седьмом, а Костов еще десять дней назад поносил социалистический суд. Сколько удачных процессов Сталин провел, каких врагов заставил топтать самих себя и признаваться в любой гадости — и такой срыв в процессе Костова ! Позор на весь мир ! Какая подлая изворотливость ! Обмануть опытное следствие, ползать в ногах ! — а на публичном заседании ото всего отказаться ! При иностранных корреспондентах ! Где же порядочность ? где же партийная совесть ? где же пролетарская солидарность ? Ну, умри, но умри так, чтобы нам была польза !

Сталин отшвырнул книжку. Нет, нельзя было лежать ! Звала борьба.

Беззаботная страна может спать, но Отец ее спать не может !

Он встал. Выпрямился, не допряма. Отпер (и запер за собой) другую дверь, не ту, в которую стучался Поскребышев. За нею, чуть шаркая мягкими сапогами, пошел низеньким узким кривым коридорчиком, тоже без окон, миновал люк, миновал смотровые зеркала, откуда можно было видеть приемную. Так он прошел в спальню, такую же невысокую, непросторную, без окон, с кондиционированным нагнетаемым воздухом. Под сплошной дубовой обкладкой стен спальни шли бронированные плиты и только потом камень.

Маленьким ключиком, носимым у пояса, Сталин отпер замочек на металлической крышке графина, налил стакан своей любимой бодрящей настойки, выпил, а графин снова запер.

Он подошел к зеркалу. Ясно, неподкупно-строго смотрели глаза, которых не выдерживали и премьер-министры. Вид был суровый, простой, солдатский.

Он позвонил ординарцу-грузину — одевать себя.

Даже к приближенному он выходил как перед историей.

Его железная воля... Его непреклонная воля...

19

ЯЗЫК - ОРУДИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Самым плодотворным временем Сталина были ночи.

Недоверчивый мозг его медленно разрабатывался с утра. Хмурым утренним мозгом он смещал с должностей, срезал расходы, приказывал сливать министерства по два и по три вместе. Гибким же исхищренным мозгом ночи он придумывал, как министерства дробить, делить, как называть новые, подписывал новые сметы, утверждал новых кандидатов на должности.

Все лучшие мысли его родились от полуночи до четырех часов ночи: и — как старые займы обменять на новые, чтоб не платить выигрышей; и — суд за прогул; и — как удлинить рабочий день и рабочую неделю; и — как закрепить рабочих и служащих на их местах навечно; и — указ о каторге и висилице; и — роспуск Третьего Интернационала; и — ссылка народов-изменников в Сибирь.

Ссылка целых наций была его важным теоретическим вкладом и смелым экспериментом, но ничего другого не оставалось. Всю свою жизнь он был в партии, бесспорно, первым специалистом по национальному вопросу.

И еще было много других замечательных указов. Но во всей архитектурной системе их он находил-таки последнее время одно слабое место — и постепенно зрел в голове его новый важный указ. Все было у него закреплено навечно, все движения были остановлены, все потоки перепружены, все двести миллионов знали свое место — и только колхозная молодежь давала утечку.

Вообще в колхозах дела обстояли очень хорошо. В этом Сталин убедился, смотря фильм « Кубанские казаки » и читая роман « Кавалер Золотой Звезды ». Авторы побывали в колхозах, все видели и отобразили, и отображаемое ими было наглядно хорошо. Да Сталин и сам толковал с колхозниками в президиумах съездов.

Но, проницательный и постоянно самокритичный государственный деятель, Сталин заставлял себя видеть еще глубже,

чем эти писатели. Кто-то из секретарей обкомов (кажется, его расстреляли потом) проговорился ему, что есть такая теневая сторона: в колхозах с энтузиазмом работают старики и старухи, вписанные туда с тридцатого года, а молодежь (не вся, конечно, — о т д е л ь н ы е несознательные представители) как только кончат школу, стараются обманным образом получить паспорт и ускакать в город. Сталин услышал это — и в нем началась незримая подтачивающая работа.

Образование ! . . Какая-то путаница вышла с этим всеобщим семилетним, всеобщим десятилетним, с кухаркиными детьми, идущими в ВУЗ. Тут Ленин напутал, только рано это говорить. Каждая кухарка должна управлять государством ! . . Как он себе это конкретно представлял ? Чтобы кухарка по пятницам не готовила, а ходила заседать в Облисполком ? Кухарка — она и есть кухарка, она должна обед готовить. А управлять людьми ! — это высокое умение, это можно доверить только специальным кадрам, особо отобранным кадрам, много лет проверенным кадрам, закаленным кадрам. Управление же самими кадрами может быть только в единых руках и именно в привычных руках Вождя.

Установить бы по уставу сельхозартели, что, как земля принадлежит ей вечно, так всякий родившийся в данной деревне со дня рождения автоматически принимается в колхоз. Оформить как почетное право. И чтобы только президиум райисполкома мог отпускать из колхоза. Сразу — агиткампанию, серию газетных статей: « Юные наследники колхозной житницы », « Важный шаг в строительстве новой деревни », да писатели уж найдут, как выразиться.

А ведь, кажется, кто-то из п р а в ы х (таких « правых » и не было никогда, Сталин сам сколотил из них группировку, чтоб удобнее расшлепать одним ударом) — кто-то из них предупреждал, что такая проблема возникнет.

Почему-то всегда получалось так, что уничтоженные противники в чем-то оказывались правы. Безотчетно захваченный их враждебной мыслью, Сталин настороженно прислушивался к их загробным голосам.

Но хотя этот указ был неотложен, и зрели в его голове другие еще указы, тоже неотложные, — однако, входя в кабинет, Сталин ощутил сегодня тягу к чему-то более возвышенному.

На пороге восьмого десятка он не имел права откладывать дальше.

Уж, кажется, все было сделано для бессмертия.

Но Сталину мнилось, что современники, хоть и называют его Мудрейшим из Мудрейших, — все-таки не по заслугам мало восхищаются им, что в своих восторгах они поверхностны и не вскрывают всей глубины гениальности.

И последнее время язвила его мысль: совершить еще один научный подвиг, внести свой непомеркающий вклад в какую-нибудь еще из наук, кроме философских и исторических. Конечно, такой вклад он легко мог внести в биологию — но там он доверил работу Лысенко, этому честному энергичному человеку из народа. Да и больше была заманчива для Сталина математика или хотя бы физика. Сталин не мог без зависти читать в « Диалектике природы » рассуждения о ноле или минус единице, возведенной в квадрат.

Но сам он, сколько ни перелистывал учебник «Алгебры» Киселева и «физику» Соколова для старших классов, — никак не мог набрести ни на какой счастливый толчок.

Такую счастливую мысль — правда, совсем в другой области, в языкознании, ему подал недавний случай с тбилисским профессором Чикобавой. Чикобава умудрился написать, по видимости, антимарксистскую ересь о том, что язык — никакая не надстройка, а просто себе язык, и что будто бы существует язык не буржуазный и не пролетарский, а просто национальный язык — и открыто осмелился посягнуть на имя самого Марра.

Так как и тот и другой были грузины, то отклик последовал в грузинском же университетском вестнике, серенький непереплетенный номер которого с характерной грузинской вязью лежал сейчас перед Сталиным. Несколько лингвистов-марристов обрушились на наглеца с обвинениями, после которых тому оставалось только ожидать ночного стука МГБ. Уже намекнуто было, что Чикобава — агент американского империализма.

И ничто не спасло бы Чикобава, если бы Сталин не снял трубку и не оставил его жить. Его он оставил жить, а простеньким провинциальным мыслям Чикобава он решил дать бессмертное изложение и гениальное развитие.

Правда, звучней было бы опровергнуть, например, контрреволюционную теорию относительности или волновую механику, но за государственными делами просто нет, нет на это времени. Языкознание же все-таки рядом с грамматикой, а грамматика по трудности всегда казалась Сталину рядом с математикой.

Это можно будет ярко, выразительно написать (он уже

сидел и писал): «Какой бы язык советских наций мы ни взяли — русский, украинский, белорусский, узбекский, казахский, грузинский, армянский, эстонский, латвийский, литовский, молдавский, татарский, азербайджанский, башкирский, туркменский... (вот черт, с годами ему все труднее останавливаться в перечислениях. Но надо ли? Так лучше в голову входит читателю, ему и возражать не хочется)... — каждому ясно, что...» Ну, и там что-нибудь, что каждому ясно.

А что ясно? Ничего не ясно... Нагорожено семь верст до небес, и все лесом.

Экономика — базис, общественные явления — надстройка. И — ничего третьего. Но с опытом жизни разобрался Сталин, что без третьего не поскачешь. Например, нейтральные страны — могут же быть (не нейтральные люди, конечно)? А скажи в двадцатые годы с трибуны конференции: «Кто не с нами, тот еще не против нас»? И с трибуны бы выгнали, и из р я д о в. А получается так... Диалектика.

Так и тут. Над статьей Чикобава Сталин сам задумался, пораженный никогда не приходившей ему мыслью: если язык — надстройка, почему он не меняется с каждой эпохой? Если он н е надстройка, так что он? Базис? Способ производства?

Собственно, так: способ производства состоит из производительных сил и производственных отношений. Назвать язык о т н о ш е н и е м — пожалуй что нельзя. Значит, язык — производительная сила? Но производительные силы есть: орудия производства, средства производства и люди. Но хотя люди говорят языком, все же язык — не люди. Черт его знает, тупик какой-то.

Честнее всего было бы признать, что язык — это орудие производства, ну, как станки, как железные дороги, как почта. Тоже ведь — связь.

Но если прямым тезисом так и дать, что язык — это орудие производства, начнется хихиканье. Не у нас, конечно.

И посоветоваться не с кем: один он на свете — настоящий философ. Жил бы хоть кто-нибудь еще вроде Канта, что ли, или Спинозы, уж пусть буржуазный... Берии позвонить? Так ни черта он не понимает.

Ну, можно будет вот так, поосторожнее: «В этом отношении язык, принципиально отличаясь от надстройки, не отличается, однако, от орудий производства, скажем, от машин, которые так же безразличны к классам, как язык».

« Безразличны к классам » ! Тоже ведь раньше, бывало, не скажешь...

Он поставил точку. Заложил руки на затылок, зевнул и потянулся. Не так много он еще думал, а уже устал.

Сталин поднялся и прошелся по своему маленькому любимому ночному кабинету. Он подошел к небольшому оконцу, где вместо стекол было два слоя прозрачной желтоватой брони, а между ними высокое давление. Впрочем, за окнами был маленький отгороженный садик, где только по утрам проходил садовник под наблюдением охраны и сутки не было больше никого...

За непробиваемыми стеклами стоял в садике туман. Не было видно ни Земли, ни Вселенной.

Впрочем, половина Вселенной заключалась в его собственной груди и была стройна и ясна. Лишь вторая половина — та самая объективная реальность, корчилась в мировом тумане.

Но отсюда, из укрепленного, охраняемого, защищенного ночного кабинета, Сталин совсем не боялся этой второй половины — он чувствовал в себе власть карёжить ее, как хотел. Только когда приходилось своими ногами вступать в эту объективную реальность — например, поехать на большой банкет в Колонный зал, своими ногами пересечь пугающее пространство от автомобиля до двери, и потом своими ногами подниматься по лестнице, пересекать еще слишком обширное фойе и видеть по сторонам восхищенных, почтительных, но все же слишком многочисленных гостей, — тогда Сталин чувствовал себя дурно, совсем незащищенно, и не знал даже, как лучше использовать руки свои, давно не годные к настоящей обороне. Он складывал их на животе и улыбался. Они думали, что Всесильный улыбается в милость к ним, а он улыбался от растерянности...

Пространство им самим было названо коренным условием существования материи. Но овладев его сухой шестой частью, он стал бояться его. Тем и хорош был его ночной кабинет, что здесь не было пространства.

Сталин задвинул стальную шторку и поплелся опять к столу. Даже для Великого Корифея было поздно заниматься, но он выпил таблетку и снова сел.

Никогда ему в жизни не везло, но надо трудиться. Потомки оценят.

Как это случилось, что в языкознании — аракчеевский режим ? Никто не смеет слова сказать против Марра. Стран-

ные люди! Робкие люди! Учишь их, учишь демократии, разжуешь им, в рот положишь — не берут!

Все — самому, и тут — самому...

И он в увлечении записал несколько фраз:

«Надстройка для того и создана базисом, чтобы...»

«Язык для того и создан, чтобы...»

Свое коричневато-серое лицо с рытвинками оспы, с большим носом-бороздилом он низко склонил над листом и не видел, как ангел средневековой телеологии улыбался через его плечо.

Лафарг этот, тоже мне в теоретики! — «внезапная языковая революция между 1789 и 1794 годами».

Какая там революция! Был французский язык — и остался французский.

«Вообще нужно сказать к сведению товарищей, увлекающихся взрывами, что закон перехода от старого качества к новому качеству путем взрыва неприменим не только к истории развития языка, — но редко применим и к другим общественным явлениям».

Сталин отклонился, перечитал. Это хорошо получилось. Надо, чтобы это место агитаторы особенно хорошо разъяснили: что с такого-то момента всякие революции прекращаются и развитие идет только эволюционным путем. И даже, может быть, количество не переходит в качество. Но об этом в другой раз.

«Редко»?.. Нет, пока еще так неудобно.

Сталин перечеркнул «редко» и написал: «не всегда».

Какой бы примерчик?

«Мы перешли от буржуазного индивидуально-крестьянского строя (новый термин получился! и хороший термин!) к социалистическому колхозному».

И, поставив, как все люди, точку, он подумал и дописал: «строю». Это был его любимый стиль, еще один удар по уже забитому гвоздю. С повторением всех слов любая фраза воспринималась им как-то понятнее. Увлеченное перо писало дальше:

«А удалось это проделать потому, что это была революция сверху, что переворот был совершен по инициативе существующей власти».

Сталин нахмурился. Стоп, это получилось нехорошо. Так выходит, что инициатива в коллективизации шла не от колхозников?..

Тихое мягкое поглаживание раздалось за дверью. Сталин

нажал разрешительную кнопку. В двери показалась голова Сашки с лицом клоуна — побитого и тем довольного.

— Ёсь-Сарионыч ! — недалеко от шепота ласково спросил он. — Абакумова домой послать, или еще пусть посидит ?

Да, Абакумова. Увлекшись творчеством, Сталин совсем и забыл про него.

Он зевнул. Он уже устал. Ненадолго загоравшийся в нем пыл исследования погасал, вот и последние фразы не получались.

— Ну, ладно. Зови.

А сам из тумбы стола достал еще такой же графин с металлической крышкой, отпер его ключиком от пояса и выпил стакан.

Быть постоянно, быть постоянно горным орлом.

20

ВЕРНИТЕ НАМ КАЗНЬ, ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ

Его не то что за глаза, его и про себя-то почти не осмеливались звать Сашкой, а только Александром Николаевичем. «Звонил Поскребышев» значило: звонил Сам. «Распорядился Поскребышев» значило: распорядился Сам. Александр Николаевич Поскребышев держался начальником личного секретариата Сталина уже больше пятнадцати лет. Это было очень долго, и кто не знал его близко мог удивляться, как еще цела его голова. А секрет был прост. Этот пензенский ветеринар был по душе денщик — и именно это укрепляло его в должности. Даже когда его делали генерал-лейтенантом, членом ЦК и начальником спецотдела по слежке за членами ЦК, — он перед Хозяином ничуть не считал себя выше ничтожества. С тщеславным хихиканьем чокался он с ним в тосте за свою родную деревню Соплики. Сталин внутренним чутьем никогда не ощущал в Поскребышеве ни сомнения, ни противоборства. Его фамилия оправдывалась: выпекая его, ему как бы не наскребли в достатке всех качеств ума и характера.

Но когда он оборачивался к младшим, этот плешивеющий царедворец простоватого вида приобретал огромную значительность. Нижестоящим он еле-еле выдавал голоса по телефону: в трубку головой надо было влезать, чтобы расслышать. Пошутить с ним о пустяках иногда, может быть, и можно было, но спросить его, — как там сегодня? — не пошевеливался язык. (Как там — не могла узнать и родная дочь. Когда она звонила, ей отвечали только: «движение есть» или «движения нет» — по тому, слышны ли были шаги).

Сегодня Поскребышев сказал Абакумову:

— Иосиф Виссарионович работает. Может быть и не примет. Велел ждать.

Отобрал портфель, ввел в приемную и ушел.

Так Абакумов и не решился спросить, о чем больше всего хотел: о сегодняшнем настроении Хозяина. С тяжело колотящимся сердцем он остался в приемной один.

Этот рослый, сильный, решительный человек, идя на прием, всякий раз замирал от страха ничуть не меньше, чем в разгар арестов боялись граждане по ночам, слушая шаги по лестнице. От страха уши его сперва леденели, а потом отпускали, наливались огнем — и всякий раз Абакумов еще того боялся, что постоянно горящие уши вызовут подозрение Хозяина. Сталин был подозрителен на каждую мелочь. Он не любил, например, чтобы при нем лазили во внутренние карманы. Поэтому Абакумов перекладывал все три авторучки, приготовленные для записи, из внутреннего кармана в наружный грудной.

Все руководство Госбезопасностью изо дня в день шло через Берию, оттуда Абакумов получал большую часть указаний. Но раз в месяц Единодержец сам хотел как живую личность ощутить того, кому доверял охрану руководимого им порядка.

Эти приемы, по часу, были тяжелой расплатой за всю власть, за все могущество Абакумова. Он жил и наслаждался только от приема до приема. Наступал срок — все замирало в нем, уши леденели, он сдавал портфель, не зная, получит ли его обратно, наклонял перед кабинетом свою бычью голову, не зная, разогнет ли шею через час.

Сталин страшен был тем, что ошибка с ним была та единственная в жизни ошибка со взрывателем, которую исправить нельзя. Сталин страшен был тем, что не выслушивал оправданий, он даже не обвинял — только недобро засвечивались его желтые тигриные глаза и поджимались нижние веки — и там, внутри, выносился приговор, а осужденный его не знал: он уходил мирно, его брали ночью и расстреливали к утру.

Хуже всего было молчание и этот нижний прищур век!.. Если же Сталин запускал в тебя что-нибудь тяжелое или острое, наступал сапогом на носок, плевал в тебя или сдувал горячий пепел трубки тебе в лицо — этот гнев был не окончательный, этот гнев проходил! Если же Сталин грубил и ругался, пусть самыми последними словами, Абакумов радовался: это значило, что Хозяин еще надеется исправить своего министра и работать с ним дальше.

Конечно, теперь-то Абакумов понимал, что в усердии своем заскочил слишком высоко: пониже было бы безопаснее, с д а л ь н и м и Сталин разговаривал добродушно, приятно. Но вырваться из б л и ж н и х назад — пути не было.

Оставалось — ждать смерти. Своей. Или...

И так неизменно складывались дела, что, представая перед Сталиным, Абакумов всегда боялся раскрытия чего-нибудь.

Уж перед тем одним ему приходилось трястись, чтобы не раскрылась история его обогащения в Германии.

...В конце войны Абакумов был начальником всесоюзного СМЕРШа, ему подчинялись контр-разведки всех действующих фронтов в армии. Это было особое, короткое время бесконтрольного обогащения. Чтобы верней нанести последний удар Германии, Сталин перенял у Гитлера фронтовые посылки в тыл. Сталин исходил из своего понимания солдатской души, из того, что сам бы чувствовал, если бы был солдатом: за честь Родины — это хорошо, за Сталина — еще лучше, но чтобы рисковать жизнью в самое обидное время — в конце войны, не лучше ли дать воину мощный материальный позыв, а именно — право послать домой: солдату — пять килограммов трофеев в месяц, офицеру — десять, а генералу — пуд ? (Такое распределение было справедливо, ибо котомка солдата не должна отягощать его в походе, у генерала же всегда есть свой автомобиль). Но в несравненно более выгодном положении находилась контр-разведка СМЕРШ. До нее не долетали снаряды врага. Ее не бомбили самолеты противника. Она всегда жила в той прифронтовой полосе, откуда огонь уже ушел, но куда не пришли еще ревизоры министерства финансов. Ее офицеры были окутаны облаком тайны. Никто не смел проверять, что̀ они опечатали в вагоне, что вывезли из арестованного поместья, около чего̀ они поставили часовых. Грузовики, поезда и самолеты повезли богатство офицеров СМЕРШа. Лейтенанты, если не дураки, могли вывозить на тысячи, полковники — на сотни тысяч, Абакумов — на миллионы.

Правда, он не мог вообразить таких странных обстоятельств, при которых он пал бы с поста министра — а золото спасло бы его, даже если бы находилось в швейцарском банке. Казалось бы ясно, что обезглавленного министра не спасут драгоценности. Однако, это было свыше его сил — смотреть, как обогащаются подчиненные, а себе ничего не брать. И он рассылал и рассылал спецкоманды на поиски. Даже от двух чемоданов мужских подтяжек он не мог отказаться. Он грабил загипнотизированно.

Но этот клад Нибелунгов, не принеся Абакумову свободного богатства, стал источником постоянного страха разоблачения. Никто из знающих не посмел бы донести на все-

сильного министра, зато любая случайность могла всплыть и погубить его голову. Бесполезно было взято — но и не объявляться же теперь!..

...Он приехал в половине третьего ночи, но еще и в десять минут четвертого с большим чистым блокнотом в руках ходил по приемной и томился, ощущая внутреннюю слабость от боязни, а уши его между тем разгорались. Больше всего он был бы сейчас рад, если б Сталин заработался и вообще не принял бы его сегодня: Абакумов опасался расправы за секретную телефонию. Он не знал, что теперь врать.

Но тяжелая дверь приоткрылась — наполовину. В раскрытую часть вышел тихо, почти на цыпочках, Поскребышев и беззвучно пригласил рукой. Абакумов пошел, стараясь не становиться всей своей грубой широкой ступней. В следующую дверь, тоже полуоткрытую, он протиснулся тушей своей, не раскрывая дверь шире, придерживая ее за начищенную бронзовую ручку, чтоб не отошла. И на пороге сказал:

— Добрый вечер, Иосиф Виссарионович! Разрешите?

Он сплошал, не прокашлялся во время, и оттого голос вышел хриплый, недостаточно верноподанный.

Сталин в кителе с золочеными пуговицами, с несколькими рядами орденских колодок, но без погон, писал за столом. Он дописал фразу, только потом поднял голову, совино-зловеще посмотрел на вошедшего.

И ничего не сказал.

Очень плохой признак! — он ни слова не сказал...

И стал снова писать.

Абакумов закрыл за собой дверь, но не посмел идти дальше без пригласительного кивка или жеста. Он стоял, держа длинные руки у бёдер, немного наклонясь вперед, с почтительно-приветственной улыбкой мясистых губ — а уши его пылали.

Абакумов бывал в обоих кабинетах Вождя — и в официальном дневном, и в этом маленьком-ночном.

В большом дневном кабинете, на верхнем этаже, было солнечно, окна были обыкновенные. Там во многих книжных шкафах был собран весь парад человеческой мысли и культуры, облаченный в цветные переплеты. На высоких поместительных стенах там висели любимые картины Вождя, где был изображен он сам — то в зимнем одеянии генералиссимуса, то в летнем маршальском одеянии. Там были диваны, кресла, многочисленные стулья — для приема иностранных делегаций, для совещаний. Там Сталин и фотографировался.

Здесь, в ночном кабинете, прижатом к земле, ни картин,

ни украшений не было, да и оконца были малы. У невысоких стен, обложенных дубовой панелью, стояло четыре низеньких шкафика, не впридвиг к стене — письменный стол. Еще — радиола в одном углу, а около нее — этажерка с пластинками. Сталин любил по ночам включать свои записанные старые речи и слушать.

Абакумов просительно перегнулся и ждал.

А Сталин писал. Он писал с той внушительностью и ответственностью, когда каждое слово, стекая с пера, сразу роняется в историю. Настольная лампа бросала свет только на бумаги, верхний же свет от скрытых светильников был небольшой. Сталин не все время писал, он отклонялся, то скашивался в сторону, в пол, то взглядывал недобро на Абакумова, как будто прислушиваясь к чему-то, хотя ни звука не было в комнате.

Из чего рождается эта манера повелевать, эта значительность каждого мелкого движения ? Разве не так же точно шевелил пальцами, двигал руками, водил бровями и взглядывал молодой Коба ? Но тогда это никого не пугало, никто не извлекал из этих движений их страшного смысла. Лишь после какого-то по счету продырявленного затылка люди стали видеть в этих самых небольших движениях Вождя — намек, предупреждение, угрозу, приказ. И заметив это по другим, Сталин начал приглядываться к себе самому, и тоже увидел в своих жестах и взглядах этот угрожающий внутренний смысл — и стал уже сознательно их отрабатывать, отчего они еще лучше стали получаться и еще вернее действовать на окружающих.

Наконец Сталин очень сурово посмотрел на Абакумова и тычком трубки в воздухе указал ему, куда сегодня сесть.

Абакумов радостно встрепенулся, легко прошел и сел — но не на все сидение, хотя это было неудобно ему, а на переднюю только часть его, чтобы было легче привстать.

— Ну ? — спросил Сталин, глядя в свои бумаги.

Настал момент ! Теперь надо было не терять инициативы ! Абакумов кашлянул и прочищенным горлом заторопился, заговорил почти восторженно. (Он себя потом проклинал за эту говорливую угодливость в кабинете Сталина, за неумеренные обещания, — но как-то само так всегда получалось, что чем недоброжелательней встречал его Всесильный, тем несдержанней Абакумов бывал в заверениях, а это затягивало его в новые и новые обещания).

Постоянным украшением ночных докладов Абакумова,

тем главным, что привлекало в них Сталина, было всегда — раскрытие какой-то очень важной, очень разветвленной враждебной группы. Без такой обезвреженной (каждый раз новой) группы Абакумов на доклады не приходил. Он и сегодня приготовил такую групшку по Академии имени Фрунзе и долго мог заполнять время подробностями.

Но сейчас сперва он принялся рассказывать об успехах (он сам не знал — подлинных или мнимых) подготовки покушения на Тито. Он говорил, что будет поставлена бомба замедленного действия на яхту Тито перед отправлением ее на остров Бриони.

Сталин поднял голову, вставил погасшую трубку в рот и раза два просопел ею. Он не сделал больше никаких движений, не выказал никакого интереса, но Абакумов, немного все-таки проникая в шефа, почувствовал, что попал в точку.

— А — Ранкович ? — спросил Сталин.

Да, да ! Подгадать момент, чтоб и Ранкович, и Кардель, и Моше Пьяде — вся эта клика взлетела бы на воздух вместе ! По расчетам, не позже этой весны так все и должно получиться ! (Еще при взрыве должна была погибнуть команда яхты, однако министр такой мелочи не касался, а Лучший Друг Моряков не допытывался).

Но о чем он думал, сопя погасшей трубкой, невыразительно глядя на министра поверх своего кляплого свисающего носа ?

... Не о том, конечно, что руководимая им партия родилась с отрицания индивидуального террора. И не о том, что сам он не брезговал подъехать на терроре. Сопя трубкой и глядя на этого краснощекого упитанного молодца с разгоревшимися ушами, Сталин думал о том, о чем всегда он думал при виде своих ретивых, на все готовых, заискивающих подчиненных.

В таких случаях первая мысль его всегда была — насколько можно этому человеку доверять ? А вторая мысль — не наступил ли уже тот момент, когда этим человеком надо пожертвовать ?

Сталин прекрасно знал, что Абакумов в сорок пятом году обогатился. Но не спешил его карать. Сталину нравилось, что Абакумов — такой. Корыстные люди понятней, ими легче управлять. Больше всего в жизни Сталин остерегался бессеребренников, вроде Бухарина. Не понимая мотивов их действий, он терялся, какие предположить.

Но даже и этому понятному Абакумову нельзя было до-

верять. Недоверие к людям было определяющей чертой характера Иосифа Джугашвили. Недоверие к людям было его мировоззрением.

Он не доверял своей матери. И Богу тому не доверял, перед которым одиннадцать юных лет отбивал поклоны о каменные плиты. Не доверял потом своим однопартийцам, особенно тем, кто говорил красно. Не доверял односсыльным. Он не доверял мужикам, что те будут сеять хлеб и собирать урожай, если их не заставлять и не контролировать. Не доверял рабочим, что они будут работать, если им не установить норм. Не доверял интеллигентам, что они способны строить, а не вредить. Не доверял солдатам и генералам, что они будут воевать без штрафных рот и заградотрядов. Не доверял своим приближенным. И не доверял своим женам и любовницам. И детям своим не доверял. И прав оказывался всегда!

И доверился он — одному только человеку, единственному за всю свою полную недоверия жизнь. Перед всем миром человек этот был так решителен в дружелюбии и во враждебности, он так круто развернулся и, из врагов, протянул дружескую руку.

И Сталин поверил ему!

Человек этот был — Адольф Гитлер.

С одобрением и злорадством следил Сталин, как Гитлер драконил Польшу, Францию, Бельгию, как самолеты его застилали небо перед Англией. Молотов приехал из Берлина перепуганный. Разведчики доносили, что Гитлер стягивает войска к востоку. Убежал в Англию Гесс. Черчилль предупредил Сталина о нападении. Все галки на белорусских осинах и галицийских тополях кричали о войне. Все базарные бабы в его собственной стране пророчили войну со дня на день. Один Сталин оставался невозмутим и беспечен.

Он верил Гитлеру!..

Едва-едва не обошлась ему эта вера ценою в голову. Тем более теперь он окончательно не верил никому!..

На это давление недоверия Абакумов мог бы ответить горькими словами, да не смел их сказать. Не надо было играть в деревянные лошадки — призывать этого олуха Петро Попивода и обсуждать с ним фельетоны против Тито. И тех славных ребят, которых Абакумов намечал послать колоть медведя, не надо было отвергать по анкетам, а познакомиться с ними и поверить. Теперь-то, конечно, черт его знает, что из этого покушения выйдет. Абакумова самого сердила такая неповоротливость.

Но он знал своего Хозяина ! Надо было служить ему на какую-то долю сил — больше половины, но никогда на полную. Сталин не терпел открытого невыполнения. Однако, чересчур удачное выполнение он ненавидел: он усматривал в этом подкоп под свою единственность. Никто, кроме него, не должен был ничего знать, уметь и делать безупречно !

И Абакумов — да не он один ! — по видимости напрягаясь в своей министерской упряжке, тянул вполплеча.

Как царь Мидас своим прикосновением обращал все в золото, так Сталин своим прикосновением обращал все в посредственность.

Но сегодня-таки лицо Сталина, как казалось Абакумову, по мере его доклада светлело. И до подробности рассказав о предполагаемом взрыве, министр поскорее минул проклятую секретную телефонию и стараясь даже не смотреть на настольный телефон, чтобы не показать на него глазами Вождю, докладывал об Академии Фрунзе, потом о Духовной Академии и дальше, и дальше.

А Сталин вспоминал ! Он как раз что-то вспоминал ! — и как бы не секретную телефонию ! Он собрал в тяжелые складки лоб, и напряглись хрящи его большого носа, упорный взгляд уставил он на Абакумова (министр придал лицу как можно больше открытой честной прямоты) — но не вспоминалось ! Едва державшаяся мысль, видно, ускользнула. Беспомощно распустились складки серого лба.

Сталин вздохнул, набил трубку и закурил.

— Да ! — вспомнил он в первом дымке, но мимоходом, не то главное, что вспоминал — Гомулка — арестован ?

Гомулка в Польше не так давно был снят со всех постов и, не задерживаясь, катился в пропасть.

— Арестован ! — подтвердил облегченный Абакумов, чуть приподнимаясь со стула. (Да Сталину уже и докладывали об этом). Арестовать человека было самое простое из обязанностей его ведомства.

Кнопкой в столе Сталин переключил верхний свет на большой. Вспыхнули лампы на стенах, и стало очень светло. Сталин поднялся из-за стола и, дымя трубкой, начал ходить. Абакумов понял, что доклад его окончен и сейчас будут диктоваться инструкции. Он раскрыл на коленях большой блокнот, достал авторучку и приготовился писать. (Вождь любил, чтобы слова его записывали).

Но Сталин ходил к радиоле и назад, дымил трубкой и не говорил ни слова, как бы совсем забыв про Абакумова.

Серое рябоватое лицо его насупилось в мучительном усилии припоминания. Когда он в профиль проходил мимо Абакумова, министр видел, что уже пригорбливаются плечи Вождя, отчего он кажется еще меньше ростом, совсем маленьким. И Абакумов загадал про себя (обычно он запрещал себе здесь такие мысли, чтоб их не прочли какие-нибудь приборы в стенах) — загадал, что не проживет Батька еще десяти лет, помрет. Абакумов-таки очень хотел, чтоб это было побыстрей: казалось, что им всем, приближенным, начнется тогда легкая вольная жизнь.

А Сталин был подавлен новым провалом в памяти — голова отказывалась ему служить ! Идя сюда из спальни, он специально думал, о чем надо спросить Абакумова — и вот забыл. В бессилии он не знал, какую кожу наморщить, какой частью мозга напрячься, чтобы вспомнить.

И вдруг он запрокинул голову, посмотрел на верх противоположной стены — и вспомнил ! ! — но не то, что надо было вспомнить, — а то, чего две ночи назад он не мог вспомнить в музее Революции, что ему так показалось там неприятно.

. . . Это было в тридцать седьмом году. К двадцатилетию революции, когда по манию его так много изменилось в трактовке, он решил сам просмотреть экспозицию музея, не напутали ли там чего. И в одном зале — в том самом, где стоял сегодня огромный телевизор — он с порога внезапно прозревшими глазами увидел на верху противоположной стены большие портреты Желябова и Перовской. Их лица были открыты, бесстрашны, их взгляды неукротимы и каждого входящего звали: « Убей тирана ! »

Как двумя стрелами, пораженный в горло двумя взглядами народовольцев, Сталин тогда откинулся, захрипел, закашлялся и в кашле пальцем тряс, показывая на портреты.

Их сняли тотчас.

И из дворца Кшесинской в Ленинграде тогда убрали первую реликвию революции — обломки кареты Александра Второго.

С того самого дня Сталин и приказал строить себе в разных местах убежища и квартиры. И, теряя вкус жить в окружении густого города, дошел до этой загородной дачи, до этого низенького ночного кабинета близ дежурной комнаты лейб-охраны.

Чем больше других людей успевал он лишить жизни, тем настойчивей угнетал его постоянный ужас за свою. И

его мозг изобретал много ценных усовершенствований в системе охраны, вроде того, что состав караула объявлялся лишь за час до вступления и каждый наряд состоял из бойцов разных, удаленных друг от друга казарм: сойдясь в карауле, они встречались впервые, на одни сутки, и не могли сговориться. И дачу он себе построил мышеловкой-лабиринтом из трех заборов, где ворота не приходились друг против друга. И завел несколько спален, и где стелить сегодня назначал перед самым тем, как ложиться.

И все хитрости эти не казались ему трусостью, а лишь благоразумием. Ибо бесценна была его личность для человеческой истории. Однако, другие могли этого не понять. И чтобы изо всех не выделяться одному, он и всем м а л ы м вождям в столице и в областях предписал подобные же меры: запретил ходить без охраны в уборную, распорядился ездить гуськом в трех неразличимо-одинаковых автомобилях...

Так и сейчас, под влиянием острого воспоминания о портретах народовольцев, он остановился посреди комнаты, обернулся к Абакумову и сказал, слегка потрясая в воздухе трубкой:

— А шьто ты прид-принимайшь на линии безопасности партийных кадров ?

И сразу зловеще, сразу враждебно смотрел, скривя шею набок.

С раскрытым чистым блокнотом Абакумов приподнялся со стула навстречу Вождю (но не встал, зная, что Сталин любит неподвижность у собеседников) — и с готовностью, со всей готовностью стал говорить о том, о чем сейчас не собирался (эта постоянная готовность была на приеме главным качеством, всякое замешательство Сталин бы истолковал как подтверждение злого умысла).

— Иосиф Виссарионович ! — голос Абакумова дрогнул от обиды. — Для чего и существуем мы — о р г а н ы, всё наше министерство, чтобы вы, Иосиф Виссарионович, могли спокойно трудиться, думать, вести страну !..

(Сталин говорил « безопасность партийных кадров », но ответа ждал только о себе, Абакумов знал !).

— Да дня не проходит, чтобы я не проверил, чтобы я не арестовывал, чтобы я не вникал в дела !..

Все так же в позе ворона со свернутой шеей Сталин смотрел внимательно.

— Слюшай, — спросил он в раздумьи, — а шьто ? Дела по террору — идут ? Не прекращаются ?

Абакумов горько вздохнул.

— Я бы рад был вам сказать, Иосиф Виссарионович, что д е л по террору нет. Но они есть. Мы раскрываем их даже на какой-нибудь вонючей кухне, даже на рынке.

Сталин прикрыл один глаз, а в другом видно было удовлетворение.

— Это харашё, — кивнул он. — Значит — работаете.

— Но, Иосиф Виссарионович, — Абакумову все-таки невыносимо было сидеть перед стоящим Вождем, и он привстал, не распрямляя колен полностью. — Всем этим делам мы не даем созреть до стадии прямой подготовки, мы их прихватываем на замысле ! на намерении ! через девятнадцатый пункт !

— Харашё, харашё, — Сталин успокоительным жестом усадил Абакумова. (Еще б такая туша возвышалась над ним !) — Значит, ты считаешь — нэ́довольные е́ще есть в народе ?

Абакумов опять вздохнул. Ответил с сожалением:

— Да, Иосиф Виссарионович. Еще некоторый процент есть . . .

(Хорош бы был он, сказав, что — нет ! Зачем тогда его и фирма ? . .).

— Верно ты говоришь, — задушевно сказал Сталин. — Значит, ты — мо̀жишь работать в госбезопасности. А вот мне говорят — нэт больши нэдовольных, все, кто голосуют на выборах з а — всэ довольны. А ? — Сталин усмехнулся. — Палитическая слепота ! Враг притаился, голосует з а , а он нэ доволен ! Процентов пять, а ? Или, может — восемь ? . .

(Вот эту проницательность, эту самокритичность, эту неподдаваемость свою на фимиам Сталин особенно в себе ценил !)

— Да, Иосиф Виссарионович, — убежденно подтвердил Абакумов. — Именно так, процентов пять. Или семь.

Сталин продолжил свой путь по кабинету, обошел вокруг письменного стола.

— Это уж мой недостаток, Иосиф Виссарионович, — расхрабрился Абакумов, уши которого охладились вполне. — Не могу я самоуспокаиваться.

Сталин слегка постучал трубкой по пепельнице:

— А — настроение молодежи ?

Вопрос за вопросом шли как ножи, и порезаться достаточно было на одном. Скажи « хорошее » — политическая слепота. Скажи « плохое » — не веришь в наше будущее.

Абакумов выразительно развел пальцами, а от слов пока удержался.

Сталин, не ожидая ответа, внушительно сказал, пристукивая трубкой:

— Нада бóльши заботиться а молодежи. К порокам среди молодежи надо быть — á-собенно нетерпимым !

Абакумов спохватился и начал писать.

Мысль увлекла Сталина, глаза его разгорелись тигриным блеском. Он набил трубку заново, зажег и снова зашагал по комнате, бодрей гораздо:

— Нада ýсилить наблюдение зá настроениями студентов ! Нада выкорчёвывать нэ́ по адиночке — а целыми грушами ! И нада переходить нá полную меру, которую дает вам закон — двадцать пять лет, а не десять ! Десять — это школа, а не тюрьма ! Это школьникам можно по десять. А у кого усы пробиваются — двадцать пять ! Мáладые ! Да-живут !

(Абакумов строчил. Первые шестеренки долгой цепи завертелись).

— И нада прэ́кратить сáнаторные условия в пáлитических тюрьмах ! Я слышал от Берия: в пáлитических тюрьмах до-сих-пор есть прáдуктовые передачи ?

— Умерим ! Запретим !— с болью в голосе воскликнул Абакумов, продолжая писать. — Это была наша ошибка, Иосиф Виссарионович, простите ! !

(Уж, действительно, это был промах ! Это он мог догадаться и сам !)

Сталин расставил ноги против Абакумова:

— Да скóлько же раз вам объяснять ? ! Нада жи вам понять наконец . . .

Он говорил без злобы. В помягчевших глазах его выражалось доверие к Абакумову, что тот усвоит, поймет. Абакумов не помнил, когда еще Сталин говорил с ним так просто и доброжелательно. Ощущение боязни совсем покинуло его, мозг заработал как у обычного человека, в обычных условиях. И служебное обстоятельство, давно уже мешавшее ему, как кость в горле, нашло теперь выход. С оживившимся лицом Абакумов сказал:

— Мы понимаем, Иосиф Виссарионович ! Мы (он говорил за все министерство) понимаем: классовая борьба будет обостряться ! Так тем более тогда, Иосиф Виссарионович, войдите в положение — кáк нас связывает в работе эта отмена смертной казни ! Ведь как мы колотимся уже два с половиной года: проводить расстреливаемых по бумагам нельзя. Значит,

приговоры надо писать в двух редакциях. Потом — зарплату исполнителям по бухгалтерии тоже прямо проводить нельзя, путается учет. Потом — и в лагерях припугнуть нечем. Ка́к нам смертная казнь нужна! Иосиф Виссарионыч, верните нам смертную казнь!! — от души просил Абакумов, приложив пятерню к груди и с надеждой глядя на темноликого Вождя.

И Сталин — чуть-чуть как бы улыбнулся. Его жесткие усы мягко дрогнули.

— Знаю, — тихо, понимающе сказал он. — Думал.

Удивительный! Он обо всем знал! Он обо всем думал! — еще прежде, чем его просили. Как парящее божество, он предвосхищал людские мысли.

— На́-днях верну вам смертную казнь, — задумчиво говорил он, глядя глубоко вперед, как бы в годы и годы. — Эт-та будет харёшая воспитательная мера.

Еще бы он не думал об этой мере! Он больше их всех за два года страдал, что поддался порыву прихвастнуть перед Западом, изменил сам себе — поверил, что люди не до конца испорчены.

А в том и была всю жизнь отличительная черта его как государственного деятеля и полководца: ни разжалование, ни всеобщая травля, ни дом умалишенных, ни пожизненная тюрьма, ни ссылка не казались ему достаточной мерой для человека, признанного опасным. Только смерть была расчетом надежным, сполна.

И если глаза его прищуривались снизу, то приговор в них сверкал всегда один: смерть.

Меньшей кары просто не было в его шкале.

... Из далекой светлой дали, куда он только что смотрел, Сталин перевел глаза на Абакумова, и они вдруг сузились коварно:

— А ты — нэ́ боишься, что мы тебя же первого и́ расстреляем?

Это « расстреляем » он почти не договорил, он сказал его на спаде голоса, как мягкое окончание, как нечто само собой угадываемое.

Но в Абакумове оно оборвалось морозом. Самый Родной и Любимый стоял над ним лишь немного дальше, чем мог бы Абакумов достать протянутой рукой, и следил за каждой черточкой министра, как он поймет эту шутку.

Не смея встать и не смея сидеть, Абакумов чуть припод-

нялся на напряженных ногах и от напряжения они задрожали в коленях:

— Иосиф Виссарионович ! . . Если я заслуживаю. . . Если нужно . . .

Сталин смотрел мудро, проницательно. Он тихо сверялся сейчас со своей обязательной второй мыслью о приближенном — не пришла ли пора его убрать ? Он давно уже нащупал этот древний ключ к популярности: сперва самому натравить палачей, а потом вовремя отчураться от их непомерного усердия, от их головокружения. Много раз уже он так делал и всегда удачно. И неизбежен будет тот момент, когда Абакумова придется бросить в ту же яму.

— Правильно ! — с улыбкой расположения, как бы хваля за сообразительность, сказал Сталин. — Когда заслужишь — тогда расстреляем.

Он провел в воздухе рукой, показывая Абакумову сесть, сесть. Абакумов опять уселся.

Сталин задумался и заговорил так тепло, как министру госбезопасности еще и не приходилось слышать:

— Скоро будет много вам работы, Абакумов . . . Будем йищé один раз тáкое мероприятие проводить, как в тридцать седьмом. Перед бá-льшой войной бáль-шая нужна и чистка.

— Но, Иосиф Виссарионович ! — осмелился возразить Абакумов. — Разве мы сейчас не сажаем ?

— Эт-та разве сажаем ! . . — отмахнулся Сталин с добродушной усмешкой.

— Вот начнем сажать — увидишь ! . . А во время войны пойдем вперед — там дальше начнем сажать ! Крепи органы ! Крепи органы ! Шьтаты, зарплата — я тибэ ныкогда нэ откажу !

И отпустил мирно:

— Ну, иды пока.

Абакумов не чувствовал — шел он или летел через приемную к Поскребышеву за портфелем. Не только можно было жить теперь целый месяц — но не начиналась ли новая эра его отношений с Хозяином ?

Еще было, правда, угрожено, что его же и расстреляют, но — ведь то была шутка.

21

СТАРОСТЬ

А Бессмертный, возбужденный большими мыслями, крупно ходил по ночному кабинету. Какая-то внутренняя музыка нарастала в нем, какой-то огромнейший духовой оркестр давал ему музыку к маршу.

Недовольные ? Пусть недовольные. Они всегда были и будут.

Но, пропустив через себя незамысловатую мировую историю, Сталин знал, что со временем люди все дурное простят, и даже забудут, и даже будут вспоминать, как хорошее. Целые народы подобны королеве Анне, вдове из шекспировского « Ричарда III » — их гнев недолговечен; воля не стойка, память слаба — и они всегда будут рады отдаться победителю.

Для того и нужно ему жить до девяноста лет, что не кончена борьба, не достроено здание, неверное время — и некому его заменить.

Провести и выиграть мировую войну. Как сусликов выморить западных социал-демократов и всех недобитых во всем мире. Потом, конечно, поднять производительность труда. Решить там эти разные экономические проблемы. Одному ему известным путем привести человечество к счастью и ткнуть его мордой в счастье, как слепого щенка в молоко — на ! пей !

А потом ? . .

Вот кто молодец был — Бонапарт. Не побоялся лая из якобинских подворотен, объявил себя императором — и кончено дело.

В слове « император » ничего плохого нет, это значит — повелитель, начальник.

Как бы это звучало ! — Император Планеты ! Император Земли !

Это ничуть не противоречит мировому коммунизму.

(Он шагал и шагал, и оркестры играли).

А там, может быть, найдут средство такое, лекарство, чтобы сделать хоть его одного бессмертным ? . . Нет, не успеют.

Как же бросить человечество ? И — на кого ? Напутают, ошибок наделают.

Ну, ладно. Понастроить себе памятников — еще побольше, еще повыше (техника к тому времени разовьется). То, что называется монументальная пропаганда. Поставить на Казбеке памятник, и поставить на Эльбрусе памятник — и чтобы голова была всегда выше облаков. И тогда, ладно, можно умереть — Величайшим из всех Великих, нет ему равных в истории Земли.

И вдруг он остановился.

Ну, а... — выше ? Равных ему, конечно, нет, ну а если там, над облаками, выше глаза поднимешь — а там ?..

(Он опять пошел, но медленнее).

Вот этот один неясный вопрос иногда закрадывался к Сталину.

То-есть, неясного тут ничего не было. Давно было доказано то, что надо, а что мешало — то опровергнуто. Доказано было, что материя не уничтожается и не возникает. Доказано было, что Вселенной нет границ. Доказано было, что жизнь легко возникает и в теплом океане. Доказано было, что нельзя доказать что Христос был. Доказано было, что всякие исцеления, видения, предсказания и передача мыслей на расстояние — бабушкины сказки.

Но ткань нашей души, то, что любим мы и к чему привыкли, создается в нашей юности — и никогда после. Воспоминания детства, никогда не уходящие из нас, за последнее время оживились в Иосифе сильно.

Ведь до девятнадцати лет он рос на Ветхом и Новом завете, на житиях святых и церковной истории. Он прислуживал на литургиях, был певчим на клиросе и как любил петь « Ныне отпущаеши » Строкина ! Он и сейчас споет-не соврет. И сколько раз за одиннадцать лет училища и семинарии он прикладывался к иконам и всматривался в загадочные их глаза.

Даже в своей юбилейной биографии он пожелал видеть этот снимок: выпускник духовного училища Джугашвили в сером подряснике с круглым глухим воротом; матовый, как бы изнуренный моленьями, отроческий овал лица; длинные волосы, подготавливаемые к священнослужению, строго пробраны, со смирением намазаны лампадным маслом и напущены на самые уши; и только глаза и напряженные брови выдают, что этот послушник, пожалуй, пойдет до митрополита.

Того самого церковного инспектора Абакадзе, который

изгнал Джугашвили из семинарии, Сталин не велел трогать. Пусть доживает старик.

А когда третьего июля перед микрофоном пересохшее горло его сжимало страхом и слезной жалостью к себе (потому что не бывает сердец, совсем не способных к жалости) — не случайно с губ его сорвалось «братья и сестры». Ни Ленин, ни кто другой из вождей нарочно бы не придумали обмолвиться так.

Его же губы сказали то, к чему привыкли в юности.

Да, в те июльские дни он, может быть, молился про себя, как невольно крестится иной безбожник, когда прямо на него спускается бомба.

И последние годы ему просто приятно было, что церковь в своих молитвах провозглашает его — Богоизбранным Вождем. За то ж и он держал Лавру на кремлевском снабжении. Никакого премьер-министра великой державы не встречал Сталин так, как своего послушного дряхлого патриарха: он выходил его встречать к дальним дверям и вел к столу под локоток. И еще он подумывал, не подыскать ли где именьице какое, подворье, и подарить патриарху. Ну, как раньше дарили на помин души.

Вообще странное замечал у себя Сталин расположение не к одному только православию, но и к другим элементам и словам старого мира — того мира, из которого он вышел сам и который по службе своей уже сорок лет разрушал.

В тридцатые годы из одной лишь политики он оживил забытое, пятнадцать лет не употреблявшееся и казавшееся почти позорным слово р о д и н а. Но с годами ему самому вправду стало очень приятно выговаривать «Россия», «родина». Ему очень приятен стал русский народ — этот никогда не изменявший ему народ, голодавший столько лет, сколько это было нужно, спокойно шедший хоть на войну, хоть в лагеря, на любые трудности и не бунтовавший никогда. И после Победы Сталин вполне искренне сказал, что у русского народа — ясный ум, стойкий характер и терпение.

И самому Сталину с годами все больше хотелось, чтоб и его признавали за русского тоже.

Что-то приятное находил он даже в самой игре слов, напоминающей старый мир: чтобы были не «заведующие школами» а директоры; не «комсостав», а — офицерство; не ВЦИК, а — Верховный Совет (верховный — очень слово хорошее); и чтоб офицеры имели денщиков; а гимназистки чтоб учились отдельно от гимназистов, и носили пелеринки, и

платили за обучение; и чтобы советские люди отдыхали как все христиане, в воскресенье, а не в какие-то безличные номерные дни; даже в том, чтобы брак признавать только законный, как было при царе — хоть самому ему круто пришлось от этого в свое время, и чтоб об этом ни думал Энгельс в морской пучине.

Вот здесь, в ночном кабинете, впервые примерил он перед зеркалом к своему кителю старые русские погоны — и ощутил в этом удовольствие.

В конце концов и в короне, как в высшем из знаков отличия, тоже не было ничего зазорного. В конце концов то был проверенный, устойчивый, триста лет стоявший мир, и лучшее из него — почему было не позаимствовать ?

И хотя сдача Порт-Артура могла в свое время только радовать его, бежавшего из Иркутской губернии ссыльного, — после разгрома Японии он, кажется, не солгал, говоря, что сдача Порт-Артура сорок лет лежала темным пятном на самолюбии его и других старых русских людей.

Да, да, старых русских людей ! Сталин задумывался иногда, что, ведь, не случайно утвердился во главе этой страны и привлек сердца ее — именно он, а не все те знаменитые крикуны и клинобородые талмудисты — без родства, без корней, без положительности.

Вот они, вот они все здесь, на полках, — захлебнувшиеся, расстрелянные, в навоз растертые в лагерях, отравленные, сожженные, попавшие в автомобильные катастрофы и кончившие с собой ! Отовсюду изъятые, преданные анафеме, апокрифические — здесь они выстроились все ! Каждую ночь они предлагают свои страницы, трясут бороденками, ломают руки, плюют в него, хрипят, кричат ему с полок: « Мы предупреждали ! », « Нужно было иначе ! » — чужих блох искать ума не надо. Для того Сталин и собрал их здесь, чтобы злей быть по ночам, когда принимает решения.

Невидимый внутренний оркестр, под который он шагал, разладился и замолк в нем.

И заломили, и почти отняться готовы были ноги. Ноги от самой поясницы что-то стали отказывать ему иногда.

Владетель полумира, в кителе генералиссимуса, с низкопокатым, уходящим назад лбом, медленно пробирался мимо полок и пальцами скрюченными держался, перебирал, перебирал по строю своих врагов.

А от последнего шкафика обернувшись, — он увидел на столе телефон.

И что-то, что-то, ускользавшее весь вечер, опять скользнуло по его памяти кончиком змеиного хвоста.

Что-то надо было спросить у Абакумова... Арестован ли Гомулка ?..

Да ! Вот оно ! Шаркая сапогами, он добрался до письменного стола, взял ручку и написал на календаре: « Секретная телефония ».

Рапортовали, что собраны лучшие силы, что полная материальная база, что энтузиазм, что встречные обязательства — почему не кончают ? ! Абакумов, морда наглая, просидел, собака, час битый — ни слова не сказал !

Вот так и все они, во всех ведомствах — каждый старается обмануть своего Вождя ! Как же можно им довериться ? Как же можно не работать по ночам ?

Он пошатнулся и сел не в кресло свое, а на стулик, рядом со столом.

Половину головы у него как стягивало к левому виску и клонило свеситься. Слабеющая цепь мыслей распадалась. Мутным взглядом он обвел комнату, не различая, близко ее стены или далеко.

Это была собачья старость... Старость без друзей. Старость без любви. Старость без веры. Старость без желаний.

Даже любимая дочь уже не была ему нужна и допускалась только на праздники.

Это ощущение погасающей памяти, меркнущего разума — одиночества, надвигающегося, как паралич, заполняло его беспомощным ужасом.

Смерть уже свила в нем свое гнездо — а он не хотел этому верить !

22

БЕЗДНА ЗОВЕТ НАЗАД

Когда инженер-полковник Яконов вышел из министерства боковым парадным ходом на улицу Дзержинского и обогнул черно-мраморный нос здания под пилястры Фуркасовского, он не сразу узнал свою « Победу » и уже надавил-было ручку садиться в чужую.

Вся прошедшая ночь была густо-туманная. Снег, порывавшийся идти с вечера, вначале всё таял, потом пресёкся. Сейчас, под утро, туман жался к земле, а натаявшую воду чуть подобрало хрупким ледком.

Холодало.

Было уже скоро пять, но в небе стояла черная фонарная ночь.

Мимо проходил студент-первокурсник (он всю ночь простоял в парадном со своей возлюбленной) и с завистью поглядел на садившегося в автомобиль Яконова. Он вздохнул, доживет ли когда-нибудь, чтобы иметь машину. Не то, чтобы девушку покатать в легковой — он и в грузовике-то ездил только в кузове, в колхоз на уборочную.

Но он не знал, кому завидовал . . .

Шофер спросил:

— Домой ?

Яконов бессмысленно держал на ладони карманные часы, не понимая, что они показывали.

— Домой ? — спросил шофер.

Яконов дико посмотрел на него.

— А ? Нет.

— В Маврино ? — удивился шофер. Хотя он ждал в бурках и в полушубке — он продрог, хотел спать.

— Нет, — ответил инженер-полковник, держась рукой чуть повыше сердца.

Шофер обернулся и посмотрел на лицо шефа в мутноватом пятне от уличного фонаря, брошенном сквозь затуманенное оконце.

Это не был его шеф. Покойные мягкие, порой надменно сжатые губы Яконова беспомощно тряслись.

И он все еще держал на ладони часы, не понимая.

И хотя шофер с полуночи ждал, злился на полковника, матерясь в бараний мех воротника, припоминая ему все его дурные поступки за два года, — сейчас, не переспрашивая больше, он поехал наугад. И злость его прошла.

Было так поздно, что уже становилось рано. Редкий автомобиль встречался на пустынных улицах столицы. Уже не было ни милиции, ни тех, кто раздевает, ни тех, кого раздевают. Скоро должны были пойти троллейбусы.

Несколько раз шофер оглядывался на полковника: все же надо было что-то решать. Он уже сгонял до Мясницких ворот, доехал Сретенским и Рождественским бульварами до Трубной, свернул на Неглинную. Но не ездить же было так до утра!

Яконов совершенно неподвижным несмысленным взглядом уперся вперед, в ничто.

Он жил на Большой Серпуховке. Рассчитывая, что вид кварталов, близких к дому, приведет инженер-полковника к желанию вернуться домой, шофер решил ехать в Замоскворечье. Он проехал Охотным рядом, развернулся у Манежа и вывернул на строгую пустынную Красную площадь.

Зубцы стен и верхушки елей у стен тронуло инеем. Асфальт был скользок и сер. Туман будто хотел уйти под колеса автомобиля и под асфальт.

Они проехали в двухстах метрах от стены, от зубцов, от вахт, за которыми, как они могли думать, кончал свою одинокую ночь самый великий человек на Земле. А они проехали, даже не вспомнив о нем.

И уж когда спустились мимо Василия Блаженного и повернули налево по Москворецкой набережной, шофер затормозил и спросил опять:

— А, может, домой, товарищ полковник?

Надо было именно домой. Может быть этих ночей, проводимых дома, осталось меньше, чем пальцев. Но как пёс убегает умирать в одиночестве, так Яконов должен был уйти куда-то, не в семью.

Подобрав полы кожаного пальто, он вышел из «Победы» и сказал шоферу:

— Ты, братец, езжай-ка спи, я сам дойду.

Братцем он иногда называл шофера. Но была в его голосе такая скорбь, будто он прощался.

Москва-река была до набережных покрыта шевелящимся одеялом тумана.

Не застегивая пальто, в полковничьей папахе чуть набекрень, Яконов, оскользаясь, пошел по набережной.

Шофер хотел окликнуть его, поехать с ним рядом, но потом подумал, что — небось, в таких чинах не топятся, развернулся и уехал.

А Яконов пошел долгим пролетом набережной без пересечений, с каким-то бесконечным деревянным заборцем слева, рекою справа. Шел он по асфальту, посередине, немигающе уставясь в далекие фонарные огни.

И пройдя сколько-то, ощутил, что вот эта похоронная ходьба в полном одиночестве доставляет ему простое и давно не испытанное удовольствие.

Когда их вызвали к министру второй раз — случилось непоправимое. Было такое ощущение, что рухнула Вселенная. Абакумов метался красным зверем. Он наступал на них, разгонял их по кабинету, матюгался, плевал — едва что мимо них, и, не соразмерив тычка кулаком к лицу Яконова, с очевидным желанием причинить боль, зацепил его мягкий белый нос, и у Яконова пошла кровь.

Севастьянова он разжаловал в лейтенанты и послал на заполярную лесную полкомандировку; Осколупова вернул рядовым надзирателем в Бутырскую тюрьму, где тот начал карьеру в 1925-м году; а Яконова «за обман и за повторное вредительство» арестовал и послал в таком же синем комбинезоне в ту же Семерку, к Бобынину, своими руками налаживать клиппированную речь.

Потом отдышался и дал им последнего сроку — до ленинской годовщины.

Большой безвкусный кабинет плыл и качался в глазах Яконова. Платком он пытался осушить нос. Он стоял беззащитно перед Абакумовым, а сам думал о тех, с кем проводил один только час в сутки, но единственно для кого извивался, боролся и тиранил остальные часы бодрствования: о двух малышатах восьми и девяти лет и о жене Варюше, тем более дорогой, что он так поздно женился на ней. Он женился тридцати шести лет, едва только выйдя оттуда, куда опять его теперь толкал железный кулак министра.

Потом Севастьянов повел Осколупова и Яконова к себе и угрозил, что обоих их загонит за решетку, но не даст себя низвести до заполярного лейтенанта.

Потом Осколупов повел Яконова к себе и начистую от-

крыл, что теперь-то он навсегда связал тюремное прошлое Яконова и его вредительское настоящее.

... Яконов подошел к высокому бетонному мосту, уводившему направо за Москву-реку. Но он не стал обходить, подниматься на его въезд, а прошел под ним, тоннелем, где расхаживал милиционер.

Милиционер долгим подозрительным взглядом проводил странного пьяного человека в пенснэ и полковничьей папахе.

Это было устье Яузы. Яконов перешел коротким мостом через нее, все так же не пытаясь опознаться.

Да, затеяна была угарная игра, и подходил ее конец. Яконов знавал, он уже испытывал на себе эту безумную непосильную гонку, в которой люди захлёстывались придуманными, невозможными, всё искалечивающими сроками. Это был охват, защем, выжимающий больше, быстрее, еще, еще, норму, сверх нормы, три нормы, почетную вахту, встречное обязательство, досрочно, еще досрочнее ! Там, где делалось так — не стояли дома, не держали мосты, лопались конструкции, сгнивал урожай или не всходил вовсе. Но пока выяснилось, что нельзя от человека требовать сверхчеловеческого — попавшие в эту круговерть люди не имели, кажется, иного выхода, как заболеть, пораниться между шестеренками, попасть в аварию — и только тогда отлежаться в больнице, в санатории.

Однако, до сих пор из таких дел, неотвратимо загубляемых спешкой, Яконову все удавалось выскакивать в другие дела — или поспорнее, или еще пока вначале.

Лишь на этот раз, он чувствовал, ему уже не вырваться. Установку клиппера нельзя было спасти так быстро. Никуда нельзя было и перейти.

И заболеть — тоже было упущено.

Он стоял у парапета набережной и смотрел вниз. Туман вовсе лег на лед, обнажив его, — и прямо под Яконовым виднелось черное гнилозимнее пятно — разводье.

Черная бездна прошлого — тюрьма — опять разверзалась перед ним и опять звала его вернуться.

Шесть лет, проведенных т а м , Яконов считал гнилым провалом, чумой, позором, величайшей неудачей своей жизни.

Он с е л в тридцать втором году, молодым инженером-радистом, уже дважды побывавшим в заграничных командировках (из-за этих командировок он и сел). И тогда попал в число первых зэков, из которых, согласно идее Данте, сформировали одну из первых шарашек.

Как он хотел забыть тюремное прошлое — сам ! и чтобы

забыли другие люди ! и чтобы забыла судьба ! Как он сторонился тех, кто напоминал ему злосчастное время, кто знал его заключенным !

С порывом он отошел от парапета подальше, пересек набережную и пошел куда-то круто вверх. Огибая долгий забор еще одной строительной площадки, там шла тропа, утоптанная и сохранившая нескользкий ледок.

Только центральная картотека МГБ знала, что и под мундиром МГБ порой скрывались бывшие зэки.

Двое таких, кроме Яконова, было и в Мавринском институте.

Яконов щепетильно избегал их, старался никогда не вести с ними внеслужебных разговоров и не оставался один на один в кабинете, дабы со стороны не примыслили чего дурного.

Один из них был — Княженецкий, семидесятилетний профессор химии, любимый студент Менделеева. Он отбыл свои положенные десять лет. После чего, во внимание к длинному списку научных заслуг, послан был в Маврино в о л ь н ы м и проработал здесь три послевоенных года, пока свистящий бич Постановления об Укреплении Тыла не поразил и его. Как-то среди дня он был вызван по телефону в министерство, откуда уже не вернулся. Яконову запомнилось, как Княженецкий спускался по красноковровой лестнице института с трясущейся серебряной головой, еще не ведая, зачем его вызвали на п о л ч а с а , а за спиной его, на верхней площадке той же лестницы оперуполномоченный Шикин уже подрезал перочинным ножиком фотографию профессора с институтской доски почёта.

Второй — Алтынов, не был знаменит в науке, а просто деловой человек. Он после первого срока был замкнут, подозрителен, прозорлив недоверчивостью арестантского племени. И как только Постановление об Укреплении стало совершать свои первые проворотьі по кольцам столицы, Алтынов словчил и лег в сердечную клинику. И словчил так натурально, так надолго, что сейчас уже доктора не надеялись его спасти, и друзья перестали шептаться, поняв, что просто не выдержало иссилившееся сердце столько лет изворачиваться.

Так и Яконов, уже год назад обреченный как бывший зэк, теперь повторно обрекался как вредитель.

Бездна звала своих детей назад.

Яконов взбирался тропинкой через пустырь, не замечая — куда, не замечая подъёма. Наконец, одышка остановила его. И ноги устали, вывихиваясь у ступней от неровностей.

И тогда с высокого места, куда он забрел, он уже разумными глазами огляделся, пытаясь понять, где он.

За тот час, что он вылез из автомобиля, неузнаваемо преобразовалась отходившая, всё холодавшая ночь. Туман весь упал и исчез. Но, хотя снега не было — земля под ногами в обломках кирпича, в щебне, в битом стекле, и какой-то покосившийся тёсовый сарайчик или будка рядом с ним, и оставшийся внизу забор вокруг большой площади под неначатое строительство, — всё угадывалось белесоватым от инея.

А в горке этой, подвергшейся странному запустению неподалеку от центра столицы, шли вверх белые ступени, числом около семи, потом прекращались и начинались, кажется, вновь.

Какое-то глухое воспоминание колыхнулось в Яконове при виде этих белых ступеней в горе. Недоумевая, он поднялся по ним и потом по уплотнившейся шлаковой пересыпи выше их, и опять по ступеням. Ступени вели к видневшемуся вверху зданию, плохо различимому в темноте, зданию странной формы, одновременно казавшемуся разрушенным и уцелевшим.

Были ли эти развалины следами упавших бомб? Но таких мест в Москве не оставляли. Какая же сила привела здесь все в разрушение?

Каменная площадка отделяла одну группу ступеней от следующей. Теперь крупные обломки камней лежали на ступенях, мешая идти, сама же лестница поднималась к зданию всходами, подобными церковной паперти.

Поднималась к широким железным дверям, закрытым наглухо и по колено заваленным слежавшимся щебнем.

Да! Да! Разящее воспоминание прохлестнуло Яконова. Он оглянулся. Промеченная рядами фонарей, далеко внизу вилась река, странно знакомой излучиной уходя под мост и дальше к Кремлю.

Но колокольня? Ее нет. Или эти груды камня — от колокольни?

Яконову стало горячо в глазах. Он зажмурился.

Тихо сел на каменные обломки, завалившие паперть.

Двадцать два года назад на этом самом месте он стоял с девушкой, которую звали Агния.

23

ЦЕРКОВЬ НИКИТЫ МУЧЕНИКА

Он произнес это имя — Агния, и ветерок совсем иных, забытых ощущений обежал его тело, сытое благами.

Ему тогда было двадцать шесть лет, ей — двадцать один.

Эта девушка была откуда-то не с земли. По несчастью для себя, она была утонченна и требовательна больше той меры, которая позволяет человеку жить. Ее брови и ноздри иногда так трепетали в разговоре, словно она собиралась ими улететь. Никто и никогда не говорил Яконову столько суровых слов, так не упрекал его за поступки, как будто вполне обыкновенные, — она же поразительно усматривала в этих поступках низость, неблагородство. И чем больше она находила недостатков в Антоне, тем больше он к ней привязывался, так странно.

А спорить с ней нужно было осторожно. Слабенькая, она утомлялась от подъема на гору, от беготни, даже от оживленного разговора. Ничего не стоило обидеть ее.

Однако, она находила в себе силы целыми днями одиноко гулять по лесу. Но вопреки всякому представлению о городской девушке в лесу — никогда не брала с собой туда книги: книга мешала бы ей, отвлекая от леса. Она просто бродила там и сидела, своим умом изучая тайны леса. Когда Антон ходил с ней вместе, его поражали ее наблюдения: то — почему стволик березы наклонен до земли, то — как меняется вечером окраска лесной травы. Ничего подобного он сам не замечал — лес и лес, воздух хороший, зелено. Даже у Тургенева она пропускала описания природы: они ранили ее своей поверхностностью.

Лесной Ручеек — так звал ее Яконов летом двадцать седьмого года, проведенным ими на соседних дачах. Они вместе уходили и приходили, и в глазах всех понимались как жених и невеста.

Но очень далеко от этого было на самом деле.

Агния не была ни хороша, ни нехороша собой. Лицо ее часто преображалось: то в подкупающе-миловидной улыбке,



ЦЕРКОВЬ В.–МУЧ. НИКИТЫ

то в унылой непривлекательной вытянутости. Ростом она была выше среднего, но узка, хрупка, а походка — такая легкая, как будто Агния и вовсе не нуждалась наступать на землю. И хотя Антон был уже довольно искушен и ценил в женском теле весомую плоть, но чем-то, не телом, тянула его Агния — и, приобвыкнув, он уверил себя, что как женщина она тоже ему нравится, что она разовьется.

Однако, с удовольствием деля с Антоном долгие летние дни, уходя с ним за много верст в зеленую глубь, лежа с ним бок о бок на лужайках, — она очень нехотя давала взять себя под руку, спрашивала: « Зачем это ? » и пыталась освободиться. И то не был стыд перед людьми: возвращаясь в дачный поселок, она уступала его самолюбию и покорно шла под руку.

Рассудив с собой, что он любит ее, Антон объяснился в любви — припал к ее коленям на лесной лужайке. Но глубокое уныние овладело Агнией. « Как грустно — говорила она. — Мне кажется, что я тебя обманываю. Мне нечего тебе ответить. Я ничего не испытываю. Мне даже от этого не хочется жить. Ты умный и блестящий, и я должна только радоваться, — а мне не хочется жить . . . »

Она говорила так — но все же каждое утро тревожно ожидала, нет ли изменений в его лице, в его отношении.

Она говорила так, но говорила и иначе: « В Москве много девушек. Осенью ты познакомишься с красивой и меня разлюбишь ».

Она давала себя обнимать и даже целовать, но ее губы и руки были при этом безжизненны. « Как тяжело ! — страдала она. — Я верила, что любовь — это сошествие огненного ангела. И вот ты любишь меня, и мне никогда не встретить лучшего, чем ты — а мне не радостно, совсем не хочется жить ».

В ней было что-то задержавшееся детское. Она боялась тех тайн, которые связывают мужчину и женщину в супружестве, и упавшим голосом спрашивала у него: « А без этого нельзя ? » — « Но это совсем, совсем не главное ! — с воодушевлением отвечал ей Антон. — Это только дополнение к нашему духовному общению ! ». И тогда впервые ее губы слабо пошевельнулись в поцелуе, и она сказала: « Спасибо тебе. А иначе зачем было бы жить ? Я думаю, что я уже начинаю тебя любить. Я постараюсь обязательно полюбить ».

Той самой осенью под вечер они шли переулками у Таганской площади, и Агния сказала своим тихим лесным

голосом, который трудно расслышивался в городском громыхании:

— Хочешь, я покажу тебе одно из самых красивых мест в Москве ?

И подвела к ограде маленькой кирпичной церкви, окрашенной в белую краску и обращенной алтарем в кривой безымянный переулок. Внутри ограды было тесно, шла только вкруг церковушки узкая дорожка для крестного хода, чтобы поместились рядом священник и дьякон. За обрешеченными окошками виделся из глубины мирный огонь алтарных свечей и цветных лампад. И тут же, в углу ограды, рос старый большой дуб, он был выше церкви, его ветви, уже желтые, осеняли и купол, и переулок, отчего церковь казалась совсем крохотной.

— Это церковь Никиты Мученика, — сказала Агния.

— Но не самое красивое место в Москве.

— А подожди.

Она провела его между столбами калитки. На каменных плитах двора лежали желтые и оранжевые листья дуба. Едва не в сени того же дуба стояла и древняя шатровая колокольня. Она и прицерковный домик за оградой заслоняли закатное уже низкое солнце. В распахнутых двустворчатых железных дверях северного притвора сгорбилась нищая старушка и крестилась доносящемуся изнутри золотисто-светлому пению вечерни.

— « Бе же церковь та вельми чудна красотою и светлостию . . . » — почти прошептала Агния, близко держась плечом к его плечу. —

— Какого ж она века ?

— Тебе обязательно век ? А без века ? Разве не мила ?

— Мила, конечно, но не . . .

— Так смотри ! — и высвободившись от его локтя, держа протянутой рукою за его кисть, Агния быстро повлекла Антона дальше — к паперти главного входа, вышла из тени в солнечный поток заката и села на низкий каменный парапет, где им обрывалась ограда и начинался просвет для ворот.

Антон ахнул. Они как будто сразу вырвались из теснины города и вышли на крутую высоту с просторной открытой далью. Паперть главного входа сквозь перерыв парапета стекала в долгую белокаменную лестницу, которая многими маршами, чередуясь с площадками, спускалась по склону горы к самой Москве-реке. Река горела на солнце. Слева лежало Замоскворечье, ослепляя желтым блеском стекол, впереди дымили по закатному небу черные трубы МОГЭС'а, почти под

ногами в Москва-реку вливалась блестевшая Яуза, справа за ней тянулся Воспитательный Дом, за ним высились резные контуры Кремля, а еще дальше пламенели на солнце пять червонно-золотых куполов храма Христа Спасителя.

И во всем этом золотом осиянии Агния, в наброшенной желтой шали тоже казавшаяся золотой, сидела, щурясь на солнце.

— Да ! Это — Москва ! — захваченно произнес Антон.

— Как же умели древние русские люди выбирать места для церквей, для монастырей ! — говорила Агния прерывающимся голосом. — Я вот ездила по Волге и по Оке, всюду так они строятся — в самых величественных местах.

— Да, это — Москва ! — повторял Антон.

— Но она *уходит*, Антон, — пропела Агния. — Москва — уходит ! . .

— Куда она там уходит ? Фантазия.

— Эту церковь снесут, Антон, — твердила Агния свое.

— Откуда ты знаешь, что снесут ? — рассердился Антон. — Это художественный памятник, его оставят. — Он смотрел на крохотную шатровую колоколенку, в прорези которой, к колоколам, заглядывали ветки дуба.

— Снесут ! — уверенно пророчила Агния, сидя все так же неподвижно, в желтом свете и в желтой шали.

Агнию в семье не только никто не воспитывал верить в Бога, но наоборот: мать ее и бабушка в те годы, когда обязательно было ходить в церковь — не ходили, не соблюдали постов, не говели, фыркали на попов и везде высмеивали религию, так мирно уживавшуюся с крепостным рабством. Бабушка, мать и тетки Агнии имели устойчивое свое исповедание: всегда быть на стороне тех, кого теснят, кого ловят, кого гонят, кого преследует власть. Бабку знали, кажется, все московские народовольцы, потому что она приючала их у себя и помогала, чем только умела. Ее дочери переняли за ней и прятали подпольщиков-эсеров и социал-демократов. И маленькая Агния всегда была расположена за зайчика, чтобы в него не попали, за лошадь, чтобы ее не секли. Но она росла — и неожиданно для старших это преломилось в ней, что она — за церковь, потому что ее будто бы *гонят*.

Уж там поверила она в Бога или заставляла себя верить, но настаивала, что *теперь-то* было бы низко избегать церкви, и, к ужасу матери и бабки, стала ходить туда, отчего невольно вникала во вкус богослужений.

— Да в чем ты видишь, что ее гонят ! — удивлялся Антон.

— В колокола звонить им не мешают, просфорки печь не мешают, крестный ход — пожалуйста, а в городе да в школе им и делать нечего.

— Конечно, гонят, — возражала Агния, как всегда тихо, малозвучно. — Раз на нее говорят и печатают, что хотят, а ей оправдываться не дают, имущество алтарное описывают, священников ссылают — разве это не гонят ?

— Где ты видела, что ссылают ? !

— Этого на улицах не увидишь.

— И даже, если гонят ! — наседал Антон. — Десять лет ее гонят, а она гнала ? Десять веков !

— Я тогда не жила, — поводила узкими плечиками Агния. — Я ведь живу теперь . . . Я вижу, что при моей жизни.

— Но надо же знать историю ! Неведение — не оправдание ! А ты никогда не задумывалась — как могла наша церковь пережить двести пятьдесят лет татарского ига ?

— Значит, глубока была вера ? — догадывалась она. — Значит, православие оказалось духовно сильнее мусульманства ? . . — Она спрашивала, не утверждала.

Антон улыбнулся снисходительно:

— Фантазерка ты ! Разве д у ш о й своей наша страна была когда-нибудь христианской ? Разве в ней за тысячу лет стояния действительно прощали гонителей ? и любили ненавидящих нас ? Церковь наша устояла потому, что после нашествия митрополит Кирилл первым из русских пошел на поклон к хану просить охранную грамоту для духовенства. Татарским мечом ! — вот чем русское духовенство оградило земли свои, холопов и богослужение ! И, если хочешь, митрополит Кирилл был прав, реальный политик. Так и надо. Только так и одерживают верх.

Когда на Агнию наседали, она не спорила. Она с каким-то новым недоумением смотрела на жениха.

— Вот на чем построены все эти красивые церкви с таким удачным выбором мест ! — громил Антон. — Да на сожженных раскольниках ! Да на запоротых сектантах ! Нашла ты, кого пожалеть — церковь гонят ! . .

Он сел рядом с ней на нагретый камень парапета:

— И вообще, ты несправедлива к большевикам. Ты не дала себе труда прочесть их большие книги. К мировой культуре у них самое бережное отношение. Они за то, чтобы не было произвола человека над человеком, а было бы царство разума. А главное, они — за равенство ! Вообрази: всеобщее, полное и абсолютное равенство. Никто не будет иметь привилегий

перед другим, никто не будет иметь преимуществ ни в доходах, ни в положении. Разве есть что-нибудь привлекательнее такого общества ? Разве оно не стоит жертв ?

(Помимо привлекательности общества, Антон имел происхождение такое, что надо было поскорее и поумелее примкнуть, пока не поздно).

— А своим этим манерничаньем ты только сама же себе закроешь дорогу в институт. И много ли вообще значит твой протест ? Что ты можешь сделать ?

— А что может женщина вообще ? — Ее тонкие косички (никто уж в те годы не носил кос, все стригли, она же носила из духа противоречия, хоть ей они не шли), ее косички разлетелись, одна за спину, другая на грудь. — Женщина только и способна отвращать мужчину от великих поступков. Даже такие, как Наташа Ростова. Я ее терпеть не могу.

— За что ? — поразился Антон.

— За то, что Пьера она не пустит в декабристы ! — И слабый голос ее опять перервался.

Вот из таких внезапностей она была вся.

Прозрачная желтая шаль ее за плечами повисла на освобожденных полуопущенных локтях и была, как тонкие золотые крылья.

Антон двумя ладонями облёк ее локоть, словно боясь сломать.

— А ты бы ? Отпустила ?

— Да, — сказала Агния.

Впрочем, он не знал перед собой подвига, на который его надо было бы отпускать. Его жизнь кипела, работа была интересна и вела все вверх и вверх.

Мимо них проходили, крестясь на открытые двери церкви, подымающиеся с набережной запоздавшие богомольцы. Входя в ограду, мужчины снимали картузы. Впрочем, мужчин было меньше гораздо и не было молодых.

— Ты не боишься, что тебя увидят около церкви ? — без насмешки спросила Агния, но получилась насмешка.

Уже, действительно, начались годы, когда быть замеченным около церкви кем-нибудь из сослуживцев было опасно. И Антон — таки чувствовал себя здесь слишком на виду.

— Берегись, Агния, — начиная раздражаться, внушал он ей. — Новое надо уметь во-время и различить, а кто не различит — отстанет безнадежно. Ты потому стала тянуться к церкви, что здесь кадят твоему нежеланию жить. Надо тебе, наконец,

встряхнуться, заставить себя заинтересоваться, ну, просто процессом жизни, если хочешь.

Агния поникла. Безвольно висела ее рука с золотым колечком Антона. Фигура девушки казалась костлявой и очень уже худой.

— Да, да, — упавшим голосом подтверждала она. — Я совершенно осознаю иногда, что жить мне очень трудно, совсем не хочется. Такие, как я — лишние мы на свете...

У него оборвалось внутри. Она делала всё, чтобы не завлечь его! Мужество выполнить обещание — жениться на Агнии, слабело в нем.

Она подняла на него пытливый взгляд без улыбки.

« И некрасива все-таки она » — подумал Антон.

— Наверно, тебя ждет слава, удача, стойкое благополучие, — грустно сказала она. — Но будешь ли ты с ч а с т л и в, Антон?.. Остерегись и ты. Заинтересовавшись п р о ц е с с о м жизни, мы теряем... теряем... ну, как тебе передать... — Она кончики пальцев терла в щепоти, ища слово. Муки поиска болезненной улыбкой отобразились на ее лице. — Вот колокол отзвонил, звуки певучие улетели — и уж их не вернуть, а в них вся музыка. Понимаешь?...

Она-таки уговорила его зайти внутрь. Под толстыми сводами кольцевая галерея с оконцами, обрешеченными в древнерусском стиле, шла вкруг церкви обводом. Низкая распирающая арка вела под неф среднего храмика.

Через оконца купола заходившее солнце наполняло светом и расходилось золотой игрой по верху иконостаса и мозаичному образу Саваофа.

Молящихся было мало. Агния поставила тонкую свечечку на большом медном столпе и строго стояла, почти не крестясь, кисти сомкнув у груди, одухотворенно глядя перед собой. И рассеянный свет заката и оранжевые отблески свечей вернули щекам Агнии жизнь и теплоту.

Было два дня до Рождества Богородицы, и читали долгий канон ей. Канон был неисчерпаемо красноречив, лавиной лились атрибуты и эпитеты Деве Марии, — и в первый раз Яконов понял экстаз и поэзию этого моления. Канон писал не бездушный церковный начетчик, а неизвестный большой поэт, полонённый монастырем; и был он движим не короткой мужской яростью к женскому телу, а тем высшим восхищением, какое способна извлечь из нас женщина.

... Яконов очнулся. Мажа кожаное пальто, он сидел на горке острых обломков на паперти церкви Никиты Мученика.

Да, бессмысленно разрушили шатровую колоколенку и разворотили лестницу, спускавшуюся к реке. Совершенно даже не верилось, что тот солнечный вечер и этот декабрьский рассвет происходили на одних и тех же квадратных метрах московской земли. Но всё так же был далек обзор с холма, и те же были извивы реки, повторенные последними фонарями ...

... Вскоре после того он поехал в заграничную командировку. А когда вернулся, ему дали написать или почти только подписать газетную статью о разложении Запада, его общества, морали, культуры, о бедственном положении там интеллигенции, о невозможности развития науки. Это была не полная правда, но как будто и не ложь. Эти факты были, хотя и не только они. Колебания Яконова могли вызвать подозрения, положить пятно на его репутацию. Да и кому, собственно, могла повредить такая заметка ?

Она была напечатана.

Агния почтовой бандеролью вернула ему кольцо, привязав ниточкой бумажку: « Митрополиту Кириллу ».

А он испытал облегчение.

... Он встал и, дотянувшись до решетчатого оконца галереи, заглянул внутрь. Оттуда пахнуло сырым кирпичным запахом, холодом и тленом. Неясно рисовалось глазам, что и внутри — кучи битого камня и мусора.

Яконов отклонился от оконца и, чувствуя замедления в бое сердца, припал к косяку у ржавой железной двери, не распахивавшейся уже много лет.

Ледяной тяжестью в него опять вступила угроза Абакумова.

Яконов был на вершине видимой власти. Он был в высоких чинах могущественного министерства. Он был умен, талантлив — и известен как умный и талантливый. Дома ждала его любящая жена. Румяные, спали в кроватках его дети. Высокие в старом московском здании комнаты с балконом составляли его превосходную квартиру. Измерялась в тысячах его месячная зарплата. Персональная « Победа » дожидалась его телефонного звонка. А он стоял, локтями припав к мертвым камням, и жить ему не хотелось. И так безнадежно было в его душе, что не имел он силы пошевельнуть ни рукой, ни ногой.

Светало.

Торжественная очищенность была в примороженном воздухе. Обильный мохнатый иней опушил широчайший пень срубленного дуба, карнизы недоразрушенной церкви, узорочные решетки ее окон, провода, спустившиеся к соседнему домику, и кромку долгого кругового забора внизу вокруг строительства будущего небоскреба.

24

ПИЛКА ДРОВ

Светало.

Щедрый царственный иней опушил столбы з о н ы и п р е д з о н н и к а, в двадцать ниток переплетенную, в тысячи звездочек загнутую колючую проволоку, покатую крышу сторожевой вышки и нескошенный бурьян на пустыре за проволокой.

Дмитрий Сологдин ничем не застланными глазами смотрел на это чудо и любовался. Он стоял возле козел для пилки дров. Он был в рабочей лагерной телогрейке поверх синего комбинезона, а голова его, с первыми сединками в волосах, непокрыта. Он был ничтожный бесправный раб. Он с и д е л уже двенадцать лет, но из-за второго лагерного срока конца тюрьме не предвиделось. Его жена иссушила молодость в бесплодном ожидании. Чтобы не быть уволенной с нынешней работы, как ее уже увольняли со многих, она солгала, что мужа у нее вовсе нет, и прекратила с ним переписку. Своего единственного сына Сологдин никогда не видел: при его аресте жена была беременной. Сологдин прошел чердынские леса, воркутские шахты, два следствия — полгода и год, с бессонницей, изматыванием сил и соков тела. Давно уже было затоптано в грязь его имя и его будущность. Имущество его было — подержанные ватные брюки, которые сейчас хранились в каптерке в ожидании худших времен. Денег он получал в месяц тридцать рублей, и то не наличными. Дышать свежим воздухом он мог только в определенные часы, разрешаемые тюремным начальством.

И был нерушимый покой в его душе. Глаза сверкали, как у юноши. Распахнутая на морозце грудь вздымалась от полноты бытия.

Превращавшиеся под следствием в сухие веревочки, опять набухли и наросли его мускулы и просили движения. И для этого он по доброй воле и без всякого вознаграждения каждое утро выходил колоть и пилить дрова для тюремной кухни.

Однако, топор и пила, как оружие, страшное в руках

зэка, не так сразу и не так просто были ему доверены. Тюремное начальство, обязанное за свою зарплату в каждом невиннейшем поступке зэков подозревать коварство, а также, может быть, судящее по себе, никак не могло поверить, чтобы человек доброю волею согласился бесплатно работать. Поэтому Сологдин упорно подозревался в подготовке к побегу или вооруженному восстанию. Было распоряжение: ставить в пяти шагах от работающего Сологдина одного надзирателя, дабы тот неусыпно следил за каждым его движением, одновременно сам оставаясь недоступен для заруба топором. На эту опасную службу люди были готовы, и само такое соотношение — один наблюдающий при одном работающем, не казалось расточительным начальству, воспитанному в добрых нравах Гулага. Но заупрямился (и тем только усугубил подозрения) Сологдин: он заявил несдержанно, что при п о п к е работать не будет. На некоторое время колку дров вообще прервали (заставлять зэков начальник тюрьмы не мог, это был не лагерь: зэки занимались работой умственной и не по его ведомству). Основная беда была в том, что планирующие инстанции и бухгалтерия не предусмотрели необходимости этой работы при кухне. Поэтому вольнонаемные женщины, готовящие арестантам пищу, колоть дрова не соглашались, так как им за это отдельно не платили. Пробовали посылать на эту работу надзирателей из отдыхающей смены, отрывая их от домино в дежурной комнате. Надзиратели все были парни молодые, строго отобранные по здоровью. Однако, за годы службы в надзорсоставе они как бы разучились работать — у них спину начинало быстро ломить, да и домино притягивало их. Никак они не наготавливали дров, сколько нужно. И пришлось начальнику тюрьмы сдаться: разрешить Сологдину и приходившим с ним другим заключенным (чаще всего Нержину и Рубину) пилить и колоть без дополнительного надзора. Впрочем, со сторожевой вышки их было видно как на ладони, да еще дежурным офицерам было вменено подглядывать за ними из-за угла.

В расходящейся темноте, в которой свет бледнеющих фонарей мешался со светом дня, из-за угла здания показалась круглая фигура дворника Спиридона в ушастом малахае, одному ему таком выданном, и в бушлате. Дворник был тоже зэк, но подчинялся коменданту института, а не тюрьме, и только чтобы не ссориться, точил для тюрьмы пилу и топоры. По мере того, как он сейчас приближался, Сологдин различал в его руках недостающую на месте пилу.

Во всякое время от подъема до отбоя Спиридон Егоров ходил по двору, охраняемому пулеметами, бесконвойно. Еще потому начальство решалось на этот смелый шаг, что у Спиридона один глаз вовсе не видел, а другой видел на три десятых. Хотя здесь, на шарашке, по штату полагалось трое дворников, ибо двор был — несколько соединенных дворов, общей площадью два гектара, но Спиридон, не зная того, за всех троих обмогался один, и ему не было плохо. Главное — он здесь ел от пуза, хлеба черного не меньше килограмма полтора, потому что с хлебом была раздольщина, да и каши ему ребята уступали. Спиридон здесь видимо посправнел и отмяк от Севураллага — от трех зим лесоповала, да от трех весен лесосплава, где много тысяч бревен он перенянчил.

— Ну ! Спиридон ! — с нетерпением окликнул Сологдин.

— Что такоича ?

Лицо Спиридона с усами седорыжими, бровями седорыжими и кожей красноватой, было очень подвижно и часто выражало при ответе готовность, как сейчас. Сологдин не знал, что слишком большая готовность у Спиридона означала насмешку.

— Как что ? Пила-то не тянет !

— С чего б эт не тянула ? — удивился Спиридон. — За зиму кой раз вы жалитесь. А ну, чиркнем разок !

И он подал пилу одною ручкой.

Стали пилить. Пила раза два выпрыгнула, меняя место, словно ей было неулёжно, потом въелась и пошла.

— Вы в руках-то ее больно крепко дёржите, — осторожно посоветовал Спиридон. — Вы ручку тремя пальчиками обоймите, как перо, и водите по воле, плавнёнько . . . во́ . . . ну-ну ! . . К себе-то когда волочёте — не дергайте . . .

Каждый из них ощущал свое явное превосходство над другим: Сологдин — потому, что знал теоретическую механику, сопромат и много еще наук, Спиридон — потому, что все вещи слушались его. Но Сологдин не скрывал своего снисхождения к дворнику, Спиридон же снисхождение к инженеру скрывал.

Даже пройдя середину толстого кряжа, пила нисколько не затиралась, а только шла позвенивая и выфыркивала желтоватые сосновые опилки на комбинезонные брюки тому и другому.

Сологдин рассмеялся:

— Да ты чудесник, Спиридон ! Ты обманул меня. Ты пилу вчера наточил и развел.

Спиридон, довольный, приговорил в такт пиле:

Жрет себе, жрет, мелко жует, сама не глотает, другим отдает...

И, придавив рукой, отвалил недопиленный чурбак.

— Ничуть я не точил, — повернул он к инженеру пилу брюхом вверх. — Сами зуб смотрите, какой вчера, такой сегодня.

Сологдин наклонился над зубьями и вправду не увидел свежих опилин. Но что-то этот плут с ней сделал.

— Ну, давай, Спиридон, еще чурбачок.

— Не-е, — взялся Спиридон за спину. — Я заморился. Что деды, что прадеды недоработали — все на меня легло. А вот ваши дружки подойдут.

Однако, дружки не шли.

Уже в полную силу рассвело. Проступило торжественное инеистое утро. Даже водосточные трубы и вся земля были убраны инеем, и сивые космы его украшали овершья лип на прогулочном дворике, вдали.

— Ты как на шарашку попал, а, Спиридон? — приглядываясь к дворнику, спросил Сологдин.

Просто нечего было больше делать. За много лагерных лет Сологдин водился лишь с образованными, не предполагая почерпнуть что-либо ценное у людей низкого развития.

— Да, — чмокнул Спиридон. — Вон вас каких ученых людей соскребли, а под дугу с вами и я. У меня в карточке было написано «стеклодув». Я, ить, и правда стеклодув когда-то был, халявный мастер, на нашем заводе под Брянском. Да дело давное, уж и глаз нет, и работа тáя сюда не относится, тут им мудрого стеклодува надо, как Иван. У нас такого на всем заводе сроду не былó. А все ж по карточке привезли. Ну, догляделись, кто таков, — хотели назад пихать. Да спасибо коменданту, дворником взял.

Из-за угла, со стороны прогулочного двора и отдельно стоящего одноэтажного здания «тюремного штаба», показался Нержин. Он шел в незастегнутом комбинезоне, в небрежно накинутой на плечи телогрейке, с казенным (и потому до квадратности коротким) полотенцем на шее.

— С добрым утром, друзья, — отрывисто приветствовал он, на ходу раздеваясь, сбрасывая до пояса комбинезон и снимая нижнюю сорочку.

— Глебушка, ты обезумел, где ты видишь снег? — покосился Сологдин.

— А вот, — мрачно отозвался Нержин, забираясь на

крышу погреба. Там был редко-пушистый нетронутый слой не то снега, не то инея, и собирая его горстями, Нержин стал рьяно натирать себе грудь, спину и бока. Он круглую зиму обтирался снегом до пояса, хотя надзиратели, случась по близости, мешали этому.

— Эк тебя распарило, — покачал головой Спиридон.

— Письма-то все нет, Спиридон Данилыч ? — откликнулся Нержин.

— Вот именно есть !

— Что ж читать не приносил ! Все в порядке ?

— Есть, да взять нельзя. У Змея.

— У Мышина ? Не дает ? — Нержин остановился в растирании.

— Он-то в списке меня повесил, да комендант наладил чердак разбирать. Пока я прохватился — а уж Змей прием кончил. Теперь в понедельник.

— Эх, гады ! — вздохнул Нержин, оскаляя зубы.

— Попов судить — на то черт есть, — махнул Спиридон, косясь на Сологдина, которого знал мало. — Ну, я покатил.

И в своем малахае со смешно спадающими на бок ушами, как у дворняжки, Спиридон пошел в сторону вахты, куда зэков кроме него не пускали.

— А топор ? Спиридон ! Топор где ? — опомнился вслед Сологдин.

— Дежурник принесет, — отозвался Спиридон и скрылся.

— Ну, — сказал Нержин, с силой растирая вафельной тряпицей грудь и спину, — не угодил я Антону. Отнесся я к Семерке, как к « трупу пьяницы под мавринским забором ». И еще вчера вечером он предложил мне переходить в криптографическую группу, а я отказался.

Сологдин повел головой, усмехнулся. При усмешке между его светло-русыми, чуть седоватыми аккуратно подстриженными усами и такой же бородкою сверкали перлы округло-продолговатых, ядренных, не затронутых порчей, но внешней силою прореженных зубов:

— Ты ведешь себя не как и с ч и с л и т е л ь, а как п и и т. — Нержин не удивился. Это было одно из известных чудачеств Сологдина: говорить на так называемом Языке Предельной Ясности, не употребляя п т и ч ь и х, то есть иностранных слов. Играл ли он или верил в эту затею, нельзя было понять, но очень старательно, иногда находчиво, иногда неуклюже, он изворачивался, стараясь избегать в речи даже самых необходимых ему слов, таких как « инженер » и « ме-

талл ». Даже в служебных разговорах и даже с начальниками, он пытался вести ту же линию и заставлял иногда подождать себя, пока придумает слово.

Это невозможно было бы, если б Сологдин старался выслужиться, попасть на более важную работу, получить повышенную категорию питания. Но как раз наоборот, Сологдин всячески уходил от внимания начальства и пренебрегал его милостями.

Так он стал на шарашке среди зэков всеми признанный, решенный и бесповоротный ч у д а к .

Чудачеств за ним было еще много: и то, что круглую зиму, лежа под окном, он отстаивал держать окно открытым на мороз; и вот эта ежеутренняя совсем не нужная работа на дровах, в которую он затянул и Глеба и Льва; и, главное, он умел по каждому вопросу высказать какое-нибудь несуразное дичайшее мнение, вроде того, что проституция есть нравственное благо или что в поединке с Пушкиным был прав Дантес, — и потом это мнение с большим воодушевлением, иногда и не без успеха оборонял, сверкая молодыми голубыми глазами и в смехе показывая молодые, но редкие после лагерной дистрофии зубы. И никогда нельзя было ухватить его и понять толком: он это все серьезно говорит или издевается ? Когда его упрекали в абсурдности, он звонко хохотал: « Скучно живете, господа ! Нельзя всем иметь одни взгляды и одни образцы. Что ждет нас ? Угаснут споры, не придется обмениваться мнениями. Собачья скука ! »

И самое слово « господа » вместо « товарищи » он употреблял якобы потому, что уже двенадцать лет не быв на воле, он не помнит, к а к т а м .

Сейчас Нержин, все так же полуобнаженный, дотирался полотенечком.

— Да, — сказал он невесело. — Я с сожалением замечаю, что Левка прав, скептик из меня не получился. В события хочется — вмешиваться.

И надев малую ему сорочку, он стал продевать руки в комбинезон.

Сологдин стоял, прислоняясь к козлам, картинно скрестив руки на груди:

— Это хорошо, мой друг. Твое у с у г у б л е н н о е с о м н е н и е — (на Языке Кажущейся Ясности это обычно называлось « скептицизмом ») — должно же было отшелушиться когда-то. Ты уже не мальчик — (он был на пять лет моложе Сологдина) — и должен душевно определиться, понять соот-

ношения добра и зла в человеческой жизни. Нигде не сделать этого лучше, нежели в тюрьме.

Слова Сологдина звучали приподнято, но Нержин как-то не выразил намерения тут же и вникнуть в великие исконные вопросы добра и зла. Мокроватое куцое вафельное полотенце он повесил себе на шею, вроде кашнэ, нахлобучил на голову старую фронтовую офицерскую шапку уже расходящуюся по швам, надел телогрейку. Вздохнул:

— Только то мы и знаем, что ничего не знаем.

Взял пилу, подмастерье Сократа, и другой ручкой протянул Сологдину.

Они уже обстывали и весело взялись за пиление. Пила брызнула коричневым порошком коры. Пила шла не так ловко, как со Спиридоном, но все же легко. Приятели за многие утра спилились, и дело у них обходилось без взаимных упреков. Они пилили с тем особенным рвением и наслаждением, какое дает неподневольный и не вызванный нуждою труд.

Только перед четвертым резом ярко разрумянившийся Сологдин буркнул:

— Сучкá бы не зацепить...

И после четвертого чурбака Нержин пробормотал:

— Да, сучковатое, падло.

Душистые, то белые, то желтые опилки с каждым шорохом пилы ложились на брюки и ботинки пильщиков. Мерная работа вносила покой и перестраивала мысли.

Нержин, проснувшийся нынче в дурном настроении, сейчас думал, что лагеря только в первый год жизни могли оглушить его, что теперь у него совсем другое дыхание, что он не станет карабкаться в *придурки*, не станет бояться *общих*, — а будет медленно, со знанием жизненных глубин, выходить на утренний развод в телогрейке, вымазанной штукатуркой или мазутом, и с выдержкой тянуть весь двенадцатичасовой день — и так все пять лет, оставшиеся до конца срока. Пять лет — это не десять. Пять лет выжить можно.

И еще он думал о Сологдине, что усвоил нечто от его несуетливого понимания жизни; что именно от Сологдина получил он первый толчок задуматься, что человеку не надо рассматривать тюрьму только как проклятие, а еще и как благословение.

Так он размышлял, в очередь потягивая пилу. И никак бы не мог вообразить, что напарник его, потягивая пилу в свою сторону, думал сейчас о тюрьме только как о чистом проклятии, из-под которого надо же когда-то вырваться.

Сологдин думал сейчас о том большом и обещающем ему свободу успехе, которого он совершенно скрытно достиг за последние месяцы, и особенно недели в своей инженерной работе; о том приговоре своей работе, который он должен был выслушать после завтрака, но в смысле которого заранее не сомневался. С буйной какой-то гордостью думал сейчас Сологдин о своем мозге, истощенном столькими годами то следствий, то голода лагерей, столько лет лишенным фосфора и вот сумевшем же справиться с выдающейся задачей! Как это заметно у мужчин к сорока годам — взлет жизненных сил! Особенно, если избыток их плоти не направлен в деторождение, а таинственным образом преобразуется в сильные мысли.

И еще он думал о несомненном близком отъезде Нержина с шарашки, коль скоро он так опрометчиво разговаривал с Антоном.

Между тем они пилили и пилили. Тела их разгорячились, жаром пышали лица, телогрейки уже были сброшены на бревна, чурбаки доброй горкой громоздились у козел, — топора же все не было.

— А не хватит ? — спросил Нержин. — Небось не переколем.

— Отдохнем, — согласился Сологдин, отставляя пилу со звоном изогнувшегося полотна.

Оба стянули с голов шапки. От густых волос Нержина и редеющих волос Сологдина пошел пар. Они дышали глубоко. Воздух будто проходил в самые затхлые уголки их нутра.

— Но если тебя сейчас отправят в лагерь, — спросил Сологдин, — как же будет с твоей работой по Бытийному времени? (это значило — по истории).

— Да как ? Ведь я не избалован и здесь. Хранение единой строки записей одинаково грозит мне казематом и там, и здесь. Допуска в публичную библиотеку у меня нет и тут, к архивам же меня и до смерти, наверно, не допустят. Если говорить о чистой бумаге, то уже бересту или сосновую кору найду я и в тайге. А преимущества моего никакими шпионами не отнимут: горе, которое я испытал на себе и вижу на других, может мне немало подсказать догадок об истории, а ? Как ты думаешь ?

— Ве-ли-ко-лепно ! ! — густым выдохом воскликнул Сологдин. — В той первичной сфере, в которой развивается мысль . . .

« Сфера » — птичье слово, — напомнил Нержин.

— Виноват, — осёкся Сологдин. — Ты видишь, как я неизобретателен. В том первичном о ш а р и и — мысль ! ! ! — он вскинул голову и руки, — первоначальная сильная мысль определяет успех всякого дела ! И как живое древо, она дает плоды лишь в случае естественного развития. Книги и чужие мнения — это ножницы, перерезающие жизнь мысли. Сперва надо мысль найти самому ! — а потом уже можно сверить и с книгой. Ты очень созрел ! Ты очень созрел, я просто не ожидал.

Становилось холодновато. Взяв шапку с отрожка козел, Сологдин надел ее. Надел шапку и Нержин. Он был польщен, но старался не дать похвале овладеть собою.

А Сологдин не умолкал:

— Теперь, Глебчик, когда отъезд твой может наступить внезапно, надо мне поспешить с тобой поделиться некоторыми моими правилами. Они могут оказаться тебе полезными. Разумеется, мне очень помешает мое косноязычие, мой слабый разум . . .

О, это было в манере Сологдина ! Перед тем, как блеснуть мыслью, он предварительно самоуничижался.

— Твоя слабая память, — убыстрял и помогал Нержин. — И то, что вообще ты « сосуд ошибок » . . .

— Да, да, именно, — Сологдин обнажил в улыбке продолговато-округленные белые зубы. — Так вот, зная свое несовершенство, я много лет в тюрьме вырабатывал для себя эти правила, которые железным обручем собирают волю. Эти правила — как бы о б щ и й о г л я д н а п у т и п о д х о д а к работе (« методика », привычно перевел Нержин с Языка Предельной на Язык Кажущейся Ясности). Это — пути создания рабочего единства: единства цели, исполнителя и его работы.

Они накинули телогрейки.

По прибывающему свету дня видно было, что скоро им бросать дрова и идти на утреннюю поверку. Вдалеке, перед штабом спецтюрьмы, под купою волшебно-обеленных мавринских лип мелькала утренняя арестантская прогулка. Среди распрямленных и пригнутых фигур выделялась высокая худая прямая фигура пятидесятилетнего художника Кондрашева-Иванова. Видно было и как Лев Рубин, проспавший, пытался теперь прорваться « на дрова », но надзиратель уже его не пускал: было поздно.

— Смотри, вон Лёвка с растрепанной бородой.

Засмеялись.

— Так вот, хочешь, я буду каждое утро сообщать тебе оттуда какие-нибудь положения ?

— Конечно, Митенька ! Давай.

Нержин опустился на груду чурбаков, Сологдин неудобно присел на козлы.

— Ну, например: как относиться к трудностям ?

— Не унывать ?

— Этого мало.

Мимо Нержина Сологдин смотрел на зону, на мелкие густые заросли, сплошь опушенные инеем и чуть тронутые неуверенной розоватостью востока: солнце колебалось, показаться или нет. Лицо Сологдина, собранное, худощавое, со светлой курчавящейся бородкой и короткими светлыми усами таило в себе что-то древнерусское и напоминало лик Александра Невского.

— Как относиться к трудностям ? — вещал он. — В области неведомого трудности надо рассматривать как скрытый к л а д ! Обычно: чем труднее, тем полезнее. Не так ценно, если трудности возникают от твоей борьбы с самим собой. Но когда трудности исходят от увеличившегося сопротивления предмета — э т о п р е к р а с н о ! ! — словно розовая заря промелькнула по разрумяненному лицу Александра Невского, неся в себе отблеск прекрасных, как солнце, трудностей. — Самый благодарный путь исследования: « наибольшее внешнее сопротивление при наименьшем внутреннем ». Неудачи следует рассматривать как необходимость дальнейшего приложения усилий и сгущения воли. А если усилия у ж е были приложены значительные — тем р а д о с т н е й неудачи ! Это значит, что наш лом ударил о железный ящик клада ! И преодоление увеличенных трудностей тем более ценно, что в неудачах происходит р о с т и с п о л н и т е л я, соразмерный встреченной трудности !

— Здорово ! Сильно ! — отозвался Нержин с чурбаков.

Оттенки зари перешли по кустарнику и были уже погашены сплошными серыми облаками.

Словно отводя глаза от читаемых им скрижалей, Сологдин рассеянно посмотрел вниз на Нержина.

— Теперь послушай : правило последних вершков ! Область последних вершков ! — на Языке Предельной Ясности сразу понятно, что это такое. Работа уже почти окончена, цель уже почти достигнута, все как будто совершено и преодолено, но качество вещи — не совсем т о ! Нужны еще доделки, может быть еще исследования. В этот миг усталости

и довольства собой особенно соблазнительно покинуть работу, так и не достигнув вершины качества. Работа в области последних вершков очень, очень сложна, но и особенно ценна, ибо выполняется самыми совершенными средствами ! Правило последних вершков в том и состоит, чтобы не отказаться от этой работы ! И не откладывать ее, ибо строй мысли исполнителя уйдет из области последних вершков ! И не жалеть времени на нее, зная, что цель всегда — не в скорейшем окончании, а в достижении совершенства ! !

— Хор-рошо ! — прошептал Нержин.

Голосом совсем другим, грубовато-насмешливым, Сологдин сказал:

— Что же вы, младший лейтенант ? Я вас не узнаю. Почему вы задержали топор ? Уже нам не осталось времени и колоть.

Луноподобный младший лейтенант Наделашин еще недавно был старшиной. После производства его в офицеры, зэки шарашки, тепло к нему относясь, перекрестили его в м л а д ш и н у .

Сейчас, приспев семенящими шажками и смешно отдуваясь, он подал топор, виновато улыбнулся и живо ответил:

— Нет, я очень, очень прошу вас, Сологдин, наколите дров! На кухне нет нисколько, не на чем обед готовить. Вы не представляете, сколько у меня и без вас работы !

— Че-го ? — прыснул Нержин. — Р а б о т ы ? Младший лейтенант ! Да разве вы р а б о т а е т е ?

Своим лунообразным лицом дежурный офицер обернулся к Нержину. Нахмурив лоб, он прочел по памяти:

— « Работа есть преодоление сопротивления ». Я при быстрой ходьбе преодолеваю сопротивление воздуха, значит, я тоже работаю. — И хотел остаться невозмутимым, но улыбка осветила его лицо, когда Сологдин и Нержин дружно захохотали в легко-морозном воздухе. — Так наколите, прошу вас !

И, повернувшись, засеменил к штабу спецтюрьмы, где как раз в этот момент промелькнула в шинели подтянутая фигура ее начальника подполковника Климентьева.

— Глебчик, — удивился Сологдин. — Мне изменяют глаза ? Климентиадис ? — (То был год, когда газеты много писали о греческих заключенных, телеграфировавших из своих камер во все парламенты и в ООН о переживаемых ими бедствиях. На шарашке, где арестанты даже женам, и

даже открытки могли послать не всегда, не говоря о чужеземных парламентах, стало принято передельывать фамилии тюремных начальников на греческие — Мишинопуло, Климентиадис, Шикиниди) — Зачем Климентиадис в воскресенье ?

— Ты разве не знаешь ? Шесть человек на свидание едут.

Нержину напомнили об этом, и душу его, так просветлившуюся во время утренних дров, снова залила горечь. Почти год прошел со времени его последнего свидания, восемь месяцев — с тех пор, как он подал заявление, — а ему не отказывали и не разрешали. Тут была между другими и та причина, что, оберегая учебу жены в университетской аспирантуре, он не давал ее адреса в студенческом общежитии, а лишь « до востребования », — до востребования же тюрьма писем посылать не хотела. Нержин благодаря сосредоточенной внутренней жизни был свободен от чувства зависти: ни зарплата, ни питание других, более достойных зэков, не мутили его спокойствия. Но сознание несправедливости со свиданиями, что кто-то ездит каждые два месяца, а его уязвимая тонкая жена вздыхает и бродит под крепостными стенами тюрем — это сознание терзало его.

К тому же сегодня был его день рождения.

— Едут ? Да-а... — с той же горечью позавидовал и Сологдин. — Стукачей возят каждый месяц. А мне мою Ниночку не увидеть теперь никогда...

(Сологдин не употреблял выражения « до конца срока », потому что дано ему было отведать, что у сроков может не быть концов).

Он смотрел, как Климентьев, постояв с Наделашиным, вошел в штаб.

И вдруг заговорил быстро:

— Глеб ! А ведь твоя жена знает мою. Если поедешь на свидание, постарайся попросить Надю, чтоб она разыскала Ниночку и обо мне передала ей только три слова: — (он взглянул на небо): — любит ! верит в нее ! надеется !

— Да отказали мне в свидании, что с тобой ? — раздосадовался Нержин, приловчаясь располовинить чурбак.

— А посмотри !

Нержин оглянулся. Младшина шел к ним и издали манил его пальцем. Уронив топор, с коротким звоном свалив прислоненную пилу на землю, Глеб побежал как мальчик.

Сологдин проследил, как младшина завел Нержина в штаб, потом поправил чурбак на-попа и с таким ожесточением размахнулся, что не только развалил его на две плахи, но еще вогнал топор в землю.

Впрочем, топор был казенный.

25

РАБОТА МЛАДШИНЫ

Приводя определение работы из школьного учебника физики, младший лейтенант Наделашин не солгал. Хотя работа его продолжалась только двенадцать часов в двое суток, — она была хлопотлива, полна беготней по этажам и в высокой степени ответственна.

Особенно хлопотное дежурство у него выдалось в минувшую ночь. Едва только он заступил на дежурство в девять часов вечера, подсчитал, что все заключенные, числом двести восемьдесят одна голова, на месте, произвел выпуск их на вечернюю работу, расставил посты (на лестничной площадке, в коридоре штаба и патруль под окнами спецтюрьмы), как был оторван от кормления и размещения нового этапа вызовом к еще не ушедшему домой оперуполномоченному майору Мышину.

Наделашин был человеком исключительным не только среди тюремщиков (или, как их теперь называли — тюремных работников), но и вообще среди своих единоплеменников. В стране, где каждый второй прошел лагерную или фронтовую академию ругани, где матерные ругательства запросто употреблялись не только пьяными в окружении детей (а детьми — в младенческих играх), не только при посадке на загородный автобус, но иногда и в задушевных беседах (особенно — на следствиях), Наделашин не умел ни материться, ни даже употреблять такие слова, как « черт » и « сволочь ». Одной приговоркой пользовался он в сердцах — « бык тебя забодай »! и то чаще не вслух.

Так и тут, сказав про себя « бык тебя забодай! », он поспешил к майору.

Оперуполномоченный майор Мышин, которого Бобынин совершенно несправедливо обозвал дармоедом, — болезненно ожиревший, фиолетоволицый мужчина, оставшийся р а б о т а т ь в этот субботний вечер из-за чрезвычайных обстоятельств, дал Наделашину задание:

— проверить, началось ли празднование немецкого и латышского Рождества;

— переписать по группам всех, встречающих Рождество;

— проследить лично, а также через рядовых надзирателей, посылаемых каждые десять минут, не пьют ли при этом вина, не производят ли подкопа, о чем между собой говорят и, главное, не ведут ли антисоветской агитации;

— по возможности найти отклонение от тюремного режима и прекратить этот безобразный религиозный ритуал.

Не сказано было — прекратить, но — « по возможности прекратить ». Мирная встреча Рождества не была прямо запретным действием, однако сердце товарища Мышина не могло ее вынести.

Младший лейтенант Наделашин с физиономией бесстрастной зимней луны напомнил майору, что ни он сам, ни тем более его надзиратели не знают немецкого языка и не знают латышского (они и русский-то не все знали).

Мышин вспомнил, что он и сам за четыре года службы комиссаром роты охраны лагеря немецких военнопленных изучил только три слова: « хальт ! », « цурюк ! » и « вэг ! » — и сократил инструкцию.

Выслушав приказ и неумело откозыряв (с ним время от времени проходили и строевую подготовку), Наделашин пошел размещать новоприбывших, на что тоже имел список от оперуполномоченного: кого в какую комнату и на какую койку поместить. (Мышин придавал большое значение плановоцентрализованному распределению мест в тюремном общежитии, где у него были равномерно рассеяны осведомители. Он знал, что самые откровенные разговоры ведутся не в дневной рабочей суете, а перед сном, самые же хмурые и желчные высказывания приходятся на утро, и потому особенно ценно следить за людьми около их постели).

Потом Наделашин зашел исправно по разу в каждую комнату, где праздновали Рождество — будто прикидывая, по сколько ватт там висят лампочки. И надзирателя послал зайти по разу. И всех записал в списочек.

Потом его опять вызвал майор Мышин, и Наделашин подал ему свой списочек. Особенно Мышина заинтересовало, что Рубин был с немцами. Он внес этот факт в папку.

Потом подошла пора сменять посты и разобраться в споре двух надзирателей, кому из них больше пришлось отдежурить в прошлый раз и кто кому должен.

Дальше было время отбоя, спора с Прянчиковым относи-

тельно кипятка, обхода всех камер, гашения белого света и зажигания синего. Тут опять его вызвал майор Мышин, который все не шел домой (дома у него жена была больна, и не хотелось ему весь вечер выслушивать ее жалобы.) Майор Мышин сидел в кресле, а Наделашина держал на ногах и расспрашивал, с кем, по его наблюдению, Рубин обычно гуляет, и не было ли за последнюю неделю случаев, чтоб он вызывающе говорил о тюремной администрации или от имени массы высказывал какие-нибудь требования.

Наделашин занимал особое место среди своих коллег, офицеров, начальников надзирательских смен. Его много и часто ругали. Его природная доброта долго мешала ему служить в органах. Если б он не приспособился, давно был бы отсюда изгнан или даже осужден. Уступая своей естественной склонности, Наделашин никогда не был с заключенными груб, с искренним добродушием улыбался им и во всякой мелочи, в какой только мог послабить — послаблял. За это заключеные его любили, никогда на него не жаловались, наперекор ему не делали и даже не стеснялись при нем в разговорах. А он был доглядчив и дослышлив, и хорошо грамотен, для памяти записывал все в особую записную книжечку — и материалы из этой книжечки докладывал начальству, покрывая тем свои другие упущения по службе.

Так и теперь, он достал свою книжечку и сообщил майору, что семнадцатого декабря шли заключенные гурьбой по нижнему коридору с обеденной прогулки — и Наделашин след в след за ними. И заключенные бурчали, что вот завтра воскресенье, а прогулки от начальства не добьешься, а Рубин им сказал: « Да когда вы поймете, ребята, что этих гадов вы не разжалобите ? »

— Так и сказал: « этих гадов » ? — просиял фиолетовый Мышин.

— Так и сказал, — подтвердил луновидный Наделашин с незлобливой улыбкой.

Мышин опять открыл ту папку и записал, и еще велел оформить отдельным донесением.

Майор Мышин ненавидел Рубина и накоплял на него порочащие материалы. Поступив на работу в Маврино и узнав, что Рубин, бывший коммунист, всюду похваляется, что остался им в душе, несмотря на п о с а д к у , — Мышин вызвал его на беседу о жизни вообще и о с о в м е с т н о й р а б о т е в частности. Но взаимопонимания не получилось. Мышин по-

ставил перед Рубиным вопрос именно так, как рекомендовалось на инструктивных совещаниях:

— если вы советский человек — то вы нам поможете;

— если вы не поможете — то вы не советский человек;

— если вы не советский человек, то вы — антисоветчик и достойны нового с р о к а.

Но Рубин спросил: « А чем надо будет писать доносы — чернилами или карандашом ? » — « Да лучше чернилом » — посоветовал Мышин. « Так вот я свою преданность советской власти уже кровью доказал, а чернилами доказывать не нуждаюсь ».

Так Рубин сразу показал майору всю свою неискренность и свое двуличие.

И еще раз вызывал его майор. И тогда Рубин явно лживо отговорился, что, мол, раз его п о с а д и л и, значит ему оказали политическое недоверие, и пока это так, он не может вести с оперуполномоченным с о в м е с т н у ю р а б о т у.

С тех пор Мышин на него затаил и накоплял, что мог.

Разговор майора с младшим лейтенантом еще не окончился, как вдруг из министерства госбезопасности пришла легковая машина за Бобыниным. Используя такое счастливое для карьеры стечение обстоятельств, Мышин как выскочил в кителе, так уж не отходил от машины, звал приехавшего офицера погреться, обращая его внимание, что сидит здесь ночами, торопил и дергал Наделашина и на всякий случай спросил самого Бобынина, тепло ли тот оделся (Бобынин нарочно надел в дорогу не хорошее пальто, которое было тут ему выдано, а рваную лагерную телогрейку).

После отъезда Бобынина тотчас вызвали Прянчикова. Тем более майор не мог идти домой ! Чтобы скрасить ожидание, кого еще вызовут и когда вернутся, майор пошел проверять, как проводит время отдыхающая смена надзирателей (они лупились в домино), и стал экзаменовать их по истории партии (ибо нес ответственность за их политический уровень). Надзиратели, хотя и считались в это время на работе, но чаще спали, а сейчас тянуло их забивать козла, и они отвечали на вопросы майора с законной неохотой. Ответы их были самые плачевные: эти воины не только путали, почему после Второго съезда правильно было размежеваться, а на Четвертом съезде правильно было объединиться, но даже сказали, что Плеханов был царский министр и расстреливал петербургских рабочих 9-го января. За все это Мышин выговаривал Наделашину, распустившему свою смену.

Потом вернулись Бобынин и Прянчиков вместе, в одной машине, и, не пожелав ничего рассказать майору, ушли спать. Разочарованный, а еще больше встревоженный, майор уехал на той же машине, чтобы не идти пешком: автобусы уже не ходили.

Надзиратели, свободные от постов, обругали майора вслед и уже было легли, да и Наделашин метил вздремнуть вполглаза, но не тут-то было: позвонил телефон из караульного помещения конвойной охраны, несший службу на вышках вокруг мавринского объекта. Начальник караула возбужденно передал, что звонил часовой юго-западной угловой вышки. В сгущающемся тумане он ясно видел, как кто-то стоял, притаившись у угла дровяного сарая, потом пытался подползти к проволоке предзонника, но испугался окрика часового и убежал в глубину двора.

Начальник караула сообщил, что сейчас будет звонить в штаб своего полка и писать рапорт об этом чрезвычайном происшествии, а пока просит дежурного по спецтюрьме устроить облаву во дворе.

Хотя Наделашин был твердо уверен, что все это померещилось часовому, что заключенные надежно заперты новыми железными дверьми в старинных прочных стенах в четыре кирпича, но сам факт написания начкаром рапорта требовал и от него энергичных действий и соответствующего рапорта. Поэтому он поднял по тревоге отдыхающую смену и с фонарями «Летучая мышь» поводил их по большому двору, окутанному туманом. После этого сам пошел опять по всем камерам и, остерегаясь зажечь белый свет (чтобы не было лишних жалоб), а при синем свете видя недостаточно, — крепко ушиб колено об угол чьей-то кровати, прежде чем, освещая головы спящих арестантов электрическим фонариком, досчитался, что их — двести восемьдесят одна.

Тогда он пошел в канцелярию и написал почерком круглым и ясным, отражающим ясную прозрачность его души, рапорт о происшедшем на имя начальника спецтюрьмы подполковника Климентьева.

И было уже утро, пора было проверять кухню, снимать пробу и делать подъем.

Так прошла ночь младшего лейтенанта Наделашина, и он имел основание сказать Нержину, что не даром ест свой хлеб.

Лет Наделашину уже было много за тридцать, хотя вы-

глядел он моложе, благодаря свежести безусого безбородого лица.

Дед Наделашина и отец его были портные — не роскошные, но мастеровитые, обслуживали средний люд, не брезговали и заказами перелицевать, перешить со старшего на малого или подчинить, кому надо побыстрей. К тому ж предназначали и мальчика. Ему с детства эта обходительная мягкая работа понравилась, и он готовился к ней, присматриваясь и помогая. Но был конец НЭПа. Отцу принесли годовой налог — он его заплатил. Через два дня принесли еще годовой — отец заплатил и его. С совершенным бесстыдством через два дня принесли еще один годовой — уже утроенный. Отец порвал патент, снял вывеску и поступил в артель. Сына же вскоре мобилизовали в армию, оттуда попал он в войска МВД, а позже переведен был в надзиратели.

Служил он бледно. За четырнадцать лет его службы другие надзиратели в три или в четыре волны обгоняли и обгоняли его, иные стали уже теперь капитанами, ему же лишь месяц назад со скрипом присвоили первую звездочку.

Наделашин понимал гораздо больше, чем говорил вслух. Он понимал так, что эти заключенные, не имеющие прав людей, на самом деле часто бывали люди, высшие, чем он сам. И еще, по свойству каждого человека представлять других подобными себе, Наделашин не мог вообразить арестантов теми кровавыми злодеями, которыми их поголовно раскрашивали во время политзанятий.

С еще большей отчетливостью, чем он помнил определение работы из курса физики, пройденного в вечерней школе, он помнил каждый изгиб пяти тюремных коридоров Большой Лубянки и внутренность каждой из ее ста десяти камер. По уставу Лубянки надзиратели менялись через два часа, переходя из одной части коридора в другую (это делалось из предосторожности, чтоб они не сознакомились со своими арестантами, не были ими уговорены или подкуплены; впрочем, надзиратели не обижались на зарплату). И в каждый глазок надзиратель обязан был заглянуть не реже одного раза в три минуты. Наделашину, при его исключительной памяти на лица, казалось: он помнил всех до одного арестантов своего тюремного этажа с 1935-го по 1947-й год (когда его оттуда перевели в Маврино) — и знаменитых вождей, и простых фронтовых офицеров, как Нержин. Ему казалось: он любого из них узнал бы теперь на улице в любой одежде — только они не встречались на улицах никогда, ибо из мира т о г о

не было возврата в мир э т о т. Только вот тут, в Маврино, он и встретил некоторых старых своих подзамочных — разумеется, не давая им понять, что узнал. Он помнил их цепенеющими от насильственной бессонницы в ослепляюще-ярких б о к с а х площадью в квадратный метр; разрезающими ниткою четырехсотграммовую сырую хлебную пайку; углубленными в старинные красивые книги, которыми изобиловала тюремная библиотека; цепочкой выходящими на оправку; закладывающими руки за спину при вызове на допрос; в повеселевших разговорах последние полчаса перед отбоем; и лежащими зимнею ночью при ярком свете с руками поверх одеял, укутанными для тепла полотенцами — режим требовал будить тех, кто спрятал руки под одеяло, и заставлять вынимать.

Наделашин больше всего любил слушать споры и разговоры всех этих белобородых академиков, священников, старых большевиков, генералов и потешных иностранцев. Ему и по службе полагалось подслушивать, но он слушал также и для себя. Наделашину хотелось бы, но из-за обязанностей службы никогда не удавалось, без перерыва послушать чей-нибудь рассказ от начала до конца: как человек жил раньше и за что его посадили. Его поражало, что люди эти в грозные месяцы ломки своей жизни и решения своей судьбы находили мужество говорить не о своих страданиях, но о чем попало: об итальянских художниках, о нравах пчел, об охоте на волков или о том, как строит дома какой-то Корбюзье — и дома-то строил он не им.

А однажды пришлось услышать Наделашину разговор, который его особенно заинтересовал. Он сидел в заднем тамбуре воронка и сопровождал запертых внутри двоих арестантов. Их перевозили с Большой Лубянки на Сухановскую д а ч у — безысходную зловещую подмосковную тюрьму, откуда многие уходили в могилу или в сумасшедший дом, возвращались же на Лубянку — редко. Сам Наделашин там не работал, но слышал, что и кормили там с изощренным мучительством: арестантам не готовили, как везде, грубую тяжелую пищу, а приносили санаторную ароматную нежную еду. Пытка состояла в порциях: заключенному приносили полблюдечка бульона, одну восьмую часть котлеты, две стружки жаренного картофеля. Не кормили — напоминали об утерянном. Это было много надсаднее, чем миска пустой баланды, и тоже помогало сводить с ума.

Случилось, что этих двух арестантов в воронке не раз-

делили, а везли почему-то вместе. Что они говорили вначале, Наделашин не слышал за шумом мотора. Но потом с мотором сталась неполадка, шофер ушел куда-то, а офицер сидел в кабине. И негромкую арестантскую беседу Наделашин услышал через решетку в задней двери. Они ругали правительство и царя — но не нынешнее, и не Сталина — они ругали... императора Петра Первого. Чем он им помешал ? — только разделывали его на все лады. Один из них ругал его, между прочим, за то, что Петр исказил и отнял русскую народную одежду, и тем обезличил свой народ среди других. Арестант этот перечислял подробно, со знанием дела, какие были одежды, как они выглядели, в каких случаях надевались. Он уверял, что еще и теперь не поздно воскресить отдельные части этих одежд, достойно и удобно сочетав их с одеждой современной, а не копировать слепо Париж. Другой арестант пошутил — они еще могли шутить ! — что для этого нужно двух человек: гениального портного, который сумел бы все это сочетать, и модного тенора, который носил бы эти одежды и фотографировался в них, после чего вся Россия быстро бы их переняла.

Разговор этот особенно заинтересовал Наделашина потому, что портняжество оставалось его тайной страстью. После дежурств в накаленных безумием коридорах его успокаивал шорох ткани, мягкая податливость складок, беззлобность работы.

Он обшивал ребятишек, шил платья жене и костюмы себе. Только скрывал это.

Военнослужащему — считалось стыдно.

26

РАБОТА ПОДПОЛКОВНИКА

У подполковника Климетьева волосы были — то, что называется смоль — блестяще-черные, как отлитые, они лежали гладко на голове, разделяясь пробором, и будто слились в круглых усах. Брюшка у него не было, и в сорок пять лет он держался стройным молодым военным. Еще — он не улыбался на службе никогда, и это усиливало черноватую мрачность его лица.

Несмотря на воскресенье, он приехал даже раньше обычного. В разгар арестантской прогулки он пересек прогулочный двор, с полувзгляда заметив беспорядки на нем — но не роняя своего чина, ни во что не вмешивался, а вошел в здание штаба спецтюрьмы, на ходу велев дежурному Наделашину вызвать заключенного Нержина и явиться самому. Пересекая двор, подполковник особенно уследил, как встречающиеся арестанты старались одни — пройти быстрей, другие — замедлиться, отвернуться, чтобы только не сойтись с ним и лишний раз не поздороваться. Климентьев холодно заметил это и не обиделся. Он знал, что здесь только отчасти — истое пренебрежение его должностью, а больше — стеснение перед товарищами, боязнь показаться услужливым. Почти каждый из этих заключенных, вызванный в его кабинет в одиночку, держался приветливо, а некоторые даже заискивающе. За решеткой содержались люди разные и стоили они разно. Климентьев понял это давно. Уважая их право быть гордыми, он неколебимо стоял на своем праве быть строгим. Солдат в душе, он, как думал, внес в тюрьму не издевательскую дисциплину, а разумную военную.

Он отпер кабинет. В кабинете было жарко, и стоял спертый неприятный дух от краски, выгоравшей на радиаторах. Подполковник открыл форточку, снял шинель, сел, закованный в китель, за стол и оглядел его свободную поверхность. На субботнем неперевернутом листке календаря была запись:

« Елка ? » !

Из этого полупустого кабинета, где средства производства состояли еще только из железного шкафа с тюремными делами, полудюжины стульев, телефона и кнопки звонка, подполковник Климентьев без всякого видимого сцепления, тяг и шестерёнок успешно управлял внешним ходом двухсот восьмидесяти одной жизни и службой пятидесяти надзирателей.

Несмотря на то, что он приехал в воскресенье (его он должен был отгулять в будни) и на полчаса раньше, Климентьев не утратил обычного хладнокровия и уравновешенности.

Младший лейтенант Наделашин предстал, робея. На щеках его выступило по круглому румяному пятну. Он очень боялся подполковника, хотя тот за его многочисленные упущения ни разу не испортил его личного дела. Смешной, круглолицый, совсем не военный, Наделашин тщетно пытался принять положение « смирно ».

Он доложил, что ночное дежурство прошло в полном порядке, нарушений никаких не было, чрезвычайных же происшествий два: одно изложено в рапорте (он положил перед Климентьевым рапорт на угол стола, но рапорт тотчас же сорвался и по замысловатой кривой спланировал под дальний стул. Наделашин кинулся за ним туда и снова принес на стол), второе же состояло в вызове заключенных Бобынина и Прянчикова к министру госбезопасности.

Подполковник сдвинул брови, расспросил подробнее об обстоятельствах вызова и возвращения. Новость была, разумеется, неприятная и даже тревожная. Быть начальником здешней спецтюрьмы значило — всегда быть на вулкане, и всегда на глазах у министра. Это не был какой-нибудь отдаленный лесной лагпункт, где начальник лагеря мог иметь гарем, скоморохов и, как феодал, выносить сам приговоры. Здесь надо было быть законником, ходить по струнке инструкции и не обронить капельки личного гнева или милосердия. Но Климентьев таким и был. Он не думал, чтобы Бобынину и Прянчикову сегодня ночью нашлось на что незаконное пожаловаться в его действиях. Клеветы же, по долгому опыту службы, он со стороны заключенных не опасался. Оклеветать могли скорее сослуживцы.

Затем он пробежал рапорт Наделашина и понял, что все — чушь. За то он и держал Наделашина, что тот был грамотен и толков.

Но сколько же у него было недостатков ! Подполковник прочел ему выговор. Он обстоятельно напомнил, какие были упущения еще в прошлое дежурство Наделашина: на две

минуты был задержан утренний вывод заключенных на работу; многие койки в камерах были заправлены небрежно, и Наделашин не проявил твердости вызвать соответствующих заключенных с работы и заставить перезаправить. Обо всем этом ему говорилось тогда же. Но Наделашину сколько ни говори — все как об стенку горох. А сейчас на утренней прогулке ? Молодой Доронин неподвижно стоял на самой черте прогулочной площадки, пристально рассматривал з о н у и пространство за зоной в сторону оранжерей — а ведь там местность пересеченная, идет овражек, ведь это очень удобно для побега. А Доронину срок — двадцать пять лет, за спиной у него — подделка документов и всесоюзный розыск два года ! И никто из наряда не потребовал, чтобы Доронин, не задерживаясь, проходил по кругу. Потом — где гулял Герасимович ? От всех отбившись, за большими липами в сторону мехмастерских. А какое д е л о у Герасимовича ? У Герасимовича — второй срок, у него « пятьдесят восемь один А через девятнадцатую », то есть, измена родине через намерение. Он не изменил, но и не доказал также, что приехал в Ленинград в первые дни войны не для того, чтобы дождаться немцев. Наделашин помнит ли, что надо постоянно изучать заключенных и непосредственным наблюдением и по личным делам ? Наконец, какой вид у самого Наделашина ? Гимнастёрка не одёрнута (Наделашин одернул), звездочка на шапке перекосилась (Наделашин поправил), приветствие отдает, как баба, — мудрено ли, что в дежурство Наделашина заключенные не заправляют коек ? Незаправленные же койки — это опасная трещина в тюремной дисциплине. Сегодня коек не заправили, а завтра взбунтуются и на работу не пойдут.

Затем подполковник перешел к приказаниям: надзирателей, назначенных сопровождать свидание, собрать в третьей комнате для инструктажа. Заключенный Нержин пусть еще постоит в коридоре. Можно идти.

Наделашин вышел распаренный. Слушая начальство, он всякий раз искренне сокрушался о справедливости всех упреков и указаний и зарекался их нарушать. Но служба шла, он сталкивался опять с десятками арестантских воль, все тянули в разные стороны, каждому хотелось какого-то кусочка свободы, и Наделашин не мог отказать им в этом кусочке, надеясь — авось, да пройдет незамеченным.

Климентьев взял ручку и зачеркнул запись « елка ? » на календаре. Решение он принял вчера.

Елок никогда в спецтюрьмах не бывало, такого чуда

Климентьев не помнил. Но заключенные — и не раз, и очень солидные из них, упорно просили в этом году устроить елку. И Климентьев стал думать — а почему бы и в самом деле не разрешить ? Ясно было, что от елки ничего худого не случится, и пожару не будет — по электричеству все тут профессора. Но очень важно в новогодний вечер, когда вольные служащие института уедут в Москву веселиться, дать разрядку и здесь. Ему известно было, что предпраздничные вечера — самые тяжелые для заключенных, кто-нибудь может решиться на поступок отчаянный или бессмысленный. И он звонил вчера в Тюремное Управление, которому непосредственно подчинялся, и согласовывал елку. В инструкциях написано было, что запрещаются музыкальные инструменты, но о елках нигде ничего не нашли, и потому согласия не дали, но и прямого запрета не наложили. Долгая безупречная служба придавала устойчивость и уверенность действиям подполковника Климентьева. И еще вечером, на эскалаторе метро, по дороге домой, Климентьев решил — ладно, пусть елка будет !

И, входя в вагон метро, он с удовольствием думал о себе, что ведь по сути он же умный деловой человек, не канцелярская пробка, и даже добрый человек, а заключенные никогда этого не оценят и никогда не узнают, кто не хотел им разрешать елку, а кто разрешил.

Но самому Климентьеву так почему-то хорошо стало от принятого решения, что он не спешил втолкнуться в вагон с другими москвичами, зашел последний перед смыком пневматических дверей и не старался захватить место, а взялся за никелированный столб и смотрел на свое мужественное неясно-отсвечивающее изображение в зеркальном стекле, за которым проносилась чернота тоннеля и бесконечные трубы с кабелем. Потом он перевел взгляд на молодую женщину, сидящую подле него. Она была одета старательно, но недорого: в черной шубке из искусственного каракуля и в такой же шапочке. На коленях у нее лежал туго набитый портфель. Климентьев посмотрел на нее и подумал, что у нее приятное лицо, только утомленное, и необычный для молодых женщин взгляд, лишенный интереса к окружающему.

Как раз в этот момент женщина взглянула в его сторону, и они смотрели друг на друга столько, сколько без выражения задерживаются взгляды случайных попутчиков. И за это время глаза женщины насторожились, и как будто тревожный неуверенный вопрос промелькнул в них. Климентьев, памятливый по своей профессии на лица, сразу узнал

женщину и не успел во взгляде скрыть, что узнал, она же заметила его колебание и, видно, утвердилась в догадке.

Это была жена заключенного Нержина, Климентьев видел ее на свиданиях в Таганке.

Она нахмурилась, отвела глаза и опять взглянула на Климентьева. Он уже смотрел в тоннель, но уголком глаза чувствовал, как она смотрит. И тотчас она решительно встала и подвинулась к нему, так что он был вынужден опять на нее обернуться.

Она встала решительно, но, встав, всю эту решительность потеряла. Она потеряла всю независимость самостоятельной женщины, едущей в метро, и так это выглядело, как будто она со своим тяжелым портфелем собиралась уступить место подполковнику. Над ней тяготел несчастный жребий всех жен политических заключенных, то-есть жен *врагов народа* — к кому бы они ни обращались, куда бы ни приходили, где известно было их безудачливое замужество — они как бы влачили за собой несмываемый позор мужей, в глазах всех они как бы делили тяжесть вины того черного злодея, кому однажды неосторожно вверили свою судьбу. И женщины начинали ощущать себя действительно виновными, какими сами *враги народа* — их обтерпевшиеся мужья, напротив, себя не чувствовали.

Приблизясь, чтобы пересилить громыхание поезда, женщина спросила:

— Товарищ подполковник! Я очень прошу вас меня простить! Ведь вы... начальник моего мужа? Я не ошибаюсь?

Перед Климентьевым за много лет его службы тюремным офицером вставало и стояло множество всяких женщин, и он не видел ничего необыкновенного в их зависимом робком виде. Но здесь, в метро, хотя спросила она в очень осторожной форме, — на глазах у всех эта просительная фигура женщины перед ним выглядела неприлично.

— Вы... зачем встали? Сидите, сидите, — смущенно говорил он, пытаясь за рукав посадить ее.

— Нет, нет, это не имеет значения! — отклонила женщина, сама же настойчивым, почти фанатическим взглядом смотрела на подполковника. — Скажите, почему уже целый год нет сви... не могу его увидеть? Когда же можно будет, скажите?

Их встреча была таким же совпадением, как если бы песчинкой за сорок шагов попасть в песчинку. Неделю назад

из Тюремного Управления МГБ пришло между другими разрешение зэ-ка Нержину на свидание с женой в воскресенье двадцать пятого декабря тысяча девятьсот сорок девятого года в Лефортовской тюрьме. Но при этом было примечание, что по адресу « до востребования », как просил заключенный, посылать жене извещение о свидании запрещается.

Нержин тогда был вызван и спрошен об истинном адресе жены. Он пробормотал, что не знает. Климентьев, сам приученный тюремными уставами никогда не открывать заключенным правды, не предполагал искренности и в них. Нержин, конечно, знал, но не хотел сказать, и ясно было, почему не хотел — по тому самому, почему Тюремное Управление не разрешало адресов « до востребования »: извещение о свидании посылалось открыткой. Там писалось: « Вам разрешено свидание с вашим мужем в такой-то тюрьме ». Мало того, что адрес жены регистрировался в МГБ — министерство добивалось, чтобы меньше было охотниц получать эти открытки, чтоб о женах врагов народа было известно всем их соседям, чтобы такие жены были выявлены, изолированы и вокруг них было бы создано здоровое общественное мнение. Жены именно этого и боялись. А у жены Нержина и фамилия была другая. Она явно скрывалась от МГБ. И Климентьев сказал тогда Нержину, что, значит, свидания не будет. И не послал извещения.

А сейчас эта женщина при молчаливом внимании окружающих так унизительно встала и стояла перед ним.

— Нельзя писать до востребования, — сказал он с той лишь громкостью, чтобы за грохотом услышала она одна. — Надо дать адрес.

— Но я уезжаю ! — живо изменилось лицо женщины. — Я очень скоро уезжаю, и у меня уже нет постоянного адреса, — очевидно лгала она.

Мысль Климентьева была — выйти на первой же остановке, а если она последует за ним, то в вестибюле, где малолюдней, объяснить, что недопустимы такие разговоры на внеслужебной почве.

Жена врага народа как будто даже забыла о своей неискупимой вине ! Она смотрела в глаза подполковнику сухим, горячим, просящим, невменяемым взглядом. Климентьев поразился этому взгляду — какая сила приковала ее с таким упорством и с такой безнадежностью к человеку, которого она годами не видит и который только губит всю ее жизнь ?

— Мне это очень, очень нужно ! — уверяла она с расширенными глазами, ловя колебание в лице Климентьева.

Климентьев вспомнил о бумаге, лежавшей в сейфе спецтюрьмы. В этой бумаге, в развитие «постановления об укреплении тыла» наносился новый удар по родственникам, уклоняющимся от дачи адресов. Бумагу эту майор Мышин предлагал объявить заключенным в понедельник. Эта женщина, если не завтра и если не даст адреса, не увидит впредь своего мужа. Если же сейчас сказать ей, то формально извещения не посылалось, в книге оно не регистрировалось, а она как бы сама пришла в Лефортово наугад.

Поезд сбавлял ход.

Все эти мысли быстро пронеслись в голове подполковника Климентьева. Он знал главного врага заключенных — это были сами заключенные. И знал главного врага всякой женщины — это была сама эта женщина. Люди не умеют молчать даже для собственного спасения. Уже бывало в его карьере, что проявлял он глупую мягкость, разрешал что-нибудь недозволенное — и никто бы никогда не узнал об этом — но те самые, кто пользовались поблажкой, сами же умудрялись и разболтать о ней.

Нельзя было проявлять уступчивости и теперь !

Однако, при смягченном грохоте останавливающегося поезда, уже в виду замелькавшего цветного мрамора станции, Климентьев сказал женщине:

— Свидание вам разрешено. Завтра к десяти часам утра приезжайте...

Он не сказал «Лефортовскую тюрьму», ибо пассажиры уже подходили к дверям и были рядом, — Лефортовский Вал — знаете ?

— Знаю, знаю, — радостно закивала женщина.

И откуда-то в ее глазах, только что сухих, уже было полно слез.

Оберегаясь этих слез, благодарностей и иной всякой болтовни, Климентьев вышел на перрон, чтобы пересесть в следующий поезд.

Он сам удивился и досадовал, что так сказал.

Подполковник оставил Нержина дожидаться в коридоре штаба тюрьмы, ибо вообще Нержин был арестант дерзкий и всегда доискивался з а к о н о в.

Расчет подполковника был верен: долго простояв в коридоре штаба, Нержин не только обезнадежился получить

свидание, но и, привыкший ко всяким бедам, ждал чего-нибудь нового плохого.

Тем более он был поражен, что через час едет на свидание. По кодексу высокой арестантской этики, им самим среди всех насаждаемому, надо было ничуть не выказывать радости, ни даже удовлетворения, а равнодушно уточнить, к какому часу быть готовым — и уйти. Но переход был столь резок, радость — так велика, что Нержин не удержался, весь осветился и от сердца поблагодарил подполковника.

Подполковник не дрогнул в лице.

И тут же пошел инструктировать надзирателей, едущих сопровождать свидание.

В инструктаж входили: напоминание о важности и сугубой секретности их о б ъ е к т а; разъяснение о закоренелости государственных преступников, едущих сегодня на свидание; об их единственном упрямом желании использовать нынешнее свидание для передачи доступных им государственных тайн через своих жен — непосредственно в Соединенные Штаты Америки (сами надзиратели даже приблизительно не ведали, что разрабатывается в стенах лабораторий, и в них легко вселялся священный ужас, что клочок бумажки, переданный отсюда, может погубить всю страну). Далее следовал перечень основных возможных тайников в одежде и обуви и приемов их обнаружения (одежда, впрочем, выдавалась за час до свидания — особая, показная). Путем собеседования уточнялось, насколько прочно усвоена инструкция об обыске; наконец, прорабатывались разные примеры, какой оборот может принять разговор свидающихся, как вслушиваться в него и прерывать все темы, кроме личносемейных.

Подполковник Климентьев знал устав и любил порядок.

27

НЕДОУМЕННЫЙ РОБОТ

Нержин, чуть не сбив с ног в полутемном коридоре штаба младшину Наделашина, побежал в общежитие тюрьмы. Все так же болталось на его шее из-под телогрейки короткое вафельное полотенце.

По удивительному свойству человека, все мгновенно преобразилось в Нержине. Еще пять минут назад, когда он стоял в коридоре и ожидал вызова, вся его тридцатилетняя жизнь представилась ему бессмысленной удручающей цепью неудач, из которых он не имел сил выбарахтаться. Главными из этих неудач представлялись ему ранний уход на войну, вскоре после женитьбы, и потом арест, и многолетняя разлука с женой. Их с женой взаимная любовь ясно виделась ему роковой, обреченной на растоптание.

Но вот ему было объявлено свидание сегодня к полудню — и в новом солнце предстала ему тридцатилетняя жизнь: жизнь, натянутая тетивой; жизнь, осмысленная в мелком и крупном; жизнь от одной дерзкой удачи к другой, где самыми неожиданными ступеньками к цели были уход на войну, и арест, и многолетняя разлука с женой. Со стороны по видимости несчастливый, Глеб был тайно счастлив в этом несчастьи. Он испивал его, как родник, он вызнавал тут тех людей и те события, о которых на земле больше нигде нельзя было узнать, и уж, конечно, не в покойной сытой замкнутости домашнего очага. С молодости больше всего боялся Глеб погрязнуть в повседневной жизни. Как говорит пословица: *не море топит, а лужа.*

А к жене он вернется ! Ведь связь их душ непрерывна ! Свидание ! Именно в день рождения ! Именно после вчерашнего разговора с Антоном ! Больше ему никогда не дадут свидания, но сегодня оно важнее всего ! Мысли вспыхивали и проносились огненными стрелами: об этом не забыть ! об этом сказать ! об этом ! еще об этом !

Он вбежал в полукруглую камеру, где арестанты сновали, шумели; кто возвращался с завтрака, кто только шел

умываться, а Валентуля сидел в одном белье, сбросив одеяло и, размахивая руками и хохоча, рассказывал о своем разговоре с ночным начальником, оказавшимся, как потом выяснилось, самим министром. Надо бы и Валентулю послушать! — была та изумительная минута жизни, когда изнутри разрывает поющую клетку ребер, когда, кажется, ста лет мало, чтобы все переделать. Но нельзя было пропустить завтрака: арестантская судьба далеко не всегда дарит такое событие, как завтрак. К тому же рассказ Валентули подходил к бесславному концу: комната произвела ему приговор, что он — дешевка и мелкота за то, что не сказал Абакумову о насущных арестантских нуждах. Теперь он вырывался и визжал, но человек пять палачей-добровольцев стащили с него кальсоны и под общее улюлюканье, вой и хохот прогнали по комнате, нажаривая ремнями и поливая горячим чаем из ложек.

На нижней койке лучевого прохода к центральному окну, под койкой Нержина и против опустевшей койки Валентули, пил свой утренний чай Андрей Андреевич Потапов. Наблюдая за общей забавой, он смеялся до слез, вытирая их под очками. Кровать Потапова была еще при подъеме застелена в форме жесткого прямоугольного параллелепипеда. Хлеб к чаю он намазывал очень тонким слоем масла: он не прикупал ничего в тюремном ларьке, отсылая все зарабатываемые деньги своей «старухе» (Платили же ему по масштабам шарашки много — сто пятьдесят рублей в месяц, в три раза меньше вольной уборщицы, так как был он незаменимым специалистом и на хорошем счету у начальства).

Нержин на ходу снял телогрейку, зашвырнул ее к себе наверх, на еще не стеленную постель, и, приветствуя Потапова, но не дослышивая его ответа, убежал завтракать.

Потапов был тот самый инженер, который признал на следствии, подписал в протоколе, подтвердил на суде, что он лично продал немцам и притом задёшево первенец сталинских пятилеток Днепро ГЭС, правда — уже во взорванном состоянии. И за это невообразимое, не имеющих себе равных, злодейство, только по милости гуманного трибунала, Потапов был наказан всего лишь десятью годами заключения и пятью годами последующего лишения прав, что на арестантском языке называлось десять и пять по рогам.

Никому, кто знал Потапова в юности, а тем более ему самому немогло бы пригрезиться, что, когда ему стукнет сорок лет, его посадят в тюрьму за политику. Друзья

Потапова справедливо называли его роботом. Жизнь Потапова состояла только в работе; даже трехдневные праздники томили его, а отпуск он за всю жизнь взял один раз — когда женился. В остальные годы не находилось, кем его заменить, и он охотно от отпуска отказывался. Становилось ли худо с хлебом, с овощами или с сахаром — он мало замечал эти внешние события: он сверлил в поясе еще одну дырочку, затягивался потуже и продолжал заниматься единственным, что было интересного в мире — высоковольтными передачами. Он, кроме шуток, очень смутно представлял себе других, остальных людей, которые занимались н е высоковольтными передачами. Тех же, кто вообще руками ничего не создавал, а только работал языком, Потапов и за людей не считал. Он заведовал всеми электроизмерительными работами, и на Днепрострое женился, и жизнь жены, как и свою жизнь, отдал в ненасытный костер тех лет.

В сорок первом году он уже строил другую станцию. У Потапова была броня от армии. Но узнав, что ДнепроГЭС, творение их молодости, взорван, он сказал жене:

— Катя ! А ведь надо и д т и .

И она ответила:

— Да, Андрюша, и д и !

И Потапов пошел — в очках минус три диоптрии, с перекрученным поясом, в складчато-сморщенной гимнастерке и с кобурой пустой, хотя носил один к у б и к в петлице — на втором году хорошо подготовленной войны еще не хватало оружия для офицеров. Под Касторной, в дыму от горящей ржи и в июльском зное, он попал в плен. Из плена бежал, но, не добравшись до своих, второй раз попал. И убежал во второй раз, но в чистом поле на него опустился парашютный десант — и так попал он в третий раз. (А руки у него были все три раза пустые).

Он прошел каннибальские лагеря Новоград-Волынска и Ченстохова, где ели кору с деревьев, траву и умерших товарищей. Из такого лагеря немцы вдруг взяли его и привезли в Берлин, и там человек (вежливый, но « сволочь »), прекрасно говоривший по-русски, спросил, можно ли верить, что он тот самый днепростроевский инженер Потапов. Может ли он в доказательство начертить, ну скажем, схему включения тамошнего генератора ?

Схема эта когда-то была распубликована, и Потапов, не колеблясь, начертил ее. Об этом он сам же потом и рассказал, мог и не рассказывать, на следствии.

Это и называлось в его д е л е — выдачей тайны ДнепроГЭС'а.

Однако, в дело не было включено дальнейшее: неизвестный русский, удостоверив таким образом личность Потапова, предложил ему подписать добровольное изъявление готовности восстанавливать ДнепроГЭС — и тотчас получить освобождение из лагеря, продуктовые карточки, деньги и любимую работу.

Над этим заманчивым предложенным ему листом тяжелая дума прошла по многоморщинному лицу робота. И не бия себя в грудь, и не выкрикивая гордых слов, никак не претендуя стать посмертно героем Советского Союза, — Потапов своим южным говорком скромно ответил:

— Вы ж понимаете, я ведь присягу подписывал. А если э т о подпишу — вроде противоречие, а ?

Так мягко, не театрально, Потапов предпочел смерть благополучию.

— Что ж, я уважаю ваши убеждения, — ответил неизвестный русский и вернул Потапова в каннибальский лагерь.

Вот за это самое советский трибунал Потапова уже не судил, и дал только десять лет.

Инженер Маркушев, наоборот, такое изъявление подписал и пошел работать к немцам — ему тоже трибунал дал десять лет.

Это был почерк Сталина ! — то великолепное уравнение друзей и врагов, которое выделяло его изо всей человеческой истории !

И еще за то не судил трибунал Потапова, что в сорок пятом году, посаженный на советский танк десантником, он в тех же своих надколотых и подвязанных очках, с автоматом ворвался в Берлин.

Так Потапов легко отделался, получив только д е с я т ь и п я т ь п о р о г а м .

Нержин вернулся с завтрака, сбросил ботинки и взлез наверх, раскачивая себя и Потапова. Ему предстояло выполнить ежедневное акробатическое упражнение: застелить постель без помятостей, стоя на ней ногами. Но едва он откинул подушку, как обнаружил под ней портсигар из темно-красной прозрачной пластмассы, наполненный впритирочку в один слой двенадцатью папиросами « Беломорканал » и перевитый полоской простой бумаги, по которой чертежным шрифтом было выведено:

« Вот как убил он десять лет,
Утратя жизни лучший цвет ».

Ошибиться было нельзя. Один Потапов на всей шарашке совмещал в себе способности к мастерским изделиям и к цитатам из « Евгения Онегина », вынесенным еще из гимназии.

— Андреич ! — свесился Глеб головой вниз.

Потапов уже кончил пить чай, развернул газету и читал ее, не ложась, чтоб не мять койку.

— Ну, что вам ? — буркнул он.

— Ведь это ваша работа ?

— Не знаю. А вы нашли ? — он старался не улыбаться.

— Андре-ич ! — протянул Нержин. — Ведь это же тихая мечта !

Лукаво-добрая морщинистость углубилась и умножилась на лице Потапова. Поправив очки, он ответил:

— Когда я сидел на Лубянке с герцогом Эстергази вдвоем в камере, вынося, как вы понимаете, парашу по четным числам, а он по нечетным, и обучая его русскому языку по « Тюремным правилам » на стене, — я подарил ему в день рождения три пуговицы из хлеба — у него было все начисто обрезано, — и он клялся, что даже ни от кого из Габсбургов не получал подарка более своевременного.

Голос Потапова по « Классификации голосов » был определен как « глухой с потрескиванием ».

Все так же свесившись вниз головой, Нержин тепло смотрел на грубовато высеченное серое лицо Потапова. В очках он казался не старше своих сорока пяти лет и имел еще вид даже напористый. Но когда он очки снимал — обнажались глубокие темные глазные впадины, свойственные чуть ли не мертвецу.

— Но мне неловко, Андреич. Ведь я вам ничего подобного подарить не смогу, у меня рук таких нет... Как вы могли запомнить мой день рождения ?

— Ну, ну, — ответил Потапов. — А какие ж еще знаменательные даты остались в нашей жизни ?

Они вздохнули.

— Чаю хотите ? — предложил Потапов. — У меня особая заварка.

— Нет, Андреич, не до чаю, еду на свидание.

— Здорово ! — обрадовался Потапов. — Со старушкой ?

— Ага.

— Очень кстати. Да не генерируйте вы, Валентуля, над самым ухом !

— А какое право имеет один человек издеваться над другим ? . .

— Что в газете, Андреич ? — спросил Нержин.

Потапов, щурясь с хохлацкой хитрецой, посмотрел вверх на свесившегося Нержина:

— « Британской музы небылицы
Тревожат сон отроковицы ».

Тому уже шел четвертый год, как Нержин и Потапов встретились в гудящей, тревожной, избыточно переполненной, даже в июльские дни полутемной бутырской камере второго послевоенного лета. Там скрещались тогда пестрые жизни и непохожие пути. Проходили камеру новички из Европы. Проходили камеру ядренные русские п л е н н и к и, едва успевшие сменить германский плен на отечественную тюрьму. Проходили камеру битые каленые лагерники, пересылаемые из пещер ГУЛага на оазисы шарашек. Войдя в камеру, Нержин вполз черным лазом под нары (нары были так низки, что на четвереньках под них подобраться было нельзя, а только ползти по-пластунски), и там, на грязном асфальтовом полу, еще не разглядясь в темноте, весело спросил:

— Кто последний, друзья ?

И глухой надтреснутый голос ответил ему:

— Ку-ку ! За мной будете.

Потом день ото дня, по мере того, как из камеры выхватывали на этап, они передвигались под парами « от параши к окну », и на третьей неделе перешли назад « от окна к параше », но уже на нары. И позже по деревянным нарам двигались снова к окну. Так спаялась их дружба, несмотря на различие возрастов, биографий и вкусов.

Там-то, в затянувшееся многомесячное размышление после суда, Потапов признался Нержину, что от роду бы он не заинтересовался политикой, если б сама политика не стала драть и ломать ему бока.

Там, под нарами Бутырской тюрьмы, робот впервые стал недоуменным, что, как известно, противопоказано роботам. Нет, он по-прежнему не раскаивался, что отказался от немецких хлебов, он не жалел трех лет своих, погибших в голодном смертном плену. И по-прежнему он считал исключенным, чтоб о наших внутренних неурядицах судили иностранцы.

Но искра сомнения была заронена в него и затлелась. Он как-то не мог понять — как вытекала из построенного ими ДнепроГЭСа посадка людей ни за что . . .

28

КАК ШТОПАТЬ НОСКИ

Без пяти девять по комнатам спецтюрьмы шла поверка. Операция эта, занимающая в лагерях целые часы, со стоянием зэков на морозе, перегоном их с места на место и пересчетом то по одному, то по пяти, то по сотням, то по бригадам, — здесь, на шарашке, проходила быстро и безболезненно: зэки пили чай у своих тумбочек, двое дежурных офицеров — сменяющийся и заступающий, входили в комнату, зэки вставали (а иные и не вставали), новый дежурный сосредоточенно пересчитывал головы, потом делались объявления и неохотно выслушивались жалобы.

Заступающий сегодня дежурный по тюрьме старший лейтенант Шустерман был высокий, черноволосый и не то, чтобы мрачный, но никогда не выражающий никакого человеческого чувства, как и положено надзирателям высокой выучки. Вместе с Наделашиным он тоже был прислан в Маврино с Лубянки для укрепления тюремной дисциплины здесь. Несколько зэков шарашки обоих их помнили по Лубянке: в звании старшин они оба служили одно время в ы в о д н ы м и, то есть, приняв арестанта, поставленного лицом к стене, проводили его по знаменитым с т е р т ы м с т у п е н ь к а м в междуэтажьи четвертого и пятого этажа (там был прорублен ход из тюрьмы в следственный корпус, и этим ходом вот уж треть столетия водили всех заключенных центральной тюрьмы: кадетов, эсеров, анархистов, монархистов, октябристов, меньшевиков, большевиков, Савинкова, Якубовича, Кутепова, Рамзина, Шульгина, Бухарина, Рыкова, Тухачевского, профессора Плетнева, академика Вавилова, фельдмаршала Паулюса, генерала Краснова, всемирно-известных ученых и едва вылезающих из скорлупы поэтов, сперва самих преступников, потом их жен, потом их дочерей); подводили к такому же знаменитому столу, где в толстой книге Регистрируемых Судеб каждый проходящий арестант расписывался сквозь прорезь в жестяном листе, не видя фамилий ни до, ни после своей; взводили по лестнице, где против арестантского прыж-

ка были натянуты частые сетки как при воздушном полете в цирке; вели долгими-долгими коридорами министерства, где было душно от электричества и холодно от золота полковничьих погон.

Но как подследственные ни были тогда погружены в бездну первого отчаяния, они быстро замечали разницу: Шустерман (его фамилии тогда, конечно, не знали) угрюмой молнией взглядывал из-под сросшихся густых бровей, он как когтями впивался в локоть арестанта и с грубой силой влек его, задыхающегося, вверх по лестнице. Лунообразный Наделашин, немного похожий на скопца, шел всегда подаль, не прикасаясь, и вежливо говорил, куда поворачивать.

Зато теперь Шустерман, более молодой, носил уже три звездочки на погонах.

Наделашин объявил: едущим на свидание явиться в штаб к десяти утра. На вопрос, будет ли сегодня кино, ответил, что не будет. Раздался легкий гул недовольства, но отозвался из угла Хоробров:

— И совсем не возите, чем такое говно, как « Кубанские казаки ».

Шустерман резко обернулся, засекая говорящего, из-за этого сбился и начал считать снова.

В тишине кто-то незаметно, но слышно сказал:

— Все, в личное дело записано.

Хоробров с подергиванием верхней губы ответил:

— Да драть их вперегреб, пусть пишут. На меня там уже столько написано, что в папку не помещается.

Сидевший на соседней с ним кровати инженер Адамсон, в квадратных больших очках, спросил:

— Младший лейтенант ! Мы ходатайствовали о елке. Будет елка или нет ?

— Будет елка ! — ответил младшина, и видно было, что ему самому приятно объявить приятную новость. — Вот здесь, в полукруглой поставим.

— Так можно игрушки делать ? — закричал с верхней койки веселый Руська. Он сидел там, наверху, по-турецки, поставил на подушку зеркало и завязывал галстук. Через пять минут он должен был встретиться с Кларой, она уже прошла от вахты по двору, он видел в окно.

— Об этом спросим, указаний нет.

— Какие ж вам указания ?

— Какая ж елка без игрушек ? . . Ха-ха-ха !

— Друзья ! Делаем игрушки !

— Спокойно, парниша! А как насчет кипятка?

— Министр обеспечит?

Комната весело гудела, обсуждая перспективу елки. Дежурные офицеры уже повернулись уходить, но вслед им Хоробров перекрыл гуденье резким вятским говором:

— Причем, доложите там, чтоб елку нам оставили до православного Рождества! Елка — это Рождество, а не новый год!

Дежурные сделали вид, что не слышат, и вышли.

Говорили почти все сразу. Хоробров еще чего-то не досказал дежурным и теперь молча, про себя, высказывал кому-то невидимому, энергично двигая кожей лица. Он никогда не праздновал ни Рождества, ни Пасхи, но в тюрьме из духа противоречия стал их праздновать. По крайней мере эти праздники не знаменовались ни усиленным обыском, ни усиленным режимом.

Адамсон допил чай, протер свои вспотевшие очки в большой пластмассовой оправе и сказал Хороброву:

— Илья Терентьич! Забываешь вторую арестантскую заповедь: не залупайся.

Хоробров твердо посмотрел на Адамсона:

— Это старая заповедь, гиблого потока вашего. Были вы смирны, всех вас и переморили.

Упрек был как раз несправедлив. Именно те, кто садились с Адамсоном, устраивали на Воркуте забастовки. Но конец был и у них тот же, все равно. Не объяснять было этого сейчас Хороброву. А заповедь — заповедь придумали уже следующие потоки.

— Будешь скандалить — ушлют, — только пожал плечами Адамсон. — В каторжный лагерь какой-нибудь.

— А я, Григорий Борисыч, этого и добиваюсь! В каторжный так в каторжный, драть его в перегреб, по крайней мере в веселую компанию попаду. Может, хоть там стукачей нет.

Во всем отставший Рубин, у которого и чай еще был не допит, стоял со взъерошенной бородой около койки Потапова-Нержина и дружелюбно произносил на ее второй этаж:

— Поздравляю тебя, мой юный Монтень, мой несмышлёныш...

— Я очень тронут, Левчик, но зачем...

Нержин стоял на коленях у себя наверху и держал в руках бювар. Бювар был арестантской частной работы, то есть самой старательной работы в мире — ведь арестант ни-

куда не спешит. В бордовом каленкоре изящно были размещены кармашки, застежки, кнопочки и пачки отличной трофейной бумаги. Все это было сделано, конечно, в казенное время.

— ... К тому же на шарашке практически ничего не дают писать, кроме доносов ...

— И желаю тебе ... — большие толстые губы Рубина вытянулись смешной трубочкой, — чтобы скептико-эклектические мозги твои осиял свет истины.

— Ах, какой еще истины, мужик! Разве кто-нибудь может знать, что есть истина?.. — Глеб вздохнул. Лицо его помолодевшее в предсвиданных хлопотах, опять осунулось в пепельные морщины. Русые волосы развалились на две стороны.

На соседней верхней койке, над Прянчиковым, плешивый полный инженер степенных лет использовал последние секунды свободного времени для чтения газеты, взятой у Потапова. Широко развернув ее и читая немного издали, он то хмурился, то чуть шевелил губами. Когда же в коридоре раскатисто зазвенел электрический звонок, он с досадой сложил газету как попало, заломавши углы:

— Да что это все, лети его мать, заладили про мировое господство, да про мировое господство?..

И оглянулся, куда бы поприличнее кинуть газету.

Громадный Двоетёсов, на другой стороне комнаты тоже свесив с верхней койки большие неуклюжие ноги, спросил басом:

— А тебя, Земеля, мировое господство не заело? Не стремишься?

— Я-то? — удивился Земеля, как бы принимая вопрос всерьез. — Не-е-ет, — широко улыбнулся он. — На хрена мне оно? Не стремлюсь. — И кряхтя стал слезать.

— Ну, тогда пойдем вкалывать! — решил Двоетёсов и всею тушею своей гулко спрыгнул на пол.

Звонок звенел продолжительно. Он звал на воскресную работу. Он звенел, что поверка окончена и раскрыты «царские врата» на лестницу института, через которые зэки густой толпой успевали быстро выйти.

Большинство зэков уже выходило. Доронин выбежал первый. Сологдин, закрывавший окно на время вставания и чая, теперь вновь приоткрыл его, заклинил томом Эренбурга и поспешил в коридор залучить профессора Челнова, когда тот будет выходить из «профессорской» камеры. Рубин, как

всегда, не успевший утром ничего сделать, поспешно составил все недоеденное и недопитое в тумбочку (что-то там перевернулось) и хлопотал около своей горбатой, растерзанной, невозможной постели, тщетно пытаясь заправить ее так, чтобы его не вызывали потом перезаправлять.

А Нержин прилаживал маскарадный костюм. Когда-то, в давние времена, шарашечные зэки ходили повседневно в хороших костюмах и пальто, ездили в них же и на свидания. Теперь для удобства охраны их переодели в синие комбинезоны (чтобы часовые на вышках ясно отличали зэков от вольных и знали, в кого стрелять). На свидание же тюремное начальство заставляло переодеваться, давая чьи-то не новые костюмы и рубашки, могло статься, что и — конфискованные из частных гардеробов по описи имущества. Одним зэкам нравилось видеть себя хорошо одетыми хотя бы короткие часы, другие охотно бы избегли этого гнусного переодевания в платья мертвецов, но в комбинезонах на свидание наотрез не брали: родственники не должны были подумать ничего плохого о тюрьме. Отказаться же увидеть родственников — такого непреклонного сердца не было ни у кого. И поэтому — переодевались.

Полукруглая комната опустела. Осталось двенадцать пар коек, наваренных двумя этажами и застланных больничным способом: с выворачиванием наружу пододеяльника, дабы он принимал на себя всю пыль и скорее пачкался. Способ этот мог быть придуман только в казенной и обязательно мужской голове, его не применила бы дома даже жена изобретателя. Однако, так требовала инструкция тюремного санитарного надзора.

В комнате наступила хорошая, редкая здесь, тишина, которую не хотелось нарушать.

Остались в комнате четверо: обряжавшийся Нержин, Хоробров, Адамсон и лысенький конструктор.

Конструктор был из тех робких зэков, которые, и годами сидя в тюрьме, никак не могут набраться арестантской наглости. Он ни за что не посмел бы не пойти даже на воскресную работу, но сегодня прибаливал, специально запасся от тюремного врача освобождением на выходной день, — и теперь на своей койке разложил множество рваных носков, нитки, самодельный картонный гриб — и, напрягши чело, соображал, с чего начинать штопку.

Григорий Борисович Адамсон, законно оттянувший уже одну десятку (не считая шести лет ссылки

перед тем) и посаженный на вторую десятку в волну повторников, — не то, чтобы совсем не выходил по воскресеньям, но старался не выходить. Когда-то, в комсомольское время, его за уши было не оторвать от воскресников. Но эти воскресники понимались тогда как порыв, чтобы наладить хозяйство: год-два, и все пойдет великолепно, и начнется всеобщее цветение садов. Теперь же Адамсон был из немногих тут, кто уже отсидел и пересидел эти страшные полные десять лет и знал, что это не миф, не бред трибунала, не анекдот до первой всеобщей амнистии, в которую всегда верят новички, — а это полные десять и двенадцать и пятнадцать изнурительных лет человеческой жизни. Он давно научился экономить на каждом движении мышцы, на каждой минуте покоя. И он знал, что самое лучшее, что надо делать в воскресенье — это неподвижно лежать в постели раздетому до белья.

Сейчас он высвободил томик, которым Сологдин заклинил окно, окно закрыл, неторопливо снял комбинезон, лег под одеяло, обернулся конвертиком, протер очки специальным лоскутком замши, положил в рот леденец, подправил подушку и достал из-под матраца какую-то толстенькую книжицу, из предосторожности обернутую. Только смотреть на него со стороны — и то было уютно.

Хоробров, напротив, томился. В невеселом раздумьи лежал он одетый поверх застеленного одеяла, уставив ноги в ботинках на перильца кровати. По характеру своему он переживал болезненно и долго то, что легко сходило с других. Каждую субботу, по известному принципу полной добровольности, всех заключенных, даже не спросив их об этом, записывали как добровольно желающих работать в воскресенье — и подавали заявку в тюрьму. Если бы запись была действительно добровольная, Хоробров всегда бы записывался и охотно проводил бы выходные дни за рабочим столом. Но именно потому, что запись была открыто-издевательская, Хоробров должен был лежать и дуреть в запертой тюрьме.

Лагерный зэк может только грезить о том, чтобы пролежать воскресенье в закрытом теплом помещении, но у шарашечного зэка поясница ведь не болит.

Решительно нечем было заняться. Все газеты, какие были, он прочел еще вчера. На табуретке около его кровати лежали кучкою в раскрытом и закрытом виде книги из библиотеки спецтюрьмы. Одна была публицистическая — сборник статей маститых писателей. Хоробров открыл статью Алексея Ни-

Толстого, как острили на шарашке, и под июнем сорок первого года прочел: «немецкие солдаты, гонимые террором и безумием, напоролись на границе на стену железа и огня». И отложил сразу. На хорошо оборудованных подмосковных дачах, где электрические холодильники стояли еще до войны, эти властители умов пыжились во всезнающих оракулов, хотя слушали только радио и видели только свои цветники. Полуграмотный колхозник знал о жизни больше их.

Остальные книги в кучке были художественные, но читать их было Хороброву мерзко. Одна была — боевик «Далеко от нас», которой зачитывались сейчас на воле. Но сколько-то прочтя, Хоробров почувствовал, что его мутит. Эта книга была — пирог без начинки, яйцо с вытекшим содержимым, чучело от убитой птицы: в ней говорилось о строительстве руками зэков, о лагерях — но нигде не названы были лагеря, и не сказано, что это — зэки, что им дают пайку и сажают в карцер, но подменили их комсомольцами, хорошо одетыми, хорошо обутыми и очень воодушевленными. И тут же чувствовалось опытному читателю, что сам автор знает, видел, трогал правду, может быть даже — был в лагере оперуполномоченным, но с холодно-стеклянными глазами лжет.

Вторая книга была — «Избранное» известного писателя Галахова, чья звезда стояла в литературной кульминации. Несколько отличая имя Галахова, чего-то все-же ожидая от, него, Хоробров уже читал этот том, но прервал с ощущением, что над ним так же издеваются, как когда составляли добровольный список на выходной. Даже Галахов, так неплохо умевший писать о любви, в каком-то духовном параличе сползал на эту широко и все шире принятую манеру писать как бы не для людей, а для дурачков, которые жизни не видели и по слабоумию рады любой побрякушке.

Все, что действительно рвало и сотрясало сердца человеческие, отсутствовало в их книгах. Если б не началась война — им только оставалось перейти на акафисты. Война открыла им доступ к простым общепонятным чувствам человека. Но и тут на гамлетовскую высоту они поднимали какие-то небылые невозможные конфликты — вроде того, что комсомолец в тылу у врага десятками пускает под откосы эшелоны с боеприпасами, но не состоит на учете ни в какой первичной организации и день и ночь терзается мыслью, подлинный ли он комсомолец, если не платит членских взносов.

И еще была книга на табуретке — «Американские рас-

сказы », прогрессивных писателей. Этих рассказов Хоробров не мог проверить сравнением с жизнью, но удивителен был их подбор: в каждом рассказе была обязательно какая-нибудь гадость об Америке. Ядоносно собранные вместе, они составляли такую кошмарную картину, что можно было только удивляться, как американцы еще не разбежались или не перевешались.

Нечего было читать !

Хоробров придумал покурить. Он вынул папиросу и стал ее разминать. В совершенной тишине комнаты слышно было, как шелестела под его пальцами туго набитая гильза. Покурить ему хотелось тут же, не выходя, не снимая ног с перилец кровати. Курильщики-арестанты знают, что истинное удовольствие доставляет лишь папироса, выкуренная лежа — на своей полоске нар, на своей вагонке, — неторопливая папироса со взором, устремленным на потолок, где проплывают картины невозвратного прошлого и недостижимого будущего.

Но лысый конструктор не курил и не любил дыму, а Адамсон, хоть и сам курильщик, придерживался ошибочной теории, что в комнате должен быть чистый воздух. Усвоив себе прочно тот принцип, что свобода начинается с уважения прав других, Хоробров со вздохом спустил ноги на пол и направился к выходу. При этом увидел толстенькую книгу в руках Адамсона и сразу определил, что такой книги в тюремной библиотеке нет, что, значит, она с в о л и , а оттуда плохую не попросят.

Но, не утратив самообладания, Хоробров не спросил вслух, как ф р а е р : « Что читаешь ? » или « Откуда взял ? » (ответ Адамсона мог услышать конструктор или Нержин). Он подошел к Адамсону вплотную и сказал тихо:

— Григорий Борисыч, дай-ка на оголовочек зирнуть.

— Ну, зирни, — нехотя позволил Адамсон.

Хоробров раскрыл титульный лист и прочел, потрясенный: « Граф Монте-Кристо ».

Он только свистнул.

— Борисыч, — ласково спросил он. — За тобой никого ? Я — не успею ?

Адамсон снял очки и подумал.

— Подывымось. А ты меня сегодня пострижешь ?

Зэки не любили приходящего парикмахера-стахановца. Свои доброзванные мастера стригли ножницами под все капризы и медленно, потому что срок впереди у них был большой.

— А у кого ножницы возьмем ?

— У Зяблика достану.

— Ну, так подстригу.

— Добрэ. Тут кусок вынимается до сто двадцать восьмой, скоро дам.

Заметив, что Адамсон читал на сто десятой, Хоробров уже совсем в другом, веселом настроении вышел курить в коридор.

А Глеб все больше наполнялся огромным праздничным чувством перед встречей. Где-то — наверно, в студенческом городке на Стромынке, этот последний час перед свиданием волнуется и Надя. На свидании разбегаются мысли, теряешь, что хотел сказать, надо сейчас записать на бумажке, выучить, уничтожить (бумажку с собой взять нельзя), и только помнить: восемь пунктов, восемь — о том, что возможен отъезд; о том, что срок не кончится на сроке — еще будет ссылка; о том, что...

Он сбегал в каптерку, разгладил м а н и ш к у. Манишка была изобретение Руськи Доронина и принята многими. Манишка была — белый лоскуток (от простыни, разодранной на тридцать две части, но каптер этого не знал) с пришитым к нему белым воротничком. Лоскутка этого хватало только, чтобы в распахе комбинезона покрыть нижнюю сорочку с черным штампом «МГБ — Спецтюрьма №...». И еще были две поворозки, которые перебрасывались на спину и там завязывались. Манишка помогала создать видимость всеми желаемого благополучия. Незатейливая в стирке, она верно служила и в будни и в праздники, не стыдно было перед вольными сотрудницами института.

Потом на лестнице чьим-то высохшим раскрошившимся гуталином Нержин тщетно пытался придать блеск своим потертым ботинкам (ботинок тюрьма к свиданию не меняла, так как они были под столом не видны).

Когда он вернулся в комнату, чтобы бриться (бритвы тут разрешались, даже опасные, такова была игра инструкций), Хоробров уже запоем читал. Конструктор своей многочисленной штопкой захватил кроме кровати и часть пола, кроил там и перекладывал, отмечая карандашом, Адамсон же, чуть отвалив голову на бок от книги, щурился с подушки и поучал его так:

— Штопка только тогда эффективна, когда она добросовестна. Боже вас упаси от формального отношения. Не торопитесь, кладите к стежку стежок и каждое место проходите крест накрест дважды. Потом, распространенной ошибкой является использование гнилых петель у края рваной дыры.

Не дешевитесь, не гонитесь за лишними ячейками, обрежьте дыру вокруг. Вы фамилию такую — Беркалов, слышали ?

— Что ? Беркалов ? Нет.

— Ну, ка-ак же ! Беркалов — старый артиллерийский инженер, изобретатель этих, знаете, пушек БС-3, замечательные пушки, у них начальная скорость сумасшедшая. Так вот Беркалов так же в воскресенье, так же на шарашке сидел и штопал носки. А включено радио. « Беркалову, генерал-лейтенанту, сталинскую премию первой степени ». А он до ареста всего генерал-майор был. Да. Ну, что ж, носки заштопал, стал на электроплитке оладьи жарить. Вошел надзиратель, накрыл, плитку незаконную отнял, на трое суток карцера составил рапорт начальнику тюрьмы. А начальник тюрьмы сам бежит как мальчик: « Беркалов ! С в е щ а м и ! В Кремль ! Калинин вызывает ! » . . .

Такие вот русские судьбы . . .

29

ВЗМЫВАЯ К ПОТОЛКУ

Известный на многих шарашках старик профессор математики Челнов, писавший в графе «национальность» не «русский», а з э к, и кончавший к 1950-му году восемнадцатый год заключения, приложил острие своего карандаша ко многим техническим изобретениям от прямоточного котла до реактивного двигателя, а в некоторые из них вложил и душу.

Впрочем, профессор Челнов утверждал, что выражение это — «вложить душу», должно употребляться с осторожностью, что только зэк наверняка имеет бессмертную душу, а в о л ь н я ш к е порой в ней бывает за суетою отказано. В дружеской зэчьей беседе над миской остывшей баланды или над стаканом дымящегося шоколада Челнов не скрывал, что идею эту он заимствовал у Пьера Безухова. Когда французский солдат не пустил Пьера через дорогу, известно, что Пьер расхохотался: — «Ха-ха! Не пустил меня солдат. Кого — меня? Мою бессмертную душу не пустил!»

На шарашке Маврино профессор Челнов был единственный зэк, которому было разрешено не надевать комбинезона (по этому вопросу обращались лично к Абакумову). Главное основание такой вольности лежало в том, что Челнов не был постоянный зэк шарашки Маврино, а зэк переезжий: в прошлом член-корреспондент Академии Наук и директор Математического института, он состоял в особом распоряжении Берия и перебрасывался всякий раз на ту шарашку, где вставала самая неотложная математическая проблема. Решив ее в главных чертах и указав методику расчетов, он был перебрасываем дальше.

Но своей свободой выбирать одежду профессор Челнов не воспользовался как обычные тщеславные люди: костюм он надел недорогой, и даже пиджак и брюки не совпадали по цвету; ноги он держал в валенках; на голову, где сохранились седые очень редкие волосы, натягивал какую-то вязаную шерстяную шапочку, то ли лыжную, то ли девичью; особенно

же отличал его дважды захлестнутый вкруг плеч и спины чудаковатый шерстяной плед, тоже немного похожий на теплый женский платок.

Однако, плед этот и эту шапочку Челнов умел носить так, что они делали его фигуру не смешной, а величественной. Долгий овал его лица, острый профиль, властная манера разговаривать с тюремной администрацией и еще тот, едва голубоватый свет выцветших глаз, который дается только абстрактным умам, — все это странно делало Челнова похожим не то на Декарта, не то на какого-то математика эпохи Возрождения.

На шарашку Маврино Челнов был прислан для разработки математических оснований абсолютного шифратора, то есть, прибора, который своим механическим вращением мог бы обеспечить включение и переключение множества реле, так запутывающих порядок посылки прямоугольных импульсов изуродованной речи, чтобы даже сотни людей, поставив сотни аналогичных приборов, не могли бы расшифровать разговора, идущего по проводам.

В конструкторском бюро своим чередом шли поиски конструктивного решения подобного шифрата. Этим занимались все конструкторы, кроме Сологдина.

Едва приехав с Инты на шарашку и оглядясь тут, Сологдин сразу же заявил всем, что память его ослаблена длительным голоданием, способности притуплены, да и от рождения ограничены, и что выполнять он в состоянии только подсобную работу. Так смело он мог сыграть потому, что на Инте был не на общих работах, а на хорошей инженерной должности и не боялся возврата туда.

Его, однако, не отослали, как могли, — на пробу оставили. Из главного русла работы, где царили напряжение, спешка, нервность, Сологдин таким образом выбился в тихое боковое русло. Там он не имел почета, но и укора тоже, контролировался начальством слабо, располагал достаточным свободным временем и — безнадзорно, тайно, по вечерам, — стал по своему разумению разрабатывать конструкцию абсолютного шифратора.

Он считал, что большие идеи могут родиться только озарением одинокого ума.

И действительно, за последние полгода он нашел такое решение, которое никак не давалось десяти инженерам, специально на то назначенным, но непрерывно погоняемым и дергаемым. Два дня назад Сологдин дал свою работу на про-

смотр профессору Челнову — тоже неофициально. Теперь он поднимался по лестнице рядом с профессором, почтительно поддерживая его под локоть в толпе зэков и ожидая приговора своей работе.

Но Челнов никогда не смешивал работы и отдыха.

Тот недолгий путь, который они прошли по коридорам и лестницам, он ни слова не проронил об оценке, жадно ожидаемой Сологдиным, а с улыбкой рассказывал об утренней прогулке со Львом Рубиным. После того, как Рубина не пустили « на дрова », он читал Челнову свое стихотворение на библейский сюжет. В ритме стихотворения всего один — два срыва, есть свежие рифмы, например « Озирис — озарись », и вообще стихотворение надо признать неплохим. По содержанию же это баллада о том, как Моисей сорок лет вел евреев через пустыню в лишениях, жажде, голоде, как народ безумно бредил и бунтовал, но не был прав, а прав был Моисей, знавший, что в конце концов они придут в землю обетованную. Рубин, безусловно, выстрадал это стихотворение и вкладывал в него сугубый смысл.

Что же ответил Челнов ?

Челнов обратил внимание Рубина на г е о г р а ф и ю Моисеева перехода: от Нила до Иерусалима евреям никак не нужно было идти более четырехсот километров и, значит, даже отдыхая по субботам, свободно можно было дойти за три недели ! Не следует ли предположить поэтому, что остальные сорок лет Моисей не в е л, а в о д и л их по Аравийской не ? Ну, и отсюда — переоценка . . .

У вольнонаемного дежурного по институту перед дверьми кабинета Яконова профессор Челнов взял ключ от своей комнаты. Такое доверие отказывалось еще только Железной Маске — и больше никому из зэков. Никакой зэк не имел права ни секунды оставаться в своем рабочем помещении без присмотра со стороны вольного, ибо бдительность подсказывала, что эту безнадзорную секунду заключенный обязательно употребил бы на взлом при помощи карандаша железного шкафа с секретными документами, фотографирования их при помощи пуговицы от штанов, на взрыв атомной бомбы и полет на Луну.

Но Челнов работал в комнате, названной « Мозговой Трест », где стояли только шкаф и два голых стола. И вот решились (согласовав, разумеется, в министерстве) санкционировать выдачу ключа лично профессору Челнову. С тех пор его комната стала предметом постоянных волнений оперупол-

номоченного института майора Шикина. В часы, когда арестантов запирали в тюрьме двойной окованной дверью, этот высокооплачиваемый товарищ с ненормированным рабочим днем собственноножно приходил в комнату профессора, выстукивал стены, плясал на половицах, заглядывал в пыльную промежность за шкафом и хмуро качал головой, понимая, что из допущенной вольности ничего хорошего не выйдет.

Но получение ключа — это было еще не все. После четырех-пяти дверей третьего этажа в коридоре находился контрольный пункт Совсекретного отдела. Контрольный пост был — тумбочка и стул около нее, а на стуле уборщица, да не просто уборщица, чтобы подметать пол или кипятить чай (на то были другие), — уборщица особого назначения: проверять пропуска у идущих в Совсекретный отдел. Пропуска, отпечатанные в главной типографии министерства, были трех родов: постоянные, разовые и недельные по образцам, разработанным майором Шикиным (ему же принадлежала и сама идея сделать тупик коридора Совсекретным).

Работа контрольного поста не была легкой: люди проходили редко, но вязать носки категорически было запрещено и инструкцией, тут же вывешенной, и неоднократными изустными указаниями майора товарища Шикина. И уборщицы (их сменяли в сутки две) в продолжение дежурства мучительно боролись со сном. Самому полковнику Яконову так же очень неудобен был этот контрольный пост, ибо его весь день отрывали подписывать пропуска.

Тем не менее пост существовал. А чтобы покрыть оплату этих уборщиц, — вместо трех дворников, положенных по штату, держали одного, того самого Спиридона.

Хотя Челнов прекрасно знал, что сидевшая сейчас на посту женщина звалась Марья Ивановна (она пропускала этого седого старика каждое утро), она вздрогнув спросила:

— Пропуск.

И Челнов показал картонный пропуск, а Сологдин достал бумажный.

Миновав пост, еще пару дверей, заколоченную и мелом замазанную стеклянную дверь на заднюю лестницу, где размещалось ателье крепостного живописца, затем дверь личной комнаты Железной Маски, они отперли дверь Челнова.

Тут была уютная комнатушка с одним окном, открывавшим вид на арестантский прогулочный дворик и рощу столетних лип, которых судьба тоже не пощадила и вкроила в зону, охраняемую автоматным огнем. Липы были всё в том

же щедром инее, покрывавшем их удлиненные высокие овершья.

Мутное белое небо осеняло землю.

Левее лип, за зоною виднелся посеревший от времени, а сейчас убеленный тоже, двухэтажный с кораблевидной кровлей старинный деревянный дом, в котором помещик жил до каменного. Дальше проглядывали крыши деревушки Маврино, потом развертывалось поле, а еще дальше, на линии железной дороги, в мутном белом утре поднимался хорошо заметный ярко-серебряный парок паровоза, хотя сам он и вагоны почти не были видны.

Но Сологдин был не очень внимателен к открывавшемуся виду. Не следуя приглашению сесть, гибкий, чувствуя под собой твердые молодые ноги, он прислонился плечом к оконному косяку и впился глазами в свой рулон, лежащий на столе Челнова.

Челнов сел в жесткое кресло с прямой высокой спинкой, поправил плед, переброшенный с плеча на плечо, открыл тезисы, написанные на листке из блокнота, взял в руки длинный отточенный карандаш, подобный копью, строго посмотрел на Сологдина — и сразу стал невозможен тон шуточного разговора, только что бывшего между ними.

Как будто большие крылья всплеснули и ударили в маленькой комнате. Челнов говорил не более двух минут, но так сжато, что между мыслями его некогда было вздохнуть.

Смысл был тот, что Челнов сделал больше, чем Сологдин просил. Он провел теоретико-вероятностную и теоретико-числовую прикидку возможностей конструкции, предлагаемой Сологдиным. Конструкция обещала результат, не очень далекий от требуемого, по крайней мере до тех пор, пока не удастся перейти к чисто-электронным устройствам. Однако необходимо:

— продумать, как сделать ее нечувствительной к импульсам неполной энергии;

— уточнить значение наибольших инерционных сил в механизме, чтоб убедиться в достаточности маховых моментов.

— И потом . . . — Челнов облучил Сологдина мерцанием своего взгляда, — потом не забывайте: ваша шифровка строится по хаотическому принципу, это хорошо. Но хаос, однажды выбранный, хаос застывший — есть уже с и с т е м а. Сильнее было бы усовершенствовать решение так, чтобы хаос еще хаотически менялся.

Здесь профессор задумался, перегнул листик пополам и смолк.

А Сологдин сомкнул веки, как от яркого света, и так стоял, невидящий...

Еще при первых словах профессора он ощутил ополоснувшую его горячую волну. А сейчас плечом и боком налегал на оконный косяк, чтобы, кажется, не взмыть к потолку от ликования.

...Что мог он и что был он к п о с а д к е? Разве он был инженер? — мальчишка, больше всего увлеченный своей наружностью и посаженный-то на пять лет врагом из ревности.

И были потом — Бутырки, Пресни, Севураллаг, Ивдельлаг, Каргопольлаг...

Была внутрилагерная следственная тюрьма, выдолбленная в горе.

Был к у м — лагерный опер старший лейтенант Камышан, одиннадцать месяцев крестивший его на второй срок, на новую десятку. Сколько дать на лагпункте вторых лагерных сроков — Камышан не оглядывался на разверстку Управления, он арканил всех, у кого сроки были недостаточны, кто держался в лагере только О с о б ы м Р а с п о р я ж е н и е м — до конца войны. Он не долго морщил лоб в поисках обвинений. Кто-то кому-то сказал, что из Эрмитажа картину продали на Запад — и оба получили по д е с я т ь.

И еще там опять замешалась женщина — медицинская сестра, зэчка, к которой Камышан, румяный статный сердцеед, приревновал Сологдина. (Он приревновал не зря. Эту медсестру Сологдин и сегодня вспоминал с такой внятной благодарностью тела, что отчасти даже не жалел, что из-за нее получил срок).

Бить Камышан любил палкой, по губам, чтобы сыпались зубы с кровью. Если приезжал в лагерь верхом (он хорошо сидел в седле) — в этот день бил рукояткой хлыста.

А шла война. Даже на воле всё было по карточкам. А — в лагере? Нет, а — в Горной Закрытке?

Ничего не подписал Сологдин, наученный первым следствием. Но получил еще больше — десять. Прямо с суда его отнесли в стационар. Он умирал. Уже ни хлеба, ни каши, ни баланды не принимало его тело, обреченное распасться.

Был день, когда его свалили на носилки и понесли в морг, разбивать голову большим деревянным молотком, перед тем, как отвозить в могильник. А он — пошевелился...

И оттуда! — и оттуда! — о, сила обновления жизни!

— через годы неволи, через годы работы, через Итээровский покойный барак — куда он взлетел ? Как это получилось ? Кому этот Декарт в девичьей шапочке говорит такие лестные слова ? . .

. . . Челнов свернул листик тезисов вчетверо, потом ввосьмеро.

— Как видите, работы еще тут немало, — сказал он. — Но эта конструкция будет оптимальная из предложенных. Она даст вам свободу. И снятие судимости.

Челнов улыбнулся почему-то. Улыбка у него была острая и тонкая, как вся форма лица.

Улыбка его относилась к самому себе. Ему самому, сделавшему на разных шарашках в разное время много больше, чем собирался Сологдин, не угрожала ни свобода, ни снятие судимости, да и судимости-то у него не было вовсе: когда-то он выразился о Мудром Отце как о мерзкой гадине — и вот восемнадцатый год сидел без приговора, без срока, без надежды.

Сологдин открыл сверкающие голубые глаза, молодо выпрямился, сказал несколько театрально:

— Владимир Эрастович ! Вы даете мне опору и уверенность ! Я не нахожу слов отблагодарить вас за внимание. Я — ваш должник !

Но рассеянная улыбка уже играла на его губах.

Возвращая Сологдину рулон, профессор еще вспомнил:

— Однако, я виноват перед вами. Вы просили, чтобы Антон Николаевич не видел этого чертежа. Но случилось так, что он вошел в комнату в мое отсутствие, развернул по своему обычаю — и, конечно, сразу понял, о чем речь. Пришлось нарушить ваше инкогнито . . .

Улыбка сошла с губ Сологдина, он вдруг нахмурился.

— Это так существенно для вас ? — Челнов сопровождал удивление очень легким движением на лице. — Но почему ? Днем раньше, днем позже . . .

Сологдин озадачен был и сам. Он потупился. Разве не наступало время теперь нести лист Антону ?

— Как вам сказать, Владимир Эрастович . . . Вы не находите, что здесь есть некоторая моральная неясность ? . . Ведь это — не мост, не кран, не станок. В этом заказе мало промышленного, много придворного. Когда я представляю того з а к а з ч и к а, который возьмет трубку нашего устройства . . . Ну, в общем, я это делал пока только . . . для проверки своих сил. Для себя.

Он взглянул прямо.

Для себя.

Эту форму работы Челнов хорошо знал. Вообще это была высшая форма исследования.

— Но... в данных обстоятельствах... это не слишком большая роскошь для вас ?

Челнов смотрел бледными спокойными глазами.

Сологдин улыбнулся.

— Простите меня, — подобрался и исправился он. — Это я только так, вслух подумал. Не упрекайте себя ни в чем. Я вам благодарен и благодарен !

Он почтительно подержался за слабую нежную кисть Челнова и с рулоном подмышкой ушел.

В эту комнату он только что вошел еще свободным претендентом.

И вот выходил из нее — уже обремененным победителем. Уже больше не был он хозяин своему времени, намерениям и труду.

А Челнов, не прислонясь к спинке кресла, прикрыл глаза и долго просидел так, выпрямленный, тонколицый, в вязанной шерстяной шапочке.

30

ШТРАФНЫЕ ПАЛОЧКИ

Все с тем же внутренним ликованием, с несоразмерною силою распахнув дверь, Сологдин вошел в конструкторское бюро. Но вместо ожидаемого им многолюдия в этой большой комнате, вечно гудящей голосами, он увидел только одну полную женскую фигуру у окна.

— Вы одна, Лариса Николаевна ? — удивился Сологдин, проходя через комнату своим быстрым шагом.

Лариса Николаевна Емина, чертежница, дама лет тридцати, обернулась от окна, где стоял ее чертежный стол, и через плечо улыбнулась подходящему Сологдину.

— Дмитрий Александрович ? А я думала, мне целый день скучать одной.

Ее слова прозвучали не просто. Сологдин насторожился, мгновенным взглядом обежал ее крупную фигуру в ярко-зеленом шерстяном костюме — вязаной юбке и вязаной кофте, четкой походкой прошел, не отвечая Еминой, к своему столу, и сразу же, еще не садясь, поставил палочку на отдельно лежащем розовом листке бумаги. После этого, стоя к Еминой почти спиной, он прикрепил принесенный чертеж к подвижной наклонной доске « кульмана ».

Конструкторское бюро — просторная светлая комната третьего этажа с тремя большими окнами на юг, была вперемежку с обычными конторскими столами, уставлена десятком таких кульманов, закрепленных то почти вертикально, то наклонно, то вовсе горизонтально. Кульман Сологдина стоял близ крайнего окна — того самого, у которого сидела Емина. Кульман этот был установлен отвесно и развернут так, чтобы совершенно отгораживать Сологдина от начальства и от входной двери, но принимать поток дневного света на наколотые чертежи.

Наконец, Сологдин сухо спросил:

— Почему ж никого нет ?

— Я хотела об этом узнать у вас, — услышал он певучий ответ.

Быстрым движением отвернув к ней одну лишь голову, он сказал с насмешкой:

— У меня вы можете только узнать, где четыре бесправных зэка, з э-к а, работающих в этой комнате. Извольте. Один вызван на свидание, у Хуго Леонардовича — латышское Рождество, я — здесь, а Иван Иванович отпросился штопать носки, коих у него за минувший год набралось до двенадцати пар. Но мне, встречно, хотелось бы знать, где шестнадцать в о л ь н ы х — то есть, товарищей, значительно более ответственных, чем мы ?

Он оказался в профиль к Еминой, и ей хорошо была видна его снисходительная улыбка между небольшими аккуратными усами и аккуратной французской бородкой. Она смотрела на него с восхищением.

— Как ? Вы разве не знаете, что наш майор вчера вечером договорился с Антон Николаевичем — и конструкторское бюро сегодня выходное ? А я, как назло, дежурная...

— Выходное ? — нахмурился Сологдин. — По какому же случаю ?

— Как по какому ? По случаю воскресенья.

— С каких это пор у нас воскресенье — и вдруг выходной ?

— Но майор сказал, что у нас сейчас нет срочной работы.

Сологдин резко повернулся в сторону Еминой.

У н а с нет срочной работы ? — едва ли не гневно воскликнул он. — Ничего себе ! У нас нет срочной работы ! — Нетерпеливое движение проскользнуло по розовым губам Сологдина. — А хотите, я сделаю так, что с завтрашнего дня вы в с е ш е с т н а д ц а т ь будете сидеть здесь — и день и ночь копировать ? Хотите ?

Эти « все шестнадцать » он почти прокричал со злорадством.

Несмотря на жуткую перспективу копировать день и ночь, Емина сохраняла спокойствие, шедшее к ее покойной крупной красоте. Сегодня она еще даже не подняла кальки, прикрывавшей ее, чуть наклонный, рабочий стол, а, удобно облокотясь о него (обтягивающий руков вязаной кофточки очень передавал полноту её предплечья), чуть заметно покачивалась и смотрела на Сологдина большими дружелюбными глазами:

— Бо-же упаси ! И вы способны на такое злодейство ?

Глядя холодно, Сологдин спросил:

— Зачем вы употребляете слово « Боже » ? Ведь вы — жена чекиста ?

— Что за важность ? — удивилась Емина. — Мы и куличи на Пасху пекем, так что такого ?

— Ку-ли-чи ? !

— А то !

Сологдин сверху вниз смотрел на сидящую Емину. Зелень ее вязаного костюма была резкая, дерзкая. И юбка, и кофточка, облегая, выявляли раздобревшее тело. На груди кофточка была растегнута, и воротник белой батистовой блузки выложен поверх.

Сологдин поставил палочку на розовом листке и враждебно сказал:

— Но ведь ваш муж, вы говорили, — подполковник МВД !

— Так то муж ! . . А мы с мамой — что ? бабы ! — обезоруживающе улыбнулась Емина. Толстые белые косы ее были обведены величественным венцом вокруг головы. Она улыбнулась — и была, действительно, похожа на деревенскую бабу, но в исполнении Риммы Цесарской.

Сологдин, не отвечая, сел боком за свой стол — так, чтобы не видеть Еминой, и щурясь стал оглядывать наколотый чертеж.

Сологдин весь был под впечатлением похвал профессора Челнова. Он испытывал взмывающую радость, и ему не хотелось рассеивать этой настроенности. Нечувствительность своего будущего детища к импульсам неполной энергии и достаточность маховых моментов Сологдин внутренним предчувствием считал обеспеченными, хотя нужно будет, разумеется, везде досчитать знака по два. Но последнее замечание Челнова о застывшем хаосе смущало его. Это не указывало на порок работы, но на разность ее от идеала. Одновременно он смутно ощущал, что где-то есть в его работе непочувствованный и Челновым, неуловленный и им самим, недоделанный « последний вершок ». Важно было сейчас в удачно сложившейся воскресной тишине определить, в чем он состоит, и приступить к его доделке. Только после этого можно будет открыть свою работу Антону и начать пробивать ею бетонные стены.

Поэтому он сейчас предпринял усилие выключиться из всяких мыслей о Еминой и вернуться в круг мыслей, созданных профессором Челновым. Емина уже полгода сидела рядом с ним, но никогда им не случалось говорить подолгу. Оставаться же с глазу на глаз, как сегодня, и вовсе не приходилось. Сологдин иногда подтрунивал над ней, когда по плану разрешал себе пятиминутный отдых. По служебному положению

— копировщица при нем, по общественному же положению — дама из высшего слоя, тогда как он был просто ученый раб, — Лариса Николаевна забавляла его, но раздражающе было видеть постоянно перед собой колошение ее большого тела.

Сологдин смотрел на чертеж, а Емина, все так же чуть покачиваясь на локте, — на него. И вдруг прозвучал вопрос:

— Дмитрий Александрович ! А вам ? Кто вам штопает носки ?

У Сологдина поднялись брови.

— Носки ? (Он все так же смотрел на чертеж). Иван Иванович носит носки потому, что он еще новичок, трех лет не сидит. Носки — это отрыжка так называемого... (он поперхнулся, ибо вынужден был употребить п т и ч ь е слово)... капитализма. Носков я просто н е н о ш у. — И поставил палочку на белом листе.

— Но тогда... что же вы носите ?

— Вы переступаете границы скромности, Лариса Николаевна, — не мог не улыбнуться Сологдин. — Я ношу гордость нашего русского убранства — портянки !

Он произнес это слово смачно.

— Но ведь их... солдаты носят ?

— Кроме солдат еще два разряда: заключенные и колхозники.

— И потом, их тоже надо... стирать, латать...

— Вы ошибаетесь ! Кто же нынче стирает портянки ? Их просто носят год, не стирая, а потом выбрасывают, получив от начальства новые.

— Неужели ? Серьезно ? — Емина смотрела почти испуганно.

Сологдин молодо, беспечно расхохотался.

— Во всяком случае, такая точка зрения существует. Да и на какие шиши я бы стал покупать носки ? Вот вы, п р о з р а ч н о — о б в о д ч и ц а МГБ — сколько вы получаете в месяц ?

— Полторы тысячи.

— Та-ак ! — торжествующе воскликнул Сологдин. — Полторы тысячи ! А я — з и ж д и т е л ь (на Языке Предельной Ясности это значило — инженер) — тридцать рублишек в месяц. Не разгонишься на носки !

Глаза Сологдина весело лучились. Это совсем не относилось к Еминой, но она рдела.

Муж Ларисы Николаевны был попросту говоря — тюлень.

Семья для него давно стала мягкой подушкой, а он для жены — принадлежностью квартиры. Придя с работы, он долго, с наслаждением, обедал, потом спал. Потом, прочухиваясь, читал газеты и крутил приемник (приемники свои прежние он то и дело продавал и покупал новейшей марки). Только футбольный матч (где по роду службы он всегда болел за «Динамо») вызывал в нем возбуждение и даже страсть. Во всем он был так тускл, так однообразен, что не мог заронить в Ларисе даже интереса. Да и у других известных ей мужчин досуг был рассказывать о своих заслугах, играть в карты, пить до багровости, а в пьяном образе лезть и лапать.

Сологдин же, легок в движениях, быстр умом, остр на язык, с неожиданными переходами от строгости к насмешке, безо всякого для себя затруднения нравился ей и пренебрегал успехом.

Сейчас он опять обернулся к чертежу. Лариса Николаевна продолжала, не отрываясь, смотреть на его лицо, еще и еще раз на его усы, на бородку, на сочные губы. Ей хотелось уколоться и потереться об его бородку.

— Дмитрий Александрович! — опять прервала она молчание. — Я вам очень мешаю?

— Да есть немножко... —ответил Сологдин. Последние вершки требовали ничем не нарушаемой углубленной мысли. Но соседка мешала. Сологдин оставил пока чертеж, развернулся к столу (тем самым и к Еминой) и стал разбирать незначительные бумаги.

Слышно было, как мелко тикали часы у нее на руке.

По коридору прошла группа людей, сдержанно разговаривая. Из дверей соседней Семерки раздался немного шепелявящий голос Мамурина: «Ну, скоро там трансформатор?» и раздраженный выкрик Маркушева: «Не надо было им давать, Яков Иваныч!»...

Лариса Николаевна положила руки перед собой на стол, скрестила, утвердила на них подбородок и так снизу вверх растомчиво смотрела на Сологдина.

Сологдин читал.

— Каждый день! каждый час! — почти шептала она благоговейно. — В тюрьме и так заниматься!.. Вы — необыкновенный человек, Дмитрий Александрович!

Чтение видно у Сологдина не шло, потому что он сразу поднял голову.

— Что ж с того, что тюрьма, Лариса Николаевна? Я сел двадцати пяти лет, говорят, что выйду сорока двух. Но я в

это не верю. Обязательно еще набавят. У меня пройдет в лагерях лучшая часть жизни, весь расцвет моих сил. Внешним условиям подчиняться нельзя, это оскорбительно.

— У вас все по системе !

— Из лагерных лет я семь провел на баланде, моя умственная работа шла без сахара и без фосфора. Это вынудило меня к строжайшему распорядку. На свободе или в тюрьме — какая разница ? — мужчина должен воспитывать в себе непреклонность воли, подчиненной разуму.

Указательным пальцем с очень вымытой кожей, с круглым ногтем, малиновым от маникюра, Емина бесцельно и безуспешно разглаживала измятый уголок застилающей кальки. Она почти совсем опустила на скрещенные руки голову, так что обратила к нему крутой венец своих могучих кос, и сказала в раздумье:

— Я очень виновата перед вами, Дмитрий Александрович...

— В чем же ?

— Один раз я, стоя у вашего стола, опустила глаза и увидела, что вы пишете письмо ... Ну, как это бывает, знаете, совершенно случайно ... И в другой раз ...

— Вы опять совершенно случайно скосили глаза ... ?

— И увидела, что вы опять пишете письмо, и как будто то же самое ...

— ... Ах, вы даже различили, что — то же самое ? ! И еще в третий раз ? Было ?

— ... Было ...

— Та-ак ... Если, Лариса Николаевна, это будет продолжаться, мне придется отказаться от ваших услуг как чертежницы. А жаль, вы неплохо чертите.

— Но это было давно ! С тех пор вы не писали.

— Однако, вы тогда же немедленно донесли майору Шикиниди ?

— Почему — Шикиниди ?

— Ну, Шикину. Донесли ?

— Как вы могли это подумать !

— А тут и думать нечего. Неужели майор Шикиниди не поручал вам шпионить за моими действиями, словами и даже мыслями ? — Сологдин взял карандаш и поставил палочку на белом листе. — Ведь поручал ? Говорите честно !

— Да ... поручал ...

— И сколько вы написали доносов ?

— Дмитрий Александрович ! Неужели я способна ? И по

отношению к в а м ? Я, наоборот, — самые лучше характеристики !

— Гм... Ну, пока поверим. Но предупреждение мое остается в силе. Очевидно, здесь не преступный случай чистоженского любопытства. Я удовлетворю его. Это было в сентябре. Не три, а пять дней подряд я писал письмо своей жене.

— Вот это я и хотела спросить ! У вас есть жена ? Она ждет вас ? Вы пишете ей такие длинные письма ?

— Жена у меня есть, — медленно углубленно ответил Сологдин, — но так, что как будто ее и нет. Даже писем я ей теперь писать не могу. Когда же писал — нет, я писал не длинные, но я подолгу их оттачивал. Искусство письма, Лариса Николаевна, это очень трудное искусство. Мы часто пишем письма слишком небрежно, а потом удивляемся, что теряем близких. Уже много лет жена не видела меня, не чувствовала на себе моей руки. Письма — единственная связь, через которую я держу ее вот уже двенадцать лет.

Емина резко подвинулась. Она локтями дотянулась до обреза стола Сологдина и оперлась так, обжав ладонями свое разрумянившееся лицо.

— Вы уверены, что держите ? А — з а ч е м , Дмитрий Александрович, з а ч е м ? Двенадцать лет прошло, да пять еще осталось — семнадцать ! Вы отнимаете у нее молодость ! З а ч е м ? Дайте ей жить !

Голос Сологдина звучал торжественно:

— Среди женщин, Лариса Николаевна, есть особый разряд. Это — подруги викингов, это — светлоликие Изольды с алмазными душами. Вы жили в преступном благополучии и не могли их знать...

— Дайте ей жить ! — повторила Лариса Николаевна. — И, по возможности, живите пока с а м и ! !

Нельзя было узнать в ней той величественной гранд-дамы, какою она проплывала по коридорам и лестницам шарашки. Она так и сидела, перетянувшись к столу Сологдина, и слышно дышала. Разгоряченное лицо ее стало почти деревенское.

Сологдин покосился и поставил палочку на розовом листке.

— Дмитрий Александрович ! И вот это. Я уже много недель мучаюсь — что за палочки вы ставите ? А потом через несколько дней зачеркиваете. Что это значит ?

— Я боюсь, вы опять проявляете доглядательские наклонности. — Он взял в руки белый лист. — Извольте: палочки

я ставлю всякий раз, когда употребляю без крайней необходимости иноземное слово в русской речи. Счет этих палочек есть мера моего несовершенства. Вот за слово « капитализм », которое я не нашелся сразу заменить словом « толстосумство », и за слово « шпионить » которое я сгоряча поленился заменить словом « доглядать », — я и поставил себе две палочки.

— А на розовом ? — добивалась она.

— А вы заметили, что и на розовом ?

— И даже чаще, чем на белом. Это тоже — мера вашего несовершенства ?

— Тоже, — отрывисто сказал Сологдин. — На розовом я ставлю себе п е н е в ы е, по-вашему будет — ш т р а ф н ы е палочки и потом наказываю себя по их числу.

— Штрафные — за что ? — тихо спросила она.

— Зачем вам знать ?

— За что ? — еще тише спросила Лариса.

— А вы замечали, к о г д а я их ставлю ?

В комнате не было других звуков, и Лариса тихо, как выдох, ответила:

— Замечала.

Сологдин побагровел и признался с негодованием:

— На розовом я ставлю себе палочку всякий раз, когда не выдерживаю вашей близости, когда я... желаю вас !

Алая краска заливала щеки, уши и шею Ларисы. Она все так же льнула к обрезу его стола — и бесстрашно смотрела ему в глаза.

Сологдин был возмущен:

— Вот сейчас я сразу ставлю их т р и — смотрите ! мне долго придется их отрабатывать ! За то, что глаза ваши наглы и влажны, и это нравится мне — раз ! За то, что ваша блузка не сходится, вы наклонились, и я вижу желобок — два ! За то, что вашу шею мне хочется поцеловать — три !

— Ну, и поцелуйте, — прикованно сказала она.

— Да вы с ума сошли ! Уйдите в коридор ! Освободите меня !

Она отпрянула от стола Сологдина и резко встала. Стул ее упал с грохотом.

Он отвернулся к кульману.

То наваждение, с которым он и боролся утренней колкой дров, теперь душило его.

Он смотрел на чертеж, ничего не понимая.

И вдруг на своем плече ощутил литую грудь.

— Лариса! — строго сказал он, поворачиваясь к ней головой, но от этого поворота сошелся с нею лоб в лоб.

— Что?.. — одним дыханием в его лицо спросила она.

— Пусти, я... Запру дверь, — сказал он.

И не отслоняясь, она ответила:

— Запри.

31

ЗВУКОВИДЫ

Никому не хотелось работать в воскресенье — и вольным тоже. Они притянулись на работу вяло, без обычной будней давки в автобусах, и строили, как бы им тут только пересидеть до шести вечера.

Но воскресный день выдался тревожней буднего. Около десяти часов утра к главным воротам подошли три очень длинных и очень обтекаемых легковых автомобиля. Стража на вахте взяла под козырек. Миновав ворота, а затем сощурившегося на них рыжего дворника Спиридона с метлой, автомобили по обесснежевшим гравийным дорожкам подкатили к парадному подъезду института. Из всех трех стали выходить большие чины, блеща золотом погон, — и не медля, и не ожидая встречи, — стали сразу подниматься на третий этаж, в кабинет Яконова. Их не успели как следует рассмотреть. По одним лабораториям пронесся слух, что приехал сам министр Абакумов и с ним восемь генералов. В других лабораториях продолжали сидеть спокойно, не ведая о нависшей грозе.

Правда была наполовину — приехал только з а м министра Севастьянов и с ним четыре генерала.

Но случилось небывалое — инженер-полковника Яконова все еще не было на работе. Пока испуганный дежурный по объекту (проворно задвинувший ящик стола, в котором, маскируясь, читал книгу) звонил на квартиру к Яконову, а потом докладывал замминистру, что полковник Яконов лежит дома в сердечном припадке, но уже одевается и едет, — заместитель Яконова, майор Ройтман, худенький, с перехватом в талии, оправляя неловко сидящую на нем портупею и цепляясь за ковровые дорожки (он был очень близорук), поспел из Акустической лаборатории и представился начальству. Он спешил не только потому, что так требовал устав, но и для того, чтобы успеть отстоять интересы возглавляемой им внутриинститутской оппозиции: Яконов всегда оттеснял его от разговоров с высоким начальством. Уже зная подробности

ночного вызова Прянчикова, Ройтман спешил исправить положение и убедить высокую комиссию, что состояние вокодера не так безнадежно, как скажем, клиппера. Несмотря на свои тридцать лет, Ройтман был уже лауреатом сталинской премии — и без страха ввергал свою лабораторию в самый смерч невзгод, связанных с высочайшими интересами.

Его стали слушать до десятка приехавших, из которых двое кое-что понимали в технической сути дела, остальные же только приосанились. Однако, вызванный Осколуповым желтый заикающийся от бешенства Мамурин успел прибыть вскоре за Ройтманом и вступился за клиппер, уже почти готовый к выпуску в свет. Невдолге прибыл и Яконов — с подведенными впалыми глазами, с лицом, побелевшим до голубизны, — и опустился на стул у стены. Разговор раздробился, запутался, и вскоре никому уже не было понятно, как вытаскивать загубленное предприятие.

И надо же было так несчастно случиться, что сердце института и совесть института — оперуполномоченный товарищ Шикин и парторг товарищ Степанов, в это воскресенье разрешили себе вполне естественную слабость — не приехать на службу и не возглавить коллектива, руководимого ими в будни (поступок тем более простительный, что, как известно, при правильно поставленной разъяснительной и организационно-массовой работе — присутствие в процессе труда самих руководителей вовсе не обязательно. Тревога и сознание внезапной ответственности охватили дежурного по институту. С риском для себя он оставил телефоны и побежал по лабораториям, шепотом сообщая их начальникам о приезде чрезвычайных гостей, дабы они могли удвоить бдение. Но, так как он был очень взволнован и спешил вернуться к своим телефонам, он не придал значения запертой двери конструкторского бюро; еще он не успел сбегать в Вакуумную лабораторию, где дежурила Клара Макарыгина и из вольных больше не было сегодня никого.

Начальники лабораторий в свою очередь ничего не объявили вслух, — ибо нельзя же было вслух просить принять рабочий вид ввиду приезда начальства, но обошли все столы и стыдливым шепотом предупреждали каждого в отдельности.

Так весь институт сидел и ждал начальства. Начальство же, посовещавшись, частью осталось в кабинете Яконова, частью пошло в Семерку, и лишь сам Севастьянов и майор Ройтман спустились в Акустическую: чтобы избавиться еще

от этой новой заботы, Яконов порекомендовал Акустическую как удобную базу для выполнения поручения Рюмина.

— Каким же образом вы думаете обнаружить этого человека ? — спросил по дороге Севастьянов Ройтмана.

Ройтман ничего не мог д у м а т ь, так как сам узнал о поручении пять минут назад: п о д у м а л за него прошлой ночью Осколупов, когда взялся за такую работу, не думая. Но уже и за пять минут Ройтман кое-что успел сообразить.

— Видите ли, — говорил он, называя замминистра по имени-отчеству и безо всякой угодливости, — у нас ведь есть прибор в и д и м о й р е ч и — ВИР, печатающий так называемые з в у к о в и д ы, и есть человек, читающий эти звуковиды, некто Рубин.

— Заключенный ?

— Да. Доцент-филолог. Последнее время он у меня занят тем, что ищет в звуковидах индивидуальные особенности речи. И я надеюсь, что, развернув этот телефонный разговор в звуковиды, и сличая со звуковидами подозреваемых...

— Гм... Придется этого филолога еще согласовать с Абакумовым, — покачал головой Севастьянов.

— В смысле секретности ?

— Да.

В Акустической тем временем, хотя все уже знали о приезде начальства, но решительно не могли в себе преодолеть мучительной инерции бездействия, поэтому т е м н и л и, лениво копались в ящиках с радиолампами, проглядывали схемы в журналах, зевали в окно. Вольнонаемные девушки сбились в кучку и шепотом сплетничали, помощник Ройтмана их разгонял. Симочки, на ее счастье, на работе не было — она отгуливала переработанный день и тем была избавлена от терзаний видеть Нержина разодетым и сияющим перед свиданием с женщиной, имевшей на него больше прав, чем Симочка.

Нержин чувствовал себя именинником, в Акустическую заходил уже третий раз, без дела, просто от нервности ожидания слишком запоздавшего воронка. Сел он не на стул к себе, а на подоконник, с наслаждением затягивался дымом «Беломора» и слушал Рубина. Рубин же, не найдя в профессоре Челнове достойного слушателя баллады о Моисее, теперь тихо, но с жаром читал ее Глебу. Рубин не был поэтом, его никогда не хватало на отделку рифм, на отработку ритма, но он иногда набрасывал стихи задушевные, умные. Сейчас

Рубину очень хотелось, чтобы Глеб похвалил его за балладу о Моисее.

Рубин не существовал без друзей, он задыхался без них. Одиночество было до такой степени ему невыносимо, что он даже не давал мыслям дозревать в одной своей голове, а, найдя в себе хотя бы полмысли, — уже спешил делиться ею. Всю жизнь он был друзьями богат, но в тюрьме складывалось как-то так, что друзья его не были его единомышленниками, а единомышленники — друзьями.

Итак, никто еще в Акустической не занимался работой, и только неизменно жизнерадостный и деятельный Прянчиков, уже одолевший в себе воспоминание о ночной Москве и о шальной поездке, обдумывал новое улучшение схемы, напевая:

« Бендзи-бендзи-бендзи-ба-ар,
Бендзи-бендзи-бендзи-ба-ар . . . »

И тогда-то вошли Севастьянов с Ройтманом. Ройтман продолжал:

— На этих звуковидах речь развертывается сразу в трех измерениях: по частоте — поперек ленты, во времени — вдоль ленты, по амплитуде — густотою рисунка. При этом каждый звук вырисовывается таким неповторимым, оригинальным, что его легко узнать, и даже по ленте прочесть все сказанное. Вот . . .

Он вел Севастьянова вглубь лаборатории —

— . . . прибор ВИР, его сконструировали в нашей лаборатории (Ройтман сам уже забывал степень заимствования), а вот . . . и он осторожно развернул замминистра к окну —

— . . . кандидат филологических наук Рубин, единственный в Советском Союзе человек, читающий видимую речь. (Рубин встал и молча поклонился).

Но еще когда в дверях было произнесено Ройтманом слово звуковид, Рубин и Нержин встрепенулись: их работа, над которой все до сих пор большей частью смеялись, выплыла на Божий свет. За те сорок пять секунд, в которые Ройтман довел Севастьянова до Рубина, Рубин и Нержин с остротой восприятия и быстротой решений, свойственной только зэкам, уже поняли, что сейчас будет смотр — как Рубин читает звуковиды, и что произнести фразу перед микрофоном может только один из « эталонных » дикторов — а такой присутствовал в комнате лишь Нержин. И так же они отдали себе отчет, что хотя Рубин действительно

читает звуковиды, но на экзамене можно и сплошать, а сплошать нельзя — это значило бы кувырнуться с шарашки в лагерную преисподнюю.

Но обо все этом они не сказали ни слова, а только понимающе глянули друг на друга.

И Рубин шепнул:

— Если — ты, и фраза твоя, скажи: «Звуковиды разрешают глухим говорить по телефону».

А Нержин шепнул:

— Если фраза его — угадывай по звукам. Глажу волосы — верно, поправляю галстук — неверно.

И тут-то Рубин встал и молча поклонился.

Ройтман продолжал тем извиняющимся перерывистым голосом, который, если б услышать его даже отвернувшись, можно было бы приписать только интеллигентному человеку:

— Вот вам сейчас Лев Григорьич и покажет свое умение. Кто-нибудь из дикторов... ну, скажем, Глеб Викентьич... прочтет в акустической будке в микрофон какую-нибудь фразу, ВИР ее запишет, а Лев Григорьич попробует разгадать.

Стоя в одном шаге от замминистра, Нержин уставился в него нахальным лагерным взглядом:

— Фразу — вы придумаете? — спросил он строго.

— Нет, нет, — отводя глаза, вежливо ответил Севастьянов, — вы что-нибудь там сами сочините.

Нержин покорился, взял лист бумаги, на миг задумался, затем в наитии написал и в наступившей общей тишине подал Севастьянову так, что никто не мог прочесть, даже Ройтман:

«Звуковиды разрешают глухим говорить по телефону».

— И это действительно так? — удивился Севастьянов.

— Да.

— Читайте, пожалуйста.

Загудел ВИР. Нержин ушел в будку (ах, как позорно выглядела сейчас обтягивающая ее мешковина!.. вечная эта нехватка материалов на складе!), непроницаемо заперся там. Зашумел механизм, и двухметровая мокрая лента, испещренная множеством чернильных полосок и мазанных пятен, была подана на стол Рубину.

Вся лаборатория прекратила р а б о т у и напряженно следила. Ройтман заметно волновался. Нержин вышел из будки и издали безразлично наблюдал за Рубиным. Стояли вокруг, один Рубин сидел, посвечивая им своей просветляющейся лысиной. Щадя нетерпение наблюдателей, он не делал секрета из своей жреческой премудрости и тут же производил

разметку по мокрой ленте химическим карандашом, как всегда плохо очиненным.

— Вот видите, некоторые звуки не составляют ни малейшего труда отгадать, например, ударные гласные или опорные. Во втором слове отчетливо видно — два раза «р». В первом слове ударный звук «и» и перед ним смягченный «в» — здесь твердого быть и не может. Еще ранее — форманта «а», но следует помнить, что в первом предударном слоге, как «а» произноситься также и «о». Зато «у» сохраняет своеобразие даже и вдали от ударения, у него вот здесь характерная полоска низкой частоты. Третий звук первого слова безусловно «у». А за ним глухой взрывной, скорей всего «к», итак имеем: «укови» или «укави». А вот твердое «в», оно заметно отличается от мягкого, нет в нем полоски взрывок, на конце же — редуцированный гласный, это я могу принять за «ды». Итак «вуковиды». Остается разгадать первый звук, он смазан, я мог бы принять его за «с», если бы смысл не подсказывал мне, что здесь — «з». Итак, первое слово — «звуковиды». Пойдем дальше. Во втором слове, как я уже сказал, два «р» и, пожалуй, стандартное глагольное окончание «ает», а раз множественное число, значит, «ают». Очевидно, «разрывают», «разрешают»... сейчас уточню, сейчас... Антонина Валерьяновна, не вы ли у меня взяли лупу? Нельзя ли попросить на минутку?

Лупа была ему абсолютно не нужна, так как ВИР давал записи самые разляпистые, но делалось это, по лагерному выражению, д л я п о н т а, и Нержин внутренне хохотал, рассеянно поглаживая и без того приглаженные волосы. Рубин мимолетно посмотрел на него и взял принесенную ему лупу. Общее напряжение возрастало, тем более, что никто не знал, верно ли отгадывает Рубин. Севастьянов пораженно шептал:

— Это удивительно... это удивительно...

Не заметили, как в комнату на цыпочках вошел старший лейтенант Шустерман. Он не имел права сюда заходить, поэтому остановился вдалеке. Дав знак Нержину идти побыстрей, Шустерман, однако, не вышел с ним, а искал случая вызвать Рубина. Рубин ему нужен был, чтобы заставить его пойти и перезаправить койку, как положено. Шустерман не первый раз изводил Рубина этими перезаправками.

Тем временем Рубин уже разгадал слово «глухим» и отгадывал четвертое. Ройтман светился — не только потому, что делил триумф: он искренне радовался всякому успеху в работе.

И тут-то Рубин, случайно подняв глаза, встретил недобрый исподлобный взгляд Шустермана. И понял, зачем тут Шустерман. И подарил его злорадным ответным взглядом: « Сам заправишь ! »

— Последнее слово — « по телефону », это сочетание настолько часто у нас встречается, что я к нему привык, сразу вижу. Вот и все.

— Поразительно ! — повторил Севастьянов. — Вас, простите, как по имени-отчеству ?

— Лев Григорьич.

— Так вот, Лев Григорьич, — а индивидуальные особенности голосов вы можете различать на звуковидах ?

— Мы называем это — индивидуальный речевой лад. Да ! Это представляет как раз теперь предмет нашего исследования.

— Очень удачно ! Кажется, для вас есть ин-те-ресное задание.

И Шустерман вышел на цыпочках.

32

ПОЦЕЛУИ ЗАПРЕЩАЮТСЯ

Испортился мотор у воронка, который имел наряд вести заключенных на свидание, и пока созванивались и выясняли, как быть, — вышла задержка. Около одиннадцати часов, когда Нержин, вызванный из Акустической, пришел на ш м о н *, — шестеро остальных, ехавших на свидание, были уже там. Одних дошманивали, другие были прошмонены и ожидали в разных телоположениях — кто грудью припавши к большому столу, кто разгуливая по комнате за чертою шмона. На самой этой черте, у стены, стоял подполковник Климентьев, — весь выблещенный, прямой, ровный, как кадровый вояка перед парадом. От его черных слитых усов и от черной головы сильно пахло одеколоном.

Заложив руки за спину, он стоял как будто совершенно безучастно, на самом же деле своим присутствием обязывая надзирателей обыскивать на совесть.

На черте обыска Нержина встретил протянутыми руками один из самых злопридирчивых надзирателей. — Красногубенький, и сразу спросил:

— В карманах — что ?

Нержин давно уже отстал от той угодливой суетливости, которую испытывают арестанты-новички перед надзирателями и конвоем. Он не дал себе труда отвечать и не полез выворачивать карманы в этом, необычном для него, шевиотовом костюме. Своему взгляду на Красногубенького он придал сонность и чуть-чуть отстранил руки от боков, предоставляя тому лазить по карманам. После пяти лет тюрьмы и после многих таких приготовлений и обысков, Нержину совсем не казалось, как кажется понову, что это — грубое насилие, что грязные пальцы шарят по израненному сердцу, — нет, его нарастающе-светлое состояние не могло омрачить ничто, делаемое с его телом.

---

* шмон — обыск.

Красногубенький открыл портсигар, только что подаренный Потаповым, просмотрел мундштуки всех папирос, не запрятано ли что в них, поковырялся меж спичек в коробке, нет ли под ними, проверил рубчики носового платка, не зашито ли что — и ничего другого в карманах не обнаружил. Тогда, просунув руки между нижней рубашкой и растегнутым пиджаком, он обхлопал весь корпус Нержина, нащупывая, нет ли чего засунутого под рубашку или между рубашкой и манишкой. Потом он присел на корточки и тесным обхватом двух горстей провел сверху вниз по одной ноге Нержина, потом по другой. Когда Красногубенький присел, Нержину стало хорошо видно нервно-расхаживающего гравера-оформителя — и он догадался, почему он так волнуется: в тюрьме гравер открыл в себе способность писать новеллы и писал их — о немецком плене, потом о камерных встречах, о трибуналах. Одну-две такие новеллы он уже передал через жену на волю, но и там — кому их покажешь ? Их и там надо прятать. Их и здесь надо прятать. И никогда нельзя будет ни клочка написанного увезти с собой. Но один старичок, друг их семьи, прочел и передал автору через жену, что даже у Чехова редко встречается столь законченное и выразительное мастерство. Отзыв этот сильно подбодрил гравера.

Так и к сегодняшнему свиданию у него была написана новелла — как ему казалось, великолепная. Но в самый момент шмона он струсил перед тем же Красногубеньким и комочек кальки, на котором микроскопическим почерком была написана новелла, проглотил, отвернувшись. А теперь его изнимала досада, что он съел новеллу — может быть мог и пронести ?

Красногубенький сказал Нержину:

— Ботинки снимите.

Нержин поднял ногу на табуретку, расшнуровал ботинок и движением, как будто лягался, сошвырнул его с ноги, не глядя, куда он полетел, при этом обнажая продранный носок. Красногубенький поднял ботинок, рукой обшарил его внутри, перегнул подошву. С тем же невозмутимым лицом, будто он делал это запросто каждый день, Нержин сошвырнул второй ботинок и обнажил второй продранный носок. Потому ли что носки были в больших дырках, Красногубенький не заподозрил, что в носках что-нибудь спрятано, и не потребовал их снять.

Нержин обулся. Красногубенький закурил.

Климентьева передергивало, когда Нержин сошвыривал с ног ботинки. Ведь это было намеренное оскорбление его надзирателя. Если не заступаться за надзирателей — арестанты сядут на голову и администрации. Климентьев опять раскаивался, что проявил доброту, и почти решил найти повод придраться и запретить свидание этому наглецу, который не стыдится своего положения преступника, а даже как бы упивается им.

— Внимание ! — сурово заговорил он, и семь заключенных и семь надзирателей повернулись в его сторону. — Порядок известен ? Родственникам ничего не передавать. От родственников ничего не принимать. Все передачи — только через меня. В разговорах не касаться: работы, условий труда, условий быта, распорядка дня, расположения объекта. Не называть никаких фамилий. О себе можно только сказать, что все хорошо и ни в чем не нуждаетесь.

— О чем же говорить ? — крикнул кто-то. — О политике ?

Клименьев даже не затруднился на это ответить, так это было явно несуразно.

— О своей вине, — мрачно посоветовал кто-то из арестантов же. — О раскаянии.

— О следственом деле нельзя, оно — секретное, — невозмутимо отклонил Климентьев. — Распрашивайте о семье, о детях. Дальше. Новый порядок: с сегодняшнего свидания запрещаются рукопожатия и поцелуи.

И Нержин, остававшийся вполне равнодушным и к шмону, и к тупой инструкции, которую знал, как обойти, — при запрещении поцелуев почувствовал темный взлет в глазах.

— Раз в год видимся ... — хрипло выкрикнул он Климентьеву, и Клименьев обрадованно довернулся в его сторону, ожидая, что Нержин выпалит дальше.

Нержин почти предуслышал, как Климентьев рявкнет сейчас:

— Лишаю свидания ! !

И задохнулся.

Свидание его, в последний час объявленное, выглядело полузаконным и ничего не стоило лишить ...

Всегда какая-нибудь такая мысль останавливает тех, кто мог бы выкрикнуть правду или добыть справедливость.

Как старый арестант, он должен был быть господином своему гневу.

И, не встречая бунта, Климентьев бесстрастно и точно довесил:

— В случае поцелуя, рукопожатия или другого нарушения, свидание немедленно прекращается.

— Но жена-то не знает ! Она меня поцелует ! — запальчиво сказал гравер.

— Родственники также будут предупреждены ! — предусмотрел Климентьев.

— Никогда такого порядка не было !

— А теперь — будет.

(Глупцы ! И глупо их возмущение — как будто он сам, а не свежая инструкция придумали этот порядок !)

— Сколько времени свидание ?

— А если мать придет — мать не пустите ?

— Свидание тридцать минут. Пускаю только того одного, на кого написан вызов.

— А дочка пяти лет ?

— Дети до пятнадцати лет проходят со взрослыми.

— А шестнадцати ?

— Не пропустим ! Еще вопросы ? Начинаем посадку. На выход !

Удивительно ! — Везли не в воронке, как возили в последнее время, а в голубом городском автобусе уменьшенных размеров.

Автобус стоял перед дверью штаба. Трое надзирателей, каких-то новых, переодетых в гражданскую одежду, в мягких шляпах, держа руки в карманах (там были пистолеты), вошли в автобус первыми и заняли три угла. Двое из них имели вид не то боксеров в отставке, не то гангстеров. Очень хороши были на них пальто.

Утренний иней уже изникал. Не было ни морозца, ни оттепели.

Семь заключенных поднялись в автобус через единственную переднюю дверцу и расселись.

Зашли четыре надзирателя в форме.

Шофер захлопнул дверцу и дал газ.

Подполковник Клементьев сел в легковую.

33

ФОНОСКОПИЯ

К полудню в бархатистой тишине и полированном уюте кабинета Яконова самого хозяина не было — он был в Семерке занят «венчанием» клиппера и вокодера (идея соединить эти две установки в одну родилась сегодня утром у честолюбивого инженера Маркушева и была подхвачена многими, хотя у каждого был на то свой особый расчет. Сопротивлялись только Бобынин, Прянчиков и Ройтман, но их не слушали).

А в кабинете сидели: Севастьянов, уже созвонившийся с Абакумовым, генерал Бульбанюк, здешний мавринский лейтенант Смолосидов и заключенный Рубин.

Лейтенант Смолосидов был тяжелый человек. Даже веря, что в каждом творении есть что-то хорошее, трудно было отыскать это хорошее в его чугунном никогда не смеющемся взгляде, в безрадостной нескладной пожимке толстых губ. Должность его в одной из лабораторий была самая маленькая — чуть старше радиомонтажника, получал он как последняя девчонка — меньше двух тысяч в месяц, правда, еще на тысячу воровал из института и продавал на черном рынке дефицитные радиодетали, — но все понимали, что положение и доходы Смолосидова не ограничиваются этим.

Вольные на шарашке боялись его — даже те его приятели, кто играл с ним в волейбол. Страшно было его лицо, на которое нельзя было вызвать озарения откровенности. Страшно было особое доверие, оказываемое ему высочайшим начальством. Где он жил? и вообще, был ли у него дом? и семья? Он не бывал в гостях у сослуживцев, ни с кем из них не делил досуга за оградой института. Ничего не было известно и о его прошлой жизни, кроме трех боевых орденов на груди и неосторожного хвастовства однажды, что за всю войну некий известный маршал не произнес не единого слова, которого бы он, Смолосидов, не слышал. Когда его спросили, как это могло быть, он ответил, что был у этого маршала личным радистом.

И едва встал вопрос, кому из вольных поручить обслуживание магнитофона с присланной из Очень Секретного Управления лентой, генерал Бульбанюк, приехавший оттуда, скомандовал: Смолосидову.

Сейчас Смолосидов пристраивал на маленьком лакированном столике магнитофон, а генерал Бульбанюк, вся голова которого была как одна большая непомерно разросшаяся картошка с выступами носа и ушей, говорил:

— Вы — заключенный, Рубин. Но вы были когда-то коммунистом и, может быть, когда-нибудь будете им опять.

« Я и сейчас коммунист ! » — хотелось воскликнуть Рубину, но было унизительно доказывать это Бульбанюку.

— Так вот, наши органы сочли возможным оказать вам доверие. С этого магнитофона вы сейчас услышите государственную тайну. Мы надеемся, что вы поможете нам изловить этого негодяя, пособника прямых изменников родины. Они хотят, чтобы важные научные открытия благополучно утекали — (то ли он сказал — « утикали ») — за рубежи нашей родины. Само собой разумеется, что при малейшей попытке разгласить . . .

— Ясно, — пересек Рубин, больше всего сейчас боясь, чтоб его не отстранили от ленты. Давно растеряв всякую личную удачу, Рубин жил жизнью человечества как своей семейной. Эта лента, еще не прослушанная, уже лично задевала его.

Смолосидов включил на прослушивание.

Рубин впился в пеструю драпировку, закрывающую динамик, будто ища разглядеть там лицо своего врага. Когда Рубин так устремленно смотрел, его лицо стягивалось и становилось жестоким. Нельзя было вымолить пощады у человека с таким лицом.

В тишине кабинета прозвучал с легкими примесями шорохов диалог взволнованного торопящегося незнакомца и нерасторопной старомодной дамы.

И лицо Рубина с каждой фразой теряло свое приготовленное жесткое выражение. Оно даже стало растерянным. Боже мой, это было совсем не то, это дикость была какая-то . . .

А лента кончилась.

От Рубина ждали, но он совсем не знал еще, что сказать.

Надо было хоть немного времени и чтобы не смотрели со всех сторон на него. Он поджет погасшую папиросу. Попросил:

— Так. Еще раз.

Смолосидов включил обратный перемот.

Рубин с надеждой смотрел на его темные руки с голубыми пальцами. Ведь мог же бы он сейчас ошибиться! — включить не головку прослушивания, а головку записи! И все бы стерлось бесследно! И Рубину нечего было бы решать.

Рубин курил, жуя и сдавливая мундштук папиросы.

Молчали.

Нет, Смолосидов не ошибся! Он включил именно ту головку, которую надо.

И опять с нервностью и почти отчаянием зазвучал голос молодого человека, и опять мычала или брюзжала недовольная дама. И надо было вообразить и представить себе преступника, а Рубину лезла эта дама, которую он, кажется, просто видел с ее пышноватыми подкрашенными, а может быть и ненастоящими волосами.

Он опустил лицо в пальцы руки. Самая главная дикость тут была в том, что не мог разумный человек с незамутненными мозгами посчитать любое медицинское открытие — государственной тайной. Потому что не медицина та медицина, которая спрашивает у больного национальность. И этот человек, решившийся звонить в осажденную квартиру (а может, он и не понимал всей опасности), этот смельчак был симпатичен Рубину — Рубину тоже как простому человеку.

Но о б ъ е к т и в н о — объективно этот человек, пожелавший сделать как будто добро, на самом деле выступал против положительных сил истории. Раз приоритет науки был признан важным и нужным для укрепления нашего государства — значит, тот, кто подрывает его, становится объективно на пути прогресса. И должен быть сметен.

Да и не так все просто в разговоре. Это испуганное повторение слова « иностранцы ». Передать « кое-что ». Это может быть и не препарат. А « препарат » может быть и шифровкой. История знает примеры. Как вызывали балтийцев на вооруженное восстание? « Высылай устав! » А значило — высылай корабли и десант...

Лента кончилась. Рубин вынул лицо из ладони, посмотрел на угрюмого Смолосидова, на бессмысленного чванливого Бульбанюка. Они были ему отвратительны, смотреть на них не хотелось. Но здесь, на этом маленьком перекресточке истории, именно они объективно представляли собою ее положительные силы.

И надо было стать выше своих чувств!

Именно такие же мясники, только из армейского политотдела, затолкали Рубина в тюрьму, не снеся его талантливости и честности. Именно такие же мясники, только из главной военной прокуратуры, за четыре года бросили в корзину десяток жалоб-воплей Рубина о том, что он не виновен.

И надо было стать выше своей несчастной судьбы !

И хотя э т и достойны были, чтоб их прямо здесь, в комнате, рвануть противопехотной гранатой, — надо было не им служить, а — стране своей, ее передовой идее, ее знамени.

Рубин скрутил пепельную голову окурку, утопил его в пепельнице и, стараясь смотреть на Севастьянова, который выглядел вполне прилично, сказал:

— Что ж. Попробуем. — Он вздохнул, тяжко вздохнул, будто дух переводил на крутой горе. — Но если у вас нет никого в подозрении, я не сумею найти. Не записывать же голоса всех москвичей. С кем сравнивать ?

Бульбанюк успокоил:

— Четверых мы накрыли тут же, около автомата. Но вряд ли это они. А из министерства могли знать вот эти пять. Я записал их коротенько тут, без званий, и не указываю занимаемых постов, чтобы вы не боялись обвинить кого.

Он протянул ему листок из записной книжки. Там было написано:

1. Петров.
2. Сяговитый.
3. Володин.
4. Шевронок.
5. Заварзин.

Рубин прочел и хотел взять список себе.

— Нет-нет ! — живо предупредил Севастьянов. — Список будет у Смолосидова.

Рубин отдал. Предосторожность эта его не обидела, но рассмешила. Как будто эти пять фамилий уже не горели в его памяти: Петров ! — Сяговитый ! — Володин ! — Шевронок ! — Заварзин ! Долгие лингвистические занятия настолько въелись в Рубина, что и сейчас он мимолетно отметил происхождение фамилий: « сяговитый » — далеко прыгающий, « шевронок » — жаворонок.

— Попрошу, — сухо сказал он, — от всех пятерых записать еще телефонные разговоры.

— Завтра вы их получите.

Рубин подумал.

— Еще: проставьте около каждого возраст. — Он кивнул на магнитофон. — Эта лента мне будет нужна непрерывно и уже сегодня.

— Она будет у лейтенанта Смолосидова. Вам с ним отведут отдельную комнату в совсекретном секторе.

— Ее уже освобождают, — сказал Смолосидов.

Опыт службы научил Рубина избегать опасного слова « когда ? », чтобы такого вопроса не задали ему самому. Он знал, что работы здесь — на неделю и на две, если же спросить начальство « когда надо ? » — скажут: « завтра к утру ». Он спросил:

— С кем еще я могу говорить об этой работе ?

Севастьянов переглянулся с Бульбанюком и ответил:

— Еще только с майором Ройтманом. С Фомой Гурьяновичем. И с самим министром.

Бульбанюк спросил:

— Вы мое предупреждение все помните ? Повторить ?

Рубин без разрешения встал и смеженными глазами посмотрел на генерала как на что-то мелкое.

— Я должен идти думать, — сказал он, не обращаясь ни к кому.

Никто не возразил.

Рубин в задумчивости вышел из кабинета, прошел мимо дежурного по институту и, ничего не замечая, стал спускаться по лестнице красными дорожками.

Надо будет и Глеба затянуть в эту новую группу. Как же работать, ни с кем не советуясь ? . . . Задача будет очень трудна. Работа над голосами только-только у них началась. Первая классификация. Первые термины.

Азарт ученого исследователя загорелся в нем.

По сути, это новая наука: найти преступника по отпечатку его голоса.

До сих пор находили по отпечатку пальцев. Назвали: дактилоскопия, наблюдение пальцев. Она складывалась столетиями.

А новую науку можно будет назвать голосо-наблюдение (так бы Сологдин назвал), ф о н о с к о п и я . И создать ее нужно в несколько дней.

Петров. Сяговитый. Володин. Шевронок. Заварзин.

34

НЕМОЙ НАБАТ

На мягком сиденьи, ослонясь о мягкую спинку, Нержин занял место у окна и отдался первому приятному покачиванию. Рядом с ним на двухместном диванчике сел Илларион Павлович Герасимович, физик-оптик, узкоплечий невысокий человек с тем подчеркнуто-интеллигентским лицом, да еще в пенснэ, с каким рисовали на плакатах шпионов.

— Вот, кажется, ко всему я привык, — негромко поделился с ним Нержин. — Могу довольно охотно садиться голой задницей на снег, и двадцать пять человек в столыпинском купе, и конвой ломает чемоданы — ничто уж меня не огорчает и не выводит из себя. Но тянется от сердца еще вот эта одна живая, никак не умирающая струнка — любовь к жене. Не могу, когда ее касаются. В год увидеться на полчаса — и не поцеловать ? За это свидание в душу наплюют.

Герасимович сдвинул тонкие брови. Они казались скорбными, даже когда он просто задумывался над физическими схемами.

— Вероятно, — ответил он, — есть только один путь к неуязвимости: убить в себе в с е привязанности и отказаться от в с е х желаний.

Герасимович был на шарашке в Маврино лишь несколько месяцев, и Нержин не успел близко познакомиться с ним. Но Герасимович нравился ему неизъяснимо.

Дальше они не стали разговаривать, а замолчали сразу: поездка на свидание — слишком великое событие в жизни арестанта. Приходит время будить свою забытую милую душу, спящую в усыпальнице. Подымаются воспоминания, которым нет ходу в будни. Собираешься с чувствами и мыслями целого года и многих лет, чтобы вплавить их в эти короткие минуты соединения с родным человеком.

Перед вахтой автобус остановился. Вахтенный сержант поднялся на ступеньки, всунулся в дверцу автобуса и дважды пересчитал глазами выезжавших арестантов (старший надзиратель еще прежде того расписался за семь голов на вахте).

Потом он полез под автобус, проверил, никто ли там не уцепился на рессорах (бесплотный бес не удержался бы там ни минуты!), ушел на вахту — и только тогда отворились первые ворота, а затем вторые. Автобус пересек зачарованную черту и, пришептывая веселыми шинами, побежал по обындевевшему шоссе мимо рощи.

Глубокотайности своего о б ъ е к т а обязаны были мавринские зэки этими поездками на свидания: приходящие родственники не должны были знать, где живут их живые мертвецы, везут ли их за сто километров или вывозят из Спасских ворот, привозят ли с аэродрома или с того света, — они могли видеть сытых, хорошо одетых людей с белыми руками, утерявших прежнюю разговорчивость, грустно улыбающихся и уверяющих, что у них все есть и им ничего не надо.

Эти свидания были что-то вроде древне-греческих стелл — плит-барельефов, где изображался и сам мертвец и те живые, кто ставили ему памятник. Но была на стеллах всегда маленькая полоса, отделявшая мир потусторонний от этого. Живые ласково смотрели на мертвого, а мертвый смотрел в Аид, смотрел не веселым и не грустным — прозрачным, слишком много узнавшим взглядом.

Нержин обернулся, чтобы с пригорка увидеть, чего почти не приходилось ему: здание, в котором они жили и работали, темно-кирпичное здание с шаровым темно-ржавым куполом над их полукруглой красавицей-комнатой и еще выше — ш е с т е р и к о м, как звали в древней Руси шестиугольные башни. С южного фасада, куда выходили Акустическая, Семерка, конструкторское бюро и кабинет Яконова — ровные ряды неоткрывающихся окон выглядели равномерно-бесстрастно, и окраинные жители и москвичи, приезжающие по воскресеньям в рощу, не могли бы представить, сколько незаурядных жизней, растоптанных порывов, взметенных страстей и государственных тайн было собрано, стиснуто, сплетено и докрасна накалено в этом подгороднем одиноком старинном здании. И даже внутри пронизывали здание тайны. Комната не знала о комнате. Сосед о соседе. А оперуполномоченные не знали о женщинах — о двадцати двух неразумных, безумных женщинах, вольных сотрудницах, допущенных в это суровое здание, — как эти женщины не знали друг о друге, и как могло бы знать о них одно небо, а впоследствии история, что все они двадцать две под занесенным мечом и под постоянное наговаривание инструкций или нашли здесь

себе потаенную привязанность, кого-то любили и целовали украдкой, или пожалели кого-то и связали с семьей.

Открыв темно-красный порсигар, Глеб закурил с тем особенным удовольствием, которое приносят папиросы, зажженные в нерядовые минуты жизни.

И хоть мысль о Наде сейчас была высшая, поглощающая мысль, — его телу, наслажденному необычностью поездки, хотелось только ехать, ехать и ехать... Чтобы время остановилось, а шел бы автобус, шел бы и шел, по этой оснеженной дороге с проложенными черными прокатинами от шин, мимо этого белого парка в инее, густо закурчавевших его ветвей, мимо там и сям мелькающих детишек, говора которых Нержин не слышал, кажется, с начала войны. Детских голосов не приходится слышать ни солдатам, ни арестантам.

Надя и Глеб жили вместе один единственный год. Это был год — на бегу с портфелями. И он, и она учились на пятом курсе, писали курсовые работы, сдавали государственные экзамены.

Потом сразу пришла война.

И вот у кого-то теперь бегают смешные коротконогие малыши.

А у них — нет...

Один малышок хотел перебегать шоссе. Шофер резко вильнул, чтоб объехать его. Малышок испугался, остановился и приложил ручонку в синей варежке к раскрасневшемуся лицу.

И Нержин, годами не думавший о детях, вдруг ясно понял, что Сталин обокрал его и Надю на детей. Даже кончится срок, даже будут они снова вместе — тридцать шесть, а то и сорок лет будет жене. И поздно для ребенка.

Еще на пруде десятки разноцветных ребятишек катались на коньках.

Автобус свернул в мелкие улицы и подрагивал на булыжнике.

В описании тюрем всегда старались сгущать ужасы. А не страшнее ли, когда ужаса нет? Когда ужас — в серенькой методичности лет. В том, что забываешь, что единственная жизнь, данная тебе на земле — изломана. И готов простить это кому-то тупорылому. И мысли заняты тем, как с тюремного подноса захватить не серединку, а г о р б у ш к у, как получить в очередную баню нерванное и немаленькое белье.

Это все надо пережить. Выдумать этого нельзя. Чтобы написать:

« Сижу за решеткой, в темнице сырой »

или — « Отворите мне темницу, дайте черноглазую девицу » — почти в тюрьме сидеть не надо, легко всё вообразить. Но это — примитив. Только непрерывными бесконечными г о д а м и воспитывается подлинное ощущение тюрьмы . . .

Надя пишет в письме: « Когда ты вернешься . . . » В том и ужас, что в о з в р а т а не будет. В е р н у т ь с я — нельзя. За совместных четырнадцать лет фронта и тюрьмы ни единой клеточки тела, может быть, не останется той, что была. Можно только прийти з а н о в о . Придет новый незнакомый человек, носящий фамилию прежнего мужа, и она увидит, что того, ее первого и единственного, которого она четырнадцать лет ожидала, замкнувшись — того человека уже нет, он испарился — по молекулам.

Хорошо, если в той, второй, жизни они еще раз полюбят друг друга.

А если нет ? . .

Уже окраинные московские улицы тянулись за окнами. Ночами по рассеянному зареву в небе им казалось в их заточении, что Москва вся — блестит, что она — ослепительна. А здесь чередили одноэтажные и двухэтажные давно не ремонтированные, с облезлой штукатуркой дома, наклонившиеся деревянные заборы. Верно с самой войны так и не притрагивались к ним, на что-то другое потратив усилия, не доставшие сюда. А где-нибудь от Рязани до Рузаевки — какие там крыши ? там какие дома ?

Автобус выскочил на обширную многолюдную вокзальную площадь и пробежал ее. Сновали трамваи, троллейбусы, автомобили, люди. Милиция была в новой ярко-красно-фиолетовой форме, которой никогда не видел Нержин.

. . . Непостижимо, как Надя может столько лет его ждать? Ходить среди этой суетливой, всё что-то настигающей толпы, встречать на себе мужские взгляды — и никогда не покачнуться сердцем ? Глеб представлял, что если бы, наоборот, Надю посадили в тюрьму, а он сам был на воле — он и года, может быть, не выдержал бы. Никогда он раньше не предполагал в своей слабой подруге такой гранитной решимости. Долго он сомневался в ней, но сейчас ощущал уже так, что ждать для Нади стало как будто и нетрудно.

Еще с краснопресненской пересылки, после полугода следствия впервые получив право на письмо, — обломком грифеля на истрепанной оберточной бумаге, сложенной треугольником, без марки, Глеб написал Наде:

« Любимая моя ! Четыре года войны ты ждала меня — не кляни, что ждала напрасно: теперь будет еще десять лет. Всю жизнь я буду, как солнце, вспоминать наше недолгое счастье. А ты будь свободной с этого дня. Нет нужды, чтобы гибла и твоя жизнь. Выходи замуж ».

Но изо всего письма Надя поняла только одно:

« Значит, ты меня разлюбил ! Как ты можешь отдать меня другому ? »

Женщины ! . . Даже на фронт, на заднепровский плацдарм, она добиралась к нему — с поддельным красноармейским билетом, в широкой для нее мужской гимнастерке, подвергаясь допросам и обыскам заградотрядов. Она приезжала так, чтоб, если можно, остаться с мужем до конца войны — если его убьют, так и самой умереть, если он выживет, так и самой выжить.

На плацдарме, недавно смертном, а тут, в тихой обороне, поросшем беззаботными травами, они урывали короткие денечки своего разорванного счастья.

Но армии проснулись, пошли в наступление — и Наде пришлось ехать домой — опять в той же неуклюжей гимнастерке, с тем же поддельным красноармейским билетом. Полуторка увозила ее по лесной просеке, и она из кузова еще долго-долго махала ему.

. . . На остановках грудились беспорядочные очереди. Когда подходил троллейбус, одни стояли в хвосте, другие проталкивались локтями. У Садового кольца полупустой заманчивый голубой автобус остановился при красном светофоре, миновав общую остановку. И какой-то ошалевший москвич бросился к нему бегом, вскочил на подножку, толкал дверь и кричал:

— На Котельническую набережную идет ? На Котельническую ? ! . .

— Нельзя ! Нельзя ! — махал ему рукой надзиратель.

— Идет ! Садись, паря, подвезем ! — кричал Иван-стеклодув и громко смеялся. (Иван был б ы т о в и к, и на свидание запросто ездил каждый месяц).

Засмеялись и все зэки. Москвич не мог понять, что это за автобус и почему нельзя. Но он привык, что часто бывает н е л ь з я — и соскочил. И тогда отхлынул пяток еще набежавших пассажиров.

Голубой автобус свернул по Садовому кольцу налево. Значит ехали не в Бутырки, как обычно. Очевидно, в Таганку.

. . . Никогда бы Нержин не расставался с женой, и безмятежно прошла бы жизнь его в численном интегрировании

дифференциальных уравнений, если бы родился он не в России, или не в те годы, или был бы не такой.

Это в « Девяносто третьем », у Гюго. Лантенак сидит на дюне. Он видит несколько колоколен сразу, и на всех на них — смятение, все колокола гудят в набат, но ураганный ветер относит звуки, и слышит он — безмолвие.

Так каким-то странным слухом с отрочества слышал Нержин этот немой набат — все живые звоны, стоны, крики, клики, вопли погибающих, отнесенные постоянным настойчивым ветром от людских ушей. Глеб вырос, не прочтя ни единой книги Майн Рида, но уже двенадцати лет он развернул громадные « Известия », которыми мог бы укрыться с головой, и прочел процесс инженеров-вредителей. И этому процессу мальчик сразу же не поверил. Глеб не знал — почему, он не мог охватить этого рассудком, но он явственно различал, что всё это — ложь, ложь. Он знал инженеров в знакомых семьях — и не мог представить себе этих людей, чтобы они не строили, а вредили.

И в тринадцать и в четырнадцать лет, сделав уроки, Глеб не бежал на улицу, а садился читать газеты. Он знал по фамилии партийных деятелей, их посты, красных полководцев, наших послов в каждой стране и иностранных послов у нас. Он читал все речи на съездах, и воспоминания старых большевиков, и сменяющиеся истории партии — их прошло несколько, и они различались. Да ведь и в школе им в четвертом классе уже толковали элементы политэкономии, а с пятого обществоведение было едва ли не каждый день. Ему давали читать « Памяти Герцена », а он листал и листал ленинский том и не мог остановиться.

Потому ли, что ухо его было молодо или потому, что он читал больше, чем было в газетах — но так ясно он слышал фальшь в непомерных, в захлебывающихся превознесениях одного человека, всегда одного. Если он — все, то остальные — ничто ? Из чистого протеста Глеб не мог им восхищаться.

Глеб был всего лишь девятиклассником, когда декабрьским утром он протиснулся к газетной витрине и прочел, что убили Кирова. И вдруг почему-то, как в пронзающем свете, ему стало ясно, что убил Кирова — Сталин, и никто другой. Потому что только ему это могло быть выгодно ! И щемящее одиночество охватило его — взрослые мужчины, толпившиеся рядом, не понимали такой простой истины !

И вот те самые старые большевики, которые делали всю

революцию, которые только и видели жизнь свою в ней — стали десятками и сотнями уходить в небытие: одни, не домедляя до ареста, отравлялись на городской квартире; другие вешались на даче; но чаще и больше всего — давали себя арестовать, и выходили на суд и необъяснимо каялись, многословно поносили себя самыми последними ругательствами и признавались в службе всем на свете иностранным разведкам. Это было так чрезмерно, так грубо, так через край — что только слоновье ухо могло здесь не слышать лжи!

Неужели же люди не слышали?.. Русские писатели, смевшие вести свою родословную от Пушкина и Толстого, удручающе-приторно хвалословили тирана. И русские композиторы, воспитанные на улице Герцена, толкаясь, совали к подножью свои угодливые песнопения.

Для Глеба Нержина всю его молодость гремел немой набат! — и неисторжимо укоренялось в нем решение: узнать и понять! узнать и понять!

И вечерами на бульвары родного города, где приличнее было бы вздыхать о девушках, Глеб ходил мечтать, как он когда-нибудь во всем разберется и, может быть, побудет даже в тех стенах, где эти люди почему-то все, как один, брали на себя предсмертное самооболгание. Может быть в тех стенах можно это понять?

Он еще не знал тогда, — ни как называется та главная тюрьма, ни что желания наши обязательно исполняются, если они по-настоящему велики.

Шли годы. Все сбылось и исполнилось в жизни Глеба Нержина, хотя это оказалось совсем не легко и не приятно. Он был схвачен и привезен — именно туда, и встретил тех самых, еще уцелевших, кто не удивлялся его догадкам, а имел в сотню раз больше, что рассказать.

Все сбылось и исполнилось, но за этим — не осталось Нержину ни науки, ни времени, ни жизни, ни — жены... Одна большая страсть, раз занявши нашу душу, жестоко измещает все остальное. Двум страстям нет места в нас.

... Автобус продребезжал по мосту через Яузу и еще шел по каким-то бесконечным кривым неласковым улицам.

Нержин очнулся:

— Так нас и не в Таганку? Куда такое? Ничего не понимаю.

Герасимович, отрываясь от таких же невеселых мыслей, ответил:

— Это — Лефортовский Вал. Подъезжаем к Лефортовской тюрьме.

Автобусу открыли ворота. Машина вошла в служебный дворик, остановилась перед двухэтажным зданием, пристроенным к высокой тюрьме. В дверях здания уже стоял подполковник Климентьев — молодо, без шинели и шапки.

Было, правда, маломорозно. Под густым облачным небом распростерлась безветренная зимняя хмурь.

По знаку подполковника надзиратели вышли из автобуса, выстроились рядком (только двое в задних углах все так же сидели с пистолетами в карманах) —и арестанты, не имея времени оглядеть главный корпус тюрьмы, перешли вслед за подполковником в здание.

Там оказался длинный узкий коридор, а в него — семь распахнутых дверей. Подполковник шел впереди и распоряжался решительно, как в сражении:

— Герасимович — сюда ! Лукашенко — в эту ! Нержин — третья ! . . .

И заключенные сворачивали по одному.

И так же по одному распределил к ним Климентьев семерых надзирателей. К Нержину попал переодетый гангстер.

Все как одна комнатки были — следственные кабинеты: и без того дававшее мало света еще обрешеченное окно; кресло и стол следователя у окна; маленький столик и табуретка подследственного.

Кресло следователя Нержин перенес ближе к двери и поставил для жены, а себе взял неудобную маленькую табуретку со щелью, которая грозила защемить. На подобной табуретке, за таким же убогим столиком, он отсидел когда-то шесть месяцев следствия.

Дверь оставалась открытой. Нержин услышал, как по коридору простучали легкие каблучки жены, раздался ее милый голос:

— Вот в эту ?

И она вошла.

35

ИЗМЕНЯЙ МНЕ

Когда побитый грузовик, подпрыгивая на обнаженных корнях сосен и рыча в песке, увозил Надю с Фронта — а Глеб стоял вдали на просеке, и просека поглощала его, становясь все длиннее, темнее, у́же — кто бы сказал им, что разлука их не только не кончится с войной, а едва лишь начинается ?

Ждать мужа с войны — всегда тяжело, но тяжелее всего — в последние месяцы перед концом: ведь осколки и пули не разбираются, сколько провоёвано человеком.

Именно тут и прекратились письма от Глеба.

Надя выбегала высматривать почтальона. Она писала мужу, писала его друзьям, писала его начальникам — все молчали, как заговоренные.

Весной сорок пятого года что ни вечер — лупили в небо артиллерийские салюты, брали, брали, брали города — Кенигсберг, Бреслау, Франкфурт, Берлин, Прагу.

А писем — не было. Свет мерк. Ничего не хотелось делать. Но нельзя было опускаться ! Если он жив и вернется — он упрекнет ее в упущенном времени ! И она изможда́ла себя целодневным трудом, и готовилась в аспирантуру по химии, и учила иностранные языки и диалектический материализм — и только ночью плакала.

Вдруг военкомат впервые не оплатил Наде по офицерскому аттестату.

Это должно было значить — убит.

И тотчас же кончилась четырехлетняя война ! И безумные от радости люди бегали по безумным улицам. И кто-то стрелял из пистолетов в воздух. И все динамики Советского Союза разносили победные марши над израненной, голодной страной.

Ей не сказали — убит, сказали — пропал без вести.

И человеческое сердце, никогда не желающее примириться с необратимым, стало придумывать небылицы — может быть, заслан в глубокую разведку ? Может быть, выполняет

с п е ц з а д а н и е ? Поколению, воспитанному в подозрительности и секретности, мерещились тайны там, где их не было.

Шло знойное южное лето, но солнце с неба не светило вдове.

А она все так же учила химию, языки и диамат, боясь не понравиться ему, когда он вернется.

И прошло четыре месяца после войны. И пора была признать, что этот в муках любимый человек уже не живет на земле. И пришел потрепанный треугольник с Красной Пресни: « Единственная моя ! Теперь будет еще десять лет ! ».

Близкие не все могли ее понять: она узнала, что муж в тюрьме — и осветилась, повеселела. Она опять была не одна на земле ! Какое счастье, что не двадцать пять и не пятнадцать ! Только из могилы не приходят, а с каторги возвращаются !

Теперь, когда не было смерти, когда не было и страшной внутренней измены, а только была петля на шее, а только глыба на плечах — новые силы прихлынули к Наде. Он был в Москве — значит, надо было ехать в Москву и спасать его ! (Представлялось так, что достаточно оказаться рядом, и уже можно будет спасать).

Но — е х а т ь ? Потомкам никогда не вообразить, что значило ехать тогда, а особенно — в Москву. Сперва (как и в тридцатые годы) гражданин должен был документально доказать, зачем ему не сидится на месте, по какой служебной надобности он вынужден обременить собою транспорт. После этого ему выписывался пропуск, дававший право неделю таскаться по вокзальным очередям, спать на заплеванном полу или совать пугливую взятку у задних дверец кассы.

Надя изобрела — поступать в недостижимую московскую аспирантуру. И, переплатив на билете втрое, самолетом улетела в Москву, держа на коленях портфель с учебниками и валенки для ожидавшей мужа тайги.

Это была та вдохновенная вершина жизни, когда какие-то добрые силы помогают нам, и все нам удается. Высшая аспирантура страны приняла безвестную провинциалочку без имени, без денег, без связей, без телефонного звонка . . .

И это оказалось легче, чем добиться свидания на пересылке Красная Пресня ! Свидания не дали. Свиданий вообще не давали: все каналы ГУЛАГа были перенапряжены — шел с запада поток арестантов, поражавший воображение.

Но у досчатой вахты, ожидая ответа на свои тщетные заявления, Надя стала свидетелем, как из деревянных некрашенных ворот тюрьмы выводили колонну арестантов на

работу к пристани у Москвы-реки. И мгновенным просветленным загадыванием, которое приносит удачу, Надя загадала: Глеб — здесь!

Выводили человек двести. Все они были в том промежуточном состоянии, когда человек расстается со своей «вольной» одеждой и вживается в серо-черную трепаную одежду зэка. У каждого оставалось еще что-нибудь, напоминавшее о прежнем: военный картуз с цветным околышком, но без ремешка и звездочки, или хромовые сапоги, до сих пор не проданные за хлеб и не отнятые урками, или шелковая рубашка, расползшаяся на спине. Все они были наголо стрижены, кое-как прикрывали головы от летнего солнца, все не бриты, все — худы, некоторые до изнурения.

Надя не обегала их взглядом — она сразу почувствовала, а затем и увидела Глеба: он шел с расстегнутым воротником в шерстяной гимнастерке, еще сохранившей на обшлагах красные ободочки артиллериста, а на груди — невылинявшие подорденские пятна. Он держал руки за спиной, как все. Он не смотрел ни на открывающиеся с горки солнечные просторы, казалось бы, столь манящие арестанта, ни по сторонам — на женщин с передачами (на пересылке не получали писем, и он не знал, что Надя в Москве). Такой же желтый, такой же исхудавший, как его товарищи, он весь сиял и с одобрением, с упоением слушал соседа — седобородого статного старика.

Надя побежала рядом с колонной и выкрикивала имя мужа — но он не слышал за разговором и заливистым лаем охранных собак. Она, задыхаясь, бежала, чтобы еще и еще впитывать его со стороны лица. Так жалко было его, что он месяцами гниет в темных вонючих камерах! Такое счастье было видеть вот его, рядом! Такая гордость была, что он не сломлен! Такая обида была, что он совсем не горюет, он о жене забыл! И, впервые, прозрела боль за себя — что он е е обездолил, что жертва — не он, а о н а.

И все это был один только миг!.. На нее закричал конвой, страшные дрессированные человекоядные псы прыгали на сворках, напруживались и лаяли с докрасна налитыми глазами. Надю отогнали. Колонна втянулась на узкий спуск — и негде было протолкнуться рядом с нею. Последние же конвойные, замыкавшие запрещенное пространство, держались далеко позади, и, идя вслед им, Надя уже не нагнала колонны — та спустилась под гору и скрылась за другим сплошным забором.

Вечером и ночью, когда жители Красной Пресни не могли этого видеть, — эшелоны телячьих вагонов подавались на пересылку; конвойные команды с болтанием фонарей, густым лаем собак, отрывистыми выкриками, матом и побоями рассаживали арестантов по сорок человек в вагон и тысячами увозили на Печору, на Инту, на Воркуту, в Совгавань, в Норильск, в иркутские, читинские, красноярские, новосибирские, среднеазиатские, карагандинские, джезказганские, прибалхашские, иртышские, тобольские, уральские, саратовские, вятские, вологодские, пермские, сольвычегодские, рыбинские, потьминские, сухобезводнинские и еще многие безымянные мелкие лагеря. Маленькими же партиями, по сто и по двести человек, их отвозили днем в кузовах машин в Серебряный Бор, в Новый Иерусалим, в Паршино, в Ховрино, в Бескудниково, в Химки, в Дмитров, в Солнечногорск, а ночами — во многие места самой Москвы, где за сплотками досок деревянных заборов, за оплеткой колючей проволоки они строили великую столицу . . .

Судьба послала Наде неожиданную, но заслуженную ею награду: случилось так, что Глеба не увезли в Заполярье, а выгрузили в самой Москве — в маленьком лагерьке, строившем дом для начальства МВД — полукруглый дом на Калужской заставе.

Когда Надя, не чувствуя себя, неслась к нему туда на первое свидание, — ей было так, будто уже наполовину его освободили.

По большой Калужской улице сновали лимузины, порой и дипломатические; автобусы и троллейбусы останавливались у конца решётки Нескучного Сада, где была вахта лагеря, похожая на простую проходную строительства; высоко на каменной кладке копошились какие-то люди в грязной рваной одежде — но строители все имеют такой вид, и никто из прохожих и проезжих не догадывался, что это — зэки.

А кто догадывался — тот молчал.

Стояло время дешевых денег и дорогого хлеба. Надя недоедала, продавала вещи — и носила мужу передачи. Передачи всегда принимали. Свидания же давали не часто — Глеб не вырабатывал нормы.

На свиданиях нельзя было его узнать. Как на всех заносчивых людей, несчастье оказало на него благое действие. Он помягчел, целовал руки жены и следил за искрами ее глаз. Это была уж ему не тюрьма ! Лагерная жизнь, своей беспощадностью превосходящая все, что известно из жизни лю-

доедов и крыс, гнула его. Но он сознательно вел себя к той грани, за которой не жалко себя, и с искренним упорством повторял:

— Милая ! Ты не знаешь, за что берешься. Ты будешь ждать меня год, даже три, даже пять — но чем ближе будет конец, тем трудней тебе будет его дождаться. Последние годы будут самые невыносимые. Детей у нас нет. Так не губи свою молодость — оставь меня ! Выходи замуж.

Надя печально качала головой:

— Ты ищешь предлога освободиться от меня ?

Заключенные жили в том же доме, который строили, в его неотделанном крыле. Женщины, привозившие передачи, сойдя с троллейбуса, видели поверх забора два-три окна мужского общежития и толпящихся у окон мужчин. Иногда там вперемежку с мужчинами показывались лагерные шалашовки. Одна шалашовка в окне обняла своего лагерного мужа и закричала через забор его законной жене:

— Хватит тебе шляться, проститутка! Отдавай последнюю передачу — и уваливай ! Еще раз на вахте тебя увижу — морду расцарапаю !

Приближались первые послевоенные выборы в Верховный Совет. К ним в Москве готовились усердно. Держать п я т ь д е с я т в о с ь м у ю с т а т ь ю в Москве не хотелось (работники были хороши) и кололось (притуплялась бдительность). Чтоб напугать всех, надо было хоть часть отправить. По лагерям ползли грозные п а р а ш и (слухи) о скорых этапах на Север. Заключенные пекли в дорогу картошку, у кого была.

Оберегая избирателей, перед выборами запретили все свидания в московских лагерях. Надя передала Глебу полотенце, а в нем зашитую записочку:

« Возлюбленный мой ! Сколько бы лет ни прошло, и какие бы бури ни пронеслись над нашими головами (Надя любила выражаться возвышенно), твоя девочке будет тебе верна, пока она только жива. Говорят, что вашу « статью » отправят. Ты будешь в далеких краях, на долгие годы оторван от наших свиданий, от наших взглядов, украдкою брошенных через проволоку. Если в той безысходно-мрачной жизни развлечения смогут развеять тяжесть с твоей души — что ж, я смирюсь, я разрешаю тебе, милый, и даже настаиваю — изменяй мне, встречайся с другими женщинами. Только бы ты сохранил бодрость ! Я не боюсь ! ведь все равно ты вернешься ко мне, правда ? »

36

КРАСИВО СКАЗАТЬ — В ТАЙГУ!

Еще не узнав и десятой доли Москвы, Надя хорошо узнала расположение московских тюрем — эту горестную географию. Тюрьмы оказались расположены по столице равномерно, продуманно, так что от каждой точки Москвы до какой-нибудь тюрьмы было близко. То с передачами, то за справками, то на свидания, Надя постепенно научилась распознавать всесоюзную Большую Лубянку и областную Малую, узнала, что следственные тюрьмы есть при каждом вокзале и называются КПЗ, побывала не раз и в Бутырской тюрьме, и в Таганской, знала, какие трамваи (хоть это и не написано на их маршрутных табличках) идут к Лефортовской и подвозят к Красной Пресне. А с тюрьмой Матросская Тишина, в семнадцатом году разоренной, а потом восстановленной и укрепленной, она и сама жила рядом.

С тех пор, как Глеба вернули из далекого лагеря снова в Москву, на этот раз не в лагерь, а в какое-то удивительное заведение — спецтюрьму, где их кормили превосходно, а занимались они науками, — Надя опять стала изредка видеться с мужем. Но не полагалось женам знать, где именно содержатся их мужья — и на редкие свидания их привозили в разные тюрьмы Москвы.

Веселей всего были свидания в Таганке. Тюрьма эта была не политическая, а воровская, и порядки там были поощрительные. Свидания происходили в надзирательском клубе, где тюремщики общались с музами посредством аккордеонов; арестантов подвозили по безлюдной улице Каменщиков в открытом автобусе, жены сторожили на тротуаре и еще до начала официального свидания каждый мог обнять жену, задержаться около неё, сказать, чего не полагалось по инструкции, и даже передать из рук в руки. И само свидание шло непринужденно, сидели рядышком, и слушать разговоры четырех пар приходился один надзиратель.

Бутырки — эта, по сути, тоже мягкая веселая тюрьма, казалась женам леденящей. Заключенным, попадавшим в

Бутырки с Лубянок, сразу радовала душу общая расслабленность дисциплины: в боксах не было режущего света, по коридорам можно было идти, не держа рук за спиной, в камере можно было разговаривать в полный голос, подглядывать под намордники, днем лежать на нарах, а под нарами даже спать. Еще было мягко в Бутыках: можно было ночью прятать руки под шинель, на ночь не отбирали очков, пропускали в камеру спички, не выпотрашивали из каждой папиросины табак, а хлеб в передачах резали только на четыре части, не на мелкие кусочки.

Жены не знали обо всех этих поблажках. Они видели крепостную стену в четыре человеческих роста, протянувшуюся на квартал по Новослободской. Они видели железные ворота между мощными бетонными столпами, к тому ж ворота необычайные: медленно-раздвижные, механически открывающие и закрывающие свой зев для воронков. А когда женщин пропускали на свидание, то вводили сквозь каменную кладку двухметровой толщины и вели меж стен в несколько человеческих ростов в обход страшной Пугачевской башни. Свидания давали: обыкновенным зэкам — через две решетки, между которыми ходил надзиратель, словно и сам посаженный в клетку; зэкам же высшего круга — шарашечным, — через широкий стол, под которым глухая разгородка не допускала соприкасаться ногами и сигналить, а у торца стола надзиратель недреманной статуей вслушивался в разговор. Но самое угнетающее в Бутырках было, что мужья появлялись как бы из глубины тюрьмы, на полчаса они как бы выступали из этих сырых толстых стен, как-то призрачно улыбались, уверяли, что живется им хорошо, ничего им не надо — и опять уходили в эти стены.

В Лефортово же свидание было сегодня в первый раз.

Вахтер поставил птичку в списке и показал Наде на одноэтажное длинное здание.

В голой комнате с двумя длинными скамьями и голым столом уже ожидало несколько женщин. На стол были составлены плетеная корзинка и базарные сумки из кирзы, как видно полные все-таки продуктами. И, хотя шарашечные зэки были вполне сыты, Наде, пришедшей с невесомым «хворостом» в кулечке, стало обидно и совестно, что даже раз в год она не может побаловать мужа вкусненьким. Этот хворост, рано вставши, когда в общежитии еще спали, она жарила из оставшейся у нее белой муки и сахара на оставшемся масле. Подкупить же конфет или пирожных она уже

не успела, да и денег до получки оставалось мало. Со свиданием совпал день рождения мужа — и подарить было нечего! Хотелось бы подарить ему хорошую книгу, но невозможно было и это после прошлого свидания: тогда Надя принесла ему чудом достанную книгу стихов Есенина. Такая же точно у мужа была на фронте и пропала при аресте. Намекая на это, Надя написала на титульном листе:

« Так и все утерянное к тебе вернется ».

Но подполковник Климентьев при ней тут же вырвал заглавный лист с надписью и вернул его, сказав, что никакого текста в передачах быть не может, текст должен идти отдельно через цензуру.

Узнав, Глеб проскрежетал и попросил: « Не передавай мне больше книг! »

Вокруг стола сидело четверо женщин, из них одна молодая с трехлетней девочкой. Никого из них Надя не знала. Она поздоровалась, те ответили и продолжали оживленно разговаривать.

У другой же стены на короткой скамье отдельно сидела женщина лет тридцати пяти-сорока в очень не новой шубе, в сером головном платке, с которого ворса начисто вытерлась, и всюду обнажилась простая клетка вязки. Она заложила ногу за ногу, руки свела кольцом и напряженно смотрела в пол перед собой. Вся поза ее выражала решительное нежелание быть затронутой и разговаривать с кем-либо. Ничего похожего на передачу у нее не было ни в руках, ни около.

Компания готова была принять Надю, но Наде не хотелось к ним — она тоже дорожила своим особенным настроением в это утро. Подойдя к одиноко сидящей женщине, она спросила ее, ибо негде было на короткой скамье сесть поодаль:

— Вы разрешите ?

Женщина подняла глаза. Они совсем не имели цвета. В них не было понимания — о чем спросила Надя. Они смотрели на Надю и мимо нее.

Надя села, кисти рук свела в рукавах, отклонила голову набок, ушла щекой в свой лжекаракулевый воротник, И тоже замерла.

Она хотела бы сейчас ни о чем другом не слышать, и ни о чем другом не думать, как только о Глебе, о разговоре, который вот будет у них, и о том долгом, что нескончаемо уходило во мглу прошлого и мглу будущего, что было не он, не она — он и она вместе, и называлось по обычаю затёртым словом « любовь ».

Но ей не удавалось выключиться и не слышать разговоров у стола. Там рассказывали, чем кормят мужей — что утром дают, что вечером, как часто стирают им в тюрьме белье — откуда-то всё это знали! неужели тратили на это жемчужные минуты свиданий? Перечисляли, какие продукты и по сколько граммов или килограммов принесли в передачах. Во всем была та цепкая женская забота, которая делает семью — семьей и поддерживает род человеческий. Но Надя не подумала так, а подумала: как это оскорбительно — обыденно, жалко разменивать великие мгновения! Неужели женщинам не приходило в голову задуматься лучше — а кто смел заточить их мужей? Ведь мужья могли бы быть и не за решеткой и не нуждаться в этой тюремной еде!

Ждать пришлось долго. Назначено им было в десять, но и до одиннадцати никто не появлялся.

Позже других, опоздав и запыхавшись, пришла седьмая женщина, уже седоватая. Надя знала ее по одному из прошлых свиданий — то была жена гравера — его третья и она же первая жена. Она сама охотно рассказывала свою историю: мужа она всегда боготворила и считала великим талантом. Но он сказал, что недоволен ее психологическим комплексом, бросил ее с ребенком и ушел к другой. С той рыжей он прожил три года, и его взяли на войну. На войне он сразу попал в плен, но в Германии жил свободно и там, увы, у него тоже были увлечения. Когда он возвращался из плена, его на границе арестовали и дали ему десять лет. Из Бутырской тюрьмы он сообщил той, рыжей, что сидит, что просит передач, но рыжая сказала: «лучше б он изменил мне, чем Родине! мне б тогда легче было его простить». Тогда он взмолился к ней, к первенькой — и она стала носить ему передачи, и ходить на свидания — и теперь он умолял о прощении и клялся в вечной любви.

Наде запомнилось, как при этом рассказе жена гравера с горечью предсказывала: должно быть, если мужья сидят в тюрьме, то вернее всего — изменять им, тогда после выхода они будут нас ценить. А иначе они будут думать — мы никому не были нужны это время, нас просто никто не взял.

Сейчас пришедшая изменила направление разговора за столом. Она стала рассказывать о своих хлопотах с адвокатами в юридической консультации на Никольской улице. Консультация эта долго называлась «Образцовой». Адвокаты ее брали с клиентов многие тысячи и часто посещали московские рестораны, оставляя дела клиентов в прежнем

положении. Наконец в чем-то они переступили меру. Их всех арестовали, всем нарезали по десять лет, сняли вывеску « образцовая », но уже в качестве необразцовой консультация наполнилась новыми адвокатами, и те опять начали брать многие тысячи, и опять оставляли дела клиентов в том же положении. Необходимость больших гонораров адвокаты с глазу на глаз объясняли тем, что надо делиться, что они берут не только себе. Проверить их было нельзя, они может быть и ни с кем не делились, но многозначительно намекали, что — делятся, что дела, мол, проходят через много рук. Перед бетонной стеной закона беспомощные женщины ходили как перед четырехростовой стеной Бутырок — взлететь и перепорхнуть через нее не было крыльев, оставалось кланяться каждой открывающейся калиточке. Ход служебных дел за стеной казался таинственными проворотами грандиозной машины, из которой — вопреки очевидности вины, вопреки противоположности обвиняемого и тех, кто его засадил — могут иногда, как в лотерее, чистым чудом выскакивать счастливые выигрыши. И так не за выигрыш, но за мечту о выигрыше, женщины платили адвокатам.

Жена гравера неуклонно верила в конечный успех. Из ее слов было понятно, что она собрала тысяч сорок за продажу комнаты и пожертвований от родственников, и все эти деньги переплатила адвокатам; адвокатов сменилось уже четверо, подано было три просьбы о помиловании и пять обжалований по существу, она следила за движением всех этих жалоб, и во многих местах ей обещали благоприятное рассмотрение. Она по фамилии знала всех дежурных прокуроров трех главных прокуратур и дышала атмосферой приемных Верховного Суда и Верховного Совета. По свойству многих доверчивых людей, а особенно женщин, она переоценивала значение каждого обнадеживающего замечания и каждого невраждебного взгляда.

Надо писать ! Надо всем п и с а т ь ! — энергично повторяла она, склоняя и других женщин ринуться по ее пути. — Мужья наши страдают. Свобода не придет сама. Надо писать !

И этот рассказ тоже отвлек Надю от ее настроения и тоже больно задел. Слушающим воодушевленную речь стареющей жены гравера невольно верилось, что она опередила и обхитрила их всех, что она непременно добудет своего мужа из тюрьмы — и рождался упрек: а я ? почему я не смогла так ? почему я не оказалась такой же верной подругой ?

Надя только один раз имела дело с «образцовой» консультацией, составила с адвокатом только одну просьбу, заплатила ему только две с половиной тысячи — и, наверное, мало: он обиделся и ничего не сделал.

— Да, — сказала она негромко, как бы почти про себя, — все ли мы сделали? Чиста ли наша совесть?

За столом ее не услышали в общем разговоре. Но соседка вдруг резко повернула голову, как будто Надя толкнула ее или оскорбила.

— А что можно сделать? — враждебно отчетливо произнесла она. — Ведь это все бред! Пятьдесят восьмая это — х р а н и т ь вечно! Пятьдесят восьмая это — не преступник, а в р а г! Пятьдесят восьмую не выкупишь и за миллионы!

Лицо ее было в морщинах. В голосе звенело отстоявшееся очищенное страдание.

Сердце Нади раскрылось навстречу этой старшей женщине. Тоном, извиняющимся за возвышенность своих слов, она возразила:

— Я хотела сказать, что мы не отдаем себя до конца... Ведь жены декабристов ничего не жалели, бросали, шли... Если не освобождения — может быть можно бы выхлопотать ссылку? Я б согласилась, чтоб его сослали в какую угодно тайгу, за Полярный круг, где солнце никогда не бывает — я бы поехала за ним, все бросила...

Женщина со строгим лицом монахини, в облезшем сером платке, с удивлением и уважением посмотрела на Надю:

— У вас есть еще силы ехать в тайгу? Какая вы счастливая! У меня уже ни на что не осталось сил. Кажется, любой благополучный старик согласись взять меня замуж — и я бы пошла.

Надя задрожала:

— И вы могли бы бросить?.. за решеткой?..

Женщина взяла Надю за рукав шубы:

— Милая! Легко было любить в девятнадцатом веке! Жены декабристов — разве совершили какой-нибудь подвиг? Отделы кадров — вызывали их заполнять анкеты? Им разве надо было скрывать свое замужество как заразу? — чтобы не выгнали с работы, чтобы не отняли эти единственные пятьсот рублей в месяц? В коммунальной квартире — их бойкотировали? Во дворе у колонки с водой — шипели на них, что они враги народа? Родные матери и сестры — толкали их к трезвому рассудку и к разводу? О, напротив! Их сопровождал ропот восхищения лучшего общества!.. Сни-

сходительно дарили они поэтам легенды о своих подвигах. Уезжая в Сибирь в собственных дорогих каретах, они не теряли вместе с московской пропиской несчастные девять квадратных метров своего последнего угла и не задумывались о таких мелочах впереди, как замаранная трудовая книжка, чуланчик и нет кастрюли, и черного хлеба нет!.. Это красиво сказать — в тайгу! Вы, наверно, еще очень недолго ждете!

Ее голос готов был надорваться. Слезы наполнили Надины глаза от страстных сравнений соседки.

— Скоро пять лет, как муж в тюрьме, — оправдывалась она. — Да на фронте...

— Это-то не считайте! — живо возразила женщина. — На фронте — это не то! Тогда ждать легко! Тогда ждут — все. Тогда можно открыто г о в о р и т ь, читать письма! Но если ждать, да еще скрывать, а??

И остановилась. Она увидела, что Наде этого разъяснять не надо.

Уже наступила половина двенадцатого. Вошел, наконец, подполковник Климентьев и с ним толстый недоброжелательный старшина.

Старшина стал принимать передачи, вскрывая фабричные пачки печенья и ломая пополам каждый домашний пирожок. Надин хворост он тоже ломал, ища запеченную записку, или деньги, или яд. Климентьев же отобрал у всех повестки, записал пришедших в большую книгу, затем по-военному выпрямился и объявил отчетливо:

— Внимание! Порядок известен? Свидание — тридцать минут. Заключенным ничего в руки не передавать. От заключенных ничего не принимать. Запрещается расспрашивать заключенных о работе, о жизни, о распорядке дня. Нарушение этих правил карается уголовным кодексом. Далее. С сегодняшнего свидания запрещаются рукопожатия и поцелуи. При нарушении — свидание немедленно прекращается.

Присмиревшие женщины молчали.

— Герасимович Наталья Павловна! — вызвал Климентьев первую.

Соседка Нади встала и, твердо стуча по полу фетровыми ботами довоенного выпуска, вышла в коридор.

37

СВИДАНИЕ

И все-таки, хотя пришлось и всплакнуть ожидая, Надя входила на свидание с ощущением праздника.

Когда она появилась в двери, Глеб уже встал ей навстречу и улыбался. Эта улыбка длилась один шаг его и один шаг ее, но всё возликовало в ней: он оставался так же близок! Он к ней не изменился !

Тот самый с бычьей шеей, в мягком сером костюме, похожий на отставного гангстера, приблизился к маленькому столику и тем перегородил узкую комнату, не давая им встретиться.

— Да дайте, я хоть за руку ! — возмутился Нержин.

— Не положено, — ответил надзиратель, свою тяжелую челюсть для выпуска слов приопуская лишь несколько.

Надя растерянно улыбалась, но сделала знак мужу не спорить. Она опустилась в подставленное ей кресло, из-под кожаной обивки которого местами вылезла мочала. В кресле этом пересидело несколько поколений следователей, сведших в могилу сотни людей и скоротечно сошедших туда самих.

— Ну, так поздравляю тебя ! — сказала она, стараясь казаться оживленной.

— Спасибо.

— Такое совпадение — именно сегодня !

— Звезда . . .

(Они привыкали говорить).

Надя делала усилие, чтоб не чувствовать взгляда надзирателя и его давящего присутствия. Глеб старался сидеть так, чтоб расшатанная табуретка не защемляла его.

Маленький столик подследственного был между мужем и женой.

— Чтоб не возвращаться: я там тебе принесла погрызть немного, хвороста, знаешь, как мама делает ? Прости, что ничего больше.

— Глупенькая, и этого не нужно ! Все у нас есть.

— Ну, хворосту-то нет ? А книг ты не велел... Есенина читаешь ?

Лицо Нержина омрачилось. Уже больше месяца, как был донос Шикину о Есенине, и тот забрал книгу, утверждая, что Есенин запрещен.

— Читаю.

(Всего полчаса, разве можно уходить в подробности !)

Хотя в комнате было вовсе не жарко, скорее — нетоплено, Надя расстегнула и распахнула воротник — ей хотелось показать мужу кроме новой, только в этом году сшитой шубы, о которой он почему-то молчал, еще и новую блузку, и чтоб оранжевый цвет блузки оживил ее лицо — наверно, землистое в здешнем тусклом освещении.

Одним непрерывным переходящим взглядом Глеб охватил жену — лицо, и горло, и распах на груди. Надя шевельнулась под этим взглядом — самым важным в свидании, и словно выдвинулась навстречу ему.

— На тебе кофточка новая. Покажи больше.

— А шуба ? — состроила она огорченную гримаску.

— Что шуба ?

— Шуба — новая.

— Да, в самом деле, — понял, наконец, Глеб. — Шуба-то новая ! И он обежал взглядом черные завитушки, не ведая даже, что это — каракуль, там уж поддельный или истинный, и будучи последним человеком на земле, кто мог бы отличить пятисотрублевую шубу от пятитысячной.

Она полусбросила шубку теперь. Он увидел ее шею, по-прежнему девически-точеную, неширокие плечи, которые любил когда-то сдавливать, обнимая, и, под сборками блузки — грудь, уныло опавшую за эти годы.

И короткая укорная мысль, что у нее своей чередой идут новые наряды, новые знакомства, — при виде этой уныло опавшей груди сменилась жалящим сочувствием, что скаты серого тюремного воронка раздавили и ее жизнь.

— Ты — худенькая, — с состраданием сказал он. — Питайся лучше. Не можешь — лучше ?

— « Я — некрасивая ? » — спросил ее взгляд.

— « Ты — все та же чудная ! » ответил взгляд мужа.

(Хотя эти слова не были запрещены подполковником, но и их нельзя было выговорить при чужом...)

— Я питаюсь, — солгала она. — Просто жизнь беспокойная, дерганная.

— В чем же, расскажи.

— Нет, ты сперва.

— Да я — что ? — улыбнулся Глеб. — Я — ничего.

— Ну, видишь ... — начала она со стеснением.

Надзиратель стоял в полуметре от столика и, плотный, бульдоговидный, сверху вниз смотрел на свидающихся с тем вниманием и презрением, с каким у подъезда изваяния каменных львов смотрят на прохожих.

Надо было найти недоступный для него верный тон, крылатый язык полунамеков. Превосходство ума, которое они легко ощущали, должно было подсказать им этот тон.

— А костюм — твой ? — перепрыгнула она.

Нержин прижмурился и комично потряс головой.

— Где мой ! Потемкинской функции. На три часа. Сфинкс пусть тебя не смущает.

— Не могу, — по-детски жалобно, кокетливо вытянула она губы, убедясь, что продолжает нравиться мужу.

— Мы привыкли воспринимать это в юмористическом аспекте.

Надя вспомнила разговор с Герасимович и вздохнула.

— А мы — нет.

Нержин сделал попытку коленями охватить колени жены, но неуместная переводинка в столе, сделанная на такой высоте, что подследственный не мог выпрямить ног, помешала и этому прикосновению. Столик покачнулся. Опираясь на него локтями, наклонясь ближе к жене, Глеб с досадой сказал:

— Вот так — всюду препоны.

« Ты — моя ? Моя ? » — спрашивал его взгляд.

« Я — та, которую ты любил. Я не стала хуже, поверь ! » — лучились ее серые глаза.

— А на работе с препонами — как ? Ну, рассказывай же. Значит, ты уже в аспирантах не числишься ?

— Нет.

— Так защитила диссертацию ?

— Тоже нет.

— Как же это может быть ?

— Вот так ... — И она стала говорить быстро-быстро, испугавшись, что много времени уже ушло. — Диссертацию никто в три года не защищает. Продляют, дают дополнительный срок. Например одна аспирантка два года писала диссертацию « Проблемы общественного питания », а ей тему отменили ...

(Ах, зачем это ? Это совсем не важно ! ..)

— ... У меня диссертация готова и отпечатана, но очень задерживают переделки разные ...

(« Борьба с низкопоклонством » — но разве тут объяснишь ? ..)

— ... и потом светокопии, фотографии ... Еще как с переплетом будет — не знаю. Очень много хлопот ...

— Но стипендию тебе платят ?

— Нет.

— На что ж ты живешь ? !

— На зарплату.

— Так ты работаешь ? Где ?

— Там же, в университете.

— Кем ?

— Внештатная, призрачная должность, понимаешь ? Вообще, всюду птичьи права ... У меня в общежитии птичьи права. Я, собственно ...

Она покосилась на надзирателя. Она собиралась сказать, что в милиции ее давно должны были выписать со Стромынки и совершенно по ошибке продлили прописку еще на полгода. Это могло обнаружиться в любой день ! Но тем более нельзя было этого сказать при сержанте МВД ...

— ... Я ведь и сегодняшнее свидание получила ... это случилось так ...

(Ах, да в полчаса не расскажешь ! ..)

— Подожди, об этом потом. Я хочу спросить — препон, связанных с о м н о й, — нет ?

— И очень жесткие, милый ... Мне дают ... хотят дать мне спецтему ... Я пытаюсь не взять.

— Это как — с п е ц т е м у ?

Она беспомощно вздохнула и покосилась на надзирателя. Его лицо, настороженное, как если б он собирался внезапно гавкнуть или откусить ей голову, нависало меньше, чем в метре от их лиц.

Надя развела руками. Надо было объяснить, что даже в университете почти уже не осталось незасекреченных разработок. Засекречивание же значило: новая, еще более подробная анкета о муже, о родственниках мужа и о родственниках этих родственников. Если написать там: « муж осужден по пятьдесят восьмой статье », то не только работать в университете, но и защитить диссертацию не дадут. Если солгать — « муж пропал без вести », все равно надо будет написать его фамилию — и стоит только проверить по картотеке МВД, и за ложные сведения ее будут судить. Была еще третья возмож-

ность, но убегая сейчас от нее под внимательным взором Глеба, Надя стала оживленно рассказывать:

— Ты знаешь, я — в университетской самодеятельности. Посылают все время играть в концертах. Недавно играла в Колонном зале в один даже вечер с Яковом Заком...

Глеб улыбнулся и покачал головой, как если б не хотел верить.

— ...В общем, был вечер профсоюзов, так случайно получилось, ну, а все-таки... И ты знаешь, смех какой — мое лучшее платье забраковали, говорят на сцену нельзя выходить, звонили в театр, привезли другое, чудное, до пят.

— Поиграла — и сняли?

— У-гм. Вообще, девчонки меня ругают за то, что я музыкой увлекаюсь. А я говорю: лучше увлекаться ч е м - нибудь, чем к е м - нибудь...

Нержин смотрел на жену благодарно и беспокойно.

— Подожди, так насчет спецтемы...

Надя осеклась, потупилась.

— Я хотела тебе сказать... Только ты не принимай этого к сердцу — nicht wahr — ты когда-то настаивал, чтобы мы... развелись... — совсем тихо закончила она.

(Это и была та третья возможность, — одна, дающая путь в жизни!.. — то есть, писать, конечно, не «разведена», потому что анкета все равно требовала фамилию б ы в ш е г о мужа, и нынешний адрес бывшего мужа, и родителей бывшего мужа, и даже их годы рождения, занятия и адрес, — а писать: «не замужем»).

Да, когда-то он настаивал... А сейчас дрогнул. И только тут заметил, что обручального кольца, с которым она никогда не расставалась, — на ее пальцах нет.

— Да, конечно, — очень решительно подтвердил он.

— Так вот... ты будешь против... если... придется... это сделать?.. — Она с усилием подняла голову. Ее глаза расширились. Серая игольчатая радуга ее глаз светилась просьбой о прощении и понимании. — Это — п с е в д о, — одним дыханием, без голоса добавила она.

— Молодец. Давно пора! — убежденно твердо соглашался Глеб, внутри себя не испытывая ни убежденности, ни твердости — отталкивая на после свидания все осмысление происшедшего.

— Может быть и не придется! — умоляющим голосом говорила она, надвигая снова шубку на плечи, и в эту минуту

выглядела усталой, замученной. — Я — на всякий случай, чтобы договориться. Может быть не придется.

— Нет, почему же, ты права, молодец, — затверженно повторял Глеб, а мыслями переключался уже на то главное, что готовил по списку и что теперь впору опрокинуть на нее. — Важно, родная, чтобы ты отдавала себе ясный отчет. Не связывай слишком больших надежд с окончанием моего срока!

Сам Нержин уже вполне был подготовлен и ко второму сроку и к бесконечному сидению в тюрьме, как это было уже у многих его товарищей. О чем нельзя было никак написать в письме, он должен был высказать сейчас.

Но на лице Нади появилось боязливое выражение.

— Срок — это условность, — объяснял Глеб жестко и быстро, делая ударения на словах невпопад, чтобы надзиратель не успевал схватывать. — Он может быть повторен, по спирали. История богата примерами. А если даже и чудом он кончится — не надо думать, что мы вернемся с тобой в наш город, к нашей прежней жизни. Вообще пойми, уясни, затверди: в страну прошлого билеты не продаются. Я вот, например, больше всего жалею, что я — не сапожник. Как это необходимо в каком-нибудь таежном поселке, в красноярской тайге, в низовьях Ангары ! К этой жизни только и надо готовиться. Кому там функции Эйлера ! . .

Цель была достигнута: отставной гангстер не шелохался, успевая только моргать вслед проносящимся мыслям.

Но Глеб забыл — нет, не забыл, он *не понимал* (как все они не понимали), что привыкшим ходить по теплой серой земле — нельзя вспарить над ледяными кряжами сразу, нельзя. Он не понимал, что жена продолжала и теперь, как и вначале, изощренно, методично отсчитывать дни и недели его срока. Для него его срок был — светлая холодная бесконечность, для нее же — оставалось двести шестьдесят четыре недели, шестьдесят один месяц, пять лет с небольшим — уже гораздо меньше, чем прошло с тех пор, как он ушел на войну и не вернулся.

По мере слов Глеба боязнь на лице Нади перешла в страх.

— Нет, нет ! скороговоркой воскликнула она. — Не говори мне этого, милый ! (она уже забыла о надзирателе, она уже не стыдилась своих чувств !). Не отнимай у меня надежды ! Я не хочу этому верить ! Я не могу этому верить ! Да это просто не может быть ! . . Или ты подумал, что я действительно тебя брошу ? !

Ее верхняя губа дрогнула, лицо исказилось, глаза выражали только преданность, одну преданность.

— Я верю, я верю, Надюшенька ! — изменился в голосе Глеб. — Я так и понял.

Она смолкла и осела после напряжения.

В раскрытых дверях комнаты стал молодцеватый черный подполковник, зорко осмотрел три головы, сдвинувшиеся вместе, и тихо подозвал надзирателя.

Бывший торреадор нехотя, словно его отрывали от киселя, отодвинулся и направился к подполковнику. Там, в четырех шагах от Надиной спины, они обменялись всего парой слов, но Глеб за это время, приглушив голос, успел спросить:

— Сологдину, жену — знаешь ?

Натренированная в таких оборотах, Надя успела перенестись:

— Да.

— И где живет ?

— Да.

— Ему свиданий не дают, скажи ей: он...

Гангстер вернулся.

— ... любит ! — верит в нее ! — надеется ! — очень раздельно уже при нем сказал Глеб.

— Любит — верит в нее — надеется, — с печальным вздохом повторила Надя. И пристально посмотрела на мужа. Годами наблюдений изученного со всем женским тщанием, она увидела его сейчас еще как-то по-новому.

— Тебе — идет, — грустно сказала она.

— Что — идет ?

— Вообще. Здесь. Все это. Быть здесь, — говорила она, маскируя смысл разными оттенками голоса, чтоб не уловил надзиратель.

Но этот ореол не приближал его к ней.

Она тоже оставляла все узнанное передумать и осмыслить потом, после свидания. Она не знала, что выведется изо всего, но опережающим сердцем искала в нем сейчас — слабости, усталости, болезнии, мольбы о помощи, — того, для чего женщина могла бы принести остаток своей жизни, — прождать хоть еще вторые десять лет и приехать к нему в тайгу.

Но он улыбался ! Он так же самонадеянно улыбался, как тогда на Красной Пресне ! Он всегда был полон, он никогда не нуждался ни в чьем сочувствии. На голой маленькой табуретке ему даже, кажется, и сиделось удобно, он как будто с удовольствием поглядывал вокруг, собирая и тут материалы

для выводов. Он выглядел здоровым, глаза его искрились. Нужна ли была ему вообще преданность женщины ?

Впрочем, Надя еще не подумала этого всего.

А Глеб не догадался, близ какой мысли проходила она.

— Пора кончать ! — сказал в дверях Климентьев.

— Уже ? — изумилась Надя.

Глеб собрал лоб, силясь припомнить, что же еще было самого важного в том списке « сказать », который он вытвердил наизусть к свиданию.

— Да ! Не удивляйся, если меня отсюда увезут, далеко, если прервутся письма совсем.

— А могут ? Куда ? — вскричала Надя.

Такую новость — и он сказал только сейчас !

— Бог знает, — пожав плечами, как-то значительно произнес он.

— Да ты уж не стал ли верить в Бога ? ? !

(Они ни о чем не поговорили ! !)

Глеб улыбнулся:

— Паскаль, Ньютон, Эйнштейн . . .

— Кому было сказано — фамилий не называть ! — гаркнул надзиратель. — Кончаем, кончаем !

Муж и жена поднялись разом и теперь, уже не рискуя, что свидание отнимут, Глеб через маленький столик охватил Надю за тонкую шею и в шею поцеловал и впился в мягкие губы, которые совсем забыл. Он не надеялся быть в Москве еще через год, чтоб их поцеловать. Голос его дрогнул нежностью:

— Делай во всем, как тебе лучше. А я . . .

И не договорил.

Они смотрелись глаза в глаза.

— Ну, что это ? что это ? Лишаю свидания ! — мычая надзиратель и оттягивал Нержина за плечо.

Нержин оторвался.

— Да лишай, будь ты неладен, — еле слышно пробормотал он.

Надя отступала спиной до двери и одними только пальцами поднятой руки без кольца помахивала на прощанье мужу.

И так скрылась за дверным косяком.

38

ЕЩЕ ОДНО

Муж и жена Герасимовичи поцеловались.

Муж был маленького роста, но рядом с женой оказался вровень.

Надзиратель им попался смирный простой парень. Ему совсем не жалко было, чтоб они поцеловались. Его даже стесняло, что он должен был мешать им видеться. Он бы отвернулся к стене и так бы простоял полчаса, да не тут-то было: подполковник Климентьев велел все семь дверей из следственных комнат в коридор оставить открытыми, чтобы самому из коридора надзирать за надзирателями.

Оно-то и подполковнику было не жалко, чтобы свидающиеся поцеловались, он знал, что утечки государственной тайны от этого не произойдет. Но он сам остерегался своих собственных надзирателей и собственных заключенных — иные из них состояли на осведомительной службе и могли на Климентьева же к а п н у т ь.

Муж и жена Герасимовичи поцеловались.

Но поцелуй этот не был из тех, которые сотрясали их в молодости. Этот поцелуй, украденный у начальства и у судьбы, был поцелуй без цвета, без вкуса, без запаха — бледный поцелуй, каким можно обменяться с умершим, привидевшимся нам во сне.

И — сели, разделенные столиком подследственного с покоробленной фанерной столечницей.

Этот грубый маленький столик имел историю богаче иной человеческой жизни. Многие годы за ним сидели, рыдали, млели от ужаса, боролись с опустошающей бессоницей, говорили гордые гневные слова или подписывали подленькие доносы на ближних, арестованные мужчины и женщины. Им обычно не давали в руки ни карандашей, ни перьев — разве только для редких собственноручных показаний. Но и писавшие показания успели оставить на покорбленной поверхности стола свои метки — те странные волнистые или уголь-

чатые фигуры, которые рисуются бессознательно и таинственным образом хранят в себе сокровенные извивы души.

Герасимович смотрел на жену.

Первая мысль была — какая она стала непривлекательная: глаза подведены впалыми ободками, у глаз и губ — морщины, кожа лица — дряблая и, казалось, Наташа совсем уже не следила за ней. Шубка была еще довоенная, давно просилась хоть в перелицовку, мех воротника проредился, полег, а платок — платок был с незапамятных времен, кажется еще в Комсомольске-на-Амуре его купили по ордеру — и в Ленинграде она ходила в нем по воду к Невке.

Но подлую мысль, что жена некрасива, мысль, поднявшуюся с испода существа, Герасимович подавил. Перед ним была женщина, единственная на земле, составлявшая половину его самого. Перед ним была женщина, с кем сплеталось всё, что носила его память. Какая миловидная свежая девушка, но с чужой непонятной душой, с короткими своими, совсем иными, воспоминаниями — могла бы заслонить жену ?

Наташе еще не было восемнадцати лет, когда они познакомились в одном доме на Средней Подъяческой, у Львиного мостика, при встрече тысяча девятьсот тридцатого года. Через шесть дней будет двадцать лет с тех пор.

Наташе только исполнилось девятнадцать, когда его в первый раз арестовали. За — вредительство . . .

Началом своей инженерной работы Илларион Павлович застиг то время, когда слово « инженер » еще мало как-то отделялось от слова « враг ». И когда хорошим тоном было подозревать в инженере — вредителя. А Герасимович, едва окончив институт, по близорукости уже ходил в пенсне, и просто вылитый был тот интеллигент со шпионских плакатов. Кому надо и кому не надо, он в молодости предупредительно кланялся и говорил « извините, пожалуйста » очень мягким голосом. А на собраниях он лишался голоса совсем и сидел мышкой. Он сам не понимал, до чего он всех раздражал.

Но как ни выкраивали ему д е л а , едва-едва натянули на три года. И на Амуре сейчас же расконвоировали. И туда приехала к нему невеста, чтобы стать женой.

Редкая у них была тогда ночь, чтобы мужу и жене не приснился Ленинград. И вот они собрались уже вернуться — в тридцать пятом. А тут как-раз повалили навстречу . . .

Наталья Павловна сейчас тоже всматривалась в мужа. На ее глазах когда-то менялось это лицо, твердели эти губы, излучались через пенсне охолодевшие, а то и жестокие

вспышки. Илларион перестал раскланиваться и перестал частить « извините ». Его все время попрекали прошлым, там увольняли, там зачисляли на должность не по образованию — и они ездили с места на место, бедствовали, потеряли дочь, потеряли сына. И, уже на все рукой махнув, рискнули вернуться в Ленинград. А вышло это — в июне сорок первого года...

Тем более не смогли они сносно устроиться тут. Анкета висела над мужем. Но, призрак лабораторный, он не слабел, а сильнел от такой жизни. Он вынес осеннюю копку траншей. А с первым снегом стал — могильщиком.

Зловещая профессия эта в осажденном городе была самой нужной и самой доходной. Чтобы почтить в последний раз уходящих, оставшиеся в живых отдавали нищий кубик хлеба.

Нельзя было без содрогания есть этот хлеб ! Но оправданье Илларион видел такое: нас мало жалели — не будем жалеть и мы !

Супруги выжили. Чтобы еще до конца блокады Иллариона арестовали за н а м е р е н и е изменить родине (в Ленинграде многих брали так — за н а м е р е н и е, потому что нельзя было прямо дать и з м е н у тому, кто не был даже под оккупацией).

Наталья Павловна рассматривала сейчас мужа — но, странно, не видела на нем следов тяжелых лет. С умной сдержанностью смотрели его глаза сквозь поблескивающее пенсне. Щеки были не впалые, морщин — никаких, костюм — дорогой, галстук — тщательно повязан.

Можно было подумать, что не он, а она сидела в тюрьме.

И первая ее недобрая мысль была, что ему в спецтюрьме прекрасно живется, конечно, он не знает гонений, занимается своей наукой, совсем он не думает о страданиях жены.

Но она подавила в себе эту злую мысль.

И слабым голосом спросила:

— Ну, как там у тебя ?

Как будто надо было двенадцать месяцев ждать этого свидания, триста шестьдесят ночей вспоминать мужа на индевеющем ложе вдовы, чтобы спросить? — Ну, как там у тебя?

И Герасимович, обнимая своей узкой тесной грудью целую жизнь, никогда не давшую силам ума его распрямиться и расцвести, целый мир арестантского бытия в тайге и в пустыне, в следственных одиночках, а теперь в благополучии закрытого учреждения, ответил:

— Ничего...

Им отмерено было полчаса. Песчинки секунд неудержимой струей просыпались в стеклянное горло Времени. Теснились первыми проскочить десятки вопросов, желаний, жалоб, — а Наталья Павловна спросила:

— Ты о свидании — когда узнал ?

— Позавчера. А ты ?

— Во вторник... Меня сейчас подполковник спросил, не сестра ли я тебе.

— По отчеству ?

— Да.

Когда они были женихом и невестой, и на Амуре тоже, — их все принимали за брата и сестру. Было в них то счастливое внешнее и внутреннее сходство, которое делает мужа и жену больше, чем супругами.

Илларион Павлович спросил:

— Как на работе ?

— Почему ты спрашиваешь ? встрепенулась она. — Ты знаешь ?

— А что ?

Он кое-что знал, но не знал, то ли он знал, что знала она.

Он знал, что вообще на воле арестантских жен притесняют.

Но откуда было ему знать, что в минувшую среду жену уволили с работы из-за родства с ним ? Эти три дня, уже извещенная о свидании, она не искала новой работы — ждала встречи, будто могло свершиться чудо, и свидание светом бы озарило ее жизнь, указав, как поступать.

Но как он мог дать ей дельный совет — он, столько лет просидевший в тюрьме и совсем не приученный к гражданским порядкам ?

И решать-то надо было: отрекаться или не отрекаться...

В этом сереньком, плохо натопленном кабинете с тусклым светом из обрешеченного окна — свидание проходило, и надежда на чудо погасала.

И Наталья Павловна поняла, что в скудные полчаса ей не передать мужу своего одиночества и страдания, что катится он по каким-то своим рельсам, своей заведенной жизнью — и все равно ничего не поймет, и лучше даже его не расстраивать.

А надзиратель отошел в сторону и рассматривал штукатурку на стене.

— Расскажи, расскажи о себе, — говорил Илларион Павлович, держа жену через стол за руки, и в глазах его

теплилась та сердечность, которая зажигалась для нее и в самые ожесточенные месяцы блокады.

— Ларик! у тебя... з а ч ѐ т о в... не предвидится?

Она имела в виду зачѐты, как в приамурском лагере — проработанный день считался за два отбытых, и срок кончался прежде назначенного.

Илларион покачал головой:

— Откуда зачеты! Здесь их от веку не было, ты же знаешь. Здесь надо изобрести что-нибудь крупное — ну, тогда освободят досрочно. Но дело в том, что изобретения здешние... — он покосился на полуотвернувшегося надзирателя, — ...свойства... весьма нежелательного...

Не мог он высказаться ясней!

Он взял руки жены и щеками слегка терся о них.

Да, в обледеневшем Ленинграде он не дрогнул брать пайку хлеба за похороны с того, кто завтра сам будет нуждаться в похоронах.

А теперь бы вот — не мог...

— Грустно тебе одной? Очень грустно, да? — ласково спрашивал он у жены и терся щекою о ѐе руку.

Грустно?.. Уже сейчас она обмирала, что свидание ускользает, скоро оборвется, она выйдет ничем не обогащенная на Лефортовский вал, на безрадостные улицы — одна, одна, одна... Отупляющая бесцельность каждого дела и каждого дня. Ни сладкого, ни острого, ни горького, — жизнь как серая вата.

— Наталочка! — гладил он ей руки. — Если посчитать, сколько прошло за два с р о к а, так ведь мало осталось теперь. Три года только. Только три...

— Только три?! — с негодованием перебила она, и почувствовала, как голос задрожал, и она уже не владела им. — Только три?! Для тебя — т о л ь к о! Для тебя прямое освобождение — «свойства нежелательного»! Ты живешь среди друзей! Ты занимаешься своей любимой работой! Тебя не водят в комнаты за черной кожей! А я — у в о л е н а! Мне не на что больше жить! Меня никуда не примут! Я не могу! Я больше не в силах! Я больше не проживу одного м е с я ц а! месяца! Мне лучше — умереть! Соседи как хотят меня притесняют, мой сундук выбросили, мою полку со стены сорвали — они знают, что я слова не смею... что меня можно выселить из Москвы! Я перестала ходить к сестрам, к тете Жене, все они надо мной издеваются, говорят, что таких дур больше нет на свете. Они все меня толкают с тобой развестись

и выйти замуж. Когда это кончится ? Посмотри, во что я превратилась ! Мне тридцать семь лет ! Через три года я буду уже старуха ! Я прихожу домой — я не обедаю, я не убираю комнату, она мне опротивела, я падаю на диван и лежу так без сил. Ларик, родной мой, ну сделай как-нибудь, чтоб освободиться раньше ! У тебя же гениальная голова ! Ну, изобрети им что-нибудь ! Спаси меня ! — Спа-си ме-ня ! . .

Она совсем не хотела этого говорить, сокрушенное сердце ! . . Трясясь от рыданий и целуя маленькую руку мужа, она поникла к покоробленному шероховатому столику, видавшему много этих слез.

— Ну, успокойтесь, гражданочка, — виновато сказал надзиратель, косясь на открытую дверь.

Лицо Герасимовича перекошено застыло, и слишком заблистало пенсне.

Рыдания неприлично разнеслись по коридору. Подполковник грозно стал в дверях, уничтожающе посмотрел в спину женщине и сам закрыл дверь.

По прямому тексту инструкции слезы не запрещались, но в высшем смысле ее — не могли иметь места.

39

И У МОЛОДЫХ

— Да тут ничего хитрого: хлорную известь разведешь и кисточкой по паспорту чик, чик... Только знать надо, сколько минут держать — и смывай.

— Ну, а потом ?

— А высохнет — ни следа не остается, чистенький, новенький, садись и тушью опять корябай — Сидоров или там Петрушин, уроженец села Криуши.

— И ни разу не попадались ?

— На этом деле ? Клара Петровна... Или может быть... вы разрешите такую дерзость ?..

— ?

— ...звать вас, пока никто не слышит, просто Кларой ?

— ...Зовите...

— Так вот, Клара, первый раз меня взяли потому, что я был беззащитный и невинный мальчишка. Во второй раз — хо-го ! И держался я под всесоюзным розыском не какие-нибудь простые годы, а с конца сорок пятого по конец сорок седьмого, — это значит, я должен был подделывать не только паспорт и не только прописку в нем, но справку с места работы, справку на продуктовые карточки, прикрепление к магазину ! И еще я лишние хлебные карточки получал — и продавал их, и на то жил.

— Но это же... очень нехорошо.

— Кто ж говорит, что хорошо ? Меня заставили, не я это выдумал.

— Но вы могли просто работать !

— « Просто » много не заработаешь. От трудов праведных — палат каменных, знаете ? И кем бы я работал ? Специальности мне не дали получить... Попадаться не попадался, но ошибки бывали. В Крыму в паспортном отделе одна девушка... только вы не подумайте, что я с ней что-нибудь... просто сочувствующая попалась и открыла мне секрет, что в самой серии моего паспорта, знаете, эти ЖЩ, ЛХ — скрыто указывается, что я был под оккупацией.

— Но вы же не были!

— Да не быть-то не был, но паспорт-то чужой! И пришлось из-за этого новый покупать.

— Где? ?

— Клара! Вы жили в Ташкенте, были на Тезиковом базаре и спрашиваете — где! Я еще и орден Красного Знамени хотел себе купить, двух тысяч не хватило, у меня на руках восемнадцать было, а он уперся — двадцать и двадцать.

— А зачем вам орден?

— А зачем всем ордена? Так просто, пофорсить хотел, будто я фронтовик. Если б у меня была такая холодная голова, как у вас...

— Откуда вы взяли, что у меня холодная?

— Холодная, трезвая, и взгляд такой... умный.

— Ну, вот!..

— Правда. Я всю жизнь мечтал встретить девушку с холодной головой.

— Зачем?

— Потому что я сам сумасбродный, так чтоб она не давала мне делать глупостей.

— Ну, рассказывайте, прошу вас.

— Так на чем я?.. Да! Когда я вышел с Лубянки — меня просто кружило от счастья. Но где-то внутри остался, сидит маленький сторож и спрашивает: что за чудо? Как же так? Ведь никогда никого не выпускают, это мне в камере объяснили: виноват, не виноват — десят в зубы, пять по рогам — и в лагерь.

— Что значит — по рогам?

— Ну, намордник пять лет.

— Что значит — намордник?

— Боже мой, какая вы необразованная. А еще дочь прокурора. Как же вы не поинтересуетесь, чем занимается ваш папа? «Намордник» значит — кусаться нельзя. Лишение гражданских прав. Нельзя избирать и быть избранным.

— Подождите, кто-то подходит...

— Где? Не бойтесь, это Земеля. Сидите, как сидели, прошу вас! Не отодвигайтесь. Раскройте папку. Вот так, рассматривайте... Я сразу понял тогда, что выпустили меня для слежки — с кем из ребят буду встречаться, не поеду ли опять к американцам на дачу, да вообще жизни не будет, посадят все равно. И я их — надул! Попрощался с мамой, ночью из дому ушел — и поехал к одному дядьке. Он-то меня и втравил во все эти подделки. И два года за Ростиславом

Дорониным гнали всесоюзный розыск. А я под чужими именами — в Среднюю Азию, на Иссык-Куль, в Крым, в Молдавию, в Армению, на Дальний Восток... Потом — по маме очень соскучился. Но домой являться — никак нельзя! Поехал в Загорск, поступил на завод каким-то петрушкой, подсобником, мама ко мне по воскресеньям приезжала. Поработал я там недель несколько — проспал, на работу опоздал. В суд! Судили меня!

— Открылось?!

— Ничего не открылось! Под чужой фамилией осудили на три месяца, я сижу в колонии, а всесоюзный розыск гудит: Ростислав Доронин! глаза голубые, нос прямой, волосы русые пышные, на левом плече родинка. В копеечку им розыск обошелся! Отбухал я свои три месяца, получил у гражданина начальничка паспорт — и жиманул на Кавказ!

— Опять путешествовать?

— Хм! А чего ж!

— Ну, а как же все-таки...

— Сел? Учиться захотел!

— Вот видите, значит — вас тянуло к честной жизни. Учиться — надо, это — важно. Это — благородно.

— Боюсь, Клара, что не всегда благородно. Уж потом, в тюрьмах, в лагерях я это обдумал. Если твой профессор за зарплату держится, боится место потерять, то всегда ли ты у него научишься, чему благородно? На гуманитарном-то факультете? Вы ведь на техническом учились?

— Я и на гуманитарном побывала.

— Ушли? Расскажете потом. Да, так вот надо было мне потерпеть, аттестат за десятилетку поискать, не трудно было его и купить, но — беспечность, вот что нас губит! Думаю: какой дурак там меня ищет, пацана, забыли уж, наверно, давно. Взял старый на свое имя аттестат — и подал в университет, только уже в ленинградский, и на факультет — географический.

— А в Москве были на историческом?

— К географии от этих скитаний привязался. Чертовски интересно! Поездишь — посмотришь: горы, долины, тайга и субтропики! И люди совершенно разные! Ну, и что ж? Только походил в университет с неделю, меня — хоп! — опять туда же! И теперь двадцать пять лет! И — в тундру, я еще не был — практику проходить!

— И вы об этом рассказываете — смеясь?

— А чего ж плакать? Обо всем, Клара, плакать — слез

не хватит. Я — не один. Послали на Воркуту — а там уж таких молодчиков! Уголь долбят! Вся Воркута на зэках стоит! Весь север! Ведь это, знаете, сбывшаяся мечта Томаса Мора.

— Чья?.. Мне стыдно бывает, я много не знаю.

— Томаса Мора, дедушки, который «Утопию» написал. Он имел совесть признать, что неизбежно останутся в обществе разные унизительные и особо-тяжелые работы. Никто не захочет их выполнять! Кому ж их поручить? Подумавши, Мор догадался: вероятно, будут и в социалистическом обществе нарушители порядка. Вот им, мол, и поручим унизительные и особо-тяжелые работы. Таким образом, лагеря придуманы Томасом Мором, очень старая идея!..

— Я никак не одумаюсь. В наше время — и так жить: подделывать паспорта, менять города, носиться, как парус по морю... Людей, подобных вам, я никогда в жизни не видела.

— Клара, я тоже не такой! Обстоятельства могут сделать из нас черта! Вы же знаете — бытие определяет сознание! Я и был тихий мальчик, слушался маму, читал Добролюбова «Луч света в темном царстве». Если милиционер манил меня пальцем — во мне падало сердце. Во все это врастаешь незаметно. А что мне оставалось? Ждать, как кролику — пока меня второй раз возьмут?

— Не знаю, что оставалось, но и так жить?!. Я представляю, как это тягостно: вы — постоянно вне общества! вы — какой-то лишний, гонимый человек...

— Ну, иногда тягостно. А иногда, знаете, даже и не тягостно. Потому что, как по Тезикову базару походишь, посмотришь... Ведь если новенькие ордена продают и к ним удостоверения незаполненные — так это где продажный человек работает, а? В какой организации? Представляете?.. Вообще я скажу вам, Клара, так: я сам — только за честную жизнь, но чтобы все, понимаете? — чтобы все до одного!

— Но если все будут ждать от других, так никогда не начнется. Каждый должен...

— Каждый должен, но не каждый делает. Слушайте, Клара, я вам скажу проще. Против чего произошла революция? Против п р и в и л е г и й! Тошно было русским людям от чего? От привилегий. Одни одеты были в робу, другие — в соболя, одни пешкодралом — другие на фаэтонах, одни по гудочку на фабрику, другие в ресторанах морду наращивали. Верно?

— Конечно.

— Правильно. Но почему же теперь люди не отталки-

ваются от привилегий, а тянутся к ним ? И что говорить обо мне, о пацане ? Разве с меня начинается ? Я же на старших смотрю. Я же насмотрелся. Живу в небольшом городке в Казахстане. Что я вижу ? Жены местных начальников бывают в магазинах ? Да никогда ! Меня самого посылали первому секретарю райкома ящик макарон отнести. Целый ящик. Нераспечатанный. Можно догадаться, что не только этот ящик и не только в этот день...

— Да, это ужасно ! Это меня саму переворачивало всегда, вы поверите ?

— Поверю, конечно. Почему живому человеку не поверить ? Скорей поверю, чем книжке в миллион экземпляров... И вот эти привилегии — они же охватывают людей, как зараза. Если кто может покупать не в том магазине, где все — обязательно будет там покупать. Если кто может лечиться в отдельной клинике — обязательно будет там лечиться. Если может ехать в персональной машине — обязательно поедет. Если только где-нибудь медом помазано и туда по пропускам — обязательно будет этот пропуск выхлопатывать.

— Это — да ! Это ужасно !

— Если забором может отгородиться — обязательно отгородится. И сам же, сукин сын, был мальчишкой — лазил через купеческий забор, яблоки рвал — и тогда был прав ! А теперь ставит забор в два роста, да сплошной, чтоб к нему заглянуть нельзя, ему так уютно оказывается ! — и думает, что опять же он прав !

— Ростислав Вадимыч...

— Какой я к чертям Вадимыч ? Просто — Руся.

— Мне трудно вас так называть...

— Ну, я тогда встану и уйду. Вон, на обед звонят. Я для всех — Руся, а для вас... особенно... Не хочу иначе.

— Ну, хорошо... Руся... Я тоже не совсем глупенькая. Я много думала. С этим нужно — бороться ! Но не вашим способом, конечно.

— Да я же еще и не боролся. Я просто так рассуждал: если равенство — так всем равенство, а если нет — так к ядреной Фене... Ох, простите меня, пожалуйста... Ох, простите, я не хотел... И вот видим мы с детских лет такое дело: в школе говорят красивые слова, а дальше не ступишь без блата, а иногда нельзя без лапы — так и мы растем продувные — н а х а л ь с т в о — в т о р о е с ч а с т ь е !

— Нет ! Нет ! Так нельзя ! В нашем обществе много справедливого. Вы берете через край ! Так нельзя ! Вы много

видели, правильно, много пережили, но « нахальство — второе счастье » это же не жизненная философия ! Так нельзя !

— Руська ! На обед звонили, слышал ?

— Ладно, Земеля, иди, я сейчас ... Клара ! Вот я говорю вам взвешенно, торжественно: я всей душой был бы рад жить совсем иначе ! Но если бы у меня был друг ... с холодной головой ... подруга ... Если бы мы могли с ней вместе обдумать. Правильно построить жизнь. Не знаю, можно ли вам все говорить ...

— Можно.

— Как это вы уверенно сказали ! Вообще-то нельзя ... У вас такое происхождение. Вы совсем из другого общества ...

— У меня жизнь была нелегкая, не думайте ... Я могу понять.

— Вчера и сегодня вы так хорошо на меня смотрите, что, правда, хочется рассказать вам все как близкой ...

— ...

— В общем я — это ведь только внешне, что я — как будто арестант и на двадцать пять лет. Я ... О, если б вам рассказать, на каком я лезвии сейчас балансирую ! .. Любой нормальный человек умер бы от разрыва сердца ... Но это потом ... Клара ! Я хочу сказать — во мне — вулканические запасы энергии ! Двадцать пять лет — ерунда, я могу шутя удрапать ! Я даже сегодня утром присматривал, как бы я это из Маврино сделал. От того дня, когда невеста моя — если б только она у меня появилась — сказала бы: Руся ! Убеги ! Я жду тебя ! — клянусь вам, я бы в три месяца убежал, паспорта бы подделал — не подкопаешься ! Увез бы ее в Читу, в Одессу, в Великий Устюг ! И мы начали бы новую, честную, разумную, свободную жизнь !

— Хорошенькая жизнь !

— Знаете, как у Чехова всегда герои говорят: вот через двадцать лет, через тридцать лет ! через двести лет ! Наработаться бы день на кирпичном заводе, да прийти уставшему ! О чем мечтали ! .. Нет, это я все шучу ! Я вполне серьезно ! Я совершенно серьезно хочу учиться, хочу трудиться ! Только не один ! Клара ! Посмотрите, как тихо, все ушли. В Великий Устюг — хотите ? Это — памятник седой старины. Я там еще не был.

— Какой вы поразительный человек !

— Я искал ее в ленинградском университете. Но не думал, где найду.

— Кого ? ..

— Кларочка ! Из меня еще кого угодно можно вылепить женскими руками — великого проходимца, гениального картежника или первого специалиста по этрусским вазам, по космическим лучам. Хотите — стану ?

— Диплом подделаете ?

— Нет, правда стану ! Кем назначите — тем и стану. Мне только вы нужны ! Мне нужна только ваша голова, которую вы так медленно поворачиваете, когда в лабораторию входите . . .

40

ЖЕНЩИНА МЫЛА ЛЕСТНИЦУ

Генерал-майор Петр Афанасьевич Макарыгин, кандидат юридических наук, давно уже служил прокурором по с п е ц д е л а м, то есть, делам, содержание которых было бы не полезно знать общественности и которые поэтому вершились скрытно. Был он прокурор если и не знаменитый, то и не дюжинный, неуклонно твердый в исполнении своих обязанностей.

У него было три дочери — все три от первой жены, его подруги по гражданской войне, умершей при рождении Клары. Воспитывала дочерей уже мачеха, сумевшая, впрочем, стать для них тем, что называется хорошая мать.

Дочерей звали: Динэра, Дотнара и Клара. Динэра значило ДИтя Новой ЭРы, Дотнара — ДОчь Трудового НАРода. А Клара — просто Клара, смысл имени этого не был известен в семье.

Дочери шли ступеньками по два года. Средняя, Дотнара, окончила десятилетку в сороковом году и, обскакав Динэру, на месяц раньше ее, весной сорок первого, вышла замуж. Она была тогда гибкая девушка с белыми кудрями до плеч и очень любила, когда жених водил ее в « Метрополь » танцевать между столиками. Отец сердился, что рано, но пришлось отдать. Правда, зять попался хороший — выпускник Высшей Дипшколы, блестящий и покровительствуемый молодой человек, сын известного отца, погибшего в гражданскую войну. Звали зятя — Иннокентий Володин.

Старшая дочь, Динэра, пока мать ездила в школу улаживать ее двойки по математике, болтала ножками на диване и перечитывала всю мировую литературу от Гомера до Фаррера. После школы, не без помощи отца, она поступила на актерский факультет Института Кинематографии, со второго курса вышла замуж за довольно известного режиссера, эвакуировалась с ним в Алма-Ату, снималась героиней в его фильме, потом разошлась с ним по творческим соображениям, вышла замуж за женатого генерала интендантской службы и уехала с ним на

фронт — именно в тот самый третий эшелон, лучшую полосу войны, куда не долетают снаряды врага, но и не доползают лютые тяжести тыла. Там она познакомилась с писателем, входившим в моду, фронтовым корреспондентом Галаховым, ездила с ним собирать для газеты материалы о героизме, уступила генерала его прежней жене, а сама с писателем уехала в Москву. С тех пор писатель очень продвинулся, Динэра вела литературный салон, имела славу одной из умнейших женщин Москвы, и о ней была сочинена эпиграмма:

« Мне потому приятно с вами помолчать,
Что вымолвить вы слова не дадите ».

Так уже восемь лет, как из детей осталась в семье одна Клара.

О Кларе не говорили, что она красива, и слово « хорошенькая » редко применяли к ней. Но у нее было чистое прямое лицо, несколько мужественное. Эта твердость создавалась где-то в углах лба. Твердость была и в поспешливых движениях ее рук. Смеялась она редко. Говорить много тоже не любила, любила слушать.

Клара кончала девятый класс, когда посыпались все события сразу: замужество обеих сестер, начало войны, отъезд ее и мачехи в эвакуацию в Ташкент (отец отправил их уже двадцать пятого июня) — и уход отца в армию прокурором дивизии.

Три года они прожили в Ташкенте в доме старого приятеля их отца — заместителя одного из Главных тамошних прокуроров. В их покойную квартиру около Окружного дома офицеров на втором этаже, с надежно зашторенными окнами, не проникали зной юга и горе города. Из Ташкента взяли в армию многих мужчин, но вдесятеро их наехало сюда. И хотя каждый из них мог убедительными документами доказать, что его место тут, а не на фронте, у Клары было какое-то неконтролируемое ощущение, будто сток нечистого омывал ее здесь. Неумолимо действовал извечный закон войны: хотя не по волеизъявлению люди уходили на фронт, а все же все горячие и все лучшие находили дорогу туда — да и там, по тому же отбору — их же больше всего и погибало. За пять тысяч верст отсюда была вершина духа, чистота подвига, а здесь — все какими-то непривлекательными сторонами виделось Кларе существование.

В Ташкенте Клара окончила десятилетку. Шли споры, куда ей поступать. Как-то никуда особенно ее не тянуло, ниче-

го не определилось в ней ясно. Решила выбор Динэра — она очень, очень настаивала в письмах и заезжала проститься перед фронтом, — чтобы Кларёныш поступала на литературный.

Так и пошла она, хотя по школе знала, что скучная эта литература; очень правильный Горький, но какой-то неувлекательный; очень правильный Маяковский, но неповоротливый какой-то; очень прогрессивный Салтыков-Щедрин, но рот раздерешь, пока дочитаешь; потом был ограниченный в своих дворянских идеалах Тургенев; связанный с нарождающимся русским капитализмом Гончаров; Лев Толстой с его переходом на позиции патриархального крестьянства (романов Толстого учительница не советовала им читать, так как они очень длинные и только затемняют ясные критические статьи о нем); и еще потом скопом делали обзор каких-то уже совсем никому не известных Степняка-Кравчинского, Достоевского и Сухово-Кобылина, правда, у них и названий запоминать не надо было. Во всем этом многолетнем ряду один разве Пушкин сиял как солнышко.

И вся-то литература состояла в школе из усиленного изучения, что хотели выразить, на каких позициях стояли и чей социальный заказ выполняли писатели эти и еще потом советские — русские и братских народов. И до самого конца Кларе и ее подругам так и непонятно осталось, за что вобще этим людям такое внимание: они не были самыми умными (публицисты и критики, и тем более партийные деятели были все умнее их), они часто ошибались, путались в противоречиях, где и школьнику было ясно, попадали под чужие влияния — и все-таки именно о них надо было писать сочинения и дрожать за каждую ошибочную букву и ошибочную запятую. И ничего, кроме ненависти, эти вампиры молодых душ не могли к себе вызвать.

Вот у Динэры с литературой получалось как-то все иначе — остро, весело. Уверяла Динэра, что в институте такая и будет литература. Но Кларе не оказалось веселей и в институте. На лекциях пошли юсы малые и большие, монашеские сказания, школы мифологическая, сравнительно-историческая и все это вроде бы пальцами по воде, а на кружках толковали о Луи Арагоне, о Говарде Фасте и опять же о Горьком в связи с его влиянием на узбекскую литературу. Сидя на лекциях и сперва ходя на эти кружки, Клара все ждала, что ей скажут что-то очень главное о жизни, вот об этом тыловом Ташкенте, например.

Брата Клариной соученицы по десятому классу зарезало трамвайной развозкой с хлебом, когда он с друзьями хотел

стащить на ходу ящик... В коридоре института Клара как-то выбросила в урну недоеденный ею бутерброд. И тотчас же, неумело маскируясь, подошел студент ее же курса и этого же самого арагоновского кружка, вынул бутерброд из мусора и положил себе в карман... Одна студентка водила Клару советоваться о покупке на знаменитый Тезиков базар — первую толкучку Средней Азии или даже всего Союза. За два квартала там толпился народ и особенно много было калек, уже этой войны — они хромали на костылях, размахивали обрубками рук, ползали, безногие, на дощечках, они продавали, они гадали, они просили, они требовали — и Клара раздавала им что-то, и сердце ее разрывалось. А дальше — гуще, не пробиться плечом через наглых бронированных спекулянтов и спекулянток. И никого не удивляли, всем были понятны и всеми приняты тысячные цены здесь, никак не соразмерные с зарплатами. Пусты были магазины города, но все можно было достать здесь, все, что можно проглотить, все, что можно надеть на верхнюю или на нижнюю часть тела, все — до американской жевательной резинки, до пистолетов, до учебников черной и белой магии.

Но нет, об этой жизни в институте не говорили и как бы даже не знали ничего. Литературу такую изучали там, будто все было на земле, кроме того, что видишь вокруг собственными глазами.

И с тоской поняв, что через пять лет это кончится тем, что и сама она пойдет в школу и будет задавать девчонкам нелюбимые сочинения и педантично выискивать у них запятые и буквы, — Клара стала больше всего играть в теннис (там корты были хорошие).

Так она с пользой провела долгую теплую осень. А среди зимы ее настигла беда — она заболела.

И долго-долго она болела, год. Лежала в клинике, потом дома, и снова в клинике, и снова дома. Ее показывали профессорам, кололи внутривенно, кололи внутримышечно, литрами целыми вводили физиологический раствор, брали анализы и опять показывали кому-то.

За это время сомнений в жизни, потом — сомнений в своей будущей телесной полноценности, за долгие бессоные ночи в темноте, за одинокое слоняние унылой фигурой по больничным коридорам, когда уже непереносимым становится больничный запах и больничный вид, — что оставалось Кларе делать, как не думать ? Теперь она обнаружила в себе наклонности и даже кажется способности к важной, сложной жизни, перед которой весь институт ее был жалкая мелочь, трепотня.

На литфак ей возвращаться не пришлось. Когда она выздоравливала, фронт был уже в Белоруссии. Все покидали эвакуацию. И они тоже вернулись в Москву.

Странно. Те, как будто очень ясные мысли о жизни, которые прошли через нее во время болезни, теперь, в свете, шуме и движении, рассеялись, расплылись — и даже такого простого вопроса, в какой институт идти, Клара не могла решить верно. Просто искала она, где меньше говорят, а больше делают, значит — технический. И чтобы не было связано с тяжелыми грязными машинами. И так попала в институт инженеров связи.

Никем не руководимая, она опять совершила ошибку, но в этой ошибке никому не призналась, упрямо решив доучиться и работать, как придется. Впрочем, среди однокурсников не одна она была там случайная, век такой начинался: ловили синюю птицу высшего образования, и не попавшие в авиационный институт переносили документы в ветеринарный; забракованные в химико-технологическом становились палеонтологами.

После войны у отца Клары было много работы в Европе. Он демобилизовался только осенью, и сразу получил пятикомнатную квартиру в новом доме МВД на Калужской заставе. В один из первых дней возвращения он повез жену и дочь смотреть квартиру.

Автомобиль прокатил их мимо последней решетки Нескучного сада и остановился, не доезжая моста, переброшенного через Окружную дорогу. Было предполуденное время теплого октябрьского дня, затянувшегося бабьего лета. И мать, и дочь были в шелестящих туалетах под легкими плащами. Отец был в генеральской шинели с распахнутой грудью, со многими орденами и медалями.

Дом строился полукруглый на Калужскую заставу, с двумя крылами: одно — по Большой Калужской улице, другое — вдоль Окружной дороги. Все делалось в восемь этажей, и еще предполагалась шестнадцатиэтажная башня с солярием на крыше и с фигурой колхозницы в дюжину метров высотой. Дом был еще в лесах, со стороны улицы и площади не кончен даже каменной кладкой. Однако, уступая нетерпеливости начальства, строительная контора скороспешно сдавала заказчику со стороны Окружной уже вторую отделанную секцию, то есть лестницу с прилегающими квартирами.

Строительство было обнесено, как это всегда бывает на шумных улицах, сплошным деревянным забором, — а что сверх забора была еще колючая проволока в несколько рядов и кое-где высились безобразные охранные вышки, проезжим

как-то не бросалось в глаза, жившим же через улицу было привычно и потому тоже незаметно.

Семья прокурора пересекла заставу и обошла дом вокруг. Там уже снята была колючая проволока, и сдаваемая секция выгорожена из з о н ы. Внизу, у входа в парадное, их встретил любезный прораб, и еще стоял солдат, которому Клара не придала внимания. Все уже было окончено: высохла краска перил, начищены дверные ручки, прибиты номера квартир, протерты оконные стекла, и только грязно одетая женщина, наклоненного лица которой не было видно, мыла ступени лестницы.

— Э ! Алё ! — коротко окликнул прораб, и женщина перестала мыть и посторонилась, давая дорогу на одного и не поднимая лица от ведра с тряпкой.

Прошел прокурор.

Прошел прораб.

Шелестя многоскладчатой надушенной юбкой, почти обдавая ею лицо поломойки, прошла жена прокурора.

И женщина, не выдержав ли этого шелка и этих духов, оставаясь низко склоненной, подняла голову, глядя, много ли и х еще.

Ее жгучий презирающий взгляд испепелил Клару. Обданное брызгами мутной воды, это было выразительное интеллигентное лицо.

Не столько стыд за себя, который всегда ощущаешь, обходя женщину, моющую пол, — но перед этой юбкой в лохмотьях, перед этой телогрейкой с вылезшей ватой Клара испытала какой-то еще высший стыд и страх ! — и замерла — и открыла сумочку — и хотела вывернуть ее всю, отдать этой женщине — и не посмела.

— Ну, проходите же ! — зло сказала женщина.

И придерживая подол своего модного платья, и край бордового плаща, почти притиснувшись к перилам, Клара трусливо пробежала наверх.

В квартире не мыли полов — там был паркет.

Квартира понравилась. Мать Клары дала прорабу указания по доделкам и особенно была не довольна, что паркет в одной комнате скрипит. Прораб покачался на двух-трех клепках и обещал устранить.

— А кто здесь все это делает ? строит ? — резко спросила Клара.

Прораб улыбнулся и промолчал. Отец ответил:

— Заключенные, кто !

На обратном пути женщины уже не было.

И солдата не было снаружи.

Через несколько дней они переехали.

Но вот и прошло четыре года с тех пор, а Клара все не могла забыть той женщины и ездила только в лифте, а если случалось пешком, то проходя это место на лестнице, всегда суеверно сторонилась к перилам, как бы боясь наступить на поломойку. Это было непонятно — и непобедимо.

С первых же дней приезда отец не узнал в послевоенной Кларе той девчушки, которую оставил четыре года назад. Раньше он считал двух старших дочерей хотя и эффектными, но пустоватыми, а в Кларе предполагал вдумчивость и серьезность. Она же оказалась с совершенно испорченной головой, вдумчивой — навыворот. Откуда-то она начинилась разными вредными историями, которые любила рассказывать за обедом, и не так возмутительны были сами рассказы, как появившаяся у нее манера всякий н е т и п и ч н ы й случай обобщать ! После одного из таких ее рассказов старый прокурор ударил по посуде и вышел из-за стола, не доев.

Не с кем было Кларе делиться ! Год за годом она жила с нарастающим накоплением вопросов.

И вдруг однажды, спускаясь по лестнице с зятем, она не удержалась — невольно отвела его за рукав в том месте, где надо было обойти невидимую женщину. Иннокентий заметил и спросил, в чем дело. Клара замялась, могло показаться, что она сумасшедшая. И вдруг открылась.

Всегда франт и насмешник, Иннокентий выслушал, однако, не смеясь. Взял ее за обе руки и, светло глядя, сказал:

— Клярет ! Да ты соображать начинаешь !

Боясь потерять эту радостную минуту откровения, никуда не идя, все на той же ступеньке, где их застигло, Клара сама положила руки в сетчатых перчатках на плечи Иннокентию и забросала его вопросами — они все давно у нее были готовы.

Но Иннокентий не спешил отвечать. Покинув свою обычную насмешливость, через которую никогда нельзя было пробраться, он просто смотрел на свояченицу и смотрел. И вдруг сказал:

— А у меня к тебе всего один вопрос, Кларочка. Почему ты была такой мальшкой до войны ? Вообрази, как бы я славненько на тебе женился ! . .

Клара покраснела, топнула ногой и сняла руки.

Они продолжали спускаться.

И все же она вынудила Иннокентия начать отвечать.

Разговор этот был минувшим летом, чуть ли не в те самые дни, когда Клара с легкостью заполняла анкеты: происхождение ее было безупречно, жизнь не протяжена, освещена ровным светом благополучия, свободна от поступков, порочащих гражданина. Анкеты были все одобрены, и она переступила порог вахты таинственного института Маврино.

41

ПСЫ ИМПЕРИАЛИЗМА

С другими своими подругами, выпускницами института связи, Клара прошла пугающий инструктаж у темнолицего майора Шикина.

Она узнала, что работать будет среди крупнейших агентов — псов мирового империализма.

Клара была назначена в Вакуумную лабораторию. Так называлась лаборатория, изготовлявшая бесчисленное количество электронных трубок по заказам остальных лабораторий. Трубки сперва выдувались в соседней маленькой стеклодувной, а затем в собственно-вакуумной, большой полутемной комнате, обращенной на север, откачивались тремя гудящими вакуумными насосами. Насосы, как шкафы, перегораживали комнату. Даже днем здесь горели электрические лампы. Пол был выложен каменной плиткой — и постоянно стоял гул от шагов людей, от передвига стульев. У каждого насоса сидел или прохаживал свой вакуумщик, заключенный. В двух-трех местах за столиками еще сидели заключенные. А из вольных были только одна девушка Тамара, да начальник лаборатории в капитанском мундире.

Этому своему начальнику Клара была представлена в кабинете Яконова. Он был толстенький немолодой еврей с каким-то налетом равнодушия. Ничем уже больше не стращая Клару, он кивнул ей идти за собой, а на лестнице спросил.

— Вы, конечно, ничего не умеете и ничего не знаете ? Я имею в виду — по специальности ?

Клара ответила невнятно. Еще ко всему страху не хватало позора — разоблачать сейчас, что она невежда, и будут над ней смеяться.

Как в клетку со зверями, она вступила в лабораторию, где обитали чудовища в синих комбинезонах.

Трое вакуумщиков, действительно, ходили как пленные звери возле своих насосов — у них был срочный заказ, и их вторые сутки не пускали спать. Но средний из них, человек лет за

сорок, с плешиной, запущенно-небритый, остановился, раскрылся в улыбке и сказал:

— Во-о ! Пополнение !

И страх весь — как рукой сняло. Столько подкупающей простоты было в этом восклицании, что Клара только усилием лица, которым владеют девушки, удержалась от ответной улыбки.

Младший вакуумщик — у него был самый маленький из насосов, тоже остановился. Это был совсем юноша с веселым, чуть плутоватым лицом и крупными невинными глазами. Его взгляд на Клару выражал такое чувство, будто он застигнут врасплох.

Зато старший вакуумщик Двоетёсов, чей громадный насос в глубине комнаты особенно громко гудел, — высокий нескладный мужчина, сам поджарый, а с отвислым животом, презрительно посмотрел на Клару издали и ушел за шкаф, словно чтоб не видеть подобной мерзости.

Позже Клара узнала, что таков он бывал со всеми вольными, при входе начальства нарочно включал какой-нибудь гуд, чтоб надо было его перекрикивать. За наружностью своей он откровенно не следил, мог прийти с отрывающейся на брюках пуговицей, еще висящей на длинной нитке, с дырой на спине, или вдруг начинал при девушках чесаться под комбинезоном. Он любил говорить:

— А я — у себя на Родине ! В своем отечестве — чего мне стесняться ?

Среднего вакуумщика заключенные, даже и молодые, звали просто З е м е л я , на что он ничуть не обижался. Он был из тех, кого психологи называют « солнечными натурами », а в народе говорят — « рот до ушей, хоть завязки пришей ». В последующие недели наблюдая за ним, Клара заметила, что он никогда не жалел ни о чем пропавшем, будь то завалившийся карандаш или вся его погибшая жизнь, ни на кого и ни на что не сердился, в равной мере и не боялся никого. Он был всамделишный хороший инженер, только моторист-авиационник, в Маврино был завезен по ошибке, но прижился здесь и не рвался в другое место, справедливо считая, что вряд ли там будет лучше.

Вечером, когда насосы стихали, Земеля любил в тишине послушать или рассказать что-нибудь:

— Бывало, на пятачок — позавтракаешь. Вообще, иди чего хочешь покупай, на каждом шагу тебе в руки суют, — широко улыбался он. — Дерьмом никто не торговал, ему б в лицо наплевали. Сапоги — так сапоги, десять лет без починки

носишь, а с починкой — пятнадцать. Кожу-то на головках не обрезали, как сейчас, а напускали, чтобы под ногой вкруговую сходилась. Еще эти были... как они назывались?.. красные расписные на спиртовой подошве — это ж не сапоги, это душа вторая! — Весь он растаивал в улыбке и жмурился как на слабое теплое солнышко. — Или, например, на станциях... Приходи за минуту, покупай, садись, всегда вагоны свободные. Поезда гоняли — не экономили... П р о с т о было жить, очень просто...

Старший вакуумщик, покачивая грузным телом и засунув руки в карманы, выходил на эти рассказы из темного угла, где его письменный стол был надежно укрыт от ока начальства. Он становился посреди комнаты, смотрел как-то избоку, выкаченными глазами, а очки были спущены на нос:

— Ты это про что, Земеля? Ты разве помнишь?

— Помню немножко, — извинялся улыбкой Земеля.

— На-прас-но, — качал головой Двоетёсов. — Забывай. Вон, давай откачивай. Откачивай.

Он еще некоторое время стоял, придурковато глядя поверх очков. И, шаркая, уходил в свой угол.

Обязанности Клары оказались несложны: ей надо было, чередуясь с Тамарой, приходить один день с утра и быть до шести вечера, а другой день после обеда и — до одиннадцати ночи. Капитан же был всегда с утра, потому что днем его могло требовать начальство; вечерами он никогда не приходил, не ставя своей целью служебное продвижение. Главная задача девушек была — дежурство, то есть, слежка за заключенными. Помимо того, «для развития», начальник поручал им мелкие несрочные работы. С Тамарой Клара встречалась всего часа два в день. Тамара работала на объекте больше года и обращалась с заключенными довольно коротко. Кларе даже показалось, что одному из них она носила книги, но обменивали они их незаметно. Кроме того, тут же, в институте, Тамара ходила на кружок английского языка, где учились вольные, а преподавали (конечно, бесплатно, и в этом состояла выгода) — заключенные. Тамара быстро рассеяла страхи Клары, что эти люди могут причинить что-нибудь ужасное.

Наконец и сама Клара разговорилась с одним из заключенных. Правда, это был преступник не государственный, а всего навсего б ы т о в и к, каких в Маврино содержалось очень мало. Это был Иван-стеклодув, великий мастер, на свою беду. Старуха теща говорила о нем, что работник он золотой, а пьяница еще золотей. Он много зарабатывал, много пропивал, в пьяном виде бил жену и громил соседей. Но все было бы ниче-

го, если бы пути его не скрестились с МГБ. Какой-то авторитетный товарищ без знаков различия вызвал его повесткой и предложил поступить на работу с окладом три тысячи рублей. Иван же работал в таком одном местечке, где платили ему меньше, но со сдельными он выгонял больше. И он, забыв, с кем имеет дело, запросил четыре тысячи в месяц. Ответственный товарищ добавил двести, Иван уперся на своем. Его отпустили. В первую же получку он напился и стал буянить во дворе, но милиция, которой раньше бывало не дозваться, тут сразу пришла большим нарядом и увела Ивана. На другой же день был ему суд, дали год, и после суда привезли к тому же ответственному товарищу, который разъяснил, что Иван будет работать на предназначенном ему месте, но только платить ему не будут. Если такие условия его не устраивают, он может ехать добывать заполярный уголь.

Теперь Иван сидел и выдувал удивительные по своей форме, каждый раз новые, электронно-лучевые трубки. Год срока ему кончался, но судимость оставалась, и, чтоб не быть выселенному из Москвы, он очень просил начальство оставить его на этой работе и вольным, хотя б на полутора тысячах.

И хотя никого на шарашке не мог заинтересовать столь бесхитростный рассказ с таким благополучным концом — на шарашке были люди, по пятьдесят суток сидевшие в камере смертников, и люди, лично знавшие папу римского и Альберта Эйнштейна, — Клару потряс этот рассказ. Получалось, как сказал Иван, — « что хотят, то и делают ».

И голова ее, всегда так ровно, так невозмутимо носимая шеей, вдруг осветилась подозрением, что среди этих людей в синих комбинезонах могут встретиться даже и вовсе невинные. А если так — то не осудил ли и отец ее когда-нибудь тоже невиновного человека ? . .

Как-то вскоре была она в Малом театре с Алешей Ланским, ухаживающим за ней.

Шла « Васса Железнова ». Спектакль производил тягостное впечатление. Он шел при зале, заполненном меньше, чем на половину. Вероятно, это и убивало артистов. Они выходили на сцену скучные, как приходят служащие в учреждение, и радовались, когда можно было уйти. При таком пустом зале было почти стыдно играть: и грим, и роли казались забавой, не достойной взрослого человека. Даже игру поразительно непринужденной Пашенной разрушало это тление. Казалось, что в тишине зала кто-то из зрителей сейчас скажет тихо, совсем как в комнате: « Ну, милые, ладно, хватит кривляться ! » — и спектакль разрушится. Унижение актеров передавалось и зри-

телям. Всем передалось это ощущение, что они участвуют в постыдном деле, и неловко было смотреть друг на друга. Поэтому и в антрактах было очень тихо, как во время спектакля. Пары переговаривались полушепотом и беззвучно ходили по фойе.

Клара с Алешей тоже прошагали так первый антракт, и Алеша оправдывался за Горького и за театр. Он ругал откровенно халтурившего сегодня народного артиста Жарова, но еще больше — общую рутину в министерстве культуры, которая подорвала доверие советского зрителя к нашему реалистическому театру.

У Алексея было правильное овальное лицо, не бледное, потому что он находил время и для спорта. Глаза его были покойно умны от множества книг, прочитанных за его двадцать семь лет. Кандидат филологических наук и кандидат ССП, замеченный критик, под благожелательным покровительством Галахова, Алексей не столько писал сам, сколько отвергал других.

Во втором антракте Клара попросила остаться в ложе. Совсем никого не было ни в соседних ложах, ни — под ними, в партере. И она сказала:

— Мне потому надоело смотреть и Островского, и Горького, что надоело это разоблачение власти капитала, семейного угнетения, старый женится на молодой, мне надоела эта борьба с призраками. Уже пятьдесят лет, уже сто лет прошло, а мы все машем руками, все разоблачаем, чего давно нет. А о том, что есть — пьесы не увидишь.

— О чем, например ? — Ланский с улыбкой и любопытством смотрел на Клару. Он не ошибся в ней. Девушка эта не поражала наружностью, но с ней не соскучишься. — О чем ?

Клара, стараясь не очень выдать государственную тайну и тайну своего участия в этих людях, рассказала ему, что работает с заключенными, разрисованными ей как псы империализма, но при знакомстве ближе они оказались такими вот и такими. И мучил ее вопрос, пусть скажет Алеша — ведь среди них есть и невиновные ?

Ланский обстоятельно выслушал и ответил спокойно:

— Конечно, есть. Это неизбежно при всякой пенитенциарной системе.

— Но тогда, Алеша ! Ведь это получается — что хотят, то и делают ! Это же ужасно !

Ланский с нежной осторожностью положил свою розоватую руку с удлиненными пальцами на сжавшуюся в кулак руку Клары на красном бархате барьера:

— Нет, — мягко, но уверенно сказал он, — не « что хотят, то и делают ». Кто это — « делает » ? Кто это — « хочет » ? История. Нам с вами иногда кажется это ужасным, но, Клара, пора привыкнуть, что существует закон больших чисел. Чем на большем... м-материале развертывается какое-нибудь историческое событие, тем, конечно, больше вероятность отдельных частных ошибок — судебных ли, тактических, идеалогических, экономических. Мы схватываем процесс только в его основных, определяющих чертах, и главное — убедиться, что процесс этот неизбежен и нужен. Да, иногда кто-то страдает. Не всегда по заслугам. А убитые на фронте ? А совсем бессмысленно погибшие от Ашхабадского землетрясения ? от уличного движения ? Растет уличное движение — должны расти и жертвы. Мудрость жизни в том, чтобы принимать ее в ее развитии и с ее неизбежными ступеньками жертв.

Но Клара с негодованием тряхнула головой:

— Ступеньки ! — воскликнула она шепотом, так как два звонка уже было, и в зал заходили люди. — Материал ! Вот на вас бы проверить закон больших чисел ! У вас очень гладко все идет и говорится, но неужели вы не видите, что не все так, как вы пишете ?

— Вы хотите сказать — мы лицемерим ? насторожился Ланский. Он любил поспорить.

— Нет, я этого не говорю. — Раздался третий звонок. Угасал свет. С любовью женщины сказать последнее слово она быстро шептала ему почти в ухо: — Вы искренни, но, чтобы не нарушить стройности мировоззрения, избегаете встречаться с людьми, мыслящими иначе, чем вы. Вы набираетесь мыслей из бесед друг с другом, из книг, написанных друг другом. Если уж сравнивать с физикой, то это — резонанс, — торопливо кончала она уже при раздвигающемся занавесе. — Вы начинаете с маленьких убеждений, но они совпадают, и раскачивают друг друга до размеров...

Она смолкла, огорчаясь своей непонятной горячностью.

Ланскому тоже она испортила весь третий акт.

А как раз в третьем акте колокольчиком разыгралась артистка Роек, игравшая младшую дочь Вассы — и стала вытягивать спектакль. И Пашенная тоже вошла в свою дивную силу.

По-настоящему Клара и сама не понимала, что интересовал ее не какой-то где-то невиновный человек, который может быть уже давно сгнил за Полярным кругом, — а вот этот младший вакуумщик, голубоглазый, со смутно-золотистым отливом щек, почти мальчишка, несмотря на двадцать три года.

С первой же встречи он не гасил в своем взгляде восхищения Кларой, восхищения такого неприкрытого, радостного, какого она не встречала в своих московских поклонниках. (Дело было просто в том, но Клара не понимала, — что ее поклонники на воле жили среди женщин, видели покраше Клары и знали цену себе, а Ростислав приехал из лагеря, где он два года не слышал стука женских каблучков, и Клара, как сперва и Тамара, казались ему нетускнеющим чудом).

Но восхищение это не овладевало соседом Клары целиком. В этом затворничестве, почти напролет при электрическом свете, в полутемной лаборатории, какой-то своей наполненной скорометчивой жизнью жил этот юноша: то, скрываясь от начальства, он что-то мастерил; то украдкой учил в служебное время английский язык; то звонил по телефону своим друзьям в другие лаборатории и бежал с ними встречаться в коридоре. Всегда он двигался порывисто, и всегда, в каждую минуту, а особенно в сию минуту казался без остатка захваченным чем-то бурно интересным. И восхищение Кларой было одним из таких бурно-интересных его занятий.

При этом он не забывал следить и за своей наружностью, из-под комбинезона у него под пестроватым галстуком всегда виднелось что-то безукоризненно белое (Клара не знала, что это и была манишка — изобретение Ростислава, одна тридцать вторая часть казенной простыни).

Молодые люди, с которыми Клара встречалась на воле, уже преуспели в служебном положении, одевались, двигались и разговаривали рассчитанно, чтобы не уронить себя. По соседству же с Ростиславом Клара чувствовала, что молодеет, что и ей хочется озорнуть. Все с растущей симпатией она тайком присматривалась к нему. Ей никак не верилось, что вот как раз он и добродушный Земеля есть те самые цепные псы, против которых предупреждал майор Шикин. Ей очень хотелось узнать именно о Ростиславе — за какое злодейство он наказан? долго ли ему еще сидеть ? (Что он не женат — было ясно). Спросить его самого она не решалась, представляя, что такие вопросы должны быть очень тяжелы человеку, напоминая ему его отвратительное прошлое, которое он хочет стряхнуть с себя, чтобы исправиться.

Прошло еще месяца два. Клара уже вполне обвыклась со всеми, множество раз при ней разговаривали о всяких неслужебных пустяках. Ростислав подстерегал, когда на вечернем дежурстве во время ужина заключенных Клара оставалась в лаборатории одна, и неизменно стал приходить в это время — то за оставленными вещами, то позаниматься в тишине.

В эти его вечерние приходы Клара забывала все предупреждения оперуполномоченного...

Вчера вечером у них как-то сам прорвался тот стремительный разговор, от которого, как от напора дикой воды, рушатся жалкие человеческие перегородки.

Никакого отвратительного прошлого этому юноше не предстояло стряхивать. У него была только ни за что погубленная юность и вбирчивая жажда узнать и отведать всего, чего не успел.

Оказалось, он жил в подмосковной деревне с матерью. Он только кончил десятилетку, когда американцы из посольства сняли в их деревне дачу. Руська и два его товарища имели неосторожность (ну, и любопытство тоже) раза два удить с американцами рыбу. Все сошло как будто благополучно, Руська поступил в Московский университет, но в сентябре его арестовали — тайком, на дороге, так что мать долго не знала, куда он делся. (Руська объяснил Кларе, что и всегда арестовывать человека стараются так, чтобы он ничего не успел спрятать и чтобы близкие не могли от него получить пароль или знак). Его посадили на Лубянку (Клара даже это название тюрьмы услышала впервые в Маврино). Началось следствие. От Ростислава добивались — какое задание он получил от американской разведки, на какую явочную квартиру должен был передать. По собственному выражению, Руська был еще теленок и только недоумевал и плакал. И вдруг случилось диво: откуда никого добром не выпускают — Руську выпустили.

Это было еще в сорок пятом году.

На этом он остановился вчера.

Всю ночь Клара была в возбуждении от его начатого рассказа. Сегодня днем, презрев последние правила бдительности и даже границы приличия, она открыто села рядом с Ростиславом у его тихопогуживающего малого насоса, — и разговор их возобновился.

К обеденному перерыву они были уже простые сердечные друзья, как дети, по очереди кусающие одно большое яблоко. Им было уже странно, что за столько месяцев они не разговорились. Они едва успевали высказывать мысли, толпившиеся у каждого. Перебивая ее в нетерпении, он уже касался ее рук, — и она не видела в этом плохого. А когда все ушли на перерыв — вдруг новый смысл снизошел на то, что плечо у них было к плечу и рука касалась руки. Прямо перед собой Клара увидела вомлевшие в нее ярко голубые глаза.

Срывающимся голосом Ростислав говорил:

— Клара ! Кто знает — когда еще мы будем так сидеть ? Для меня это — чудо ! Я в него не верю ! Я поклоняюсь вам ! Я готов умереть хоть сейчас ! — (Он уже сжимал и ласкал ее руки). — Клара ! Мне, может быть, всю жизнь погибать по тюрьмам. Сделайте меня счастливым, чтоб я в любой одиночке мог согреваться этой минутой ! Дайте мне один ! — один только раз ! — поцеловать вас ! !

Клара ощутила себя богиней, сходящей в подземелье к узнику. Такой поцелуй был не пошлость. Ростислав притянул ее и отпечатлел на ее губах поцелуй разрушительной силы, поцелуй измученного воздержанием арестанта. И она ответила ему . . .

Он хотел целовать еще, но Клара оторвалась, отклонилась, с кружащейся головой, потрясенная.

— Уйдите . . . — попросила она.

Ростислав встал и стоял перед нею, пошатываясь.

— Сейчас пока — уйдите ! — требовала Клара.

Он заколебался. Потом подчинился. С порога он жалко, моляще обернулся на Клару — и его как укачнуло туда, за дверь.

Вскоре все вернулись с перерыва.

Клара не смела поднять глаз ни на Руську, ни на кого другого. В ней разгоралось — но не стыд совсем, а если радость — то не покойная.

Она услышала разговоры, что арестантам разрешена елка.

Она недвижно просидела три часа, шевеля только пальцами: она плела из разноцветных хлорвиниловых проводков — корзиночку, подарок на елку.

А Иван-стеклодув, воротясь со свидания, выдул двух смешных стеклянных чертиков, как бы с винтовками, связал клетку из стеклянных прутков, а в ней подвесил на серебряной ниточке стеклянный же грустно позванивающий я с н ы й м е с я ц .

42

ЗАМОК СВЯТОГО ГРААЛЯ

Полдня простиралось над Москвой низкое мутное небо, и было нехолодно. А перед обедом, когда семеро заключенных ступили из голубого автобуса на прогулочный дворик шарашки, — первые нетерпеливые снежинки кое-где пролетали по одной.

Такая снеговинка, шестигранная правильная звездочка, упала и Нержину на рукав старой фронтовой порыжевшей шинели. Он остановился посреди дворика и глубоко заглатывал воздух.

Старший лейтенант Шустерман, оказавшийся тут, предупредил, что время сейчас не прогулочное и надо зайти в здание.

Это было досадно. Не хотелось, да просто невозможно было, никому рассказывать о свидании, ни с кем делиться, искать ничьего участия. Ни говорить. Ни слушать. Хотелось быть одному и медленно-медленно протягивать через себя все это внутреннее, что он привез, пока оно еще не расплылось, не стало воспоминанием.

Но именно одиночества — не было на шарашке, как и во всяком лагере.

Войдя в здание (для заключенных был особый вход — деревянный трап вниз и потом подвальный коридор), Нержин остановился и задумался — куда ж идти ?

И придумал.

Черной задней лестницей, по которой никто почти не ходил, минуя составленные там вопрокидку ломаные стулья, он стал подниматься на глухую площадку третьего этажа.

Эта площадка была отведена под ателье художнику-зэку Кондрашеву. К основной работе шарашки он не имел никакого отношения, содержался же тут в качестве как бы дворового живописца: вестибюли и залы Отдела были просторны и требовали украшения их картинами. Менее просторны, зато более многочисленны были собственные квартиры зам. министра, Фомы Гурьяновича и других близких к ним работ-

ников, и еще более настоятельной необходимостью было — украсить все эти квартиры большими, красивыми и бесплатными картинами.

Правда, Кондрашев плохо удовлетворял этим духовным запросам: картины он писал хотя большие, хотя бесплатные, но не красивые. Заказчики, приезжавшие осматривать галерею, тщетно пытались ему втолковать, ка́к надо рисовать, какими красками, и со вздохом брали то, что есть. Впрочем, вправленные в золоченные рамы, картины эти выигрывали.

Нержин, миновав на всходе большой уже законченный заказ для вестибюля Отдела — « А.С. Попов показывает адмиралу Макарову первый радиотелеграф », вывернул на последний марш лестницы и, еще прежде, чем самого художника, увидел прямо вверху, на глухой стене под потолком — « Изувеченный дуб », двухметровой высоты картину, тоже законченную, которую, однако, никто из заказчиков не хотел брать.

Это был дуб одинокий, таинственной силой растущий на взлете голой скалы, куда взбиралась по обрыву опасная тропа и был взнесен как бы и зритель. Какие ураганы не дули здесь ! Как ни карежили они этот дуб ! И небо за деревом и вокруг нас грозовым было сейчас, как вечно. Небо, должно быть, не знало солнца никогда. Изуродованное постоянной рукопашной с постоянно дующими, вырывающими его из скалы ветрами, — это многоуглое, когтистое упорное дерево с ветвями заломленными, скрюченными, никак не оставляло борьбы и цеплялось за гиблое свое место над бездной.

По стенам лестничного пролета висели и другие, меньшие полотна. Кое-какие укреплены были на мольбертах. Свет сюда давали два окна — одно с севера, другое с запада. Сюда же, на лестничную площадку, выходило решеткой и розовой занавеской оконце Железной Маски, не дотянувшееся до Божьего света.

Ничего более не было здесь, ни даже стула. Его заменял низенький чурбачок.

Хотя лестница почти не отапливалась, и здесь была устоявшаяся холодная сырость, телогрейка Кондрашева лежала на полу, а сам он, смешно вылезающий руками и ногами из своего недостаточного комбинезона, неподвижно стоял, длинный, негнущийся, и как будто не мерз. Большие очки, укрупнявшие и устрожавшие его лицо, прочно держались за уши и на носу, приспособленные к постоянным резким поворотам Кондрашева. Взгляд его был уперт в какую-то одну

точку. Кисть и палитру он держал в опущенных на всю длину руках.

Усышав вкрадчивые шаги, он оглянулся.

Они встретились глазами, еще продолжая каждый думать о своем.

Художник не был рад посетителю — он нуждался сейчас в одиночестве и молчании.

И тем не менее — он был рад ему. И, не лицемеря ничуть, а даже с непомерным восторгом, такая привычка у него была, воскликнул:

— Глеб Викентьевич ? ! Милости прошу !

И гостеприимно развел руками с кистью и палитрой.

Доброта — обоюдное качество для художника: она питает его воображение, но и разрушает его распорядок.

Нержин застенчиво замялся на предпоследней ступеньке. Он сказал почти шепотом, будто еще кого-то третьего боялся здесь разбудить:

— Нет, нет, Ипполит Михайлыч ! Я пришел, если можно . . . помолчать . . здесь.

— Ах, да ! ах, да ! ну разумеется ! так же тихо закивал художник, быть может уже по глазам заметив и вспомнив, что Нержин ездил на свидание. И отступил, как бы раскланиваясь и показывая кистью и палитрой на маленький чурбачок.

Подобрав долгие полы шинели, которую в лагере он уберег от отрезания, Нержин опустился на чурбак, откинулся к балясинам перил и — очень ему хотелось закурить ! — не закурил.

Художник уставился в то же место картины.

Замолчали . . .

В Нержине приятно-тонко ныло разбуженное чувство.

Еще и сейчас хотелось прильнуть к тем местам своих пальцев, какими он на прощанье касался рук, шеи, волос жены . . .

Годами живешь без того, что отпущено на земле человеку.

Оставлены тебе: разум (если он вмещается в тебя). Убеждения (если ты до них созрел). И по самое горлышко — жертвенности и забот об общественном благе. Кажется, афинский гражданин — идеал человека.

А косточки нет.

И одна эта женская любовь, которой ты лишен, словно перевешивает весь остальной мир.

И простые слова:

« Любишь ? »

« Люблю. А ты ? »

сказанные там взглядами или шевелением губ, теперь наполняют душу тихим праздничным звоном.

Жаль, не решился поцеловать ее еще в начале свидания. Теперь этого поцелуя никак уже не добрать.

Губы жены не такие, как раньше, а — развыклые, слабые. И как утомлена ! И как затравленно сказала о разводе.

Развод перед законом ? Что ж, без сожаления относился Глеб к разрыву гербовой бумажки.

Но, довольно побитый жизнью, он знал уже, что у вещей и событий есть своя неумолимая логика. В повседневных действиях людям никогда и не грезится, какие совсем обратные последствия вытекут из их поступков. Так и Надя. Разводится, чтоб избежать преследований. А разведется — и сама не заметит, как выйдет замуж.

Почему-то от ее последнего помахивания пальцами без кольца сердце сжалось предчувствием, что вот именно так прощаются навсегда . . .

Долго просидел Нержин в молчании и очнулся. Очнулся на том, что избыток радости после свидания схлынул, теснимый трезво-мрачными соображениями. Но тем самым уравновесились его мысли, и опять он стал входить в свою обычную арестантскую шкуру.

« Тебе идет здесь » — сказала она.

То есть, в тюрьме.

В этом есть правда. Иногда совсем не жаль пяти просиженных лет. Они какие-то своеродные стали.

Где лучше узнать людей, чем здесь ?

И над самим собой подумать ?

От скольких молодых шатаний, от скольких бросаний в неверную сторону оберегла его железная предуказанная единственная тропа тюрьмы ?

Как Спиридон говорит: « Своя воля клад, да черти его стерегут ».

Или вот этот мечтатель, не восприимчивый к насмешкам века, — только ли и столько ли он потерял, севши в тюрьму ? Ну, нельзя бродить с ящиком красок по холмам и перелескам. Выставки ? Так он не умел себе их устраивать, и за полсотни лет ни единой картины не выставил в хорошем зале. Деньги за картины ? Он не получал их и там. Дружелюбных зрителей ? Но здесь он их собирает как бы не больше, чем там. Мастерскую ? Но даже вот такой холодной лестничной площадки у него на воле не было. И жилье его, и мастерская была там — узкая длинная комната, похожая на коридор. Чтобы развернуться с работой, он ставил стулья на стулья, а матрац зака-

тывал, и посетители спрашивали: « Вы переезжаете ? ». Стол был у них единственный, и когда на нем разворачивался натюрморт — до окончания картины они с женой обедали на стульях.

В войну не стало масла для красок — он брал пайковое подсолнечное и разводил на нем. За карточки надо было служить, его послали в химический дивизион рисовать портреты отличниц боевой и политической подготовки. Заказано было десять таких портретов, но из десяти отличниц он выбрал одну, и изводил ее долгими сеансами. Однако, рисовал ее совсем не так, как надо было командованию — и никто потом не хотел брать этого портрета, названного: « Москва, сорок первый год ».

А сорок первый год на этом портрете — был. Это была девушка в противоипритном костюме. Не рыжие, но медно-каштановые буйные волосы ее выбрасывались во все стороны из-под пилотки и взволнованным контуром охватывали голову. Голова была вскинута, безумные глаза видели перед собой что-то ужасное, незабываемое что-то, и полны были слез гнева. Но не расслаблена по-девически была фигура ! Готовые к борьбе руки держались за ремни противогаза, а противоипритный черно-серый костюм ломался острыми жестокими складками, серебристой полосой отсвечивал на переломленной плоскости — и виделся как латы рыцарских времен. Жестокое и благородное сошлись вместе на лице этой решительной калужской комсомолки, вовсе и некрасивой, но в которой Кондрашев увидел и показал Орлеанскую Деву !

Очень, кажется, близко это все получилось к « не забудем ! не простим ! » — а все-таки картины испугались, не взяли, не выставили ни разу нигде, и, Мадонна гнева и мщения, она годы стояла в его комнатенке, отвернутая к стене, и так достоялась до самого дня ареста.

Случилось, что один непризнанный и непечатающийся писатель написал роман и собрал два десятка друзей послушать его. Литературный четверг в стиле девятнадцатого века... Этот роман обошелся каждому слушателю в двадцать пять лет исправительно-трудовых лагерей. Слушателем крамольного романа был и Кондрашев, правнук декабриста Кондрашева, приговоренного за восстание к двадцати годам и отмеченного трогательным приездом к нему в Сибирь полюбившей его гувернантки-француженки.

Правда, в лагерь Кондрашев не попал, а прямо после того, как расписался за приговор ОСО, привезен был в Маврино и поставлен писать картины, по одной в месяц, как

установил для него Фома Гурьянович. Двенадцать месяцев минувшего года Кондрашев писал развешенные сейчас здесь и уже увезенные картины. И что ж ? Имея за спиной пятьдесят лет, а впереди двадцать пять, он не жил, а летел этот безбурный тюремный год, не зная, выпадет ли еще второй такой. Он не замечал, чем его кормили, во что одевали, когда пересчитывали его голову в числе других.

Он писал сразу несколько картин, много раз оставляя полотна и возвращаясь к ним вновь. Ни одно из них он не довел до той ступени, которая дает мастеру ощущение совершенства. Он даже не знал точно, существует ли такая ступень. Он оставлял их тогда, когда уже переставал различать в них что-либо, когда примелькивался его глаз. Он оставлял их тогда, когда с каждым возвратом всё меньшими и меньшими крохами был способен их улучшить и даже замечал, что уже портит, а не исправляет.

Он оставлял их — отворачивал к стене, задергивал. Картины от него отделялись, отдалялись, — а когда он снова свеже взглядывал на них, безнаградно и навсегда отдавая их висеть среди чванной роскоши — прощальный восторг пробивал художника. Пусть никто их не увидит больше, но все-таки он их написал !

... Уже полный внимания, Нержин стал рассматривать теперь последнюю картину Кондрашева — в соотношениях египетского квадрата, четыре к пяти, « Осенний ручей » или, как еще называл ее автор, « Лярго ре-минор ».

Стылый ручей занимал главное в ней место. Куда тек ручей — почти нельзя было понять: он не тек вовсе, его поверхность была готова взяться ледком. Где помельче, в ручье угадывался коричневый оттенок — это был отсвет палых листьев, устлавших дно. Левый бережок наступал мысом, правый отступал дугой. Первый снег лежал пятнами на обоих бережках, а в вытаинах между ними торчала желкло-коричневая трава. Два куста ветлы росли у берега, неосязаемодымчатые, мокрые от задержавшегося на них крупинками и тающего снега. Но не тут было главное, а — в глубине густой грудью леса стояли оливково-черные ели, в первом же ряду их пылала единственная бунтующая багряная береза. От ее одинокого нежного огня еще мрачней и сплоченнее стояла хвойная стража, поднимая острые пики в небо. Небо было в безнадежных пегих клочьях, и в такой же пасмури заходило задушенное солнце, не имея силы прорваться прямым лучом. Но нет, и не это еще было главное, а стылая вода устоявшегося ручья. Она имела налитость, глубину. Она была свинцово-прозрачная,

очень холодная. Она вобрала в себя и держала равновесие между осенью и зимой. И даже еще какое-то другое равновесие.

В эту-то картину сейчас и уставился автор.

Был высший закон у творчества. Кондрашев хорошо и давно его знал, пытался отстояться против него, но снова беспомощно ему подчинялся. Закон этот был — что ничто, сделанное им раньше, не имело веса, не шло в счет, не составляло никакой заслуги автора. Только то единственное полотно, которое писалось сегодня, только оно было средоточием всего его жизненного опыта, высшей точкой его способностей и ума, первым пробным камнем его таланта.

А оно так часто не удавалось !

Каждое из прежних до того, как удаться, тоже не удавалось, но прежнее отчаяние было все забыто, а теперь вот это единственное — первое, на котором он учился писать по настоящему ! оно не удавалось — и вся жизнь была прожита зря, и таланта не было никогда никакого !

Вот эта вода — она была и налита, и холодна, и глубока и неподвижна — но все это было ничто, если она не передавала высшего синтеза природы. Этого синтеза — понимания, успокоения, всесоединения — сам в себе, в своих крайних чувствах Кондрашев никогда не находил, но знал и поклонялся ему в природе. Так вот это высшее успокоение — передавала его вода или нет ? Он изнывал и отчаивался понять — передавала или нет ?

— А вы знаете, Ипполит Михайлыч, — медленно вступил Нержин. — Я, кажется, начинаю с вами соглашаться: все эти места — Россия.

— Не Кавказ ? — быстро обернулся Кондрашев. Очки его не дрогнули, как прилитые.

Этот вопрос, хоть далеко и не первый, но тоже был не лишен важности. Многие с недоумением отходили от пейзажей Кондрашева: они казались им не русскими, а кавказскими, что-ли — слишком величественными, слишком приподнятыми.

— Вполне могут быть такие места в России, — все уверенней соглашался Нержин. Он поднялся с чурбака и прошелся, рассматривая « Утро необыкновенного дня » и другие пейзажи.

— Ну, разумеется ! ну, разумеется ! — взволновался художник. — Не только м о г у т быть в России (и есть ! я бы повез вас в Подмосковье, если бы без конвоя !), но они н е могут быть на Кавказе. Поймите, публика поддалась Левитану ! Вслед за Левитаном мы привыкли считать нашу русскую природу бедненькой, обиженной, скромно-приятной. Но если бы наша природа была только такая, — скажите, откуда бы

взялись у нас самосжигатели ? стрельцы-бунтари ? Петр Первый ? декабристы ? народовольцы ?

— Желябов ! Ленин ! — захваченно поддержал и Нержин. — Верно !

А Кондрашева и не надо было сильно поддерживать, он и сам быстро расходился. Он крутил головой и разбрызгивал молнии очками:

— Наша русская природа — и торжествует ! и возмущается ! и не приемлет покорно татарских копыт ! !

— Да. Да, — кивал Нержин. — И вот этот искареженный Дуб — какой он к чертям кавказский ? . . Если даже здесь, в самом просвещенном уголке ГУЛага, нас каждого . . ? — Он махнул рукой. — А — в лагере ? Там не только душевную стройность, но последние остатки совести от нас требуют за двести грамм черного хлеба.

Кондрашев как бы еще выпрямился, еще воздвигнулся во всю свою недюжинную высоту.

— Никогда ! Никогда ! — он смотрел вверх и вперед, как Эгмонт, ведомый на казнь. — Никакой лагерь не должен сломить душевной красоты человека !

Нержин усмехнулся со злой трезвостью:

— Не должен, может быть, — но сламывает ! Вы еще не были в лагерях, не судите. Вы не знаете, как там хрустят наши косточки. Попадают туда люди одни, а выходят — если выходят — неузнаваемо другие. Да известное дело, бытие определяет сознание.

— Нет ! ! — Кондрашев расправил длинные руки, готовый сейчас же схватиться с целым миром. — Нет ! Нет ! Нет ! Да это было бы унизительно ! Да для чего тогда и жить ? Да почему ж тогда, ответьте — бывают верны возлюбленные в разлуке ? Ведь бытие требует, чтоб они изменили ! А почему бывают р а з н ы м и люди, попавшие в о д и н а к о в ы е условия, хотя и в тот же лагерь ?

Нержин был спокойно уверен в превосходстве своего житейского опыта над фантастическими представлениями этого нестареющего идеалиста. Но нельзя было не залюбоваться его возражениями:

— В человека от рождения вложена некоторая Сущность ! Это как бы ядро человека, это его Я ! И неизвестно еще, кто кого формирует ! Жизнь — человека, или сильный духом человек — жизнь ! Потому что . . . Кондрашев внезапно снизил голос и нагнулся к Нержину, опять утвердившемуся на чурбачке, — . . . потому что ему есть, с чем себя сравнить. Есть куда о г л я н у т ь с я. Потому что есть в нем Образ Совер-

шенства, который в редкое мгновение вдруг выступает. Перед духовным взором.

Кондрашев совсем, совсем согнулся к Нержину и, многообещающе блестя очками, спросил шепотом заговорщика.

— Вам — п о к а з а т ь ?

И так всегда кончаются споры с художниками ! У них логика своя.

— Ну, конечно, покажите !

Кондрашев, не выпрямляясь в рост, прокрался куда-то в угол, вытащил маленькое полотенко, набитое на подрамник, и принес его, держа к Нержину обратной серой стороной.

— Вы — о Парсифале знаете ? — глуховато спросил он.

— Что-то связано с Лоэнгрином.

— Его отец. Хранитель Чаши Святого Грааля.

— Есть опера у Вагнера, да ?

— Момента, который я изображаю здесь, нет ни у Вагнера, ни у Фон-Эшенбаха. Но мне представляется именно этот момент. Этот момент может быть у каждого человека, когда он внезапно увидит Образ Совершенства . . .

Кондрашев закрыл глаза, подобрал и закусил губы. Он готовился сам.

Нержин удивился, почему такое маленькое то, что он сейчас увидит.

Художник открыл веки:

— Это — только эскиз. Эскиз главной картины моей жизни. Я ее, наверно, никогда не напишу. Это то мгновение, когда Парсифаль впервые увидел — замок ! Святого ! ! Грааля ! ! !

И он обернулся поставить эскиз перед Нержиным на мольберт. И сам неотрывно смотрел уже только на этот эскиз. И поднял вывернутую руку к глазам, как бы заслоняясь от света, идущего о т т у д а . И отступая, отступая, чтобы лучше охватить видение, он пошатнулся на первой ступеньке лестницы и едва не грохнулся.

Картина задумана была в высоту в два раза больше, чем по горизонтали. Это была клиновидная щель между двумя сдвинутыми горными обрывами. На обоих обрывах, справа и слева, чуть вступали в картину крайние деревья леса — дремучего, первозданного. И какие-то ползучие папоротники, какие-то цепкие враждебные уродливые кусты прилепились на самых краях и даже на отвесных стенах обрывов. Наверху, слева, из лесу светло-серая лошадь вынесла всадника в шлемовидном уборе и плаще. Лошадь не испугалась бездны, лишь приподняла ногу в несделанном последнем шаге, готовая, по

воле всадника, и попятиться и перенестись — ей по силам и перенестись.

Но всадник не смотрел на бездну перед лошадью. Растерянный, изумленный, он смотрел туда, перед нами вдаль, где на все верхнее пространство неба разлилось оранжево-золотистое сияние, исходящее то ли от Солнца, то ли от чего-еще чище Солнца, скрытого от нас за замком. Вырастая из уступчатой горы, сам в уступах и башенках, видимый и внизу сквозь клиновидную щель и в разломе между скалами, папоротниками, деревьями, игловидно поднимаясь на всю высоту картины до небесного зенита, — не четко-реальный, но как бы сотканный из облаков, чуть колышащийся, смутный и все же угадываемый в подробностях нездешнего совершенства, — стоял в лучистом ореоле сиреневый замок Святого Грааля.

48

ДВОЙНИК

Если не считать толстячка Густава с розовыми ушами, Доронин был на шарашке самым молодым зэком, его лицо еще даже не освободилось от юношеских прыщиков. Все сердца привлекал его необидчивый нрав, удачливость, быстрота. Немногие минуты, в которые начальство разрешало волейбол, Ростислав отдавался игре беззаветно; если стоящие у сетки мяч пропускали, он от задней черты бросался под него «ласточкой», отбивал и падал на землю, в кровь раздирая колена и локти. Нравилось и необычное имя его — Руська, вполне оправдавшееся, когда, через два месяца после приезда, его голова, бритая в лагере, заросла вьющимися русыми волосами.

Его привезли из Воркутинских лагерей потому, что в учетной карточке ГУЛАГа он числился как фрезеровщик, на самом же деле оказался фрезеровщик липовый и вскоре был заменен настоящим. Но от обратной отсылки в лагерь его спас Двоетёсов, взявший его учиться на меньшем из вакуумных насосов. Переимчивый Руська быстро научился. За шарашку он держался как за дом отдыха — в лагерях ему пришлось хлебнуть много бед, о которых он рассказывал теперь с веселым азартом: как он доходил в сырой шахте, как стал делать себе м о с т ы р к у — ежедневную температуру, нагревая обе подмышки камнями одинаковой массы, чтобы два термометра никогда не расходились больше, чем на десятую долю градуса (его разоблачать хотели двумя термометрами).

Но со смехом вспоминая свое прошлое, которое за двадцать пять лет его срока неотступно должно было повториться в будущем, Руська мало кому, и то по секрету, раскрывался в своем главном качестве — донного парня, два года водившего за нос всесоюзный розыск.

И так в пестрой толпе обитателей шарашки он не был особо примечателен до одного сентябрьского дня. В этот день Руська с таинственным видом обошел до двадцати самых влиятельных зэков шарашки, составлявших ее общественное мнение, — и с глазу на глаз каждому из них возбужденно

сообщил, что сегодня утром оперуполномоченный майор Шикин вербовал его в стукачи, и что он, Руська, согласился, предполагая использовать службу доносчика для всеобщего блага.

Несмотря на то, что личное дело Ростислава Доронина было испещрено пятью смененными фамилиями, галочками, литерами и шифрами о его опасности, предрасположенности к побегу, о необходимости транспортировать его только в наручниках, — майор Шикин в погоне за увеличением штата своих осведомителей счел, что Доронин — юноша, и потому не стоек, что он дорожит своим положением на шарашке и потому будет предан оперуполномоченному.

Тайком вызванный в кабинет Шикина (вызывали, например, в секретариат, а там говорили: « да-да, зайдите к майору Шикину »), Ростислав просидел у него три часа. За это время, слушая нудные наставления и разъяснения кума, Руська своими зоркими емкими глазами изучил не только крупную голову майора, поседевшую за подшиванием доносов и кляуз, его черноватое лицо, его крохотные руки, его ноги в мальчиковых ботинках, мраморный настольный прибор и шелковые оконные шторы, но и, мысленно переворачивая буквы, перечел заголовки на папках и бумажки, лежавшие под стеклом, хотя сидел от края стола за полтора метра, и еще успел прикинуть, какие документы Шикин, очевидно, хранит в сейфе, а какие запирает в столе.

Порою Доронин простодушно уставлял свои голубые глаза в глаза майора и согласительно кивал. За этим голубым простодушием кипели самые отчаянные замыслы, но оперуполномоченный, привыкший к серому однообразию людской покорности, не мог догадаться.

Руська понимал, что Шикин действительно может услать его на Воркуту, если он откажется стать стукачом.

Не Руську одного, но все поколение Руськино приучили считать « жалость » чувством унизительным, « доброту » — смешным, « совесть » — выражением поповским. Зато внушали им, что доносительство есть и патриотический долг, и лучшая помощь тому, на кого доносишь, и содействует оздоровлению общества. Не то, чтоб это всё в Руську проникло, но и не осталось без влияния. И главным вопросом для него был сейчас не тот, насколько это дурно или позволительно — стать стукачом, а — что из этого получится ? Уже обогащенный бурным жизненным опытом, множеством тюремных встреч и наслушавшись хлестких тюремных споров, этот юноша не упускал из

виду и такую ситуацию, когда все эти архивы будут раскапывать, а всех этих Шикиных — предавать позорному суду.

Поэтому он находил, что согласиться на сотрудничество с к у м о м было в дальнем смысле так же опасно, как в ближнем — отказаться от него.

Но кроме всех этих расчетов Руська был художник авантюризма. Читая занятные бумажки вверх ногами под настольным стеклом Шикина, он задрожал от предчувствия острой игры. Он томился от бездеятельности в тесном уюте шарашки!

И для правдоподобия еще уточнив, сколько он будет получать, Руська с жаром согласился.

После его ухода, Шикин, довольный своей психологической проницательностью, прохаживался по кабинету и потирал одну крохотную ладонь о другую — такой осведомитель-энтузиаст обещал богатый урожай доносов. А в это самое время не менее довольный Руська обходил доверенных зэков и исповедывался им, что согласился быть стукачом из любви к спорту, из желания изучить методы оперуполномоченных и выявить подлинных стукачей.

Другого подобного признания не помнили зэки, даже старые. Руську недоверчиво спрашивали — зачем он, рискуя головой, похваляется. Он отвечал:

— А когда над этой сворой будет процесс, — вы за меня выступите свидетелями защиты.

Из двадцати узнавших зэков каждый рассказал еще одному-двум, — и никто не пошел и не донес куму! Уже одним этим полста людей утвердились выше подозрений.

Событие с Руськой долго волновало шарашку. Мальчишке поверили. Верили ему и позже. Но, как всегда, у событий был свой внутренний ход. Шикин требовал м а т е р и а л о в, то есть доносов. Руське приходилось что-нибудь д а в а т ь. Он обходил своих доверителей и жаловался:

— Господа! Воображаете, сколько с т у ч а т другие, если я вот месяца не служу — а как Шикин жмет! Ну войдите в положение, подбросьте материальчика!

Одни отмахивались, другие подбрасывали. Единодушно было решено погубить некую даму, которая работала из жадности, чтоб умножить тысячи, приносимые мужем. Она держалась с зэками презрительно, высказывалась, что их надо перестрелять (говорила она так среди вольных девушек, но зэкам быстро стало известно) и сама з а в а л и л а двоих — одного на связи с девушкой, другого — на изготовлении чемодана из казенных материалов. Руська бессовестно оболгал ее, что она берет от зэков письма на почту и ворует из шкафа кон-

денсаторы. И хотя он не представил Шикину ни одного доказательства, а муж дамы — полковник МВД, решительно протестовал, — по неотразимой в нашем отечестве силе тайного доноса дама была уволена и ушла заплаканная.

Иногда Руська стучал и на зэков — по каким-либо незлостным мелочам, сам же предупреждая их об этом. Потом перестал предупреждать, смолк. Не спрашивали и его. Невольно все поняли так, что он стучит и дальше, но уже о таком, в чем не признаешься.

Так Руську постигла судьба д в о й н и к о в. Об игре его по-прежнему никто не донес, но его стали сторониться. Рассказываемые им подробности о том, что у Шикина под стеклом лежит особое расписание, по которому стукачи заскакивают в кабинет без вызова, и по которому можно их ловить, как-то мало вознаграждали за его собственную принадлежность к причту стукачей.

Не подозревал и Нержин, любивший Руську и любующийся его интригами, что о Есенине на него стукнул тоже Руська. Потеря книги доставила Глебу большую боль, которой Руська предвидеть не мог. Тот рассудил, что книга — Нержина собственная, это выясниться, отнять ее никто не отнимет, — а Шикина можно очень занять доносом, что Нержин прячет в чемодане книгу, наверное принесенную ему вольной девушкой.

Еще сохраняя на губах солоновато-сладкий вкус Клариного поцелуя, Руська вышел во двор. Снежная белизна лип была ему цветением, а воздух казался теплым, как весной. В своих двухлетних скитаниях-скрываниях, все мальчишеские помыслы устремив на обман сыщиков, он совсем упустил искать любовь женщин. Он сел в тюрьму девственным, и от этого по вечерам ему было так безутешно-тяжело.

Но, выйдя во двор, при виде низкого длинного штаба спецтюрьмы он вспомнил, что завтра в обед он здесь хотел задать спектакль. Подоспела как раз пора о том объявить (раньше было нельзя, чтоб не сорвалось). И, овеянный восхищением Клары, оттого себя чувствуя втройне удачливым и умным, он огляделся, увидел Рубина и Нержина на краю прогулочного двора, у большой липы с раздвоенным стволом, и решительно направился к ним. Шапка его была сдвинута набок и назад, так что лоб весь и уголочек темени с вьющимися волосами были доверчиво открыты нехолодному дню.

Он подходил, видя Рубина в спину, а Нержина в лицо. Говорили они не о пустяках, потому что Нержин был хмур и очень серьезен. С подходом Руськи он не повел на него глазами,

ничуть не изменился в лице, ни в темпе речи, не моргнул, не кивнул, но ясно, что слова, которые услышал Руська, были уже не слова их разговора:

— Вообще, если композитор слишком много написал, это у меня всегда вызывает предубежденность. Например, Моцарт, — сорок одну симфонию накрутил, разве не халтурщик ?

Да, ему не доверяли ! Эти слова были, конечно, сменные, потому что в них ничто не указывало Рубину, что кто-то подходит, а он повернулся. И, увидев Руську, сказал:

— Слушайте, инфант. Как по-вашему — гений и злодейство совместимы ?

Ростислав смотрел на Рубина непритворенным взглядом. Лицо его дышало чистотой и озорью.

— По-моему, нет, Лев Григорьич ! Но с некоторых пор все меня сторонятся, будто я эти качества совместил. Господа ! Я пришел вам предложить: хотите, завтра в обеденный перерыв я вам продам всех христопродавцев в тот самый момент, когда они будут получать свои тридцать серебренников ?

— Каким же образом ?

— Ну, вам известен общий принцип справедливого общества, что всякий труд должен быть оплачен ? Завтра каждый Иуда будет получать свои серебренники за третий квартал этого года.

— Резинщики ! — возмутился Нержин. — Уже и четвертый отработали — а они только за третий ? Почему такая задержка ?

— Очень во многих местах надо подписывать платежную ведомость, — объяснил Руська извиняющимся тоном. — В том числе буду получать и я.

— И тебе тоже платят за третий ? — удивился Рубин. — Ведь ты же там служил только полквартала ?

— Ну что ж, я — отличился ! — с подкупающей открытой улыбкой оглядел обоих Руська.

— И прямо наличными ?

— Боже упаси ! Фиктивный денежный перевод по почте с зачислением суммы на лицевой счет. Меня спросили — от какого имени вам прислать ? Хотите — от Ивана Ивановича Иванова ? Стандарт меня покоробил. Я попросил — нельзя ли от имени Клавы Кудрявцевой ? Все-таки приятно думать, что о тебе заботится женщина.

— И по сколько же за квартал ?

— Вот тут-то самое остроумное ! Осведомителю по ведомости выписывают сто пятьдесят рублей за квартал. Но надо для приличия переслать по почте, а неумолимая почта берет три

рубля почтовых сборов. Все кумовья настолько жадные, что своих денег добавить не хотят, и настолько ленивые, что не поднимут вопроса о повышении ставки сексотам на три рубля. Поэтому переводы будут все как один на 147 рублей. Поскольку нормальный человек никогда таких переводов не шлет, — эти недостающие тридцать гривенников и есть Иудина печать. Завтра в обед надо столпиться около штаба и у всех, выходящих от опера, смотреть перевод. Родина должна знать своих стукачей, как вы находите, господа ?

44

ЖИЗНЬ — НЕ РОМАН

В этот самый час, когда отдельные редкие снежинки стали срываться с неба и падали на темную мостовую улицы Матросская Тишина, с булыжников которой скаты автомашин слизали последние остатки снега прошлых дней, — в 418-й комнате студенческого городка на Стромынке шла предвечерняя воскресная жизнь девушек-аспиранток.

418-я комната на третьем этаже своим широким квадратным окном, разделенным на девять окончин, как раз и выходила на Матросскую Тишину, а от окна к двери была продолговата, и вдоль стен ее, справа и слева, тянулись по три кровати гуськом, высились плетенные этажерки с книгами и тумбочки. Средней полосой комнаты, оставляя вдоль кроватей лишь узкие проходы, один за другим стояли два стола: ближе к окну — « диссертационный », где громоздко теснились книги, тетради, чертежи и стопы машинописного текста, и где на углу сейчас пристроилась Оленька, беленькая головка, читать такие листы, а дальше — общий стол, за которым сейчас Муза писала письмо, а Люда перед зеркалом раскручивала папильотки. Кровати немного не доходили до дверной стены, и здесь оставалось место по одну сторону для вешалок, по другую — для умывального таза, отгороженного занавесочкой (умываться полагалось в конце коридора, но девушкам там было неуютно, холодно, далеко).

На первой от умывальника кровати лежала венгерка Эржика и читала. Она лежала в халате, который в комнате назывался « бразильский флаг ». У нее были еще и другие затейливые халаты, восхищавшие девушек, но на выход она одевалась очень сдержанно, как бы даже стараясь не привлекать внимания. Она привыкла так за годы, когда была подпольщицей в Венгрии.

Следующая по ряду постель Люды была растерзана (Люда не так давно встала), одеяло и простыни касались пола, зато поверх подушки и спинки кровати было бережно разложено уже выглаженное голубое шелковое платье и чулки. Сама же

Люда за столом громко рассказывала (неизвестно кому, потому что никто ее специально не слушал) историю ухаживания за ней некоего испанского поэта, вывезенного с родины еще мальчиком. Она подробно вспоминала ресторанную обстановку, какой был оркестр, какие были блюда, гарниры и что пили.

Подперев небольшими круглыми кулаченками подбородок, Оленька старалась читать свое и не слушать Люду. Она могла, конечно, сейчас оборвать ее, но, как говорила покойная Олина мать, « с бранчивой кумой не напрощаешься ». Уже проверено было, что останавливать Люду — это только больше ее распалять. Люда и аспиранткой-то, собственно, не была, она кончила финансовый институт и приехала в Москву на курсы преподавателей политэкономии. Девочка из семьи с вольными средствами, она, кажется, на курсы приехала больше для развлечения.

В подобных рассказах Люды Оленьку мутило и это постоянное обсасывание увеселительной стороны существования, требующей больших денег, свободного времени и пустоватой души, и, еще больше, пожалуй — первобытное убеждение Люды, что во в с т р е ч а х и вообще в отношениях с мужчинами состоит не только определяющий, но единственный смысл жизни.

Напротив, по твердому убеждению Оленьки, их роковому женскому поколению (она была двадцать третьего года рождения) ни за что нельзя было так настраивать себя. Принять такой тезис значило — всю судьбу свою повесить на одну единственную паутинку и каждый день ждать, что она перервется или что даже она ни к чему не приклеена.

Правда, у самой Оленьки такая перламутровая паутинка появилась, она качалась перед ней, как качелька. Вот и сегодня вечером Оля должна была идти в концерт с человеком, который ей очень нравился. Паутинка была, за нее даже можно было взяться двумя ладонями, но натянуть ее — натянуть ее было страшновато. Она могла не удержать...

А пока еще Оленька даже не гладила к вечеру, а дочитывала — не по обязанности, но с живым увлечением — тускловато отпечатанный, в третьем экземпляре, отчет о раскопках в Новгороде этой осенью, уже после того, как Оля оттуда уехала. В археологию она перешла поздно, перед пятым курсом: захотелось ей и в истории работать как-нибудь по возможности руками. С тех пор она нарадоваться не могла, что перешла. Этим же летом ей посчастливилось собственными пальцами освободить из земли одну берестяную грамотку — живое письмецо из двенадцатого века !

В этой ее « собственной » маленькой грамотке было всего несколько слов: муж писал жене, чтобы та прислала с Сашкой двух коней к такому-то месту, в такое-то время. Но Оленьке эти ею откопанные строки были как трубный глас, раскалывающий землю, и даже гораздо больше, чем торжественный слог летописей: ведь эта новгородская домохозяйка Двенадцатого века, запросто грамотная — что это была за женщина ?! И что ж это был за город такой ! Кто мог быть этот Сашка — сын ли ? работник ? И как выглядели кони, которых она Сашке дала отогнать ?... Простая домашняя записка затягивала и затягивала Олю на новгородские древние мостовые. Ей вообще трудно было сдерживать свое воображение. Иногда, даже в читальне, она закрывала глаза и воображала, как зимним вечером, но не вьюжным, не холодным, она подъезжает на санках, вот отсюда, с тверской стороны, и еще издали видит множество огней (ведь не лучиной же освещались !), и что сама она — новгородка древняя, и сердце ее колотится от радости, что после долгой отлучки возвращается она в этот свой родной, вольный, шумный, полумиллионный, единственный такой город !

Но даже не во внешней стороне ухаживания видела Люда главную пикантность своего рассказа. Уже у себя в Воронеже три месяца бывшая замужем и сходившаяся потом кой с какими другими мужчинами, Люда всегда сожалела, что девичество у нее прошло как-то слишком мельком. И вот с первых же слов знакомства с испанским поэтом она разыгрывала из себя целомудренную девицу, трепетала и стыдилась малейшего прикосновения к плечу или локтю, а когда потрясенный поэт вымолил у нее п е р в ы й в ее жизни поцелуй, она содрогалась, переходила от восторга к отчаянию и вдохновила поэта на стихотворение в двадцать четыре строки, к сожалению, не на русском.

Муза, избыточно-полная, с грубоватыми чертами лица и в очках казавшаяся старше тридцати лет, пыталась под этот назойливый, оскорбляющий ее рассказ (попросить Люду помолчать она считала неделикатным) писать письмо своим глубоко-пожилым родителям в далекий провинциальный город. Папа и мама ее до сих пор любили друг друга как молодожены, и всякое утро, идя на работу, папа до самого угла все оборачивался и помахивал маме, а маме помахивала ему из форточки. И так же любила их дочь ! — не было для нее на свете людей ближе ее постаревших родителей. Она привыкла и любила писать им часто и подробно о каждом своем переживании.

Но сейчас она не находила себя. Эти двое суток, с вечера

последней пятницы, с Музой случилось такое, от чего затмилась ее неутомимая повседневная работа над Тургеневым — работа, заменявшая ей всякую другую жизнь, все виды жизни. Ощущение у нее было самое гадкое — как будто она вымазалась во что-то грязное, позорное, чего нельзя было ни отмыть, ни скрыть, ни показать — и существовать с этим тоже было нельзя.

Случилось то, что в эту пятницу вечером, когда она вернулась из библиотеки и скоро собиралась ложиться, ее вызвали в канцелярию общежития, а там сказали: « да, да, вот в эту, пожалуйста, комнату ». А там сидели двое мужчин в штатском, вначале очень вежливых, представившихся ей как Николай Иванович и Сергей Иванович. Мало стесняясь поздним временем, они держали ее час, и два, и три. Они начали с расспросов, с кем она живет, с кем работает (хотя знали это, конечно, не хуже ее). Они неторопливо беседовали с ней о патриотизме, об общественном долге всякого научного работника не замыкаться в своей специальности, но служить своему народу всеми средствами, всеми возможностями. Против этого Муза не нашлась возразить, это было совершенно верно. Тогда братья Ивановичи предложили ей п о м о г а т ь им, то есть в определенное время встречаться с кем-нибудь из них в этой же вот канцелярии, или на агитпункте, или в клубных комнатах, а то и в самом университете, по уговору, — и там отвечать на определенные вопросы или передавать свои наблюдения.

И с этого — началось долгое, ужасное ! Они стали говорить с ней все грубее, покрикивать, обращаться уже на « ты »: « Да что ты упрямишься? Тебя ж не иностранная разведка вербует!» « Нужна она иностранной разведке как кобыле пятая нога . . . » Потом прямо заявили, что диссертацию защитить ей не дадут (а у нее шли последние — до июня ! — месяцы, и диссертация была почти готова), научную карьеру ей поломают, потому что такие научные хлюпики Родине не нужны. Это очень ее напугало, она вполне поверила, что выгонят ее из аспирантуры, для них это не труд. Но тут они вынули пистолет, передавали друг другу и как бы невзначай держали наведенным на Музу. От пистолета у Музы, наоборот, страх миновал. Потому что в конце концов остаться живой, но выгнанной с черной характеристикой, было хуже. В час ночи Ивановичи отпустили ее д у м а т ь до вторника, вот до этого вторника, двадцать седьмого декабря, — и взяли подписку о неразглашении.

Они уверяли, что и м в с е и з в е с т н о , и если она кому-

нибудь расскажет об этом разговоре, то по этой подписке будет тотчас арестована и осуждена.

Каким несчастным выбором они остановились именно на ней ?... Теперь обреченно она ждала вторника, не в силах заниматься, — и вспоминала те недавние дни, когда можно было думать об одном Тургеневе, когда душу ничто не гнело, а она, глупая, не понимала своего счастья.

— Я говорю: вы, испанцы, вы так высоко ставите честь человека, но если вы поцеловали меня в губы, то ведь я о б е с ч е щ е н а !

Привлекательное, хотя и жестковатое лицо светловолосой Люды передало отчаяние обесчещенной девушки.

Оленька шумно вздохнула, отложила отчет. Хотела она сказать резкое, но и тут удержалась. В такие минуты ее подбородок, мило припухлый, как и все лицо, как и запястья, приобретал твердые очертания. Нахмуренная, она молча встала на стул и потянулась (по низкому росту она доставала с трудом) включить вилку утюга в патрон-« жулик » над висячей лампочкой, еще не вывернутый после Людиной глажки. (Утюги и плитки были на Стромынке строго запрещены, за « жуликами » охотились коменданты, розеток же в комнатах не ставили).

Худенькая Эржика все это время, лежа, читала « Избранное » Галахова. Эта книга раскрывала перед ней мир высоких светлых характеров, ясный красивый мир, где легко побеждалось всякое страдание. Персонажей Галахова никогда не сотрясали и сомнения — служить родине или не служить, жертвовать собой или не жертвовать. Глубина и цельность этих людей поражала Эржику. Она признавалась себе, что в годы подполья в хортистской Венгрии никогда б ее так не могла мучить неуплата членских взносов, как галаховского комсомольца, взрывавшего эшелоны в тылу врага.

Но, опустив книгу и перекатясь на бок, она стала слушать также и Люду. Здесь, в 418-й комнате, ей приходилось узнавать противоположные удивительные вещи: то инженер отказался ехать на увлекательное сибирское строительство, а остался в Москве продавать пиво; то кто-то защитил диссертацию и вообще не работает. (Эржика расширяла глаза: « Разве в Советском Союзе бывают безработные ? ») То, будто бы, чтобы прописаться в Москве, надо кому-то сильно п о д м а з а т ь. « Но ведь это — явление м о м е н т а л ь н о е ? » — спрашивала Эржика. (Она хотела сказать — временное).

Люда досказывала о поэте, что если выйдет за него замуж, то уж теперь ей нет выхода — надо правдоподобно изобразить,

что она-таки была невинна. И стала делиться, к а к именно собирается представить это в первую ночь.

Змейка страдания прошла по лбу Музы. Она не выдержала и пристукнула по столу:

— Но ведь это чушь ! Сколько героинь мировой литературы из-за этого...

— Потому что ду-у-уры ! — весело отвечала Люда, довольная, что ее слушают. — Потому что сами себе голову заморочили... А это так просто !

Оленька расстелила одеяло с краю того же общего стола и пробовала утюг. Недавно сшитые жакет и юбка к нему, искоричнева-серые, были — ее всё. Оленька сидела на картошке и каше (она с начала войны не помнила себя сытой), если могла не заплатить в троллейбусе сорока копеек — не платила, зато вот этот костюм был весь хорош, никакой части его не приходилось стыдиться... Кажется, ей было бы легче сейчас прожечь утюгом себе тело, чем этот костюм.

Вообще же Люда сомневалась, выходить ли за поэта:

— Он не член ССП, пишет все на испанском, и как у него будет дальше с гонорарами — не-пред-став-ля-ю !

Эржика была так поражена, что спустила ноги на пол.

— Как ? — спросила она. — И ты... и в Советском Союзе тоже выходят замуж п о с ч е т у ?

— Привыкнешь — поймешь, — тряхнула Люда головой перед зеркалом. Все папильотки уже были сняты, и множество белых завившихся локонов дрожало не ее голове. Одного такого колечка было довольно, чтобы окольцевать юношу-поэта.

— Девочки, я делаю такое выведение... — начала Эржика, но заметила странный опущенный взгляд Музы на пол близ нее — и ахнула — и вздернула ноги на кровать.

— Что ? Пробежала ? — с искаженным лицом крикнула она.

Но девочки рассмеялись. Никто не пробежал.

Здесь, в 418-й комнате, иногда даже и днем, но по ночам особенно нахально, отчетливо стуча лапами по полу и пища, бегали ужасные русские крысы. За все годы подпольной борьбы против Хорти ничего так не боялась Эржика, как теперь того, что эти крысы вскочат на ее кровать и будут бегать прямо по ней. Днем еще, при смехе подруг, страх ее миновал, но по ночам она обтыкалась одеялом со всех сторон и с головой и клялась, что если доживет до утра — будет уходить со Стромынки. Химичка Надя приносила яд, разбрасывали им по углам, они стихали на время, потом принимались за свое. Две недели назад колебания Эржики решились: не кто

нибудь из девочек, а именно она, зачерпывая утром воду из ведра, вытащила в кружке утонувшего крысенка. Трясясь от омерзения, вспоминая его сосредоточенно-примиренную острую мордочку, Эржика в тот же день пошла в венгерское посольство и просила поселить ее на частной квартире. Посольство запросило министерство иностранных дел СССР, министерство иностранных дел — министерство высшего образования, министерство высшего образования — ректора университета, тот — свою адмхозчасть, и хозчасть ответила, что частных квартир пока нет, жалоба же о якобы крысах на Стромынке поступает впервые. Переписка пошла в обратную сторону и снова в прямую. Все же посольство обнадеживало Эржику, что комнату ей дадут.

Теперь Эржика, охватив подтянутые к груди колени, сидела в своем бразильском флаге как экзотическая птица.

— Девочки-девочки, — жалобным распевом говорила она. — Вы мне все так нравитесь ! Я бы ни за что не ушла от вас м и м о крыс.

Это была правда и неправда. Девушки нравились ей, но ни одной из них Эржика не могла бы рассказать о своих больших тревогах, об одинокой на континенте Европы венгерской судьбе. После процесса Ласло Райка что-то непонятное творилось на ее родине. Доходили слухи, что арестованы такие коммунисты, с кем она вместе была в подполье. Племянника Райка, тоже учившегося в МГУ, и еще других венгерских студентов с ним — отозвали в Венгрию, и ни от кого из них не пришло больше письма.

В запертую дверь раздался условный стук (« утюга не прячьте, свои ! »). Муза поднялась и прихромнув (колено ныло у нее от раннего ревматизма) откинула крючок. Быстро вошла Даша — твердая, с большим чуть кривоватым ртом.

— Девчонки ! девчонки ! — хохотала она, но все ж не забыла накинуть за собой крючок. — Еле от кавалера отвязалась ! От кого ? Догадайтесь !

— У тебя так жирно с кавалерами ? — удивилась Люда, роясь в чемодане.

(Действительно, университет отходил от войны как от обморока. Мужчин в аспирантуре было мало и все какие-то не настоящие).

— Подожди ! — входя в игру, Оленька вскинула руку и гипнотически смотрела на Дашу (утюг она откинула на задок). — От Ч е л ю с т е й ?

(« Челюсти » был аспирант, заваливший три раза подряд

диалектический и исторический материализмы и, как безнадежный тупица, отчисленный из аспирантуры).

— От Буфетчика ! — воскликнула Даша, стянула шапку-ушанку с плотно-собранных темных волос и повесила ее на колок. Она медлила снять дешевенькое пальтецо с цыгеечным воротником, три года назад полученное по талону в университетском распределителе, и так стояла у двери.

— Ах — того ? ? !

— В трамвае еду — он заходит, — смеялась Даша. — Сразу узнал. « Вам до какой остановки ? » Ну, куда денешься, сошли вместе. « Вы теперь в той бане уже не работаете ? Я заходил сколько раз — вас нет ».

— А ты б сказала... — смех от Даши перебросился Оленьке и охватывал ее как пламя, — ты б сказала... ты б сказала !.. — Но никак она не могла выговорить своего предложения и, хохоча, опустилась на кровать.

— Да какой буфетчик ? Какая баня ? — добивалась Эржика.

— Ты б сказала !.. — надрывалась Оленька, но новые приступы смеха трясли ее. Она вытянула руки и шевелением пальцев пыталась передать то, что не проходило через глотку.

Засмеялись и Люда, и ничего не понимающая Эржика, и суровое некрасивое лицо Музы разошлось-таки в улыбке. Она сняла и протерла очки.

— Куда, говорит, идете ? Кто у вас тут, в студенческом городке ? — хохотала и давилась Даша. — Я говорю... вахтерша знакомая !.. рукавички !.. вяжет...

— Ру ?-ка ?-вички ?..

— ...вяжет ! ! !...

— Но я хочу знать ! Но какой буфетчик ? — умоляла Эржика.

Оленьку хлопали по хребту. Смех вообще легко давался ее горлу. Но смеяться была не только потребность молодости в ней, а еще была у нее и теория, что смех полезен и тому, кто смеется, и тем, кто слышит его, и что только тот человек жизнеспособен, кто умеет от души смеяться.

Успокоились. Утют калился и ждал. Оленька проворно стала брызгать водой жакет и ловко передвигала поверх жакета белую тряпочку.

Даша сняла пальтецо. В тугом серењком свитере, в простой юбке с тесным поясом видно было, какая она гибкая, ладная, не устанет день нагибаться в любой работе. Отвернув цветное покрывало, она осторожно присела на край своей кровати, убранной почти молитвенно — с особой взбитостью

подушки и подушечки, с кружевной накидкой, с вышитыми салфеточками на стене. И рассказала Эржике:

— Это еще осенью было, затепло, до тебя... Ну, где жениха искать ? Через кого знакомиться ? Людка и посоветовала: иди, мол, гулять в Сокольники, только о д н а ? Девушкам все портит, что они по-двое ходят.

— Расчет без промаха ! — отозвалась Люда. Она осторожно стирала пятнышко с носка туфли. — Странно видеть девушку одну. Невольно хочется ее зацепить.

— Вот я и пошла, — продолжала Даша, но уже без веселья в голосе. Похожу — сяду, на деревья посмотрю. Действительно, подсел быстро какой-то, ничего по наружности. Кто же ? Оказывается буфетчик, в закусочной работает. А я где ?.. Стыдно мне так стало, не сказать же, что аспирантка. Вообще ученая баба — страх для мужчин...

— Ну — так не говори ! Так можно черт знает до чего дойти ! — быстро недовольно возразила Оленька.

В мире, таком прореженном и таком опустевшем, после того, как вытолкнули из него железное туловище войны; когда зияли только ямки черные в тех местах, где должны были двигаться и улыбаться их сверстники или старшие их на пять — на десять — на пятнадцать лет, этими неизвестно кем составленными, грубыми, никакого смысла не выражающими словами — « ученая баба » нельзя же было захлопывать тот светлый яркий луч, который оставался им, и звал, и вел !

— ... Сказала, что кассиршей в бане работаю. Пристал — в какой бане, да в какую смену. Еле ушла...

Все оживление покинуло Дашу. Темные глаза ее смотрели тоскливо.

Она весь день прозанималась в Ленинской библиотеке, потом несытно и невкусно пообедала в столовой и возвращалась домой в унынии перед незаполнимым воскресным вечером, не обещавшим ей ничего.

Когда-то, еще в средних классах просторной бревенчатой школы в их селе, ей нравилось хорошо учиться. Потом радовало, что под предлогом института ей удалось получить паспорт и прописаться в городе. Но вот уж ей было много лет, училась она восемнадцать кряду, надоело ей учиться до боли в голове — а зачем она училась ? Простая бабья радость — ребенка родить, и вот не от кого, не для кого.

И, задумчиво покачиваясь, Даша в смолкнувшей комнате произнесла свою любимую поговорку:

— Нет, девчата, жизнь — не роман...

При их МТС есть агроном один. Пишет Даше, упрашивает.

Но вот-вот станет она кандидатом наук, и вся деревня скажет: для чего ж училась девка? — за агронома вышла. Это и любая звеньевая может... А с другой стороны Даша чувствовала, что даже и кандидатом наук не сумеет она шагу ступить в то общество, куда ей хочется: не хватает у нее развязности, легкости, которая вот у нахальной Людки есть.

И, ревниво досмотрев за ней, Даша сказала:

— Людка! А ты — ноги помой, советую.

Люда осмотрелась:

— Ты думаешь?

Но воду надо было греть на плитке (тоже сейчас спрятанной), а «жулик» был занят утюгом.

Какой-нибудь работой хотелось деятельной Даше отогнать кручину. Она вспомнила, что есть у нее новокупка из белья, не того резмера, но пришлось брать, пока выбросили. Теперь, достав, она начала ушивать.

Так все стихли, только чуть покачивался стол от глажения, и можно было бы вникнуть по-настоящему в письмо. Но нет, оно не получалось! Муза перечитала последние написанные фразы, одно слово заменила, несколько неясных букв подвела... — нет, письмо не получалось! В письме была ложь, и мама с папой сразу это почувствуют. Они поймут, что дочке плохо, что случилось что-то черное — но почему же Муза не пишет прямо? В первый раз почему она лжет?..

Если бы никого сейчас не было в комнате, Муза бы застонала громко. Она просто заревела бы вслух — и, может, хоть чуть бы полегчало. А так она бросила ручку и подперла лоб ладонями, скрывая лицо ото всех. Ведь вот как это делается! — выбор целой жизни, и ни с кем нельзя посоветоваться! Ни у кого не найти помощи! — и во вторник опять предстать перед теми двумя, уверенными, знающими готовые слова, готовые повороты. Наверно, осколок снаряда ударом входит в тело так — чужой, стальной и кажущийся гораздо больше, чем он есть. Как хорошо было жить без этого стального обломка в груди! А теперь его вынуть уже нельзя, все погибло. Потому что они ведь не уступят. Но и ты не уступишь! Ты не уступишь, потому что как же можно рассуждать о гамлетовском и донкихотском началах в человеке — и все время помнить, что ты — доносчица, что у тебя есть кличка — Ромашка или какая-нибудь Трезорка, и что ты должна собирать материалы вот на этих девочек или на своего профессора?..

Муза сняла с зажмуренных глаз слезы, стараясь незаметно.

Оленька уже доглаживала юбку. Кремовая блузка со светло-розовыми пуговицами ждала своей очереди.

— А где Надька ? — спросила Даша.

Никто не отозвался. Никто не знал.

Но у Даши за шитьем пришла своя мысль поговорить сейчас о Наде. И она продолжала:

— Как вы думаете, девочки, сколько можно. Ну, пропал без вести. Ну, пошел пятый год после войны. Ну, уж кажется, можно бы и обрезать, а ? И на жизнь оглянуться ?

— Ах, что ты говоришь ! Что ты говоришь ! — со страданием воскликнула Муза и вскинула руки над головой. Широкие рукава ее серо-клетчатого платья скользнули к локтям, обнажая белые рыхловатые руки. — Только так и любят ! Истинная любовь перешагивает гробовую доску !

Сочные чуть припухлые губы Оленьки отошли в косую складку:

— После гробовой доски ? Что-то это, Муза, трансцендентно. Сохраняют благодарную память, нежные воспоминания, — но любовь ?

— Во время войны, — вмешалась Эржика, — очень многие загнались далеко, за океан. Может и он там, живой.

— Ну, вот это может быть, — согласилась Оля. — Так она может надеяться. Но вообще . . . Надя из тех натур, которые любят упиваться своим горем. И только своим. Им без горя даже чего-то бы в жизни не хватало.

Перестав шить, Даша ожидала, пока все отговорятся, и медленно проводила кончиком иголки по рубчику, словно оттачивала ее. Она-то знала, заводя разговор, как сейчас их всех поразит.

— Так слушайте, девчонки, — веско сказала она теперь. — Все это нас Надька морочит, врет. Ничего она не считает мужа мертвым, ни на какой возврат из без-вести она не надеется. Она просто з н а е т , что муж ее жив. И даже знает, г д е о н .

Девушки смешались:

— Откуда ты взяла ?

Даша победно смотрела на них. Давно уже за ее редкую приглядчивость ее прозвали в комнате следователем.

— Просто надо уметь слушать. Хоть раз обмолвилась она о нем как о мертвом ? Не-т. Она даже « был » старается не говорить, а как-нибудь так, без « был » и без « есть ». Ну, если без вести пропал, то хоть разочек-то можно о нем порассуждать как о мертвом ?

— Но что ж тогда с ним ?

— Как ! — вскричала Даша, вовсе откладывая шитье. — Неужели не ясно ?

Нет, им не было ясно.

— Он жив, но б р о с и л ее ! И ей стыдно в этом признаться ! Унизительно ! И придумала — « без вести ».

— А вот в это поверю ! в это поверю ! — поддержала Люда, хлюпая за занавеской.

— Значит, она жертвует собой во имя его счастья ! — воскликнула Муза. — Значит, почему-либо нужно, чтоб она молчала и не выходила замуж !

— Да все правильно, молодец Дашка ! — выскочила Люда из-за занавески без халата, в одной сорочке, голоногая, отчего казалась еще стройней и выше. — Заело ее, потому и придумала, что — святоша, что будет верна мертвому. Ни черта она не жертвует, дрожит она, чтоб ее кто-нибудь приласкал, да никто ее н е х о ч е т ! Вот бывает так, ты будешь идти — на тебя все на улице будут оглядываться, а она хоть сама прилипай — а никому не нужна.

И ушла за занавеску.

— Но совсем не обязательно ждать, чтоб на тебя оглядывались ! — решительно возразила Оленька. — Надо уметь стать выше этого.

— Ха-ха ! — отозвалась Люда. — Потому так легко рассуждать, что на тебя смотрят.

— А к ней Щагов ходит, — сказала Эржика, с трудом выговаривая « щ ».

— Ходит — это еще ничего не значит ! — уверенно отбивала невидимая Люда. — Надо, чтобы к л ю н у л !

— Как это — « клюнул » ? — не поняла Эржика.

Рассмеялись.

— Нет, вы скажите так, — гнула Даша свое. — Может, она еще надеется отбить мужа у т о й назад ?

В дверь раздался их условный стук — « утюга не прячьте, свои ».

Все замолчали. Даша откинула крючок.

Вошла Надя — волочащимся шагом, с отягченным вытянутым постаревшим лицом, как бы желая подтвердить собою все худшие насмешки Люды. Странно, она даже не обратилась к присутствующим ни с каким вежливо-приличным словом, не сказала « вот и я » или « ну, что тут нового, девочки ? » Она повесила шубу и прошла к своей кровати.

Сказать несколько незначащих слов для нее было сейчас всего тяжелей.

Эржика читала. Оленька кончала гладить, уже при зажженной верхней лампочке.

Никто не нашелся ничего сказать. Желая скрасить неловкость тишины, Даша, опять берясь шить, протянула, будто заканчивая:

— Так что, девчата, жизнь — не роман...

45

СТАРАЯ ДЕВА

После свидания Наде хотелось видеться только с такими же обреченными, как и она, и говорить только о тех, кто сидит за решеткой. Она поехала из Лефортова через всю Москву на Красную Пресню к жене Сологдина передать ей три заветных слова мужа.

Но Сологдиной она не застала дома (мудренно было застать ее, если все недельные дела для сына и для себя сгруживались ей на воскресенье). Передать записку через соседей было тоже немыслимо: из слов Сологдиной Надя знала, да и представляла легко, что соседи враждебны к ней и шпионят за ней.

И если Надя поднималась по крутой, совсем темной днем лестнице возбужденная, предвкушая радость разговора с милой женщиной, разделяющей ее тайное горе, — то спускалась она даже не раздосадованная, а разбитая. И как на фотографической бумаге, положенной в бесцветный безобидный на вид проявитель, начинают неумолимо проступать уже содержавшиеся на ней, но до сих пор неявные очертания, — так и в душе Нади после неудачного похода к Сологдиной стали нагнетаться все те мрачные мысли и дурные предчувствия, которые зародились еще на свидании, но не сразу дали себя знать.

Он сказал — да, да, ведь он так сказал ? — « не удивляйся, если меня отсюда увезут, если прервутся письма »... Он может уехать !.. И даже эти свидания, раз в год — прекратятся ?... И как же тогда Надя ?...

И что-то о верховьях Ангары...

И еще не стал ли он верить в Бога ?... Была какая-то фраза... Тюрьма искалечит его духовно, уведет в мистику, в идеализм, приучит к покорности. Характер его изменится, и он вернется совсем-совсем незнакомым человеком...

Но, главное, он угрожающе говорил: « не связывай слишком больших надежд с окончанием моего срока », « срок — это условность ». На свидании Надя воскликнула: не верю ! не

может быть ! Но вот шел час за часом. Отданная своим мыслям, она опять пересекала всю Москву, с Красной Пресни в Сокольники, и теперь эти мысли неотгонно жалили ее, и нечем было от них защититься.

Если тюремный срок Глеба никогда не кончится — чего же ждать ? Зачем жить ?

И в столовую на Стромынке она тоже опоздала. Еще этого мелкого невезенья не хватало, чтоб довершить ее отчаяние ! Сразу вспомнилось, что два дня назад ее оштрафовали на десять рублей за то, что она сошла с задней площадки. Десять рублей сейчас порядочные деньги, это — сто рублей дореформенных.

На Стромынке под начинающимся приятным снежком стоял мальчишка в нахлобученной фуражке и торговал папиросами « Казбек » вроссыпь. Надя подошла и купила у него две папиросы.

— А где же — спички ? — спросила она сама себя вслух.

— На, тетя, чиркни ! — охотливо предложил мальчишка и протянул ей коробку. — За огонек денег не берем !

Не размышляя, как это выглядит со стороны, Надя тут же, на улице, со второй спички прикурила папиросу криво, с одного боку, отдала коробку и, не заходя в дверь корпуса, стала медленно прохаживаться. Курение еще не стало ее привычкой, но и не первая это была ее папироса. Горячий дым причинил ей боль и отвращение — и тем отсасывало немного тяжесть от сердца.

Откурив половину папиросы, Надя бросила ее и поднялась в 418-ю комнату.

Тут она брезгливо миновала неубранную кровать Люды и тяжело опустилась на свою, больше всего желая, чтобы ее сейчас никто ни о чем не спрашивал.

Она села — и глаза ее оказались вровень с четырьмя стопами ее диссертации на столе — четырьмя экземплярами на машинке. И Надя невольно вспомнила все бесконечные мытарства с этой диссертацией — чертежи, фотокопии, первую переделку, вторую, и вот возврат для третьей.

А вспомнив, как безнадежно и незаконно просрочена диссертация, она вспомнила и ту секретную с п е ц разработку, которая одна могла дать ей сейчас заработок и покой. Но путь загораживала страшная анкета на восьми страницах — и сдать ее в отдел кадров надо было ко вторнику.

Писать все, как есть — значило быть выгнанной к концу недели из университета, из общежития, из Москвы.

Или — тотчас разводиться . . .

А Глеб ей ничего не посоветовал . . .

Помутившийся защемленный мозг ее не мог найти исхода.

Эржика застелила постель, как могла (у нее это еще не очень хорошо получалось, всю жизнь такую работу за нее делала прислуга), накрасила перед зеркалом не губы, а щеки, и ушла в Ленинку.

Муза пробовала читать, но чтение у нее не шло.

Она заметила отягощенную мрачную неподвижность Нади и поглядывала на нее с беспокойством, не решаясь, однако, спросить.

— Да ! — вспомнила Даша, придумавшая теперь гладить (она не могла сидеть без дела). — Я сегодня слышала, говорят « книжных » денег за этот год заплатят вдвое больше.

Оленька встрепенулась:

— Шутишь ?

— Девчонкам наш декан сказал.

— Подожди, это сколько же будет ? — Олино лицо загорелось тем воодушевлением, которые деньги способны принести лишь людям, непривыкшим и не жадным к ним. — Триста да триста — шестьсот, семьдесят да семьдесят — сто сорок, пять да пять . . . Хо-хо ! — вскричала она и захлопала в ладоши. — Семьсот пятьдесят ! ! Вот это да !

— Теперь ты купишь себе полного Соловьева ! — высказала Даша.

— Не знаю, не знаю, — улыбалась Оленька. — Вместо этого можно сшить платье гранатовое, креп-жоржетовое, воображаешь ? — Она подхватила края юбки кончиками пальцев. — И двойные воланы ? !

Оленька многим еще была не обзаведена. Лишь совсем недавно, последний год, у нее вернулся к этому интерес. У нее мать очень долго болела, в позапрошлом году умерла. С тех пор никого-никого в живых у Оленьки не осталось. На отца и на брата они с матерью получили похоронные в одну и ту же неделю сорок второго года. Мать слегла тогда тяжело, и Оленьке пришлось бросить первый курс исторического, год пропустить, потом поступить на заочный. Она ночами дежурила в госпитале, днем билась по хозяйству, в лес куда-то ездила пилить дрова, чтобы получить топку, и для больной выменивала хлеб пайковый на молоко.

И ничего этого не было сейчас на ее пухленьком милом двадцатишестилетнем личике.

Она считала, что человек должен все переборoть и не давать этого чувствовать окружающим.

И поэтому ее сейчас задевал тот вид застывшего страдания, с которым, подавляя всех, сидела против нее на своей койке Надя.

И Оля спросила:

— Что с тобой, Надюша ? Ты утром ушла веселая.

Слова были сочувственные, но смысл их был — раздражение. Неизвестно, какими полутонами наш голос выдает наше чувство.

Надя не только распознала это раздражение в голосе соседки. Но и глаза ее видели, как прямо перед ней Оленька одевалась, как вколола брошку-рубиновый цветочек в отворот жакета, как душилась.

И самые эти духи, окружавшие Олю невидимым облачком радости, достигали Надиных ноздрей воздушной струйкой утраты.

И ничуть не разгладясь лицом и слова выговаривая, как делая большой труд, Надя ответила:

— Я тебе мешаю ? Я порчу тебе настроение ?

В этих словах, кажется, не было укора, а укор звучал.

Оленька выпрямилась, подобрала губы, подбородок ее приобрел твердые очертания.

Они смотрели друг на друга через диссертационный заваленный стол.

— Видишь ли, Надя, — сказала Оленька четко. — Я не хотела бы тебя обидеть. Но, как сказал наш общий друг Аристотель, человек есть животное общественное. И вокруг себя мы можем раздавать веселье, а мрак — не имеем права.

Надя сидела пригорбившись, уже очень немолода была эта посадка.

— А ты не можешь понять, — тихо, убито выговорила она, — как может быть тяжело на душе ?

— Я о ч е н ь могу понять ! Тебе тяжело, я верю. Но нельзя себя настраивать, что ты одна страдалица в целом мире. Может быть, другие пережили гораздо больше, чем ты. Задумайся.

Она не договорила, но почему, собственно, один пропавший без вести, которого еще можно заменить, ибо муж заменим, — значил больше, чем убитый отец, и убитый брат, и умершая мать, если этих трех заменить нам не дано природой ?

Она сказала и еще постояла пряменько, строго глядя на Надю.

Надя отлично поняла, что Оля говорит о потерях — своих. Поняла — но не приняла. Потому что ей представлялось так: непоправима всякая смерть, но случается она, все-таки, одно-

кратно. Она сотрясает, но — единожды. Потом незаметнейшими сдвигами, мало-помалу она отодвигается в прошлое. И постепенно освобождаешься от горя. И надеваешь рубиновую брошку, душишься, идешь на свидание.

Неразмычное же Надино горе — всегда вокруг, всегда держит, оно — в прошлом, в настоящем и в будущем. И как ни мечись, за что ни хватайся — не выбиться из его зубов.

Но чтобы достойно ответить, надо было открыться. А тайна была слишком опасна.

И Надя сдалась, уступила, солгала, кивнула на диссертацию:

— Ну, простите, девочки, измучилась я. Нет больше сил переделывать. Сколько можно ?

Когда так объяснилось, что Надя вовсе не выставляет своего горя больше всех горь, настороженность Оленьки сразу опала, и она сказала примирительно:

— Ах, иностранцев повыбрасывать ? Так это же не тебе одной, что ты растраиваешься ?

(Повыбрасывать иностранцев значило заменить всюду в тексте « Лауэ доказал » на « ученым удалось доказать », или « как убедительно показал Лангмюр » на « как было доказано ». Если же какой-нибудь не только русский, но немец или датчанин на русской службе отличился хоть малым — нужно было непременно указать полностью его имя-отчество, оттенить его непримиримый патриотизм и бессмертные заслуги перед наукой).

— Не иностранцев, я их давно выбросила. Теперь надо исключить академика Б...

— Нашего, советского ?

— ... и всю его теорию. А я на ней все строила. А оказалось, что он... что его...

В ту же пропасть, в тот же подземный мир, где томился в цепях Надин муж, ушел внезапно и академик Б.

— Ну, нельзя же так близко к сердцу ! — уговаривала теперь Оленька. — Скажи спасибо, что хоть исправить дают заранее. Бывает хуже. Вон, Муза рассказывает...

Но Муза уже не слышала. На счастье свое она-таки углубилась в книгу, и теперь комнаты вокруг нее не существовало.

— ... на литфаке одна защищала диссертацию о Цвейге четыре года назад, уже доцентствует давно. Вдруг обнаружили у нее в диссертации три раза что « Цвейг-космополит » и что диссертантка это одобряет. Так ее вызвали в ВАК и отобрали диплом. Жуть !

— Фу, Надька ! Еще в химии расстраиваться ! — отозва-

лась и Даша. — Что ж тогда нам, политэкономам ? В петлю лезть ? Ничего, дышим. Вот, Стужайла-Олябышкин, спасибо, выручил.

И действительно, всем было известно, что Даша получила уже третью тему для диссертации. Первая тема у нее была « Проблемы общественного питания при социализме ». Тема эта, очень ясная лет двадцать назад, когда любому пионеру и Даше в том числе было досконально известно, что семейные кухни в скором времени отомрут, домашние очаги погаснут, и раскрепощенные женщины будут получать завтраки и обеды на фабриках-кухнях, — тема эта стала с годами туманной и даже опасной. Наглядно было видно, что если кто и обедал еще в столовой, как например сама Даша, то лишь по проклятой необходимости. Процветали наиболее две формы общественного питания: ресторанная, но в ней недостаточно ярко были выдержаны социалистические принципы, и — самые паршивые забегаловки, торгующие одной только водкой. В теории же остались по-прежнему фабрики-кухни, ибо Великому Корифею за эти двадцать лет недосуг было высказаться о питании. И потому очень опасно было рискнуть сказать что-нибудь свое. Даша помучилась-помучилась, и руководитель сменил ей тему, но и новую взял по недомыслию не из того списка: « Торговля предметами широкого потребления при социализме ». Материала и по этой теме оказалось мало. Хотя во всех речах и директивах говорилось, что предметы широкого потребления производить и распространять можно и даже нужно, — но практически эти предметы по сравнению со стальным прокатом и нефтепродуктами начинали носить некий укорный характер. И будет ли легкая промышленность все более развиваться или все более отмирать — не знал даже ученый совет, вовремя отклонивший тему.

И вот тут-то добрые люди надоумили, и Даша вымолила себе: « Русский политэконом XIX века Стужайла-Олябышкин ».

— Ты хоть портрет-то его, благодетеля, нашла где-нибудь? — со смехом спросила Оленька.

— Вот именно, не могу найти !

— С твоей стороны просто неблагодарно ! — Оленька старалась теперь развеселить Надю, на самом же деле обдавала ее своим предсвиданным оживлением. — Я бы нашла и повесила над кроватью. Я вполне представляю его: это был благообразнейший старикашка-помещик с неудовлетворенными духовными запросами. После сытного завтрака он садился в широком домашнем халате у окна, в той, знаете, глухой про-

винции Ларинских времен, над которой невластны бури истории, и, глядя как девка Палашка кормит поросят, нетерпеливо рассуждал

Как государство богатеет,
И чем живет...

Цыпочка ! Вечерком играл в карты... — Оленька залилась смехом.

А Люда уже забралась в небесно-голубое платье, тем лишив свою постель веероподобного прикрытия (Надя со страдательным подергиванием косилась в сторону ее раскиданной постели). Перед зеркалом она сперва освежила подкраску бровей и ресниц, потом с большой аккуратностью раскрасила губы в лепесток.

— И обратите внимание, девочки, — внезапно сказала Муза, как она умела — естественно, будто все только и ждали ее замечания. — Чем отличаются русские литературные герои от западно-европейских ? Самые излюбленные герои западных писателей всегда добиваются карьеры, славы, денег. А русского героя, не корми, не пои — он ищет справедливости и добра. А ?

И опять углубилась в чтение.

Люда уже надела и боты, потянулась за шубкой. Тут Надя резко кивнула на ее постель и сказала с отвращением:

— Ты опять оставляешь нам убирать за тобой эту гадость ?

— Да пожалуйста, не убирай ! — вспыхнула Люда и сверкнула выразительными глазами. — И не смей больше притрагиваться к моей постели ! ! — Ее голос взлетел до крика. — И не читай мне морали ! !

— Ты должна понимать ! — сорвалась теперь Надя и все невысказанное кричала ей. — Ты оскорбляешь нас !... Может у нас быть что-нибудь другое на душе, чем твои вечерние удовольствия ?

— Завидуешь ? У тебя не клюет ?

Лица обеих исказились и стали очень неприятны, как всегда у женщин в озлоблении.

Оленька уже раскрыла рот тоже гаркнуть на Люду, но в « вечерних удовольствиях » ей послышался обидный намек.

(Ах, не такие это были гладкие удовольствия, как могло представиться со стороны !).

— Нечему завидовать ! — глухо крикнула Надя оборванным голосом.

— Если ты заблудилась, — все звончей кричала Люда,

чуя победу, — вместо монастыря попала в аспирантуру, — так сиди в углу и не будь свекровью. Надоело ! Старая дева !

— Людка ! Не смей ! — закричала Оленька.

— А чего она не в свое дело ?.. Старая дева ! Старая дева ! Неудачница !

Тут вмешалась и что-то боевито стала доказывать Даша. И Муза очнулась и, угрожающе в сторону Люды размахивая томиком, тоже стала кричать:

— Мещанство живет ! торжествует !

Все они пять кричали свое, не слушая других и не соглашаясь с ними.

С налитой, ничего уже не соображающей головой, стыдясь своей выходки и несдержанных рыданий, Надя, как была, в том лучшем, что надевала на свидание, бросилась плашмя на кровать и накрыла голову подушкой.

Люда же снова перепудрилась, расправила над беличьей шубкой вьющиеся белые локоны, спустила чуть ниже глаз вуалетку и, не убрав-таки постели, но в уступку накинув одеяло, ушла.

Надю окликали, она не шевелилась. Даша сняла с нее туфли и завернула углы одеяла ей под ноги.

Потом раздался еще стук, по которому выпорхнула Оленька в коридор, как ветер вернулась, подвела кудри под шляпку, юркнула в меховушку с желтым воротником и новой походкой пошла к двери.

(Эта походка была — на радость, но и — на борьбу...).

Так 418-я комната отправила в мир один за другим два прекрасных и прелестно одетых соблазна.

Но, потеряв с ними оживление и смех, комнате стала еще унылее.

Москва была огромный город, а идти в ней было — некуда...

Муза опять не читала, сняла очки и спрятала лицо в большие ладони.

Даша сказала:

— Глупая Ольга ! Ведь поиграет и бросит. Мне говорили, у него другая где-то есть. И как бы не ребенок.

Муза выглянула из ладоней:

— Но Оля ничем не связана. Если он окажется такой — она может оставить его.

— Как не связана ! — кривоватой улыбкой усмехнулась Даша. — Какую же тебе еще связь, если...

— Ну, ты всегда все знаешь ! Ну, откуда ты это можешь знать ? — возмутилась Муза.

— Да чего ж тут знать, если она у них в доме ночевать остается ?

— О ! Ничего ! Ничего это еще не доказывает ! — отвергла Муза.

— А теперь только так. Иначе не удержишь.

Девушки помолчали, каждая при своем.

Снег за окном усиливался. Там уже стемнело.

Тихо переливалась вода в радиаторе под окном.

Нестерпимо было подумать, что воскресный вечер предстояло погибать в этой конуре.

Даше представился отвергнутый ею буфетчик, здоровый сильный мужчина. Зачем уж так было его отталкивать ? Ну, пусть бы в темноте сводил ее в какой-нибудь клуб на окраине, где университетские не бывают.

— Музочка, пойдем в кино, умоляю тебя ! — попросила Даша.

— А что идет ?

— « Индийская гробница ».

— Но ведь это — чушь ! Коммерческая чушь !

— Да ведь в корпусе, рядом !

Муза не отзывалась.

— Тоскливо же, ну !

— Не пойду, — сказала Муза. — Найди работу.

И вдруг опал электрический свет — остался только багрово-тусклый накаленный в лампочке волосок.

— Ну, этого еще ! . . — простонала Даша. — Фаза выпала. Повесишься тут.

Муза сидела, как статуя.

Не шевелилась Надя на кровати.

— Музочка, пойдем в кино !

Постучали в дверь.

Даша выглянула и вернулась:

— Надька ! Щагов пришел. Встанешь ?

46

ОГОНЬ И СЕНО

Надя долго рыдала и впивалась зубами в одеяло, чтобы перестать. Лицо ее стало солоно, мокро. Надвинутая на голову подушка приглушила ее.

Она была рада уйти куда-нибудь до поздней ночи из комнаты. Но некуда было ей пойти в огромном городе Москве.

Уж не первый раз тут, в общежитии, ее хлестали такими словами: свекровь ! брюзга ! монашенка ! старая дева ! Всего обиднее была совершенная несправедливость этих слов.

Но легко ли дается пятый год лжи — постоянной маски, от которой вытягивается и сводит лицо, голос резчает, суждения становятся бесчувственными ? Может быть и вправду она сейчас — невыносимая старая дева ?

Так трудно судить о себе самой. В общежитии, где нельзя, как дома, топнуть ножкой на маму, — в общежитии, среди равных, только и научаешься видеть себя плохой.

Кроме Глеба уже никто-никто не может ее понять . . .

Но и Глеб тоже не может ее понять . . .

Ничего он ей не сказал — как ей быть, как ей жить.

Только что — с р о к у конца не будет . . .

Под быстрыми уверенными ударами мужа оборвалось и рухнуло все, чем она каждый день себя крепила, поддерживала в своей вере, в своем ожидании, в своей недоступности для других.

Сроку — конца не будет !

И значит, она ему — не нужна . . .

Боже мой ! Боже мой !

Надя лежала ничком. Открытыми неподвижными глазами она смотрела в просвет между подушкой и одеялом на кусок стены перед собой — и не могла понять, и не старалась понять, что это за освещение. Было как будто и очень темно — и все же различались на знакомой охранной стене пупырышки грубой побелки.

И вдруг сквозь подушку Надя услышала особенный дробный двенадцатикратный стук в фанерное зеркало двери

— как будто падал горох: четырьмя пальцами ! четырьмя ! четырьмя ! И еще прежде, чем Даша спросила: « Надька ! Щагов пришел. Встанешь ? » — Надя уже сорвала подушку с головы, спрыгнула на пол в чулках, поправляла перекрутившуюся юбку, гребенкой приглаживала волосы и ногами нащупывала туфли.

В безжизненно-тусклом свете полунакала Муза увидела ее поспешность и отшатнулась.

А Даша кинулась к Людиной постели, быстро-быстро подоткнула одеяло, убрала разбросанные вещи.

Впустили гостя.

Щагов вошел в старой фронтовой шинели на плечах внакидку. Он был высок. В нем все еще сидела армейская выправка: он мог нагнуться, но не мог сгорбиться. Движения его были скупы, обдуманы.

— Здравствуйте, уважаемые, — сказал он в снисходительной манере. — Я пришел узнать, чем вы занимаетесь без света, — чтобы перенять и себе. Подохнуть с тоски !

(Какое облегчение ! — в желтом полумраке не были видны опухшие от слез глаза).

— Так если б не сутемки, вы бы, значит, не пришли ? — в тон Щагову ответила Даша, бессознательно-игриво, как разговаривала с каждым неженатым мужчиной.

— Ни в коем бы разе. При ярком свете женские лица лишены очарования, видны их злые выражения, завистливые взгляды (Надя вздрогнула, он будто был здесь перед тем !), преждевременные морщины, неумеренная косметика. На месте женщин я бы законодательно провел, чтобы свет давался только вполнакала. Тогда бы все быстро вышли замуж.

Даша строго смотрела на Щагова. Всегда он так говорил, и ей это не нравилось — какие-то заученные выражения. Она находила в нем неискренность.

— Разрешите присесть ?

— Пожалуйста, — ответила Надя ровным голосом хозяйки, в котором не было и следа недавней усталости, горечи, слез.

Ей, наоборот, нравились его самообладание, замедленный разговор, низкий твердый голос. От него ото всего распространялось спокойствие. И остроты его казались приятными.

— Второй раз могут не пригласить, публика такая. Спешу сесть. Итак, чем вы занимаетесь, юные аспирантки ?

Надя молчала. Она не могла много говорить с ним, потому что они поссорились позавчера, и Надя внезапным неосознанным движением, с той степенью интимности, которой меж-

ду ними вовсе не было, ударила его тогда портфелем по спине и убежала. Это было глупо, по-детски, и сейчас присутствие посторонних облегчало ей.

Ответила Даша.

— Собираемся идти в кино. Не знаем с кем.

— А — какая картина ?

— « Индийская гробница ».

— О-о, непременно сходите. Как рассказывала одна медсестра, « много стреляют, много убивают, вообще замечательная картина ! »

Щагов удобно сидел у общего стола:

— Но, позвольте, уважаемые, я думал у вас застать хоровод, а тут какая-то панихида. Может быть, у вас не все гладко с родителями ? Вы удручены последним решением партбюро ? Так оно к аспирантам, кажется, не относится.

— Какое решение ? — малозвучно спросила Надя.

— Решение ? О проверке силами общественности социального происхождения студентов, верно ли они указывают, кто их родители. А, Муза Георгиевна ? Вы ничего не скрыли ? Тут — богатые возможности — может быть, кто-нибудь кому-нибудь доверился, или проговорился во сне, или прочел чужое письмо, и всякие такие вещи.

(Надино сердце сжало: и еще будут искать, и еще копаться ! О, как все надоело ! Куда вырваться ? . . .)

— Что за низость ! — воскликнула Муза.

— Как, вас и это не веселит ? Ну, хотите, я расскажу вам забавнейшую историю с тайным голосованием вчера не совете мехмата . . ?

Щагов говорил всем, но следил за Надей. Он давно обдумывал, чего хочет от него Надя. Каждый новый случай все явнее выказывал ее намерения.

. . . То она стояла над доской, когда он играл с кем-нибудь в шахматы, и напрашивалась играть с ним сама и обучаться у него дебютам.

(Боже мой, но ведь шахматы помогают забыть время !)

То звала послушать, как она будет выступать в концерте.

(Но так естественно ! — хочется, чтоб игру твою похвалил не совсем равнодушный слушатель !)

То однажды у нее оказался « лишний » билет в кино, и она пригласила его.

(Ах, да просто хотелось иллюзии на один вечер, показаться где-то . . .)

То в день его рождения она подарила ему записную

книжечку — но с неловкостью сунула в карман пиджака и хотела бежать — что за ухватки ? почему бежать ?

(Ах, от смущения лишь, от одного смущения !)

Он же догнал ее в коридоре, и стал бороться с ней, притворно пытаясь вернуть ей подарок, и при этом охватил ее — а она не сразу сделала усилие вырваться, дала себя подержать.

(Столько лет Надя не испытывала этого, что внезапность и острота сковали ее).

А теперь этот игривый удар портфелем ?

Как со всеми, как со всеми, Щагов был железно-сдержан и с нею. Но может быть — одинокая женщина молит о помощи? Кто так непреклонен, чтоб ей отказать ? Так тверд ?

И сейчас Щагов вышел из своей 412-ой комнаты и пошел в 418-ю не только уверенный, что Надю он обязательно застанет дома, но начиная волноваться, что между ними может что-то произойти.

... Курьезу с голосованием на совете если и рассмеялись, то из вежливости.

— Ну, так будет свет или нет ? — нетерпеливо воскликнула уже и Муза.

— Однако, я замечаю, что мои рассказы вас ничуть не смешат. Особенно Надежду Ильиничну. Насколько я могу разглядеть, она мрачнее тучи. И я знаю, почему. Позавчера ее оштрафовали на десять рублей — и она из-за этих десяти рублей мучается, ей жалко.

Едва только Щагов произнес эту шутку, Надю как подбросило. Она схватила сумочку, рванула замок, наудачу оттуда что-то выдернула, истерично изорвала и бросила клочки на общий стол перед Щаговым.

— Муза ! Последний раз — идешь ? — с болью воскликнула Даша, взявшись за пальтишко.

— Иду ! — глухо ответила Муза и решительно пошла к вешалке.

Щагов и Надя не оглянулись на уходящих.

Но когда дверь закрылась за ними — Наде стало страшновато.

Щагов поднес клочки разорванного к глазам. Это были хрустящие кусочки еще одной десятирублёвки ...

Щагов встал из шинели (она осела на стуле), миновал этажерку и между Надиной кроватью и диссертационным столом подошел к ней, много выше ее. В свои большие руки свел ее маленькие.

— Надя ! — в первый раз называя ее просто по имени и

испытывая растущее волнение, сказал он. — Простите меня ! Я во многом . . . перед вами . . .

Она стояла неподвижно, с колотящимся сердцем, ощущая слабость. Вспышка ее, изорвавшая десятку, ушла так же быстро, как возникла. Странная мысль промелькнула в ее голове, что никакой надзиратель не наклоняет к ним сбоку свою бычью голову. Что они могут говорить, о чем только захотят. И сами решат, когда им надо расстаться.

Она увидела очень близко его совершенно твердое прямое лицо, где правая и левая части ни черточкой не различались.

Он разнял свои пальцы и скользнул ими по ее локтям, в батисте блузки.

— Надя ! — еще раз очень тихо произнес он.

(Вот с кем посоветоваться б ей о спецтеме, о засекречивании, всю душу разгрузить ! . .)

— Пу-устите ! — голосом какого-то усталого сожаления отозвалась Надя.

Сама же начала и сама — « пустите » !

— Как мне понять вас, Надя ? — спросил он, переводя пальцы по блузке с локтей к плечам и осязая мягкость и теплоту . .

В третий раз он называл ее без отчества, и она не поправляла.

— В чем — понять ? — невнятно переспросила она.

Но не старалась освободиться ! . .

Тогда он ладонями сжал ее за плечи и притянул.

Только желтая полумгла скрыла пламя крови в ее лице.

Она уперлась руками ему в грудь и оттолкнулась.

— Пустите ! ! Ка-ак вы могли подумать ? ? . . .

Она гневно тряхнула головой, и прядь ее спала на лицо, закрыв один глаз.

— А шут вас разберет, что о вас думать ! — зло пробормотал он, отпустил и мимо нее отошел к окну.

Вода в радиаторе тихо переливалась.

Дрожащими руками Надя поправила волосы.

Он дрожащими руками закурил. Он слышно дышал.

Пойди разбери, чего она хочет !

— Вы — знаете ? — раздельно спросил он, — как — горит — сухое — сено ?

— Знаю, — безразлично ответила она. — Огонь до небес, а потом кучка пепла.

— До небес ! — подтвердил он.

— Кучка пепла, — повторила она.

— Так скажите, зачем вы швыряете-швыряете-швыряете огнем в сухое сено ?

(Разве она швыряла ?... Да как же он не мог ее понять ?... Ну, просто хочется иногда нравиться, хоть урывками).

— Пойдемте ! Куда нибудь ! — потребовала она.

— Никуда мы не пойдем. Мы будем здесь.

Он возвращался к своей спокойной манере курить, властными губами зажимая чуть сбоку мундштук — и эта манера нравилась Наде.

— Нет, прошу вас, пойдемте куда-нибудь ! — настаивала она.

— Здесь — или нигде, — безжалостно отрубил он. — Я обязан предупредить вас: у меня есть невеста. Поэтому я ничего не могу вам обещать. И... в городе нас с вами не должны видеть вместе.

47

ЗА ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ

Надю и Щагова сблизило то, что оба они не были москвичами. Те москвичи, кого Надя встречала среди аспирантов и в лабораториях, носили в себе яд своего несуществующего превосходства, этого «московского патриотизма», как называли сами они. Надя ходила среди них, какие ни будь ее успехи перед профессором, в существах второго сорта — еще особенно потому, что плохо умела скрывать душевные движения.

Как же было ей отнестись к Щагову, тоже провинциалу, но рассекавшему эту среду как небрежно рассекает ледокол простую мягкую воду. Однажды при ней в читальне один молоденький кандидат наук, желая унизить Щагова, спросил его с высокомерным поворотом змеиной головы:

— А вы, собственно... из какой местности?

Щагов, превосходя собеседника ростом, с ленивым сожалением посмотрел на него, чуть покачиваясь вперед и назад:

— Вам не пришлось там побывать. Из фронтовой местности. Из поселка блиндажный.

Давно замечено, что жизнь наша входит в нашу биографию не равномерно по годам. У каждого человека есть своя особая пора жизни, в которую он себя полнее всего проявил, глубже всего чувствовал и сказался весь себе и другим. И что бы потом ни случилось с человеком даже внешне значительного — все это уже только спад, — мы вспоминаем, упиваемся, на много ладов переигрываем, перепеваем то, что лишь единожды прозвучало в нашей душе. Такой порой у иных бывает даже детство — и тогда люди на всю жизнь остаются детьми. У других — первая любовь, и именно эти люди распространили миф, что любовь дается только раз. Кому пришлась такой порой пора их наибольшего богатства, почета, власти — и они до беззубых десен шамкают нам о своем отошедшем величии. У Нержина такой порой стала тюрьма. У Щагова — фронт.

Щагов хватанул войны с жарко́м и с ледко́м. Его взяли в армию в первый месяц войны. Его отпустили на граждан-

ку только в сорок шестом году. И за все четыре года войны у Щагова редко выдавался день, когда б с утра он был уверен, что доживет до вечера: он не служивал в высоких штабах, а в тыл отлучался только в госпиталь. Он отступал в сорок первом от Киева и в сорок втором на Дону. Хотя война в общем шла к лучшему, но Щагову доставалось уносить ноги и в сорок третьем и даже в сорок четвертом под Ковелем. В придорожных канавках, в размытых траншеях и меж развалин сожженных домов узнавал он цену котелка супа, часа покоя, смысл подлинной дружбы и смысл жизни вообще.

Переживания саперного капитана Щагова не могли зарубцеваться теперь и в десятилетия. Он не мог теперь принять никакого другого деления людей, кроме как на солдат и прочих. Даже на московских все забывших улицах у него сохранилось, что только слово «солдат» — порука искренности и дружелюбия человека. Опыт внушил ему не доверять тем, кого не проверил огонь фронта.

После войны у Щагова не осталось родных, а домик, где прежде жили они, был начисто сметен бомбой. Имущество Щагова было — на нем, и чемодан трофеев из Германии. Правда, чтобы смягчить демобилизованным офицерам впечатление от гражданки, им еще двенадцать месяцев после возвращения платили «оклад по воинскому званию», зарплату ни за что.

Вернувшись с войны, Щагов, как и многие фронтовики, был поражен. Они вернулись на короткое время лучшими, чем уходили, вернулись очищенными близостью смерти, и тем разительней была для них перемена на родине — перемена, назревшая и выросшая в далеких тылах, какое-то взаимное ожесточение, часто совершенная бессовестность, пропасти между хилой нищетой и нахально жиреющим богатством.

Черт возьми! И ведь эти бывшие солдаты были все здесь — они шли по улицам и ехали в метро, но одетые кто во что, и уже не узнавали друг друга. И почему-то они признали высшим порядком не свой фронтовой, а — который застали здесь.

Стоило взяться за голову и подумать.

Однако Щагов не стал задавать вопросов. Он не был из тех неуемных натур, кто постоянно тычется в поисках всеобщей справедливости. Он понял, что все идет, как идет, остановить этого нельзя — можно только вскочить или не вскочить на подножку. Ясно было, что ныне дочь генерала уже одним своим рождением предназначена к чистой жизни и не пойдет работать на фабрику. Невозможно себе было представить,

чтобы разжалованный секретарь райкома согласился стать к станку. Нормы на заводах выполняют не те, кто их придумывает, как и в атаку идут не те, кто пишет приказ об атаке.

Собственно, это не было ново для нашей планеты. Но обидно было, что за капитаном Щаговым не признавали права его безразумной службы, права приобщиться к завоеванной именно им жизни. Это право он должен был доказать теперь еще один раз — в бескровном бою, без выстрелов, не меча гранат — провести свое право через бухгалтерию, закрепить гербовой печатью.

И при всем том — улыбаться.

Щагов так спешил на фронт в сорок первом году, что не позаботился кончить пятого курса и получить диплом. Теперь, после войны, предстояло это наверстать и пробиваться к кандидатскому званию. Специальность его была — теоретическая механика, уйти в нее как в науку была у него мыслишка и до войны. Тогда это было легче. После же войны он застал всеобщую вспышку любви к науке — ко всякой науке, ко всем наукам — после повышения ставок.

Что ж, он размерил свои силы еще на один долгий поход. Германские трофеи он помалу загонял на базаре.

Он не гнался за изменчивой модой на мужские костюмы и ботинки, вызывающе донашивал, в чем демобилизовался: сапоги, диагоналевые брюки, гимнастерку английской шерсти с четырьмя планочками орденов и двумя нашивками ранений. Но именно это сохраненное обаяние фронта роднило Щагова в глазах Нади с таким же фронтовым капитаном Нержиным.

Уязвимая для каждой неудачи и оскорбления, Надя чувствовала себя девочкой перед бронированной житейской мудростью Щагова, спрашивала его советов. (Но и ему с тем же упорством лгала, что ее Глеб без вести пропал на фронте).

Надя сама не заметила, как и когда она впала во все это — « лишний » билет в кино, шутливая схватка из-за записной книжки. А сейчас, едва Щагов вошел в комнату и еще препирался с Дашей, — она сразу поняла, что пришел он к ней, за ней и что неизбежно случится что-то.

И хотя перед тем она безутешно оплакивала свою разбитую жизнь, — порвав червонец, стояла обновленная, налитая, готовая к живой жизни — сейчас.

И сердце ее не ощущало здесь противоречия.

А Щагов, осадив волнение, вызванное короткой игрой с нею, снова вернулся к медлительной манере держаться.

Теперь он ясно дал этой девочке понять, что она не может рассчитывать выйти за него замуж.

Услышав о невесте, Надя подламывающимся шагом прошла по комнате, стала тоже у окна и молча рисовала по стеклу пальцем.

Было жаль ее. Хотелось прервать молчание и совсем просто, с давно оставленной откровенностью, объяснить: бедная аспиранточка, без связей и без будущего — что могла бы она ему дать ? А он имеет справедливое право на свой кусок пирога. Хотелось поделиться: несмотря на то, что его невеста живет в праздных условиях, она не очень испорчена. У нее хорошая квартира в пристойном закрытом доме, где живет одна знать. На лестнице швейцар, а по лестнице — ковры, где ж теперь это ? И, главное, вся задача решается разом. А что можно выдумать лучше ?

Но он только подумал обо всем этом, не сказал.

А Надя, прислонясь виском к стеклу и глядя в ночь, отозвалась безрадостно:

— Вот и хорошо. У вас невеста. А у меня — муж.

Щагов недоуменно повернулся:

— Муж ? Где ж он ? Или — без вести пропавший ?

— Нет, не пропавший, — почти прошептала Надя.

(Как опрометчиво она выдавала себя ! . .)

— Вы надеетесь — он жив ?

— Я его видела . . . Сегодня . . .

(Она выдавала себя, но пусть не считает ее девчонкой, виснущей на шее !)

Щагов недолго осознавал сказанное. У него не был женский ход мысли, что Надя брошена. Он знал, что « без вести пропавший » почти всегда значило п е р е м е щ е н н о е лицо, — и если такое лицо перемещалось обратно, то чаще за решетку.

Он подступил к Наде и взял ее за локоть:

— Глеб ?

— Да, — почти беззвучно, совсем безразлично проронила она.

— Он что же ? С и д и т ?

— Да.

— Так-так-так ! — освобожденно сказал Щагов. Подумал. И быстро вышел из комнаты.

Стыдом и безнадежностью Надя так была оглушена, что не уловила нового в голосе Щагова.

Пусть — убежал. Она довольна, что все сказала. Она опять была наедине со своей честной тяжестью.

По-прежнему еле тлел волосок лампочки.

Волоча, как бремя, ноги по полу, Надя пересекла комнату,

в кармане шубы нашла вторую папиросу, дотянулась до спичек и закурила. Странное удовольствие нашла она в отвратительной горечи папиросы.

От неумения закашлялась.

На одном из стульев, проходя, различила бесформенно-осевшую шинель Щагова.

Как он из комнаты бросился ! До того испугался, что шинель забыл.

Было очень тихо, и из соседней комнаты по радио слышался, слышался ... да ... листовский этюд фа-минор.

Ах ! И она ведь его играла когда-то в юности — но понимала разве ?.. Пальцы играли, душа же не отзывалась на это слово — disperato — о т ч а я н н о ...

Прислонившись лбом к среднему стеклу, Надя ладонями раскинутых рук касалась других холодных стекол.

Она стояла как распятая на черной крестовине окна.

Была в жизни маленькая-маленькая теплая точка — и ее не стало.

Впрочем, в несколько минут она уже примирилась с этой потерей.

И снова была женой своего мужа.

Она смотрела в темноту, стараясь угадать там трубу тюрьмы Матросская Тишина. Disperato ! Отчаянно ! Это бессильное отчаяние, порывающееся встать с колен и снова падающее ! Это настойчивое высокое ре-бемоль — надорванный женский крик ! крик ! крик, не находящий разрешения !..

Ряд фонарей уводил куда-то в черную темноту будущего, до которого дожить не хотелось ...

Московское время объявили после этюда, — шесть часов вечера.

Надя совсем забыла о Щагове, а он опять вошел, без стука.

Он нес два стаканчика маленьких и бутылку.

— Ну, жена солдата ! — бодро, грубо сказал он. — Не унывай. Держи стакан. Была б голова — а счастье будет. Выпьем — з а в о с к р е с е н и е м е р т в ы х !

48

КОВЧЕГ

В шесть часов вечера в воскресенье даже на шарашке начинался всеобщий отдых до утра. Никак нельзя было избежать этого досадного перерыва в арестантской работе, потому что в воскресенье вольняшки дежурили только в одну смену. Это была гнусная традиция, против которой, однако, были бессильны бороться майоры и подполковники, ибо сами они тоже не хотели работать по воскресным вечерам. Только Мамурин-Железная Маска страшился этих-пустых вечеров, когда уходили вольные, когда загоняли и запирали всех зэков, которые все-таки тоже были в известном смысле люди, — и ему оставалось одному ходить по опустевшим коридорам института мимо осургученных и опломбированных дверей, либо томиться в своей келье между умывальником, шкафом и кроватью. Мамурин пытался добиться, чтобы Семерка работала и по воскресным вечерам, — но не мог сломить консервативности начальства спецтюрьмы, не желавшего удваивать внутри зонных караулов.

И так сложилось, что двадцать восемь десятков арестантов, попирая все разумные доводы и кодексы об арестантском труде, — по воскресным вечерам нагло отдыхали.

Отдых этот был такого свойства, что непривычному человеку показался бы пыткою, придуманной дьяволом. Наружная темнота и особая бдительность воскресных дней не разрешала тюремному начальству устраивать в эти часы прогулки во дворике или киносеансы в сарае. После годовой переписки со всеми высокими инстанциями было также решено, что и музыкальные инструменты типа « баян », « гитара », « балалайка » и « губная гармоника », а тем более прочих укрупненных типов, — недопустимы на шарашке, так как их совместные звуки могли бы помочь производить подкоп в каменном фундаменте — (оперуполномоченные через стукачей непрерывно выясняли, нет ли у заключенных каких-либо самодельных дудок и пищалок, а за игру на гребешке вызывали в кабинет и составляли особый протокол). Тем более не могло быть и речи о допущении

в общежитие тюрьмы радиоприемников или самых дряненьких патефонов.

Правда, заключенным разрешалось пользоваться тюремной библиотекой. Но у спецтюрьмы не было средств для покупки книг и шкафа для книг. А просто назначили Рубина тюремным библиотекарем (он сам напросился, думая захватить хорошие книги) и выдали ему однажды сотню растрепанных разрозненных томов вроде тургеневской « Муму », « Писем » Стасова, « Истории Рима » Моммзена — и велели их обращать среди арестантов. Арестанты давно теперь все эти книги прочли, или вовсе не хотели читать, а выпрашивали чтива у вольняшек, что и открывало оперуполномоченным богатое поле для сыска.

Для отдыха арестантам предоставлялись десять комнат на двух этажах, два коридора — верхний и нижний, узкая деревянная лестница, соединяющая этажи, и уборная под этой лестницей. Отдых состоял в том, что зэкам разрешалось без всякого ограничения лежать в своих кроватях (и даже спать, если они могли заснуть под галдеж), сидеть на кроватях (стульев не было), ходить по комнате и из комнаты в комнату хотя бы даже в одном нижнем белье, сколько угодно курить в коридорах, спорить о политике при стукачах и совершенно без стеснений и ограничений пользоваться уборной. (Впрочем те, кто подолгу сидели в тюрьме и ходили « на оправку » дважды в сутки по команде, — могут оценить значение этого вида бессмертной свободы). Полнота отдыха была в том, что время было с в о ё, а н е к а з е н н о е. И поэтому отдых воспринимался как настоящий.

Отдых арестантов состоял в том, что снаружи запирались тяжелые железные двери, и никто больше не открывал их, не входил, никого не вызывал и не дергал. В эти короткие часы внешний мир ни звуком, ни словом, ни образом не мог просочиться внутрь, не мог потревожить ничью душу. В том и был отдых, что весь внешний мир — Вселенная с ее звездами, планета с ее материками, столицы с их блистанием, и банкеты и производственные вахты — все это проваливалось в небытие, превращалось в черный океан, почти неразличимый сквозь обрешеченные окна при желто-слепом свечении фонарей зоны.

Залитый изнутри никогда не гаснущим электричеством МГБ, двухэтажный ковчег бывшей припоместной церкви, с бортами, сложенными в четыре с половиной кирпича, беззаботно и бесцельно плыл сквозь этот черный океан человеческих судеб и заблуждений, оставляя от иллюминаторов мреющие струйки света.

За эту ночь с воскресенья на понедельник могла расколоться Луна, могли воздвигнуться новые Альпы на Украине, океан мог проглотить Японию или начаться всемирный потоп, — запертые в ковчеге арестанты ничего не узнали бы до утренней поверки. Также не могли их потревожить в эти часы телеграммы от родственников, докучные телефонные звонки, приступ дифтерита у ребенка или ночной арест.

Те, кто плыли в ковчеге, были невесомы сами и обладали невесомыми мыслями. Они не были голодны и не были сыты. Они не обладали счастьем и потому не испытывали тревоги его потерять. Головы их не были заняты мелкими служебными расчетами, интригами, продвижением, плечи их не были обременены заботами о жилище, топливе, хлебе и одежде для детишек. Любовь, составляющая искони наслаждение и страдание человечества, была бессильна передать им свой трепет или свою агонию. Тюремные сроки их были так длинны, что никто еще не задумывался о тех годах, когда выйдет на волю. Мужчины, выдающиеся по уму, образованию и опыту жизни, но всегда слишком преданные своим семьям, чтобы оставлять достаточно себя для друзей, — здесь принадлежали только друзьям.

Свет ярких ламп отражался от белых потолков, от выбеленных стен и тысячами лучиков пронизывал просветленные головы.

Отсюда, из ковчега, уверенно прокладывающего путь сквозь тьму, легко озарялся извилистый заблудившийся поток проклятой Истории — сразу весь, как с огромной высоты, и подробно, до камешка на дне, будто в него окунались.

В эти часы воскресных вечеров материя и тело не напоминали людям о себе. Дух мужской дружбы и философии парил под парусным сводом потолка.

Может быть, это и было то блаженство, которое тщетно пытались определить и указать все философы древности ?

49

ХОХМА

В полукруглой комнате второго этажа под высоким сводчатым потолком алтаря было особенно просторно мыслям и весело.

Все двадцать пять человек этой комнаты собрались дружно к шести часам. Одни поскорее разделись до белья, стремясь избавиться от надоевшей тюремной шкуры, и плюхнулись с размаху на свою койку (или, подобно обезьянам, вскарабкались наверх), другие также плюхнулись, но не снимая комбинезона, кто-то уже стоял наверху и, размахивая руками, кричал оттуда приятелю через всю комнату, иные ничего не предпринимали еще, а отаптывались и оглядывались, всем существом своим ощущая приятность предстоящих свободных часов — и теряясь, как начать их поприятнее.

Среди таких был Исаак Моисеевич Каган, черно-кудлатый низенький « директор аккумуляторной », как его называли. У него было особенно хорошее расположение духа от прихода в просторную светлую комнату, так как аккумуляторная его, где он по четырнадцать часов в день копался как крот, занимала темное подвальное помещение с плохой вентиляцией. Впрочем, он был доволен и этой своей работой в подвале, говоря, что в лагере давно бы уже з а г н у л с я (он никогда не уподоблялся хвастунам, гордящимся, что в лагере « жили лучше, чем на воле »).

На воле Исаак Каган, недоучившийся инженер, кладовщик материально-технического снабжения, старался жить незаметной маленькой жизнью и пройти эпоху великих свершений боком. Он знал, что тихим кладовщиком быть и спокойнее и прибыльнее. В своей замкнутости он таил почти огненную страсть к наживе и ею был занят. Ни к какой политической деятельности его не влекло. Зато, как только умел, он и в кладовой соблюдал законы субботы. Но Госбезопасность избрала почему-то Кагана запрячь в свою колесницу, и стали его тягать в закрытые комнаты и в явочные безобидные места, настаивая, чтоб он стал сексотом. Очень это было отвратно

Кагану. Прямоты и смелости такой у него не было (а у кого она была?), чтобы прямо резануть им в глаза, что это — гадство, но с неистощимым терпением он молчал, мямлил, тянул, уклонялся, ерзал на стуле — и так-таки не подписал обязательства. Не то, чтобы он совсем не был способен донести. Не дрогнув, донес бы он на человека, причинившего ему зло или унижение. Но отвращалось сердце его доносить на людей, добрых к нему или безразличных.

Однако, за это упрямство в Госбезопасности на него затаили. От всего на свете не убережешься. В кладовой же у него затеяли разговор: кто-то выругал инструмент, кто-то снабжение, кто-то планирование. Исаак и рта не открыл при этом, выписывая себе накладные химическим карандашом. Но стало известно (да наверно, подстроили), друг на друга все указали, кто что говорил, и по десятому пункту получили все по десять лет. Прошел и Каган пять очных ставок, но никто не доказал, что он хоть слово вымолвил. Была бы 58-я статья поуже — и пришлось бы Кагана выпустить. Но следователь знал свой последний запас — пункт двенадцатый той же статьи — недоносительство. За недоносительство и припаяли Кагану те же десять астрономических лет.

Из лагеря Каган попал на шарашку благодаря своему выдающемуся остроумию. В трудную минуту жизни, когда его изгнали с поста «заместителя старшего по бараку» и стали гонять на лесоповал, он написал письмо на имя председателя совета министров товарища Сталина о том, что если ему, Исааку Кагану, правительство предоставит возможность, он берется осуществить управление по радио торпедными катерами.

Расчет был верен. Ни у кого в правительстве не дрогнуло бы сердце, если бы Каган по-человечески написал, что ему очень-очень плохо и он просит его спасти. Но выдающееся военное изобретение стоило того, чтобы автора немедленно привезти в Москву. Кагана привезли в Маврино, и разные чины с голубыми и синими петлицами приехали к нему и торопили его воплотить дерзкую техническую идею в готовую конструкцию. Уже получая белый хлеб и масло, Каган, однако, не торопился. С большим хладнокровием он отвечал, что он сам не торпедист и, естественно, нуждается в таковом. За два месяца достали торпедиста (зэка). Но тут Каган резонно возразил, что сам он — не судовой механик и, естественно, нуждается в таковом. Еще за два месяца привезли и судового механика (зэка). Каган вздохнул и сказал, что не радио является его специальностью. Радио-инженеров в Маврино было много, и одного тотчас прикомандировали к

Кагану. Каган собрал их всех вместе и невозмутимо, так что никто не мог бы заподозрить его в насмешке, заявил им: « Ну вот, друзья, когда теперь вас собрали вместе, вы вполне могли бы общими усилиями изобрести управляемые по радио торпедные катера. И не мне лезть советовать вам, специалистам, к а к это лучше сделать ». И действительно, их троих услали на военно-морскую шарашку, Каган же за выигранное время пристроился в аккумуляторной, и все к нему привыкли.

Сейчас Каган задирал лежащего на кровати Рубина — но издали, так, чтоб Рубин не мог достать его пинком ноги.

— Лев Григорьич, — говорил он своей не вполне разборчивой вязкою речью, зато медленно. — В вас заметно ослабело сознание общественного долга. Масса жаждет развлечения. Один вы можете его доставить — а уткнулись в книгу.

— Исаак, идите на..., — отмахнулся Рубин. Он уже успел лечь на живот, с лагерной телогрейкой, накинутой на плечи сверх комбинезона (окно между ним и Сологдиным было раскрыто на « толщину Маяковского », оттуда потягивало приятной снежной свежестью) и читал.

— Нет, серьезно, Лев Григорьич ! — не отставал вцепчивый Каган. — Всем очень хочется еще раз послушать вашу талантливую « Ворону и лисицу ».

— А кто на меня к у м у стукнул ? Не вы ли ? — огрызнулся Рубин.

В прошлый воскресный вечер, веселя публику, Рубин экспромтом сочинил пародию на крыловскую « Ворону и лисицу », полную лагерных терминов и невозможных для женского уха оборотов, за что его пять раз вызывали на « бис » и качали, а в понедельник вызвал майор Мышин и завел дело о развращении заключенным Рубиным нравственности врагов народа; по этому поводу отобрано было несколько свидетельских показаний, а от Рубина — подлинник басни и объяснительная записка.

Рубин сегодня после обеда уже два часа проработал в новой отведенной для него комнате, выбрал типичные для искомого преступника переходы р е ч е в о г о л а д а и ф о р м а н т ы, пропустил их через аппарат видимой речи, развесил сушить мокрые ленты и с первыми догадками и с первыми подозрениями, но без воодушевления к новой работе, наблюдал, как Смолосидов опечатал комнату сургучом. После этого в потоке зэков, как в стаде, возвращающемся в деревню, Рубин пришел в тюрьму.

Как всегда, под подушкой у него, под матрацом, под кроватью и в тумбочке, вперемешку с едой, лежало десятка полто-

ра переданных ему в передачах самых интересных (для него одного, потому их и не растаскивали) книг: китайско-французский, латышско-венгерский и русско-санскритский словари (уже два года Рубин трудился над грандиозной, в духе Энгельса и Марра, работой по выводу всех слов всех языков из понятий « рука » и « ручной труд » — он не подозревал, что в минувшую ночь Корифей Языкознания занес над Марром резак идеологической гильотины); потом лежали там « Саламандры » Чапека, сборник рассказов весьма прогрессивных японских писателей. « For Whom the Bell Tolls » (Хэмингуэя у нас что-то замялись переводить, как переставшего быть прогрессивным); пара монографий об энциклопедистах, « Жозеф Фуше » Стефана Цвейга на немецком и роман Эптона Синклера, никогда не переводившийся на русский.

В мире было необъятно много книг, самых необходимейших, самых первоочередных, и жадность прочесть их все никогда не давала Рубину возможности написать ни одной своей. Сейчас Рубин готов был глубоко за полночь, вовсе не думая о завтрашнем рабочем дне, только читать и читать. Но к вечеру и остроумие Рубина, и жажда спора и витийства бывали особенно разогнаны — и надо было совсем немного, чтобы призвать их на служение обществу. Были люди на шарашке, кто не верил Рубину, считая его стукачом (из-за слишком ортодоксальных взглядов, не скрываемых им), — но не было на шарашке человека, который бы не восторгался его затейством.

Воспоминание о « Вороне и лисице », уснащенной хорошо перенятым жаргоном блатных, было так живо, что и теперь вслед за Каганом многие в комнате стали громко требовать от Рубина какой-нибудь новой х о х м ы . И когда Рубин приподнялся и, мрачный, бородатый, вылез из-под укрытия верхней над ним койки, как из пещеры, — все бросили свои дела и приготовились слушать. Только Двоетёсов на верхней койке резал на ногах ногти так, что они далеко отлетали, да Адамсон под одеялом продолжал, не оборачиваясь, читать. В дверях столпились любопытные из других комнат, средь них татарин Булатов в роговых очках резко кричал:

— Просим ! Просим !

Рубин вовсе не хотел потешать толпу, среди которой иные попирали все ему дорогое; и он знал, что новая хохма неизбежно значила с понедельника новые неприятности, трепку нервов, допросы у « Шишкина-Мышкина ». Но будучи тем самым героем поговорки, кто для красного словца не пожалеет родного отца, Рубин притворно нахмурился, деловито оглянулся и сказал в наступившей тишине:

— Товарищи ! Меня поражает ваша несерьезность. О какой хохме может идти речь, когда среди нас разгуливают наглые, но все еще не выявленные преступники ? Никакое общество не может процветать без справедливой судебной системы. Я считаю необходимым начать наш сегодняшний вечер с небольшого судебного процесса. В виде зарядки.

— Правильно !

— А над кем суд ?

— Над кем бы то ни было ! Все равно правильно ! — раздались голоса.

— Забавно ! Очень забавно ! — поощрял Сологдин, усаживаясь поудобне. Сегодня, как никогда, он заслужил себе отдых, а отдыхать надо было с выдумкой.

Осторожный Каган, почувствовав, что им же вызванная затея грозит переступить границы благоразумия, незаметно отходил к стеночке сесть на свою койку.

— Над кем суд — это вы узнаете в ходе судебного разбирательства, — разъяснил Рубин (он сам еще не придумал). — Я, пожалуй, буду прокурором, поскольку должность прокурора всегда вызывала во мне особенные эмоции (все на шарашке знали, что у Рубина были личные ненавистники-прокуроры, и он уже пять лет единоборствовал с Генеральной и Главной Военной прокуратурами). — Глеб ! Ты будешь председатель суда. Сформируй себе быстро тройку — нелицеприятную, объективную, ну, словом, вполне послушную твоей воле.

Нержин, сбросив внизу ботинки, сидел у себя на верхней койке. С каждым часом проходившего воскресного дня он все больше отчуждался от утреннего свидания и все больше соединялся с привычным арестантским миром. Призыв Рубина нашел в нем поддержку. Он подтянулся к торцевым перильцам кровати, спустил ноги между прутьями и таким образом оказался на трибуне, возвышающейся над комнатой.

— Ну, кто ко мне в заседатели ? Залезай !

Арестантов в комнате собралось много, всем хотелось послушать суд, но в заседатели никто не шел — из осмотрительности или из боязни показаться смешным. По одну сторону от Нержина, тоже наверху, лежал и снова читал утреннюю газету вакуумщик Земеля. Нержин решительно потянул его за газету:

— Улыба ! Довольно просвещаться ! А то и тебя потянет на мировое господство. Подбери ноги. Будь заседателем !

Снизу послышались аплодисменты:

— Просим, Земеля, просим !

Земеля был талая душа и не мог долго сопротивляться.

Со своей неуклюжей улыбкой он свесил через поручни лысеющую голову:

— Избранник народа — высокая честь ! Что вы, друзья ! Я не учился, я не умею...

Дружный хохот (« Все не умеем ! Все учимся ! ») был ему ответом и избранием в заседатели.

По другую сторону Нержина лежал Руська Доронин. Он разделся, с головой и ногами ушел под одеяло и еще подушкой сверху прикрыл свое счастливое упоенное лицо. Ему не хотелось ни слышать, ни видеть, ни чтоб его видели. Только тело его было здесь — мысли же и душа следовали за Кларой, которая ехала сейчас домой. Перед самым уходом она докончила плести корзиночку на елку и незаметно подарила ее Руське. Эту корзиночку он держал теперь под одеялом и целовал.

Видя, что напрасно было бы шевелить Руську, Нержин оглядывался в поисках второго кандидата.

— Амантай ! Амантай ! — звал он Булатова. — Иди в заседатели.

Очки Булатова задорно блестели.

— Я бы пошел, да там сесть негде ! Я тут у двери, комендантом буду !

Хоробров (он уже успел постричь Адамсона, и еще двоих, и стриг теперь посредине комнаты нового клиента, а тот сидел перед ним голый до пояса, чтоб не трудиться потом счищать волосы с белья) крикнул:

— А зачем второго заседателя ? Приговор-то уж, небось, в кармане ? Катай с одним !

— И то правда, — согласился Нержин. — Зачем дармоеда держать ? Но где же обвиняемый ? Комендант ! Ведите обвиняемого ! Прошу тишины !

И он постучал большим мундштуком по койке. Разговоры стихали.

— Суд ! Суд ! — требовали голоса. Публика сидела и стояла.

— Аще взыду на небо — ты там еси, аще сниду в ад — ты там еси, — снизу из-под председателя суда меланхолически подал Потапов. — Аще вселюся в преисподняя моря, — и там десница твоя настигнет мя ! (Потапов прихватил Закона Божьего в гимназии, и в четкой инженерной голове его сохранились тексты катехизиса).

Снизу же, из-под заседателя, послышался отчетливый стук ложечки, размешивающий сахар в стакане.

— Валентуля ! — грозно крикнул Нержин. — Сколько раз вам говорено — не стучать ложечкой !

— В подсудимые его ! — завопил Булатов, и несколько услужливых рук тотчас вытянули Прянчикова из полумрака нижней койки на середину комнаты.

— Довольно ! — с ожесточением вырывался Прянчиков. — Мне надоели прокуроры ! Мне надоели ваши суды ! Какое право имеет один человек судить другого ? Ха-ха ! Смешно ! Я презираю вас, парниша ! — крикнул он председателю суда. — Я... вас !

За то время, что Нержин сколачивал суд, Рубин уже все придумал. Темно-карие глаза его светились блеском находки. Широким жестом он пощадил Прянчикова:

— Отпустите этого птенца ! Валентуля с его любовью к мировой справедливости вполне может быть казенным адвокатом. Дайте ему стул !

В каждой шутке бывает неуловимое мгновение, когда она либо становится пошлой и обидной, либо вдруг сплавляется с вдохновением. Рубин, обернувший себе через плечо одеяло под вид мантии, влез в носках на тумбочку и обратился к председателю:

— Действительный государственный советник юстиции ! Подсудимый от явки в суд уклонился, будем судить заочно. Прошу начинать !

В толпе у дверей стоял и рыжеусый дворник Спиридон. Его умное, обвислое в щеках, израненное многими морщинами лицо притягательно сочетало в себе черты суровости и веселости. Исподлобья смотрел он на суд.

За спиной Спиридона с долгим утонченным восковым лицом, увенчанным шерстяною шапочкой, стоял профессор Челнов.

Нержин объявил скрипуче:

— Внимание, товарищи ! Заседание военного трибунала шарашки Маврино объявляю открытым. Слушается дело... ?

— Ольговича Игоря Святославича... — подсказал прокурор.

Подхватывая идею, Нержин монотонно-гнусаво как бы прочел:

— Слушается дело Ольговича Игоря Святославича, князя Новгород-Северского и Путивльского, год рождения... приблизительно... Черт возьми, секретарь, почему приблизительно ?... Внимание ! Обвинительное заключение, ввиду отсутствия у суда письменного текста, зачтет прокурор.

50

КНЯЗЬ-ПРЕДАТЕЛЬ

Рубин заговорил с такой легкостью и складом, будто глаза его действительно скользили по бумаге (его самого судили и пересуживали четыре раза, и судебные формулы запечатлелись в его памяти):

— « Обвинительное заключение по следственному делу номер пять миллионов дробь три миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят четыре по обвинению ОЛЬГОВИЧА ИГОРЯ СВЯТОСЛАВИЧА.

Органами государственной безопасности привлечен в качестве обвиняемого по настоящему делу Ольгович И.С. Расследованием установлено, что Ольгович, являясь полководцем доблестной русской армии, в звании князя, в должности командира дружины, оказался подлым изменником Родины. Изменническая деятельность его проявилась в том, что он сам добровольно сдался в плен заклятому врагу нашего народа ныне изобличенному хану Кончаку, — и кроме того сдал в плен сына своего Владимира Игоревича, а также брата и племянника, и всю дружину в полном составе со всем оружием и подотчетным материальным имуществом.

Изменническая деятельность его проявилась также в том, что он, с самого начала поддавшись на удочку провокационного солнечного затмения, подстроенного реакционным духовенством, не возглавил массовую политико-разъяснительную работу в своей дружине, отправлявшейся « шеломами испить воды из Дону », — не говоря уже об антисанитарном состоянии реки Дон в те годы, до введения двойного хлорирования. Вместо всего этого обвиняемый ограничился, уже в виду половцев, совершенно безответственным призывом к войску:

« Братья, сего есмы искали, а потягнем !

(следственное дело, том первый, лист 36).

Губительное для нашей Родины значение поражения объединенной новгород-северской-курской-путивльской-рыльской дружины лучше всего охарактеризовано словами великого князя киевского Святослава:

« Дал ми Бог притомити поганыя, но не воздержавши уности »

(следственное дело, том I, лист 88).

Ошибкой наивного Святослава (вследствие его классовой слепоты) является, однако, то, что плохую организацию всего похода и дробление русских военных усилий он приписывает лишь « уности », то есть, юности обвиняемого, не понимая, что речь здесь идет о далеко рассчитанной измене.

Самому преступнику удалось ускользнуть от следствия и суда, но свидетель БОРОДИН Александр Порфирьевич, а также свидетель, пожелавший остаться неизвестным, в дальнейшем именуемый как АВТОР СЛОВА, неопровержимыми показаниями изобличают гнусную роль князя И.С. Ольговича не только в момент проведения самой битвы, принятой в невыгодных для русского командования условиях

метеорологических:

« Веют ветры, уж наносят стрелы,
На полки их Игоревы сыплют . . . »,

и тактических:

« Ото всех сторон враги подходят,
Обступают наших отовсюду »,

(там же, том I, листы 123, 124, показания Автора Слова), но и еще более гнусное поведение его и его княжеского отпрыска в плену. Бытовые условия, в которых они оба содержались в так называемом плену, показывают, что они находились в величайшей милости у хана Кончака, что объективно являлось вознаграждением им от половецкого командования за предательскую сдачу дружины.

Так, например, показаниями свидетеля Бородина установлено, что в плену у князя Игоря была своя лошадь и даже не одна:

« Хочешь, возьми коня любого ! »

(там же, том I, лист 233)

Хан Кончак при этом говорил князю Игорю:

« Все пленником себя ты тут считаешь.
А разве ты живешь как пленник, а не гость мой ? »

(там же, том I, лист 281)

и ниже:

« Сознайся, разве пленники так живут ? »

(там же, том I, лист 300)

Половецкий хан вскрывает всю циничность своих отношений с князем-изменником:

« За отвагу твою, да за удаль твою
Ты мне, князь, полюбился ».
(следственное дело, том 3, лист 5)

Более тщательным следствием вскрыто, что эти циничные отношения существовали и задолго до сражения на реке Каяле:

» Ты люб мне был всегда »
(там же, лист 14, показания свидетеля Бородина),

и даже:

« Не врагом бы твоим, а союзником верным,
А другом надежным, а братом твоим
Мне хотелось бы быть... »
(там же).

Все это объективизирует обвиняемого как активного пособника хана Кончака, как давнишнего половецкого агента и шпиона.

На основании изложенного обвиняется Ольгович Игорь Святославич, 1151-го года рождения, уроженец города Киева, русский, беспартийный, ранее не судимый, гражданин СССР, по специальности полководец, служивший командиром дружины в звании князя, награжденный орденами Варяга I-ой степени, Красного Солнышка и медалью Золотого Щита, в том, что

он совершил гнусную измену Родине, соединенную с диверсией, шпионажем и многолетним преступным сотрудничеством с половецким ханством,

то есть в преступлениях, предусмотренных статьями 58-1-б, 58-6, 58-9, и 58-11 УК РСФСР.

В предъявленных обвинениях Ольгович виновным себя признал, изобличается показаниями свидетелей, поэмой и оперой.

Руководствуясь статьей 208-й УПК РСФСР настоящее дело направлено прокурору для предания обвиняемого суду ».

Рубин перевел дух и торжествующе оглядел зэков. Увлеченный потоком фантазии, он уже не мог остановиться. Смех, прокатившийся по койкам и у дверей, подстегивал его. Он уже сказал больше и острее того, что хотел бы при нескольких присутствующих здесь стукачах или при злобно настроенных людях.

Спиридон с жесткими седорыжими волосами, росшими у него безо всякой прически и догляда в сторону лба, ушей и затылка, не засмеялся ни разу. Он хмуро взирал на суд. Пятидесятилетний русский человек, он впервые слышал об этом князе старых времен, попавшем в плен, — но в знакомой обстановке суда и непререкаемой самоуверенности прокурора

он переживал еще раз все, что произошло с ним самим и угадывал всю несправедливость доводов прокурора и всю кручинушку этого горемычного князя.

— Ввиду отсутствия обвиняемого и ненадобности допроса свидетелей, — все так же мерно-гнусаво расправлялся Нержин, — переходим к прениям сторон. Слово имеет опять же прокурор.

И покосился на Земелю.

— Конечно, конечно, — подкивнул на все согласный заседатель.

— Товарищи судьи, — мрачно воскликнул Рубин. — Мне мало что остается добавить к той цепи страшных обвинений, к тому грязному клубку преступлений, который распутался перед вашими глазами. Во-первых, мне хотелось бы решительно отвести распространенное гнилое мнение, что раненый имеет моральное право сдаться в плен. Это в корне не наш взгляд, товарищи ! А тем более князь Игорь. Вот говорят, что он был ранен на поле боя. Но кто нам может это доказать теперь, через семьсот шестьдесят пять лет ? Сохранилась ли справка о его ранении, подписанная дивизионным военврачом ? Во всяком случае, в следственном деле такой справки не подшито, товарищи судьи ! . .

Амантай Булатов снял очки — и без их задорного мужественного блеска глаза его оказались совершенно печальными.

Он, и Прянчиков, и Потапов, и еще многие из столпившихся здесь были посажены за такую же « измену родине » — за д о б р о в о л ь н у ю сдачу в плен.

— Далее, — гремел прокурор, — мне хотелось особо оттенить отвратительное поведение обвиняемого в половецком стане. Князь Игорь думает вовсе не о Родине, а о жене:

« Ты одна, голубка-лада,
Ты одна . . . »

Аналитически это совершенно понятно нам, ибо Ярославна у него — жена молоденькая, вторая, на такую бабу нельзя особенно полагаться, но ведь фактически князь Игорь предстает перед нами как шкурник ! А для к о г о плясались половецкие пляски ? — спрашиваю я вас. Опять же для него ! А его гнусный отпрыск тут же вступает в половую связь с Кончаковной, хотя браки с иностранными нашим подданным категорически запрещены соответствующими компетентными органами ! И это в момент наивысшего напряжения советско-половецких отношений, когда . . .

— Позвольте ! — выступил от своей койки кудлатый Каган. — Откуда прокурору известно, что на Руси уже тогда была советская власть ?

— Комендант ! Выведите этого подкупленного агента ! — постучал Нержин. Но Булатов не успел пошевельнуться, как Рубин с легкостью принял нападение.

— Извольте, я отвечу ! Диалектический анализ текстов убеждает нас в этом. Читайте у Автора Слова:

« Веют стяги к р а с н ы е в Путивле ».

Кажется, ясно ? Благородный князь Владимир Галицкий, начальник Путивльского райвоенкомата, собирает народное ополчение, Скулу и Ерошку, на защиту родного города, — а князь Игорь тем временем рассматривает голые ноги половчанок ? Оговорюсь, что все мы весьма сочувствуем этому его занятию, но ведь Кончак же предлагает ему на выбор « любую из красавиц » — так почему ж он, гад, ее не берет ? Кто из присутствующих поверит, чтобы человек мог сам отказаться от б а б ы , а ? Вот тут-то и кроется предел цинизма, до конца разоблачающий обвиняемого — это так называемый его побег из плена и его д о б р о в о л ь н о е возвращение на Родину ! Да кто же поверит, что человек, которому предлагали « коня любого и злата » — вдруг добровольно возвращается на Родину, а это все бросает, а ? Как это может быть ? . . .

Именно этот, именно этот вопрос задавался на следствии вернувшимся пленничкам, и Спиридону задавался этот вопрос: зачем же бы ты вернулся на Родину, если б тебя не завербовали ? ! . .

— Тут может быть одно и только одно толкование: князь Игорь был з а в е р б о в а н половецкой разведкой и з а б р о ш е н для разложения киевского государства ! Товарищи судьи ! Во мне, как и в вас, кипит благородное негодование. Я гуманно требую — повесить его, сукиного сына ! А поскольку смертная казнь отменена — вжарить ему двадцать пять лет и пять п о р о г а м ! Кроме того, в частном определении суда: оперу « Князь Игорь » как совершенно аморальную, как популяризирующую среди нашей молодежи изменнические настроения — со сцены снять ! Свидетеля по данному процессу Бородина А.П. привлечь к уголовной ответственности, выбрав меру пресечения — арест. И еще привлечь к ответственности аристократов: 1) Римского, 2) Корсакова, которые если бы не дописывали этой злополучной оперы, она бы не увидела сцены. Я кончил ! — Рубин грузно соскочил с тумбочки. Речь уже тяготила его.

Никто не смеялся.

Прянчиков, не ожидая приглашения, поднялся со стула и в глубокой тишине сказал растерянно, тихо:

— Т а н п и , господа ! Т а н п и ? у нас пещерный век

или двадцатый ? Что значит — измена ? Век ядерного распада ! полупроводников ! электронного мозга ! . . Кто имеет право судить другого человека, господа ? Кто имеет право лишать его свободы ?

— Простите, это уже — защита ? — вежливо выступил профессор Челнов, и все обратились в его сторону. — Я хотел бы прежде в порядке прокурорского надзора добавить несколько фактов, упущенных моим достойным коллегой, и . . .

— Конечно, конечно, Владимир Эрастович ! — поддержал Нержин. — Мы всегда за обвинение, мы всегда — против защиты и готовы идти на любую ломку судебного порядка. Просим !

Сдержанная улыбка изгибала губы профессора Челнова. Он говорил совсем тихо — и потому только было его хорошо слышно, что его слушали почтительно. Выблекшие глаза его смотрели как-то мимо присутствующих, словно перед ним перелистывались летописи. Шишачок на его шерстяной шапочке еще заострял его лицо и придавал ему настороженность.

— Я хочу указать, — сказал профессор математики, — что князь Игорь был бы разоблачен еще до назначения полководцем при первом же заполнении нашей спец-анкеты. Его мать была половчанка, дочь половецкого князя. Сам по крови на половину половец, князь Игорь долгие годы и союзничал с половцами. « Союзником верным и другом надежным » для Кончака он *уже был до похода* ! В 1180-м году, разбитый мономаховичами, он бежал от них в общей лодке с ханом Кончаком ! Позже Святослав и Рюрик Ростиславич звали Игоря в большие общерусские походы против половцев — но Игорь уклонился под предлогом гололедицы — « бяшеть серен велик ». Может быть потому, что уже тогда Свобода Кончаковна была просватана за Владимира Игоревича ? В рассматриваемом 1185-м году, наконец, — кто помог Игорю бежать из плена ? Половец же ! Половец Овлур, которого Игорь затем « учинил вельможею ». А Кончаковна привезла потом Игорю внука . . . За укрытие этих фактов я предлагал бы привлечь к ответственности еще и Автора Слова, затем музыкального критика Стасова, проглядевшего изменнические тенденции в опере Бородина, ну и, наконец, графа Мусина-Пушкина, ибо не мог же он быть непричастен к сожжению единственной рукописи Слова ? Явно, что кто-то, кому это было выгодно, *заметал следы*.

И Челнов отступил, показывая, что он кончил.

Все та же слабая улыбка была на его губах.

Молчали.

— Но кто же будет защищать подсудимого ? Ведь человек нуждается в защите ! — возмутился Исаак Каган.

— Нечего его, гада, защищать ! — крикнул Двоетесов. — Один бэ — и к стенке !

Сологдин хмурился. Очень смешно было, что говорил Рубин, а знания Челнова он тем более уважал, но князь Игорь был слава русской истории, представитель рыцарского, то есть самого славного ее периода, — и потому не следовало его даже косвенно использовать для насмешек. У Сологдина образовался неприятный осадок.

— Нет, нет, как хотите, а я выступаю на защиту ! — сказал осмелевший Исаак, обводя хитрым взглядом аудиторию. — Товарищи судьи ! Как благородный казенный адвокат, я вполне присоединяюсь ко всем доводам государственного обвинителя. — Он тянул и немного шамкал. — Моя совесть подсказывает мне, что князя Игоря не только надо повесить, но и четвертовать. Верно, в нашем гуманном законодательстве вот уже третий год нет смертной казни, и мы вынуждены заменять ее. Однако, мне непонятно, почему прокурор так подозрительно мягкосердечен ? (Тут надо проверить и прокурора !) Почему по лестнице наказаний он спускается сразу на две ступеньки — и доходит до двадцати пяти лет каторжных работ ? Ведь в нашем уголовном кодексе есть наказание, лишь немногим отличающееся от смертной казни, наказание, гораздо более страшное, чем двадцать пять лет каторжных работ.

Исаак медлил, чтоб вызвать тем большее впечатление.

— Какое же, Исаак ? — кричали ему нетерпеливо. Тем медленнее, с тем более наивным видом он ответил:

— Статья 20-я, пункт « а ».

Сколько сидело их здесь, с богатым тюремным опытом, никто никогда не слышал такой статьи. Докопался, дотошный !

— Что ж она гласит ? — выкрикивали со всех сторон непристойные предположения. — Вырезать . . . ?

— Почти, почти, — невозмутимо подтверждал Исаак. — Именно, духовно кастрировать. Статья 20-я, пункт « а » — объявить врагом трудящихся и изгнать из пределов СССР ! Пусть там, на Западе, хоть подохнет ! Я кончил.

И скромно, держа голову на бок, маленький, кудлатый, отошел к своей кровати.

Взрыв хохота потряс комнату.

— Как ? Как ? — заревел, захлебнулся Хоробров, а клиент его подскочил от рывка машинки. — Изгнать ? И есть такой пункт ?

— Проси утяжелить! Проси утяжелить наказание! — кричали ему.

Мужик Спиридон улыбался лукаво.

Все разом говорили и разбредались.

Рубин опять лежал на животе, стараясь вникнуть в монголо-финский словарь. Он проклинал свою дурацкую манеру выскакивать, он стыдился сыгранной им роли.

51

КОНЧАЯ ДВАДЦАТЫЙ

А Адамсон, все так же прижавшись плечом и щекою ко взбитой подушке, глотал и глотал « Монте-Кристо ». Он лежал спиной к происходящему в комнате. Никакая комедия суда уже не могла занять его. Он только слегка обернул голову, когда говорил Челнов, потому что подробности оказались для него новы.

За двадцать лет ссылок, пересылок, следственных тюрем, изоляторов, лагерей и шарашек, Адамсон, когда-то нехрипнущий легко бударажимый оратор, стал бесчувственен, стал чужд страданиям своим и окружающих.

Разыгранный сейчас в комнате судебный процесс был посвящен судьбе пленников, то есть, советских солдат, сперва бездарно отданных генералами в плен, потом равнодушно покинутых Сталиным на растерзание голоду. Пленники — это был п о т о к сорок пятого — сорок шестого годов. Адамсон теоретически мог признать и признавал трагичность их судьбы, но все же это был только поток, один из многих и не самых замечательных. Пленники любопытны были тем, что повидали многие заморские страны (« живые лжесвидетели », как шутил Потапов), но все же поток их был сер, это были беспомощные жертвы войны, а не люди, которые бы добровольно избрали политическую борьбу путем своей жизни.

Всякий поток зэков в НКВД, как и всякое поколение людей на Земле, имеет свою историю, своих героев.

И трудно одному поколению понять другое.

Адамсону казалось, что э т и люди не шли ни в какое сравнение с т е м и — с теми исполинами, кто, как он сам, в конце двадцатых годов добровольно избрали енисейскую ссылку вместо того, чтоб отречься от своих слов, сказанных на партсобрании, и остаться в благополучии — такой выбор давался каждому из них. Т е люди не могли снести искажения и опозорения революции и готовы были отдать себя для очищения ее. Но э т о « племя молодое незнакомое » через тридцать лет после Октября входило в камеру и с мужицким матом

запросто повторяло то самое, за что полагалось расстреливать еще в гражданскую войну.

И потому Адамсон, ни к кому лично из пленников не враждебный и ни с кем отдельно из них не спорящий, в общем не принимал этой породы.

Да и вообще Адамсон (как он и сам себя уверял) давно переболел всякими арестантскими спорами, исповедями и рассказами о виденных событиях. Любопытство к тому, что говорят в другом углу камеры, если и испытывал он в молодости, то потерял давно. Жить производством он тоже давно отгорел. Жить жизнью семьи он не мог, потому что был иногородний, свиданий ему никогда не давали, а подцензурные письма, приходившие на шарашку, были еще писавшими их невольно обеднены и высушены от соков живого бытия. Не задерживал он своего внимания и на газетах — смысл всякой газеты становился ему ясен, едва он пробегал заголовки. Музыкальные передачи он мог слушать в день не более часа, а передач, состоящих из слов, его нервы вовсе не выносили, как и лживых книг. И хотя внутри себя, где-то там, за семью перегородками, он сохранил не только живой, но самый болезненный интерес к мировым судьбам и к судьбе того учения, которому заклал свою жизнь, — наружно он воспитал себя в полном пренебрежении к окружающим. Так вовремя не дострелянный, вовремя не дозарезанный, вовремя не дотравленный Адамсон любил теперь из книг не те, которые жгли правдой, а те, которые забавляли и помогали коротать его нескончаемые тюремные сроки.

... Да, в енисейской тайге в двадцать девятом году они не читали « Монте-Кристо » ... На Ангару, в далекое глухое село Дощаны, куда вел через тайгу трехсотверстный санный путь, они из мест, еще на сотню верст глуше, собирались под видом встречи Нового Года на конференцию ссыльных с обсуждением международного и внутреннего положения страны. Морозы стояли за пятьдесят. Железная « буржуйка » из угла никак не могла обогреть чересчур просторной сибирской избы с разрушенной русской печью (за то изба и была отдана ссыльным). Стены избы промерзали насквозь. Среди ночной тишины время от времени бревна сруба издавали гулкий треск — как ружейный выстрел.

Докладом о политике партии в деревне конференцию открыл Сатаневич. Он снял шапку, освободив колышащийся черный чуб, но так и остался в полушубке с вечно торчащей из кармана книжечкой английских идиом (« врага надо знать » — объяснял он). Сатаневич вообще играл под лидера.

Расстреляли его потом, кажется, в Воркуте во время забастовки. Но, увы, чем страстнее обсуждались его и другие доклады, тем больше расстраивалось единство утлой кучки ссыльных: выявлялось мнений не два и не три, а столько, сколько людей. Под утро, уставши, официальную часть конференции свернули, не придя к резолюции.

Потом ели и пили из казенной посуды, для убранства обложенной еловыми ветками по грубым выдолбинам и рваным волокнам стола. Оттаявшие ветки пахли снегом и смолой, кололи руки. Пили самогон. Поднимая тосты, клялись, что из присутствующих никто никогда не подпишет капитулянтского отречения.

Потом пели славные революционные песни: « Варшавянку », « Над миром наше знамя реет », « Черного барона ». Еще спорили о чем попало, по мелочам.

Роза, работница с харьковской табачной фабрики, сидела на перине (с Украины привезла ее в Сибирь и очень этим гордилась), курила папиросу за папиросой и презрительно встряхивала стриженными кудрями: « Терпеть не могу интеллигенции ! Она отвратительна мне во всех своих « тонкостях » и « сложностях ». Человеческая психология гораздо проще, чем ее хотели изобразить дореволюционные писатели. Наша задача — освободить человечество от духовной перегрузки ! »

И как-то дошли до женских украшений. Один из ссыльных — Патрушев, бывший одесский прокурор, к которому как раз незадолго приехала невеста из России, вызывающе воскликнул: « Зачем вы обедняете будущее общество ? Почему бы мне не мечтать о том времени, когда каждая девушка сможет носить жемчуга ? когда каждый мужчина сможет украсить диадемой голову своей избранницы » ?

Какой поднялся шум ! С какой яростью захлестали цитатами из Маркса и Плеханова, из Кампанеллы и Фейербаха.

Будущее общество ! . . О нем говорили так легко ! . .

Взошло солнце Нового Девятьсот Тридцатого года, и все вышли полюбоваться. Было ядреное морозное утро со столбами розового дыма прямо вверх, в розовое небо. По белой просторной Ангаре к обсаженной елками проруби бабы гнали скот на водопой. Мужиков и лошадей не было — их угнали на лесозаготовки.

И прошло два десятилетия. Отцвела и опала злободневность тогдашних тостов. Расстреляли и тех, кто был тверд до конца. Расстреляли и тех, кто капитулировал. И только в одинокой голове Адамсона, уцелевшей под оранжерейным

колпаком шарашек, выросло никому не видимым деревом понимание и память тех лет...

Так глаза Адамсона смотрели в книгу и не читали.

И тут на край его койки присел Нержин.

Нержин и Адамсон познакомились года три назад в бутырской камере — той же, где сидел и Потапов. Адамсон кончал тогда свою первую тюремную д е с я т к у, поражал однокамерников своим ледяным арестантским авторитетом, укоренелым скепсисом в тюремных делах, сам же скрыто жил безумной надеждой на близкий возврат к семье.

Разъехались. Адамсона вскоре-таки по недосмотру освободили — но ровно на столько времени, чтобы семья стронулась с места и переехала в Стерлитамак, где милиция согласилась прописать Адамсона. И как только семья переехала, — его посадили, учинили ему единственный допрос — действительно ли это он был в ссылке с 29-го по 34-й год, а с тех пор сидел в тюрьме. И установив, что да, он уже полностью отсидел, отбыл и даже пересидел все приговоренное, — Особое Совещание присудило ему за это еще десять лет. Руководство же шарашек по большой всесоюзной арестантской картотеке узнало о посадке своего старого работника и охотно в ы д е р н у л о его вновь на шарашки. Адамсон был привезен в Маврино и здесь, как и повсюду в арестантском мире, сразу встретил своих старых знакомых, в том числе Нержина и Потапова. И когда, встретясь, они стояли и курили на лестнице, Адамсону казалось, что он не возвращался на год на волю, что он не видел своей семьи, не наградил жену за это время еще дочерью, что это был сон, безжалостный к арестантскому сердцу, единственная же устойчивая в мире реальность — тюрьма.

Теперь Нержин подсел, чтобы пригласить Адамсона к именинному столу — решено было праздновать день рождения. Адамсон запоздало поздравил Нержина и осведомился, косясь из-под очков, — кто будет. От сознания, что придется натягивать комбинезон, разрушая так чудесно, последовательно, в одном белье проведенное воскресенье, что нужно бросать забавную книгу и идти на какие-то именины, Адамсон не испытывал ни малейшего удовольствия. Главное, он не надеялся, что приятно проведет там время, а почти был уверен, что вспыхнет политический спор, и будет он, как всегда, бесплоден, необогащающ, но в него нельзя будет не ввязаться, а ввязаться тоже нельзя, потому что свои глубоко-хранимые, столько раз оскорбленные мысли так же невозможно открыть « молодым » арестантам, как показать им свою жену обнаженной.

Нержин перечислил, кто будет. Рубин один был на шарашке по-настоящему близок Адамсону, и еще предстояло отчитать его за сегодняшний не достойный истинного коммуниста фарс. Напротив, Сологдина и Прянчикова Адамсон не любил.

Но делать было нечего, Адамсон согласился. Ему было объявлено, что пиршество начнется между кроватями Потапова и Прянчикова через полчаса, как только Андреич кончит приготовление крема.

Между разговором Нержин обнаружил, что читает Адамсон, и сказал:

— Мне в тюрьме тоже пришлось как-то перечесть « Монте-Кристо », не до конца. Я обратил внимание, что хотя Дюма старается создать ощущение жути, он рисует в замке Иф совершенно патриархальную тюрьму. Не говоря уже о нарушении таких милых подробностей, как ежедневный вынос параши из камеры, о чем Дюма по вольняшечьему недомыслию умалчивает, — разберите, почему Дантес смог убежать ? Потому что у них годами не бывало в камерах ш м о н о в, тогда как их полагается производить каждонедельно, и вот результат: подкоп не был обнаружен. Затем у них не меняли приставленных вертухаев — их же следует, как мы знаем из лучшего опыта, менять каждые два часа, дабы один надзиратель искал упущений у другого. А в замке Иф по суткам в камеру не входят и не заглядывают. Даже глазков у них в камерах не было — так Иф был не тюрьма, а просто морской курорт. В камере считалось возможным оставить металлическую кастрюлю — и Дантес долбал ею пол. Наконец, умершего доверчиво зашили в мешок, не прожегши его тело в морге каленым железом и не проколов на вахте штыком. Дюма следовало бы сгущать не мрачность, а элементарную методичность.

Нержин никогда не читал книг просто для развлечения. Он искал в книгах союзников или врагов, по каждой книге выносил четко разработанный приговор и любил навязывать его другим.

Адамсон знал за ним эту тяжелую привычку. Он выслушал его, не поднимая головы с подушки, покойно глядя через квадратные очки.

— Так я приду, — ответил он и, улегшись поудобнее, продолжал чтение.

52

АРЕСТАНТСКИЕ МЕЛОЧИ

Нержин пошел помогать Потапову готовить крем. За голодные годы немецкого плена и советских тюрем Потапов установил, что жевательный процесс является в нашей жизни не только не презренным, не постыдным, но одним из самых усладительных, в которых нам и открывается сущность бытия.

« Люблю я час
Определять обедом, чаем
И ужином »,

— цитировал этот недюжинный в России высоковольтник, отдавший всю жизнь трансформаторам в тысячи ква, ква и ква (кило-вольт-ампер).

А так как Потапов был из тех инженеров, у которых руки не отстают от головы, то он быстро стал изрядным поваром: в Kriegsgefangenenlager'е он выпекал оранжевый торт из одной картофельной шелухи, а на шарашках сосредоточился и усовершенствовался по сладостям.

Сейчас он хлопотал над двумя составленными тумбочками в полутемном проходе между своей кроватью и кроватью Прянчикова — приятный полумрак создавался от того, что верхние матрацы загораживали свет ламп. Из-за полукруглости комнаты (кровати стояли по радиусам) проход был вначале узок, а к окну расширялся. Огромный, в четыре с половиной кирпича толщиной, подоконник тоже весь использовался Потаповым, всюду были расставлены консервные банки, пластмассовые коробочки, миски. Потапов священнодействовал, сбивая из сгущенного какао и двух яиц (часть даров принес и всучил Рубин, постоянно получавший из дома передачи и всегда делившийся ими) — нечто, чему не было названия на человеческом языке. Он забурчал на загулявшего Нержина и велел ему изобрести недостающие рюмки (одна была — колпачок от термоса, две — лабораторные химические стаканчики, а две Потапов склеил из промасленной бумаги, вроде тех, в которые кладут на воле мороженое). Еще на два

бокала Нержин предложил повернуть бритвенные стаканчики и взялся честно отмыть их горячей водой.

В полукруглой комнате установился безмятежный воскресный отдых. Одни присели поболтать на кровати к своим лежащим товарищам, другие читали и по соседству перебрасывались замечаниями, иные лежали молча, бездейственно, положив руки под затылок и установив немигающий взгляд в белый потолок.

Все смешивалось в одну общую разноголосицу.

Вакуумщик Земеля нежился: на верхней полке он лежал разобранный до кальсон (наверху было жарковато), гладил мохнатую грудь и, улыбаясь своей неизменной беззлобной улыбкой, повествовал Мордвину Мишке через два воздушных пролета.

— Если хочешь знать — все началось с полкопейки.

— Почему с полкопейки ?

— Раньше, году в двадцать шестом, в двадцать восьмом, — ты маленький был, — над каждой кассой висела табличка: « Требуйте сдачу полкопейки ! » И монетка такая была — полкопейки. Кассирши ее без слова отдавали. Вообще, на дворе был НЭП, все равно, что мирное время.

— Войны не было ?

— Да не войны, вот чушка ! Это до всех войн еще было, значит, — м и р н о е в р е м я. Да... В учреждениях при НЭПе шесть часов работали, не как сейчас. И ничего, справлялись. А задержат тебя на пятнадцать минут — уже сверхурочные выписывают. И вот, что, ты думаешь, сперва исчезло ? Полкопейки ! С них и началось. Потом — медь исчезла. Потом, в тридцатом году, — серебро, не стало мелких совсем. Не дают сдачу, хоть тресни. С тех пор никак и не наладится. Мелочи нет — стали на рубли считать. Нищий-то уж не копейку Христа ради просит, а требует — « Граждане, дайте рубль ! » — В учреждении как зарплату получать, так сколько там тебе в ведомости копеек указано — даже не спрашивай, смеются: мелочник ! А сами — дураки ! Полкопейки — это уважение к человеку, а шестьдесят копеек с рубля не сдают — это значит, накакать тебе на голову. За полкопейки не постояли — вот полжизни и потеряли.

В другой стороне, тоже наверху, один арестант отвлекся от книжки и сказал соседу:

— А дурное было царское правительство ! Слышь, — Сашенька, революционерка, восемь суток голодала, чтобы начальник тюрьмы перед ней извинился — и он, остолоп,

извинился. А ну, пойди потребуй, чтоб начальник Красной Пресни извинился !

— У нас бы ее, дуру, через кишку на третий день накормили, да еще второй срок бы наметали за провокацию. Где это ты вычитал ?

— У Горького.

Лежавший неподалеку Двоетесов встрепенулся:

— Кто тут Горького читает ? — грозным басом спросил он.

— Я.

— На кой ?

— А вот, например, фактические подробности о нижегородской тюрьме: можно приставить лестницу к стене и перелезать, никто не задерживает, представляешь ? А у надзирателей, свидетельствует автор, револьверы поржавели, они ими только гвозди в стенку вколачивают. Весьма поучительно узнать.

Внизу, под ними, шел извечный камерный спор: к о г д а л у ч ш е с а д и т ь с я. Постановка вопроса уже фатально предполагала, что тюрьмы не избежать никому. (В тюрьмах вообще склонны преувеличивать число заключенных, и когда на самом деле сидело всего лишь двенадцать-пятнадцать миллионов человек, зэки были уверены, что их двадцать и даже тридцать миллионов. Зэки были уверены, что на воле почти не осталось мужчин. « Когда лучше садиться » — имелось ввиду: в молодости или в преклонные годы ? Одни (обычно молодые) — жизнерадостно доказывают в таких случаях, что лучше сесть в молодые годы: здесь успеваешь понять, что значит жить, что в жизни дорого, а что — дерьмо, и уж лет с тридцати пяти, о т б у х а в д е с я т к у, человек строит жизнь на разумных основаниях. Человек же, дескать, садящийся в старости, только рвет на себе волосы, что жил не так, что прожитая жизнь — цепь ошибок, а исправить их уже нельзя. Другие (обычно — пожилые) в таких случаях не менее жизнеутверждающе доказывают напротив, что садящийся к старости переходит как бы на тихую пенсию или в монастырь, что в лучшие свои годы он брал от жизни все (в воспоминаниях зэков это « все » суживается до обладания женским телом, хорошими костюмами, сытной едой и вином), а в лагере со старика много шкур не сдерут. Молодого же, дескать, здесь измочалят и искалечат так, что потом он « и на бабу не захочет ».

Так спорили сегодня в полукруглой комнате, и так всегда спорят арестанты, кто — утешая себя, кто — растравляя, но истина никак не вышелушивалась из их аргументов и живых

примеров. В воскресенье вечером получалось, что с а д и т ь с я — всегда хорошо, а когда вставали в понедельник утром — ясно было, что с а д и т ь с я — всегда плохо.

А ведь и это тоже неверно...

Спор «когда лучше садиться» принадлежал, однако, к тем, которые не раздражают спорщиков, а умиряют их, осеняют философской грустью, этот спор никогда и нигде не приводил ко взрывам.

Томас Гоббс как-то сказал, что за истину «сумма углов треугольника равна ста восьмидесяти градусам» лилась бы кровь лишь в том случае, если бы она задевала чьи-либо интересы.

Но Гоббс не знал арестантского характера.

На крайней койке у дверей шел как раз тот спор, который мог привести к мордобою или кровопролитию, хотя он не задевал ничьих интересов: к электрику пришел токарь, чтобы скоротать вечерок с приятелем, речь у них зашла почему-то о Сестрорецке, а потом — о печах, которыми отапливаются сестрорецкие дома. Токарь сам жил в Сестрорецке одну зиму и хорошо помнил, какие там печи. Электрик никогда сам там не был, но шурин его был печником, первоклассным печником, и выкладывал печи именно в Сестрорецке, и он рассказывал как раз все обратное тому, что помнил токарь. Спор их, начавшийся с простого пререкания, уже дошел до дрожи голоса, до личных оскорблений, он уже громкостью затоплял все разговоры в комнате — спорщики переживали обидное бессилие доказать несомненность своей правоты, они тщетно пытались искать третейского суда у окружающих — и вдруг вспомнили, что дворник Спиридон хорошо разбирается в печах и во всяком случае скажет другому из них, что таких несусветных печей не то, что в Сестрорецке, а и вообще нигде никогда не бывает. И они быстрым шагом, к удовольствию всей комнаты, ушли к дворнику.

Но в горячности они забыли закрыть за собой дверь — и из коридора ворвался в комнату другой, не менее надрывный, спор — когда правильно встречать вторую половину XX столетия — 1 января 1950 года или 1 января 1951 года? Спор уже, видно, начался давно и уперся в вопрос: 25 декабря какого именно года родился или условно родился Христос.

Дверь прихлопнули. Перестала распухать от шума голова, в комнате стало тихо и слышно, как Хоробров рассказывал наверх лысому конструктору:

— Когда наши будут начинать первый полет на Луну, то перед стартом, около ракеты будет, конечно, митинг. Экипаж

ракеты возьмет на себя обязательство: экономить горючее, перекрыть в полете максимальную космическую скорость, не останавливать межпланетного корабля для ремонта в пути, а на Луне совершить посадку только на «хорошо» и на «отлично». Из трех членов экипажа один будет политрук. В пути он будет непрерывно вести среди пилота и штурмана массово-разъяснительную работу о пользе космических рейсов и требовать заметок в стенгазету.

Это услышал Прянчиков, который с полотенцем и мылом пробегал по комнате. Он балетным движением подскочил к Хороброву и, таинственно хмурясь, сказал:

— Илья Терентьич! Я могу вас успокоить. Будет не так.

— А как?

Прячиков, как в детективном фильме, приложил палец к губам:

— Первыми на Луну полетят — американцы!

Залился колокольчатым детским смехом.

И убежал.

Гравер сидел на кровати у Сологдина. Они вели затягивающий разговор о женщинах. Гравер был сорока лет, но при еще молодом лице почти совсем седой. Это очень красило его.

Сегодня гравер находился на взлете. Правда, утром он сделал ошибку: съел свою новеллу, скатанную в комок, хотя, оказалось, мог пронести ее через шмон и мог передать жене. Но зато на свидании он узнал, что за эти месяцы жена показала его прошлые новеллы некоторым доверенным людям, и все они — в восторге.. Конечно, похвалы знакомых и родных могли быть преувеличенными и отчасти несправедливыми, но заклятье! — где ж было добыть справедливые? Худо ли, хорошо ли, но гравер сохранял для вечности правду — крик души о том, что сделал Сталин с миллионами русских п л е н н и к о в. И сейчас он был горд, рад, наполнен этим и твердо решил продолжать с новеллами дальше! Да и само свидание сегодняшнее прошло у него удачно: преданная ему жена ждала его, хлопотала об его освобождении, скоро должны были выявиться успешные результаты хлопот.

И, ища выход своему торжеству, он вел длинный рассказ этому неглупому, но совершенно среднему человеку Сологдину, у которого ни впереди, ни позади ничего не было столь яркого, как у него.

Сологдин лежал на спине в растяжку с опрокинутой пустой книжонкой на груди и отпускал рассказчику немного сверкания своего взгляда. С чуть курчавящейся белокурой

бородкой, ясными глазами, высоким лбом, прямыми чертами древне-русского витязя, Сологдин был неестественно, до неприличия хорош собой.

Сегодня он находился на взлете. В груди его пела радость победы над абсолютным шифратором. Освобождение его было теперь вопросом одного года (...то есть, б ы л о б ы, если бы он решился дать шифратор Антону...). Кружительная карьера могла ожидать его вслед за освобождением. Вдобавок, тело его сегодня не томилось по женщине, как всегда, а было успокоено, как бы вызорено от мути. Хотя он ставил себе штрафные палочки на розовом листе, хотя он отталкивал Ларису, но сейчас, вечером, растянувшись на койке, Сологдин сознавал, что именно этого он и хотел от нее.

И, ища выход с в о е м у торжеству, он, забавы ради, лениво скользил по извивам чьей-то чужой безразличной для него истории, рассказываемой этим неглупым, но совершенно средним человеком, у которого ни впереди, ни позади не было ничего столь яркого, как у Сологдина.

Сологдин не уставал всем и каждому повторять о себе, что у него слабая память, ограниченные способности и полное отсутствие воли. Но что он на самом деле думал о себе — можно было догадаться не по тому, как он говорил, а по тому, как он людей слушал: он слушал их так, будто тем самым покровительствовал им и лишь из вежливости старался не подать виду.

Сперва гравер рассказывал о двух своих женах в России, потом стал вспоминать жизнь в Германии и прелестных немочек, с которыми он был там близок. Он провел новое для Сологдина сравнение между женщинами русскими и немецкими. Он говорил, что, пожив с теми и другими, предпочитает немочек; что русские женщины слишком самостоятельны, независимы, слишком пристальны в любви — своими недремлющими глазами они все время изучают возлюбленного, узнают его слабые стороны, то видят в нем недостаточное благородство, то недостаточное мужество, — русскую возлюбенную все время ощущаешь как равную тебе; наоборот, немка в руках любимого гнется как тростиночка, ее возлюбленный для нее — бог, он — первый и лучший на земле, вся она отдается на его милость, она не смеет мечтать ни о чем, кроме как угодить ему, — и от этого с немками гравер чувствовал себя более мужчиной, более властелином.

Рубин имел неосторожность выйти в коридор покурить. Но, как каждый прохожий цепляет горох в поле, так все задирали его на шарашке. Отплевавшись от бесполезного спора

в коридоре, он пересекал комнату, спеша к своим книгам, но кто-то с нижней койки ухватил его за брюки и спросил:

— Лев Григорьич ! А правда, что в Китае письма доносчиков доходят без марок ?

Рубин вырвался, пошел дальше. Но инженер-энергетик, свесившись с верхней койки, поймал Рубина за воротник комбинезона и стал напористо втолковывать ему окончание их прежнего спора:

— Лев Григорьич ! Надо так перестроить совесть человечества, чтобы люди гордились только трудом собственных рук и стыдились бы быть надсмотрщиками, указчиками, трепачами... Пусть выход девушки замуж за чиновника станет стыдом всей семьи — вот при таком социализме я согласился бы жить !

Рубин освободил воротник, прорвался к своей постели и лег на живот, снова к словарям.

53

ЛИЦЕЙСКИЙ СТОЛ

Семь человек расселись за именинным столом, состоявшим из трех составленных вместе тумбочек неодинаковой высоты и застеленных куском ярко-зеленой трофейной бумаги. Сологдин и Рубин сели на кровать к Потапову, Адамсон и Кондрашёв — к Прянчикову, а именинник уселся у торца стола, на широком подоконнике. Наверху над ними дремал Земеля, остальные соседи были не рядом. Купе между двухэтажными кроватями было как бы отъединено от комнаты.

В середине стола в пластмассовой миске разложен был Надин хворост — не виданное на шарашке изделие. Для семерых мужских ртов его казалось до смешного мало. Потом было печенье просто и печенье с намазанным на него кремом и потому называвшееся пирожным. Еще была сливочная тянучка, полученная кипячением нераспечатанной банки сгущенного молока. А за спиной Нержина в темной литровой банке таилось то привлекательное нечто, для чего предназначались бокалы. Это была толика спирта, вымененная у зэков химической лаборатории на кусок «классного» гетинакса. Спирт был разбавлен водой в пропорции один к четырем, а потом закрашен сгущенным какао. Это была коричневатая малоалкогольная жидкость, которая, однако, с нетерпением ожидалась.

— А что, господа? — картинно откинувшись и даже в полутьме купе блестя глазами, призвал Сологдин. — Давайте вспомним, кто из нас и когда сидел в последний раз за пиршественным столом.

— Я — вчера, с немцами, — буркнул Рубин, не любя пафоса.

Что Сологдин называл всегда общество г о с п о д а м и, Рубин принимал как результат его ушибленности двенадцатью годами тюрьмы. От той же ушибленности и понятия Сологдина были извращенные во многом. Рубин старался всегда это помнить и не вспыхивать, хотя слушать приходилось вещи диковатые.

— Не-ет, — настаивал Сологдин. — Я имею в виду н а с т о я щ и й стол, господа ! Его признаки — тяжелая бледно-цветная скатерть, вино в графинах из хрусталя, ну, и нарядные женщины, конечно !

Ему хотелось посмаковать и отодвинуть начало пира, но Потапов ревнивым проверяющим взглядом хозяйки дома окинул стол и гостей и в своей ворчливой манере перебил:

— Вы ж понимаете, хлопцы, пока

Гроза полуночных дозоров

не накрыл нас с этим зельем, надо переходить к официальной части.

И дал знак Нержину разливать.

Все же, пока вино разливалось, молчали, и каждый невольно что-то вспомнил.

— Давно, — вздохнул Нержин.

— Вообще, не при-по-ми-на-ю ! — отряхнулся Потапов. До войны в круговоротном бешенстве работы он если и вспоминал смутно чью-то один раз женитьбу, — не мог точно сказать, была ли это женитьба его собственная или то было в гостях.

— Нет, почему же ? — оживился Прянчиков. — А в э к п л е з и р ! Я вам сейчас расскажу. В сорок пятом году в Париже я . . .

— Подождите, Валентуля — придержал Потапов, — Итак . . . ?

— За виновника нашего сборища ! — громче, чем нужно, произнес Кондрашев и выпрямился, хотя сидел без того прямо. — Да будет . . .

Но гости еще не потянулись к бокалам, как Нержин привстал — у него было чуть простора у окна — и предупредил их тихо:

— Друзья мои ! Простите, я нарушу традицию ! Я . . .

Он перевел дыхание, потому что заволновался. Семь теплот, проступившие в семи парах глаз, что-то спаяли внутри него.

— Будем справедливы ! Не все так черно в нашей жизни ! Вот именно этого вида счастья — мужского вольного лицейского стола, обмена свободными мыслями без боязни, без укрыва — этого счастья ведь не было у нас на воле ?

— Да, собственно, самой-то в о л и частенько не было, — усмехнулся Адамсон. Если не считать детства, он-таки провел на воле меньшую часть жизни.

— Друзья ! — увлекся Нержин. — Мне тридцать один год. За эти годы жизнь меня уже и баловала, и низвергала. И по закону синусоидальности будут у меня, может быть, и еще

всплески пустого успеха, ложного величия. Но клянусь вам, я никогда не забуду того истинного величия человека, которое узнал в тюрьме ! Я горжусь, что мой сегодняшний скромный юбилей собрал такое отобранное общество. Не будем стыдиться возвышенного тона. Поднимем тост за дружбу, расцветающую в тюремных склепах !

Бумажные стаканчики беззвучно чокались со стеклянными и пластмассовыми. Потапов виновато усмехнулся, поправил простенькие свои очки и, выделяя слоги, сказал:

Ви-тий-ством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Ни-ки-ты,
У осторожного И-льи.

Коричневое вино пили медленно, стараясь доведаться до аромата.

— А градус — есть ! — одобрил Рубин. — Браво, Андреич !

— Градус есть, — подтвердил и Сологдин. Он был сегодня в настроении все хвалить.

Нержин засмеялся.

— Редчайший случай, когда Лев и Митя сходятся во мнениях ! Не упомню другого.

— Нет, почему, Глебушка ? А помнишь, как-то на Новый год мы со Львом сошлись, что жене простить измену нельзя, а мужу можно ?

Адамсон устало усмехнулся:

— Увы, кто ж из мужчин на этом не сойдется ?

— А вот этот экземпляр, — Рубин показал на Нержина, — утверждал тогда, что можно простить и женщине, что разницы здесь нет.

— Вы говорили так ? — быстро спросил Кондрашев.

— Ой, пижон ! — звонко рассмеялся Прянчиков. — Как же можно сравнивать ?

— Само устройство тела и способ соединения доказывает, что разница здесь огромная ! — воскликнул Сологдин.

— Не вините меня, друзья, — оправдывался Нержин, — ведь когда я рос, над нашими головами трепыхались кумачи с золотыми надписями Равенство ! С тех пор, конечно, жизнь достаточно била дурня по голове, но тогда казалось: если равны нации, равны люди, то ведь и женщина с мужчиной — во всем ?

— Вас никто не винит ! — так же быстро сказал Кондрашев. — Не спешите сдаваться !

— Этот бред тебе можно простить только за твой юный возраст, — присудил Сологдин. (Он был на пять лет старше).

— Теоретически Глебка прав, — стесненно сказал Рубин. — Я тоже готов сломать сто тысяч копий за равенство мужчины и женщины, — но обнять свою жену после того, как ее обнимал другой ? — бр-р ! биологически не могу !

— Да господа, просто смешно обсуждать ! — выкрикнул Прянчиков, но ему, как всегда, не дали договорить.

— Лев Григорьич, есть простой выход, — твердо возразил Потапов. — Не обнимайте вы сами никого, кроме вашей жены !

— Ну, знаете . . . — беспомощно развел Рубин руками, топя широкую улыбку в пиратской бороде.

Шумно открылась дверь, кто-то вошел. Потапов и Адамсон оглянулись. Нет, это был не надзиратель.

— А Карфаген должен быть уничтожен ? — кивнул Адамсон на литровую банку.

— И чем быстрей, тем лучше. Кому охота сидеть в карцере ? Викентьич, разливайте !

Нержин разлил остаток, скрупулезно соблюдая равенство объемов.

— Ну, на этот раз вы разрешите выпить за именинника ? — спросил Адамсон.

— Нет, братцы. Право именинника я использую только, чтобы нарушать традицию. Я . . . видел сегодня жену. И увидел в ней . . . всех наших жен, измученных, запуганных, затравленных. Мы терпим потому, что нам деться некуда, — а они ? Выпьем — за них, приковавших себя к . . .

— Да ! Какой святой подвиг ! — воскликнул Кондрашев.

Выпили.

И немного помолчали.

— А снег-то ! — заметил Адамсон.

Все оглянулись. За спиною Нержина, за отуманенными стеклами, не было видно самого снега, но мелькало много черных хлопьев — теней от снежинок, отбрасываемых на тюрьму фонарями и прожекторами зоны.

Где-то за завесой этого щедрого снегопада была сейчас и Надя Нержина.

— Даже снег нам суждено видеть не белым, а черным ! — воскликнул Кондрашев.

— За дружбу выпили. За любовь выпили. Бессмертно и хорошо, — похвалил Рубин.

— В любви-то я никогда не сомневался. Но, сказать по

правде, до фронта и до тюрьмы не верил я в дружбу, особенно такую, когда, знаете, ... « жизнь свою за други своя ». Как-то в обычной жизни — семья есть, а дружбе нет места, а ?

— Это распространенное мнение, — ответил Адамсон. — Ведь вот уже лет сто пятьдесят у нас в России популярна песня « Среди долины ровныя », ее теперь часто заказывают по радио. А вслушайтесь в ее текст — ведь это гнусное скуление, жалоба мелкой души:

« Все други, все приятели
До черного лишь дня ».

— Возмутительно ! ! — отпрянул художник. — Как можно о д и н д е н ь прожить с такими мыслями ? Повеситься надо !

— Верно было бы сказать наоборот: только с черного дня и начинаются д р у г и .

— Кто ж это написал ?

— Мерзляков.

— И фамильица-то ! Левка, кто такой Мерзляков ?

— Поэт, лет на двадцать старше Пушкина.

— Его биографию ты, конечно, знаешь ?

— Профессор московского университета. Перевел « Освобожденный Иерусалим ».

— Скажи, чего Левка не знает ? Только высшей математики.

— И низшей тоже.

— Но обязательно говорит: « вынесем за скобки », « эти недостатки в квадрате » ...

— Господа ! Я должен вам привести пример, что Мерзляков прав ! — захлебываясь и торопясь, как ребенок за столом у взрослых, вступил Прянчиков. Он ни в чем не был ниже своих собеседников, соображал мгновенно, был остроумен и привлекал открытостью. Но не было в нем мужской выдержки, внешнего достоинства, от этого он выглядел на пятнадцать лет моложе, и с ним обращались как с подростком. — Ведь это же проверено: нас предает именно тот, кто с нами ест из одного котелка ! У меня был близкий друг, с которым мы вместе бежали из гитлеровского концлагеря, вместе скрывались от ищеек, и представьте — именно он и предал меня !

— Какое злодейство ! — воскликнул художник.

— А дело было так. Я, откровенно говоря, не хотел возвращаться. Я уже работал в фирме, деньги у меня были, девочки там ...

Почти все уже слышали эту историю Прянчикова. Рубину было ясно, что веселый симпатичный Валентин Прянчиков, с

которым на шарашке вполне можно было дружить, был в Европе в сорок пятом году фигурой объективно реакционной, и то, что он называл предательством со стороны друга (то есть, что друг помог Прянчикову против силы вернуться на родину), было не предательством, а патриотическим долгом.

Адамсон дремал за неподвижными очками. Так он и знал, что будут эти пустые разговоры. Но ведь как-то надо было всю эту ораву загрести назад.

Рубин и Нержин, в контрразведках, в тюрьмах первого послевоенного года так вываривщиеся в потоке п л е н н и к о в, текших из Европы, будто и сами четыре года протаскались в плену, — уже тоже не интересовались репатриантскими рассказами. Тем дружнее на своем конце стола они натолкнули Кондрашева на разговор об искусстве. Вообще-то Рубин считал Кондрашева художником не очень значительным, человеком не очень серьезным, утверждения его — слишком внеэкономическими и внеисторическими, но в разговорах с ним, сам того не замечая, черпал живой водицы.

Искусство для Кондрашева не было род занятий или раздел знаний. Искусство было для него — единственный способ жить. Все, что было вокруг него — пейзаж, предмет, человеческий характер или окраска, — звучало; звучало в одной из двадцати четырех тональностей, и без колебаний Кондрашев называл эту тональность (Рубину был присвоен «до минор»). Все, что было вокруг него — человеческий голос, минутное настроение, роман или та же тональность — имели цвет, и без колебаний Кондрашев называл этот цвет (фа-диез-мажор была синяя с золотом).

Одного состояния никогда не знал Кондрашев — равнодушия. Зато известны были крайние пристрастия и противострастия его, самые непримиримые суждения. Он был поклонник Рембрандта и ниспровергатель Рафаэля. Почитатель Валентина Серова и лютый враг передвижников. Ничего не умел он воспринимать наполовину, а только безгранично восхищаться и безгранично негодовать. Он слышать не хотел о Чехове, от Чайковского отталкивался, сотрясаясь («Он душит меня! Он отнимает надежду и жизнь!»), — но с хоралами Баха, но с бетховенскими концертами он так сроднен был, будто сам их и занес первый на ноты.

Сейчас Кондрашева втянули в разговор о том, надо ли в картинах следовать природе или нет.

— Например, вы хотите изобразить окно, открытое летним утром в сад, — отвечал Кондрашёв. Голос его был молод, в

волнении переливался и, если закрыть глаза, можно было подумать, что спорит юноша. — Если, честно следуя природе, вы изобразите все так, как видите, — разве это будет все ? А пение птиц ? А свежесть утра ? А эта невидимая, но обливающая вас чистота ? Ведь вы-то, рисуя, воспринимаете их, они входят в ваше ощущение летнего утра — как же их сохранить и в картине ? как их не выбросить для зрителя ? Очевидно, надо их в о с п о л н и т ь ! — композицией, цветом, ничего другого в вашем распоряжении нет.

— Значит, не просто копировать ?

— Конечно, нет ! Да вообще, — начинал увлекаться Кондрашев, — всякий пейзаж (и всякий портрет) начинаешь с того, что любуешься натурой и думаешь: ах, как хорошо ! ах, как здорово ! ах, если бы удалось сделать так, как оно есть ! Но углубляешься в работу и вдруг замечаешь: позвольте ! позвольте ! Да ведь там, в натуре, просто нелепость какая-то, чушь, полное несообразие ! — вот в этом месте, и еще вот в этом ! А д о л ж н о б ы т ь вот как ! вот как ! ! И так пишешь ! — Задорно и победно Кондрашев смотрел на собеседников.

— Но, батенька, « должно быть » — это опаснейший путь ! — запротестовал Рубин. — Вы станете делать из живых людей ангелов и дьяволов, ставить их на котурны. Все-таки, если пишешь портрет Андрей Андреича Потапова, то это должен быть Потапов.

— А что значит — показать таким, какой он е с т ь ? — бунтовал художник. — Внешне — да, он должен быть похож, то есть пропорции лица, разрез глаз, цвет волос. Но не опрометчиво ли считать, что вообще можно знать и видеть действительность именно такою, какова она е с т ь ? А особенно — действительность духовную ? Кто это — знает и видит ? . . . И если, глядя на портретируемого, я разгляжу в нем душевные возможности выше тех, которые он до сих пор проявил в жизни — почему мне не осмелиться изобразить их ? помочь человеку найти себя и возвыситься ?

— Да вы — стопроцентный соцреалист, слушайте ! — хлопнул в ладони Нержин. — Фома просто не знает, с кем он имеет дело !

— Почему я должен преуменьшать его душу ? ! — грозно блеснул в полутьме Кондрашев никогда не сдвигающимися с носа очками. — Я вам больше скажу: не только портретирование, но всякое общение людей, может быть всего-то и важней этой целью: то, что увидит и назовет один в другом — в этом другом вызывается к жизни ! А ?

— Одним словом, — отмахнулся Рубин, — понятия о б ъ е к т и в н о с т и для вас и здесь, как нигде, не существует!

— Да ! ! Я — необъективен и горжусь этим ! — гремел Кондрашев.

— Что-о ? ? Позвольте, как это ? — ошеломился Рубин.

— Так ! Так ! Горжусь необъективностью ! — словно наносил удары Кондрашев, и только верхняя койка над ним не давала ему простора. — А вы, Лев Григорьич, а вы ? Вы т о ж е необъективны, но с ч и т а е т е себя объективным, а это гораздо хуже ! Мое преимущество перед вами в том, что я необъективен — и знаю это ! И ставлю себе в заслугу ! И в этом мое « я » !

— Я — не объективен ? — поражался Рубин. — Даже я ? Кто же тогда объективен ?

— Да никто ! ! — ликовал художник. — Никто ! ! Никогда никто не был, и никогда никто не будет ! Даже всякий акт познания имеет эмоциональную предокраску — разве не так ? Истина, которая должна быть последним итогом долгих исследований, — разве эта сумеречная истина не носится перед нами еще д о всяких исследований ? Мы берем в руки книгу, автор кажется нам почему-то несимпатичен, — и мы еще до первой страницы предвидим, что наверное она нам не понравится — и, конечно, она нам не нравится ! Вот вы занялись сравнением ста мировых языков, вы только-только обложились словарями, вам еще на сорок лет работы — но вы уже т е п е р ь уверены, что докажете происхождение всех слов от слова « рука ». Это — объективность ?

Нержин громко расхохотался над Рубиным, очень довольный. Рубин рассмеялся тоже — как было сердиться на этого чистейшего человека !

— А в общественных науках такого не бывает ? — закинул Нержин.

— Дитя мое, — вразумил его Рубин. — Если б нельзя было заранее предвидеть результат, то вряд ли возможен был бы какой-нибудь прогресс . . .

— Прогресс, прогресс ! — проворчал Нержин. — На черта мне прогресс ? Искусство мне тем и нравится, что в нем не может быть никакого « прогресса ».

— Как это ?

— Да так ! Был в семнадцатом веке Рембрандт — и сегодня Рембрандт, пойди перепрыгни. А техника семнадцатого века кажется нам сейчас дикарской. Или какие были технические новинки в семидесятых годах прошлого века ?

Для нас это детская забава. Но в те же годы написана « Анна Каренина ». И что ты мне можешь предложить выше ?

— Ваш аргумент, Глеб Викентьич, — вмешался Адамсон, поворачиваясь к ним от Прянчикова, — можно вывернуть и иначе. Это означает, что ученые и инженеры все эти века делали большие дела — и вот продвинулись. А снобы искусства, видимо, паясничали. А прихлебатели . . .

— Продавались ! — воскликнул Сологдин почему-то с радостью.

И такие полюсы, как они с Адамсоном, поддавались объединению одной мыслью.

— Браво, браво ! — кричал и Прянчиков. — Парниши ! Пижоны ! Я ж это самое вам вчера говорил в Акустической ! (Он говорил вчера о преимуществах джаза, но сейчас ему показалось, что Адамсон выражает именно его мысли).

— Я, кажется, вас помирю ! — лукаво усмехнулся Потапов. — За это столетие был один исторически достоверный случай, когда некий инженер-электрик и некий математик, больно ощущая прорыв в отечественной беллетристике, сочинили вдвоем художественную новеллу. Увы, она осталась незаписанной — у них не было карандаша.

— Андреич ! — вскричал Нержин. — И вы могли бы ее воссоздать ?

— Да понатужась, с вашей помощью. Ведь это был в моей жизни единственный опус. Можно бы и запомнить.

— Занятно, занятно, господа ! — оживился и удобно уселся Сологдин. Очень он любил в тюрьме вот такие придумки.

— Но вы ж понимаете, как учит нас Лев Григорьич, никакое художественное произведение нельзя понять, не зная истории его создания и с о ц и а л ь н о г о з а к а з а .

— Вы делаете успехи, Андреич.

— А вы, добрые гости, доедайте пирожное, для кого готовили ! История же создания такова: летом тысяча девятьсот сорок шестого года в переполненной до безобразия камере санатории Бу-Тюр (такую надпись администрация выбила на мисках, и означала она: БУтырская ТЮРьма), мы лежали с Викентьичем рядышком сперва под нарами, потом на нарах, задыхались от недостатка воздуха, постанывали от голодухи — и не имели иных занятий, кроме бесед и наблюдений за нравами. И кто-то из нас первый сказал: — А что, если бы . . .

— Это вы, Андреич, первый сказали: а что, если бы . . . Основной образ, вошедший и в название, во всяком случае принадлежал вам.

— А что, если бы ... — сказали мы с Глебом Викентьевичем, — а что вдруг да если бы в нашу камеру ...

— Да не томите ! Как же вы назвали ?

— Ну что ж,

Не мысля гордый свет забавить,

попробуем припомнить вдвоем этот старинный рассказ, а ? — глуховато-надтреснутый голос Потапова звучал в манере завзятого чтеца запыленных фолиантов. — Название его было: « УЛЫБКА БУДДЫ ».

54

УЛЫБКА БУДДЫ

Действие нашего замечательного повествования относится к тому многославному пышущему жаром лету 194... года, когда арестанты в количестве, значительно превышающем легендарные сорок бочек, изнывали в набедренных повязках от неподвижной духоты за тускло-рыбьими намордниками всемирно известной Бутырской тюрьмы.

Что сказать об этом полезном налаженном учреждении? Родословную свою оно вело от екатерининских казарм. В жестокий век императрицы не пожалели кирпича на его крепостные стены и сводчатые арки.

« Почтенный замок был построен,
Как замки строиться должны ».

После смерти просвещенной корреспондентки Вольтера, эти гулкие помещения, где раздавался грубый топот карабинерских сапог, на долгие годы пришли в запустение. Но по мере того, как на отчизну нашу надвигался всеми желаемый прогресс, царственные потомки упомянутой властной дамы почли за благо испомещать туда равно: еретиков, колебавших православный престол, и мракобесов, сопротивляющихся прогрессу.

Мастерок каменщика и терка штукатура помогли разделить эти анфилады на сотни просторных и уютных камер, а непревзойденное искусство отечественных кузнецов выковало несгибаемые решетки на окна и трубчатые дуги кроватей, опускаемых на ночь и поднимаемых днем. Лучшие умельцы из числа наших талантливых крепостных внесли свой драгоценный вклад в бессмертную славу Бутырского замка: ткачи ткали холщевые мешки на дуги коек; водопроводчики прокладывали мудрую систему стока нечистот; жестянщики клепали вместительные четырех - и шестиведерные параши с ручками и даже с крышками; плотники прорезали в дверях кормушки; стекольщики вставляли глазки; слесари навешивали замки; а особые мастера стекло-арматурщики в сверхновое время наркома Ежова залили мутно-стекольный раствор по проволочной арматуре и воздвигли уникальные в

своем роде намордники, закрывавшие от зловредных арестантов последний видимый ими уголок тюремного двора, здание острожной церкви, тоже пригодившейся под тюрьму, и клочек синего неба.

Соображения удобства — иметь надзирателей большей частью без законченного высшего образования, подвинули опекунов Бутырского санатория к тому, чтобы в стены камер вмуровывать ровно по двадцать пять коечных дуг, создавая основы простого арифметического расчета: четыре камеры — сто голов, один коридор — двести голов.

И так долгие десятилетия процветало это целительное заведение, не вызывая ни нареканий общественности, ни жалоб арестантов. (Что не было нареканий и жалоб, мы судим по редкости их на страницах «Биржевых ведомостей» и полному отсутствию в «Известиях рабочих и крестьянских депутатов»).

Но время работало не в пользу генерал-майора, начальника Бутырской тюрьмы. Уже в первые дни войны пришлось нарушить узаконенную норму двадцать пять голов в камере, помещая туда и излишних жителей, которым не доставалось койки. Когда избыток принял грозные размеры, койки были раз и навсегда опущены, парусиновые мешки с них сняты, поверх были застланы деревянные щиты, и торжествующий генерал-майор со товарищи вталкивал в камеру сперва по пятьдесят человек, а после конца войны и по семьдесят пять, что опять-таки не затрудняло надзирателей, знавших, что в коридоре теперь шестьсот голов, за что им выплачивалась премиальная надбавка.

В такую густоту уже не имело смысла давать книг, шахмат и домино, ибо их все равно не хватало. Со временем уменьшалась врагам народа хлебная пайка, рыбу заменили мясом амфибий и перепончато-крылых, а капусту и крапиву — кормовым силосом. И страшная Пугачевская башня, где императрица держала на цепи народного героя, теперь получила мирное назначение башни силосной.

А люди текли, приходили все новые, бледнела и искажалась изустная арестантская традиция, люди не помнили и не знали, что их предшественники нежились на парусиновых мешках и читали запрещенные книги (только из тюремных библиотек их и забыли изъять). Вносился в камеру в дымящемся бачке бульон из ихтиозавра или силосная окрошка — арестанты забирались с ногами на щиты, из-за тесноты поджимали колени к груди и, опершись еще передними лапами около задних, в этих собачьих телоположениях с оскаленными зубами зорко, как дворняжки, следили за справедливостью

разливки хлебова по мискам. Миски разыгрывали, отвернувшись, — « от параши к окну » и « от окна к радиатору », после чего жители нар и поднарных конур, едва не опрокидывая хвостами и лапами мисок друг другу, в семьдесят пять пастей чавкали живительною баландою — и полько один этот звук нарушал философское молчание камеры.

И все были довольны. И в профсоюзной газете « Труд » и в « Вестнике московской патриархии » — жалоб не было.

Среди прочих камер была и ничем не примечательная 72-я камера. Она была уже обречена, но мирно дремавшие под ее нарами и матюгавшиеся на ее нарах арестанты ничего не знали об ожидавших их ужасах. Накануне рокового дня они, как обычно, долго укладывались на цементном полу близ параши, лежали в набедренных повязках на щитах, обмахиваясь от застойной жары (камера не проветривалась от зимы до зимы), били мух и рассказывали друг другу о том, как хорошо было во время войны в Норвегии, в Исландии, в Гренландии. По внутреннему ощущению времени, выработавшемуся долгим упражнением, зэки знали, что оставалось не более пяти минут до того момента, когда дежурный вертухай промычит им в кормушку: « Ну, ложись, отбой был ! »

Но вдруг сердца арестантов вздрогнули от отпираемых замков ! Распахнулась дверь — и в двери показался стройный пружинящий капитан в белых перчатках, чрез-вы-чайно взволнованный. За ним гудела свита лейтенантов и сержантов. В гробовом молчании зэков вывели с вещами в коридор. (Шепотом зэки тут же родили промеж собой парашу, что их ведут на расстрел). В коридоре отсчитали из них пять раз по десять человек и втолкнули в соседние камеры как-раз вовремя, так что они успели там захватить себе кусочек спального плаца. Эти счастливцы избежали страшной участи двадцати пяти остальных. Последнее, что видели оставшиеся у своей дорогой 72-й камеры, — была какая-то адская машина с пульверизатором, въезжавшая в их дверь. Потом их повернули через правое плечо и под звяканье надзирательских ключей о пряжки поясов и щелканье пальцами (то были принятые в Бутырках надзирательские сигналы « Веду зэка! ») повели через многие внутренние стальные двери и, спускаясь по многим лестницам, — в холл, который не был ни подвалом расстрелов, ни пыточным подземельем, а широко был известен в народе зэков как предбанник знаменитых бутырских бань. Предбанник имел коварно-безобидный повседневный вид: стены, скамьи и пол, выложенные шоколадной, красной и зеленой метлахской плиткой, и с грохотом выкатываемые по

рельсам вагонетки из п р о ж а р о к с адскими крючками для навешивания на них вшивых арестантских одежд. Легко ударяя друг друга по скулам и по зубам (ибо третья арестантская заповедь говорит: « Дают — хватай ! »), зэки разобрали раскаленные крючки, повесили на них свои многострадальные одеяния, потускневшие, порыжевшие, а местами и прогоревшие от ежедекадных прожарок, — и разгоряченные служанки ада — две старые женщины, презирая постылую им наготу арестантов, с грохотом укатили вагонетки в тартар и захлопнули за собой железные двери.

Двадцать пять арестантов остались запертыми со всех сторон в предбаннике. Они держали в руках только носовые платки или заменяющие их куски разорванных сорочек. Те из них, чья худоба все же сохранила еще тонкий слой дубленого мяса в той непритязательной части тела, посредством которой природа наградила нас счастливым даром с и д е т ь — те счастливчики сидели на теплых каменных скамьях, выложенных изумрудными и малиново-коричневыми изразцами. (Бутырские бани по роскоши своего оформления далеко оставляют позади себя Сандуковские, и, говорят, многие любознательные иностранцы специально предавали себя в руки ЧеКа, чтобы только помыться в этих банях).

Другие же арестанты, исхудавшие до того, что не могли уже сидеть иначе, как на мягком, — ходили из конца в конец предбанника, не закрывая своей срамоты и жаркими спорами пытались проникнуть за завесу происходящего.

« Давно уж их воображенье
Алкало пищи роковой ».

Однако, их столько часов продержали в предбаннике, что споры утихли, тела покрылись пупырышками, а желудки, привыкшие с десяти часов вечера ко сну, тоскливо взывали о наполнении. Среди арестантов победила партия пессимистов, утверждавших, что через решетки в стенах и в полу уже втекает отравленный газ, и сейчас все они умрут. Некоторым даже стало дурно от явного запаха газа.

Но загремела дверь — и все переменилось ! Не вошли, как всегда, два надзирателя в грязных халатах с засоренными машинками для стрижки овец и не швырнули пары тупейших в мире ножниц для того, чтобы переламывать ими ногти, — нет ! — четыре парикмахерских подмастерья ввезли на колесиках четыре зеркальных стойки с одеколоном, фиксатуаром, лаком для ногтей и даже театральными париками. И четыре очень почтенных дородных мастера, из них два армянина, вошли следом. А в парикмахерской, тут же, за дверью, арестан-

там не только не стригли лобков, изо всех сил нажимая стригущими плоскостями на нежные места, — но пудрили лобки розовой пудрой. Легчайшим полетом бритвы касались изможденных арестантских ланит и щекотали в ухо шепотом: « не беспокоит ? » Их голов не только не стригли наголо, но даже предлагали парики. Их подбородков не только не скальпировали, но оставляли по желанию клиентов начатки будущих бород и бакенбардов. А парикмахерские подмастерья, распростертые ниц, тем временем обрезали им ногти на ногах. Наконец, в дверях бани им не влили в ладони по двадцать граммов растекающегося вонючего мыла, а стоял сержант и под расписку выдавал каждому губку, дщерь коралловых островов, и полновесный кусок туалетного мыла « Фея сирени ».

После этого, как всегда, их заперли в бане и дали мыться всласть. Но арестантам было не до мытья. Их споры были горячей бутырского кипятка. Теперь среди них победила партия оптимистов, утверждавших, что Сталин и Берия бежали в Китай, Молотов и Каганович перешли в католицизм, в России временное социал-демократическое правительство, и уже идут выборы в Учредительное Собрание.

Тут с каноническим грохотом была открыта всем вам известная выходная дверь бани — и в фиолетовом вестибюле их ждали самые невероятные события: каждому выдавалось мохнатое розовое полотенце и... по полной миске овсяной каши, что соответствует шестидневной порции лагерного работяги ! Арестанты бросили полотенца на пол и с изумительной быстротой без ложек и других приспособлений поглотили кашу. Даже присутствующий при этом старый тюремный майор удивился и велел принести еще по миске каши. Съели и еще по миске. Что было после — никто из вас никогда не угадает ! Принесли не мороженую, не гнилую, не черную — да просто, можно сказать, съедобную картошку.

— Это исключено ! — запротестовали слушатели. — Это уже неправдоподобно !

— Но это было именно так ! Правда, она была из сорта свинячьей, мелкая и в мундирах, и, может быть, насытившиеся зэки не стали бы ее есть, — но дьявольское коварство состояло в том, что принесли ее не поделенной на порции, а в одном общем ведре. С ожесточенным воем, нанося тяжелые ушибы друг другу и карабкаясь по голым спинам, зэки бросились к ведру — и через минуту, уже пустое, оно с бренчанием прокатилось по каменному полу. В это время принесли еще соли, но соль была уже ни к чему.

Тем временем голые тела обсохли. Старый майор велел зэкам поднять с пола мохнатые полотенца и обратился с речью.

— Дорогие братья ! — сказал он. — Все вы — честные советские граждане, изолированные от общества лишь временно, кто на десять, кто на двадцать пять лет за свои небольшие проступки. До сих пор, несмотря на неоднократные указания лично товарища Сталина, — руководством Бутырской тюрьмы были допущены серьезные ошибки и искривления. Теперь они исправляются. (Распустят по домам ! — нагло решили арестанты). Впредь мы будем содержать вас в курортных условиях. (Остаемся сидеть ! — поникли они). Дополнительно ко всему, что вам разрешалось и раньше, вам разрешается:

а) молиться своим богам,
б) лежать на койках хоть днем, хоть ночью,
в) беспрепятственно выходить из камеры в уборную,
г) писать мемуары.

Дополнительно к тому, что вам запрещалось, вам запрещается:

а) сморкаться в казенные простыни и занавески,
б) просить по второй тарелке еды,
в) при входе в камеру высоких посетителей противоречить начальству тюрьмы или жаловаться на него,
г) брать без спросу со стола папиросы « Казбек ».

Всякий, кто нарушит одно из этих правил, будет подвергнут пятнадцати суткам холодного карцера-строгача и сослан в дальние лагеря без права переписки. Понятно ?

И едва лишь майор окончил речь — не гремящие вагонетки выкатили из прожарки белье и драные телогрейки арестантов, нет ! — ад, поглотивший лохмотья, не возвращал их ! — но вошли четыре молоденьких кастелянши, потупясь, краснея, милыми улыбками подбодряя арестантов, что не все еще для них потеряно, как для мужчин, — и стали раздавать голубое шелковое белье. Затем зэкам выдали штапельные рубашки, галстуки скромных расцветок, ярко-желтые американские ботинки, полученные по ленд-лизу, и костюмы из поддельного коверкота.

Немые от ужаса и восторга, арестанты в строю парами были проведены вновь в свою 72-ю камеру. Но, Боже, как она преобразилась !

Еще в коридоре ноги их ступали на ворсистую ковровую дорожку, заманчиво ведущую в уборную. А при входе в камеру их овенули струи свежего воздуха, и бессмертное солнце сверкнуло прямо в их глаза. (За хлопотами прошла ночь, и воссияло уже утро). Оказалось, что за ночь решетки покра-

шены в голубой цвет, намордники с окон сняты, а на бывшей бутырской церкви, стоящей внутри двора, укреплено поворотное отражательное зеркало, и специально приставленный к нему надзиратель регулирует его так, чтобы отраженный солнечный поток все время бы падал в окна 72-й камеры. Стены камеры, еще вечером оливково-темные, теперь были обрызганы светлой масляной краской, по которой живописцы во многих местах вывели голубей и ленточки с надписью « Мы — за мир ! » и « Миру — мир ! »

Деревянных щитов с клопами не было и помину. На рамы кроватей были натянуты холщевые подвески, а в них лежали перины, пуховые подушки и из-за кокетливо-отвернутого края одеяла сверкали белизной пододеяльник и простыня. У каждой из двадцати пяти коек стояли тумбочки, по стенам тянулись полки с книгами Маркса, Энгельса, блаженного Августина и Фомы Аквинского, посреди камеры стоял стол под накрахмаленной скатертью, на нем пепельница и нераспечатанная пачка « Казбека ». (Всю роскошь этой волшебной ночи удалось оформить через бухгалтерию, и только сорт папирос « Казбек » нельзя было подогнать ни под одну расходную статью. Начальник тюрьмы решил шикнуть « Казбеком » на свои деньги, оттого и кара за него была назначена такая строгая).

Но более всего преобразился тот угол, где прежде стояла параша. Стена была отмыта добела и покрашена, вверху теплилась большая лампада перед иконой Богоматери с младенцем, сверкал ризами чудотворец Николай Мирликийский, возвышалась на этажерке белая статуя католической Мадонны, а в неглубокой нише, оставленной еще строителями, лежали Библия, Коран, Талмуд и стояла маленькая темная статуэтка Будды — по грудь. Глаза Будды были немного сощурены, углы губ отведены назад, и в потемневшей бронзе чудилось, что Будда улыбался.

Сытые кашей и картошкой и потрясенные невместимым обилием впечатлений, зэки разделись и сразу заснули. Легкий Эол колебал на окнах кружевные занавески, не допускавшие мух. Надзиратель стоял в приотворенных дверях и следил, чтобы никто не спер « Казбека ».

Так они мирно нежились до полудня, когда вбежал чрезвычайно разгоряченный капитан в белых перчатках и объявил подъем. Зэки проворно оделись и заправили койки. Поспешно в камеру еще втолкнули круглый столик под белым чехлом, на нем разложили « Огонек », « СССР на стройке » и журнал « Америка », вкатили на колесиках два старинных кресла, тоже

под чехлами — и наступила зловещая невыносимая тишина. Капитан ходил между кроватями на цыпочках и красивой белой палочкой бил по пальцам тех, кто протягивал руку за журналом « Америка ».

В томительной тишине арестанты слушали. Как вам хорошо известно по собственному опыту, слух — это важнейшее из чувств арестанта. Зрение арестанта обычно ограничено стенами и намордниками, обоняние насыщено недостойными ароматами, осязанию нет никаких новых предметов. Зато слух развивается необыкновенно. Каждый звук даже в дальнем углу коридора тотчас же опознается, истолковывает происходящие в тюрьме события и отмеряет время: разносят ли кипяток, водят ли на прогулку или принесли кому-то передачу.

Слух и донес начало разгадки: со стороны 75-й камеры загремела стальная переборка, и в коридор вошло много людей. Слышался их сдержанный говор, шаги, заглушаемые коврами, потом выделились голоса женщин, шорох юбок, и у самой двери 72-й камеры начальник Бутырской тюрьмы приветливо сказал:

— А теперь госпоже Р., вероятно, будет интересно посетить какую-нибудь камеру. Ну, какую же ? Ну, первую попавшуюся. Например, вот 72-ю. Откройте сержант.

И в камеру вошла госпожа Р. в сопровождении секретаря, переводчика, двух почтенных матрон из среды квакеров, начальника тюрьмы и нескольких лиц в гражданской одежде и в форме МВД. Капитан же в белых перчатках отошел в сторону. Вдова известного деятеля, женщина передовая и проницательная, много сделавшая для защиты прав человека, госпожа Р. задалась целью посетить доблестного союзника Америки и увидеть своими глазами, как распределяется помощь ЮНРРА (Америки достигли зловредные слухи, будто продукты ЮНРРА не доходят до простого народа) и не ущемляется ли в Советском Союзе свобода совести. Ей уже показали тех простых советских граждан (переодетых чинов), которые в своих грубых рабочих спецовках благодарили ООН за бескорыстную помощь. Теперь госпожа Р. настояла, чтобы ее провели в тюрьму. Желание ее исполнилось. Она уселась в одно из кресел, свита устроилась вокруг, и начался разговор через переводчика.

Солнечные лучи от поворотного зеркала все так же били в камеру. И дыхание Эола шевелило занавески.

Госпоже Р. очень понравилось, что в камере, выбранной наудачу и застигнутой врасплох, была такая удивитель-

ная белизна, полное отсутствие мух и, несмотря на будний день, в святом углу теплилась лампада.

Заключенные поначалу робели и не двигались, но когда переводчик перевел вопрос высокой гостьи, неужели, щадя чистоту воздуха, никто из заключенных даже не курит, — один из них с развязным видом встал, распечатал коробку «Казбека», закурил сам и протянул папиросу товарищу.

Лицо генерал-майора потемнело.

— Мы б о р е м с я с курением, — выразительно сказал он, — ибо табак — это яд.

Еще один заключенный пересел к столу и стал просматривать журнал «Америка», почему-то очень торопливо.

— За что же наказаны эти люди? Например, вот этот господин, который читает журнал? — спросила высокая гостья.

(«Этот господин» получил десять лет за неосторожное знакомство с американским туристом).

Генерал-майор ответил:

— Этот человек — активный гитлеровец, он служил в Гестапо, лично сжег русскую деревню и, простите, изнасиловал трех русских крестьянок. Число убитых им младенцев не поддается учету.

— Он приговорен к повешению? — воскликнула госпожа Р.

— Нет, мы надеемся, что он исправится... Он приговорен к десяти годам честного труда.

Лицо арестанта выражало страдание, но он не вмешивался, а продолжал с судорожной поспешностью читать журнал.

В этот момент в камеру ненароком зашел русский православный священник с большим перламутровым крестом на груди — очевидно, с очередным обходом, и очень был смущен, застав в камере начальство и иностранных гостей.

Он хотел было уже уйти, но скромность его понравилась госпоже Р., и она попросила его выполнять свой долг. Священник тут же всучил одному из растерявшихся арестантов карманное Евангелие, сам сел на кровать еще к одному и сказал ему, окаменевшему от удивления:

— Итак, сын мой, в прошлый раз вы просили рассказать вам о страданиях Господа нашего Иисуса Христа.

Госпожа Р. попросила генерал-майора тут же при ней задать заключенным вопрос — нет ли у кого-нибудь из них жалоб на имя Организации объединенных Наций?

Генерал-майор угрожающе спросил:

— Внимание, заключенные! А кому было сказано про «Казбек»? Строгача захотели?

И арестанты, до сих пор зачарованно молчавшие, теперь в несколько голосов возмущенно загалдели:

— Гражданин начальник, так курева нет!

— Уши пухнут!

— Махорка-то в тех брюках осталась!

— Мы-то не знали!

Знаменитая дама видела неподдельное возмущение заключенных, слышала их искренние выкрики и с тем большим интересом выслушала перевод:

— Они единодушно протестуют против тяжелого положения негров в Америке и просят рассмотреть этот вопрос в ООН.

Так в приятной взаимной беседе прошло минут около пятнадцати. В этот момент дежурный по коридору доложил начальнику тюрьмы, что принесли обед. Гостья попросила, не стесняясь, раздавать обед при ней. Распахнулась дверь, и хорошенькие молоденькие официантки (кажется, те самые переодетые кастелянши), внеся в судках обыкновенную куриную лапшу, стали разливать ее по тарелкам. Во мгновение словно порыв первобытного инстинкта преобразил благообразных арестантов: они вспрыгнули в ботинках на свои постели, поджали колени к груди, оперлись еще руками около ног и в этих собачьих телоположениях с оскаленными зубами зорко следили за справедливостью разливки лапши. Дамы-патронессы были шокированы, но переводчик объяснил им, что таков русский национальный обычай.

Невозможно было уговорить арестантов сесть за стол и есть мельхиоровыми ложками. Они уже вытащили откуда-то свои облезлые деревянные, и едва лишь священник благославил трапезу, а официантки разнесли тарелки по постелям, предупредив, что на столе блюдо для сбрасывания костей, — единовременно раздался страшный втягивающий звук, затем дружный хруст куриных костей — и все, налитое в тарелки, навсегда исчезло. Блюдо для сбрасывания костей не понадобилось.

— Может быть, они голодны? — высказала нелепое предположение встревоженная гостья. — Может быть, они хотят еще?

— Добавки никто не хочет? — хрипло спросил генерал.

Но никто не хотел добавки, зная мудрое лагерное выражение — «Прокурор добавит».

Однако, тефтели с рисом зэки поглотили с той же неописуемой быстротой.

Компота же в этот день не полагалось, так как день был будний.

Убедившись в ложности инсинуаций, распускаемых злопыхателями в западном мире, миссис Р. со всей свитой вышла в коридор и там сказала:

— Но как грубы их манеры, и как низко развитие этих несчастных! Можно надеяться, однако, что за десять лет они приучатся здесь к культуре. У вас великолепная тюрьма!

Священник выскочил из камеры между свитой, торопясь, пока не захлопнули дверь.

Когда гости из коридора ушли, в камеру вбежал капитан в белых перчатках:

— Вста-ать! — закричал он. — Становись по два! Выходи в коридор!

И заметив, что слова его не всеми правильно поняты, он еще подошвою сапога дополнительно разъяснил отстающим.

Только тут обнаружилось, что один хитроумный зэк буквально понял разрешение писать мемуары и, пока все спали, с утра уже накатал две главы: «Как меня пытали» и «Мои лефортовские встречи».

Мемуары были тут же отобраны, и на ретивого писателя заведено новое следственное дело — о подлой клевете на органы госбезопасности.

И снова с пощелкиванием и позвякиванием «Веду зэка» их отвели сквозь множество стальных дверей в предбанник, все так же переливавшийся своей вечной малахитово-рубинной красотой. Там с них снято было все вплоть до шелкового голубого белья и произведен был особо тщательный шмон, во время которого у одного зэка под щекой нашли вырванную из Евангелия Нагорную проповедь. За это он тут же был бит сперва в правую, а потом в левую щеку. Еще отобрали у них коралловые губки и «Фею сирени», в чем опять-таки заставили каждого расписаться.

Вошли два надзирателя в грязных халатах и тупыми засоренными машинками стали выстригать арестантам лобки, потом теми же машинками — щеки и темена. Наконец, в каждую ладонь влили по 20 граммов жидкого вонючего заменителя мыла и заперли всех в бане. Делать было нечего, арестанты еще раз помылись.

Потом с каноническим грохотом отворилась выходная дверь, и они вышли в фиолетовый вестибюль. Две старых женщины, служанки ада, с громом выкатили из прожарок

вагонетки, где на раскаленных крючках висели знакомые нашим героям лохмотья.

Понуро вернулись они в 72-ю камеру, где снова на клопяных щитах лежали пятьдесят их товарищей, сгорая от любопытства узнать о происшедшем. Окна были вновь забиты намордниками, голубки закрашены темно-оливковой краской, а в углу стояла четырехведерная параша.

И только в нише, забытый, загадочно улыбался маленький бронзовый Будда...

55

НО СОВЕСТЬ ДАЕТСЯ ОДИН ТОЛЬКО РАЗ !

В то время, как рассказывалась эта новелла, Щагов, наблестив не новые, но еще приличные хромовые сапоги, натянув подглаженное, бывшее свое парадное обмундирование с привинченными начищенными орденами, с пришитыми нашивками ранений (увы, мода на военную форму катастрофически устаревала в Москве, и скоро предстояло Щагову вступить в нелегкое состязание по костюмам и ботинкам) — поехал в другой конец города на Калужскую заставу, куда был зван через своего фронтового знакомца Алешу Ланского на торжественный вечер в семью прокурора Макарыгина.

Вечер был сегодня для молодежи и вообще для семьи по тому поводу, что прокурор получил второй орден Ленина. Собственно, молодежь попадала туда довольно отдаленная, которой орден прокурора никак не касался, но папаша отпускал деньжат, и был повод покутить. Должна была там быть и Лиза, та девушка, которую Щагов назвал Наде своей невестой, но с которой еще окончательно не было решено и объявлено. Из-за Лизы Щагов и звонил Алеше, чтобы тот ему устроил приглашение на этот вечер.

Теперь с приготовленными несколькими первыми фразами он поднимался по той самой лестнице, где Кларе все виделась моющая женщина, и в ту квартиру, где четыре года назад, елозя на коленях в рваных ватных брюках, настилал паркет тот самый человек, у которого он только-что едва не отнял жены.

Домá тоже имеют свою судьбу . . .

Щагов надавил кнопку. Открыла ему Клара, которой он, впрочем, в лицо не знал. Но оба догадались.

Клара была в матово-зеленом платье из шерстяного крепа, схваченном в талии и просторном вниз. Резная накладная вышивка, тоже зеленая, но блестящая, змеилась на отворотах воротника, перепадала как бы цепью через грудь и как бы браслетами обтягивала рукавные запястья.

В тесном маленьком коридорчике уже висело в меру муж-

ских и дамских шуб. Прежде чем Клара успела пригласить гостя раздеться, зазвонил висевший тут же телефон. Клара сняла трубку, стала говорить, а левой рукой усиленно показывала Щагову, чтобы он раздевался.

— Инк ?... Здравствуй... Как ? Ты еще не выехал ?... Сейчас же !.. Инк, ну как может не быть настроения ?... Папа обидится... Да у тебя и голос вялый... А ты через « не могу » !.. Уж тогда подожди, я Нару позову... Нара ! — крикнула она в комнату. — Твой благоверный звонит, иди ! Раздевайтесь ! (Щагов уже снял шинель). Снимайте галоши ! (Он и пришел-то без галош)... Слушай, он ехать не хочет. Ну, как можно ?

В коридор вошла сестра Клары — Дотнара, жена дипломата, как предворял Щагова Ланский, и взяла трубку. Щагову она отчасти мешала теперь пройти, и он не спешил миновать это ароматное препятствие в светло-вишневом платье, он чуть потупился и рассматривал ее. От чего-то необычного в ее платье (Щагов не понял: от отсутствия грубых ложных накладных плеч, какие были у всех; оттого, что плечи ее закругленно спадали в руки той линией, которую дала природа и лучше которой придумать нельзя) Дотнара казалась женственной и гибкой, как никто. Еще показалось странным в ее наряде, что рукава были не от самого платья (у платья их не было), а от надетой сверх словно бы полунакидки.

И никому из них, толпившихся на ковре в уютном коридорчике, не могло и в голову прийти, что в этой безобидной черной полированной трубке, в этом ничтожном разговоре о приезде на вечеринку, таилась та таинственная погибель, которая подстерегает нас даже в костях мертвого коня.

С тех пор, как сегодня днем Рубин заказал записать еще телефонных разговоров каждого из подозреваемых, — трубка телефона в квартире Володина сейчас была впервые снята им самим — и в центральном узле связи зашуршала лента магнитофона с записью голоса Иннокентия Володина.

Осторожность, правда, подсказывала Володину не звонить эти дни по телефону, но жена уехала из дому без него и оставила записку, что обязательно надо быть вечером у тестя.

Он позвонил, чтобы не поехать.

Иннокентию было бы, наверно, легче, если бы после тревожной сегодняшней ночи этот бесконечный день был бы не воскресным, а будним. Он бы тогда мог судить по разным признакам, по продвижению или отмене его командировки в Париж. Но о чем можно судить в воскресенье — покой или угроза таится в праздничной неподвижности дня ?

Все эти минувшие сутки ему так представлялось, что звонок его был безрассудством и почти самоубийством — к тому же, может быть, и не принесшим пользы. С раздражением вспоминал он эту растяпу, жену Доброумова, хотя, конечно, не она была виновата, не с нее эта недоверчивость шла, не ею кончалась.

Ничто не показывало, что Иннокентий разгадан, но внутреннее предчувствие, загадочно вложенное в нас, щемило Володина, в нем росло предощущение беды — и от него-то никуда не хотелось ехать веселиться.

Он уговаривал теперь в этом жену, растягивая слова, как всегда делает человек, говоря о неприятном, жена настаивала, — и отчетливые « форманты » его « индивидуального речевого лада » ложились на узенькую коричневую магнитную пленку, чтобы к утру быть превращенными в з в у к о в и д ы и мокрой лентой распростереться в девять часов утра перед Рубином.

Нара не говорила в категорическом тоне, который усвоила в последние месяцы, а, тронутая ли усталым голосом мужа, очень мятко просила, чтоб он приехал хоть на часик.

Иннокентий почувствовал жалость к жене и уступил, что приедет. Однако, положив трубку, он не сразу отнял руку от нее, а замер, словно чего-то не досказал.

Ему стало жаль не ту жену, с которой он жил и не жил сейчас и от которой через несколько дней собирался опять уехать, — а ту десятиклассницу белокурую, с кудрями по плечи, ту девочку, с которой они когда-то вместе начали узнавать, что такое жизнь. Между ними накалялась тогда разгарчивая страсть, не признающая никаких доводов, не желающая слышать об отсрочке свадьбы даже на год. Инстинктом, руководящим нами среди обманчивых наружностей и лгущих нарядов, они верно угадали друг друга и не хотели упустить. Этому браку сопротивлялась мать Иннокентия, тогда уже больная тяжело (но какая мать не сопротивляется женитьбе сына ? !), сопротивлялся и прокурор (но какой отец с легким сердцем отдаст восемнадцатилетнюю прелестную дочурку ?). Однако, всем пришлось уступить ! Молодые люди поженились и были счастливы до такой полноты, что это вошло в поговорку среди их общих знакомых.

Их брачная жизнь началась при наилучших предзнаменованиях. Они принадлежали к тому кругу общества, где не знают, что значит ходить пешком или ездить в метро, где еще до войны беспересадочному спальному вагону предпочитали самолет, где даже об обстановке квартиры нет заботы: в каждом новом месте — под Москвой ли, в Тегеране, на сирийском

побережьи или в Швейцарии, молодых ждала обставленная дача, вилла, квартира. Взгляды на жизнь у молодоженов совпали. Взгляд их был: « нам жизнь дается только раз ! » Поэтому, от жизни надо было взять все, что она могла дать, кроме, пожалуй, рождения ребенка, потому что ребенок — это идол, высасывающий соки твоего существа и не воздающий за них своею жертвой или хотя бы благодарностью.

С подобными взглядами они очень хорошо соответствовали обстановке, в которой жили, и обстановка соответствовала им. Они старались отпробовать каждый новый диковинный фрукт. Узнать вкус каждого коллекционного коньяка и отличие вин Роны от вин Корсики и еще от всех иных вин, давимых на виноградниках Земли. Одеться в каждое платье. Оттанцевать каждый танец. Искупаться на каждом курорте. Заняться и теннисом, и парусной яхтой. Побывать на двух актах каждого необычного спектакля. Пролистать каждую нашумевшую книжку.

И шесть лучших лет мужского и женского возраста они давали друг другу все, чего хотел другой из них. Эти шесть лет почти все были — те самые годы, когда человечество рыдало в разлуках, умирало на фронтах и под обвалами городов, когда обезумевшие взрослые крали у детей просфорки черного хлеба. И горе мира никак не овеяло лиц Иннокентия и Дотнары.

Ведь жизнь дается нам только раз ! . .

Но, как любили говорить древние русские люди, — неисповедимы пути Господни. К концу шестого года их брачной жизни, когда приземлились бомбардировщики и умолкли пушки, когда дрогнула к росту забитая черной гарью зелень, и всюду люди вспомнили, что жизнь дается нам только раз, — в эти самые месяцы Иннокентий над всеми материальными плодами земли, которые можно было обонять, осязать, пить, есть и мять — ощутил безвкусное отвратное пресыщение.

Он испугался этого чувства, он перебаривал его в себе, как болезнь, ждал, что оно пройдет — но оно не проходило. Главное, он не мог разобраться в этом чувстве — в чем оно ? Как будто все было доступно ему, а чего-то не хватало.

И веселые приятели его, с которыми он так прочно был дружен, стали почему-то разнравливаться ему, один показался не очень умным, другой каким-то грубоватым, третий — слишком занятым собой.

Но не от друзей только, а от белокурой Дотти, как давно на европейский манер он называл Дотнару, — от жены своей,

с которой привык ощущать себя слитно, он теперь себя отделял и отличал.

То казалось ему слишком резким ее суждение, то слишком уверенным голос. То в одном, то в другом она поступала не так, как он бы считал хорошо, и категорично была убеждена в своей правоте.

Их устоявшаяся шикарная жизнь стала как бы стеснять Иннокентия, но Дотти и слышать не хотела что-нибудь изменить. Больше того, если раньше она проходила сквозь вещи и без жалости покидала одни для других, лучших, — то теперь в ней возникла ненасытая жажда удержать в своем постоянном обладании все вещи на всех квартирах. Два года в Париже Дотти использовала для того, чтобы отправлять в Москву большие картонки с отрезами, туфлями, платьями, шляпами — и Иннокентию было это неприятно. Появилась ли в ней теперь ? — или была, да он не замечал ? — манера неприятно жевать, даже чавкать, особенно, когда она ела фрукты.

Но не в друзьях, конечно, было дело и не в жене, а в самом Иннокентии. Ему не хватало чего-то, а чего — он не знал.

Давно за Иннокентием утвердилось звание эпикурейца — так называли его, и он принимал это охотно, хотя сам толком не знал, что это такое. И вот однажды в Москве, дома, по безделью, пришла ему в голову такая насмешливая мысль — почитать, а что, собственно, проповедывал учитель ? И он стал искать в трех шкафах, оставшихся от умершей матери, книгу об Эпикуре, которая, помнилось ему с детства, там была.

Самую эту работу — разборку старых шкафов, Иннокентий начал с отвратительным ощущением скованности в движениях, лени к тому, что надо было наклоняться, перекладывать тяжести, дышать пылью. Он не привык даже и к такому труду и очень утомился. Но все же кое-как совладал с собой — и обновляющим ветерком потянуло на него из глубины этих старых шкафов с их особенным устоявшимся запахом. Нашел он между прочим и книгу об Эпикуре и позже как-то прочел ее, но не в ней обнаружил для себя главное, а в письмах и жизни его покойной матери, которой он никогда не понимал, да и привязан был только в детстве. Даже смерть ее он перенес почти равнодушно и не приехал из Бейрута на похороны.

С детскими ранними годами, с посеребренными горнами, взброшенными к лепному потолку, со « Взвейтесь кострами, синие ночи ! » слилось у Иннокентия первое представление об отце. Самого отца Иннокентий не помнил, он погиб в двадцать

первом году в Тамбовской губернии, но все вокруг не уставали говорить сыну об отце — о знаменитом, прославленном в гражданскую войну матросском военачальнике. От всех и везде слыша эти похвалы, Иннокентий и сам привык очень гордиться отцом, его борьбой за простой народ против богатеев, погрязших в роскоши. Зато к вечно заботливой, что-то переживающей, о чем-то грустящей и всегда обложенной книжками и грелками матери, он относился почти свысока и, как это обычно для сыновей, не задумывался о том, что у матери не только был он, его детство и его надобности, но и еще какая-то своя жизнь; что вот она страдает от болезней; что вот она скончалась в сорок семь лет.

Родителям его почти никогда, очень мало пришлось жить вместе. Но и об этом малом, Иннокентию, мальчишке, не было повода раньше задумываться, не приходило в голову расспросить мать.

А теперь это все разворачивалось перед ним из писем и дневников матери. Их женитьба была не женитьба, а что-то вихреподобное, как все в те годы. Их столкнули внезапно обстоятельства, и обстоятельства же мало давали им видеться, и обстоятельства же развели. А мать из этих дневников оказалась не просто дополнением к отцу, как привык сын, а — отдельным миром. И узнавал теперь Иннокентий, что мать всю жизнь любила другого человека, так и не сумев никогда с ним соединиться.

Перевязанные разноцветными тесемками из нежных тканей, в шкафах хранились связки писем от подруг матери, от друзей, знакомых, артистов, художников и поэтов, чьи имена были теперь вовсе забыты или вспоминались ругательно. В старинных тетрадях с синими сафьяновыми обложками шли по-русски и по-французски дневниковые записи странным маминым почерком — как будто раненая птичка металась по листу бумаги и неверно процарапывала свой причудливый след коготком. По многу страниц занимали воспоминания о литературных вечерах, о драматических спектаклях. Брало за сердце описание, как мать, восторженной девушкой в толпе таких же плачущих от радости почитателей, встречала белой июньской ночью на петербургском вокзале труппу Художественного театра. Бескорыстное искусство ликовало с этих страниц — и свежестью обдало Иннокентия. Сейчас не знал он такой театральной труппы, да нельзя себе было и представить, чтобы встречая ее, кто-то не спал бы всю ночь, кроме тех, кого пошлет Отдел культуры, выписав через бухгалтерию букеты. И уж, конечно, никому не придет в голову плакать при этом.

А дневники вели его дальше и дальше. Были такие странички: « Этические записи ».

« Жалость — первое движение доброй души » — говорилось там.

Иннокентий морщил лоб. Жалость ? Это чувство постыдное и унизительное для того, кто жалеет, и для того, кого жалеют, — так вынес он из школы.

« Никогда не считай себя правым больше, чем других. Уважай чужие, даже враждебные тебе мнения ».

И это было довольно старомодно. Если я обладаю правильным мировоззрением, то как же можно уважать тех, кто спорит со мной ?

Сыну казалось, что он не читает, а ясно слышит, как мать говорит, ее ломкий голос:

« Что дороже всего в мире ? Оказывается: сознавать, что т ы не участвуешь в несправедливостях. Они сильней тебя, они были и будут, но пусть — не через тебя ».

— Да, мама была слабенькая, нельзя было представить маму борющейся, совместить маму и борьбу.

Шесть лет тому назад Иннокентий если б и открыл дневники, — даже не заметил бы всех этих строк. А сейчас он читал их медленно и удивлялся. Ничего в них не было как будто такого уж сокровенного, и даже прямо неверное было — а он удивлялся. Старомодны были и самые слова, которыми выражались мама и ее подруги. Они всерьез писали с больших букв: Истина, Добро и Красота; Добро и Зло; Этический Императив. В языке, которым пользовался Иннокентий и окружающие его, слова были конкретней и потому понятней: идейность, гуманность, преданность, целеустремленность.

Но хотя Иннокентий был безусловно и идеен, и гуманен, и предан, и целеустремлен (целеустремленность больше всего ценили в себе и воспитывали все его сверстники), а сидя на низкой скамеечке у этих шкафов, он почувствовал, что нашел что-то из нехватавшего ему.

И фотоальбомы были тут, с четкой ясностью старинных фотографий. И несколько отдельных пачек составляли театральные программы Петербурга и Москвы. И ежедневная театральная газета « Зритель ». И « Вестник кинематографии » — как ? это уже было все в то время ? И стопы, стопы разнообразных журналов, от одних названий пестрило в глазах: « Аполлон », « Золотое Руно », « Весы », « Мир искусства », « Солнце России », « Пробуждение », « Пегас ». Репродукции неведомых картин, скульптур (и духа их не было в Третьяковке !), театральных декораций. Стихи неведомых поэтов.

Бесчисленные книжечки журнальных приложений — с сотнями имен европейских писателей, никогда не слыханных Иннокентием. Да что писателей ! — здесь были десятки издательств — неизвестных, как провалившихся в тартарары: « Гриф », « Шиповник », « Скорпион », « Мусагет », « Альциона », « Сполохи », « Логос », « Прометей », « Общественная польза ».

Несколько суток просидел он так на скамеечке у распахнутых шкафов, дыша, дыша и отравляясь этим воздухом, этим маминым мирком, в который когда-то отец его, опоясанный гранатами, в черном дождевике, вошел по ордеру на обыск.

А Дотнара пришла звать мужа на какой-то вечер. Иннокентий посмотрел на нее бессмысленно, потом собрал лоб, представил себе это напыщенное сборище, где все будут друг с другом совершенно согласны, где все проворно встанут на ноги для первого тоста за товарища Сталина, а потом будут много есть и пить уже без товарища Сталина, а потом играть в карты глупо, глупо.

Из невнятной дали он вернулся к Дотти глазами — и попросил ее ехать одну.

Дотнаре дико показалось, что живой жизни званого вечера можно предпочесть ковыряние в старых альбомах. Связанные со смутными, но никогда не умирающими воспоминаниями детства, все эти находки в шкафах много говорили душе Иннокентия и ничего — его жене.

Мать добилась своего: встав из гроба, она отняла сына у невестки.

Иннокентий так и понял, он понял ее так: как сущность пищи нельзя выразить одними калориями, так и сути жизни нельзя охватить самыми великими формулами.

Стронувшись раз, Иннокентий уже не мог остановиться. За последние годы разленившийся, отохотившийся учиться (легкость во французском, который вез его карьеру, он приобрел еще в младенчестве от матери), Иннокентий теперь набросился на чтение.

Оказалось, что и читать — это тоже надо уметь, это не просто бегать глазами по строчкам. Так как Иннокентий в юности был огражден от книг неправильных, отверженных, и читал только заведомо правильные, то и привычка укоренилась в нем: верить каждому слову, вполне отдаваться на волю автора. И так теперь, читая авторов противоречащих, он долго не мог восстать, не мог не поддаваться сперва одному автору, потом другому, потом третьему.

Он поехал в Париж, работал там в системе Социально-Экономического комитета ООН и там еще много читал, что

успевал за службой. И на какой-то поре почувствовал, что и сам держит, кажется, руль.

Не то, чтоб он открыл для себя за эти годы много, но кое-что.

Раньше истина Иннокентия была, *что жизнь* дается нам только раз.

Теперь созревшим новым чувством он ощутил в себе и в мире новый закон, что и *совесть* тоже дается нам один только раз.

И как жизни отданной не вернуть, так и испорченной совести.

Так стал понимать и думать Иннокентий, когда в субботу, за несколько дней до новой поездки в Париж, он на беду свою узнал об этой готовящейся провокации с простаком Доброумовым. Он уже довольно был развит, чтобы понять, что не одним профессором окончится такое дело, что целую кампанию сумеют вывести из этого профессора. Но и сам Доброумов был ему дорог по воспоминаниям о матери.

Несколько часов с расступившимся умом он бродил по служебному кабинету (его напарник уехал в командировку), шатался, качался, брался за голову. И решился-таки звонить, хотя представлял, что телефон Доброумова могли уже взять под контроль, и что их только несколько человек в министерстве, кто знает секрет.

Это было как будто очень давно, а на самом деле только вчера.

Весь день сегодня Иннокентий прожил в смятении и не сидел дома — чтобы его не пришли арестовывать. Много раз за эти сутки в нем сменились и жестокая досада, и гадкий страх, и безразличие «будь, что будет», и страх опять. Он вчера и не ждал, что так разволнуется. Не предполагал, что так боится за себя.

Теперь такси несло его по Большой Калужской, залитой огнями. Снег шел уже густыми частыми хлопьями, и палочка-протиралочка металась, очищая ветровое стекло.

Он думал о Дотти. Отчужденность их дошла к прошлой весне до того угла, что он устроил не взять ее с собой в Рим.

Зато, вернувшись в августе, узнал, что уже делил ее с одним офицером генштаба. С упрямой женской убежденностью она и не отрицала измены, а всю вину перекладывала на Иннокентия — зачем он оставлял ее одну?

Но даже и боли потери он не ощутил, скорей — облегчение. Он не мстил ей, не ревновал, он просто перестал посещать ее комнату и вот уже четыре месяца держал в блокаде и в

презрении. Конечно, не могло быть и речи о разводе — развод был губителен при его службе.

Но сейчас, в эти дни до отъезда — или до ареста! — хотелось быть с Дотти мягким. Вспомнилось о ней не плохое, а все только хорошее.

Если его арестуют — еще довольно ее будут трепать и страшать из-за него...

Справа, за решеткой Нескучного сада, мелькнули черные стволы деревьев и ветви, белые под снежным нападом.

Густо падавший снег приносил спокойствие и забвение.

56

ЗВАНЫЙ УЖИН

Прокурорская квартира, вызывавшая зависть всей лестничной клетки № 2, но казавшаяся тесной самой семье Макарыгиных, была слита из двух смежных квартир пробитием стенки, и потому имела две входных двери (одну заколоченную), две ванных, две уборных, два коридора, две кухни и пять комнат, в самой просторной из которых сейчас и был сервирован ужин.

Гостей с хозяевами было человек до двадцати пяти, и с переменой блюд едва справлялись две прислуги-башкирки: одна своя, другая — взятая на вечер от соседей. Обе башкирки были почти девочки, из одной и той же деревни и прошлым летом кончившие одну и ту же десятилетку в Чекмагуше. Напряженные, разрумянившиеся от кухни лица девушек выражали серьезность и старание. Жена прокурора, высокая, полная, еще не старая женщина, следила за прислугой с одобрением.

Первая жена прокурора, покойница, прошедшая с мужем гражданскую войну, хорошо стрелявшая из пулемета, ходившая в кожанке и жившая последними постановлениями партячейки, не только не была бы способна довести дом Макарыгина до его сегодняшнего изобилия, но не умри она при рождении Клары — трудно даже себе представить, как она была бы дальше.

Напротив, Алевтина Никаноровна, нынешняя жена Макарыгина знала, что не может процветать хорошая семья без хорошей кухни; что ковры и скатерти есть важный признак благосостояния, а хрусталь — уместное украшение банкетов. Хрусталь она собирала годами, и не тот теперешний грубоватый перекособоченный, прошедший конвейер равнодушных рук, не включивший в себя искорок души мастера. Она собирала хрусталь старинный, конфискованный по судебным приговорам в двадцатые и тридцатые годы и продававшийся по случаю в закрытых распределителях судебных работников, — хрусталь, каждая ваза и каждая чаша которого таила в

себе особенность своего создателя. Еще очень пополнила она свои запасы в Латвии: два послевоенных года, когда прокурор работал в Риге, жила там с ним и она, и многим обзавелась в комиссионных магазинах и прямо на толкучке — из мебели, из посуды и даже просто отдельными серебряными ложками.

Сегодня на двух больших столах при ярком свете благородный хрусталь многоцветно рассыпал искры от граней, ребер и алмазной резьбы. Тут был р у б и н - « золотой » (темно-красный), «медный» (шоколадно-красный) и «селеновый» (красный, просвеченный легким желтым дыханием). Тут была темно-густая « хромпиковая » з е л е н ь и с золотистым оттенком з е л е н ь « кадмиевая ». И кобальтовая с и н ь. И беловато-мутный г л у ш е н ы й хрусталь. И хрусталь и о р и з о в а н н ы й, весь в цветах побежалости. И хрусталь под слоновую кость. И двугорлые графины с шарикогранными пробками. И из простого « белого алмаза » многоэтажные конфектуры-трехслойные вазы с фруктами, орехами и конфетами, поднимавшиеся над теснотой угощений. И просто вазочки, бокалы и рюмки свинцового стекла. Все это было более, чем разнообразно: никакой цвет, никакой вензель почти не повторялся здесь шесть или двенадцать раз.

За столом для старших во всем этом блеске вспыхивал еще и виновник торжества — новенький орден прокурора среди потускневших прежних, тоже навинченных для такого случая.

Стол для молодежи тянулся через всю комнату. Столы хотя и смыкались, но расставлены были с поворотом, и сидевшие не все видели друг друга, а тем более не все слышали; разговоры разбились, а все вместе сливалось в радостный, что-то уверенно настигающий гул, из которого выплескивал молодой смех и звон чоканья.

Уже остались далеко позади стройные тосты— за товарища Сталина, за работников правосудия и за хозяина дома, чтоб этот орден был не последний. К половине одиннадцатого сменилось уже немало угощений соленых, сладко-соленых, острых, кислых, копченых, тощих, жирных, замороженных, обогащенных витаминами, и многие из этих блюд были достойны похвалы, но не ели их с тем полным вниманием и наслаждением, как делал бы каждый в одиночестве. По заклятью всех званых пиршеств приготовлено было лучшее, расставленное в непоглотимых количествах, гости сели потесней, мешая друг другу и задались не тем, чтобы есть, а чтобы шутливо разговаривать, выказывая пище осторожное пренебрежение.

Впрочем, Щагов, уже много лет иссыхавший в студенче-

ской столовой, и две девочки, подруги Клары по институту, отведывали блюда с проникновением, однако старались сохранять равнодушный вид. Очень жадно ела покровительствуемая хозяйкой и сидящая рядом с нею простоватая подруга ее юности, а теперь— жена инструктора райкома в дальнем Зареченском районе. Подруга эта была несчастна: с придурковатым мужем ей нельзя было выбиться в хорошее общество. Сейчас она приехала в Москву за покупками. Хозяйке было с одной стороны приятно, что та пробовала каждое блюдо, хвалила, спрашивала рецепт и открыто восхищалась всей обстановкой и всем окружением прорурорской семьи. С другой стороны Алевтине Никаноровне было и стыдно перед неожиданным гостем генерал-майором Словутой за эту свою почти уже не подругу, как стыдно и за Душана Радовича, давнишнего приятеля прокурора, но почти уже и не приятеля. И эта и тот были позваны потому, что вечер среди старших сперва намечался семейный, теперь же Словута мог подумать, что у Макарыгиных принимают р в а н ь (так Алевтина Никаноровна называла всех, кто не умеет хорошо устроиться в жизни и получать высокую зарплату). Это отравляло ей вечер. И она посадила подругу на другой конец стола от Словуты и заставляла ее говорить тише.

Тут к их концу передвинулась и Дотнара, услышав краем уха интересный для себя разговор о домашней прислуге. (Действительно, всех так быстро раскрепостили и просветили, что никто не хотел помочь другим готовить пищу, мыть посуду и стирать). Там, в Зареченском районе они устроились вот как: помогли девушке уйти из колхоза — и за это она у них в семье два года отрабатывает; два года пройдут — выправят ей паспорт, и она может ехать в город. А вот на эпидемстанции платят зарплату двум санитаркам, которых от роду не бывало, и за эту зарплату девки работают домработницами у зав. станцией и у зав. Райздрава. Дотнара наморщила атласный лобик: в районе все это проще. Но в Москве ?

Динэра, черная, решительная, быстрая (редко договаривающая мысль сама и не дающая договорить другим), напротив, соскучилась у почетного стола и пошла пересесть, где моложе. Она и одета была вся в черное: импортный шелк « лакэ » покрывал ее тело как тонкая блестящая лакированная кожа, и только алебастровые руки вырывались выше локтя из этой кожи.

Одну руку она еще издали подняла с вызовом в сторону Ланского:

— Алеша ! Иду на вы ! « Незабываемый Девятьсот Девятнадцатый » . . ?

С ровной улыбкой, которою он встречал всех, Ланский ответил:

— Вчера.

— А почему не на премьере ? Искала вас в бинокль, хотела разить по горячим следам !

Ланский, сидящий рядом с Кларой и ждущий от нее сегодня важного ответа, без воодушевления, но уже приготовился к спору, потому что уклониться от спора с Динэрой было невозможно. Много раз на литературных квартирах, в редакциях и в ресторане Центрального дома литераторов возникали между ними словесные турниры. Динэра, не связанная никаким литературным постом и никакой партийной должностью, смело (но в рамках) нападала на драматургов, сценаристов и режиссеров, не щадя даже мужа своего, Николая Галахова. Смелость суждений, сочетаясь со смелостью туалетов и со смелостью ее всем известной биографии, очень шла к ней и приятно оживляла пресные суждения тех, чья мысль была подчинена их литературной службе. Нападала она и на литературную критику вообще, и на статьи Алеши Ланского в частности. Ланский же с улыбкой и выдержкой, никогда не уставал разъяснять Динэре ее анархические ошибки и мелкобуржуазные вывихи. Эту шутливую враждебность-близость с Динэрой он охотно делил еще потому, что самого его литературная судьба весьма зависела от Галахова.

« Незабываемый 1919-й » была пьеса Вишневского, написанная как будто о революционном Петрограде и балтийских моряках, на самом же деле — о Сталине, о том, как Сталин спас Петроград, и всю революцию, и всю Россию. По пьесе, приуроченной к семидесятилетию Отца и Учителя, получалось, что с помощью указаний Сталина кое-как справлялся с делом и Ленин.

— Вы понимаете, — с налетом мечтательности говорила Динэра, сев на предложенное ей место против Ланского через стол. — В театральном спектакле должна быть острая выдумка, почти даже шалость или дерзость. У того же Вишневского, вспомните, в « Оптимистической трагедии » — этот хор из двух моряков, эти реплики: « Не слишком ли много крови в трагедии ? » — « Не больше, чем у Шекспира » — ведь это же оригинально ! И вот опять идешь на пьесу Вишневского, а тут — что же ? Реалистическая вещь, конечно, впечатляющий образ Вождя, историческая достоверность, но и, но и . . . все ?

— Как ? — строго спросил тот очень молодой человек,

который усадил Динэру рядом с собой. В петличке его чуть небрежно, чуть-чуть наискосок была вколота планка ордена Ленина. — Вам мало ? Я не помню, где еще такой трогательный образ Иосифа Виссарионовича ! Многие плакали в зале.

— У меня у с а м о й слезы стояли ! — осадила его Динэра. — Я не об этом ! — И продолжала Ланскому: — Но в пьесе почти нет имен ! Участвуют: безличные три секретаря парторганизации, семь командиров, четыре комиссара — протокол какой-то ! И опять эти примелькавшиеся матросы — « братишки », кочующие от Белоцерковского к Лавреневу, от Лавренева к Вишневскому, от Вишневского к Соболеву (Динэра так и качала головой от фамилии к фамилии, с зажмуренными глазами), знаешь заранее, кто хороший, кто плохой и чем кончится . . .

— А почему это вам не нравится ? — поразился Ланский. — Зачем вам непременно внешняя ложная занимательность ? А в жизни ? Разве в жизни отцы наши сомневались, чем кончится гражданская война ? Или мы разве сомневались, чем кончится Отечественная, даже когда враг был в московских пригородах ?

— Или драматург разве сомневается, как будет принята его пьеса ? Объясните Алеша, почему никогда н е п р о в а л и в а ю т с я наши премьеры ? Этого страха — провала премьеры — почему нет над драматургами ? Честное слово, я когда-нибудь не сдержусь, заложу два пальца в рот, да как засвищу ! ! . . .

Она очень мило показала, как это сделает, хотя ясно было, что от такого закладывания свиста не получится.

Соседний молодой человек, державшийся очень значительно, налил ей вина, но она не пила.

— Объясняю, — не смутился Ланский. — Пьесы у нас никогда не проваливаются (и не могут проваливаться !) потому, что между драматургом и публикой наличествует единство как в плане художественном, так и в плане общего мироощущения.

— Ну-у, Алеша, — сморщилась Динэра. — Это вы можете оставить для статьи. Эту установку я знаю: что народу неинтересно ваше л и ч н о е мнение; что как критик вы должны выражать истину, а она одна . . .

— Конечно, — спокойно улыбался Ланский. — Обязанность критика — не поддаваться простому движению чувств. Надо соотнести эти чувства с общими задачами . . .

Он продолжал разъяснять, но при этом не забывал поглядывать и на Клару и кончиками пальцев касаться ее

пальцев под уклоном тарелки, как бы говоря, что на самом деле он — с ней и ждет ответа.

Клара не могла ревновать к Динэре (да Динэра и ввела Ланского в дом Макарыгиных специально для Клары), но брала досада на эту литературную болтовню, отбирающую у нее Алексея. Кроме того, глядя, как Динэра скрестила алебастровые руки, Клара пожалела, что надела глухие рукава — у нее тоже были руки неплохи.

Но вообще она довольна была тем, как выглядела сегодня. Эта короткая досада не могла испортить ее непомерного, не в себе веселья. Она не обдумывала, а у нее так складывалось — быть сегодня веселой. Необыкновенный день кончался и вечером необыкновенным. Сегодня утром — но будто не сегодня утром, а очень-очень давно — чудесный оживленный разговор с Ростиславом. И его поэтический поцелуй. И корзиночка плетеная на елку. А едва примчалась домой — тут уж все было готово к вечеру, и весь вечер, по сути, был для нее. И с наслаждением надев новое зеленое платье с блестящими резными накладками из крепсатена, она взяла на себя встречу в передней всех гостей. Перестоявшая молодость ее в двадцать четыре года распушилась второй раз. Пришла ее пора — и именно нынешняя пора, только сейчас. Она даже, кажется, утром очень увлеченно обещала Ростиславу, что будет его ждать. Она, всегда так чисто сторонившаяся прикосновений — она ли, сегодня же вечером, встречая в передней Алешу, дала своей руке задержаться в его руке ? Между ними было охлаждение последний месяц, а тут, не отпуская пожатия, Алеша сказал:

— Клара ! Суди меня, как хочешь. Я на встречу Нового года заказал в « Авроре » два места. И мы с тобой пойдем ? Это стиль не наш, но просто для шутки — пойдем ?

И она не успела сказать ему « нет ». Она вообще не успела ответить, как вбежал толстый Женька с требованием найти какую-то пластинку. С тех пор они ни на миг не оставались вдвоем, и полвечера уже хранилось ощущение, что разговор между ними еще будет продолжаться.

Женька, бывший сокурсник Клары по институту связи, и девчонки — сокурсницы чувствовали себя здесь еще студентами и держались, несмотря на присутствие высоких гостей, с крайней простотой. Женька разбойно налегал на вино, а кроме того несдержанно смешил одну из соседок, пока она, вся в румянце, с восклицанием « ой, не могу ! » и, давясь, не вскочила из-за стола. Ее удержал и стал от поперха бить по спине молодой лейтенант внутренней службы, племянник жены про-

курора. (Все его звали пограничником, потому что он носил зеленый кант и зеленый околыш, на самом же деле он жил в Москве, а служил в поездах по проверке документов).

За стол молодежи попал и Щагов и сидел рядом со своей Лизой. Он внимательно накладывал, наливал ей, что-то говорил, но это все — не думая, а думал над тем, что видел вокруг. При равномерно-любезном выражении лица он озирал окружающее, все это раставленное, развешанное и изостланное, и тех, кто так запросто пользовался этим. От витых генерал-юристских погонов и дипломатического пальмового шитья в одном углу комнаты до планочки ордена Ленина, небрежно вколотой в отворот костюма у очень молодого соседа (а он-то думал отличиться тут своими скромными орденишками!), Щагов не мог увидеть здесь ни одного фронтовика, своего брата по минным проходам, своего брата по гадкой мелкой усталой трусце перепаханным полем — трусце, оглушительно именуемой атакою. И в начале вечера он даже вызывал в себе лица товарищей, убитых в конопле, под стенкой сарая, на штурмовых плотиках. И впору было ему дернуть скатертью и крикнуть. « Сволочи ! А вы где были ? ! »

Но вечер шел, Щагов приятно выпил — столько, что еще не был хмелен, но уже подошвы его не ощущали всей тяжести своего давления на пол. И как пол стал будто более податлив, так податливее, приемистее стала ощущаться и вся теплая, светлая действительность. Она не отталкивала. Щагов легко мог продвигаться по ней и своими мыслями и своим телом с заныващими ранами, с сухотою желудка.

Не устаревает ли он с этим делением людей: « солдат — не солдат » ? Ведь вот и ордена фронтовые, которые так стоили и так горели когда-то, теперь чуть ли не стесняются носить. И не будешь каждого трясти за грудки: « А ты где был ? » Кто воевал, кто прятался — этого теперь не разберешь, смешалось. Есть закон времени, закон забытия. Мертвым — слава, а жизнь — живым.

Он один здесь знал цену благополучию и один здесь был достоин его по-настоящему. Пусть это его первый приход в этот мир, но приход уже почти насовсем. И Щагов думал, оглядывая комнату: « Мое будущее ! Мое будущее ! »

Молоденький сосед Щагова с орденской планочкой, в галстуке ярко-голубого и палевого цветов, со светлыми приглаженными волосами, уже почему-то редкими, смотрел на все окружающее не в полные глаза. Ему было двадцать четыре года, а старался он вести себя по крайней мере на тридцать, очень сдержанно шевелил руками и с достоинством держал

нижнюю губу. Несмотря на свою молодость, он уже был один из ценимых референтов в приемной Президиума Верховного Совета. Референт прекрасно понимал, что жена прокурора мечтала бы женить его на Кларе, но Клара уже становилась ему мелковата. Да и вообще, с женитьбой ему был смысл повременить. Другое дело — Динэра, излучавшая что-то такое, что-то такое, от чего он приятно чувствовал себя подле нее теленком. Его очень поднимало в своих глазах даже просто пофлиртовать с женой такого известного писателя, не говоря о чем-нибудь большем. Сейчас он ухаживал за ней, стараясь иногда прикасаться, и охотно поддержал бы ее в разговоре, но по разговору получалось так, что нельзя было не указать ей на ошибки.

— Но тогда вы входите в противоречие с Горьким ! Вы оспариваете, наконец, самого Горького ! — отбивался Ланский от Динэры.

— Горький — основоположник социалистического реализма ! — напомнил ей референт. — И ставить под сомнение Горького, это, знаете, так же преступно, как . . .

(Как . . . у него язык не поворачивался сравнить — как . . .)

Ланский серьезно кивнул ему. Динэра улыбнулась.

— Мама ! — громко, нетерпеливо обратилась Клара. — А нельзя нашему столу пока, до чая, — отпуск ?

За это время жена прокурора уже выходила на кухню распоряжаться и возвращалась, а нудная подруга ее вцепилась в Дотнару и растянуто рассказывала, что в Зареченском районе дети актива все на особом учете, для них бесперебойно всегда молоко, без отказу пенициллиновые уколы. Так разговор перешел на медицину. Дотнара, несмотря на молодость, уже кое-чем начинала болеть и пристращалась к разговору о болезнях.

Сама Алевтина Никаноровна смотрела так, что у кого есть положение, тем здоровье обеспечено. Достаточно набрать номер знаменитого профессора, лучше всего лауреата сталинской премии, и он выпишет рецепт, и пройдет любой инфаркт. А можно и купить путевку в самый первоклассный санаторий. Они с мужем не боялись болезней.

Услышав восклицание Клары, мачеха укоризненно отозвалась:

— Эх ты, хозяйка ! Ты — угощай, а не гони от стола !

— Нет, мы хотим танцевать ! хотим танцевать ! — вскричал пограничник.

Женька быстро налил себе и выпил еще вина.

— Танцевать ! танцевать ! — кричали другие.

И молодежный стол рассыпался.

Из соседней комнаты донеслись мощные звуки радиолы. Заведено было танго « Осенние листья ».

57

ДВА ЗЯТЯ

Дотнара тоже ушла танцевать, подругу свою хозяйка приспособила носить тарелки, и за столом старших теперь осталось только пятеро мужчин: сам Макарыгин; его закадычный друг еще по гражданской войне, профессор давно упраздненного Института Красной Профессуры серб Душан Радович; другой приятель, не давний, кончавший вместе с Макарыгиным Высшие Юридические курсы — тоже прокурор, тоже генерал-майор Словута; да два зятя — Иннокентий Володин в мышином мундире с пальмовыми ветвями (видеть на нем сегодня этот мундир было непременным желанием тестя) и лауреат сталинской премии, известный писатель Николай Галахов.

Собственно, Макарыгин уже давал два дня назад большой банкет для сослуживцев, а сегодня устроить хотел все по-семейному и больше для молодежи. Но Словута, важный человек по службе, не присутствовал два дня назад, только вчера вернувшись с Дальнего Востока (он был один из главных прокуроров по громкому процессу японских военных, готовивших бактериологическую войну). Пришлось его пригласить на сегодня. Однако, на сегодня же был еще раньше приглашен и гость почти нелегальный — Радович, которого неловко было показывать сослуживцам, но с кем в этот вечер молодежи Макарыгин просто собирался отвести душу в воспоминаниях. Отказать в последний момент Радовичу можно было, но казалось самому обидно трусить. И Макарыгин решил отыграться на том, чтоб обязательно были оба зятя, дипломат — в золотом шитье, а писатель — со значком лауреата.

Теперь в разговоре Макарыгин очень опасался, что Радович выпалит какую-нибудь резкость (хотя человек он был умный, но по горячности с него могло стать) — и старался увести разговор куда-нибудь на безопасное мелкое место. Поэтому, после ухода дочерей он, придерживая свой густой

голос, стал шутливо пенять Иннокентию, что тот не потешил его старости и не подбросил ему внучат.

— Ведь они что с женой ? — жаловался он. — Подобралась парочка, баран да ярочка — живут для себя, жируют и никаких забот. Устроились ! Прожигатели жизни ! Вы его спросите, ведь он, сукин сын, эпикуреец. А ? Иннокентий, признайся — Эпикура исповедуешь ?

Невозможно было даже в шутку назвать члена всесоюзной коммунистической партии — младо-гегельянцем, неокантианцем, субъективистом, агностиком или, упаси Боже, ревизионистом. Напротив, « эпикуреец » звучало так безобидно, что вовсе не мешало человеку быть ортодоксальным марксистом.

Тут и Радович, любовно знавший всякую подробность из жизни Основоположников, не преминул вставить:

Что ж, Эпикур — хороший человек, материалист. Сам Карл Маркс писал об Эпикуре диссертацию.

Радович был худ, сух, и темный пергамент его кожи казался натянутым прямо на кости.

Иннокентий испытывал приступ воодушевления. Здесь, в этой комнате, полной оживленного гула, смеха, ярких красок, — его внезапный арест казался ему совершенно невозможным. Рассеялись последние страхи, какие еще шевелились в глубине. Он ходко пил, горячел и задорно оглядывал этих ничего не ведающих людей. Любимцем богов он казался себе сейчас. И Макарыгин, и даже Словута, которые в другой момент могли вызвать у него презрение, сейчас были ему по-человечески милы, были участниками его безопасности.

— Эпикура ? — с посверкивающими глазами принял он вызов. — Исповедую, не отрекаюсь. Но я, вероятно, вас удивлю, если скажу, что « эпикуреец » принадлежит к числу слов, не по́нятых во всеобщем употреблении. Когда хотят сказать, что человек непомерно жаден к жизни, сластолюбив, похотлив и даже попросту свинья, говорят: « он — эпикуреец ». Нет, подождите, я серьезно ! — не дал он Макарыгину возразить и возбужденно покачивал пустой золотой фужер в тонких чутких пальцах. — А Эпикур как раз обратен нашему дружному представлению о нем. В числе трех основных зол, мешающих человеческому счастью, Эпикур называет ненасытные желания ! А ? Он говорит: на самом деле человеку надо мало, и именно поэтому счастье его не зависит от судьбы ! Он совсем не зовет нас к оргиям. Правда, он признает, что высшее благо есть обыкновенное человеческое

удовольствие. Но добавляет: так как всякого удовольствия мы добиваемся не сразу, а сперва идет период неудовлетворенной потребности и, значит, и не удовольствия, — то лучше воздерживаться вообще от всяких стремлений, кроме самых неприхотливых. Так он освобождает человека от страха перед ударами судьбы — и поэтому он великий оптимист, Эпикур!

— Да что ты говоришь! — удивился Галахов и вынул кожаную записную книжечку с белым костяным карандашиком. Несмотря на свою шумную славу, Галахов держался простецки, мог подмигнуть, хлопнуть по плечу. Белые сединки уже живописно светились над его чуть смугловатым, несколько располневшим лицом.

— Налей, налей ему! — сказал Словута Макарыгину, тыча в пустой фужер Иннокентия, — а то он нас заговорит.

Тесть налил, и Иннокентий выпил с наслаждением. Только сейчас впервые, когда он так изящно ее защитил, философия Эпикура ему и в самом деле показалась достойной исповедания.

Улыбнулся нестандартному кредо и Радович. Он ни капли не пил спиртного (ему нельзя было) и вообще большую часть вечера сидел неподвижно, коричневый, одетый в какой-то строгий полувоенный френч, в строгих очках недорогой оправы. (Выходя же на улицу, он до последнего времени в Стерлитамаке надевал буденовский шлем, как в гражданскую или в НЭП, — только теперь это вызывало насмешки жителей и дружную ярость собак. В Москве же сейчас вообще так нельзя было бы одеться — милиция, пожалуй, не допустила бы).

Словута с нестарым отекшим лицом держался чуть свысока по отношению к Макарыгину (Словуте уже была подписана вторая генеральская звезда), но знакомством с Галаховым был очень доволен и представлял, как сегодня же вечером, в том доме, куда он еще намеревался попасть, он запросто передаст, что час назад выпивал с Колькой Галаховым, и тот ему рассказывал... но вот как раз Галахов ничего сегодня не рассказывал, был сдержан, наверно обдумывал новый роман? И Словута, убедясь, что ничего больше не почерпнет, собрался уходить.

В это самое время молодежь повалила танцевать. Макарыгин всячески уговаривал Словуту побыть еще и, наконец, обломал его на том, что надо поклониться «табачному алтарю» хозяина. Макарыгин гордился своей табачной коллекцией, содержимой в кабинете. Сам он обычно курил бол-

гарский трубочный, доставаемый по знакомству, да вечерами, когда уже накуривался, пробивал себя сигарами. Но гостей любил поражать, поочередно угащивая каждым сортом.

Дверь в кабинет была тут же, за спиной хозяина. Он открыл ее и приглашал Словуту и зятей. Однако, зятья отказались — отговорились от стариковской компании тем, что надо идти следить за женами. Прокурор обиделся, а главное забеспокоился — не в с т р я л бы теперь Душан. Поэтому в дверях кабинета, пропустив Словуту вперед, обернулся к идущему сзади другу и выразительно погрозил ему пальцем от груди.

Но не пойдя за ними в кабинет, свояки вовсе не спешили и к женам. Они были в том счастливом возрасте (Галахов на несколько лет постарше), когда их еще принято было считать молодыми, но никто уже не тянул танцевать — и они могли отдаться наслаждению мужского разговора меж недопитых бутылок под отдаленную музыку.

Галахов, действительно, на прошлой неделе задумал писать о заговоре империалистов и борьбе наших дипломатов за мир, причем писать в этот раз не роман, а пьесу — потому что так легче было обойти многие неизвестные ему обстоятельства, детали интерьера и одежды. Сейчас ему было как нельзя кстати проинтервьюировать свояка, заодно ища в нем типические черты советского дипломата и вылавливая характерные подробности западной жизни, где должно было происходить все действие пьесы, но где сам Галахов был лишь мельком, на одном из прогрессивных конгрессов. Галахов сознавал, что это не вполне хорошо — писать о жизни, которой не знаешь, но последние годы ему казалось, что заграничная жизнь, или седая история, или даже фантазия о лунных жителях легче поддадутся его перу, чем окружающая его истинная жизнь, очень сложная, заминированная на тропинках тем.

Они разговаривали, держа головы наклоненными друг к другу через стол: прислуга шумела сменяемой посудой, из соседней комнаты густо пела радиола, а из следующей за ней — металлически бубнил телевизор.

— Привилегия писателей — допрашивать, — кивал Иннокентий, сохраняя все тот же удачливый блеск в глазах, с каким он защищал Эпикура.

— Может быть — горе их, — возразил Галахов.

Его плосконький белый костяной карандашик с уже вывинченным грифелем лежал приготовленный на скатерти...

— Во всяком случае, писатели всегда мне напоминают

следователей, только без отпуска и без отдыха: в поезде и за чайным столом, на базаре и в постели они все ведут следствие о преступлениях, подлинных и мнимых.

— Значит, они напоминают нашу совесть ?

— Читая ваши журналы, я бы сказал: *не всегда*.

— Однако, мы ищем в человеке не преступления его, а его достоинства, его светлые черты.

— Вот именно поэтому ваша работа и противоположна работе совести. Так ты, значит, хочешь писать книгу о дипломатах ?

Галахов улыбнулся. Улыбка у него была мужественная, очень шедшая его крупным чертам, столь не похожим на изнеженные черты Иннокентия.

— « Хочешь » — « не хочешь » — не решается, Инк, так просто, как в новогодних интервью. Но запастись заранее материалами... Не всякого дипломата распросишь. Спасибо, что ты — родственник.

— И твой выбор доказывает твою проницательность. Посторонний дипломат, во-первых, наврет тебе с три короба. Ведь у нас есть, что скрывать.

Они смотрели глаза в глаза.

— Я понимаю. Но... этой стороны вашей деятельности... отражать не придется, так что она меня...

— Ага. Значит, тебя интересует главным образом — быт посольств, наш рабочий день, ну, как проходят приемы, вручения грамот...

— Нет, глубже ! И — как преломляются в душе советского дипломата...

— А-а, как преломляются... Ну, уже все ! Я понял. И до конца вечера я тебе буду рассказывать. Только... объясни и ты мне сперва... Военную тему ты что же — бросил ? исчерпал ?

— Исчерпать ее невозможно, — покачал головой Галахов.

— Да, вообще с этой войной вам подвезло. Коллизии, трагедии — иначе откуда б вы их брали ?

Иннокентий смотрел весело.

По лбу писателя прошла забота. Он вздохнул:

— Военная тема — врезана в сердце мое.

— Ну, ты же и создал в ней шедевры !

— И, пожалуй, она для меня — вечная. Я и до смерти буду к ней возвращаться.

— А может — не надо ? — очень тихо и осторожно спросил Иннокентий.

— Надо! — твердо, уверенно ответил Галахов. — Потому что война поднимает в душе человека...

— В душе? — я согласен! — быстро предупредил Иннокентий. — Но посмотри, во что вылилась фронтовая и военная литература. Высшие идеи: как занимать боевые позиции, как вести огонь на уничтожение, «не забудем, не простим», приказ командира есть закон для подчиненных. Но это гораздо лучше изложено в военных уставах. Да, еще вы показываете, как трудно беднягам полководцам водить рукой по карте.

Галахов омрачился.

Быстро положив ему руку на руку через стол, Иннокентий сказал безо всякой насмешки:

— Николай! Неужели художественная литература должна повторять боевые уставы? или газеты? или лозунги? Например, Маяковский считал за честь взять газетную выдержку эпиграфом к стиху. То есть, он считал за честь не подняться выше газеты! Но зачем тогда и литература? Ведь писатель — это наставник других людей, ведь так понималось всегда? А большой писатель в стране — это, прости за дерзость, снижаю голос — как бы второе правительство. И поэтому никакой режим никогда не любил больших писателей, а только маленьких.

Свояки не так часто встречались, знали друг друга мало. Галахов осторожно ответил:

— То, что ты говоришь, справедливо лишь для буржуазного режима.

— Ну, конечно, — легко согласился Иннокентий. — У нас совсем другие законы. У нас удивительный пример литературы, созданной не для читателей, а для писателей.

— Ты хочешь сказать, нас мало читают? — Галахов был способен выслушивать и высказывать весьма горькие мысли обо всей литературе и о собственных книгах, но с одной надеждой он расстаться не мог: что его читают и много читают (как Ланский был уверен, что его критические статьи формируют вкус и даже характер народа). — Ты не прав. Читают нас, может быть, больше, чем мы заслуживаем.

Иннокентий вертнул кистью руки.

— Нет, я не то хотел... Ну, шут с ним... Мне тесть вина много наливал, потому я непоследователен. Коля, ты поверь: я не по родству, я действительно твой доброжелатель, что-то мне симпатично в тебе... И поэтому я сейчас в особом настроении спросить тебя... по-свойски... Ты — задумы-

вался ?.. как ты сам понимаешь свое место в русской литературе ? Вот тебя можно уже издать в шести томиках. Вот тебе тридцать семь лет, Пушкина в это время уже ухлопали. Тебе не грозит такая опасность. Но все равно, от этого вопроса ты не уйдешь — кто ты ? Какими идеями ты обогатил наш измученный век ?.. Сверх, конечно, тех неоспоримых, которые тебе дает социалистический реализм.

Переходящие складочки, как желвачки прошли по лбу Галахова, по щеке.

— Ты... касаешься трудного места... — ответил он, глядя на скатерть. — Какой же из русских писателей не примерял к себе втайне пушкинского фрака ?.. толстовской рубахи ?.. — Два раза он повернул свой карандашик плашмя по скатерти и посмотрел на Иннокентия ничего не прячущими глазами. Ему даже захотелось сейчас высказать то, что в литераторских компаниях невозможно было высказать. — Когда я был пацаном, в начале пятилеток, мне казалось — я умру от счастья, если увижу свою фамилию, напечатанную над стихотворением. И, казалось, это уже и будет начало бессмертия... Но вот...

Огибая и отодвигая пустые стулья, к ним шла Дотнара.

— Ини ! Коля ! Вы меня не прогоните ? У вас не очень умный разговор ? — она округлила губки.

Иннокентий изучающе посмотрел на нее. Все те же, что и девять лет назад, ниспадали к плечам ее свободные белокурые локоны. Она ждала ответа и поигрывала концами пояса блузы-реглан. Вишневый цвет блузы усилял румянец ее щек.

Давно Иннокентий не видел ее такою. Последние месяцы она старалась подчеркнуть свою независимость от него, особенность своих взглядов на жизнь. Но вот что-то переломилось в ней — или предчувствие разлуки вошло в ее сердце ? — отчего такой покорной и ласковой она стала. И хотя он не мог простить ей долгой полосы непонимания и отчужденности, хотя он сознавал, что не могла и она перемениться враз, — но эта ее покорность прошлась теплом по его душе, и он за руку притянул ее сесть рядом, хотя по их разговору было некстати. В ответ Дотти с гибкостью еще не располневшего тела, сев рядом с мужем, прильнула к нему ровно настолько, чтоб это оставалось приличным, но всем бы было видно, что она любит мужа и ей с ним хорошо. У Иннокентия мелькнуло, правда, что для будущего Дотти было бы лучше не показывать этой несуществующей близости. Однако, он мягко поглаживал ее руку в вишневом рукаве.

Белый костяной карандашик лежал без дела.

Облокотясь о стол, Галахов смотрел мимо супругов в большое окно, освещенное огнями Калужской заставы. Говорить откровенно о себе при бабах было и вовсе невозможно.

...Но вот... но вот... его стали печатать целыми поэмами; сотни театров страны, перенимая у столичных, ставили его пьесы; девушки списывали и учили его стихи; во время войны центральные газеты охотно предоставляли ему страницы, он испробовал силы и в очерке, и в новелле, и в критической статье; наконец, вышел его роман, и он стал лауреат сталинской премии. И что же? Странно: слава была, а бессмертия не было.

Он сам не заметил, когда и чем обременил и приземлил птицу своего бессмертия. Может быть, взмахи ее только и были в тех немногих стихах, заучиваемых девушками. А пьесы его, рассказы его и его роман умерли у него на глазах прежде, чем автор дожил до тридцати семи лет.

Но почему обязательно гнаться за бессмертием? Большинство товарищей Галахова ни за каким бессмертием не гналось, считая важней свое сегодняшнее положение, при жизни. Шут с ним, с бессмертием, говорили они, не важней ли влиять на течение жизни сейчас? И они влияли. Их книги служили народу, издавались в потрясающих тиражах, фондами комплектования рассылались по всем библиотекам, еще проводились специальные месячники проталкивания. Конечно, многой правды нельзя было написать. Но они утешали себя тем, что когда-нибудь обстоятельства изменятся, они непременно вернутся еще раз к этим событиям, переосветят их истинно, переиздадут, исправят старые книги. А сейчас следовало писать хоть ту четвертую, восьмую, шестнадцатую, ту, черт ее подери, тридцать вторую часть, которую можно было! — потому что лучше немножечко, чем ничего.

Но угнетало Галахова, что писать-то! — все трудней становилось писать каждую новую страницу. Он заставлял себя работать по расписанию, он боролся с зевотой, с ленивым мозгом, с отвлекающими мыслями, с прислушиванием, что пришел, кажется, почтальон, пойти бы посмотреть газетки. Он старался месяцами не заглядывать в Толстого, потому что толстовская навязчивая манера писать так и перла сама из его автоматической ручки. Он следил, чтобы в кабинете было проветрено и восемнадцать градусов Цельсия, чтобы стол был чисто протерт — иначе он никак не мог писать.

Начиная новую большую вещь, всякий раз он вспыхивал, клялся себе и друзьям, что теперь никому не уступит, что теперь-то напишет настоящую книгу. С увлечением садился он за первые страницы. Но очень скоро замечал, что пишет не один — что перед ним всплыл и все ясней маячит в воздухе образ того, для кого он пишет, чьими глазами он невольно перечитывает каждый только что написанный абзац. И этот Тот был не Читатель, брат, друг и сверстник читатель, не критик вообще — а почему-то всегда прославленный, главный критик Жабов.

Так и воображал себе Галахов Жабова, как он прочтет эту новую вещь и разразится против него огромной (уж так бывало) статьей на целую полосу «Литературки». Назовет он статью: «Из какой подворотни эти веяния?» или «Еще раз о некоторых модных тенденциях на нашем испытанном пути». Начнет он ее не прямо, начнет с каких-нибудь самых святых слов Белинского или Некрасова, с которыми только злодей может не согласиться. И тут же осторожненько вывернет эти слова, перенесет их совсем в другом смысле — и выяснится, что Белинский или Герцен горячо засвидетельствуют, что новая книга Галахова выявляет нам его фигуру антиобщественную, антигуманную, с шаткой философской основой.

И так, абзац за абзацем стараясь угадать контр-аргументы Жабова и приноровиться к ним, Галахов быстро ослабевал выписывать углы, и книга сама малодушно обкатывалась, ложилась податливыми кольцами.

И, уже зайдя за половину, видел Галахов, что книгу ему подменили, опять она не получилась...

— А черты нашего дипломата? — с погрустневшей улыбкой говорил Иннокентий, рассеянно поглаживая кисть жены. — Что ж. Ты и сам можешь их себе хорошо представить. Высокая идейность. Высокая принципиальность. Беззаветная преданность нашему делу. Личная глубокая привязанность к Иосифу Виссарионовичу. Неукоснительное следование инструкциям из Москвы. У некоторых сильное, у других — слабоватое знание иностранных языков. Ну, и еще у некоторых — большая привязанность к телесным удовольствиям. Потому что, как говорят, жизнь дается нам — один только раз... Но это уже не типично.

58

ЗУБР

Радович был давнишний и коренной неудачник: уже в тридцатые годы лекции его отменялись, книги не печатались, и сверх всего еще терзали его болезни: в грудной клетке он носил осколок колчаковского снаряда, пятнадцать лет у него тянулась язва двенадцатиперстной, да много лет он каждое утро делал себе мучительную процедуру промывания желудка через пищевод, без чего не мог есть и жить.

Но знающая меру в своих щедротах и в своих преследованиях, судьба этими самыми неудачами и спасла Радовича: заметное лицо в коминтерновских кругах, он в самые критические годы уцелел из-за того, что не выползал из больниц. За болезнями же перехоронился он и в прошлом году, когда всех сербов, оставшихся в Союзе, или загоняли в антититовское движение, или сажали в тюрьму.

Отчетливо понимая подозрительность своего положения, Радович чрезвычайным усилием сдерживался, не давая себе говорить, не давая вводить себя в фанатическое состояние спора, а пытался жить бледной жизнью инвалида.

И сейчас он сдерживался с помощью табачного столика. Такой столик — овальный, из черного дерева, стоял в кабинете особо с гильзами, машинкой для набивки гильз, набором трубок в штативе и большой перламутровой пепельницей. А около столика стоял табачный же шкафик из карельской березы с многочисленными выдвижными ящичками (как в аптеке с порошками), в каждом из которых жил особый сорт папирос, сигарет, сигар, табаков трубочных и даже нюхательного. Все это вместе и называлось «табачный алтарь».

Молча слушая теперь рассказ Словуты о подробностях подготовки бактериологической войны, об ужаснейших преступлениях японских офицеров против человечности, о которых тот судил по представленным ему следственным материалам, — Радович сладострастно разбирался и принюхивался к содержимому табачных ящичков, не решаясь, на чем

остановиться. Курить ему было самоубийственно, курить ему категорически запрещалось всеми врачами, — но так как ему запрещалось еще и пить, и есть (и сегодня за ужином он тоже почти не ел) — то обоняние и вкус его были особенно изощрены к оттенкам табака. Жизнь без курения казалась ему бескрылой. « Fumo, ergo sum » — курю, значит существую, — отвечал он на уговоры не курить и скручивал цыгарки из грубейшей базарной махорки, которую предпочитал в своих стесненных денежных обстоятельствах. В Стерлитамаке во время эвакуации он ходил к дедам на огороды, покупал л и с т , сам сушил и резал. В его холостом досуге работа над табаком тоже способствовала размышлениям.

Собственно, если бы Радович и « встрял » — он не сказал бы ничего ужасного, ибо он был марксист плоть от плоти и кровь от крови и обо всем рассуждал верно. Однако, непримиримая к малейшим отливам больше, чем к противоположным цветам, сталинская когорта тотчас бы срубила ему голову именно за то малое, в чем он отличался.

Но благополучным образом он смолчал, и разговор перешел от японцев к сравнительным качествам сигар, в которых Словута ничего не понимал и чуть не лишился дыхания от неосторожной затяжки. Затем к тому, что нагрузка у прокуроров с годами не только не уменьшается, но даже, при росте числа прокуроров, увеличивается.

— А что говорит статистика преступлений ? — спросил бесстрастно по виду Радович, закованный в броню своей пергаментной кожи.

Статистика ничего не говорила: она была и нема, и невидима, и никто не знал, жива ли она еще.

Но Словута сказал:

— Статистика говорит, что число преступлений у нас уменьшается.

Он не читал самой статистики, но читал, как в журнале выражались о ней.

И так же искренне добавил:

— А все-таки еще порядочно. Наследние старого режима. Испорчен народ очень. Испорчен буржуазной идеологией.

Три четверти шедших через суды выросли уже после семнадцатого года, но Словуте это не приходило в голову: он нигде этого не читал.

Макарыгин тряхнул головой — его ли в этом убеждают !

— Когда Владимир Ильич говорил нам, что к у л ь т у р н а я революция будет гораздо трудней Октябрьской — мы

не могли себе представить ! И вот теперь мы понимаем, как далеко он предвидел.

У Макарыгина был крутой окат головы и оттопыренные уши.

Курили, дружно наполняя кабинет дымом.

Кабинет Макарыгина был сборный. Письменный стол — чей-то древний, на восьми круглых коротких ножках под тумбочками; чернильный прибор — самый новейший, с изображением, чуть не в полметра высотой над столом, Спасской башни с часами и звездой. В двух массивных чернильницах (как бы вышках кремлевской стены) было сухо — кандидату юридических наук Макарыгину давно уже не приходилось что-нибудь дома писать, ибо на все хватало служебного времени, а письма он писал авторучкой. В книжных рижских шкафах за стеклами стояли кодексы, своды законов, комплекты журнала « Советское государство и право » за много лет. Большая советская энциклопедия старая (ошибочная, с врагами народа), Большая советская энциклопедия новая (все равно с врагами народа) и Малая энциклопедия (тоже ошибочная и тоже с врагами народа).

Всего этого Макарыгин давно уже не открывал, так как, включая и ныне действующий, но уже безнадежно отставший от жизни уголовный кодекс 1926 года — все это было успешно заменено пачкою самых главных, в большинстве своем секретных инструкций, известных ему каждая по своему номеру — 083 или 005 дробь 2742. Инструкции эти, сосредоточившие в себе всю мудрость судопроизводства, подшиты были в одной небольшой папке, хранящейся у него на работе. А здесь, в кабинете, книги держались не для чтения, а для почтения. Литература же, которую Макарыгин единственно читал — на ночь, а также в поездах и санаториях, укрывалась в шкафу непрозрачном и была детективная.

Над столом прокурора висел большой портрет Сталина в форме генералиссимуса, а на этажерке стоял маленький бюст Ленина.

Утробистый, выпирающий из своего мундира, с переливающейся через стоячий воротник шеей, Словута осмотрел кабинет и одобрил:

— Хорошо живешь, Макарыгин ! Зять-то старший лауреат — дважды ?

— Дважды, — удовлетворенно отозвался прокурор.

— А младший — советник не первого ранга ?

— Еще пока второго.

— Но боек, черт, до посла дослужит ! А самую младшую за кого выдавать думаешь ?

— Да упрямая девка, Словута, уж выдавал ее — не выдается. Засиделась.

— Образованная ? Инженера ищет ? — Словута, когда смеялся, отпыхивался животом и всем корпусом. — На восемьсот рубликов ? Уж ты ее за чекиста, за чекиста выдавай, надежное дело. Ну, спасибо, Макарыгин, что не забыл, не держи меня больше, ждут, да и одиннадцать скоро. А ты, профессор, тоже бувай здоров, не болей.

— Всего хорошего, товарищ генерал.

Радович встал попрощаться, но Словута не протянул ему руки. Радович оскорбленным презрительным взглядом проводил круглую объемную спину гостя, которого Макарыгин пошел довести до машины.

Оставшись один с книгами, Радович тотчас потянулся к ним. Проведя рукой вдоль полки, он после колебания вытянул один из томиков Плеханова и уже нес в кресло, да заметил на столе еще книжечку в пестроватом черно-красном переплете, прихватил и ее.

Но книга эта обожгла его неживые пергаментные руки. Это была только что изданная (и сразу в миллионе экземпляров) новинка: « Тито — Маршал предателей » какого-то Рено де Жувенеля.

За последнюю дюжину лет попадали в руки Радовича тьмы и тьмы книг хамских, холопских, насквозь лживых, но, кажется, такой мерзости он еще в руках не держал. Опытным взглядом старого книжника пробегая страницы новинки, он в две минуты выхватил себе — кому и зачем такая книга понадобилась, и что за гадина ее автор, и сколько новой желчи поднимет она в душах людей против не заслужившей того Югославии. И после фразы, оставшейся у него в глазах: « Нет нужды подробно останавливаться на мотивах, побудивших Ласло Райка сознаться; раз он признавался — значит был виноват», — Радович с гадливостью отшвырнул книгу.

Конечно ! Нет нужды подробно останавливаться на мотивах ! Нет нужды подробно останавливаться, как следователи и палачи били Райка, морили голодом, бессонницей, а может быть, распростерши на полу, носком сапога отщемляли ему половые органы (в Стерлитамаке старый арестант Адамсон, оказавшийся Радовичу с первых же слов тесно-близким, рас-

сказывал ему о тамошних приемчиках). Нет нужды! Раз он признался — значит, был виноват!..

Summa summarum сталинского правосудия!

Но слишком больным, слишком ранимым местом была Югославия, чтобы сейчас задевать ее в разговоре с Петром. И когда тот вернулся, невольным любовным взглядом косясь на новый орденок (« не так сам орденок, как то, что тебя не забывают »), Душан затаенно сидел в кресле, сложившись вдвое и приникнув к тому Плеханова.

— Ну, спасибо, Душан, ничего не ляпнул. Я боялся — ляпнешь! — сказал Макарыгин, вынул новую сигару и с размаху опустился на диван.

— А что я мог ляпнуть? — даже удивился Радович.

— Что ляпнуть? — обрезал сигару прокурор. — Мало ли что! У тебя все куда-то выпирает. — И закурил. — Вон он про японцев рассказывал — у тебя губы дрожали возражать.

Радович распрямился:

— Потому что за десять тысяч километров провокацией повanивает!

— Да ты с ума сошел, Душан! Ведь это партийное дело, как ты можешь говорить — провокация?

— Ничего не партийное! Словуты — это не партия! А почему именно сейчас, в сорок девятом году мы обнаружили их подготовку сорок третьего года? Ведь они у нас четыре года уже в плену. И если так рассуждать, кто же, ведя войну, не готовится к ее усилению? Все ты веришь? А колорадского жука нам сбрасывают американцы с самолетов? Да?

Оттопыренные уши Макарыгина покраснели.

— Вполне допускаю. А если и не сбрасывают, так государственная политика — это как со сцены: голос надо усилить, грим набавить, иначе до публики не дойдет.

Пергаментный Радович опять залистал Плеханова. Макарыгин молча курил, возвращаясь к какой-то потерянной мысли.

Мысль нашлась. Это была мысль о Кларе. По виду все было хорошо с дочерьми Макарыгина, но на самом деле с младшей, самой любимой, самой похожей на мать, уже давно творилось что-то неладное, а за последние месяцы особенно. Когда обедали втроем без гостей, то не отдых и не семейный уют получался за столом, а собачья свалка. Все простое человеческое, о чем можно было поговорить так, чтобы не нарушать пищеварения, Клара отвергала, а сворачивала на своих

« несчастненьких », с которыми работала и с которыми, видимо, потеряла осмотрительность и бдительность. Она ударялась в пафос, что там сидят невинные, ей ничего не стоило оскорбить отца, что это именно он, якобы, осуждает невинных, и потом подавиться от злости и убежать из-за стола, не доев.

А на днях отец застал Клару около серванта: на стойку его она поставила туфлю, лупила туда подсвечником, забивая гвоздь, и при этом пела — пела какие-то бессмысленные слова вроде « бей, барабан ! », но мотив показался отцу слишком знакомым. Он заметил, стараясь спокойнее:

— Для такой работы, Клара, можно другую песню выбрать. А « Слезами залит мир безбрежный » — с этой песней люди умирали, шли на каторгу.

Она же из упрямства, или черт знает из чего, ощетинилась:

— Подумаешь, благодетели ! На каторгу шли ! И теперь идут !

Как ? Прокурор даже осел от наглости и неоправданности сравнения. То есть до такой степени потерять всякое понимание исторической перспективы. Едва сдерживаясь, чтобы только не ударить дочь, он вырвал у нее туфлю из рук и хлопнул об пол:

— Да к а к ты можешь сравнивать ! Партию рабочего класса и фашистское отребье ? ! . .

Твердолобая, хоть кулаком ее в лоб, не заплачет ! Так и стояла, одной ногой в туфле, а другой в чулке на паркете:

— Брось ты, папа, декламировать ! Какой ты рабочий класс ? Ты два года когда-то был рабочим, а тридцать лет уже прокурором ! Ты — рабочий, а в доме даже молотка нет ! Рабочий, а тронуть руль без шофера боишься ! Бытие определяет сознание, сами нас научили.

— Да о б щ е с т в е н н о е бытие, дура ! И сознание — о б щ е с т в е н н о е !

— Какое это — общественное ? У одних хоромы, у других — сараи, у одних — автомобили, у других — ботники дырявые, так какое из них общественное ?

Отцу не хватало воздуха от извечной невозможности доступно и кратко выразить глупым юным созданиям мудрость старшего поколения:

— Ты вот глупа ! . . Ты . . . ничего не понимаешь и не учишься ! . .

— Ну, научи! Научи! На какие деньги ты живешь? За что тебе тысячи платят, если ты ничего не создаешь?

Хмурая молния пересекла потемнелое лицо Клары.

— Накопленный труд, идиотка! Читай Маркса! Образование, специальность — это накопленный труд, за него платят больше. А тебе в твоем институте платят тысячу восемьсот — за что?

Тут на крик ворвалась и жена и тоже напустилась на Клару, что надо было человека позвать, заплатить, сапожники на то есть, а нечего сервант портить и подсвечник.

...Сидя теперь на диване, Макарыгин замкнул веки и живо представил любимую и ненавистную дочь, как она с находчивостью осыпала его оскорблениями, как потом подняла брошенную туфлю и, хромая, ушла в свою комнату.

— Душан, Душан, — размягченно вздохнул Макарыгин. — Что мне с дочерью делать?

— С какой дочерью? — удивился Радович. Он продолжал листать и почитывать.

Лицо Макарыгина почти не сужалось книзу. Широкость и прямоугольность его лица весьма шли к суровой общественной обязанности прокурора. Большие же отставленные уши были ему как крылья сфинксу. Было странно видеть на этом лице выражение растерянное.

— Душан! Как это могло случиться? Когда мы гнали Колчака — могли мы думать, что такая будет нам благодарность от детей?

Он рассказал сцену с туфлей.

Радович достал из кармана грязноватый кусок замши и с волнением протирал им стекла очков. Близорукий без них, он ответил:

— Рядом со мной живет славный молодой человек, демобилизованный офицер. Между прочим рассказывает: селился он с солдатами всегда в одном блиндаже. И вот, кто ни приедет — подполковник, замполит, все укоряют: почему ты отдельного блиндажа себе не строишь? почему тебе ординарец не готовит отдельно? Ты, значит, сам себя не уважаешь! А зачем тебе офицерский паек дают?.. У парня наше воспитание, ленинское, — так нельзя! всем глаза колет! Командир полка просто приказал: «не позорь офицерского звания!» Вот намаются солдаты с перехода, он им: стройте мне блиндаж! тащите мне мебель туда! Начальство хвалит: давно бы так!

— Ну, так что ты хочешь? — нахмурился прокурор.

Неприятен с годами становился Душан. Из зависти, что у самого нет, хочет уколоть каждого.

— Что хочу ? — Радович надел очки и встал, сухой, прямой. — Девчонка права ! Нас об этом предупреждали. Надо уметь учиться и у врагов.

— Ты апелируешь к анархистам ? — изумился прокурор.

— Нет, Петр, я апелирую к партийной совести ! — воскликнул Душан и поднял руку с сухим перстом. — « Слезами залит мир безбрежный » ? И — накопленный труд ? А может быть — пакетики ? И ты получаешь тысяч восемь ? А уборщица двести пятьдесят рублей ?

Лицо Макарыгина стало вовсе прямоугольным. Щека она подергивалась.

— Ты — обезумел в своей пещере ! Ты утратил связь с реальной жизнью ! Что же мне — пойти завтра и просить, чтобы мне платили двести пятьдесят рублей ? А как я буду жить ? Да меня выгонят, как сумасшедшего ! Ведь другие-то не откажутся !

Разя перстом, как пикой, Радович в горячах подтверждал свои слова колющими движениями руки:

— Нужно железное оздоровление ! Нужно очиститься от этой буржуазной гнили ! Посмотри, чем ты оброс ? Петр ! В кого ты превратился ?

Макарыгин защитился распяленной ладонью.

— Да для чего тогда и жить ! За что мы боролись ? Вспомни Энгельса: « равенство » не значит равенства всех нулю ! Мы идем к тому, чтобы все преуспевали !

— За Энгельса ты не прячься ! По тебе вернее будет Фейербах: « Твоя первая обязанность — сделать счастливым себя самого ! Если ты счастлив, то ты делаешь также и других счастливыми ... ».

— Великолепно сказано ! — хлопнул ладонями Макарыгин. — Вот я не знал ! Покажешь мне это место.

— Ве-ли-ко-лепно ! — захохотал, не то закашлялся Радович, и в страшном хохоте этом затрясся его скелет. — Мораль уайльдовского мельника ! Хью ! Нет ! Кто сам двадцать лет не страдал, я б тому запретил упражняться в философии !

— Ты засохший фанатик ! Ты — мумия ! Ты — доисторический коммунист !

— Как быстро ты стал историческим ! — Радович с письменного стола схватил рамку с фотографией беловолосой женщины в кожанке с маузером. — А Лена со Шляпниковым

не была заодно, не помнишь ? Скажи спасибо, что умерла. Не то вряд ли бы тебя на Шахтинское дело взяли !

— Поставь ! — приказал побледневший Макарыгин. — Памяти ее не шевели ! Зубр ! Зубр !

— Нет, я не зубр ! Я хочу ленинской чистоты ! — Радович снизил голос. — У нас ничего не пишут. В Югославии — рабочий контроль на производстве. Там . . .

Макарыгин неприязненно усмехнулся.

— Ты — серб, сербу трудно быть объективным. Я это понимаю и прощаю. Помнишь, что Маркс писал о « балканском провинциализме » ? Балканы — это не весь мир.

— И тем не менее . . . — воскликнул Радович, но дальше осекся. Здесь была грань, за которой могла хрупнуть даже дружба, начавшаяся в красногвардейском отряде. Здесь была грань, за которой Петр Макарыгин не мог не стать прокурором.

Радович погас, смолк, съежился снова в маленького пергаментного человечка.

— Ну, договаривай, договаривай, зубр ! — враждебно требовал Макарыгин. — Значит, полуфашистский режим в Югославии — это и есть социализм ? А у нас значит — перерождение ? термидор ? Старые словечки ! Мы их давно слышали, только уж на том свете те, кто их произносили. Тебе осталось еще сказать, что в схватке с капиталистическим миром мы обречены на гибель. Да ?

— Нет ! Нет ! — убежденный и озаренный лучами провидения, снова всплеснулся Радович. — Этому не бывать ! Капиталистический мир разъедается несравненно худшими, антогонистическими противоречиями ! И, как предсказывали все коминтерновцы, я твердо верю: мы скоро будем свидетелями вооруженного столкновения за рынки сбыта между Соединенными Штатами и Англией !

59

ПЕРВЫМИ ВСТУПАЛИ В ГОРОДА

А в гостиной танцевали под радиолу, нового типа, очень большую. Пластинок у Макарыгиных был целый шкафик — и записи речей Отца Народов с его растягиваниями, мычанием и акцентом (как во всех благонастроенных домах они тут были, но, как все нормальные люди, Макарыгины их никогда не слушали); и песни «О самом родном и любимом», о самолетах, которые «первым делом», а «девушки потом» (но слушать их здесь было бы так же неприлично, как в дворянских гостиных всерьез рассказывать о библейских чудесах). Заводились же на радиоле сегодня пластинки импортные, не поступающие в общую продажу, не исполняемые по радио, и были среди них даже эмигрантские с Лещенкой.

В комнате, следующей за гостиной, верхнего света не зажгли: там стоял телевизор, и Клара включила его. Еще украшало ту комнату пианино, на котором со дня покупки никто никогда не играл, и с крышки его никогда не снималась пестрая дорожка. Телевизоры только-только появились, и экран имели с почтовый конверт. Изображение у Клары получилось дробное и сбивалось с экрана. Хотя как радио-инженеру ей полагалось и самой разобраться в неполадках, она позвала Женьку. Женька был уже сильно пьян, но дело разумел (он повседневно работал на много-мега-ваттной заглушке). Он еще нашел в себе силы наладить телевизор, пока его не разобрало больше.

Из гостиной остекленная дверь на балкон при раздвиге шелковых занавесей открывала оживленное снование Калужской заставы, фары автомобилей, красные и зеленые огоньки светофора, красные тормозные сигналы — под падающим, падающим снегом.

Мебель не давала простора сразу восьми парам, и танцевали посменно. Среди одушевленных в танцах лиц девушек и очень старательного выражения у лейтенанта внутренней службы выделялась извинительная улыбка Ланского, будто

он просил окружающих простить ему такое пустяковое занятие. Молодой референт не отходил от Динэры пока она, насладясь его смятением, не велела ему потанцевать с другой. Одна из Клариных сокурсниц, худощавенькая, приятная, весь вечер не сводила глаз с государственного молодого человека. Хотя он сторонился рядовой молодежи, но тут, устало польщенный, решил вознаградить ту худенькую танцем. Им достался ту-степ. А после него сразу раздалось общее требование о перерыве.

Одна из девочек башкирок стала разносить мороженое.

Государственный молодой человек отвел девушку в углубление балконной двери, куда были задвинуты два кресла, принес мороженого, похвалил, как она танцует. Она улыбалась ему и порывалась к чему-то. Он оглядел ее нервную шею, совсем не высокую грудь под тонкой блузкой и, пользуясь тем, что занавеси частью скрывали их от комнаты, благосклонно застиг ее руку на ее колене. Девушка взволнованно заговорила:

— Виталий Евгеньевич ! Это такой счастливый случай — встретить Вас здесь ! Не сердитесь, что я осмеливаюсь нарушить ваш досуг. Но в приемной Верховного Совета к вам невозможно попасть. — (Виталий снял свою руку с руки девушки). — У вас в секретариате уже полгода находится лагерная а к т и р о в к а моего отца, разбитого а лагере параличем, и мое прошение о помиловании. — (Виталий беззащитно откинулся в кресле и ложечкой сверлил шарик мороженого. Девушка же забыла о своем, неловко задела ложечку; та кувыркнулась, поставила пятно на ее платье и упала к балконной двери, где и осталась лежать). — У него отнята вся правая сторона ! Еще удар — и он умрет. Он — обреченный человек, зачем вам теперь его заключение ?

Губы референта перекривились.

— Знаете, это... н е т а к т и ч н о с вашей стороны — обращаться ко мне здесь. Наш служебный коммутатор — не секрет, позвоните, я назначу вам прием. Впрочем, отец ваш по какой статье ? По пятьдесят восьмой ?

— Нет, нет, что вы ! — с облегчением воскликнула девушка. — Неужели бы я посмела вас просить, если б он был политический ? Он по закону от седьмого августа !

— Все равно и для седьмого августа актировка отменена.

— Но ведь это ужасно ! Он умрет в лагере ! Зачем держать в тюрьме обреченного на смерть ?

Референт посмотрел на девушку в полные глаза.

— Если мы будем так рассуждать — что же тогда ос-

танется от законодательства ? — Он усмехнулся. — Ведь он осужден по суду ! Вдумайтесь ! Так что значит — « умрет в лагере » ? Кому-то надо умирать и в лагере. И если подошла пора умирать, так не все ли равно, где умирать ?

Он встал с досадой и отошел.

Его слова прозвучали с той убежденной простотой, против которой нечего возразить и искуснейшему в риторике.

Нетактичная девушка тихо пересекла гостиную, не замеченная Кларой, скользнула в столовую, где собирался чай и торты, оделась в коридоре и ушла.

А Клара возилась у телевизора, все ухудшая изображение на нем. (Женька же отходил в ванной).

Пропустив в двери помраченную худенькую девушку, Галахов, Иннокентий и Дотнара перешли в гостиную. Тут навстречу им вышел Ланский.

Мы всегда особенно любим тех, кто может нас оценить. Ланский тонко ценил то, что Галахов уже написал, и ждал от него еще большего — с тем бóльшим удовольствием Галахов сотрудничал с Ланским и продвигал его.

Алексей был сейчас в том особенно легком бальном настроении, когда скажешь и немного дерзко, — а все получается складно.

— Николай Аркадьевич — воскликнул он, светясь. — Признайтесь ! — в самой-рассамой глубине души вы ведь не писатель. А — кто ? . . — (Это было как повторение вопроса Иннокентия, и Галахов смутился). — Солдат !

— Конечно, солдат ! — мужественно улыбнулся Галахов.

И сощурился, как смотрят в даль. Ни от каких дней писательской славы не осталось в его сердце столько гордости и, главное, такого ощущения чистоты, как ото дня, когда его черт понес с пушкинской головой добираться до штаба полуотрезанного батальона — и попасть под артиллерийский шквал и под минный обстрел, и потом в блиндаже, растрясенном бомбежкой, поздно вечером обедать из одного котелка вчетвером с батальонным штабом — и чувствовать себя с этими обгорелыми вояками на равной ноге.

— Так разрешите вам представить моего фронтового друга капитана Щагова !

Щагов стоял прямой, не унижая себя выражением почтения. Большой ровный нос и широкое лицо придавали ему открытость.

Напротив, знаменитый писатель при виде боевых орденов,

медалей и двух нашивок ранений с размаху ударил рукой в рукопожатие:

« Майор Галахов ! » — улыбнулся он. — « Где воевали ? Ну, сядем, расскажите ».

И они уселись на ковровой тахте, потеснив Иннокентия и Дотти. Хотели усадить тут же и Ланского, но он сделал таинственный знак и исчез. Действительно, встреча фронтовиков не могла же произойти в сухую! Шагов рассказал, что с Ланским они подружились в Польше в один сумасшедший денек пятого сентября сорок четвертого года, когда наши с ходу вырвались к Нареву и заскочили за Нарев, чуть не на бревнах переправлялись, зная, что в первый день легко, а потом и зубами не возьмешь. Перли нахально сквозь немцев в узком километровом коридорчике, а немцы лезли перекусить коридор, и с севера сунули триста танков, а с юга двести.

Едва начались фронтовые воспоминания, Шагов потерял тот язык, на котором он ежедневно разговаривал в университете, Галахов же — язык редакций и секций, а тем более — тот взвешенный нарочитый язык, которым пишутся книги, и оба они выбились из языка гостиной, ибо стало просто невозможно на вытертом осторожном этом языке передать сочное и дымное фронтовое бытие. И даже после десятого слова им очень вознадобились ругательства, увы, немыслимые здесь.

Тут появился и Алексей с тремя рюмками и бутылкой недопитого коньяка. Он пододвинул стул, чтобы видеть обоих, и в руках стал им разливать.

— За солдатскую дружбу ! — произнес Галахов, щурясь.

Выпили.

— Не все ! — укоризненно поболтал Ланский бутылку на свет.

Разлил.

— За тех, кто не вернулся ! — поднял Шагов.

Выпили. Ланский воровато оглянулся и спрятал пустую бутылку за тахту.

Новое опьянение добавилось к старому. Алексей свернул рассказ в свою сторону: как в этот памятный день он, новоиспеченный военный корреспондент, за два месяца до того окончивший университет, впервые ехал на передовую, и как на попутном грузовичке (а грузовичок этот вез Шагову противотанковые мины) проскочил под немецкими минометами из Длугоседло в Кабат коридорчиком до того узким, что « северные » немцы жахали минами в расположение немцев « южных », и как раз в том же месте, в тот же день один

наш генерал возвращался из отпуска с семьей на фронт — и на виллисе занесся к немцам. Так и пропал.

Прислушивавшийся к ним Иннокентий спросил об ощущении страха смерти. Разогнавшийся Ланский поспешил сказать, что в такие отчаянные минуты смерть не страшна, о ней забываешь. Щагов, подняв бровь, поправил:

— Смерть не страшна, пока тебя не т р а х н е т. Сперва ничего не боишься, испытаешь — боишься всего. Но утешение то, что смерть как бы тебя не касается: ты есть — ее нет, она придет — тебя уже не будет.

На радиоле кто-то завел « Вернись ко мне, малютка ! »

Для Галахова воспоминания Щагова и Ланского были безынтересны — и потому, что он не был свидетелем той операции, не знал Длугоседло, Кабата и Нове-Място; и потому, что он был не из мелких корреспондентов, как Ланский, а из корреспондентов стратегических. Бои представлялись ему не вокруг одного изгнившего дощаного мостика и не на конопельных задах деревни, — а в широком обхвате, в генеральско-маршальском понимании их целесообразности.

И Галахов сбил разговор:

— Да. Война-война ! Мы попадаем на нее нелепейшими горожанами, а возвращаемся с бронзовыми сердцами... Алексей ! А у вас на участке « песню фронтовых корреспондентов » пели ?

— Ну, как же ! — и Ланский напел.

— Нэра ! Нэра ! — позвал Галахов. — Иди сюда ! « Фронтовую корреспондентскую » — споем, помогай !

Когда на смугловатом лице Галахова мелькали ровные белые зубы, — пропадало впечатление тяжелеющих его щек.

Динэра быстро подошла.

— Извольте, друзья ! — тряхнула она головой. — Извольте ! Я и сама фронтовичка !

Радиолу выключили, и они запели втроем, недостаток музыкальности искупая искренностью:

« От Москвы до Бреста
Нет на фронте места,
Где бы ни скитались мы в пыли,
С « лейкой » и с блокнотом,
Кто и с пулеметом,
Сквозь жару и стужу мы прошли.

Все стягивались их слушать. Молодежь с любопытством глазела на знаменитость, которую каждый день не увидишь.

От ветров и водки
Хрипли наши глотки,
Но мы скажем тем, кто упрекнет —
— С наше покочуйте,
С наше поночуйте,
С наше повоюйте хоть бы год!

Едва началась эта песня, Щагов, сохраняя всю ту же улыбку на губах, внутренне охолодел, и за свое неуместное увлечение ему стало стыдно перед теми, кого здесь, конечно, не было, кто глотали днепровскую волну еще в Сорок Первом и грызли новгородскую хвойку в Сорок Втором. Алексей Ланский был милый парень, а Галахов весьма уважаемый писатель — но они мало знали тот фронт, который обратили теперь в святыню. Даже смелейшие из корреспондентов, лезшие в самое чертово пекло (а таких не было большинство), — все равно от строевиков отличались так же непереходимо, как пашущий землю граф от мужика-пахаря: они не были уставом и приказом связаны с боевым порядком, и потому никто не возбранял им и не поставил бы в измену испуг, спасение собственной жизни, бегство с плацдарма. Отсюда зияла пропасть между психологией строевика, чьи ноги вросли в землю передовой, которому не деться никуда и, может быть, тут и погибнуть, и корреспондента с крылышками, который через два дня поспеет на свою московскую квартиру.

Там, где мы бывали,
Нам танков не давали,
Репортер погибнет — не беда,
И на «Эмке» драной
С кобурой нагана
Первыми вступали в города!

Это «первыми вступали в города» были — два-три анекдота, когда, плохо разбираясь в топографической карте, корреспонденты по хорошей дороге (по плохой «эмка» не шла) заскакивали в «ничей» город и, как ошпаренные, выскакивали оттуда назад.

Рассеянно поигрывая пальцами жены, Иннокентий слушал, понимая песню тоже по-своему. Войны он не знал совсем, но он знал положение наших корреспондентов. Наш корреспондент совсем не был тем беднягой-репортером, каким изображался в этом стихе — репортером, жизнью которого якобы не дорожат и который может потерять свою работу в газете, если опоздает с сенсацией. Наш корреспондент, едва

только он показывал свою книжечку, уже был принимаем как важный начальник, от которого надо постараться скрыть недостатки своего «хозяйства», а достоинства перед ним выпятить. Он воспринимался в месте своего приезда почти как имеющий право давать «установки». И самый успех корреспонденций его зависел не от быстроты и верности полученных сведений, а от правильного освещения этих сведений, от правильного мировоззрения. Имея же правильный взгляд на вещи, корреспондент, очевидно, не имел большой нужды лезть на такой плацдарм или в такое пекло, потому что правильное понимание он мог сформулировать и в тылу.

Кое-как наладив, наконец, телевизор и гордая этим, вышла из полутемной комнаты Клара и стала так, что Ланский увидел ее. С мыслью о том, что она мила, да можно сказать, что и стройна, и вообще действительно нравится ему, он улыбнулся ей ясными глазами и спел так последний куплет, в котором им троим уже подпевали:

«Выпьем за победу!
Выпьем за газету!
А не доживем, мой дорогой, —
Кто-нибудь услышит,
Кто-нибудь напишет,
Кто-нибудь помянет нас с тобой...»

Но не успели пропеть «с тобой», как где-то недалеко раздалось шипение, и вся квартира погрузилась во мглу.

— Раз-рыв! — крикнул голос, и смех раскатился среди молодежи. Только он стих, кто-то из молодых пошутил в темноту:

— Мика! Что ты делаешь? Это же не Люся, это я!

Опять смеялись. Потом говорили все вместе, ничего не предпринимая. В разных местах зажигали спички, дули на них, роняли непогашенные.

Окна светились. Из коридора башкирочка доложила хозяйке:

— На лестнице горит.

— А где Женька? Женька! Почини!

— Женька не может прийти, — отклонил чей-то мрачный уверенный голос.

— Надо монтера позвать! — скомандовала из столовой жена прокурора — Кларочка, позвони в электросеть!

— Не пускайте Клару! Зачем — монтера? Она сама может?

— Это, наверно, в телевизоре... — отозвалась Клара.

— Что за глупости, молодые люди? — строго спросила жена прокурора уже где-то близко. — Вы хотите, чтобы мне дочь убило током? Пожалуйста, кто желает исправить — исправьте. А иначе будем звонить.

Наступило неприятное молчание. К чему-то было сказано о телевизоре, не то дело было в тех пробках, которые что-то затыкают под потолком. Но сколько было их тут — полезнейших членов общества, обитателей двадцатого века — дипломат, писатель, литературный критик, референт высокого учреждения, драматический артист, пограничник, студент юридического факультета — никто из них не вызвался. И раздался лишь голос фронтовика в сапогах, чье присутствие некоторым казалось лишним:

— Разрешите, я. Клара Петровна, телевизор выключите, пожалуйста.

Щагов ушел в первый коридор, и башкирки ему там светили стеариновым огарком, фыркая. Башкирок сегодня хозяйка похвалила, и обещала по десятке заплатить сверх уговоренного. Они были очень довольны своей службой здесь и надеялись не к этой, но к следующей весне подзаработать и одеться так, чтобы выйти замуж в городе, а домой не возвращаться.

Когда свет снова зажегся — Клары не было на виду у гостей: во время темноты Ланский увлек ее во второй, непроходной коридор, и там они стояли за шкафом.

Ланский уже получил от нее согласие на встречу Нового года в «Авроре». Он праздновал, что эта девушка, беспокойная, насмешливая будет, не миновать, его женой и придирчивым другом, не дающим остановиться или расползтись. Он наклонился и целовал ее руки и узорчатые браслеты глухих рукавов.

Клара смотрела чуть сверху на его склоненную голову и задыхалась. Она не была виновата, что тот и этот оказались не один человек, а разных два. Она не была виновата, что наступило ее последнее предельное созревание и неумолимым законом природы она должна была, как сентябрьское яблоко, упасть в руки тому, кто ее подхватит.

60

ПОЕДИНОК НЕ ПО ПРАВИЛАМ

Там, на верхней койке, наедине то с круглым сводчатым потолком, как купол небес раскинувшимся над ним, то уткнувшись в разгоряченную подушку, которая представлялась ему лоном Клариного тела, Ростислав изнывал от счастья. Уже полдня прошло от поцелуя, стомившего его с ног, а ему все еще было жаль осквернить свои счастливые губы пустой речью или жадной едой.

« Ведь вы не могли бы меня о ж и д а т ь ! » — сказал он ей.

И она ответила:

« Почему не могла бы ? М о г л а б ы . . . »

. . . — Вот ты опять ускользаешь от честного мужского спора ! — раздавался почти под ним сочный звонкий молодой голос. — Т ы опять предпочитаешь забрасывать собеседника п т и ч ь и м и словами !

— А ты опять не говоришь, а заклинаешь ! Пифия ! Мавринская пифия ! Почему ты думаешь, что я горю желанием с тобой спорить ? Мне это, может быть, так же скучно, как вдалбливать старику-песочнику, что Солнце не ходит вокруг Земли. Нехай себе доживает, як знает !

— В тюрьме-то и поспорить ! А где же спорить ? На воле быстро попадешь, куда надо. А з д е с ь ты встречаешься с настоящими спорщиками ! — и уклоняешься ? Да ?

Сологдин и Рубин, как свороженные своими вечными разногласиями и каждый боясь оставить поле боя, чтоб это не было признано за его поражение, все сидели у опустевшего именинница. Адамсон давно ушел читать « Монте-Кристо ». Прянчиков убежал листать прошлогодний « Огонек », откуда-то появившийся. Проводив Кондрашева, Нержин пошел к дворнику Спиридону. Потапов, исполняя до конца обязанности хозяйки дома, помыл посуду, разнес тумбочки и лег, накрываясь подушкой от света и шума. Многие в комнате спали, другие тихо читали или переговаривались, и был тот

час, когда уже сомневаешься — не пропустил ли дежурный выключить свет, заменив его на синий. А Сологдин и Рубин всё сидели на пустой постели Прянчикова у последней оставленной тумбочки.

И Сологдин увещевал, тише и мягче:

— Настоящий спор, говорю тебе из опыта, производится как п о е д и н о к. По согласию выбираем посредника — хоть Глеба сейчас позовем. Берем лист бумаги, делим его отвесной чертой пополам. Наверху через весь лист, пишем содержание спора. Затем, каждый на своей половине, предельно ясно и кратко, выражаем свою точку зрения на поставленный вопрос. Чтобы не было случайной ошибки в подборе слова — время на эту запись не ограничивается.

— Ты из меня дурака делаешь, — полусонно возразил Рубин, опуская сморщенные веки. Лицо его над бородой выражало глубочайшую усталость. — Что ж мы, до утра будем спорить ?

— Напротив ! — весело воскликнул Сологдин, блестя глазами. — В этом-то и замечательность подлинного мужского спора ! Пустые словопрения и сотрясения воздуха могут тянуться неделями. А спор на б у м а г е иногда кончается в десять минут: сразу же становится очевидным, что противники или говорят о разных вещах, или ни в чем не расходятся. Когда же выявляется смысл продолжать спор — начинают поочередно записывать доводы на своих половинках листа. Как в поединке: удар! — ответ! — выстрел! — выстрел! И вот: невозможность увиливать, отказываться от употребленных выражений, подменять слова словами — приводит к тому, что в две-три записи явно проступает победа одного и поражение другого.

— И время — не ограничивается ?

— Для одержания истины — нет !

— А еще на эспадронах мы драться не будем ?

Воспламенившееся лицо Сологдина омрачилось:

— Вот так я и знал. Ты первый наскакиваешь на меня . ..

— По-моему, т ы первый ! . .

— . . . даешь мне всякие клички, у тебя их в сумке много: мракобес ! попятник ! — (он избегал иноземного непонятного слова « реакционер ») — увенчанный прислужник (значило: « дипломированный лакей ») поповщины ! . . У тебя набралось бранных слов больше, чем научных определений. Когда же я беру тебя за жабры и предлагаю ч е с т н о с п о р и т ь, — у тебя нет времени, нет охоты, ты устал !

Сологдина тянуло к спору, как всегда в воскресные вечера, которые он по своему распорядку отводил для забав. К тому ж сегодня у него во многом был день побед.

А Рубин действительно устал. Перед ним высилась новая, трудная и не очень-то симпатичная работа. Завтра с утра надо было в одиночку приниматься за создание целой новой науки, для этого уже с вечера беречь бы силы. И письма давно звали его, а он не писал. И еще звали Рубина монголофинский, испано-арабский и другие словари, Чапек, Хемингуэй, Синклер. И еще — то за комическим спектаклем суда, то за мелкими подколками соседей, то за именинным обрядом, целый вечер он не мог добраться до окончательной разработки одного важного проекта общегражданского значения.

Но тюремные законы спора держали его. Ни в одном споре Рубин не должен был быть побежден, ибо именно он представлял тут, на шарашке, передовую идеологию.

— Но о чем нам с тобой спорить ? — разводил руками Рубин. — Уж между нами все сказано.

— О чем ? Предоставляю выбор тебе ! — галантным широким жестом ответил Сологдин, как бы уступая выбор рода оружия и места дуэли.

— Так я выбираю: н и о ч е м !

— Это не по правилам !

Рубин с раздажением затеребил отструек черной бороды:

— По каким таким правилам ? Что еще за правила ? Что за инквизиция ? Пойми ты: чтобы плодотворно спорить, надо же иметь хоть какую-то общую основу, в каких-то основных чертах все же иметь согласие . . .

— Во-во ! Вот так ты и привык ! — только среди единомышленников ! А по-мужскому спорить ты не умеешь !

— А мы с тобой ? Ведь куда ни копни, за что ни возьмись . . . Ведь для тебя, например, дуэли и сейчас еще — лучший способ решения обид !

— А попробуй доказать обратное ! — откинулся Сологдин, сияя. — Если бы были дуэли — кто бы решился клеветать ? Кто бы решился отталкивать слабых локтями ?

— Да твои ж драчуны ! . . Для тебя вообще мрак Средних веков, тупое надменное рыцарство, крестовые походы — это чуть ли не зенит истории !

— Это — вершина человеческого Духа ! — выпрямляясь, подтвердил Сологдин. — Великолепное торжество духа над плотью ! Это с мечом в руках неудержимое стремление к святыням !

— И вьюки награбленного добра ? Ты — чистый конквистадор, понимаешь ?

— Ты мне льстишь ! ! — откинулся Сологдин, красуясь.

— Льщу ? ? Ужас ! Ужас ! ! — Рубин, показывая этот ужас, запустил пальцы обеих рук в свои редеющие на темени волосы. — Ты — докучный гидальго !

— А ты — библейский фанатик !.. то есть, одержимец ! — парировал Сологдин.

— Вот и разберись теперь сам: о чем же мы можем спорить ? О свойствах славянской души по Хомякову ? Об обновлении икон ?

— Хорошо, — согласился Сологдин. — Час поздний, и я не настаиваю, чтобы мы брали из главных вопросов. Но давай проверим самый прием спора-поединка на каком-нибудь легком изящном предмете. Я дам тебе на выбор несколько титлов (это значило — тем). Хочешь спорить по словесности ? Это — область твоя, не моя.

— Да что из словесности ?

— Ну, например — как надо понимать Ставрогина ?

— Об этом уже есть десятки критических...

— Они ни гроша не стоят ! Я их читал. Ставрогин ! Свидригайлов ! Кириллов ! — разве они понятны ? Они так сложны и непонятны, как бывают только в жизни ! В жизни редко мы узнаем человека сразу и никогда — до конца ! Всегда выскакивают какие-то неожиданности. Тем и велик Достоевский ! А словесники воображают, что могут нам просветить человека насквозь. Смешно.

Но заметив у Рубина движение уйти (сейчас как раз было время уйти, не подвергаясь бесславию), Сологдин быстро пошевельнулся:

— Хорошо ! Титл нравственный: о значении гордости в жизни человека !

Рубин скучающе пожал плечами:

— Неужели мы гимназистки ?

И приподнялся. Был почетный момент уйти.

— Хорошо, такой титл... — схватил его за плечо Сологдин.

— Да ну тебя, — отмахнулся Рубин не сердито. — На зубоскальство у меня нет времени, а серьезно поспорить ? Ты же — дикарь ! Пещерный житель ! У тебя же все в голове перевернуто ! На всей планете ты один остался, кто еще не признает трех законов диалектики. А из них вытекает все !

Сологдин светлой розовой ладонью отвел это обвинение:

— Почему не признаю ? Уже признаю.

— Ка-ак ? ? Ты — признал диалектику ? — Рубин вытянул большие мясистые губы трубочкой и нарочно засюсюкал. — Цыпочка ! Дай я тебя поцелую ! Признал ?

— Я не только ее признал — я над ней *думал* ! Я два месяца думал над ней по утрам ! А ты — не думал !

— Даже *думал* ? Золотко ! Ком-иль-фо'нчик ! — все продолжал держать губы трубочкой Рубин. — Может быть ты, боюсь спросить, и критерий практики в гносеологии признал ?

Сологдин нахмурился:

— Умение применять выводы на деле ? Так это и есть *вещное* знание.

— Ну, так тогда ты — стихийный материалист ! — Рубин еще не совсем вывел губы из трубочки. — Ну, немножечко примитивный. Но о чем же нам тогда спорить ?

— Как ? ! — возмутился Сологдин. — Опять не о чем ? Нет общей основы — не о чем спорить, есть общая основа — не о чем спорить ! Нет уж, теперь изволь спорить !

— Да что за насилие ? О чем спорить ?

Сологдин вслед за Рубиным тоже встал и решительно размахивал руками:

— Изволь ! Я принимаю бой на самых невыгодных для меня условиях. Я буду бить тебя оружием, вырванным из твоих же лап ! О том будем спорить, что *ты сам* трех великих законов не понимаешь ! Затвердил, как попугай, а над существом не задумывался. Могу тебя на них ловить и ловить !

— Ну, поймай ! — не мог не выкрикнуть Рубин, злясь на себя, но опять погрязая в спор.

— Пожалуйста. — Сологдин сел. — Присаживайся.

Рубин остался на ногах, не теряя надежды уйти.

— Ну, с чего б нам полегче ? — смаковал Сологдин. — Законы эти — указывают нам *направление* развития ? Или нет ?

— Направление ?

— Да ! ! Куда будет развиваться э-э... (он поперхнулся) ... процесс ?

— Конечно.

— И в чем ты это видишь ? Где именно ? — холодно допрашивал Сологдин.

— Ну, в самих законах. Они отражают нам движение.

Рубин тоже сел. Они стали говорить тише, по-деловому.

— Какой же именно закон дает направление ?

— Ну, не первый, конечно... Второй. Пожалуй, третий.

— У-гм. Третий — дает ? И как же его определить ?

— Что ?

— Направление, что !

Рубин нахмурился:

— Слушай, а зачем вообще эта схоластика ?

— Это — схоластика ? ? Ты не знаком с точными науками. Если закон не дает нам числовых соотношений, да мы еще не знаем и направления развития — так мы вообще ни черта не знаем. Хорошо. Давай с другой стороны. Ты легко и часто повторяешь: « отрицание отрицания ». Но что ты понимаешь за этими словами ? Например, можешь ты ответить: отрицание отрицания — в с е г д а бывает в ходе развития или не всегда ?

Рубин внутренне на мгновение задумался. Вопрос был неожидан, он не ставился так обычно. Но, как принято в спорах, не давая внешне понять заминки, поспешил ответить:

— В основном — да... Большей частью.

— Во-от ! ! — удовлетворенно взревел Сологдин. — У тебя целый жаргон — « в основном », « большей частью » ! Запутаешь так, что и концов не найти. Тебе скажи « отрицание отрицания » — и в голове у тебя отпечатано: зерно — из него стебель — из него десять зерен. Оскомина ! Надоело ! — Он как будто размахивал мечом, ворвавшись в толпу сарацин. — Отвечай прямо: к о г д а « отрицание отрицания » бывает, а когда — не бывает ? Когда его нужно ожидать, а когда оно невозможно ?

У Рубина следа не осталось его вялости, усталости, он подсобрался сам и собирал свои уже разбредшиеся мысли на этот никому не нужный, но все равно важный спор.

— Ну, какое это имеет практическое значение — « когда бывает », « когда не бывает » ? !

— Нич-чего себе ! Какое д е л о в о е значение имеет один из трех основных законов, из которых в с е выводится ! Ну, как с тобой разговаривать ? !

— Ты ставишь телегу впереди лошади ! — возмутился Рубин.

— Опять жаргон ! жаргон ! То есть, ф е н я...

— Телегу впереди лошади ! — настаивал Рубин. — А мы считали бы позором выводить конкретный анализ явлений

из готовых законов диалектики. И поэтому нам совсем не надо знать, « когда бывает », « когда не бывает » . . .

— А я вот тебе сейчас отвечу ! Но ты сразу скажешь, что ты это знал, что это понятно, само собой разумеется . . . Так слушай: если получение прежнего качества вещи в о з м о ж н о движением в о б р а т н о м направлении, то отрицания отрицания н е бывает ! Например, если гайка туго завернута и надо ее отвернуть — отворачивай. Тут обратный процесс, переход количества в качество, и никакого отрицания отрицания! Если же, двигаясь в обратном направлении, воспроизвести прежнее качество н е в о з м о ж н о, то развитие м о ж е т пройти через отрицание, но если только в нем допустимы повторения. Иначе: необратимые изменения будут отрицаниями лишь там, где возможно отрицание самих этих отрицаний !

— Иван — человек, не Иван — не человек, — пробормотал Рубин, — ты как на параллельных брусьях . . .

— С гайкой. Если, заворачивая ее, ты сорвал резьбу, то, отворачивая, уже не вернешь ей прежнего качества — целой резьбы. Воспроизвести это качество теперь можно только так: бросить гайку в переплав, потом прокатать шестигранный пруток, потом проточить и, наконец, нарезать новую гайку.

— Слушай, Митяй, — миролюбиво остановил его Рубин, — ну нельзя же серьезно излагать диалектику на гайке.

— Почему нельзя ? Чем гайка хуже зерна ? Без гайки ни одна машина не держится. Так вот, каждое из перечисленных состояний необратимо, оно отрицает предыдущее, а новая гайка по отношению к старой, испорченной, явится отрицанием отрицания. Просто ? — И он вскинул острую французскую бородку.

— Постой ! — усмотрел Рубин. — В чем же ты меня опроверг ? У тебя же самого и получилось, что третий закон дает направление развития.

С рукой у груди, Сологдин поклонился:

— Если бы тебе, Левчик, не была свойственна быстрота соображения, я бы вряд ли имел честь с тобой беседовать ! Да, дает ! Но то, что закон дает — надо научиться б р а т ь ! Ты — умеешь ? Не молиться закону — а работать с ним ? Вот ты вывел, что он-таки направление дает. Но ответим: всегда ли ? В живой природе — всегда: рождение, рост, гибель. А в неживой природе ? — далеко не всегда.

— Но нас больше всего интересует общество.

— Кого это — нас ? Я обществом не занимаюсь. Я —

зиждитель. Общество ? — я признаю только прекрасных дам. — И он в шутку поправил усы и сам рассмеялся.

— Ну, что ж, — раздумчиво сказал Рубин. — Может быть во всем этом и есть какое-то рациональное зерно. Но вообще — отдает словоблудием. Обогащения диалектики — не получилось.

— Словоблудие — у тебя ! — с новой запальчивостью отсек дланью Сологдин. — Если вы все выводите из этих трех законов . . .

— Да говорят тебе: н е выводим !

— Из законов — не выводите ? — изумился Сологдин.

— Нет !

— Так что они тогда — пришей кобыле хвост ?

— Слушай ! — Рубин стал вдалбливать собеседнику настойчиво, почти нараспев. — Ты — дуба кусок или человек ? Все вопросы решаются нами из конкретного анализа материала, разумеешь ? Всё экономическое учение выводится из товарной клетки. Любой общественный вопрос — из анализа классовой обстановки.

— Так что они вам ? — разорялся Сологдин, не сообразуясь с тишиной комнаты, — три закона ? — вообще не нужны ? !

— Нет, почему, очень нужны, — быстро оговорил Рубин.

— А зачем ? ! Если из них ничего не выводится ? Если даже и направления развития из них получать не надо, это словоблудие ? Если требуется только как попугаю повторять « отрицание отрицания » — так на черта они нужны ? . .

. . . Потапов, который тщетно пытался укрыться под подушкой от их все возрастающего шума, наконец сердито сорвал подушку с уха и приподнялся на постели:

— Слушайте, друзья ! Самим не спится — уважайте сон других, если уж . . . — и он показал пальцем на лежавшего наискосок на верхней койке Руську, — если уж не можете найти более подходящего места.

И рассерженность Потапова, любящего размеренный распорядок, и устоявшаяся тишина всей полукруглой комнаты, которая стала им теперь особенно слышна, и окружение стукачами (впрочем, Рубин свои убеждения мог всегда выкрикивать безбоязненно) — заставили бы очнуться всяких трезвых людей.

Эти же двое очнулись лишь чуть-чуть. Их долгий — не первый и не десятый — спор только начинался. Они поняли, что нужно выйти из комнаты, но не могли уже ни смолкнуть,

ни расцепиться. Они уходили, по дороге меча друг в друга словами, пока дверь коридора не поглотила их.

И почти сразу после их ухода белый погас, зажегся ночной синий.

Руська Доронин, чье ухо бодрствовало ближе всех к их спору, был, однако, далее всех от того, чтобы собирать на них « материал ». Он слышал недосказанный намек Потапова, понял его, хотя и не видел устремленного пальца — и испытал прилив неразрешимой обиды, вызываемой у нас упреками людей, чье мнение мы уважаем.

Когда он затевал эту острую двойную игру с оперуполномоченным, он все предвидел, он провел бдительность Шикина, был теперь накануне зримого торжества со с т а с о р о к а с е м ь ю рублями, — но он был беззащитен против подозрения друзей ! Его одинокий замысел, именно из-за того, что был так необычен и таен, — предавался презрению и позору. Его удивляло, как эти зрелые, толковые, опытные люди не имели достаточной широты души, чтобы понять его, поверить, что он — не предатель.

И, как всегда бывает, когда мы теряем расположение людей, — нам становится втройне дорог тот, кто продолжает нас любить.

А если она еще и женщина ? . .

Клара ! . . Она поймет ! Он завтра же откроется ей в своей авантюре — и она поймет.

И без всякой надежды, да и без всякого желания уснуть, он извивался в своей распаленной постели, то вспоминая пытливые Кларины глаза, то все более уверенно нащупывая план побега под проволоку овражком до шоссе, а там сразу автобусом в центр города.

А дальше там поможет Клара.

В семимиллионой Москве человека найти трудней, чем во всем обнаженном Воркутинском крае. В Москве-то и убежать . . .

61

ХОЖДЕНИЕ В НАРОД

Дружбу Нержина с дворником Спиридоном Рубин и Сологдин благодушно называли « хождением в народ » и поисками той самой великой сермяжной правды, которую еще до Нержина тщетно искали Гоголь, Некрасов, Герцен, славянофилы, народники, Достоевский, Лев Толстой и, наконец, Васисуалий Лоханкин.

Сами же Рубин и Сологдин не искали этой сермяжной правды, ибо обладали Абсолютной прозрачной истиной.

Рубин хорошо знал, что понятие « народ » есть понятие вымышленное, есть неправомерное обобщение, что всякий народ разделен на к л а с с ы, и даже классы меняются со временем. Искать высшее понимание жизни в классе крестьянства было занятием убогим, бесплодным, ибо только пролетариат до конца последователен и революционен, ему принадлежит будущее, и лишь в его коллективизме и бескорыстии можно почерпнуть высшее понимание жизни.

Не менее хорошо знал и Сологдин, что « народ » есть общее слово для совокупности людей мало интересных, серых, грубых, беспросветно занятых своим повседневным существованием. Колосс Духа зиждется не на их многочисленности. Лишь одинокие яркие личности, как звенящие звезды, разбросанные на темном небе бытия, несут в себе высшее понимание.

И оба знали, что Нержин переболеет, повзрослеет, одумается.

И, действительно, Нержин перебывал и пропутался уже во всех крайностях.

Изнывающая от боли за с т р а д а ю щ е г о б р а т а, русская литература прошлого века создала в нем, как во всех своих первочитателях, — в серебряном окладе и с нимбом седовласый образ Народа, соединившего в себе мудрость, нравственную чистоту, духовное величие.

Но это было отдельно — на книжной полке и где-то

т а м — в деревнях, в полях, на перепутьях девятнадцатого века. Небо же развернулось — двадцатого века, и мест этих под небом давно на Руси не было.

Не было и никакой Руси, а — Советский Союз, и в нем — большой город. В городе рос юноша Глеб, на него сыпались успехи из рога наук, он замечал, что соображает быстро, но есть соображающие и побыстрее его и подавляющие обилием знаний. И Народ продолжал стоять на полке, а понимание было такое: только те люди значительны, кто носит в своей голове груз мировой культуры, энциклопедисты, знатоки древностей, ценители изящного, мужи многообразованнные и разносторонние. И надо принадлежать к избранным! А неудачник пусть плачет.

Но началась война, и Нержин сперва попал ездовым в обоз и, давясь от обиды, неуклюжий, гонялся за лошадьми по выгону, чтобы их обратать или вспрыгнуть им на спину. Он не умел ездить верхом, не умел ладить упряжи, не умел брать сена на вилы, и даже гвоздь под его молотком непременно изгибался, как бы от хохота над неумелым мастером. И чем горше доставалось Нержину, тем гуще ржал над ним вокруг небритый, матернящийся, безжалостный, очень неприятный Народ.

Потом Нержин выбился в артиллерийские офицеры. Он снова помолодел, половчал, ходил обтянутый ремнями, и изящно помахивал сорванным прутиком, потому что другой ноши у него не бывало. Он лихо подъезжал на подножке мчащегося грузовика, задорно матерился на переправах, в полночь и в дождь был готов в поход и вел за собой послушный, преданный, исполнительный и потому весьма приятный Народ. И этот его собственный небольшой Народ согласно слушал его политбеседы о том большом Народе, который встал единой грудью.

Потом Нержина арестовали. В первых же следственных и пересыльных тюрьмах, в первых лагерях, тупым смертным боем ударивших по нему, он ужаснулся изнанке некоторых «избранных» людей: в условиях, где только твердость, воля и преданность друзьям являли сущность арестанта и решали участь его товарищей, — эти тонкие, чуткие, многообразованные ценители изящного оказывались частенько трусами, быстрыми на сдачу, изощренными в оправданиях своей подлости, они быстро вырождались в предателей, попрошаек и лицемеров. И самого себя Нержин увидел едва-едва не таким, как они. И он отшатнулся от тех, к кому прежде считал за

честь принадлежать. Теперь он стал ненавистно высмеивать, чему поклонялся прежде. Теперь он стремился опроститься, отбить у себя последние навычки интеллигентской вежливости и размазанности. В пору беспросветных неудач, в провалах своей перешибленной судьбы, Нержин счел, что ценны и значительны только те люди, кто своими руками строгает дерево, обрубает металл, кто пашет землю и льет чугун. У людей простого труда Нержин старался теперь перенять и мудрость все умеющих рук, и философию жизни. Так для Нержина круг замкнулся, и он пришел к моде прошлого века, что надо и д т и, спускаться в н а р о д.

Но за замкнутым кругом шел еще хвостик спирали, недоступный для наших дедов. Как тем, как образованным барам XIX столетия, образованному зэку Нержину для того, чтобы спускаться в народ, не надо было переодеваться и нащупывать лестничку: его просто турнули в народ, в изорванных ватных брюках, в заляпанном бушлате, и велели вырабатывать н о р м у. Судьбу простых людей Нержин разделил не как снисходительный, все время разнящийся и потому чужой барин, но — как сами они, не отличимый от них, равный среди равных.

И не для того, чтобы подладиться к мужикам, а чтобы заработать обрубок сырого хлеба на день, пришлось Нержину учиться и вколачивать гвоздь струною в точку, и пристрагивать доску к доске. И после жестокой лагерной выучки с Нержина спало еще одно очарование. Нержин понял, что с п у с к а т ь с я ему было дальше незачем и не к кому. Оказалось, что у Народа не было перед ним никакого кондового сермяжного преимущества. Вместе с этими людьми садясь на снег по окрику конвоя, и вместе прячась от десятника в темных закоулках строительства, вместе таская носилки на морозе и суша портянки в бараке, — Нержин ясно увидел, что люди эти ничуть не выше его. Они не стойче его переносили голод и жажду. Не тверже духом были перед каменной стеной десятилетнего срока. Не предусмотрительней, не изворотливей его в крутые минуты этапов и шмонов. Зато были они слепей и доверчивей к стукачам. Были падче на грубые обманы начальства. Ждали амнистии, которую Сталину было труднее дать, чем околеть. Если какой-нибудь лагерный держиморда в хорошем настроении улыбался — — они спешили улыбаться ему навстречу. А еще они были много жадней к мелким благам: «дополнительной» про-

кислой стограммовой пшенной бабке, уродливым лагерным брюкам, лишь бы чуть поновей или попестрей.

В большинстве им не хватало той точки зрения, которая становится дороже самой жизни.

Оставалось — быть самим собой.

Отболев, в который раз, каким увлечением, Нержин — окончательно или нет ? — понял Народ еще по-новому, как не читал нигде: Народ — это не все, говорящие на нашем языке, но и не избранцы, отмеченные огненным знаком гения. Не по рождению, не по труду своих рук и не по крылам своей образованности отбираются люди в народ.

А — по душе.

Душу же выковывает себе каждый сам, год от году.

Надо стараться закалить, отгранить себе такую душу, чтобы стать человеком.

И через то — крупицей своего народа.

62

СПИРИДОН

Рыжего круглоголового Спиридона, на лице которого без привычки никак было не отличить почтения от насмешки, Нержин выделил сразу по его приезде на шарашку. Хотя были тут еще и плотники, и слесари, и токари, но чем-то ядреным разительно отличался от них Спиридон, так что не могло быть сомнения, что он-то и есть тот представитель Народа, у которого следовало ч е р п а т ь.

Однако, Нержин испытал затрудненность: не мог найти повода познакомиться со Спиридоном ближе, еще не было о чем им говорить, не встречались они по работе и жили врозь. Небольшая группа р а б о т я г жила на шарашке в отдельной комнате, отдельно проводила досуг, и когда Нержин стал нахаживать к Спиридону — Спиридон и его соседи по койкам дружно определили, что Нержин — в о л к и рыскает за добычей для к у м а.

Хотя сам Спиридон считал свое положение на шарашке последним, и нельзя было себе представить, зачем бы оперуполномоченные его обкладывали, но, так как они не брезгают никакой падалью, следовало остерегаться. При входе Нержина в комнату Спиридон притворно озарялся, давал место на койке, и с глупым видом принимался рассказывать что-нибудь за-тридевять-земельное от политики: как трущуюся рыбу бьют остями, как ее в тиховодье рогаткой лозовой цепляют под з я б р ы, а и ловят в сетя; или как он ходил «по лосей, по медведя рудóго» (а черного с белым галстуком медведя остерегайся!); как травой медуницей змей отгоняют, дятловка же трава для косьбы больно хороша. Еще был долгий рассказ, как в двадцатые годы ухаживал он за своей Марфой Устиновной, когда она в сельском клубе в драмкружке играла; ее прочили за богатого мельника, она же по любви договорилась бежать со Спиридоном — и на Петров день он на ней женился украдом.

При этом малоподвижные больные глаза Спиридона из-

под густых рыжеватых бровей добавляли « Ну, что́ ходишь, волк ? Не разживешься, сам видишь ».

И действительно, любой стукач давно б уж отчаялся и покинул неподатливую жертву. Ничьего любопытства бы не хватило терпеливо ходить к Спиридону каждый воскресный вечер, чтоб слушать его охотничьи откровения. Но Нержин, поначалу заходивший к Спиридону с застенчивостью, именно Нержин, ненасытно желавший здесь, в тюрьме, разобраться во всем не додуманном на воле, — месяц за месяцем не отставал и не только не утомлялся от рассказов Спиридона, но они освежали его, дышали на него сыроватой приречной зарею, обдувающим дневным полевым ветерком, переносили в то единственное в жизни России семилетие — семилетие НЭПа, которому ничего не было равного или сходного в сельской Руси — от первых починок в дремучем бору, еще прежде Рюриков, до последнего разукрупнения колхозов. Это семилетие Нержин захватил несмышленышем и очень жалел, что не родился раньше.

Отдаваясь теплому оскрипшему голосу Спиридона, Нержин ни разу лукавым вопросом не попытался перескочить на политику. И Спиридон постепенно начал доверять, неизнудно и сам окунался в прошлое, хватка постоянной настороженности отпускала, глубоко-прорезанные бороздки его лба разморщивались, красноватое лицо осветлялось тихом свечением.

Только потерянное зрение мешало Спиридону на шарашке читать книги. Приноровляясь к Нержину, он иногда вворачивал (чаще — некстати) такие слова, как « принц », « пириод » и « аналогично ». В те времена, когда Марфа Егоровна играла в сельском драмкружке, он там слышал со сцены и запомнил имя Есенина.

— Есенина ? — не ожидал Нержин. — Вот здорово ! А у меня он здесь на шарашке есть. Это ведь редкость теперь. — И принес маленькую книжечку в суперобложке, осыпанной изрезными кленовыми осенними листьями. Ему было очень интересно, неужели сейчас свершится чудо: полуграмотный Спиридон поймет и оценит Есенина.

Чуда не совершилось, Спиридон не помнил ни строчки из слышанного прежде, но живо оценил « Хороша была Танюша », « Молотьбу ».

А через два дня майор Шикин вызвал Нержина и велел сдать Есенина на цензурную проверку. Кто донес — Нержин не узнал. Но воочью пострадав от кума и потеряв Есенина как бы из-за Спиридона, Глеб окончательно вошел в его до-

верие. Спиридон стал звать его на «ты» и беседовали они теперь не в комнате, а под пролетом внутритюремной лестницы, где их никто не слышал.

С тех пор, последние пять-шесть воскресений, рассказы Спиридона заблистали давно желанной глубиной. Вечер за вечером перед Нержиным проходила жизнь одной единственной песчинки — русского мужика, которому в год революций было семнадцать лет, и перешло уже сорок, когда начиналась война с Гитлером.

Какие водопады ни низвергались через него! какие валы ни обтачивали рыжий окатыш головы Спиридона! В четырнадцать лет он остался хозяином в доме (отца взяли на германскую, там и убили) и пошел со стариками на покос («за полдня косить научился»). В шестнадцать работал на стекольном заводе и ходил под красными знаменами на сходку. Как землю объявили крестьянской — кинулся в деревню, взял надел. Этот год он с матерью и с братишками, с сестренками славно спину наломал и к Покрову был с хлебушком. Только после Рождества стали тот хлеб сильно для города потягивать — сдай и сдай. А после Пасхи и год Спиридонов, кому восемнадцать полных, пошел девятнадцатый — дернули в Красную Армию. Идти в армию от землицы никакого расчета Спиридону не было, и он с другими парнями подался в лес, и там они были з е л е н ы м и («нас не трогай — мы не тронем»). Потом все ж и в лесу стало тесно, и угодили они к белым (тут белые наскочили ненадолго). Допрашивали белые, нет ли средь их комиссара; такого не было, а вожака их стукнули для острастки, остальным велели надеть кокарды трехцветные и дали винтовки. А вообще-то порядки у белых были старые, как и при царе. Повоевали маненько за белых — забрали в плен красные (да и не отбивались-то особо, сами подались). Тут красные офицеров расстреляли, а солдатам велели с шапок кокарды снять, надеть бантики. И утвердился Спиридон в красных до конца гражданской. И в Польшу он ходил, а после Польши их армия была трудовая, никак домой не пускали, и еще потом на масляной повезли их к Питеру и на первой неделе поста ходили они прямо по морю по льду, форт какой-то брали. Только после этого Спиридон домой вырвался.

Воротился он в деревню весной и накинулся на землицу родную, отвоеванную. Воротился он с войны не как иные — не разбалованный, не ветром подбитый. Он быстро окреп

(« кто хозяин хорош — по двору пройди, рубль найдешь »), женился, завел лошадей...

Хоть власть и подпиралась бедняками, но в ту пору людям хотелось не беднеть, а богатеть, и бедняки, как и Спиридон, тоже к обзаводу тянулись, — кто работать любит, конечно. И пустили тогда по ветру слово такое: интенсивник. Слово это значило — кто хозяйство хочет вести крепко, но не на батраках (батраков иметь — ума не надо), а — по науке, со сметкой. И стал тогда Спиридон Егоров с жениной помощью — интенсивник.

« Хорошо жениться — полжизни » — всегда говорил Спиридон. Марфа Устиновна была главное счастье и главный успех его жизни. Из-за нее он не пил, сторонился пустых сборищ. Она приносила ему детей-кажегодков, двух сыновей, потом дочь, — но рождение их ни на пядень не отрывало ее от мужа. Она свою пристяжку тянула — сколотить хозяйство! Была она грамотна, читала журнал « Сам себе агроном » — и так Спиридон стал интенсивником.

Интенсивников приласкивали, им давали ссуды, семена. К успеху шел успех, к деньгам деньги, уж затевали они с Марфой строить кирпичный дом, не ведая, что доброденствию такому подходит конец. Спиридон в почете был, в призидим его сажали, герой гражданской войны и в коммунистах уже.

И тут-то они с Марфой начисто сгорели — еле детей выхватили из огня. И стали — голота, ничто.

Но горевать долго им не привелось. Еле стали они из погорельцев выдираться, как прикатило из далекой Москвы — раскулачивание. И всех тех интенсивников, без разума выращенных, теперь без разума же перекропляли в кулаки и изводили. И порадовалась Марфа со Спиридоном, что не успели кирпичного дома отгрохать.

В который раз судьба человеческая закидывала загадки, и беда обертывалась прибытком.

Вместо того, чтобы под конвоем ГПУ ехать умирать в тундру, Спиридон Егоров был сам назначен « комиссаром по коллективизации » — сбивать народ в колхозы. Он стал носить устрашающий револьвер на бедре, сам выгонял из дому и отправлял с милицией, наголо без скарбу, кулаков и не кулаков — кого нужно было по разнарядке.

И на этом, как и на других изломах своей доли, Спиридон не доступен был легкому пониманию и классовому анализу. Нержин теперь не упрекал, не развереживал Спиридона, но можно было понять, что мутно сошлось у того на душе. Стал

он тогда пить и пил так, как если б вся деревня раньше была его, а теперь он всю спускал. Он принял чин комиссара, но распоряжался плохо. Он не доглядывал, что крестьяне скот вырезают, приходят в колхоз без рога живого, без живого копыта.

За все то Спиридона изгнали с комиссаров, да на этом не остановились, а сразу же велели ему руки взять назад, и с обнаженными наганами, один милиционер сзади, другой спереди, повели его в тюрьму. Судили его быстро («у нас весь пириод никого долго не судят»), дали ему десять лет за «экономическую контрреволюцию» и отправили на Беломорканал, а когда кончили Беломор — на канал Москва-Волга. На каналах Спиридон работал то землекопом, то плотником, пайку получал большую, и только за Марфу, оставленную с тремя детьми, ныла его душа.

Потом Спиридону вышел пересуд. Экономическую контрреволюцию ему сменили на «злоупотребление» и тем он из социально-чуждых стал социально-близкий. Его вызвали и объявили, что теперь доверяют ему винтовку самоохраны. И хотя еще вчера Спиридон, как порядочный зэк, бранил конвоиров последними словами, а самоохранников — еще круче, — сегодня он взял эту протянутую ему винтовку и повел своих вчерашних товарищей под конвоем, потому что это уменьшало срок его заключения и давало сорок рублей в месяц для отсылки домой.

Вскоре начальник лагеря, у которого было две ромбы, поздравил его с освобождением. Спиридон документы выписал не в колхоз, а на завод, забрал туда Марфу с детьми и в короткое время уже попал на заводскую красную доску как один из лучших стеклодувов. Он гнал сверхурочные, чтобы наверстать все, что потеряно было с самого пожара. Уже их мысли были о маленькой хатенке с огородом и как учить дальше детей. Детям было пятнадцать, четырнадцать и тринадцать, когда грохнула война. Очень быстро фронт стал подходить к их поселку.

На каждом повороте Спиридоновой судьбы Нержин теперь притаивался, ожидая, что еще выкинет Спиридон. Он уж предполагал, не останется ли Спиридон ждать немцев, тая злость за лагерь. Но нет! Спиридон вел себя поначалу как в лучших патриотических романах: что было добра — закопал в землю, и как только оборудование завода отправили вагонами, а рабочим раздали телеги, — посадил на тую телегу троих детей и женку и — «лошадь чужая, кнут не свой, по-

гоняй не стой!» — от Почепа отступал до самой Калуги, как многие тысячи других.

Но под Калугою что-то хрустнуло, что-то нарушилось, куда-то их поток разбился, уже стали их не тысячи, а только сотни, да и то мужчин намерялись а первом же воекомате забрать в армию, а чтоб семьи ехали дальше сами.

И вот тут-то, лишь только ясно стало, что с семьей ему теперь подкатило расставаться, Спиридон, как будто и не сомневаясь в своей правоте, отбился в лесу, переждал линию фронта — и на той же телеге, и на лошади той же, но уже не безразлично-казенной, а хранимой, своей — повез семью назад, от Калуги до Почепа и вернулся в исконную свою деревню и поселился в свободной чьей-то хате. И тут сказали: из колхозной бывшей земли бери сколько можешь обработать-обрабатывай. И Спиридон взял, и стал пахать ее и засевать безо всяких угрызений совести, и не очень-то следя за сводками войны, работая уверенно и ровно, как если б то шли далекие годы, когда ни колхозов не было еще, ни войны.

Приходили к нему партизаны, говорили — собирайся, Спиридон, воевать надо, а не пахать. — Кому-то и пахать, — отвечал Спиридон. И от земли не пошел.

Тогда партизаны подноровили убить немецкого мотоциклиста, да не за околицей, а посередке деревни их. Знали партизаны немецкие правила. Прикатили сразу немцы, всех выгнали из домов и дочиста сожгли всю деревню.

И опять не засомневался ничуть Спиридон, что пришла пора считаться с немцами. Отвез он Марфу с детьми к ее матери и тотчас пошел к тем самым партизанам в лес. Ему дали автомат, гранаты, и он добросовестно, со сметкой, как работал на заводе или на земле, подстреливал немецкие дозоры у полотна, отбивал обозы, помогал мостики рвать, а по праздникам ходил к семье. И получилось, что как-никак, а он — с семьей.

Но возвращался фронт. Хвастали даже, что Спиридону дадут партизанскую медаль, как наши придут. И объявлено было, что теперь примут их в Советскую армию, конец их лесной жизни.

А из того села, где Марфа теперь жила, стронули немцы всех жителей, пацан прибежал, рассказал.

И в момент, не дождавшись наших и ничего больше не дожидаясь, никому не сказавшись, Спиридон покинул автомат и д в е д и с к и и погнал за своей семьей. Он втерся в их поток как цивильный и опять вровень с той же телегой и,

похлестывая тую же лошадку, подчиняясь в чем-то видимой им правоте нового решения, зашагал по запруженной дороге от Почепа до Слуцка.

Тут Нержин только брался за голову и раскачивался. Он переставал что-нибудь понимать. Но так как не воспитывать ему надо было Спиридона, а ставить социальный эксперимент, — то опять-таки он Спиридона не бередил, только спрашивал:

— И что ж дальше, Данилыч ?

Что ж дальше ! Мог, конечно, он опять в лес отбиться и отбивался раз, да встреча лихая вышла с бандитами, еле спас от них дочь. И еще поехал с потоком. А потом уж стал и думать, что наши ему не поверят, все равно припомнят, что в партизаны он не сразу пошел и убег оттуда, и уж семь бед, один ответ, — и доехал до Слуцка. А там сажали на поезда и давали талоны на питание аж до Рейнской области. Сперва прошел такой слух, что с детьми брать не будут — и Спиридон уже смекал, как поворачивать. Но взяли всех — и он бросил ни за так телегу с лошадью и уехал. Под Майнцем его с мальчиками определили на завод, а жену с дочкой поставили работницами к бауэрам.

И вот на том заводе однажды немецкий мастер ударил сына Спиридонова, младшенького. Спиридон не думал долго, а с топором подскочил и замахнулся на мастера. По законам германского рейха, дойди только до законов, замах такой значил — расстрел Спиридону. Но мастер остыл, подошел к бунтовщику и сказал, как передавал теперь Спиридон:

— Я сам — фатер. Я тебя — ферштэе, понимаю.

И не доложил дальше ! И узнал вскоре Спиридон, что в то самое утро мастер получил извещение о смерти сына в России.

Окаленный, с околоченными боками, Спиридон, вспоминая того рейнского мастера, не стыдясь, отирал слезу рукавом:

— После этого я на немцев не сердюся. Что хату сожгли и все зло этот фатер снял. Ведь проникся же человек ! — вот тебе и немец . . .

Но это было из редких, из очень редких потрясений в своей правоте, колебнувшее дух упрямого рыжего мужика. Все остальные тяжелые годы, во всех жестоких выныриваниях и окунаньях, никакие раздумки не обессиливали Спиридона в минуты решений. И так повседневной своей методикой Спиридон опровергал лучшие страницы Монтеня и Шаррона.

Несмотря на ужасающее невежество и беспонятливость

Спиридона Егорова в отношении высших порождений человеческого духа и общества — отличались равномерной трезвостью его действия и решения. И если знал он, что все деревенские собаки перестреляны немцами, то, хоть знал это не специально, а было это с ним, и отрубленную коровью голову клал спокойно в снежок, чего бы никак не сделал в другое время. И хоть никогда, конечно, не изучал он ни географии, ни немецкого языка, но когда со старшим сыном худо привелось им на постройке окопов в Эльзасе (еще и американцы с самолетов их поливали) — он убежал оттуда с сыном и, никого не спрашивая и не читая немецких надписей, днем перетаиваясь, одними ночами, по незнаемой земле, без дорог, прямо, как летает ворона, просек девяносто километров и дом в дом подкрался к тому бауэру под Майнцем, у которого работала жена. Там они и досидели в бункере в саду до прихода американцев.

Ни один из вечно-проклятых вопросов о критерии истинности чувственного восприятия, об адэкватности нашего познания вещам в себе — не терзал Спиридона. Он был уверен в том, что видит, слышит, обоняет и понимает все — неоплошно.

Так же и в учении о добродетели все у Спиридона было бесшумно и одно к одному подогнано. Он никого не оговаривал. Никогда не лжесвидетельствовал. Сквернословил только по нужде. Убивал только на войне. Дрался только из-за невесты. Ни у какого человека он не мог ни лоскутка, ни крошки украсть. А что, как он рассказывал, до женитьбы « клевал по бабам », — так и властитель дум наших Александр Пушкин признавался, что заповедь « не возжелай жены ближнего твоего » ему особенно тяжела.

И сейчас, в пятьдесят лет, заключенный, почти слепой, очевидно обреченный здесь, в тюрьме, умереть, — Спиридон не выказывал движения к святости, или к унынию, или к раскаянию, или тем более к исправлению (как это выражалось в названии лагерей), — но со старательной метлою своей в руках каждый день от зари до зари мел двор и тем отстаивал свою жизнь перед комендантом и оперуполномоченным.

Что любил Спиридон — это была земля.

Что было у Спиридона — это была семья.

Понятия « родина », « религия » и « социализм », не употребительные в будничном повседневном разговоре, были словно совершенно неизвестны Спиридону — уши его будто залегли для этих слов, и язык не изворачивался их употребить.

Его родиной была — семья.

Его религией была — семья.

И социализмом тоже была семья.

И всех царей, председателей, попов и сеятелей разумного-доброго-вечного, писателей и ораторов, строчил и крикунов, прокуроров и судей, которым на протяжении жизни было дело до Спиридона, он, по вынужденности беззвучно, в сердцах посылал:

— А не пошли бы вы на... ? !

63

КРИТЕРИЙ СПИРИДОНА

Над их головами ступени деревянной лестницы гудели и поскрипывали от переступов и шарканья ног. Иногда просыпался сверху истолченный прах и крохи мусора, но ни Спиридон, ни Нержин почти их не замечали.

Они сидели на неметенном полу в своих нечистых, давно заношенных, с задубившимися задами парашютных синих комбинезонах, охватив колени руками. Сидеть так, не подмостясь чурками, было не очень удобно, их малость запрокидывало, — оттого плечами и спинами они упирались в косо идущие доски, снизу пришитые к лестнице. Глаза же их смотрели прямо вперед, но тоже упирались — в облупленную боковую стену уборной.

Нержин, как всегда, когда нужно было что-то осознать, обнять мыслью, часто курил — и издавленные окурки складывал рядком у полусгнившего плинтуса, от которого вверх до лестницы шел треугольник грязной стены с обвалившейся штукатуркой. Спиридон же, хотя и получал, как все, папиросы « Беломорканал », еще раз своей обложкой напоминавшие ему о гиблой работе в гиблом краю, где едва не сложил он костей, — твердо не курил, подчиняясь запрету германских врачей, вернувших ему три десятых зрения одним глазом, вернувших свет.

К тем немецким врачам Спиридон сберег благодарность и почтение. Они ему, уже безнадежно слепому, вгоняли большую иглу в хребет, долго держали под повязками с мазью на глазах, потом сняли повязки в полутемной комнате и велели — « смотри ! » И мир забрезжил ! При свете тусклого ночника, казавшегося Спиридону ярким солнцем, он одним глазом различил темный очерк головы своего спасителя и, припав, поцеловал его руку.

Нержин вообразил себе всегда сосредоточенное, а в этот миг смягченное лицо глазного доктора с Рейна. Да, рыжим дикарем из восточных степей должен был казаться ему этот

освобожденный от повязок человек, чей теплый голос, чья захлебывающаяся благодарность так противоречили дикарскому поступку, приведшему его в больницу.

Это было уже после конца войны. Спиридон со всей семьей жил в американском лагере перемещенных лиц. И повстречался с ним односельчанин, сват, еще иначе называемый Спиридоном « сват-сучка » за какие-то дела при сколачивании колхоза. С этим сватом-сучкой они вместе ехали до Слуцка, а в Германии их раскидали. И вот теперь надо было благополучную встречу обмыть, и другого ничего не было — принес сват бутылку спирту. Спирт был неопробованный, и надпись немецкая не прочтена — зато бесплатно им достался. Что ж, и осмотрительный, недоверчивый, избегнувший тысячи опасностей Спиридон тоже ведь был не защищен от русского авося — ладно, откупоривай, сват ! Чокнул Спиридон полный стакан, а остальное в одномашку допил сват-сучка. Спасибо, хоть сыновей при том не было, а то б и им по стопочке досталось. Проснувшись после полудня, Спиридон испугался ранней темноты в комнате, высунулся в окно, но света было мало и там, и он долго не мог понять, как это у американского штаба через улицу и у часового верхней половины не было, а нижняя была. Он еще хотел скрыть беду от Марфы, но к вечеру пелена полной слепоты застлала и нижнюю часть его глаз.

А сват-сучка умер.

После первой операции глазные врачи сказали: год прожить в покое, потом сделают еще одну операцию, левый будет видеть совсем, а правый — наполовину. Они это точно обещали, и надо было бы дождаться, но — решила семья Егоровых ехать домой.

Внимательно посмотрел Нержин на Спиридона.

— Но ты-то, Данилыч, в общем представлял, что тебя здесь ждет ?

Все окруженье глаз Спиридона — и веки, и виски, и подглазья, были мелки-морщинисты. Он усмехнулся:

— Я-то ?.. Я, Глеба, верно знал, что залямчат. Правда, в листовках наши тискали — в обои ухи не уберешь: все, мол, вам, прощается, братья и сестры вас ждут, колокола звонят, а то, вроде, мол, и колохозов неволею не будет, а только кто хошь. Прямо хоть ботинки скидать, босиком сюдою бечь... Только листовкам тем я не верил и что от тюрьмы-терпихи мне не уйтить — знал.

Короткие жесткие усы его, рыжие с проседью, чуть вздрагивали при воспоминании.

Марфе Устиновне я сразу сказал: девка, озеро в рот сулят, а из лужи лакнуть еще дадут ли ?.. Она мне, голову так легонько потрепавши: парень-парень, были б твои глазоньки, а там рассмотрим. Давай вторую операцию сделаем. Ну, а у детей всех трех дух загорелся: тятя! маманя! да домой! да на родину! Да что ж тут операцию ждать, что ж у нас в России глазных врачей нет ? Да мы немцев разбили, так кто раненых лечил?! Мы школу русскую кончать хотим! ... Старшенький-то у меня двух классов только и не доучился. Дочка Вера из слез не выхлюпывается — вы хотите, чтоб я за немца замуж пошла? Все кажется девке, что самого главного жениха она здесь упускает ... Эх, чешу в голове, детки-детки, врачи-то у нас в России есть, да мы ли до тех врачей доберемся ?.. Но так я думал, однако, что всю вину на меня опрокинут, дети — причем ? Меня посадят — а дети нехай живут.

И они поехали. На пограничной станции мужчин и женщин сразу же разделяли и дальше гнали в отдельных эшелонах. Семья Егоровых, всю войну продержавшаяся вместе, теперь развалилась. Никто не спрашивал, брянский ты или саратовский. Жену с дочерью безо всякого суда сослали в Пермскую область, где дочь теперь работала в лесхозе на бензопиле. Спиридона же с сыновьями спроворили за колючку, судили и за измену Родине влепили и сыновьям, как батьке, по д е с я т к е. С младшим сыном Спиридон попал в соликамский лагерь и хоть там еще попестовал его два года. А другого сына зашвырнули за Колыму.

Таков был д о м. Таковы были жених дочери и школа сыновей.

От волнений следствия, потом от лагерного недоедания (он еще сыну отдавал ежеден своих полпайки) не только не просветлялись очи Спиридона, но и меркло последнее левое. Средь той огрызаловки волчьей на какой-то глухой лесной подкомандировке просить врачей вернуть зрение было почти то, что молиться о вознесении живым на небо. Не только лечить глаза Спиридона, но и судить, где лечить их — не лагерной было серой больничке.

Сжав ладонями голову, размышлял Нержин над загадкой своего приятеля. Не сверху вниз и не снизу вверх смотрел он на этого мужика, пристигнутого событиями, — а касаясь плечом плеча и глазами вровень. Все беседы их уже давно, и чем дальше, тем острей, толкали Нержина к одному вопросу.

Вся ткань жизни Спиридона вела к этому вопросу. И, кажется, сегодня, наступила пора этот вопрос задать.

Сложная жизнь Спиридона, его непрестанные переходы от одной борющейся стороны к другой — не было ли это больше, чем простое самосохранение ? Не сходилось ли это как-то с толстовской истиной, что в мире нет правых и нет виноватых ? . . Не являла ли себя в этих почти инстинктивных поступках рыжего мужика — мировая система философского скептицизма ? . .

Социальный эксперимент, предпринятый Нержиным, обещал дать сегодня, здесь под лестницей, совершенно неожиданный и блестящий результат !

— Тошную я, Глеба, — говорил между тем Спиридон и намозоленной заскорблой ладонью с силой протер по небритой щеке, как будто хотел ссадить с нее кожу. — Ведь четыре месяца из дому писем не было, а ?

— Ты ж сказал — у Змея письмо ?

Спиридон посмотрел укоризненно (глаза его были пригашены, но никогда не казались остеклевшими, как у слепых от рождения, и оттого выражение их бывало понятно) :

— После четырех-то месяцев ? Что могет быть в том письме ?

— Как получишь завтра — прийди, прочту.

— Да уж вбежки к тебе.

— Может, на почте какое пропало ? Может, кумовья замотали ? Не волнуйся, Данилыч, зря.

— Чего — зря, как сердце скомит ? За Веру боюся. Двадцать один год девке, без отца, без братьев, и мать не рядом.

Этой Веры Егоровой Нержин видел фотографию, сделанную прошлой весной. Крупная девушка, налитая, с большими доверчивыми глазами. Сквозь всю мировую войну отец пронес ее и выхранил. Ручной гранатой он спас ее в минских лесах от злых людей, добивавшихся ее в пятнадцать лет изнасиловать. Но что он мог сделать теперь из тюрьмы ?

Нержин представил себе непродерный пермский лес; пулеметную стрельбу бензопил; отвратительный рев тракторов, трелюющих стволы; грузовики, зарывшиеся задом в болота и поднявшие к небу радиаторы как бы с мольбой; обозленных черных трактористов, разучившихся отличать мат от простого слова — и среди них девушку в спецовке, в брюках, дразняще выделяющих ее женские стати. Она спит с ними у костров;

никто, проходя, не упускает случая ее облапить. Конечно, не зря ноет сердце у Спиридона.

Но утешения звучали бы жалко-бесполезно. А лучше и его отвлечь и для себя утвердить в нем, что искал — противовес ученым своим друзьям. Не услышит ли он сейчас, здесь, народное сермяжное обоснование скептицизма, и сам тогда, может быть, утвердится на нем ?

Положив руку на плечо Спиридона, а спиной по-прежнему упираясь в косую подшивку лестницы, Нержин с затруднением, издалека, начал высказывать свой вопрос:

— Давно хочу тебя спросить, Спиридон Данилыч, пойми меня верно. Вот слушаю, слушаю я про твои скитания. Крученая у тебя жизнь, да ведь, наверно, не у одного тебя, у многих... у многих. Все чего-то ты метался, пятого угла искал — ведь не спроста ?.. Вернее, как ты думаешь — с каким... (он чуть не сказал — «критерием») ... с меркой какой мы должны понимать жизнь ? Ну, например, разве есть люди на земле, которые нарочно хотят злого ? Так и думают: сделаю-ка я людям зло ? Дай-ка я их прижму, чтоб им житья не было ? Вряд ли, а ? Может быть люди-то все хотят доброго — д у м а ю т, что доброго хотят, но все не безгрешны, не без ошибок, а кто и вовсе оголтелый — и вот причиняют люди друг другу столько зла. Убедят себя, что они хорошо делают, а на самом деле выходит худо. Ну, как вот по твоей пословице, что, мол, сеяли рожь, а выросла лебеда ?..

Наверно, не очень он ясно выражался. Спиридон косовато, хмуро смотрел, ожидая подвоха, что ли.

— А теперь если ты, скажем, ошибаешься, а я хочу тебя поправить, говорю тебе об этом словами, а ты меня не слушаешь, даже рот мне затыкаешь — так что мне делать ? Палкой тебя по голове ? Так хорошо если я прав, а если мне это только кажется, если я только в голову себе вбил, что я прав ? Или, может, и был я прав, да права мои вышли давно, уже остался я неправ ? Ведь жизнь-то меняется, а ? Ну, одним словом, так: если нельзя быть уверенным, что ты всегда прав, — так вмешиваться можно или нет ? Это мыслимо разве — человеку на земле разобраться: кто прав ? кто виноват ? Кто это может сказать ?

— Да я тебе скажу ! — с готовностью отозвался просветлевший Спиридон, с такой готовностью, будто спрашивали его, какой дежурняк заступит дежурить с утра. — Я тебе скажу: волкодав — прав, а людоед — нет !

— Как-как-как ? — задохнулся Нержин от простоты и силы решения.

— Вот так, — с жестокой уверенностью повторил Спиридон, весь обернувшись к Нержину и горячо дыша ему в лицо из-под усов: — Волкодав прав, а людоед — нет.

64

СЖИМАЯ КУЛАКИ

Заступивший дежурить с воскресного вечера скромный юный лейтенант с пятнышками квадратных усиков под носом прошел лично после отбоя верхним и нижним коридорами спецтюрьмы, разгоняя арестантов по комнатам спать (по воскресеньям они ложились всегда неохотно). Он прошел бы и второй раз, но не мог уже больше отойти от молодой тугонькой фельдшерицы санчасти. Фельдшерица имела в Москве мужа, но не было тому доступа к ней в запретную зону на целые сутки ее дежурства, и лейтенант очень рассчитывал сегодня ночью кое-чего добиться, она же с грубым смехом вырывалась и повторяла одно и то же:

— Перестаньте баловаться!

Поэтому разгонять заключенных во второй раз он послал за себя своего помощника старшину. Старшина видел, что лейтенант до утра из санчасти не выберется, проверять его не будет — и не стал очень стараться укладывать всех спать, потому что за много лет надоело и ему быть собакой и потому что понимал он — взрослые люди, которым завтра на работу, поспать не забудут.

А тушить свет в коридорах и на лестнице спецтюрьмы не разрешалось, ибо это могло способствовать побегу или бунту.

Так за два раза никто не разогнал Рубина и Сологдина, отиравших стенку в большом главном коридоре. Шел первый час ночи, но они забыли о сне.

Это был тот безысходный яростный спор, которым, если не дракой, нередко кончается русский обряд веселья.

Спор-поединок на бумаге у них так и не сладился. За этот час или больше Рубин и Сологдин уже перебрали и два других закона диалектики, и потревожили тени Гегеля и Фейербаха, — но на этих холодных далеких высотах ни за одну неровность не мог уцепиться их спор, ни на единой площадке не мог замедлить — а, ударяясь и ударяясь о груди их, скатывался в вулканическое жерло.

— Ты же — ископаемое ! ихтиозавр ! — изводился Рубин. — С такими дикими взглядами — как ты будешь жить на воле ? Разве общество может тебя принять ?

— Ка-кое общество ? ! — делал Сологдин изумленное лицо. — Сколько я себя помню — я помню себя не в обществе, а в тюрьме ! Вокруг меня — только колючка и надзиратели ! От того о б щ е с т в а, что за зоной, я оторван, вещно говоря, навсегда — так почему я должен приготовлять себя к нему ? . .

Они уже обспорили, т а к а я или не т а к а я растет молодежь.

— Да как же ты смеешь судить о молодежи ? ! — гневался Рубин. — Я с молодежью вместе воевал на фронте, ходил с ней в разведку, а ты о ней от какого-нибудь задрипанного свистуна на пересылке слышал. Двенадцать лет ты по лагерям киснешь, а и раньше — что ты видел в стране ? Патриаршьи Пруды ? Или выезжал по воскресеньям в село Коломенское ?

— С т р а н у ? Ты берешься судить о стране ? — кричал Сологдин, но сдерживаясь до придавленного звука, как будто его душили. — Позор ! Тебе — позор ! Сколько прошло людей в Бутырках, вспомни — Громов, Ивантеев, Яшин, Блохин, они говорили тебе трезвые вещи, они из ж и з н и своей тебе все рассказывали — так разве ты их слушал ? А здесь ? Вартапетов, потом этот, как его . . .

— Кто-о ? Зачем я их буду слушать ? Ослепленные люди ! Они же просто воют, как зверь, у которого лапу ущемили. Неудачу собственной жизни они истолковывают как крах вообще . . . мироздания. Их обсерватория — камерная параша, у них — кочка зрения, а не точка !

И дальше, и дальше они неслись, уже теряя расстановку доводов, связь мыслей последующих и предыдущих, совсем не видя и не ощущая этого коридора, где оставалось только два полуумных шахматиста за доской, да все время кашляющий старый куряка-кузнец и где так видны были их встревоженные размахивания рук, воспламененные лица да под углом друг к другу выставленные большая черная борода и аккуратненькая белокурая.

Каждый из них высматривал и преследовал только одно: найти бы такое место, куда побольней ударить другого.

Если бы вещество наших глаз могло бы плавиться от жара выражаемого ими чувства, — глаза Сологдина вытекли бы, с такой страстностью он смотрел на Рубина.

— С тобой разговаривать ! Никаким доводам разума ты не подвластен ! Подменить черное белым для тебя ничего не составляет ! И что меня особенно возмущает: ведь ты внутренне исповедуешь девиз — (сгоряча у него вырвалось иностранное слово, но оно было рыцарское) — « цель оправдывает средства ». А спросить тебя в лоб — признаешь ли ты его, ты отречешься ! Отречешься, я уверен !

— Нет, почему же ? — с успокоительным холодком вдруг ответил Рубин. — Лично для себя — не принимаю. Но если говорить в общественном смысле ? За всю историю человечества наша цель впервые столь высока, что мы можем и сказать: она — оправдывает средства, употребленные для ее достижения.

— Ах, вот даже как ! — увидев уязвимое рапире место, нанес Сологдин моментальный звонкий удар. — Так запомни: чем выше цель, тем выше должны быть и средства ! Вероломные средства уничтожают и саму цель!

— То есть, как это вероломные ? Чьи это — вероломные ? Может быть, ты отрицаешь средства — революционные ? Ты, может быть, отрицаешь и необходимость диктатуры ?

— Не утягивай ты меня в политику ! — отрицал Сологдин и на вытянутой руке указательным пальцем быстро покачивал, как острием шпаги, перед носом Рубина. — Я сижу по пятьдесят восьмой статье, но никогда политикой не занимался и не занимаюсь. Вот кузнец сидит неграмотный — он тоже по пятьдесят восьмой.

— Нет, ты скажи прямо ! — приступил Рубин. — Ты — диктатуру пролетариата признаешь ?

— О владычестве рабочих я и не заикался. Я задал тебе вопрос чисто нравственный: цель оправдывает средства или нет ? И ты ответил ! И разоблачил себя.

— Я не сказал, что — в личном смысле !

— Хотя бы и не в личном ! придавленно вскрикивал Сологдин. — От расширения нравственность не должна терять силу ! Значит, если сам ты убьешь или предашь — это злодейство. А Единственный и Непогрешимый ухлопает миллиончиков пять-десять — это закономерно и надо понимать в передовом направлении ?

— Это — несравнимые вещи ! Это разные качества !

— Да притворяешься ты ! Ты слишком умен, чтобы верить в это гадство ! Человек со здравым умом не может так думать ! Ты просто лжешь !

— Это ты лжешь ! Это у тебя все сплошная поза ! —

и идиотский « язык предельной ясности » ! И игра в рыцарей! И подделка личины под Александра Невского ! Все у тебя поза, потому что ты в жизни — неудачник ! И дрова твои — тоже поза !

— То-то ты на них ходить перестал ! Там же надо руками работать, не языком !

— Когда перестал ? Три дня ?

Спор их, нигде не задерживаясь, как ночной скорый мимо полустанков, мимо фонарей, то безлюдной степью, то сверкающим городом, проносился по темным и светлым местам их памяти — и все, что на мгновение выныривало, бросало неверный свет или неразборчивый гул на неудержимое качение их сцепившихся мыслей.

— Ты прежде примерил бы нравственность на себя ! — негодовал Рубин. — Как насчет цели и средств у тебя ? В личном смысле ? Ты вспомни, с чего ты начинал инженерную карьеру ! О чем мечтал ? Как Корейко, обязательно сорвать миллион . . . ?

— Вспомни и ты, как учил деревенских детей доносить на родителей ! . .

Они два года уже знали друг друга. И теперь все узнанное друг о друге в задушевных беседах они старались обернуть друг против друга как-нибудь самым обидным, самым уязвляющим способом. Они все припоминали сейчас и швыряли обвинительно. Их поединок не поднимался уже к вопросам общим, а спускался и спускался к личным, где можно было истязать друг друга особенно больно.

— Вот твои единомышленники, вот твои лучшие друзья ! — неистовствовал Сологдин. — Шишкин-Мышкин ! Не понимаю, почему ты себя от них отгораживаешь ? Что за лицемерие !

— Ты что ? . . — задохнулся Рубин. — Ты это говоришь . . . — серьезно ?

Нет, сам для себя Сологдин отлично знал, что Рубин — не стукач и не будет им, но очень уж был велик искус толкнуть его со зла в одну кучу с оперуполномоченными.

— Во всяком случае, — настаивал Сологдин, — с твоей стороны это было бы гораздо более последовательно. Раз тюремщики вершат правое дело — твоя обязанность помогать им по мере сил. И почему не п о с т у ч а т ь ? И Шикин тебе напишет хорошую характеристику. И твое дело пересмотрят . . .

— Это — кровью пахнет ! — сжал Рубин немалые свои

кулаки и приподнял их, как если бы хотел драться. — За такие слова морду бьют!

— Я говорю только, — по возможности сдержанно отвел Сологдин, — что было бы с твоей стороны более последовательно. Если цель оправдывает средства.

Рубин разжал ненужные кулаки и посмотрел на противника с презрением:

— Надо прежде принципы иметь! У тебя принципов нет! Болтовня абстрактная о Добре и Зле...

А Сологдин разъяснял свое:

— Ну, как же! Разбери. Поскольку мы все сидим — верно, только ты один — неверно, значит, тюремщики правы. Каждый год ты два раза пишешь просьбы о помиловании..

— Врешь. Не о помиловании, о пересмотре дела.

— Ка-кая разница?! Тебе отказывают, а ты все клянчишь. Вот ты не захотел спорить о значении гордости в жизни человека, а тебе очень даже надо гордости подзанять! Ты ради внешней свободы готов унижаться! Ты как собаченка, посаженная на цепь — над тобой силен тот, у кого в руках цепь!

— А ты — не в руках? — разъярился Рубин. — А ты бы не клянчил?

— Нет!

— Да у тебя просто возможности нет получить свободу! А была бы возможность, так не то, чтобы клянчил — ты бы..

— Никогда! — отрекся Сологдин.

— Уж больно ты благороден! Ты посмеиваешься, как вкалывает Семерка, а если сам бы мог отличиться — так на брюхе бы пополз!

— Никогда!! — даже затрясся Сологдин.

— А я тебе говорю! — торжествовал Рубин. — Просто у тебя способностей не хватает отличиться. Просто зелен виноград! А мог бы что-нибудь сделать... А позовут — на брюхе поползешь!

— Докажи! — сжал кулаки теперь Сологдин. — Вот за это морду бьют!

— Дай срок — докажу! Дай мне... — год! Даешь год!

— Хоть десять!

— И я тебя поймаю! Но ты, конечно, подведешь диалектику, что «все течет, все меняется»

— Это для таких, как ты, «все течет, все меняется»! Не суди по себе!

65

ДОТТИ

Странные эти отношения между мужчиной и женщиной — ничего в них нельзя предвидеть, никакого в них нет направления, никаких законов им нет. Иногда покажется такой глухой тупик, что только сесть и выть: все слова сказаны — и зря, все доводы придуманы и разбиты. Но случайно перекрещиваются взгляды — и стена не взорвалась, а растаяла, и там, где темень была — ясный свет на простую понятную дорожку для двоих засиял.

Хоть и дорожку, может быть — только на минуту.

Сам для себя Иннокентий давно решил, что с Дотти у него все кончено — не могло не быть кончено по ее чужести и мелкости. Но ответная теплота к ней, вызванная сегодня в доме тестя ее покорностью — это теплота не минула, когда они ушли с людских глаз и возвращались домой в автомобиле. Они дружелюбно, как давно уже не бывало, обменивались впечатлениями о вечере, Иннокентий слушал соображения Дотти о Кларином замужестве — и невольно, безрассудно обнял жену вокруг плеч и взял ее за руку.

Ему вдруг вошла в голову такая мысль: если б эта женщина никогда бы не была ни его женой, ни любовницей, а заведомо принадлежала бы другому, и вот так бы он ее обнял в автомобиле — что бы он испытывал к ней ? Сразу стало ясно: он не пожалел бы усилий, чтобы добиться ее.

Почему же, если это его собственная жена, — кажется оскорбительным желать того же самого тела ?

Самое дикое и презренное было то, что именно такая — испорченная, побывавшая в чужих руках, она его и раззадоривала сейчас, тянула к себе не просто, а погибельно. Как будто что-то он должен был тем доказать, доказать. Что ? Кому ? . .

В гостиной, прощаясь с мужем, Дотти виновато прильнула головой к его груди, поцеловала куда-то в воротник и, понурясь, ушла. Иннокентий прошел к себе, переоделся для сна и вдруг почувствовал, что не может не пойти к Дотти.

Отчасти еще — весь вечер его окружала от ареста, как защитной броней, толпа поющих, гудящих разговорами, смеющихся людей — а теперь в одиночестве кабинета опять обнимал страх, и от страха этого тоже хотелось тепла и защиты.

И вот в халате со шнуровой отделкой и в беззвучных домашних туфлях он стоял перед дверьми жениной спальни и колебался. Еще не решив, постучать или нет, он слегка надавил на дверь пальцем. Дотнара всегда чего-то боялась и запиралась на ночь. Но сейчас дверь поддалась нажиму пальца.

Не постучав, Иннокентий вошел, отодвинул портьеру — и справа в углу увидел Дотти, в кровати, под своим фиолетово-серебристым одеялом с длинной мягкой ворсой.

Она должна была испугаться, но не пошевелилась.

Горела лампочка на низком столике у кровати и освещала ее нежное лицо, светлые рассыпанные волосы, плечи, руки и грудь в сорочке цвета телесного золота, где каждая сборка, прорез и кружевная прострочка, обдуманные неким искусником, представляли женщину во много раз притягательней, чем она была бы обнаженной.

В спальне было чуть жарковато, но Иннокентию даже приятно, он что-то зяб. Слабо пахло духами.

Он прошел к столику под дымчатой скатертью посреди комнаты и, вполоборота к ней, играя океанской раковиной, сказал неприязненно:

— Я сам недоумеваю, что к тебе пришел. Я не могу себе представить, чтоб между нами еще когда-нибудь что-нибудь было. — (Что он сам изменил жене в Риме, Иннокентий не говорил и не считал). — Но вот почему-то подумал — а что, если пойду ?

Волнуясь, он перепрокидывал ракушку и повернулся — одной головой — к женщине.

Он презирал себя.

Она чуть сползла щекой и виском с подушки и внимательно и ласково смотрела на него снизу, хотя вряд ли хорошо видела его лицо в комнатном полумраке, при абажуре ночника. В ее повиснувшей руке, окруженной пышными сборками у плеча и беспомощно оголенной от локтя, чуть держалась книга.

— А ты ляг ко мне п р о с т о , полежим немножко, — трогательно попросила она.

П р о с т о ? Просто — почему было не лечь ? Другое дело — не мог мужчина простить всего, что было.

Лежа ведь и разговаривать легче. Почему-то гораздо больше можно сказать, самое затаенное, если не сидеть друг против друга в креслах, а — обняться под одеялом.

И он сделал к ней несколько неуверенных шагов.

Она же отпахнула одеяло и держала его так, открывая теплую глубину.

Не заметив, как раздавил книгу, оброненную женой на ковер, Иннокентий лег в эту глубину, и за ним запахнулось.

66

БУЛАТНОЙ САБЛИ ОСТРЫЙ КЛИНОК

И наконец шарашка спала.

Спали двести восемьдесят зэков при синих лампочках, уткнувшись в подушку или откинувшись на нее затылком, бесшумно дыша, отвратительно храпя или бессвязно выкрикивая, сжавшись для пригрева или разметавшись от духоты. Спали на двух этажах здания и еще на двух этажах коек, видя во сне: старики — родных, молодые — женщин, кто — пропажи, кто — поезд, кто — церковь, кто — судей. Сны были разные, но во всех снах спящие тягостно помнили, что они — арестанты, что если они бродят по зеленой траве или по городу, то они сбежали, обманули, случилось недоразумение, за ними погоня. Того полного счастливого забытья от оков, которое выдумал Лонгфелло в « Сне невольника », — не было им дано. Сотрясенье незаслуженного ареста и десяти — и двадцатипятилетнего приговора, и лай овчарок, и молотки конвойных, и терзающий звон лагерного подъема — просочились к их костям сквозь все наслоения жизни, сквозь все инстинкты вторичные и даже первичные, так что спящий арестант сперва помнит, что он в тюрьме, а потом только ощущает жжение или дым и встает на пожар.

Спал разжалованный Мамурин в своей одиночке. Спала отдыхающая смена надзирателей. Равно спала и смена надзирателей бодрствующая. Дежурная фельдшерица в медпункте, весь вечер сопротивлявшаяся лейтенанту с квадратными усиками, недавно уступила, и теперь оба они тоже спали на узком диване в санчасти. И, наконец, поставленный в главной лестничной клетке у железных окованных врат в тюрьму серенький маленький надзиратель, не видя, чтоб его приходили проверять, и тщетно позуммерив в полевой телефон, — тоже заснул, сидя, положив голову на тумбочку, и не заглядывая больше, как должен был, сквозь окошечко в коридор спецтюрьмы.

И, люто подстережа этот глубокий ночной час, когда мавринские тюремные порядки перестали действовать, —

— двести восемьдесят первый арестант тихо вышел из полукруглой комнаты, жмурясь на яркий свет и попирая сапогами густо набросанные окурки. Сапоги он натянул койкак, без портянок, был в истрепанной фронтовой своей шинели, наброшенной сверх одного нижнего белья. Мрачная черная борода его была всклокочена, редеющие волосы с темени спадали в разные стороны, лицо выражало страдание.

Напрасно пытался он уснуть! Он встал теперь, чтобы ходить по коридору. Он не раз уже применял это средство: так развеивалось его раздражение и утихали палящая боль в затылке и распирающая боль около печени.

Но хотя он вышел ходить, — по своей привычке книжника он захватил из комнаты и пару книг, в одну из которых был вложен рукописный черновик «Проекта Гражданских Храмов» и плохо отточенный карандаш. Все это, и коробку легкого табака и трубку положив на длинном нечистом столе, Рубин стал равномерно ходить взад и вперед по коридору, руками придерживая шинель.

Он сознавал, что и всем арестантам несладко — и тем, кто посажен ни за что, и даже тем, кто — враг и посажен врагами. Но свое положение здесь он понимал трагичным в аристотелевском смысле. Из тех самых рук он получил удар, которые больше всего любил. За то посажен он был людьми равнодушными и казенными, что любил общее дело — до неприличия глубоко. И тюремным офицерам, и тюремным надзирателям, выражавшим своими действиями вполне верный, правый, прогрессивный з а к о н — Рубин по трагическому противоречию должен был каждый день противостоять, защищая человеческое достоинство свое и товарищей. А т о в а р и щ и — напротив, чаще всего не были ему товарищами и во всех камерах упрекали его, бранили его, чуть не кусали — из-за того, что они видели только горе свое и не видели великой Закономерности. И в каждой камере, и при каждой новой встрече, и при каждом споре он обязан был с неистощимою силой и презирая их оскорбления, доказывать им, что в больших числах и в главном потоке все идет так, как надо, что процветает промышленность, изобилует сельское хозяйство, бурлит наука, играет радугою культура.

Его противники часто выдавали свою многочисленность в камерах за то, что они — народ, а Рубины — одиночки. Но все в нем знало, что это — ложь! Народ был — вне тюрьмы и вне колючей проволоки. Народ брал Берлин, встре-

чался на Эльбе с американцами, народ тек демобилизационными поездами к востоку, шел восстанавливать ДнепроГЭС, оживлять Донбасс, строить заново Сталинград. Ощущенье единства с миллионами и не давало ему чувствовать себя одиноким в спертой камерной борьбе против десятков.

Они часто задирали его совсем не ради истины, а только чтобы выместить на нем, чего не могли на тюремщиках. Они травили его, не заботясь, что каждая такая схватка выворачивала его внутренности и приближала к могиле.

Но спорить было надо, — потому что на участке фронта « шарашка Маврино » не многие могли так, как он, отстаивать социализм.

Рубин постучал в стеклянное окошечко железных врат — раз, два, а в третий раз сильно. На третий раз лицо заспанного серенького вертухая поднялось к окошечку.

— Мне плохо, — сказал Рубин. — Нужен порошок. Отведите к фельдшеру.

Надзиратель подумал.

— Ладно, позвоню.

Рубин продолжал ходить.

Он был фигурой вообще трагической.

Он раньше всех, кто сидел здесь теперь, переступил тюремный порог.

Двоюродный взрослый брат, перед которым шестнадцатилетний Левка преклонялся, поручил ему спрятать типографский шрифт. Левка схватился за это восторженно. Но не уберегся соседского мальчишки. Тот подглядел и з а в а л и л Левку. Левка не выдал брата — он сплел историю, что нашел шрифт под лестницей.

Одиночка харьковской в н у т р я н к и, двадцать лет назад, представилась Рубину, все так же мерно, тяжелой поступью расхаживающему по коридору.

Внутрянка построена по американскому образцу — открытый многоэтажный колодец с железными этажными переходами и лесенками, на дне колодца — регулировщик с флажками. По тюрьме гулко разносится каждый звук. Левка слышит, как кого-то с грохотом волокут по лестнице, — и вдруг раздирающий вопль потрясает тюрьму:

— Товарищи ! Привет из холодного карцера ! Долой сталинских палачей !

Его бьют (этот особенный звук ударов по мягкому !), ему зажимают рот, вопль делается прерывистым и смолкает

— но триста узников в трехстах одиночках бросаются к своим дверям, колотят и истошно кричат:

— Долой кровавых псов!

— Рабочей крови захотелось?

— Опять царя на шею?

— Да здравствует ленинизм!..

И вдруг в каких-то камерах исступленные голоса начинают:

«Вставай, проклятьем заклейменный...»

И вот уже вся незримая толпа арестантов гремит до самозабвения:

«Это есть наш последний
И решительный бой!..»

Не видно, но у многих поющих, как и у Левки, должны быть слезы восторга на глазах.

Тюрьма гудит разбереженным ульем. Кучка тюремщиков с ключами затаилась на лестницах в ужасе от бессмертного пролетарского гимна...

Какие волны боли в затылок! Что за распирание в правом подвздошье!

Рубин снова постучал в окошко. По второму стуку высунулось заспанное лицо того же надзирателя. Отодвинув рамку со стеклом, он буркнул:

— Звонил я. Не отвечают.

И хотел задвинуть рамку, но Рубин не дал, ухватясь рукой:

— Так сходите ногами! с мучительным раздражением крикнул он. — Мне плохо, понимаете? Я не могу спать! Вызовите фельдшера!

— Ну, ладно, — согласился вертухай.

И задвинул форточку.

Рубин снова стал ходить, все также безнадежно отмеривая заплеванное, замусоренное пространство прокуренного коридора, и так же мало подвигаясь в ночном времени.

И за образом харьковской внутрянки, которую он вспоминал всегда с гордостью, хотя эта двухнедельная одиночка висела потом над всеми его анкетами и всей его жизнью и отяготила его приговор сейчас — вступили в его память воспоминания — скрываемые, палящие стыдом.

...Как-то вызвали его в парткабинет тракторного завода. Лева считал себя одним из создателей завода. Он работал в редакции его многотиражки. Он бегал по цехам, воодушевлял

молодежь, накачивал бодростью пожилых рабочих, вывешивал «молнии» об успехах ударных бригад, о прорывах и разгильдяйстве.

Двадцатилетний парень в косоворотке, он вошел в парткабинет с той же открытостью, с которой случилось ему как-то войти и в кабинет секретаря ЦК Украины. И как он там просто сказал: «Здравствуй, товарищ Постышев!» — и первый протянул ему руку, так сказал и здесь сорокалетней женщине со стриженными волосами, повязанными красной косынкой.

— Здравствуй, товарищ Бахтина! Ты вызывала меня?

— Здравствуй, товарищ Рубин, — пожала она ему руку. — Садись.

Он сел.

Еще в кабинете был третий человек, нерабочий тип, в галстуке, костюме, в желтых полуботинках. Он сидел в стороне, просматривая бумаги, и не обращал на них внимания.

Кабинет парткома был строг, как исповедальня, выдержан в пламенно-красных и деловых черных тонах.

Женщина стесненно, как-то потухло, поговорила с Левой о заводских делах, всегда ревностно обсуждаемых ими, и вдруг, откинувшись, сказала твердо:

— Товарищ Рубин! Ты должен разоружиться перед партией!

Лева был поражен. Как? Он ли не отдает партии всех сил, здоровья, не отличая дня от ночи?

Нет! Этого мало.

Но что ж еще?!

Теперь вежливо вмешался и тот тип. Он обращался на «вы» — и это резало пролетарское ухо. Он сказал, что надо честно и до конца рассказать все, что известно Рубину об его женатом двоюродном брате; правда ли, что тот состоял прежде активным членом оппозиционной организации, а теперь скрывает это от партии?..

И надо было сразу что-то говорить, а они вперились в него оба...

Глазами именно этого брата учился Лева смотреть на революцию. Именно от него он узнал, что не все так нарядно и беззаботно, как на первомайских демонстрациях. Да, Революция была весна — потому и грязи было много, и приходилось хлюпать в ней, ища скрытую твердую почву.

Но ведь прошло четыре года. Но ведь смолкли уже споры в партии. Оппозиционеров уже начали забывать. Из тысячи

утлых « лодок » крестьянских хозяйств добро ли, худо ли, но сколотили « океанский пароход » коллективизации. Уже дымили домны Магнитогорска, и тракторы четырех заводов-первенцев переворачивали колхозные пласты. И « 518 » и « 1040 » были уже почти за плечами. Все объективно свершалось во славу Мировой Революции — и стоило ли теперь воевать из-за звуков имени того человека, которым будут названы все эти великие дела ? (И даже имя это само Левка заставил себя полюбить. Да, он уже любил его !). И за что бы было теперь арестовывать, мстить тем, кто спорил прежде ?

— Я не знаю. Никогда он в оппозициях не был, — отвечал язык Левки, но рассудок его воспринимал, что, говоря по-взрослому, без чердачной мальчишеской романтики, — запирательство было уже ненужным.

Короткие энергичные жесты секретаря парткома. Партия! Не есть ли это высшее, что мы имеем ? Как можно запираться... перед Партией ? ! Как можно не открыться... Партии ? ! Партия не карает, она — наша совесть. Вспомни, что говорил Ленин...

Десять пистолетных дул, уставленных в его лицо, не запугали бы Рубина. Ни холодным карцером, ни ссылкою на Соловки из него не вырвали бы истины. Но перед Партией ? ! — он не мог утаиться и солгать в этой черно-красной исповедальне.

Рубин открыл — когда, где состоял брат, что делал.

И смолкла женщина-проповедник.

А вежливый гость в желтых полуботинках сказал:

— Значит, если я правильно вас понял... — и прочел с листа записанное.

— Теперь подпишитесь, вот здесь.

Рубин отпрянул:

— Кто вы ? ? Вы — не Партия !

— Почему не партия ? — обиделся гость. — Я тоже член партии. Я — следователь ГПУ.

...Рубин снова постучал в окошко. Надзиратель, явно только что оторванный ото сна, просопел:

— Ну, чего стучишь ? Сколько раз звонил я — не отвечают.

Глаза Рубина стали горячими от негодования:

— Я вас сходить просил, а не звонить ! Мне с сердцем плохо ! ! Я умру может быть !

— Не умре-ошь, — примирительно и даже сочувственно

протянул вертухай. — До утра-то дотянешь. Ну, сам посуди — как же я уйду, а пост брошу ?

— Да какой идиот ваш п о с т возьмет ! — крикнул Рубин.

— Не в том, что возьмет, а устав запрещает. В армии — служил?

Рубину так сильно било в голову, что он и сам едва не поверил, что сейчас может кончиться. Видя его искаженное лицо, надзиратель решился:

— Ну, ладно, отойди от волчка, не стучи. Сбегаю.

И, наверно, ушел. Рубину показалось, что и боль чуть уменьшилась. Он опять стал мерно ходить по коридору.

...А сквозь память тянулись воспоминания, которых совсем не хотел он возбуждать. Которые забыть — значило исцелиться.

Вскоре после тюрьмы, заглаживая вину перед комсомолом и спеша самому себе и единственно-революционному классу доказать свою полезность, Рубин с маузером на боку поехал коллективизировать село.

Три версты босиком убегая и отстреливаясь от взбешенных мужиков, что тогда видел в этом ? « Вот и я захватил гражданскую войну ». Только.

Разумелось само собой ! — разрывать ямы с закопанным зерном, не давать хозяевам молоть муку и печь хлеба, не давать им набрать воды из колодца. И если дите хозяйское умирало — подыхайте вы, злыдни, и со своим дитем, а хлеба испечь — не дать. И не исторгала жалости, а привычна стала, как в городе трамвай, эта одинокая телега с понуренной лошадью, на рассвете идущая затаившимся мертвым селом. Кнутом в ставенку:

— Покойники е́ ? Выносьтэ.

И в следующую ставенку:

— Покойники е́ ? Выносьтэ.

А скоро и так:

— Э ! Чи тут е́ живы́ ?

А сейчас вжато в голову. Врезано каленой печатью. Жжет. И чудится иногда: раны тебе — за это ! Тюрьма тебе — за это ! Болезни тебе — за это !

Пусть. Справедливо. Но если понял, что это было ужасно, но если никогда бы этого не повторил, но если уже отплачено ? — как это счистить с себя ? Кому бы сказать: о, этого не было ! Теперь будем считать, что этого не было ! Сделай так, чтоб этого не было ! . .

Чего не выматывает бессонная ночь из души печальной, ошибавшейся ? . .

— . . . На этот раз сам надзиратель отодвинул форточку. Он решился-таки бросить пост и сходить в штаб. Оказалось, там все спали — и некому было взять трубку на зуммер. Разбуженный старшина выслушал его доклад, выругал за уход с поста и, зная, что фельдшерица спит с лейтенантом, не осмелился их будить.

— Нельзя, — сказал надзиратель в форточку. — Сам ходил, докладывал. Говорят — нельзя. Отложить до утра.

— Я — умираю ! Я — умираю ! — хрипел ему Рубин в форточку. — Я вам форточку разобью ! Позовите сейчас дежурного ! Я голодовку объявлю !

— Чего — голодовку ? Тебя кто кормит, что ли ? — рассудительно возразил вертухай. — Утром завтрак будет — там и объявишь . . . Ну, походи, походи. Я старшине еще позвоню.

И надо было стать выше этого !

Превозмогая дурноту и боль, Рубин все так же мерно старался ходить по коридору. Ему припомнилась басня Крылова « Булат ». Басня эта на воле как-то проскользнула мимо его внимания, но в тюрьме поразила.

« Булатной сабли острый клинок
Заброшен был в железный хлам;
С ним вместе вынесен на рынок
И мужику задаром продан там ».

Мужик же Булатом драл лыки, щепал лучину. Булат стал весь в зубцах и ржавчине. И однажды Еж спросил Булата в избе под лавкой:

« Скажи, на что́ вся жизнь твоя похожа ?
. . . не стыдно ли тебе щепать лучину
Или обтесывать тычину ? »

И Булат ответил Ежу так, как сотни раз мысленно отвечал сам Рубин:

« В руках бы воина врагам я был ужасен !
А здесь мой дар — напрасен . . .
Нет, стыдно-то не мне, а стыдно лишь тому,
Кто не умел понять, на ч т о я годен ! . . »

67

ГРАЖДАНСКИЕ ХРАМЫ

В ногах ощутилась слабость, и Рубин подсел к столу, привалился грудью к его острому ребру.

Как ни ожесточенно он отвергал доводы Сологдина, — тем больней было ему слышать, что он знал долю справедливости в них. Да, особенно среди новейших поколений, устои добродетели пошатнулись, люди теряют ощущение поступка нравственного и поступка красивого.

В старых обществах знали, что для нравственности нужна церковь и нужен авторитетный поп. Еще и теперь, какая польская крестьянка предпримет серьезный шаг в жизни без совета ксендза ?

Быть может, сейчас для советской страны гораздо важнее Волго-Донского канала или Ангарстроя — понимать людскую нравственность !

Как это сделать ? — Этому послужит « Проект о создании гражданских храмов », уже вчерне подготовленный Рубиным. Нынешней ночью, пока бессонница, надо его окончательно отделать, затем при свидании постараться передать на волю. Там его перепечатают и пошлют в ЦК партии. За своей подписью послать нельзя — в ЦК обидятся, что такие советы им дает политзаключенный. Но нельзя и анонимно. Пусть подпишется кто-нибудь из фронтовых друзей — славой автора Рубин охотно пожертвует для хорошего дела.

Перемогая волны боли в голове, Рубин набил трубку « золотым руном » — по привычке, так как курить ему сейчас не только не хотелось, но было отвратно, — задымил и стал просматривать проект.

В шинели, накинутой поверх белья, за голым плохооструганным столом, пересыпанным хлебными крошками и табачным пеплом, в спертом воздухе неметенного коридора, через который там и сям иногда поспешно пробегали по ночным надобностям полусонные зэки, — безымянный автор просматривал свой бескорыстный проект, набросанный на многих листах торопливым разгонистым почерком.

В преамбуле говорилось о необходимости еще выше поднять и без того высокую нравственность населения, придать больше значительности революционным и гражданским годовщинам, обставить с обрядной торжественностью акты бракосочетания, присвоения имени новорожденному, вступления в совершеннолетие и гражданских панихид. (Автор мягко намекал, что и брак, и рождение ребенка, и смерть отмечаются у нас буднично, отчего слабо ощущает на себе гражданин узы семейные и общественные).

Как выход предлагалось — повсеместно основать Гражданские Храмы, величественные по архитектуре и как бы господствующие над местностью.

Затем по разделам, а разделы дробились на параграфы, предусмотрительно излагалась организационная сторона: в населенных пунктах какого масштаба или из расчета на какую территориальную единицу строятся гражданские храмы; какие именно даты отмечаются там при массовом присутствии жителей; примерная продолжительность отдельных обрядов. Бракосочетанию предпосылалось обручение и оглашение брака за две недели. Вступающих в совершеннолетие предлагалось при массовом стечении народа в храмы — группами приводить к особой присяге с обязательствами по отношению к отчизне, родителям и обще-этического характера.

В проекте особенно настаивалось, что не безразлична обрядовая обстановка всех этих свершений. Что одежды служителей храмов должны быть необычны, должны отличаться возвышенностью убранства и говорить о белоснежной чистоте своих носителей. Что обрядовые формулы должны быть ритмически рассчитаны, эмоциональны. Что воздействием ни на какой орган чувств посетителей храмов не следует пренебрегать: от особого аромата в воздухе храма, от мелодичной музыки и пения, от использования цветных стекол и прожекторов, от художественной стенной росписи, способствующей развитию эстетических вкусов населения, — до всего архитектурного ансамбля храма, который должен передавать дыхание величия и вечности.

Каждое слово проекта приходилось мучительно, утонченно выбирать из синонимов. Недалекие поверхностные люди могли бы из любого неосторожного слова вывести, что автор попросту предлагает возродить христианские храмы без Христа — но это глубоко не так! Любители исторических аналогий могли бы обвинить автора в повторении робеспье-

ровского культа Верховного Существа — но, конечно, это совсем, совсем не то ! !

Самым же своеобразным в проекте автор считал раздел о новых... не священниках, но как они там именовались, — служителях храмов. Автор считал, что ключ к успеху всего проекта состоит в том, насколько удастся или не удастся создать в стране корпус таких авторитетных служителей, пользующихся любовью и доверием народа за свою совершенно безупречную, не корыстную, достойную жизнь. По принципу нравственности он и предлагал партийным инстанциям произвести подбор кандидатов на курсы служителей храмов, снимая их с любой ныне исполняемой работы. После того как схлынет первая острота нехватки, курсы эти, с годами все удлиняясь по времени и углубляясь в программе, должны будут придавать служителям блестящую широкую образованность и особо включить в себя элоквенцию. (Проект бесстрашно утверждал, что ораторское искусство в нашей стране пришло в упадок — может быть из-за того, что не приходится никого у б е ж д а т ь, так как все население и без того безоговорочно поддерживает свое родное государство).

И такова была сила этого трудолюбивого ума, что правка проекта сосредоточила его, дала если не забыть о боли, то отнестись к ней как к чему-то постороннему.

А что никто не приходил к заключенному, умирающему в неурочный час, не удивляло Рубина. Случаев подобных он довольно насмотрелся в контрразведках и на пересылках.

Поэтому, когда в дверях загремел ключ, Рубин первым толчком сердца испугался, что в глуби ночи его застают за неположенным занятием, за что последует прилипчивая, нудная кара, он сгреб свои бумаги, книгу, табак — и хотел скрыться в комнату, но поздно: коренастый грубомордый старшина заметил и звал его из раскрытых дверей.

И Рубин очнулся. И сразу опять ощутил всю свою покинутость, болезненную беспомощность и оскорбленное достоинство.

— Старшина, — сказал он, медленно подходя к помощнику дежурного, — я третий час подряд добиваюсь фельдшера. Я буду жаловаться в тюремное управление МГБ и на фельдшера и на вас.

Но старшина примирительно сказал:

— Рубин, никак нельзя было раньше, от меня не зависело. Пойдемте.

От него, и правда, зависело только, дознавшись, что бу-

шует не кто-нибудь, а один из самых зловредных зеков, решиться постучать лейтенанту. Долго не было ему ответа, потом выглянула фельдшерица, опять скрылась. Наконец лейтенант вышел, хмурясь, из медпункта и разрешил старшине привести Рубина.

Теперь Рубин надел шинель в рукава и застегнулся, скрывая белье. Старшина повел его подвальным коридором шарашки, и они поднялись в тюремный двор по трапу, на который густо нападала пушничка. * В картинно-тихой ночи, где щедрые белые хлопья не переставали падать, отчего мутные и темные места ночной глубины и небосклона казались прочерченными множеством белых столбиков, старшина и Рубин пересекли двор, оставляя глубокие следы в рассыпчато-воздушном снеге.

Здесь, под этим милым тучевым, буро-дымчатым от ночного освещения небом, ощущая на поднятой бороде своей и на горячем лице детски-невинные прикосновения шестигранных прохладных звездочек, Рубин замер, закрыл глаза. Его пронизало наслаждение покоя, тем более острое, чем оно было кратче — вся сила бытия, все счастье никуда не идти, ничего не просить, ничего не хотеть — только стоять так всю ночь напролет, замерев — блаженно, благословенно, как стоят деревья, ловить, ловить на себя снежинки.

И в этот самый миг с железной дороги, которая шла от Маврино меньше, чем в километре, донесся долгий заливчатый паровозный гудок — тот особенный, одинокий в ночи, за душу берущий паровозный гудок, который в зените лет напоминает нам детство, оттого что в детстве так много обещал к зениту лет.

Даже полчаса вот так постоять — весь бы отошел, выздоровел душой и телом, и сложил бы нежное стихотворение — о ночных паровозных гудках.

Ах, если бы можно было не идти за конвоиром ! . .

Но конвоир уже с подозрением оглядывался — не задуман ли здесь ночной побег ?

И ноги Рубина пошли, куда предписано было.

Фельдшерица порозовела от молодого сна, кровь играла в ее щеках. Она была в белом халате, но повязанном, видимо, не поверх гимнастерки и юбки, а налегке. Всякий арестант всегда и Рубин во всякое другое время сделал бы это наблюдение, и старался бы лучше оглядеть контуры ее фи-

---

* Пушистый снег.

гуры, — но сейчас строй мыслей Рубина не снисходил до этой грубой бабы, промучившей его всю ночь.

— Прошу: тройчатку и что-нибудь от бессонницы, только не люминал, мне заснуть надо — сразу.

— От бессонницы ничего нет, — механически отказала она.

— Я про-шу-вас ! — внятно повторил Рубин. — Мне с утра делать работу для министра. А я уснуть не могу.

Упоминание о министре, да и соображение, что Рубин будет стоять и неотступно просить этот порошок (а по некоторым признакам она рассчитывала, что лейтенант к ней сейчас вернется), подвигло фельдшерицу изменить своему обычаю и дать лекарство.

Она достала из шкафчика порошки и заставила Рубина все выпить тут же, не отходя (по тюремному медицинскому уставу всякий порошок рассматривается как оружие и не может быть выдан арестанту в руки, а только в рот).

Рубин спросил, который час, узнал, что уже половина четвертого, и ушел. Проходя опять двор и с любовью оглянувшись на ночные липы, озаренные снизу отсветом пятисот — и двухсотваттных ламп з о н ы , он глубоко-глубоко вдохнул воздух, пахнущий снегом, наклонился, полной жменею несколько раз захватил звездчатого пушничка и им, невесомым, бестелесным, льдистым, отер лицо, шею, набил рот.

И душа его приобщилась к свежести мира.

68

КОСМОПОЛИТ БЕЗРОДНЫЙ

Дверь в столовую из спальни была непритворена, и ясно раздался один полновесный удар, в каких-то вторичных отзвуках не сразу погасший в стенных часах.

Половина какого это часа, Адаму Ройтману хотелось взглянуть на ручные, дружески тикавшие на тумбочке, но он боялся вспышкой света потревожить жену. Жена спала удивительно грациозно, частью на боку, частью ничком, лицом она уткнулась в плечо мужа, а на руке у локтя Адам ощущал ее грудь.

Они были женаты уже пятый год, но даже в полусознании он чувствовал в себе разлитие нежности оттого, что она рядом, что она как-нибудь смешно спит, грея меж его ног свои маленькие вечно мерзнущие ступни.

Адам только-что проснулся от нескладного сна. Хотел заснуть, но успели вспомниться последние вечерние новости, потом неприятности по работе, затолпились мысли, мысли, глаза размежились — установилась та ночная четкость, при которой бесполезно пытаться уснуть.

Шум, топот и передвигание мебели, с вечера долго слышавшиеся над головой, в квартире Макарыгиных, давно уже стихли.

Там, где занавеси не сходились, из окна проступало слабое сероватое свечение ночи.

В ночном белье, плашмя, лишенный сна, Адам Веньяминович Ройтман не чувствовал той твердости положения и того подъема над людьми, которые сообщались ему днем погонами майора МГБ и значком лауреата сталинской премии. Он лежал навзничь и, как всякий простой смертный, ощущал, что мир многолюден, жесток и что жить в нем — нелегко.

Вечером, когда у Макарыгиных кипело веселье, к Ройтману зашел один давнишний друг его, тоже еврей. Пришел он без жены, озабоченный, и рассказывал невеселые вещи.

Это не было ново. Это началось еще прошлой весной, началось сперва в театральной критике и выглядело как

невинная расшифровка еврейских фамилий в скобках. Потом переползло в литературу. В одной второразрядной газетенке, занимающейся чем угодно, кроме своего прямого дела, кто-то шепнул ядовитое словцо — к о с м о п о л и т. И слово было найдено! Прекрасное гордое слово, объединявшее все миры вселенной, слово, которым венчали гениев самой широкой души — Данте, Гете, Байрона, — это слово в газетенке слиняло, сморщилось, зашипело и стало значить — ж и д.

А потом поползло дальше, стыдливо стало прятаться в папках за закрытыми дверьми.

А теперь холодное преддыхание достигло уже и технических кругов. Ройтман, неуклонно и с блеском шедший к славе, ощутил, как пошатнулось его положение именно за последний месяц.

Да неужели изменяет память? Ведь в революцию и еще долго после нее слово «еврей» было благонадежнее, чем «русский». Русского еще проверяли дальше — а кто были родители? а на какие доходы жили д о семнадцатого года? Еврея не надо было проверять: евреи все поголовно были за революцию, избавившую их от погромов, от черты оседлости.

И вот... бич гонителя израильтян незаметно, скрываясь за второстепенными лицами, принимал Иосиф Сталин.

Когда группу людей травят за то, что они были раньше притеснителями, или членами касты, или за их политические взгляды, или за круг знакомств, — всегда есть разумное (или псевдо-разумное?) обоснование. Всегда знаешь, что ты сам выбрал свой жребий, что ты мог и не быть в этой группе. Но — национальность?..

(Внутренний ночной собеседник тут возразил Ройтману: но соцпроисхождения тоже не выбирали? А за него гнали).

Нет, главная обида для Ройтмана в том, что ты от души хочешь быть с в о и м, таким, как все, — а тебя не хотят, отталкивают, говорят: ты — чужой. Ты — неприкаянный. Ты — жид.

Очень неторопливо, с большим достоинством, стенные часы в столовой стали бить, но, отбив четыре, смолкли. Ройтман ждал пятого удара и обрадовался, что только четыре. Еще успеет заснуть.

Он пошевелился. Жена хмыкнула во сне, перекатилась на другой бок, но и спиной инстинктивно прижалась к мужу. Он перелег лицом к ней, повторил изгибом тела ее изгиб, обнял. Жена благодарно стихла.

И тихо-тихо спал сын в столовой. Никогда он не вскрикнет, не позовет.

Трехлетний умненький сын был гордостью молодых родителей. Адам Веньяминович с восхищением рассказывал о его нравах и проделках даже заключенным в Акустической, по обычной нечувствительности счастливых людей не понимая, что им, лишенным отцовства, это больно. Сын бойко тараторил, но произношение его не установилось, он подражал днем — матери (она была волжанка и о́кала), а вечером отцу, пришедшему с работы (Адам же не только картавил, но имел в произношении досадные недостатки).

Как это бывает в жизни, если уж приходит счастье, то оно не знает краев. Любовь и женитьба, потом рождение сына пришли к Ройтману вместе с концом войны и со сталинской премией. Впрочем, и войну он провел безбедно: в тихой Башкирии на высоком пайке Ройтман и его нынешние приятели по Мавринскому институту конструировали первую систему телефонной шифрации. Сейчас та система кажется примитивной — тогда они стали за нее лауреатами.

Как горячо они делали ее! Куда девались теперь тот порыв, те поиски, те взлеты?

С проницательностью темного ночного бдения, когда неотвлекаемое зрение обращается вовнутрь, Ройтман вдруг понял сейчас — чего не хватало ему последние годы. Наверное, того не хватало, что делал он теперь все не сам.

Ройтман даже не заметил, когда и как он сполз с роли творца на роль начальника над творцами...

Как обожженный, он отнял руку от жены, подмостил подушку повыше, перелег опять на спину.

Да, да, да! это заманчиво, легко! — в субботу вечером, уезжая домой на полтора суток, когда сам уже охвачен ощущением домашнего уюта и воскресных семейных планов, — сказать: «Валентин Мартыныч! Так вы завтра продумаете, как нам устранить нелинейные искажения? Лев Григорьевич! Вы завтра пробежите эту статью из «Proceedings»? Тезисно основные мысли набросаете?» В понедельник утром, освеженный, он возвращается на работу — на столе у него, как в сказке, лежит по-русски резюме статьи из «Proceedings», а Прянчиков докладывает, как устранить нелинейные искажения, или даже уже устранил их за воскресенье.

Очень удобно!..

И заключенные не обижаются на Ройтмана, больше того

— любят. Потому что держится он не как тюремщик их, а как просто хороший человек.

Но творчество, радость блеснувших догадок и горечь непредвиденных поражений — ушли от него !

Высвободясь от одеяла, он сел в кровати, руками охватил колени, поставил на них подбородок.

Чем же он был занят все эти годы ? Интригами. Борьбой за первенство в институте. С группой друзей, они делали все, чтобы опорочить и столкнуть Яконова, считая, что он заслоняет их своей маститостью, апломбом и получит сталинскую премию единолично. Пользуясь, что у Яконова подточенное прошлое, и поэтому в партию его не принимали, как он ни бился, « молодые » вели атаку через партийные собрания — ставили там его отчет, потом просили его уйти, или тут же, при нем (« голосуют только члены партии ») обсуждали и выносили резолюцию. И всегда Яконов по партийным резолюциям оказывался виноват. Ройтману минутами даже было жалко его. Но не было другого выхода.

И как все враждебно обернулось ! В своей травле Яконова « молодые » и думать забыли, что среди них пятерых — четыре еврея. Сейчас Яконов не устает с каждой трибуны напоминать, что космополитизм — злейший враг социалистического отечества.

Вчера, после министерского гнева, в роковой день Мавринского института, заключенный Маркушев бросил мысль о слиянии систем клиппера и вокодера. Скорей всего это была чушь, но ее можно было изобразить перед начальством как коренную реформу — и Яконов распорядился немедленно перетаскивать стойку вокодера в Семерку и туда же перевести Прянчикова. Ройтман кинулся в присутствии Севастьянова возражать, спорить, но Яконов снисходительно, как слишком горячего друга, похлопал Ройтмана по плечу:

— Адам Веньяминович ! Не заставляйте замминистра подумать, что свои личные интересы вы ставите выше интересов Отдела Спецтехники.

В этом и был трагизм теперешней обстановки: били по морде — и нельзя было плакать ! Душили средь бела дня — и требовали, чтобы ты аплодировал стоя !

Пробило сразу пять — он не слышал половины.

Спать не только не хотелось — уже и кровать начинала стеснять.

Очень осторожно, нога за ногой, Адам соскользнул с кровати, сунул ноги в туфли. Беззвучно обойдя стоявший на

дороге стул, он подошел к окну и больше расклонил шелковые занавески.

О-о, сколько снегу нападало !

Прямо через двор был самый дальний запущенный угол Нескучного Сада — овраг и крутые склоны его в снегу, поросшие торжественными убеленными соснами. И вдоль оконных переплетов извне тоже прилегли к стеклу пушистые снежные откосики.

Но снегопад уже почти перешел.

Коленям было горячевато от подоконных радиаторов.

И еще почему он не успевал в науке за последние годы ! — его задергали заседаниями, бумажками. Каждый понедельник — политучеба, каждую пятницу — техучеба, два раза в месяц — партсобрания, два раза заседания партбюро, да еще на два-три вечера в месяц вызывают в министерство, раз в месяц специальное совещание о бдительности, ежемесячно составляй план научной работы, ежемесячно посылай и отчет о ней, раз в три месяца пиши зачем-то характеристики на всех заключенных (работы — на полный день). И еще каждые полчаса подчиненные подходят с накладными — любой конденсаторишка величной с ириску, каждый метр провода и каждая радиолампа должны получить визу начальника лаборатории, иначе их не выдадут со склада.

Ах, бросить бы всю эту волокиту и всю эту борьбу за первенство ! — посидеть бы самому над схемами, подержать в руках паяльник, да в зеленоватом окошке электронного осциллографа поймать свою заветную кривую — будешь тогда беззаботно распевать « Буги-буги », как Прянчиков. В тридцать один год какое бы это счастье ! — не чувствовать на себе гнетущих эполет, забыть о внешней солидности, быть себе как мальчишка — что-то строить, что-то фантазировать.

Он сказал себе — « как мальчишка » — и по капризу памяти вспомнил себя мальчишкой — с безжалостной ясностью в ночном мозгу всплыл глубоко забытый, много лет не вспоминавшийся эпизод.

Двенадцатилетний Адам в пионерском галстуке, благородно-оскорбленный, с дрожью в голосе стоял перед общешкольным пионерским собранием — и обвинял, и требовал изгнать из юных пионеров и из советской школы — агента классового врага. Выступали до него, и после него — Митька Штительман, Мишка Люксембург, и все они изобличали соученика своего Олега Рождественского в антисемитизме, в посещении церкви, в чуждом классовом происхождении, и

бросали на подсудимого трясущегося мальчика уничтожающие взоры. Кончались двадцатые годы, мальчики еще жили политикой, стенгазетами, самоуправлением, диспутами. Город был южный, евреев было с половину группы. Хотя были мальчики сыновьями юристов, зубных врачей, а то и мелких торговцев, — все себя остервенело-убежденно считали пролетариями.

Олег — бледный, худенький, первый ученик в классе, избегал всяких речей о политике, явно нехотя вступил в пионеры. Мальчики-энтузиасты заподозрили в нем чуждый элемент. Следили за ним, ловили. Однажды Олег попался, сказал: « Каждый человек имеет право говорить все, что он думает ». — « Как-все ? — подскочил к нему Штительман. — Вот Никола меня « жидовской мордой » назвал — так и это тоже можно ? » — « Говорить ? — не уступал Олег, поводя узкой шейкой. — Говорить каждый имеет право, что хочет ».

Из того и начато было на Олега дело ! Нашлись друзья-доносчики, Шурик Буриков и Шурик Ворожбит, кто видели, как виновник входил с матерью в церковь и как он пришел один раз в школу с крестиком на шее. Начались собрания, заседания учкома, группкома, пионерские сборы, линейки — и всюду выступали двенадцатилетние робеспьеры и клеймили перед ученической массой пособника антисемитов и проводника религиозного опиума, который две недели уже не ел от страха, скрывал дома, что исключен из пионеров и скоро будет исключен из школы.

Адам Ройтман не был там заводилой, его втянули — но даже и сейчас мерзким стыдом залились его щеки.

Кольцо обид ! кольцо обид ! И нет из него выхода, как нет выхода из тяжбы с Яконовым.

С кого начинать исправлять мир ? — с других ? Или с себя ? . .

В голове уже выросла та тяжесть, а в груди — та опустошенность, которые нужны, чтобы уснуть.

Он пошел и тихо лег под одеяло. Пока не пробило шесть, надо непременно заснуть.

С утра — нажимать с фоноскопией ! Громадный козырь ! В случае успеха это предприятие может разрастись в отдельный научно-исследова . ..

69

РАССВЕТ ПОНЕДЕЛЬНИКА

Подъем на шарашке бывал в семь часов.

Но в понедельник, задолго до подъема, в комнату, где жили рабочие, пришел надзиратель и толкнул в плечо дворника. Спиридон храпнул тяжело, проснулся и при свете синей лампочки посмотрел на надзирателя.

— Одевайся, Егоров. Лейтенант зовет, — тихо сказал надзиратель.

Но Егоров лежал с открытыми глазами, не шевелясь.

— Слышь, говорю, лейтенант зовет.

— Чего там ? Ус . . лись ? — также не двигаясь, спросил Спиридон.

— Вставай, вставай, — тормошил надзиратель. — Не знаю чего.

— Э-э-эх ! — широко потянулся Спиридон, заложил рыжеволосые руки за голову и с потягом зевнул. — И когда тот день придет, что с лавки не встанешь ! . . Часов-то много ?

— Да шесть скоро.

— Шести-и нет ? ! . Ну, иди, ладно.

И продолжал лежать.

Надзиратель покосился и вышел.

Синяя лампочка давала свет на угол подушки Спиридона до косого крыла тени от верхней койки. Так, в свету и в тени, с руками, заложенными за голову, Спиридон лежал и не двигался.

Ему жалко было, что не досмотрел он сна.

Ехал он на телеге, наложенной сушником (а под сушником — прихороненными от лесника бревешками) — ехал будто из своего ж леса к себе в деревню, но дорогою незнакомой. Дорога была незнакома, но каждую подробность ее Спиридон обоими глазами (оба будто глаза здоровы !) отчетливо видел во сне: где корни, вздувшиеся поперек дороги, где расщеплина от старой молнии, где мелкий сосóнник и глубокий песок, в котором зажирались колеса. Еще слышал Спиридон во сне все разнообразные предосенние запахи леса

и вбирчиво ими дышал. Он потому так дышал, что помнил во сне отчетливо, что он — зэк, что срок ему — десять лет и пять намордника, что он отлучился с шарашки, его, должно, уже хватились, а пока не дослали псов — надо успеть привезти жене и дочке дровишек.

Но главное счастье сна происходило от того, что лошадь была не какая-нибудь, а самая любимая из перебывавших у Спиридона — розовой масти кобылка Гривна — первая лошадь, купленная им трехлетком в свое хозяйство после гражданской войны. Она была бы вся серая, если б не шел у нее по серому равномерный гнеденький перешерсток, краснинка, отчего и звали ее масть « розовой ». На этой лошади он и на ноги стал, и ее закладал в корень, когда вез украдом к венцу невесту свою Марфу Устиновну. И теперь Спиридон ехал и счастливо удивлялся, что Гривна до сих пор оказалась жива, и так же молода, так же, не осекаясь, вымахивала воз в горку и ретиво тянула его по песку. Вся думка Гривны была в ее ушах — высоких, серых, чутких ушах, малыми движениями которых она, не оборачиваясь, говорила хозяину, как понимает она, что от нее сейчас нужно, и что она справится. Даже издали украдкой показать Гривне кнут было бы обидеть ее. Езжая на Гривне, Спиридон никогда с собой кнута не брал.

Ему во сне хоть слезь да поцелуй Гривну в храп, такой он был радый, что Гривна молода и, должно, теперь дождется конца его срока, — как вдруг на спуске к ручью заметил Спиридон, что воз-то у него увален кой-как, и сучья расползаются, грозя вовсе развалиться на броду.

Как толчком его скинуло с воза на земь — и это был толчок надзирателя.

Спиридон лежал теперь и вспоминал не одну свою Гривну, но десятки лошадей, на которых ему приходилось ездить и работать за жизнь (каждая из них ему врезалась как человек живой), и еще тысячи лошадей, перевиденных со стороны, — и надсадно было ему, что так за зря, безо всякого разума, сжили со свету первых помощников — тех выморив без овса и сена, тех засеча в работе, тех татарам на мясо продав. Что делалось с умом, то Спиридон мог понять. Но нельзя было понять, зачем свели лошадь. Баяли тогда, что за лошадь будет работать трактор. А легло все — на бабьи плечи.

Да одних ли лошадей ? Не сам ли Спиридон вырубал фруктовые сады на хуторах, чтоб людям нечего там было терять — чтоб легче они поддались до купы ? . .

— Егоров ! — уже громко крикнул надзиратель из двери, разбудив тем еще двоих спящих.

— Да иду же, мать твоя родина ! — проворно отозвался Спиридон, спуская босые ноги на пол. И побрел к радиатору снять высохшие портянки.

Дверь за надзирателем закрылась. Сосед кузнец спросил:

— Куда, Спиридон ?

— Господа кличут. Пайку отрабатывать, — в сердцах сказал дворник.

Дома у себя мужик незалежливый, в тюрьме Спиридон не любил подхватываться в темнедь. Из-под палки дóсвета вставать — самое злое дело для арестанта.

Но в Севураллаге подымают в пять часов.

Так что на шараге следовало пригибаться.

Примотав к солдатским ботикам долгими солдатскими обмотками концы ватных брюк, Спиридон, как был, одетый и обутый, влез еще в синюю шкуру комбинезона, накинул сверху черный бушлат, шапку-малахай, перепоясался растеребленным брезентовым ремнем и пошел. Его выпустили за окованную дверь тюрьмы и дальше не сопровождали. Спиридон прошел подземным коридором, шаркая по цементному полу железными подковками, и по трапу поднялся во двор.

Ничего не видя в снежной полутьме, Спиридон безошибочно ощутил ногами, что выпало снега на полторы четверти. Значит, шел всю ночь, крупный. Убраживая в снегу, он пошел на огонек штабной двери.

На порог штаба тюрьмы как раз выступил дежурник — лейтенант с плюгавыми усиками. Недавно выйдя от медсестры, он обнаружил непорядок — много нападало снегу, за тем и вызвал дворника. Заложив теперь обе руки за ремень, лейтенант сказал:

— Давай, Егоров, давай ! От парадного к вахте прочисть, от штаба к кухне. Ну, и тут... на прогулочном... Давай !

— Всем давать — мужу не останется, — буркнул Спиридон, направляясь через снежную целину за лопатой.

— Что ? Что ты сказал ? — грозно переспросил лейтенант.

Спиридон оглянулся:

— Говорю — я в о́ л ь, начальник, я в о́ л ь ! (Немцы тоже так вот бывало « гыр-гыр », а Спиридон им — « яволь »). Там на кухне скажи, чтоб картошки мне подкинули.

— Ладно, чисть.

Спиридон всегда вел себя благоразумно, с начальством

не вздорил, но сегодня было особое горькое настроение от утра понедельника, от нужды, глаз не продравши, опять горбить спину, от близости письма из дому, в котором Спиридон предчувствовал дурное. И горечь всего его пятидесятилетнего топтанья на земле собралась вся вместе и стояла изжогой в груди.

Сверху уже не сыпало. Без шелоху стояли липы. Они белели. Но то был уже не иней вчерашний, изникший к обеду, а выпавший за ночь снег. По темному небу, по затиши Спиридон определял, что снег этот долго не продержится.

Начал работать Спиридон угрюмо, но после затравы, первой полсотни лопат, пошло ровно и даже как будто в охотку. И сам Спиридон, и жена его были такие: от всего, что сгущалось на сердце, отступ находили в работе. И легчало.

Чистить Спиридон начал не дорогу от вахты для начальства, как ему было велено, а по своему разумению: сперва дорожку на кухню, потом — в три широких фанерных лопаты — круговую дорожку на прогулочном дворе, для своего брата-зэка.

А мысли были о дочери. Жена, как и он, отжили уже свое. Сыновья, хоть и сидели за колючкой, но были мужики. Молодому крепиться — вперед пригодится. Но дочь ?..

Хотя одним глазом Спиридон ничего не видел, а другим видел только на три десятых, он обвел весь прогулочный двор как отмеренным ровным продолговатым кругом — еще до свету, как раз к семи часам, когда по трапу поднялись первые любители гулять — Потапов и Хоробров, для того вставшие заранее и умывшиеся еще до подъема.

Воздух выдавался пайком и был дорог.

— Ты что, Данилыч, — спросил Хоробров, поднимая воротник черного истертого гражданского пальто, в котором был арестован когда-то. — Ты и спать не ложился ?

— Рази ж дадут спать, змеи ? — отозвался Спиридон. Но утреннего зла уже в нем не было. За этот час молчаливой работы все омрачающие мысли о тюремщиках устоpонились от него — и осталась светлая твердость человека, привыкшего страдать. Не говоря этого себе словами, Спиридон сердцем уже рассудил, что если дочь и сама набедила в чем, то ей не легче, и ответить надо будет помягче, а не проклинать.

Но и эта самая важная мысль о дочери, снизошедшая на него с недвижимых предутренних лип, тоже начинала утесняться мелкими мыслями дня — о двух досках, где-то

занесенных снегом, о том, что метлу надо нынче насадить на метловище потуже.

Между тем надо было идти прочищать дорогу с вахты для легковых машин и для вольняшек. Спиридон перекинул лопату через плечо, обогнул здание шарашки и скрылся.

Сологдин, легкий, стройный, с телогрейкой, чуть наброшенной на немерзнущие плечи, прошел на дрова. После вчерашней бестолковой колготни с Рубиным, его раздражающих обвинений, он первую ночь за два года на шарашке, спал дурно — и теперь утром искал воздуха, одиночества и простора для обдумывания. Напиленных дров у него было, только коли.

Потапов в красноармейской шинели, выданной ему при взятии Берлина, когда его посадили десантником на танк (до плена он был офицер, но званий за пленными не признавали), медленно гулял с Хоробровым, немного выбрасывая на ходу поврежденную ногу.

Хоробров едва успел стряхнуть дремоту и умыться, но вечно-бодрствующее внимание уже вступило в его мысли. Вырывавшиеся у него слова, как бы описав бесплодную петлю в темном воздухе, бумерангом возвращались к Хороброву и терзали ему же грудь:

— Давно ли мы читали, что фордовский конвейер превращает рабочего в машину, и что это есть самое бесчеловечное выражение капиталистической эксплуатации? Но прошло пятнадцать лет, и тот же конвейер под именем п о т о к а славится как высшая и новейшая форма производства! Понадобься нынче провести еще одно повальное крещение Руси — Сталин тут же бы сумел увязать это с атеизмом.

Потапов всегда был настроен с утра меланхолически. Утро было единственное время, когда он мог подумать о погубленной жизни, о растущем без него сыне, о сохнущей без него жене. Потом суета работы затягивала, и думать уже было некогда.

В словах Хороброва он слышал слишком много раздражения, а это может вести и к собственным ошибкам. Поэтому, неловко выбрасывая поврежденную ногу, он шел молча и старался дышать поглубже и поровней.

Они делали круг за кругом.

Гуляющих прибавилось. Они ходили по одному, а то и по два, и по три. По разным причинам скрывая свои разговоры, они старались не тесниться и не обгонять друг друга без надобности.

Только-только брезжило. Снеговыми тучами закрытое небо опаздывало с отблесками утра. Фонари еще бросали на снег желтые круги.

В воздухе была та свежесть, которою веет только-что выпавший снег. Под ногами он не скрипел, а мягко уплотнялся.

Высокий прямой Кондрашев в фетровой шляпе (он еще не побывал в лагерях) ходил с маленьким щуплым Герасимовичем в кепочке, соседом своим по комнате. Герасимович не доставал Кондрашеву даже до плеча.

Герасимович, уничтоженный вчерашним свиданием, до конца воскресенья пролежал в кровати, как больной. Прощальный выкрик жены потряс его. Сегодня утром он вышел на прогулку через силу, озябший, запахнувшись доплотна, и сразу же хотел вернуться в тюрьму. Но столкнулся с Кондрашевым, пошел сделать с ним один круг — и увлекся на всю прогулку.

— Как ? ! Вы ничего не знаете о Павле Дмитриевиче Корине ? — поразился Кондрашев, будто о том знал каждый школьник. — О-о-о ! У него, говорят, есть, только не видел никто, удивительная картина « Русь уходящая » ! Одни говорят шесть метров длиной, другие — двенадцать. И в этой картине . . .

Начинало сереть.

Ходил надзиратель по двору и кричал, что прогулка окончена.

В подземном коридоре возвращавшиеся посвежевшие заключенные невольно толкали хмуробородого избольна бледного Рубина, проталкивающегося им навстречу. Сегодня он проспал не только дрова (на дрова немыслимо было идти после ссоры с Сологдиным), но и утреннюю прогулку. От короткого искусственного сна Рубин ощущал свое тело тяжелым, ватно-бесчувственным. Еще он испытывал кислородный голод, незнакомый тем, кто может дышать, когда хочет. Он пытался теперь выбиться во двор за единым глотком свежего воздуха и жменею снега для обтирания.

Но надзиратель, стоя у верха трапа, не пустил его.

Рубин стоял у низа трапа, в цементной яме, куда, однако, тоже перепало снега и тянуло свежим воздухом. Здесь, внизу, он и сделал три медленных круговых движения руками с глубокими вздохами, затем собрал со дна ямы снегу, натер им лицо и поплелся в тюрьму.

Туда же пошел и проголодавшийся бодрый Спиридон, уже расчистивший дорогу для машин до самой вахты.

В штабе тюрьмы два лейтенанта — сменяющийся, с квадратными усиками, и новозаступающий лейтенант Жвакун, вскрыли пакет и знакомились с оставленным им приказом майора Мышина.

Лейтенант Жвакун — грубый широкомордый непроницаемый парень, во время войны в старшинском звании служил « исполнителем при военном трибунале » дивизии и оттуда выслужился. Он очень дорожил своим местом в Спецтюрьме и, не блеща грамотностью, дважды перечел распоряжение Мышина, чтобы ничего не спутать.

Без десяти девять они пошли по комнатам делать поверку и всюду объявляли, как было велено:

« — Всем заключенным в течение трех дней сдать майору Мышину перечень своих прямых родственников по форме: номер по порядку, фамилия, имя — отчество родственника, степень родства, место работы и домашний адрес.

Прямыми родственниками считаются: мать, отец, жена зарегистрированная, сын и дочь от зарегистрированного брака. Все остальные — братья, сестры, тетки, племянницы, внуки и бабушки считаются родственниками непрямыми.

С 1-го января переписка и свидания будут дозволяться только с прямыми родственниками, которых укажет в перечне заключенный.

Кроме того, с 1-го января размер ежемесячного письма устанавливается — не больше одного развернутого тетрадного листа ».

Это было так худо и так неумолимо, что разум неспособен был охватить объявленное. И поэтому не было ни отчаяния, ни возмущения, а только злобно-насмешливые выкрики сопутствовали Жвакуну:

— С Новым годом !

— С новым счастьем !

— Ку-ку !

— Пишите доносы на родственников !

— А сыщики сами найти не могут ?

— А размер букв почему не указан? Какой размер буквы?

Жвакун, пересчитывая наличие голов, одновременно старался запомнить, кто что кричал, чтобы потом доложить майору.

Впрочем, заключенные всегда недовольны, делай им хоть хорошо, хоть плохо . . .

Удрученные, расходились на работу зэки.

Даже те из них, кто сидел давно, — и те были ошеломлены жестокостью новой меры. Жестокость здесь была двойная. Одна — что сохранить тонкую живительную ниточку связи с родными отныне можно было только ценой полицейского доноса на них. А ведь многим из них на воле еще удавалось скрыть, что они имеют родственников за решеткой — и только это обеспечивало им работу и жилье. Вторая жестокость была — что отвергались незарегистрированные жены и дети, отвергались братья, сестры, тем паче двоюродные. Но после войны, ее бомбежек, эвакуаций, голода — иных родственников у многих зэков и не осталось. А так как к аресту не дают приготовиться, к нему не исповедываешься, не причащаешься, не кончаешь своих расчетов с жизнью — то многие оставили на воле верных подруг, но без черного штампа ЗАГСа в паспорте. И вот такие подруги теперь становились чужими . . .

Даже у самых заклятых энтузиастов работы опускались руки. По звонку выходили долго, толпились в коридорах, курили, разговаривали. Садясь же за свои рабочие столы, опять курили и опять разговаривали, и главный занимавший всех вопрос был: неужели в центральной картотеке до сих пор не собраны и не систематизированы сведения обо всех родственниках зэков ? Новички и наивные сомневались в этом. Но старые тертые зэки солидно качали головами: они объясняли, что картотека родственников в беспорядке; что за кожаными черными дверьми часто « не ловят мышей », не выбирают данных из бесчисленных анкет; что тюремные канцелярии не делают своевременных и нужных выборок из книг свиданий и передач; что, таким образом, список родственников, требуемый Климентьевым и Мышиным, есть самый верный смертельный удар, который ты можешь нанести своим родным.

Так разговаривали зэки — и работать никто не хотел.

Но как раз в это утро начиналась последняя неделя года, в которую, по замыслу институтского начальства, надо было совершить героический рывок, чтобы выполнить годовой план 1949-го года и план декабря, а также разработать и принять годовой план 1950-го года, план января-марта, и отдельно план января, и еще план первой декады января. Все, что было здесь б у м а г а , — предстояло свершить самому начальству. Все, что было здесь р а б о т а , — предстояло исполнить

заключенным. Поэтому энтузиазм заключенных был сегодня особенно важен.

Командованию институтскому совершенно была неизвестна разрушительная утренняя анонсация тюремного командования, произведенная в соответствии со с в о и м годовым планом.

Никто бы не мог обвинить министерство Госбезопасности в евангельском образе жизни! Но одна евангельская черта в нем была: правая рука его не знала, что делала левая.

Майор Ройтман, на освеженном после бритья лице которого не осталось следа ночных сомнений, как раз для информации о планах и собрал производственное совещание всех зэков и всех вольных Акустической лаборатории. У Ройтмана были негритянски-оттопыренные губы на продолговатом умном лице. На худой груди Ройтмана, поверх широковатой гимнастерки, как-то особенно некстати висела ненужная ему портупея. Он хотел храбриться сам и подборить подчиненных, но дыхание развала уже проникло под своды комнаты: середина ее пустынно сиротела без унесенной стойки вокодера; не было Прянчикова, жемчужины Акустической короны; не было Рубина, запершегося со Смолосидовым на третьем этаже; наконец, и сам Ройтман торопился поскорее здесь кончить и идти туда.

А из вольняшек не было Симочки, опять дежурившей с обеда взамен кого-то. Хоть не было ее! хоть это одно облегчало сейчас Нержина! — не объясняться с нею знаками и записками.

В кружке совещания Нержин сидел, откинувшись на податливую пружинящую спинку своего стула и поставив ноги на нижний обруч другого стула. Смотрел он по большей части в окно.

За окнами поднялся западный и, видимо, сырой ветер. От него посвинцовело облачное небо, стал рыхлеть и сжиматься нападавший снег. Наступала еще одна бессмысленная гнилая оттепель.

Нержин сидел невыспавшийся, обвислый, с резкими при сером свете морщинами, с уроненными углами губ. Он испытывал знакомое многим арестантам чувство утра понедельника, когда, кажется, нет сил двигаться и жить. Суженные глаза Нержина были неосмысленно устремлены на темный забор, на вышку с п о п к о й, стоящую прямо против его окна.

Что значат свидания раз в год! Вот только вчера было

свидание. Казалось: самое срочное, самое необходимое, все высказано надолго вперед ! И уже сегодня . . ?

Когда теперь это скажешь ей ? Написать ? Но как об этом напишешь ? Можно ли сообщить твое место работы ? . . После вчерашнего и так ясно: нельзя.

Объяснить: так как не могу сообщить о тебе сведений, то переписку надо оборвать ? Но адрес на конверте и будет доносом !

Не написать совсем ничего ? Но что она станет думать ? Еще вчера я улыбался — а сегодня замолчу навеки ?

Ощущение тисков не каких-то поэтически-переносных, а громадных слесарных с насеченными губами, с прожерлиной для зажимания человеческой шеи, ощущение сходящихся на туловище тисков спирало дыхание.

Невозможно было найти выход ! Плохо было — все.

Воспитанный, близорукий Ройтман мягкими глазами смотрел сквозь очки-анастигматы и голосом не начальническим, а с оттенком усталости и мольбы, говорил о планах, о планах, о планах.

Однако, сеял он — на камне.

70

БОЧКА ВО ДВОРЕ

И в конструкторском бюро в понедельник с утра тоже было собрано совещание. Вольные и зэки стянулись и сели вместе вкруг нескольких столов.

Хотя окна бюро выходили на юг и были в верхнем этаже, но серое утро давало мало света, и у кульманов там и сям горели лампочки.

Подполковник, начальник бюро, не поднимаясь со стула и не очень напирая, говорил о выполнении планов, о новых планах и о встречных социалистических обязательствах. Он вставил в план, но сам не верил, что к концу будущего года удастся дать технический проект абсолютного шифратора — и теперь обговаривал это все так, чтоб оставить своим конструкторам запасные лазейки.

Сологдин сидел в заднем ряду и ясным взглядом смотрел мимо голов в стену. Кожа лица его была гладка, свежа, нельзя было предположить, чтоб он сейчас о чем-то думал или был озабочен, а скорее пользовался совещанием как случаем передохнуть.

Но, напротив, — он напряженнейше думал. У него оставалось несколько часов или минут, он не знал сколько, — а надо было безошибочно решить задачу всей жизни. Целое утро коля дрова, он не запомнил ни одного полена и ни одного своего удара — он думал. И как в оптических устройствах кружатся многогранники зеркал, попеременно разными гранями принимая и отражая лучи, так и в нем все это время, на валах непересекающихся и непараллельных, кружились и сыпали брызгами мысли.

Утреннее тюремное объявление он принял с усмешкой. Он давно предвидел такую меру. Он подготовился к ней первый: прервал переписку сам. Утреннее объявление только утвердило его в той догадке, что тюремный режим будет крепчать и крепчать, что естественного выхода на волю, называемого « концом срока », оставлено не будет.

Главная же горечь и досада главная остались у него от вчерашнего нелепого поворота спора, от того, что Рубин как бы получал право быть в чем-то судьею жизни Сологдина. Можно было вычеркнуть Левку Рубина из скрижали друзей, постараться забыть его — но забыть брошенный вызов нельзя было. Он оставался и язвил.

Совещание кончилось, расходились по местам.

Столик Ларисы пустовал: она отгуливала свое проработанное воскресенье.

И к лучшему. Как это всегда бывает, женщина, вчера лишь завоеванная, сегодня бы уже мешала.

Сологдин отколол со своего кульмана покрывающий старый грязный лист — и на кульмане открылся главный узел шифратора.

Опершись о спинку стула, Сологдин долго простоял так перед чертежом.

Чем больше он впитывал в себя свое творение — тем больше успокаивался. Зеркала в нем кружились все медленней и медленней. И оси их как будто утверждались параллельными.

Одна из чертежниц, как заведено было у них раз в неделю, обходила конструкторов и спрашивала старые ненужные листы на уничтожение. Листы не полагалось рвать и бросать в урны, а составлялся акт об общем числе сожженных листов, и они сжигались во дворе.

Сологдин взял жирный мягкий карандаш, несколько раз небрежно перечеркнул свой узел и напачкал по нему.

Потом отколол, надорвал его с одной стороны, положил на него покрывающий грязный, подсунул снизу еще один ненужный, все вместе скрутил и протянул чертежнице:

— Три листа, пожалуйста.

Потом он сидел, открыв для чернухи справочник, и поглядывал, что делается с его листом дальше.

Две чертежницы считали собранное и писали акт.

Сологдин следил, не подойдет ли кто-нибудь из конструкторов просмотреть листы.

Никто не подошел.

Это было явное упущение Шишкина-Мышкина: они слишком доверяли огню! Отчего они не создали наряду с конструкторским бюро еще оперконструкторского, которое сидело и разбирало бы все чертежи, уничтожаемые первым бюро?

Остроту было некому сказать, и Сологдин усмехнулся из-под усов сам себе.

Наконец, все актированные листы скатавши в трубки и у курильщиков взяв коробку спичек, чертежницы ушли.

Сологдин ритмически проводил штрихи по бумажке, отсчитывая: вот спустились по лестнице; одеваются; должны бы появиться во дворе.

Он так стал за своим поднятым кульманом, что мало кому в комнате был виден, а самому ему открывался как раз тот угол двора, где стояла на попа железная закопченная бочка и куда оборотливый Спиридон тоже успел с утра подраскидать дорожку. К тому ж и снег, видно, сырел, уплотнялся, обе женщины в ботиках легко добрались до бочки.

Но зажечь первый лист им долго не удавалось. Зажигали они по одной спичке и потом, кажется, сразу по несколько — но, то ветер гасил их, то спички ломались, то отлетала зажженная сера на них самих, и они с себя стряхивали испугано. И уже едва ли что оставалось в их коробке, не пришлось бы им идти за новой.

Так время оттягивалось, а Сологдина могли вызвать к Яконову.

Но женщины крикнули что-то, манили руками — и к ним подошел в ушастой шапке с метлою Спиридон.

Он шапку снял, чтоб не опалить, положил ее на снегу рядом, обе руки и рыжую голову засунул в бочку вместе с листом, покопался там, выбрал голову наверх — но рыжесть перешла теперь на лист. Лист занялся, вспыхнул, Спиридон оставил его в бочке и живо стал подкидывать к нему другие и другие листы. Пламя вспыхивало из бочки, листы оседали черными углами.

И тут кто-то у стола начальника назвал фамилию Сологдина.

Его подозвали к подполковнику.

Пришли жаловаться из фильтровой лаборатории, что до сих пор не выдали им заказанного чертежа двух кронштейников.

Подполковник не был грубый человек и сказал только, поморщась:

— Слушайте, Дмитрий Александрович, ну неужели такая сложность ? Заказано было в четверг.

Сологдин подтянулся:

— Виноват. Я уже кончаю их. Через час будут готовы.

Он еще их не начинал, но нельзя же было признаться, что там всей работы ему на час.

71

ЛЮБИМАЯ ПРОФЕССИЯ

Оперчекистская часть на объекте Маврино подразделялась на майора Мышина — тюремного к у м а, и майора Шикина — производственного к у м а. Вращаясь в разных ведомствах и получая зарплату из разных касс, они не соперничали друг с другом. Но и сотрудничать им мешала какая-то леность: кабинеты их были в разных зданиях и на разных этажах, по телефону об оперчекистских делах не разговаривают, будучи же в равных чинах, каждый почитал обидным идти первому как бы кланяться. Так они и работали, один над ночными душами, другой — над дневными, месяцами не встречаясь друг с другом, хотя в поквартальных отчетах и планах каждый писал о необходимости тесной увязки всей оперативной работы на объекте Маврино.

Как-то читая «Правду», майор Шикин задумался над заголовком статьи «Любимая профессия». (Статья была об агитаторе, который больше всего на свете любил разъяснять что-нибудь другим: рабочим — важность повышения производительности, солдатам — необходимость жертвовать собой, избирателям — правильность политики блока коммунистов и беспартийных). Шикину понравилось это выражение. Он заключил, что и сам, кажется, не ошибся в жизни: ни к какой другой профессии его отроду не тянуло; он любил свою и она его любила.

В свое время Шикин кончил училище ГПУ, позже — курсы усовершенствования следователей, но на работе собственно следовательской состоял мало, поэтому не мог назвать себя следователем. Он работал оперативником в транспортном ГПУ, во время войны был начальником армейского отделения военной цензуры, потом был в комиссии по репатриации, потом в проверочно-фильтрационном лагере, потом специнструктором по высылке греков с Кубани в Казахстан и наконец — оперуполномоченным в исследовательском институте Маврино.

В профессии Шикина было много положительных сторон. Во-первых, со времен гражданской войны она давно уже пе-

рестала быть опасной, во всякой операции обеспечивался перевес сил: двое и трое вооруженных против одного безоружного, непредупрежденного, иногда только-что проснувшегося врага.

Затем, она высоко оплачивалась, давала права на лучшие закрытые распределители, на лучшие квартиры, конфискованные у осужденных, на пенсии выше, чем у военных, и на первоклассные санатории.

Она не изматывала сил: в ней не было норм выработки. Правда, друзья рассказывали Шикину, что в тридцать седьмом и сорок пятом годах следователи тянули, как лошади, но сам Шикин не попадал в такой круговорот и не очень верил. В добрую пору можно было месяцами дремать за письменным столом. Общий стиль работы был — неторопливость. К естественной неторопливости всякого сытого человека добавлялась еще неторопливость нарочитая, чтобы лучше воздействовать на психику заключенного и добиться от него показаний — медленная зачинка карандашей, подбор перьев, выбор бумаги, терпеливая запись всяких протокольных ненужностей и установочных данных. Эта проникающая неторопливость работы очень здорово отзывалась на нервах и вела к долголетию работников.

Не менее дорог был Шикину и сам порядок его работы. Вся она, по сути, состояла из учета в голом виде, пронизывающего у ч е т а. Ни один разговор не кончался попросту как разговор, а обязательно завершался написанием доноса, или подписанием протокола, или расписки о недаче ложных показаний, о неразглашении, о невыезде, об осведомлении, о вручении. Требовалось именно то терпеливое внимание, именно та аккуратность, которые отличали характер Шикина, чтобы не создать в этих бумажках хаоса, а распределить их, подшить и всегда найти любую. (Сам Шикин, как офицер, не мог производить физической работы подшития бумаг, и это делала приглашаемая из общего секретариата особая засекреченная девица, долговязая и подслеповатая).

А больше всего была приятна оперчекистская работа Шикину тем, что она давала власть над людьми, сознание своего всемогущества, в глазах же людей окружала загадочностью.

Шикину лестно было то почтение, та даже робость, которые он встречал к себе со стороны сослуживцев — тоже чекистов, но не оперчекистов. Все они — и инженер-полковник Яконов, по первому требованию Шикина должны были давать ему отчет в своей деятельности, Шикин же не отчитывался

ни перед кем из них. Когда он, темнолицый, с коротко-остриженной седеющей головой, с большим портфелем под мышкой, поднимался по коврам широкой лестницы, и девушки-лейтенантки МГБ застенчиво сторонились его даже на просторе этой лестницы, спеша первыми поздороваться, — Шикин гордо ощущал свою ценность и особенность.

Если бы Шикину сказали — но ему никогда этого никто не говорил, — что он якобы заслужил к себе ненависть, что он — мучитель других людей, — он бы непритворно возмутился. Никогда мучение людей не составляло для него удовольствия или цели. Правда, вообще такие люди бывают, он видел их в театре, в кино, это садисты, страстные любители пыток, в них нет ничего человеческого, но это всегда или белогвардейцы, или фашисты. Шикин же только выполнял свой долг, и единственная цель его была — чтобы никто ничего вредного не делал и ни о чем вредном не думал.

Однажды на главной лестнице шарашки, по которой ходили и вольные и зэки, найден был сверток, а в нем — сто пятьдесят рублей. Нашедшие два техника-лейтенанта не могли его скрыть или тайно разыскать хозяина именно потому, что их было двое. Поэтому они сдали находку майору Шикину.

Деньги на лестнице, где ходят заключенные, деньги, оброненные под ноги тем, кому иметь их строжайше запрещено — да это равнялось чрезвычайному государственному событию! Но Шикин не стал его раздувать, а повесил на лестнице объявление:

« Кто потерял деньги 150 руб. на лестнице,
может получить их у майора Шикина
в любое время ».

Деньги были немалые. Но таково было всеобщее почтение к Шикину и робость перед ним, что шли дни, шли недели — никто не являлся за проклятой пропажей, объявление блекло, запыливалось, оторвалось с одного угла, и наконец кто-то дописал синим карандашом печатными буквами:

« ЛОПАЙ САМ, СОБАКА! »

Дежурный отодрал объявление и принес его майору. Долго после этого Шикин ходил по лабораториям и сравнивал оттенки синих карандашей. Грубое ругательство незаслуженно оскорбило Шикина. Он вовсе не собирался присваивать чужих денег. Ему гораздо больше хотелось, чтобы пришел этот человек, и можно было бы оформить на него поучительное

дело, проработать на всех совещаниях о бдительности — а деньги, пожалуйста, отдать.

Но, конечно, не выбрасывать же их и зря! — через два месяца он подарил их той долговязой девице с бельмом, которая подшивала у него раз в неделю бумаги.

Образцового до тех пор семьянина Шикина как черт попутал и приковал к этой секретарше с ее запущенными тридцатью восьмью годами, с грубыми толстыми ногами, и которой он доходил только до плеча. Что-то неиспытанное он в ней для себя открыл. Он едва дожидался дня ее прихода и настолько потерял осторожность, что при ремонте, во временном помещении, не уберегся: их слышали и даже в щепку видели двое заключенных — плотник и штукатур. Это разнеслось, и зэки между собой потешались над духовным пастырем, и хотели писать письмо жене Шикина, да не знали адреса. Вместо того донесли начальству.

Но свалить оперуполномоченного им не удалось. Генерал-майор Осколупов выговаривал тогда Шикину не за сношения с секретаршей (это была область моральных принципов секретарши) и не за то, что сношения происходили в рабочее время (ибо день у Шикина был ненормированный), а лишь за то, что узнали заключенные.

В понедельник двадцать шестого декабря (в воскресенье он разрешил себе отдохнуть) майор Шикин пришел на работу немногим позже девяти часов утра, хотя если б он пришел и к обеду — никто б ему не мог сделать замечания.

На третьем этаже против кабинета Яконова было в стене углубление или тамбур, никогда не освещаемый электрической лампочкой, и из тамбура вели две двери — одна в кабинет Шикина, другая в партком. Обе двери были обтянуты черной кожей и не имели надписей. Такое соседство дверей в темном тамбуре было весьма удобно для Шикина: со стороны нельзя было доследить, куда именно заныривали люди.

Сегодня, подходя к кабинету, Шикин встретился с секретарем парткома Степановым, больным худым человеком в свинцово-поблескивающих очках. Обменялись рукопожатием. Степанов тихо предложил:

— Товарищ Шикин! (он никого не называл по имени-отчеству). Заходи, шаров погоняем!

Речь шла о парткомовском настольном бильярде. Шикин иногда-таки заходил погонять шары, но сегодня много важных дел ждало его, и он с достоинством покачал своей серебрящейся головой.

Степанов вздохнул и пошел гонять шары сам с собой.

Войдя в кабинет, Шикин аккуратно положил портфель на стол. (Все бумаги Шикина были секретные и совсекретные, держались в сейфе и никуда не выносились, — но ходить без портфеля не воздействовало на умы. Поэтому он носил в портфеле домой читать «Огонек», «Крокодил» и «Вокруг света», на которые самому подписываться обошлось бы в копеечку). Затем прошелся по коврику к окну, постоял — и назад к двери. Мысли будто ждали его, притаясь тут, в кабинете, за сейфом, за шкафом, за диваном — и теперь все разом обступили и требовали к себе внимания.

Дел было!.. Дел было!..

Он растер ладонями свой короткий седеющий ежик.

Во-первых, надо было проверить важное начинание, обдуманное им в течение многих месяцев, утвержденное недавно Яконовым, принятое к руководству, разъясненное по лабораториям, но еще не налаженное. Это был — новый порядок ведения секретных журналов. Пытливо анализируя постановку бдительности в институте Маврино, майор Шикин установил, и очень гордился этим, что по сути настоящей секретности все еще нет! Правда, в каждой комнате стоят несгораемые стальные шкафы в рост человека в количестве пятидесяти штук, привезенные от растрофеенной фирмы; правда, все документы секретные, полусекретные и лежавшие около секретных, запираются в присутствии специальных дежурных в эти шкафы на обеденный перерыв, на ужинный перерыв и на ночь. Но трагическое упущение состоит в том, что запираются только законченные и незаконченные работы. Однако, в стальные шкафы все еще не запираются проблески мысли, первые догадки, неясные предположения — именно то, из чего рождаются работы будущего года, то есть, самые перспективные. Ловкому шпиону, разбирающемуся в технике, достаточно проникнуть через колючую проволоку в зону, найти где-нибудь в мусорном ящике клочок промокательной бумаги с таким чертежом или схемой, потом выйти из зоны — и уже американской разведкой перехвачено направление нашей работы. Будучи человеком добросовесным, майор Шикин однажды заставил дворника Егорова в своем присутствии разобрать весь мусорный ящик во дворе. При этом нашлись две промоклых, смерзшихся со снегом и с золой бумажки, на которых явно были когда-то начертаны схемы. Шикин не побрезговал взять эту дрянь за уголки и принести на стол к Яконову. И Яконову некуда было деваться!

Так был принят проект Шикина об учреждении индивидуальных именных секретных журналов. Подходящие журналы были немедленно приобретены на писчебумажных складах МГБ; они содержали по двести больших страниц каждый, были пронумерованы, прошнурованы и просургучены. Журналы предполагалось теперь раздать всем, кроме слесарей, токарей и дворника. Вменялось в обязанность не писать ни на чем, кроме как на страницах своего журнала. Помимо упразднения гибельных черновиков здесь было еще второе важное начинание: осуществлялся контроль за мыслью ! Так как каждый день в журнале должна проставляться дата, то теперь майор Шикин мог проверить любого заключенного — много ли он думал в среду и сколько нового придумал в пятницу. Двести пятьдесят таких журналов будут еще двумястами пятьюдесятью Шикиными, неотступно висящими над головой каждого арестанта. Арестанты всегда хитры и ленивы, они всегда стараются не работать, если это возможно. Рабочего проверяют по его продукции. Проверить инженера, проверить ученого — в этом и состояло изобретение майора Шикина (увы, оперчекистам не дают сталинских премий !). Сегодня как раз и требовалось проконтролировать, розданы ли журналы на руки и начато ли их заполнение.

Другая сегодняшняя забота Шикина была — укомплектовать до конца список заключенных на этап, намеченный тюремным управлением на этих днях, и уточнить, когда же именно обещают транспорт.

Еще владело Шикиным грандиозно начатое им, но пока плохо продвигавшееся « Дело о поломке токарного станка », — когда десять заключенных перетаскивали станок из третьей лаборатории в мехмастерские, и станок дал трещину в станине. За неделю следствия уже было исписано до восьмидесяти страниц протоколов, но истина никак не выяснялась: арестанты попались все не новички.

Еще нужно было произвести следствие по поводу того, откуда взялась книга Диккенса, о которой Доронин донес, что ее читали в полукруглой комнате, в частности Адамсон. Вызывать на допрос самого Адамсона, п о в т о р н и к а, было бы потерей времени. Значит, надо было вызывать вольных из его окружения и сразу пугануть их, что все раскрыто.

Так много было сегодня у Шикина дел ! (И ведь он еще не знал, что нового ему расскажут осведомители ! Он не знал, что ему предстояло разбираться в глумлении над правосудием в форме спектакля « Суд над князем Игорем » !). Шикин в

отчаянии растер себе виски и лоб, чтобы все это множество мыслей как-нибудь уложилось, осело.

Колеблясь с чего начать, Шикин решил выйти в массы, то есть пройтись немного по коридору в надежде встретить какого-нибудь осведомителя, который движением бровей даст понять, что у него донесение срочное, не ждущее явки по графику.

Но едва он вышел к столу дежурного, как услышал разговор того по телефону о какой-то новой группе.

Как ? Возможна ли такая стремительность ? За воскресенье, пока Шикина не было, на объекте образовалась новая группа ?

Дежурный рассказал.

Удар был крепок ! — приезжал замминистра, приезжали генералы — а Шикина на объекте не было ! Досада овладела майором. Дать замминистру повод подумать, что Шикин не терзается о бдительности ! И не предупредить, не отсоветовать вовремя: нельзя же включать в столь ответственную группу этого проклятого Рубина — двурушника, человека насквозь фальшивого: клянется, что верит в победу коммунизма — и отказывается стать осведомителем ! Еще эту демонстративную бороду носит, мерзавец ! Ва́ско да Га́ма ! Сбрить !

Спеша медленно, делая ножками в мальчиковых ботинках осторожные шажки, крупноголовый Шикин направился к комнате 21.

Была, впрочем, управа и на Рубина: на днях он подал (каждый год два раза подает) прошение в Верховный Суд о пересмотре дела. От Шикина зависело — сопроводить прошение похвальной характеристикой или гнусно-отрицательной (как прошлые разы).

Дверь № 21 была сплошная, без стеклянных шибок. Майор толкнул ее, она оказалась запертой. Он постучал. Не было слышно шагов, но дверь вдруг приоткрылась. В ее растворе стоял Смолосидов с недобрым черным чубом. Видя Шикина, он не пошевельнулся и не раскрыл двери шире.

— Здравствуйте, — неопределенно сказал Шикин, не привыкший к такому приему. Смолосидов был еще более оперчекист, чем сам Шикин.

Черный Смолосидов с чуть отведенными кривыми руками стоял пригнувшись, как боксер. И молчал.

— Я... Мне... — растерялся Шикин. — Пустите, мне нужно познакомиться с вашей группой.

Смолосидов отступил на полшага и, продолжая загора-

живать собою комнату, поманил Шикина. Шикин втиснулся в узкий раствор двери и оглянулся вслед пальцу Смолосидова. На второй половинке двери изнутри была привешена бумажка:

« Список лиц, допущенных в комнату 21.

1. Зам. министра МГБ — Севастьянов
2. Нач. Отдела — генерал-майор Бульбанюк
3. Нач. Отдела — генерал-майор Осколупов
4. Нач. группы — инженер-майор Ройтман
5. Лейтенант Смолосидов
6. Заключенный Рубин.

У т в е р д и л
министр Госбезопасности Абакумов ».

Шикин в благоговейном трепете отступил в коридор.
— Мне бы... Рубина вызвать... — шепотом сказал он.
— Нельзя ! — так же шепотом отклонил Смолосидов.
И запер дверь.

72

ОСВОБОЖДЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Поначалу в жизни мавринских вольных имел большое и принципиальное значение профсоюз. Но однажды об этом узнал один высокопоставленный товарищ (так что даже неудобно было назвать его «товарищем»). И он сказал: «Да вы что?» (и не добавил — «товарищи», полагая, что не следует этим баловать подчиненных). «Ведь Маврино — воинская часть. Какой такой профсоюз? Вы знаете, чем это пахнет?»

И в тот же день профсоюз в Маврино был упразднен.

Но это не сотрясало мавринской жизни.

Теперь чрезвычайно возросло в Маврино значение организации партийной, бывшее немалым и прежде. И в обкоме партии признали необходимым иметь в Маврино освобожденного секретаря. Просмотрев несколько анкет, представленных отделом кадров, бюро обкома постановило рекомендовать на эту должность:

Степанова Бориса Сергеевича, 1900 года рождения, уроженца села Лупачи, Бобровского уезда, социальное происхождение — из батраков, после революции — сельский милиционер, профессии не имеет, социальное положение — служащий, образование — 4 класса и двухгодичная партшкола, член партии с 1921 года, на партийной работе — с 1923 года, колебаний в проведении линии партии не было, в оппозициях не участвовал, в войсках и учреждениях белых правительств не служил, в революционном и партизанском движении участия не принимал, под оккупацией не был, за границей не был, иностранных языков не знает, языков народностей СССР не знает, имеет контузию в голову, орден «Красной Звезды» и медаль «За победу в Отечественной войне над Германией».

В те дни, когда обком рекомендовал Степанова, сам он находился в Волоколамском районе агитатором на уборочной. Используя каждую минуту отдыха колхозников, садились ли они обедать или покурить, он тотчас собирал их на полевом

стане (а вечерами еще созывал и в правление) и неустанно разъяснял им важность того, чтобы земля каждый год засевалась и притом доброкачественным зерном; чтобы посеянное зерно было выращено в количестве, желательно большем, чем посеяно; чтобы затем оно было убрано без потерь и хищений и как можно быстрее сдано государству. Не зная отдыху, он тут же переходил к трактористам и объяснял им важность экономии горючего, бережного отношения к материальной части, совершенную недопустимость простоев, а также нехотя отвечал на их вопросы о плохом качестве ремонта и отсутствии спецодежды.

Тем временем общее собрание парторганизации Маврино горячо присоединилось к рекомендации обкома и единодушно избрало Степанова своим освобожденным секретарем, так и не повидав его. В те же дни агитатором в Волоколамский район был послан некий кооперативный работник, снятый в Егорьевском районе из-за материальных недостач, а в Маврино Степанову обставили кабинет рядом с кабинетом оперуполномоченного — и он приступил к руководству.

Руководство он начал с принятия дел от прежнего, не освобожденного секретаря. Прежним секретарем был лейтенант Клыкачев. Клыкачев был худ — потому, наверно, что очень подвижен, и не знал отдыха. Он успевал и руководить в лаборатории дешифрирования, и контролировать криптографическую и статистическую группы, и вести комсомольский семинар, и быть душой «группы молодых», и сверх всего быть секретарем парткома. И хотя начальство называло его требовательным, а подчиненные — въедливым, новый секретарь сразу заподозрил, что партийные дела в Мавринском институте окажутся запущенными.

Так и оказалось.

Начался прием дел. Он длился неделю. Не выйдя ни разу из кабинета, Степанов просмотрел все до единой бумаги, каждого партийца узнав сперва по личному делу и по фотографии, и лишь позже — в натуре. Клыкачев почувствовал на себе нелегкую руку нового секретаря.

Упущение вскрывалось за упущением. Не говоря уже о неполноте анкетных данных, неполноте подбора справок в личных делах, не говоря уже об отсутствии развернутых характеристик на каждого члена и кандидата, — наблюдалось по отношению ко всем мероприятиям общее порочное направление: проводить их, но не фиксировать документально, отчего сами мероприятия становились как бы призрачными.

— Но кто же поверит ? Кто же поверит вам теперь, что мероприятия эти действительно проводились ? ! — возглашал Степанов, держа руку с дымящейся папиросой над лысой головой.

И он терпеливо разъяснял Клыкачеву, что все это сделано *на бумаге* (потому что — только на словесных уверениях), *а не на деле* (то есть не на бумаге, не в виде протоколов).

Например, что толку, что физкультурники института (речь шла, разумеется, не о заключенных) каждый обеденный перерыв режутся в волейбол (даже имея манеру прихватывать часть рабочего времени) ? Может быть это и так. Может быть они действительно играют. Но ни мы с вами, ни любые *поверяющие* не станут же выходить во двор смотреть, прыгает ли там мяч. А почему бы тем же волейболистам, сыграв столько игр, приобретя столько опыта — почему не поделиться этим опытом в специальной физкультурной стенгазете « Красный мяч » или, скажем, « Честь динамовца » ? Если бы затем Клыкачев такую стенгазетку аккуратненько снял бы со стеночки и приобщил к партийной документации — ни у какой инспекции никогда не закралось бы сомнение в том, что мероприятие « игра в волейбол » реально проводилось и руководила им партия. А в настоящее время, кто же поверит Клыкачеву на слово ?

И так во всем, так во всем. « Слова к делу не подошьешь ! » — с этой глубокомысленной пословицей Степанов вступил в должность.

Как ксендз бы не поверил, что можно солгать в исповедальне, — так Степанову не приходило в голову, что можно соглать и в письменной документации.

Однако, Клыкачев со своей узкой головой на длинной шее не стал спорить со Степановым, но непрерывно с открытой благодарностью в глазах соглашался с ним и учился у него. И Степанов быстро помягчел к Клыкачеву, проявляя тем самым, что он человек не злой. Он со вниманием выслушал опасения Клыкачева о том, что во главе такого важного секретного института стоит инженер-полковник Яконов, человек не только с шаткими анкетными данными, но попросту бывший враг. Степанов и сам предельно насторожился. Клыкачева же он сделал своей правой рукой, велел заходить в партком почаще и благодушно поучал его из сокровищницы своего опыта.

Так Клыкачев скорее и ближе всех узнал нового парторга. С его язвительного языка « молодые » стали звать парторга

« Пастух ». Но именно благодаря Клыкачеву, отношения с Пастухом у « молодых » сложились не плохие. Они быстро поняли, что им гораздо удобнее иметь парторгом не открыто своего человека, а постороннего беспристрастного законника.

А Степанов был законник ! Если ему говорили, что кого-то жаль, что к кому-то не надо проявлять всей строгости закона, но проявлять снисхождение, — борозда боли прорезала лоб Степанова, увышенный отсутствием волос на темени, плечи же Степанова сутулились, как бы еще под новой тяжестью. Но, сжигаемый пламенным убеждением, он находил в себе силы распрямиться и резко повернуться к одному и к другому собеседнику, отчего беленькие квадратики — отражения окон, метались на свинцовых стеклах его очков:

— Товарищи ! Товарищи ! Что я слышу ? Да как у вас поворачивается язык? Запомните: поддерживай закон всегда! поддерживай закон, как бы тебе ни было тяжело ! ! поддерживай закон из последних сил ! ! — и только так, и только этим ты в действительности поможешь тому, ради кого собирался закон нарушить ! Потому что закон именно так составлен, чтобы служить обществу и человеку, а мы этого часто не понимаем и по слепости хотим закон обойти !

Со своей стороны и Степанов был доволен « молодыми » с их тяготением к партийным собраниям и партийной критике. В них он видел ядро того здорового коллектива, который он старался создавать на каждом новом месте своей работы. Если коллектив не открывал руководству нарушителей закона из своей среды, если коллектив отмалчивался на собраниях — такой коллектив Степанов с полным основанием считал нездоровым. Если же коллектив всем скопом набрасывался на одного своего члена и именно на того, на кого нужно, — такой коллектив по понятиям людей и выше Степанова был здоровый.

У Степанова много было таких установившихся понятий, с которых сойти ему было невозможно. Например, он не представлял себе собрания без принятия в его конце громовой резолюции, бичующей отдельных членов коллектива и мобилизующей весь коллектив на новые производственные победы. Особенно он любил за это « открытые » партсобрания, куда являлись и все беспартийные, и где можно было вдребезги разносить и их, они же не имели права голосовать и защищаться. Если же перед голосованием раздавались обиженные или даже возмущенные голоса: « Что это ? Собрание ? Или суд ? »

— Позвольте, товарищи, позвольте ! — властно прерывал Степанов любого выступавшего или даже председателя собрания. Дрожащей рукой наскоро высыпав в рот порошок (после контузии у него жестоко разбаливалась голова от всякого волнения, а волновался он всегда, если нападали на истину), он выходил на середину комнаты под самый свет верхних ламп, так что видны были крупные капли пота на его высоком лысом темени, — вы что же, получается, против критики и самокритики ? — И решительно размахивая кулаком, как бы заколачивая свои мысли в головы слушателям, разъяснял: — Самокритика есть высший движущий закон нашего общества, главный двигатель его прогресса ! Пора понять, что когда мы критикуем наших членов коллектива, то не для того, чтобы отдать их под суд, но чтобы держать каждого работника каждую минуту в постоянном творческом напряжении ! И тут не может быть двух мнений, товарищи ! Конечно, не всякая критика нам нужна, это верно ! Нам нужна д е л о в а я критика, то есть, критика, не затрагивающая испытанных руководящих кадров ! Не будем смешивать свободу критики со свободой мелкобуржуазного анархизма !

И отойдя к графину с водой, он глотал еще один порошок.

И всегда случалось, что весь здоровый коллектив, включая и тех членов, кого бичевала и уничтожала резолюция (« преступно-халатное отношение к работе », « граничащее с саботажем невыполнение сроков ») — единогласно голосовал з а резолюцию.

Иногда даже сходилось так, что Степанов, любящий резолюции разработанные, развернутые, Степанов, счастливым образом всегда заранее знающий смысл ожидаемых выступлений и окончательное мнение собрания, не успевал, однако, впопыхах, целиком составить резолюцию д о собрания. Тогда после объявления председательствующего:

— Слово для оглашения проекта резолюции имеет товарищ Степанов ! — освобожденный секретарь вытирал пот со лба и с лысины и говорил так:

— Товарищи ! Я был очень занят, и поэтому в проекте резолюции не успел уточнить некоторых обстоятельств, фамилий и фактов, или:

— Товарищи ! Меня вызывали в Управление, и сегодня проекта резолюции я еще не написал,

и в обоих случаях:

— Прошу поэтому, голосовать резолюцию в ц е л о м, а завтра на досуге я ее п о д р а б о т а ю.

И мавринский коллектив оказывался настолько здоровым, что без ропота поднимал руки, так и не зная (и не узнав), кого именно будут в этой резолюции поносить, кого превозносить.

Очень укрепляло положение нового парторга еще и то, что он не ведал слабостей интимных отношений. Все уважительно звали его «Борис Сергеич». Принимая это как должное, он, однако, никого на всем объекте по имени-отчеству не звал, и даже в азарте настольного бильярда, сукно которого неизменно зеленело в комнате парткома, восклицал:

— Выставляй шара, товарищ Шикин!

— От борта, товарищ Клыкачев!

Вообще, Степанов не любил, чтобы люди взывали к его высшим и лучшим побуждениям. Одновременно и сам он к подобным побуждениям в людях не взывал. Поэтому, едва почувствовав в коллективе какое-то неудовольствие или сопротивление своим мероприятиям, он не разглагольствовал, не убеждал, но брал большой чистый лист бумаги, крупно писал вверху: «Предлагается нижепоименованным товарищам к такому-то сроку выполнить то-то и то-то», затем графил по форме: № по порядку, фамилия, расписка в извещении — и давал секретарше обойти с листом. Указанные товарищи читали, как угодно расплескивали свое ожесточение над белым равнодушным листом, но не могли не расписаться — а расписавшись, не могли не выполнить.

Был Степанов секретарем о с в о б о ж д е н н ы м также и от сомнений и блужданий во тьме. Довольно было объявить по радио, что нет больше героической Югославии, а есть клика Тито, как уже через пять минут Степанов разъяснял это решение с таким настоянием, с такой убежденностью, будто годами вынашивал его в себе сам. Если же кто-нибудь робко обращал внимание Степанова на противоречие инструкций сегодняшних и вчерашних, на плохое снабжение института, на низкое качество отечественной аппаратуры или трудности с жильем, — освобожденный секретарь даже улыбался, и очки его светлели, ибо знали то словечко, которое он сейчас скажет:

— Ну, что ж поделать, товарищи. Это — ведомственная неразбериха. Но прогресс и в этом вопросе несомненен, вы не станете спорить!

Все же некоторые человеческие слабости были присущи и Степанову, но в очень ограниченных размерах. Так, ему нравилось, когда высшее начальство хвалило его и когда рядовые партийцы восхищались его опытностью. Нравилось потому, что это было справедливо.

Еще пил он водку — но только если его угощали или выставляли на столы, и всякий раз жаловался при этом, что водка смертельно вредна его здоровью. По этой причине сам он ее никогда не покупал и никого ею не угощал. Вот, пожалуй, были и все его недостатки.

«Молодые» между собой иногда спорили, что такое Пастух. Ройтман говорил:

— Друзья мои! Он пророк глубокой чернильницы. Он — душа отпечатанной бумажки. Такие люди неизбежны в переходный период.

Но Клыкачев улыбался криво:

— Желторотые! Попадись мы ему между зубами — он нас с дерьмом схамкает. Не думайте, что он глуп. Он за пятьдесят лет тоже жить научился! По-вашему, это зря — каждое собрание — разносную резолюцию? Он историю Маврино этим пишет! Он пре-ду-смо-три-тельно материальчики накопляет: при любом обороте любая инспекция пусть убедится, что освобожденный секретарь сигнализировал, внимание общественности приковывал.

В пристрастном освещении Клыкачева Степанов представал человеком кляузным, скрытным, всеми правдами и неправдами выращивающим трех сыновей.

Три сына у Степанова действительно были и непрерывно требовали с отца денег. Всех трех он определил на исторический факультет. Расчет у него был как будто и верен, но не учел он, что наступило полное насыщение историками всех школ, техникумов и кратковременных курсов сперва Москвы, потом Московской области, а потом и до Урала. Первый сын закончил и не остался кормить родителей, а поехал в Ханты-Мансийск. Второму предлагали при распределении Улан-Удэ, когда же подрастет третий — вряд ли он сумеет найти что-нибудь ближе острова Борнео.

Тем более цепко отец держался за свою работу и за маленький домик на окраине Москвы с двенадцатью сотками огорода, бочками квашеной капусты и откормом двух-трех свиней. Жена Степанова, женщина трезвая и может быть даже несколько отсталая, видела в выращивании свиней основной интерес жизни и опору семейного бюджета. У нее не-

уклонно было намечено на минувшее воскресенье ехать с мужем в район и там покупать поросенка. Из-за этой (удавшейся) операции Степанов и не приходил вчера в воскресенье на работу, хотя у него сердце было не на месте после субботнего разговора и рвалось в Маврино.

В субботу в Политуправлении Степанова постиг удар. Один работник, очень ответственный, но, несмотря на свои ответственные тревоги, и очень упитанный, так примерно пудиков на шесть-на семь, посмотрел на худой заезженный очками нос Степанова и спросил ленивым баритоном:

— Да, Степанов, — а как у тебя с иудеями ?

— С иу . . . кем ? — навострился дослышать Степанов.

— С иудеями. — И видя полное непонимание собеседника, пояснил: — Ну, с жидами, значит.

Захваченный врасплох и боясь повторить это обоюдоострое слово, за которое так недавно давали десять лет как за антисоветскую агитацию, Степанов неопределенно пробормотал:

— Е-есть . . .

— Ну, и что ты там с ними думаешь ? . .

Но зазвонил телефон, ответственный товарищ взял трубку и больше не разговаривал со Степановым.

В смятеньи Степанов перечел в Управлении всю пачку директив, инструкций и указаний — но черные буквы на белой бумаге лукаво обходили иудейский вопрос.

Весь воскресный день, в езде за поросенком, он думал, думал и в отчаянии скреб грудь. Видно, от старости притупела его догадливость ! Да как тут и догадаешься, если за годы работы Степанов привык, что еврейские товарищи были всегда особенно приверженные идее. А теперь — позор ! — испытанный работник Степанов прохлопывал какую-то важную новую кампанию и даже косвенно сам оказался замешан в интригах врагов, потому что вся эта группа Ройтмана-Клыкачева . . .

Растерянный, приехал Степанов в понедельник утром на работу. После отказа Шикина погонять в бильярд (Степанов имел умысел выведать что-нибудь от Шикина), задыхающийся от отсутствия инструкций освобожденный секретарь заперся в парткоме и два часа кряду лихо гонял металлические шары сам с собой, иногда перебивая и через борт. Громадный настенный бронзированный барельеф был свидетелем нескольких блестящих ударов, когда в лузу клалось по два и по три шара зараз. Но силуэты на барельефе не подсказывали Степанову

решения, как ему не погубить здоровый коллектив и даже укрепить его в новой обстановке.

Изнуренный, он, наконец, услышал телефонный звонок и припал к трубке.

Ему звонили, что в Маврино уже выехала машина с двумя товарищами, которые дадут соответствующие установки по вопросу борьбы с низкопоклонством.

Освобожденный секретарь воспрял, повеселел, загнал дуплет в лузу и убрал бильярд за шкаф.

Еще то повышало его настроение, что купленный вчера розовоухий поросенок очень охотно, не привередничая, кушал запарку и вечером и утром. Это давало надежду дешево и хорошо его откормить.

78

ДВА ИНЖЕНЕРА

В кабинете инженер-полковника Яконова был майор Шикин.

Они сидели и беседовали как равный с равным, вполне приязненно, хотя каждый из них презирал и терпеть не мог другого.

Яконов любил говаривать на собраниях: « Мы, чекисты». Но Шикину он всегда представлялся тем прежним — врагом народа, ездившим за границу, отбывавшим срок, прощенным, даже принятым в лоно госбезопасности, но н е невиновным ! Неизбежно, неизбежно должен был наступить тот день, когда о р г а н ы разоблачат Яконова и снова арестуют. С наслаждением Шикин сам бы тогда сорвал с него погоны ! Старательного большеголового коротышку-майора задевала роскошная снисходительность инженер-полковника, та барская самоуверенность, с которой он нес бремя власти. Шикин всегда поэтому старался подчеркнуть значение свое и недооцениваемой инженер-полковником оперативной работы.

Сейчас он предлагал на следующем развернутом совещании о бдительности поставить доклад Яконова о состоянии бдительности в институте, с жестокой критикой всех недостатков. Такое совещание хорошо было бы связать с этапированием недобросовестных зэков и с введением новой формы секретных журналов.

Инженер-полковник Яконов, после вчерашнего приступа замученный и с синими подглазными мешками, но все же сохраняя приятную округлость черт лица, и кивая словам майора, — там, в глубине, за стенами и рвами, куда не проникал ничей взгляд, может быть только взгляд жены, думал, какая гадкая сероволосая поседевшая над анализом доносов вошь этот майор Шикин, как идиотски ничтожны его занятия, какой кретинизм все его предложения.

Яконову дали единственный месяц. Через месяц могла лечь на плаху его голова. Надо было вырваться из брони коман-

дования, из оскорузлости высокого положения — самому сесть за схемы, подумать в тишине.

Но полуторное кожаное кресло, в котором сидел инженер-полковник, в самом себе уже несло свое отрицание: за все ответственный полковник ни к чему не мог прикоснуться сам, а только поднимать телефонную трубку да подписывать бумаги.

Еще эта мелкая бабья война с группой Ройтмана забирала душевные силы. Войну эту он вел по нужде. Он не был в состоянии вытеснить их из института и только хотел принудить к безусловному подчинению. Они же хотели — изгнать его, и способны были — погубить его.

Шикин говорил. Яконов смотрел чуть мимо Шикина. Физически он не закрывал глаз, но духовно закрыл их — и, покинув свое рыхлое тело в кителе, перенесся к себе домой.

Дом мой ! Мой дом — моя крепость ! Как мудры англичане, первые понявшие эту истину. На твоей маленькой территории существуют только твои законы. Четыре стены и крыша прочно отделяют тебя от мира, все время тебя гнетущего, трясущего, что-то вымогающего из тебя. Внимательные, с тихим сиянием глаза жены встречают тебя на пороге твоего дома. Неистощимо-разнообразные смешные ребятишки (хорошо, если еще не ходят в школу !) потешают и освежают тебя, уставшего от травли, от дерганий. Жена уже научила обоих тараторить по-английски. Подсев к пианино, она сыграет приятный вальсик Вальдтейфеля. Коротки часы обеда и потом самого позднего вечера, уже на пороге ночи — но нет в твоем доме ни сановных надутых дураков, ни прицепчивых злых юношей.

То, что составляло р а б о т у Яконова, включало в себя столько мук, унизительных положений, насилий над волей, административной толкотни, да и настолько уже немолодым чувствовал себя Яконов, что он охотно бы пожертвовал этой работой, если бы мог — а оставался бы только в своем маленьком уютном мирке, в своем доме.

Нет, это не значило, что внешний мир его не интересовал — интересовал и очень живо. Даже трудно было найти в мировой истории время, завлекательнее нашего. Мировая политика была для него род шахмат — усотеренных Шахмат. Только Яконов не претендовал играть в них или, того хуже, быть в них пешкой, головкой пешки, подстилкой под пешку. Яконов претендовал наблюдать ее со стороны, смаковать ее — в покойной пижаме, в старинной качалке, среди многих книжных полок.

Все условия для таких занятий у Яконова были. Он владел двумя языками, и иностранное радио наперерыв предлагало ему информацию. Получив иностранные технические и военные журналы, министерство безо всякой задержки рассылало их по своим закрытым институтам. Журналы же эти любили тиснуть статейку о политике, о будущей глобальной войне, о будущем политическом устройстве планеты. А вращаясь в высоких кругах, Яконов нет-нет да и слышал подробности, не доступные печати. Не брезговал он и переводными книгами о дипломатии, разведке. И еще у него была собственная голова с отточенными мыслями. Его игра в Шахматы в том и состояла, что он из качалки следил за партией Восток-Запад и по делаемым ходам пытался угадать будущее.

За кого же был он ? Когда по службе везло — конечно, за Восток. Когда по службе очень теснили — пожалуй, больше за Запад. А высшее его понимание было такое: побеждает тот, кто сильней и жестче. В этом, к сожалению, убеждала вся история и все пророки.

Рано в молодости подхватил он и усвоил ходячую фразу: « все люди — сволочи ». И сколько жил он потом — истина эта лишь подтверждалась и подтверждалась. И чем прочней он в ней укоренялся, тем больше он находил ей доказательств, и тем легче ему становилось жить. Ибо, если все люди — сволочи, то никогда не надо делать « для людей », а только для себя. И никакого нет « общественного алтаря », и никто не смеет спрашивать с нас жертв. И все это очень давно и очень просто выражено самим народом: « своя рубаха ближе к телу ».

Поэтому блюстители анкет и душ напрасно опасались его прошлого. Размышляя над жизнью, Яконов понял: в тюрьму попадают лишь те люди, у которых в какой-то момент жизни не хватило ума. Настоящие умники предусмотрят, извернутся, но всегда уцелеют на воле. Зачем же существование наше, данное нам лишь покуда мы дышим — проводить за решеткой ? Нет ! Яконов не для видимости только, но и внутренне отрекся от мира зэков. Четырех просторных комнат с балконом и семи тысяч в месяц он не получил бы из других рук или получил бы не сразу. Ему причинили зло, с ним поступали взбалмошно, часто бездарно, всегда жестоко — но в жестокости и была ведь сила, ее вернейшее проявление !

Шикин тем временем протягивал ему список зэков, обреченных на завтрашний этап. Согласованных ранее кандидатур было шестнадцать, и теперь Шикин с одобрением дописал туда еще двоих из настольного блокнота Яконова. Договоренность же с тюремным управлением была на двадцать. Недостающих

двух надо было срочно « подработать » и не позже пяти часов вечера сообщить подполковнику Климентьеву.

Однако, кандидатуры сразу на ум не шли. Как-то так всегда получалось, что лучшие специалисты и работники были ненадежны по оперативной линии, а любимчики оперуполномоченного — шалопаи и бездельники. Из-за этого трудно было согласовывать списки на этапы.

Яконов развел пальцами.

— Оставьте список мне. Я еще подумаю. И вы подумайте. Созвонимся.

Шикин неторопливо поднялся и (надо бы сдержаться, да не сдержался) человеку недостойному пожаловался на действия министра: в 21-ю комнату пускали заключенного Рубина, пускали Ройтмана, — а его, Шикина, да и полковника Яконова на их собственном объекте не пускают, каково ?

Яконов поднял брови и совершенно опустил веки, так что лицо его сделалось на мгновение слепым. Он как бы говорил немо:

« Да, майор, да, друг мой, мне больно, мне очень больно, но поднимать глаза на солнце я не могу ».

А на самом деле отношение к двадцать первой комнате у Яконова было такое, что дело хлипкое, Ройтман мальчик горячий, может и шею свернет.

Шикин ушел, Яконов же вспомнил самое приятное из дел, которое его сегодня ждало — вчера он не успел. А между тем, если резко двинуть вперед абсолютный шифратор — это спасет его перед Абакумовым через месяц.

И, позвонив в конструкторское бюро, он велел прийти Сологдину с его новым проектом.

Через две минуты, постучав, вошел с пустыми руками Сологдин — стройный, с курчавой бородкой, в засаленном комбинезоне.

Яконов и Сологдин почти не разговаривали раньше: вызывать Сологдина в этот кабинет надобности не было, в конструкторском же бюро и при встречах в коридоре инженер-полковник не замечал личности, столь незначительной. Но сейчас (скосясь на список имен-отчеств под стеклом) со всем радушием хлебосольного барина Яконов одобрительно посмотрел на вошедшего и широко пригласил:

— Садитесь, Дмитрий Александрович, очень рад вас видеть.

Держа руки прикованными к телу, Сологдин подошел ближе, молча поклонился и остался стоять неподвижно-прямой.

— Так вы, значит, тайком приготовили нам сюрприз ? — рокотал Яконов. — На днях, да чуть ли не в субботу, я у Владимира Эрастовича видел ваш чертеж главного узла абсолютного шифратора. (Что же вы не садитесь ? . .). Просмотрел его бегло, горю желанием поговорить подробнее.

Не опуская глаз перед полным симпатии взглядом Яконова, стоя вполоборота, недвижно, как на дуэли, когда ждут выстрела в себя, Сологдин ответил раздельно.

— Вы ошибаетесь, Антон Николаевич. Я, действительно, сколько умел, работал над шифратором. Но то, что мне удалось и что вы видели, есть создание уродливо несовершенное, вмеру моих весьма посредственных способностей.

Яконов откинулся в кресле и доброжелательно запротестовал:

— Ну-у, нет, батенька, уж пожалуйста без ложной скромности ! Я хоть смотрел вашу разработку мельком, но составил о ней весьма уважительное представление. А Владимир Эрастович, который обоим нам с вами высший судья, высказался с определенной похвалой. Сейчас я велю никого не принимать, несите ваш лист, ваши соображения — будем думать. Хотите, позовем Владимира Эрастовича ?

Яконов не был тупым начальником, которого интересуют только результат и выход продукции. Он был — инженер, когда-то даже азартный, и сейчас предощущал то тонкое удовольствие, которое нам может доставить долговыношенная человеческая мысль. То единственное удовольствие, которое еще оставляла ему работа. Он смотрел просительно, лакомо улыбался.

Инженером был и Сологдин, уже лет четырнадцать. А арестантом — двенадцать.

Сухостью обметало его горло, и очень трудно было выговаривать слова:

— И тем не менее, Антон Николаевич, вы совершенно ошиблись. Это был набросок, недостойный вашего внимания.

Яконов нахмурился и, уже немного сердясь, сказал:

— Ну, хорошо, посмотрим, посмотрим, несите лист.

А на погонах его, золотых с голубой окаемкой, было три звезды. Три больших крупных звезды, расположенных треугольником. У старшего лейтенанта Камышана, опреуполномоченного Горной Закрытки, в месяцы, когда он избивал Сологдина, тоже появились вместо кубиков такие — золотые, с голубой окаемкой и треугольником три звезды, только мельче.

— Наброска этого больше нет, — дрогнул голос Сологди-

на. — Найдя в нем глубокие, непоправимые ошибки, я его... сжег.

Полковник побледнел. В зловещей тишине послышалось его затрудненное дыхание. Сологдин старался дышать беззвучно.

— То есть... Как ?... Своими руками ?

— Нет, зачем же. Отдал на сожжение. Законным порядком. — Он говорил глухо неясно. Ни следа не было его обычной звонкой уверенности.

— Так может он еще цел ? — с живой надеждой подвинулся Яконов.

— Сожжен. Я наблюдал в окно, — ответил, как отвесил, Сологдин.

Одной рукой вцепившись в поручень кресла, другой ухватясь за мраморное пресс-папье, словно собираясь размозжить им голову Сологдина, полковник трудно поднял свое большое тело и переклонился над столом вперед.

Чуть-чуть запрокинув голову назад, Сологдин стоял синей статуей.

Между двумя инженерами не нужно было больше ни вопросов, ни разъяснений. Меж их сцепленными взглядами метались разряды безумной частоты и невмещаемого напряжения.

— « Я уничтожу тебя ! » — налились глаза полковника.

« Хомутай третий срок, сволочь ! » — кричали глаза арестанта.

Должно было что-то с грохотом разорваться.

Но Яконов, взявшись рукою за лоб и глаза, будто их резало светом, отвернулся и отошел к окну.

Крепко держась за спинку ближнего стула, Сологдин измученно опустил глаза.

« Месяц. Один месяц ! Неужели я погиб ? » — до мелкой черточки прояснилось полковнику.

« Третий срок. Я бы его не пережил » — обмирал Сологдин.

И снова Яконов обернулся на Сологдина.

« Инженер-инженер ! Как ты мог ? ! » — пытал его взгляд.

Но и глаза Сологдина слепили блеском:

« Арестант-арестант ! Ты все забыл ! »

Взглядом ненавидящим и зачарованным, взглядом, видящим себя самого, каким не стал, они смотрели друг на друга и не могли расцепиться.

Теперь Яконов мог начать кричать, стучать, звонить, сажать — у Сологдина было заготовлено и на это.

Но Яконов вынул чистый мягкий белый платок и вытер им глаза. И ясно посмотрел на Сологдина.

Сологдин старался выстоять ровно еще эти минуты.

Одной рукою инженер-полковник оперся о подоконник, а другой тихо поманил к себе заключенного.

В три твердых шага Сологдин подошел к нему близко.

Немного горбясь по-старчески, Яконов спросил:

— Сологдин. Вы — москвич ?

— Да. — Сологдин не опускал взгляда.

— Вон, посмотрите, — сказал ему Яконов. — Вы видите на шоссе автобусную остановку ?

Ее хорошо было видно из этого окна.

Сологдин смотрел туда.

— Отсюда полчаса езды до центра Москвы, — тихо рассказывал Яконов.

Сологдин обернулся на него опять.

И вдруг Яконов две руки, как падая, положил на плечи Сологдина.

— Сологди-ин ! — нараспев и с мучением сказал он. — На этот автобус вы могли бы сами садиться в июне — в июле этого года. А вы не захотели. Я допускаю, что в августе вы получили бы уже первый отпуск — и поехали бы к Черному морю. Купаться, купаться ! Сколько лет вы не входили в воду, Сологдин ? Ведь заключенных не пускают никогда !

— Почему ? На лесоповале, — возразил Сологдин.

— Хорошенькое купанье ! — Яконов все еще держал руки на плечах Сологдина или держался за него. — Но вы попадете на такой север, Сологдин, где реки никогда не вскрываются... Слушайте, я не могу поверить чтобы жил на свете человек, не желающий блага самому себе. Объясните мне: зачем вы сожгли чертеж ? ?

Была все так же невзмучаема, неподкупна, непорочна голубизна глаз Дмитрия Сологдина. А в черном зрачке его Яконов видел свою дородную голову.

Голубой кружочек, черная дырочка посередине — а за ними целый неожидаемый мир одного единственного человека.

— А как вы думаете ? — вопросом ответил Сологдин. Его сочные губы между усами и бородкой чуть-чуть изогнулись как будто даже в насмешке.

— Не понимаю, — Яконов снял руки и пошел прочь. — Самоубийц — не понимаю.

И услышал из-за спины звонкое, уверенное:

— Гражданин полковник ! Я слишком ничтожен, никому неизвестен. Я не хотел отдать свою свободу ни за так.

Уже у своего места Яконов резко повернулся.

— ... Если бы я не сжег чертежа, а положил его перед вами готовым — наш подполковник, вы, Фома Гурьянович, кто угодно, могли бы завтра же меня толкнуть на этап, а под чертежом поставить любое имя. Такие примеры были. А с пересылок, я вам скажу, очень неудобно жаловаться: карандаши отнимают, бумаги не дают, заявления доходят не туда... Арестант, отосланый на этап, не может оказаться прав ни в чем.

Яконов дослушивал Сологдина почти с восхищением. (Этот человек сразу понравился ему, как он вошел).

— Так вы... беретесь восстановить чертеж ? ! — Это не инженер-полковник спросил, а отчаявшийся, измученный безвластный человек.

— То, что было на моем листе — в три дня ! — сверкнул глазами Сологдин. — А за пять недель я сделаю вам полный эскизный проект с расчетами в объеме технического. Вас устроит ?

— Месяц ! Месяц ! ! Нам месяц и нужен ! ! — не ногами по полу, а руками по столу двигался Яконов навстречу этому чертову инженеру.

— Хорошо, получите в месяц, — холодно подтвердил Сологдин.

Но тут Яконова отбросило в подозрение.

— Погодите, — остановил он. — Вы только что сказали, что это был недостойный набросок, что вы нашли в нем глубокие, непоправимые ошибки...

— О-о ! — открыто засмеялся Сологдин. — Со мной иногда играет шутки нехватка фосфора, кислорода и жизненных впечатлений, находит какая-то полоса мрака. А сейчас я присоединяюсь к профессору Челнову: там все верно !

Яконов тоже улыбнулся, от облегчения почему-то зевнул и сел в кресло. Он любовался, как Сологдин владеет собой, как он провел этот разговор.

— Рискованно же вы сыграли, сударь. Ведь это могло кончиться иначе.

Сологдин слегка развел пальцами.

— Вряд ли, Антон Николаевич. Я, кажется, ясно оценил положение института и... ваше. Вы, конечно, владеете французским ? Sa Majesté le Cas ! Его величество Случай ! Он очень редко мелькает нам в жизни — и надо прыгнуть на него вовремя, и точно на середину спины !

Сологдин так просто говорил и держался, будто это было с Нержиным на дровах.

Теперь он тоже сел, продолжая смотреть на Яконова весело.

— Так что будем делать ? — дружелюбно спросил инженер-полковник.

Сологдин отвечал, как по печатному, как о решенном давно:

— Фому Гурьяновича я бы хотел на первом же шаге миновать. Это как раз та личность, которая любит быть соавтором. С вашей стороны я не предполагаю такого приемчика. Я ведь не ошибаюсь ?

Яконов радостно покачал головой. О, как он был облегчен и без этого !

— К тому ж напомню, что и лист пока сожжен. Теперь, если вы дорожите моим проектом — найдите способ доложить обо мне прямо министру. В крайнем случае — замминистру. И пусть приказ о моем назначении ведущим инструктором подпишет именно он. Это будет для меня гарантия — и я принимаюсь за работу. Подпись министра нужна мне тем более, что я в своей группе собираюсь установить порядок не совсем обычный. Я не одобряю эти ночные работы, воскресные штурмы и превращение научных сотрудников в умственных доходяг. Люди должны рваться на работу, как . . . на любовное свидание. — Сологдин говорил все веселей, все развязней, будто с Яконовым они были знакомы с детства. — А для этого — пусть отоспятся, пусть погуляют. Кто захочет — пусть дрова попилит для кухни. Надо же и о кухне подумать, согласитесь ? . . .

Вдруг распахнулась дверь кабинета. Без стука вошел лысый худой Степанов с мертво-поблескивающими стеклами очков.

— Так, Антон Николаевич, — сказал он строго. — Есть важный разговор.

Степанов обращался к человеку по имени-отчеству ! Это было невероятно.

— Значит, я жду приказа ? — встал Сологдин.

Инженер-полковник кивнул. Сологдин вышел легко и твердо.

Яконов даже не сразу вник, о чем это так оживленно говорил парторг.

— Товарищ Яконов ! Только что у меня были товарищи из Политуправления и очень-таки намылили голову. Я допустил большие и серьезные ошибки. Я допустил, что в нашей парторганизации гнездилась группа, будем говорить — безродных космополитов. А я проявил политическую близорукость, я не

поддержал вас, когда они пытались вас затравить. Но мы должны быть бесстрашными в признании своих ошибок ! Вот мы сейчас с вами вдвоем подработаем резолюцию, потом соберем открытое партсобрание — и крепко ударим по низкопоклонству.

Дела Яконова, столь безнадежные еще вчера, круто поправлялись.

74

СТО СОРОК СЕМЬ РУБЛЕЙ

Перед обеденным перерывом в коридоре спецтюрьмы дежурный Жвакун вывесил список лиц, вызываемых в перерыв к майору Мышину. Официально считалось, что по такому списку зэки вызывались за получением писем и извещений о переводах на лицевой счет.

Процедура выдачи зэку письма была в спецтюрьмах обставлена таинственно. Ее нельзя было так пошло, как на воле, поручить бродяге — почтальону. За глухой дверью, с глазу на глаз, к у м, сам прочетший это письмо и убедившийся, что в нем нет греховных смутных мыслей, — передавал его арестанту, сопровождая поучениями. Письмо выдавалось откровенно распечатанным, в нем была убита последняя интимность мысли, летящей от родного к родному. Письмо, прошедшее многие руки, расхватанное на цитаты в досье, получившее внутри себя черную размазанную печать цензуры, — теряло ничтожный личный смысл и приобретало важное значение государственного документа. (На иных шарашках это понимали настолько хорошо, что вообще не отдавали письма арестанту, а разрешали ему лишь прочесть его, редко дважды, в кабинете у кума и отбирали в конце письма расписку о прочтении; если же, читая письмо жены или матери, зэк пытался сделать выписки для памяти, — это вызывало подозрение, как если б он покушался скопировать документы Генерального штаба. На присылаемых из дому фотографиях тамошний зэк тоже расписывался, что их смотрел, — и их подшивали в его тюремное дело).

Итак, список был вывешен — и становились в очередь за письмами. Еще становились в очередь те, кто хотел не получить, а отправить свое письмо за декабрь — его тоже полагалось сдать лично в руки куму. Под видом всех этих операций майор Мышин имел возможность беспрепятственно беседовать со стукачами и вызывать их вне графика. Но дабы не было явно, с кем он беседует дольше, тюремный кум иногда задерживал в кабинете и честных зэков, сбивая остальных с толку.

Так в очереди подозревали друг друга, а иногда и знали точно, кто з а к л а д ы в а е т их жизни, но заискивающе улыбались им, чтобы не рассердить.

По обеденному звонку взбежав из подвала во двор, зэки пересекали его, неодетые и без шапок, при сыром нехолодном ветре, и шмыгали в дверь тюремного штаба. Из-за того, что утром был объявлен новый порядок переписки, очередь собралась особенно большая — человек сорок, и в коридоре не помещалась. Помощник дежурного, ш е б у т н о й старшина, ретиво распоряжался во всю силу своего пышущего здоровья. Он отсчитал двадцать пять человек, остальным велел гулять и прийти в ужинный перерыв, запущенных же в коридор разместил вдоль стенки поодаль от кабинетов начальства и сам все время ходил по проходу, наблюдая за порядком. Очередной зэк миновал несколько дверей, стучался в кабинет майора Мышина и, получив разрешение, вступал. По его возврату пускался другой. Весь обеденный перерыв шебутной старшина руководил движением.

Как ни домогался Спиридон с утра получить письмо, Мышин твердо сказал ему, что будет выдавать в перерыв, когда и всем. Но за полчаса до обеда Спиридона вызвал к себе на допрос майор Шикин. Спиридону бы дать требуемые показания, признаться во всем — и он, глядишь, успел бы получить письмо. Но он запирался, упорствовал — и майор Шикин не мог отпустить его в таком нераскаянном виде. Поэтому, жертвуя своим перерывом (в столовую вольных он ходил все равно не в перерыв, чтоб не толкаться), Шикин продолжал допрашивать Спиридона.

А первым в очереди за письмами оказался Дырсин, заморенный инженер из Семерки, один из основных ее работников. Больше трех месяцев он не получал писем. Тщетно он осведомлялся у Мышина, ответы были: « нет », « не пишут ». Тщетно он просил Мамурина, чтобы слали розыск — розыска не слали. И вот сегодня он увидел свою фамилию в списке и, перемогая боль в груди, успел прибежать первый. Осталась у него из семьи одна жена, изведенная десятилетним ожиданием, как и он.

Старшина махнул Дырсину идти — и первым в очереди стал озорносияющий Руська Доронин с волнисто-дрожащим взбитком светлых волос. Увидев рядом в очереди латыша Хуго, одного из своих доверенных, он тряхнул волосами и шепнул, подмигивая:

— Иду деньги получать. Заработанные.

— Пройдите ! — скомандовал старшина.

Доронин рванул вперед навстречу поникло возвращавшемуся Дырсину.

— Ну, что ? — уже во дворе спросил у Дырсина его друг по работе Амантай Булатов.

Всегда небритое, всегда унылое лицо Дырсина еще вытянулось.

— Не знаю. Говорит — письмо есть, но зайдите после перерыва, будем разговаривать.

— ...я́ д и они ! —уверенно заключил Булатов, и через роговые очки его вспыхнуло. — Я тебе давно говорю — зажимают письма. Откажись работать !

— Второй срок припаяют, — вздохнул Дырсин. Всегда он был пригорблен и голову втягивал в плечи, как будто стукнули его хорошо один раз сзади чем-то большим.

Вздохнул и Булатов. Он потому был такой воинственный, что ему еще было с и д е т ь и с и д е т ь. Но решительность зэка тем более падает, чем меньше ему остается до освобождения. Дырсин же р а з м е н я л последний год.

Небо было равномерно-серое, без сгущений и без просветов. Не было в нем ни высоты, ни куполообразности — грязная брезентовая крыша, натянутая над землей. Под резким влажным ветром снег оседал, ноздревател, исподволь рыжела его утренняя белизна. Под ногами гуляющих он сбивался в буроватые скользкие бугорки.

А прогулка шла, как обычно. Нельзя придумать такой мерзкой погоды, чтобы вянущие без воздуха арестанты шарашки отказались от прогулки. Засидевшимся в комнатах, им были даже приятны эти резкие порывы сырого ветра — они выдували из человека застойный воздух и застойные мысли.

Среди гуляющих метался гравер-оформитель. То одного, то другого зэка он брал под руку, совершал с ним пару кругов и просил совета. Его положение было особенно ужасно, как считал он: ведь, находясь в заключении, он не мог вступить в брак со своей первой женой, и она теперь рассматривалась как незаконная; он не имел права дольше ей писать; и даже написать о том, что не будет писать — не мог, исчерпавши декабрьский месячный лимит. Ему сочувствовали. Его положение, в самом деле, было нелепо. Но у каждого своя боль пересиливала чужие.

Склонный к ощущениям крайним, Кондрашев, высокий, прямой, как со вставленной жердью, медленно шел, глядя остановившимися глазами поверх голов гуляющих и в мрачном упоении говорил профессору Челнову, что когда так попрано человеческое достоинство, жить дальше — значит

унижать себя. У каждого мужественного человека есть простой выход из этой цепи издевательств.

Профессор Челнов в неизменной вязанной шапочке и пледе, обернутом вокруг плеч, со сдержанностью цитировал художнику « Тюремные утешения » Боэция.

У дверей штаба сбилась группа добровольных охотников на стукачей — Булатов, чей голос разносился на весь двор; Хоробров; беззлобный вакуумщик Земеля; старший вакуумщик Двоетёсов, принципиально в лагерном рваном бушлате; юркий, во все сующийся, Прянчиков; от немцев Макс; и один из латышей.

— Страна должна знать своих стукачей ! — повторял Булатов, поддерживая их в намерении не расходиться.

— Да мы их в основном и так знаем, — отвечал Хоробров, став на порог и пробегая глазами вереницу очереди. О некоторых он мог с вероятностью сказать, что они стоят за получением своей иудиной платы. Но подозревали, конечно, наименее ловких.

Руська вернулся к компании веселый, едва удерживаясь, чтобы над головой не помахивать денежным переводом. Соткнувшись головами, они все быстро осмотрели перевод: он был от мифической Клавдии Кудрявцевой Ростиславу Доронину на 147 рублей.

Идя с обеда и становясь в хвост очереди, эту группу оглядел своим омутненным взглядом обер-стукача, король стукачей, Артур Сиромаха. Он оглядел группу по привычке замечать все, но еще не придал ей значения.

Руська забрал свой перевод и по уговору отошел от группы.

Третьим к куму зашел инженер-энергетик, сорокалетний мужчина, вчера вечером в запертом ковчеге донимавший Рубина новыми проектами социализма, а потом как ребенок устроивший потасовку подушками на верхних койках.

Четвертым быстрой легкой походкой прошел Виктор Любимичев — парень « свой в доску ». В улыбке он обнажал крупные ровные зубы и молодых ли, старых ли арестантов — всех подкупающе звал « братцы ». Через это простое обращение сквозила его чистая душа.

Энергетик вышел на порог с раскрытым письмом. Углубленный в него, он не сразу нащупал ногой ребро ступеньки. Так же не видя, сошел с нее в сторону — и никто из группы « охотников » не потревожил его. Неодетый, без шапки, под ветром, трепавшем его волосы, еще молодые вопреки всему пережитому, он читал после восьми лет разлуки первое пись-

мо от дочери Ариадны, которую, уходя в 41-м году на фронт (а оттуда — в плен, а из плена — в тюрьму), оставил светленькой шестилетней девчушкой, цеплявшейся за его шею. И когда в бараке военнопленных ходили с хрустом по слою тифозных вшей, и когда по четыре часа он стоял в очереди за черпаком мутно-вонючей баланды, — дорогой светленький клубочек все тянул его ниточкой Ариадны — как-нибудь пережить и вернуться. Но вернувшись на родину, сразу в тюрьму, он так и не увидел дочери: они с матерью остались в Челябинске, где были в эвакуации. И мать Ариадны, видимо уже с кем-то сойдясь, долго не хотела открывать дочери существование отца.

Наклонным, старательно-ученическим почерком без помарок дочь теперь писала:

« Здравствуй, дорогой папа !

Я не отвечала потому, что не знала, с чего начать и что писать. Это простительно мне, так как я тебя очень давно не видела и привыкла к тому, что отец мой погиб. Мне даже странно, что у меня и вдруг папа.

Ты спрашиваешь, как я живу. Живу как все. Можешь поздравить — поступила в комсомол. Ты просишь написать тебе, в чем я нуждаюсь. Хочется мне, конечно, очень много. Сейчас коплю деньги на боты и на пошивку демисезонного пальто. Папа ! Ты просишь, чтоб я к тебе приехала на свидание. Но разве это такая срочность ? Ехать, где-то так далеко тебя разыскивать — согласись сам, не очень приятно. Когда сможешь — приедешь сам. Желаю тебе успехов в работе. Пока до свидания.

Целую. Ариадна.

Папа, ты видел картину « Первая перчатка » ? Вот замечательная ! Я не пропускаю ни одной картины ».

— Любимичева будем проверять ? — спросил Хоробров в ожидании его выхода.

— Что ты, Терентьич ! Любимичев — парень наш ! — ответили ему.

Но Хоробров глубоким чутьем что-то чувствовал в этом человеке. И вот сейчас он как раз задерживался у кума.

У Виктора Любимичева были открытые оленьи глаза. Природа наградила его гибким телом спортсмена, солдата и любовника. Жизнь вырвала его сразу с беговых дорожек юношеского стадиона в концлагерь, в Баварию. В этом тесном пространстве смерти, куда загнали русских солдат враги, а Сталин не допустил Красного Креста, — в этом маленьком плотном пространстве ужаса выживали только те, кто наибо-

лее отрешился от ограниченных относительных понятий добра и совести; те, кто мог продавать своих, став переводчиком; те, кто мог палкой по лицу бить соотечественников, став лагерным надзирателем; те, кто мог есть хлеб голодающих, став хлеборезом или поваром. И еще было две возможности выжить — могильщиком и золотарем. За рытье могил и за чистку уборных нацисты положили лишний черпак баланды. Но с уборными справлялись двое. На могилы же выходило каждый день полсотни. Каждый день десяток дрог вывозили мертвых на свалку. К лету сорок второго года подходила очередь и самих могильщиков. Со всей жаждой еще неживше-го тела Виктор Любимичев хотел жить. Он решил, что если умрет, то последним, и уже договаривался в надзиратели. Но выпала счастливая возможность — приехал в лагерь какой-то гнусавый тип и, хотя в Красной армии он был политруком, — теперь стал уговаривать идти воевать против советской власти. Записывались. Среди них — и комсомольцы... За воротами лагеря стояла немецкая военная кухня, и волонтеров тут же кормили кашей « от пуза ». После этого в составе власовского легиона Любимичев воевал во Франции: ловил по Вогезам партизан « движения сопротивления », потом отбивался на Атлантическом валу от союзников. В сорок пятом году, во времена великого лова, он как-то просеялся сквозь решето, приехал домой, женился на девушке с такими же ясными глазами, таким же юным гибким телом и, оставив ее на первом месяце, был арестован за прошлое. Тюрьмы как раз в это время проходили русские участники того самого « движения сопротивления », за которым он гонялся по Вогезам. В Бутырках резались в домино, вспоминали проведенные во Франции дни и битвы, где вместе рубились они, и ждали передач от домашних. Потом всем дали поровну — по десять лет. Так всей своей жизнью Любимичев был воспитан и приучен, что ни у кого, очевидно, никаких « убеждений » никогда не было и быть не может — и у тех, кто их судит — тоже.

Ничего не подозревая, с простодушными глазами, держа в руке листик, сильно похожий на почтовый денежный перевод, Виктор не только не пытался миновать группу « охотников », но сам подошел к ней и спросил:

— Братцы ! Кто обедал ? Что там на второе ? Стоит идти ?

Кивая на бланк перевода в опущенной руке Виктора, Хоробров спросил:

— Что, много денег получил ? Уж в обеде не нуждаешься ?

— Да где много ! — отмахнулся Любимичев и хотел спрятать бланк в карман. Он потому не удосужился его спрятать

раньше, что все боялись его силы и никто бы не посмел спрашивать отчета. Но пока он разговаривал с Хоробровым, Булатов словно в шутку наклонился и, искособочившись, прочел:

— Фу-у ! Тысяча четыреста семьдесят рублей ! Наплевать тебе теперь на Антонов харч !

Сделай это любой другой зэк, Виктор шутливо д в и н у л бы его в л о б и бланка не показал. Но с Амантаем не следовало так, потому что Амантай обещал и уже хлопотал устроить Виктора в Семерку. Это был бы полный поворот судьбы и шансы на свободу. И Любимичев оправдался:

— Да где тысяча, смотри !

И все увидели: 147 р. 00 к.

— Во, чудно ! Не могли полтораста прислать ! — невозмутимо заметил Амантай. — Тогда иди, на второе шницель.

Но Любимичев не успел тронуться, и не успел замолкнуть голос Булатова, — как затрясся Хоробров. Хоробров потерял свою роль. Он забыл, что надо сдерживаться, улыбаться и ловить дальше. Он забыл, что главное — это стукачей у з н а т ь , уничтожить же их невозможно. Сам настрадавшийся от стукачей, видевший гибель многих — и все от стукачей, он ненавидел этих скрывчивых предателей, как никого больше. По возрасту — сын Хороброву, юноша, годный для лепки статуй, — оказался такая добровольная гадина !

— С-сволочь ты ! — проговорил Хоробров дрожащими губами. На нашей крови досрочки ищешь ? Чего тебе не хватало ?

Боец, всегда готовый к бою, Любимичев передернулся и отвел руку для короткого боксерского удара.

— Ух ты, падаль вятская ! — предупредил он.

— Что ты, Терентьич ! — еще раньше кинулся Булатов отвести Хороброва.

Громадный неуклюжий Двоетесов в рваном бушлате перехватил своей левой отведенную правую руку Любимичева и впился в нее.

— Мальчик, мальчик ! — сказал он с пренебрежительной усмешкой, с той почти ласковой тихостью, которая дается напряжением всего тела.

Любимичев круто обернулся к Двоетесову, и его открытые оленьи глаза почти сошлись с близорукими выкаченными глазами Двоетесова.

И Любимичев не отвел второй руки для удара. В этих совиных глазах и в перехвате его руки мужицкою рукой понял, что один из двоих сейчас не опрокинется, а упадет мертвым.

— Мальчик, мальчик, — залаженно повторял Двоетесов, — На второе шницель. Пойди покушай шницель.

Любимичев вырвался и, гордо запрокинув голову, пошел к трапу. Его атласные крупные щеки пылали. Он искал, как рассчитаться с Хоробровым. Он сам еще не знал, что обвинение пронзило его. Хоть он с любым готов был спорить, что понимает жизнь, а оказывалось — еще не понимает.

И как могли догадаться ? Откуда ?

Булатов проводил его взглядом и взялся за голову:

— Мать моя родная ! Кому ж теперь верить ?

Вся эта сцена прошла на мелких движениях, во дворе ее не заметили ни гуляющие зэки, ни два неподвижных надзирателя по краям прогулочной площадки. Только Сиромаха, смежив устало-неподвижные глаза, из очереди все видел сквозь дверь и, припомнив Руську — понял до конца !

Он заметался.

— Ребята ! — обратился он к передним, — у меня схема под током осталась. Вы меня без очереди не пропустите ? Я быстро.

— У всех схема под током !

— У всех ребенок ! — ответили ему и рассмеялись.

Не пустили.

— Пойду выключу ! — озабоченно объявил Сиромаха и обегая стороной охотников, скрылся в главном здании. Не переводя дыхания, он взлетел на третий этаж. Но кабинет майора Шикина был заперт изнутри, и скважина закрыта ключом. Это мог быть допрос. Могло быть и свидание с долговязой секретаршей. Сиромаха в бессилии отступил.

С каждой минутой проваливались кадры и кадры — и ничего нельзя было сделать !

Следовало идти стать снова в очередь, но инстинкт гонимого зверя сильней желания выслужиться: было страшно идти опять мимо этой распаленно-злой кучки. Они могли зацепить Сиромаху и без всякого повода. Его слишком знали на шарашке.

Тем временем во дворе вышедший от Мышина доктор химических наук Оробинцев, маленький, в очках, в богатой шубе и шапке, в которых ходил на воле (он не побывал даже на пересылках, и его не успели еще р а с к у р о ч и т ь), собрал вокруг себя таких же простаков, как сам, в том числе лысого конструктора, и давал им интервью. Известно, что человек верит главным образом тому, чему он хочет верить. Те, кто хотели верить, что подаваемый список родственников не является доносом, а разумной регулирующей мерой, и собра-

лись теперь вокруг Оробинцева. Оробинцев уже отнес аккуратно расчерченный на графы список, сдал его, сам говорил с майором Мышиным и авторитетно повторял его разъяснения: куда писать несовершеннолетних детей, и как быть, если отец неродной. В одном только майор Мышин оскорбил воспитанность Оробинцева. Оробинцев пожаловался, что не помнит точно места рождения жены. Мышин раззявил пасть и засмеялся: « Что вы ее — из бардака взяли ? »

Теперь доверчивые кролики слушали Оробинцева, не приставая к другой компании — в заветрии у стволов трех лип, вокруг Адамсона.

Адамсон, после сытного обеда лениво покуривая, рассказывал слушателям, что все эти запреты переписки не новы, и бывали даже хуже, что и этот запрет не навечно, а до смены какого-нибудь министра или генерала, поэтому духом падать не следует, по возможности от подачи списка пока воздержаться, а там и минует. Глаза Адамсона имели от рождения узкий долгий разрез и, когда он снимал очки, усиливалось впечатление, что он скучающе смотрит на мир заключенных: все повторялось, ничем новым не мог его поразить архипелаг ГУЛАГ. Адамсон столько уже сидел, что как будто разучился чувствовать, и то, что для других было трагедия, он воспринимал не более, как мелкую бытовую новость.

Между тем охотники, увеличившиеся в числе, поймали еще одного стукача — с шутками вытащили бланк на 147 рублей из кармана Исаака Кагана. До того, как у него вытащили перевод, на вопрос, что он получил у кума, он ответил, что не получил ничего, сам удивляется, по какой ошибке его вызывали. Когда же перевод вытащили силой и стали срамить, — Каган не только не покраснел, не только не торопился уйти, но всех своих разоблачителей по очереди цепляя за одежду, клялся неотвязчиво, назойливо, что это чистое недоразумение, что он покажет им всем письмо от жены, где она писала, как на почте у нее не хватило трех рублей, и пришлось послать 147 р. Он даже тянул их идти с ним сейчас в Аккумуляторную — и он там достанет это письмо и покажет. И еще, тряся своей кудлатой головой и не замечая сползшего с шеи, почти волочащегося по земле кашне, он очень правдоподобно объяснял, почему он скрыл вначале, что получил перевод. У Кагана было особое прирожденное свойство вязкости. Начав с ним говорить, никак нельзя было от него отцепиться, иначе как полностью признав его правоту и уступив ему последнее слово. Хоробров, его сосед по койке, знающий историю его

посадки за недоносительство, и уже не имея сил на него, как следует, рассердиться, только сказал:

— Ах, Исак, Исак, сволочь ты, сволочь ! — на воле за тысячи не пошел, а здесь на сотни польстился !

Или уж так напугали его лагерем ? . . .

Но Исаак, не смущаясь, продолжал оправдываться и убедил бы их всех — если б не поймали еще одного стукача, на этот раз латыша. Внимание отвлеклось, и Каган ушел.

Кликнули на обед вторую смену, а первая выходила на прогулку. По трапу поднялся Нержин в шинели. Он сразу увидел Руську Доронина, стоящего на черте прогулочного двора. Торжествующим блестящим взором Руська то посматривал на им подстроенную охоту, то окидывал дорожку на двор вольных и просвет на шоссе, где должна была вскоре сойти с автобуса Клара, приехав на вечернее дежурство.

— Ну ? ! — усмехнулся он Нержину и кивнул в сторону охоты. — А про Любимичева слышал ?

Нержин остановился близ него и слегка приобнял.

— Качать тебя, качать ! Но — боюсь за тебя.

— Хо ! Я только разворачиваюсь, подожди, это цветики !

Нержин покрутил головой, усмехнулся, пошел дальше. Он встретил спешащего на обед сияющего Прянчикова, накричавшегося вдоволь своим тонким голосом вокруг стукачей.

— Ха-ха, парниша ! — приветствовал тот. — Вы все представление пропустили ! А где Лев ?

— У него срочная работа. На перерыв не вышел.

— Что ? Срочней Семерки ? Ха-ха ! Такой не бывает. Я — . . . вас ! Я — всех вас ! — И убежал.

В нахлобученной на маленькую голову замызганной кепочке, в коротеньком пальтишке с поднятым воротником, дальше во дворе встретил Нержина Герасимович. Они кивнули друг другу приветливо и печально. Герасимович ежился от ветра, держал руки в боковых карманах — и, шуплый, казался похожим на воробья.

На того из народной пословицы воробья, у которого сердце с кошку.

75

ВОСПИТАНИЕ ОПТИМИЗМА

По сравнению с работой майора Шикина, в работе майора Мышина была своя специфика, свои плюсы и минусы. Главный плюс был — чтение писем, их отправка или неотправка. А минусы были — что не от Мышина зависели этапирование, невыплата денег за работу, определение категории питания, сроки свиданий с родственниками и разные служебные придирки. Во многом завидуя конкурирующей организации — майору Шикину, который даже внутритюремные новости узнавал первый, майор Мышин налегал на подсматривание через прозрачную занавеску: что делалось на прогулочном дворе (Шикин, из-за неудачного расположения своего окна на третьем этаже, был лишен такой возможности). Наблюдения за заключенными в их обычной жизни тоже давали Мышину кое-какой материал. Из своей засады он дополнял сведения, получаемые от осведомителей — видел, кто с кем ходил, говорил ли оживленно или равнодушно. А затем, выдавая или беря письмо, любил внезапно огорошить:

— Кстати, о чем вы вчера в обеденный перерыв говорили с Петровым ?

И иногда получал таким образом от растерявшегося арестанта небесполезные сведения.

Сегодня в обеденный перерыв Мышин на несколько минут велел очередному зэку подождать и тоже поглядывал во двор. (Но охоты на стукачей он не увидел — она шла у другого конца здания).

В три часа дня, когда обеденный перерыв закончился, и неуспевших попасть на прием шебутный старшина рассеял, — велено было допустить Дырсина.

Иван Селиванович Дырсин был награжден от природы узкоскулым впалым лицом, неразборчивостью речи, и даже фамилией, будто данной в насмешку. В институт когда-то он был принят от станка, через вечерний рабфак, учился скромно, упорно. Способности были в нем, но не умел он их выставлять, и всю жизнь его затирали и обижали. В Семерке

сейчас его не эксплуатировал только тот, кто не хотел. Именно, потому что д е с я т к а его, немного смягченная зачетами, теперь кончалась, он особенно робел перед начальством. Он больше всего боялся получить второй срок, которых навиделся в военные годы немало.

Он и первый-то срок получил несуразно. В начале войны его посадили за « антисоветскую агитацию » — по доносу соседей, метивших на его квартиру (и потом получивших ее). Правда, выяснилось, что агитации такой он не вел, но м о г ее вести, так как слушал немецкое радио. Правда, немецкого радио он не слушал, но м о г его слушать, так как имел дома запрещенный радиоприемник. Правда, такого приемника он не имел, но вполне м о г его иметь, так как по специальности был инженер-радист, а по доносу у него нашли в коробочке две радиолампы.

Дырсину пришлось вдосыть хватить лагерей военных лет — и тех, где люди ели сырое зерно, украв его у лошади, и тех, где муку замешивали со снегом под дощечкой « Лагерный пункт », прибитой на первой таежной сосне. За восемь лет, что Лырсин пробыл в стране ГУЛАГ, умерли два их ребенка, стала костлявой старухой жена, — об эту пору вспомнили, что он — инженер, привезли сюда и стали выдавать ему сливочное масло, да еще сто рублей в месяц он посылал жене.

И вот от жены теперь необъяснимо не было писем. Она могла и умереть.

Майор Мышин сидел, сложив на столе руки. Был свободен от бумаг перед ним стол, закрыта чернильница, сухо перо, и не было никакого (как и никогда не бывало) выражения на его налитом искрасна лиловом лице. Лоб его такой налитой, что ни морщина старости, ни морщина размышления не могли пробиться в его коже. И щеки его были налитые. Лицо Мышина было как у обожженного глиняного идола с добавлением в глину розовой и фиолетовой красок. А глаза его были невыразительны, лишены жизни, пусты той особенной надменной пустотой.

Никогда такого не случалось ! Мышин предложил сесть (Дырсин уже стал перебирать, какую беду он мог нажить и о чем будет протокол). Затем майор помолчал (по инструкции) и, наконец, сказал:

— Вот вы все жалуетесь. Ходите и жалуетесь. Писем вам нет два месяца.

— Больше трех, гражданин начальник ! — робко напомнил Дырсин.

— Ну три, какая разница ? А подумали вы о том, что за человек ваша жена ?

Мышин говорил неторопливо, ясно выговаривая слова и делая приличные остановки между фразами.

— Что за человек ваша жена. А ?

— Я . . . не понимаю . . . — пролепетал Дырсин.

— Ну, чего не понимать ? Политическое лицо ее — какое ?

Дырсин побледнел. Не ко всему еще, оказывается, он притерпелся и приготовился. Что-то написала жена в письме, и теперь ее, накануне его освобождения . . .

И он про себя тайно помолился за жену. (Он научился молиться в лагере).

— Она — нытик, а нытики нам не нужны, — твердо разъяснял майор. — И какая-то странная у нее слепота: она не замечает хорошего в нашей жизни, а выпячивает одно плохое.

— Ради Бога ! Что с ней случилось ? ! — болтая головой, воскликнул Дырсин.

— С ней ? — еще с большими паузами говорил Мышин. — С ней ? — Ничего. (Дырсин выдохнул). — Пока.

Очень не торопясь, он вынул из ящика письмо и подал его Дырсину.

— Благодарю вас ! — задыхаясь, сказал Дырсин. — Можно идти ?

— Нет. Прочтите здесь. Потому что такого письма я вам дать в общежитие не могу. Что будут думать заключенные о в о л е по таким письмам ? Читайте.

И застыл лиловым истуканом, готовый на все тяготы своей службы.

Дырсин вынул лист из конверта. Ему незаметно было, но посторонний глаз письмо неприятно поражало, как бы заключая в себе образ написавшей его женщины: оно было на бумаге корявой, почти оберточной и ни одна строка с края до края листа не проходила ровно, но все строки прогибались и безвольно падали направо, вниз. Письмо было помечено 18-м сентября:

> « Дорогой Ваня ! Села писать, а сама спать хочу, не могу. Прихожу с работы и сразу на огород, копаем с Манюшкой картошку. Уродилась мелкая. В отпуск я никуда не ездила, не в чем было, вся оборвалась. Хотела денег скопить, да к тебе поехать — ничего не выходит. Ника тогда к тебе ездила, ей сказали — такого здесь нету, а мать и отец ее ругали — зачем поехала, теперь, мол, и

тебя на заметку взяли, будут следить. Вообще мы с ними в отношениях натянутых, а с Л.В. они совсем даже не разговаривают.

Живем мы плохо. Бабушка, ведь, третий год лежит, не встает, вся высохла, умирать не умирает и не выздоравливает, всех нас замучила. Тут от бабушки вонь ужасная, а тут постоянно идут ссоры, с Л.В. я не разговариваю, Манюшка совсем разошлась с мужем, здоровье ее плохое, дети ее не слушаются, как приходим с работы, то ужас, висят одни проклятья, куда убежать, когда это кончится ?

Ну, целую тебя крепко. Будь здоров ».

И даже не было подписи, или слова « твоя ».

Терпеливо дождавшись, пока Дырсин прочтет и перечтет это письмо, майор Мышин пошевелил белыми бровями и фиолетовыми губами и сказал:

— Я не отдал вам этого письма, когда оно пришло. Я понимал, что это минутное настроение, а вам надо работать бодро. Я ждал, что она пришлет хорошее письмо. Но вот какое она прислала в прошлом месяце.

Дырсин безмолвно вскинулся на майора — но даже упрека не выражало, а только боль, его нескладное лицо. Он принял и вздрагивающими пальцами развернул второй распечатанный конверт и достал письмо с такими же перешибленными, заблудившимися строчками, в этот раз на листе из тетради:

« 30 октября.

Дорогой Ваня ! Ты обижаешься, что я редко пишу, а я с работы прихожу поздно и почти каждый день иду за палками в лес, а там вечер, я так устаю, что прямо валюсь, ночь сплю плохо, не дает бабушка. Встаю рано, в пять утра, а к восьми должна быть на работе. Еще, слава Богу, осень теплая, а вот зима нагрянет ! Угля на складе не добьешься, только начальству или по блату. Недавно вязанка свалилась со спины, тащу ее прямо по земле за собой, уж нет сил поднять, и думаю: « Старушка, везущая хворосту воз ! » Я в паху нажила грыжу от тяжести. Ника приезжала на каникулы, она стала интересная, к нам даже не зашла. Я не могу без боли вспомнить про тебя. Мне не на кого надеяться. Пока силы есть, буду работать, а только боюсь, не слечь бы и мне, как бабушка. У бабушки совсем отнялись ноги, она распухла, не может ни лечь сама, ни встать. А в больницу таких тяжелых не берут, им невыгодно. Приходится мне и Л.В. ее каждый

раз поднимать, она под себя ходит, у нас вонь ужасная, это не жизнь, а каторга. Конечно, она не виновата, но нет сил больше терпеть. Несмотря на твои советы не ругаться, мы ругаемся каждый день, от Л.В. только и слышишь сволочь да стерва. А Манюшка на своих детей. Неужели б и наши такие выросли ? Знаешь, я часто рада, что их уже нет. Валерик в этом году поступил в школу, ему всего нужно много, а денег нет. Правда, с Павла алименты Манюшке платят, по суду. Ну, пока писать нечего. Будь здоров. Целую тебя.

Хоть на праздниках бы отоспалась — так на демонстацию переться . . . »

Над этим письмом Дырсин замер. Он приложил ладони к лицу, как будто умываться хотел и не умывался.

— Ну ? Вы прочли, или что ? Вроде, не читаете. Вот, вы человек взрослый. Грамотный. В тюрьме посидели, понимаете, что это за письмо. За такие письма во время войны срока́ давали. Демонстрация всем радость, а ей ? Уголь ! Уголь — не начальству, а всем гражданам, но в порядке очереди, конечно. В общем я и этого письма вам не знал — давать ли, нет — но пришло третье, опять такое же. Я подумал-подумал — надо это дело кончать. Вы сами должны это прекратить. Напишите ей такое, знаете, в оптимистическом тоне, бодрое, поддержите женщину. Разъясните, что не надо жаловаться, что все наладится. Вон там разбогатели, наследство получили. Читайте.

Письма шли по системе, хронологически. Третье было от 8 декабря.

« Дорогой Ваня ! Сообщаю тебе горестную новость: 26 ноября 1949 года в 12 часов пять минут дня умерла бабушка. Умерла, а у нас ни копейки, спасибо Миша дал 200 руб., все обошлось дешево, но, конечно, похороны бедные, ни попа, ни музыки, просто на телеге гроб отвезли на кладбище и свалили в яму. Теперь в доме стало немного тише, но пустота какая-то. Я сама болею, ночью пот страшный, даже подушка и простыня мокрые. Мне предсказывала цыганка, что я умру зимой, и я буду рада избавиться от такой жизни. У Л.В., наверно, туберкулез, она кашляет и даже горлом идет кровь, как придет с работы — так в ругань, злая как ведьма. Она и Манюшка меня изводят. Я какая-то несчастливая — вот еще зуба четыре испортилось, а два выпало, нужно бы вставить, но тоже денег нет, да и в очереди сидеть.

Твоя зарплата за три месяца триста рублей пришла очень во-время, уж мы замерзали, очередь на складе

подошла (была 4576-я) — а дают одну пыль, ну зачем ее брать ? К твоим триста Манюшка своих двести добавила, заплатили от себя шоферу, уж он привез крупного угля. А картошки до весны не хватит — с двух огородов, представь, и ничего не нарыли, дождей не было, неурожай.

С детьми постоянные скандалы. Валерий получает двойки и колы, после школы шляется, неизвестно где. Манюшку директор вызывал, что же, мол, вы за мать, что не можете справиться с детьми. А Женьке, тому шесть лет, а оба уже ругаются матом, одним словом шпана. Я все деньги отдаю на них, а Валерий недавно меня обругал сукой, и это приходится выслушивать от какой-то дряни мальчишки, что же вырастут ? Нам в мае месяце придется вводиться в наследство, говорят, это будет стоить две тысячи, а где их брать ? Елена с Мишей затевают суд, хотят отнять у Л.В. комнату. Бабушка при жизни, сколько раз ей говорили, не хотела распределить, кому что. Миша с Еленой тоже болеют.

А я тебе осенью писала, да по-моему даже два раза, неужели ты не получаешь ? Где ж они пропадают ?

Посылаю тебе марочку 40 коп. Ну, что там слышно, освободят тебя или нет ?

Очень красивая посуда продается в магазине, алюминиевая, кастрюльки, миски.

Крепко тебя целую. Будь здоров ».

Мокрое пятнышко расплылось по бумаге, распуская в себе чернила.

Опять нельзя было понять — Дырсин все еще читает или уже кончил.

— Так вот, — спросил Мышин, — вам ясно ?

Дырсин не шелохнулся.

— Напишите ответ. Бодрый ответ. Разрешаю — свыше четырех страниц. Вы как-то писали ей, чтоб она в Бога верила. Да уж лучше пусть в Бога, что ли . . . А то что ж это ? . . . Куда это ? . . Успокойте ее, что скоро вернетесь. Что будете зарплату большую получать.

— Но разве меня отпустят домой ? Не сошлют ?

— Это там как начальству нужно будет. А жену поддержать — ваша обязанность. Все-таки, ваш друг жизни. — Майор помолчал. — Или, может, вам теперь молоденькую хочется ? — сочувственно предложил он.

Он не сидел бы так спокойно, если бы знал, что в коридоре, изводясь от нетерпения к нему попасть, перетаптывается его любимый осведомитель Сиромаха.

76

КОРОЛЬ СТУКАЧЕЙ

В те редкие минуты, когда Артур Сиромаха не занят был борьбой за жизнь — не делал усилий нравиться начальству или работать, когда он расслаблял свою постоянную напруженность леопарда, — он оказывался вялый молодой человек со стройной впрочем фигурой, с лицом артиста, утомленного ангажементами, с неопределимыми серо-мутно-голубыми глазами, как бы увлажненными печалью.

Два человека в запальчивости уже обозвали Сиромаху в лицо стукачом — и обоих их этапировали вскоре. Больше ему не повторяли этого вслух. Его боялись. Ведь на очную ставку с доносчиком не вызывают. Может быть зэк обвинен в подготовке побега ? террора ? восстания ? — он этого не знает, ему велят собирать вещи. Ссылают ли его просто в лагерь ? или везут в следственную тюрьму ?

Такова человеческая природа, и ее хорошо использовали во все времена: пока человек еще мог бы разоблачить измену или смертью своей добыть спасение другим — в нем не убита надежда, он еще верит в благополучный исход, он еще цепляется за жалкие остатки благ — и потому молчалив, покорен. Когда же он схвачен, низвергнут, когда терять ему больше нечего, он способен на подвиг — только каменная коробка одиночки готова принять на себя его позднюю ярость. Или дыхание объявленной казни уже делает его равнодушным к земным делам.

Не обличив прямо, не поймав на доносе, но и не сомневаясь, что он стукач — одни Сиромаху избегали, иные считали безопаснее с ним дружить, играть в волейбол, говорить о « бабах ». Так жили и с другими стукачами. Так — мирно выглядела жизнь шарашки, где шла подземная смертельная война.

Но Артур мог говорить вовсе не только о бабах. « Сага о Форсайтах » была из его любимых книг, и он довольно умно рассуждал о ней. (Правда, без затруднения он чередовал Гелсуорси с затрепанным детективом « Дом без ключа »). У

Артура был и музыкальный слух, он любил в музыке испанские и итальянские темы, верно мог насвистывать из Верди, из Россини, а на воле, ощущая неполноту жизни, раз в год заходил и в Консерваторию.

Род Сиромах был дворянский род, хотя худой. В начале века один из Сиромах был композитором, другой по уголовному делу сослан на каторгу. Еще один Сиромаха решительно пристал к революции и служил в ЧК.

Когда Артур достиг совершеннолетия, он по своим наклонностям и потребностям почувствовал необходимость иметь постоянные независимые средства. Равномерная копотная жизненка с ежедневным корпением « от » и « до », с подсчитыванием два раза в месяц зарплаты, отягощенной вычетами налогов и займов, никак была не по нему. Ходя в кино, он серьезно примерял к себе всех знаменитых киноартистов, он вполне представлял, как с Диной Дурбин закатился бы в Аргентину.

Конечно, не институт, не образование было путем к такой жизни. Артур нащупывал какую-то другую службу, с легким перебрасыванием, с порханием — и та служба тоже нащупывала его. Так они встретились. Служба эта, хотя и не дала ему всех средств, сколько он хотел, но во время войны избавила от мобилизации, значит — спасла ему жизнь. И пока там дураки кисли в глиняных траншеях, Артур непринужденно входил в ресторан « Савой » с приятно-гладкими щеками кремового цвета на удлиненном лице. (О, этот момент переступа через ресторанный порог, когда теплый, с запахами кухни воздух и музыка разом тебя обдают, и ты разом видишь весь сверкающий зал, и зал видит тебя, и ты выбираешь столик !).

Все пело в Артуре, что он — на верном пути. Его возмущало, что служба эта считалась между людьми — подлой. Это шло из непонимания или из зависти ! Эта служба была для талантливых людей, она требовала наблюдательности, памяти, находчивости, умения притворяться, играть — это была артистическая работа. Да, ее надо было скрывать, она не существовала без тайны — но лишь по ее технологическому принципу, ну, как требуется защитное стекло сварщику для того, чтобы варить и резать. Иначе Артур ни за что бы не таился — ничего в ней не было позорного !

Однажды, не уместившись в свой бюджет, Артур примкнул к компании, польстившейся на государственное имущество. Его посадили. Артур ничуть не обиделся: сам виноват, не попадайся. С первых же дней за колючей проволокой он естественно ощутил себя на прежней службе, само пребывание здесь было лишь новой формой ее.

Не оставили его и оперуполномоченные: он не послан был на лесоповал, ни в шахты, а устроен при Культурно-воспитательной части. Это был единственный в лагере огонек, единственный уголок, куда можно было на полчасика зайти перед отбоем и почувствовать себя человеком: перелистать газету, взять в руки гитару, вспомнить стихи или свою прежнюю неправдоподобную жизнь. Лагерные Укропы Помидоровичи (как звали воры неисправимых интеллигентов) сюда тянулись — и очень у места был тут Артур с его артистической душой, понимающими глазами, столичными воспоминаниями и умением скользя, скользя поговорить о чем угодно.

И так Артур быстро оформил несколько одиночных агитаторов; одну антисоветски-настроенную группу; два побега, еще не подготовлявшихся, но уже якобы задуманных; и лагпунктовское дело врачей, якобы затягивавших с целью саботажа лечение заключенных — то есть, дававших им отдыхать в больнице. Все эти кролики получили вторые сроки, Артуру же по линии Третьего Отдела сброшено было два года.

Попавши в Маврино, Артур и здесь не пренебрегал своей проверенной службой. Он стал любимцем и душой обоих майоров-кумовей и самым грозным доносчиком на шарашке.

Но, пользуясь его доносами, майоры не открывали ему своих секретов, и теперь Сиромаха не знал, кому из двоих важнее знать новость о Доронине, чьим стукачем был Доронин.

Много писано, что люди в массе своей удивляют неблагодарностью и неверностью. Но ведь бывает и иначе ! Не одному, не трем — двадцати с лишним зэкам с безумной неосторожностью, с расточительным безрассудством доверил Руська Доронин свой замысел двойника. Каждый из узнавших рассказал еще нескольким, тайна Доронина стала достоянием почти половины жителей шарашки, о ней едва что не говорили в комнатах вслух, — и хотя через пятого — через шестого жил на шарашке стукач — ни один из них ничего не узнал, а, может быть, не донес, узнавши ! И самый наблюдательный, самый чутконосый, король стукачей Артур Сиромаха тоже ничего не знал до сегодняшнего дня !

Теперь была задета и его честь осведомителя — пусть оперы в своих кабинетах прохлопали, но он ? ? И прямая его безопасность — так же точно, как и других, могли поймать с переводом и его самого. Измена Доронина была для Сиромахи выстрелом чуть-чуть мимо головы. Доронин оказался сильный враг — так и ударить его надо было сильно ! (Впрочем, еще

не осознавая размеров беды, Артур подумал, что Доронин раскрылся только-только, сегодня или вчера).

Но Сиромаха не мог прорваться в кабинеты ! Нельзя было терять голову, ломиться в запертую дверь Шикина или даже слишком часто подбегать к его двери. А к Мышину стояла очередь ! Ее разогнали по трехчасовому звонку, но пока самые надоедные и упрямые зэки препирались в коридоре штаба с дежурным (Сиромаха со страдающим видом, держась за живот, пришел к фельдшеру и стоял в ожидании, пока группа разойдется), — уже к Мышину был вызван Дырсин. По расчетам Сиромахи Дырсину нечего было задерживаться у кума — а он там сидел, и сидел, и сидел. Рискуя заслужить неудовольствие Мамурина своей часовой отлучкой из Семерки, где стоял чад от паяльников, канифоли и проектов, Сиромаха тщетно ждал, когда же Мышин отпустит Дырсина.

Но и перед простыми надзирателями, глазевшими в коридоре, нельзя было расшифровывать себя ! Потеряв терпение, Сиромаха ходил опять на третий этаж к Шикину, возвращался в коридор штаба к Мышину, опять поднимался к Шикину. В последний раз в темном тамбуре у двери Шикина ему повезло: сквозь дверь он услышал неповторимый скрипучий голос дворника, единственный такой на шарашке.

Тогда он сразу же условно постучал. Дверь отперлась — и Шикин показался в нешироком растворе двери.

— Очень срочно ! — шепотом сказал Сиромаха.

— Минуту, — ответил Шикин.

И легкой походкой, чтоб не встретиться с выпускаемым дворником, Сиромаха ушел далеко по длинному коридору, тотчас деловито вернулся и без стука толкнул дверь к Шикину.

77

НАСЧЕТ РАССТРЕЛЯТЬ

После недельного следствия по «Делу о токарном станке», суть происшествия все еще оставалась майору Шикину загадочной. Установлено было только, что станок этот с открытым ступенчатым шкивом, ручной подачей задней бабки, а подачей суппорта как ручной, так и от главного привода, станок, выпущенный отечественной промышленностью в разгар первой мировой войны, в 1916 году, был по приказу Яконова отъят от электромотора и передан в таком виде из лаборатории № 3 в механические мастерские. При этом, так как стороны не могли договориться о транспортировке, приказано было силами лаборатории спустить станок в подвальный коридор, а оттуда силами мастерских ручным волоком поднять по трапу и через двор доставить в здание мастерских. (Был путь короче, без опускания станка в подвал, но тогда пришлось бы выпускать зэков на парадный двор, просматриваемый с шоссе и из парка, что было, конечно, недопустимо с точки зрения бдительности).

Разумеется, теперь, когда непоправимое уже произошло, Шикин внутренне мог упрекнуть и самого себя: не придав значения этой важнейшей производственной операции, он не проследил за нею лично. Но ведь в исторической перспективе ошибки деятелей всегда видней — а поди их не сделай!

Сложилось так, что лаборатория № 3, имеющая в своем составе одного начальника, одного мужчину, одного инвалида и одну девушку, собственными силами перетащить станка не могла. И поэтому, совершенно безответственно, из разных комнат был собран случайный народ в количестве десяти заключенных (даже списка их никто не составил! — и майору Шикину стоило немалого труда уже потом, с полумесячным опозданием, сличая показания, восстановить полный список подозреваемых) — и эти десять зэков опустили-таки тяжелый станок по лестнице из бельэтажа в подвал. Однако, мехмастерские (по каким-то техническим соображениям их начальник не гнался за этим станком) не только вовремя не выставили рабочей

силы на смычку, но даже не прислали к месту встречи контролера-приемщика. Десять же мобилизованных зэков, стащив станок в подвал, никем не руководимые, разошлись. А станок, загораживая проход, еще несколько дней стоял в подвальном коридоре (сам же Шикин и спотыкался об него). Наконец, пришли за ним люди из мастерских, но увидели трещину в станине, придрались к этому и еще три дня не брали станка, пока их все-таки не заставили.

Вот эта-то роковая трещина в станине и была основой к тому, чтобы завести «Дело». Может быть и не из-за этой трещины станок до сих пор не работал (Шикин слышал и такое мнение), но значение трещины было гораздо шире, чем сама трещина. Трещина означала, что в институте орудуют еще не разоблаченные враждебные силы. Трещина означала также, что руководство института слепо-доверчиво и преступно-халатно. При удачном проведении следственного дела, вскрытии преступника и истинных мотивов преступления, можно было не только кое-кого наказать, а кое-кого предупредить, но и вокруг этой трещины провести большую воспитательную работу с коллективом. Наконец, профессиональная честь майора Шикина требовала разобраться в этом зловещем клубке!

Но это было не легко. Время было упущено. Среди арестантов-переносчиков станка успела возникнуть круговая порука, преступный сговор. Ни один вольный (ужасное упущение!) не присутствовал при переноске. Среди десяти носильщиков попался только один осведомитель, и то затрухан-ный, самым большим достижением которого был донос о простыне, разорванной на манишки. И единственно, в чем он помог, это восстановить полный список десяти человек. В остальном же все десять зэков, нагло расчитывая на свою безнаказанность, утверждали, что они донесли станок до подвала в целости, по лестнице станиной не полозили, об ступеньки ее не били. И еще как-то так получалось по их показаниям, что именно за то место, где потом возникла трещина, за станину под задней бабкой, никто из них не держался, а все держались за станину под шкивами и шпинделем. В погоне за истиной майор даже несколько раз рисовал схему станка и расстановку носильщиков вокруг него. Но легче было в ходе допросов овладеть токарным мастерством, чем найти виновника трещины. Единственно, кого можно было обвинить хоть и не во вредительстве, но в намерении вредительства, — это инженера Потапова. Разозлясь от трехчасового допроса, он проговорился:

— Да если б я вам это корыто хотел испортить, так я просто бы песку горсть сыпанул в подшипники, и все ! Какой смысл станину колотить ? !

(Эту фразу матерого диверсанта Шикин сейчас же занес в протокол, но Потапов отказался подписать).

Трудность нынешнего расследования была именно в том, что в руках Шикина не было обычных средств добывания истины: одиночки, карцера, мордобоя, перевода на карцерный паек, ночных допросов и даже элементарного разделения подследственных по разным камерам; здесь надо было, чтоб они продолжали полноценно работать, а для этого нормально питаться и спать.

И все-таки уже в субботу Шикину удалось вырвать у одного зэка признание, что когда они спускались по последним ступенькам и загораживали узкую дверь, — навстречу им попался дворник Спиридон и с криком: « Стой, братки, поднесем ! » — тоже взялся одиннадцатым и донес до места. И из схемы никак иначе не получалось, что взялся он за станину под задней бабкой.

Эту новую богатую нить Шикин и решил разматывать сегодня, в понедельник, пренебрегши двумя поступившими с утра доносами о суде над князем Игорем. Перед самым обедом он вызвал к себе рыжеволосого дворника — и тот пришел, как был, со двора в бушлате, перепоясанном драным брезентовым поясом, снял свою большеухую шапку и виновато мял ее в руках, подобно классическому мужику, пришедшему просить у барина землицы. При этом он не сходил с резинового коврика, чтоб не наследить по полу. Неодобрительно покосясь на его непросохшие еще ботинки и строго поглядев на него самого, Шикин так и оставил его стоять, а сам сидел в кресле и молча просматривал разные бумаги. Время от времени, словно по прочтенному пораженный преступностью Егорова, он вскидывал на него изумленный взгляд как на кровожадного зверя, наконец-то попавшего в клетку (все это полагалось по их науке, чтобы разрушительно подействовать на психику арестанта). Так прошло в запертом кабинете в нерушимом молчании полчаса, явственно прозвенел и обеденный звонок, по которому Спиридон надеялся получить письмо из дому — но Шикин даже и слыхом не слыхал того звонка: он молча все перекладывал толстые папки, что-то доставал из одних ящиков, клал в другие, хмуро перечитывал разные бумаги и опять с изумлением коротко взглядывал на угнетенного, поникшего, виноватого Спиридона.

Последняя вода с ботинок Спиридона, наконец, сошла на коврик, ботинки обсохли, и Шикин сказал:

— А ну, подойди ближе! (Спиридон подошел). — Стой. Вот этого — знаешь, нет? — И он протянул ему из своих рук фотографию какого-то парня в немецком мундире без шапки,

Спиридон изогнулся, сощурился, приглядываясь, и извинился:

— Я, вишь, гражданин майор, слеповат маненько. Дай я ее облазю.

Шикин разрешил. Все так же в одной руке держа свою мохнатую шапку, Спиридон другой рукой обхватил карточку кругом всеми пятью пальцами за ребра и, по-разному наклоняя ее к свету окна, стал водить мимо левого глаза, рассматривая как бы по частям.

— Не, — облегченно вздохнул он. — Не видал.

Шикин принял фотокарточку назад.

— Очень плохо, Егоров, — сокрушенно сказал он. — От запирательства будет только хуже для вас. Ну, что ж, садитесь, — он указал на стул подальше. — Разговор у нас долгий, на ногах не простоишь.

И опять смолк, углубясь в бумаги.

Спиридон, пятясь, отошел к стулу, сел. Шапку сперва положил на соседний стул, но покосился на чистоту этого мягкого, обтянутого кожей стула, и переложил шапку на колени. Круглую голову свою он вобрал в плечи, наклонил вперед и всем видом своим выражал раскаяние и покорность.

Про себя же он совсем спокойно думал:

« Ах ты, змей! Ах ты, собака! Когда ж я теперь письмо получу? Да не у тебя ль оно? »

Спиридону, видавшему в своей жизни и два следствия, и одно преследствие, и тысячи арестантов, прошедших следствие, игра Шикина была яснее стеклышка. Однако, он знал, что надо притворяться, будто веришь.

— В общем, пришли на вас новые материалы, — тяжело вздохнул Шикин. — В Германии-то вы, оказывается, штучки отка-а-лывали!..

— Может, то еще не я! — успокоил его Спиридон. — Насто, Егоровых, поверите, гражданин майор, в Германии было, как мух. Даже, говорят, генерал один был Егоров!

— Ну, как не вы! как не вы! Спиридон Данилович, пожалуйста, — ткнул Шикин пальцем в одну папку. — И год рождения, все.

— И год рождения? Тогда не я, не я! — убежденно

говорил Спиридон. — Я-то ведь себе у немцев для спокоя три года прибрехивал.

— Да ! — вспомнил Шикин и лицо его просветлело, и с голоса спала обременительная необходимость вести следствие, и он отодвинул все бумаги. — Пока не забыл. Ты, Егоров, дней десять назад, помнишь, токарный станок перетаскивал ? С лестницы в подвал.

— Ну-ну, — сказал Спиридон.

— Так вот, трахнули-то вы его где ? — еще на лестнице или уже в коридоре ?

— Кого ? — удивился Спиридон. — Мы не дрались.

— Станок ! — кого !

— Да Бог с вами, гражданин майор, — зачем же станок бить ? Что он, кому досадил или что !

— Вот я и сам удивляюсь — зачем разбили ? Может — обронили ?

— Что вы, обронили ! Прямо за лапки, с осторожкою, как ребенка малого.

— Да ты-то сам — где держал ?

— Я ? Отсюдова, значит.

— Откуда ?

— Ну, с моей стороны.

— Ну, ты брал — под заднюю бабку или под шпиндель ?

— Гражданин майор, я этих бабков не понимаю, я вам так покажу ! — Он хлопнул шапку на соседний стул, встал и повернулся, как будто втаскивая станок через дверь в кабинет. — Я, значит, спустевшись, так ? Задом. А их, значит, двое в двери застряли — ну ?

— Кто — двое ?

— Да шут их знает, я с ними детей не крестил. У меня аж дух загорелся. Стой ! — кричу, — дай перехвачу ! А тюлька-то во !

— Какая тюлька ?

— Ну, что не понимаешь ? — через плечо, уже сердясь, спросил Спиридон. — Ну, несли которую.

— Станок, что ли ?

— Ну, станок ! Я — враз и перехвати ! Вот так. (Он показал и напрягся, приседая). Тут один протискался обочь, другой пропихнулся, а втрою — чего не удержать ? Фу-у ! (Он распрямился). Да у нас по-без-колхозов не такую тяжель таскали. Шесть баб на твой станок — золотое дело, версту пронесут. Где твой станок ? — пойдем, сейчас за потеху подымем !

— Значит, не уроняли ? — угрожающе спросил майор.

— Не ж, говорю !

— Так кто разбил ?

— Все ж таки ухайдакали ? — поразился Спиридон. — Да-а-а... — Перестав показывать, как несли, он снова сел на свой стул и был весь — внимание.

— С места-то его взяли — целый был ?

— Вот, чего не видал — не скажу, могет и поломанный.

— Ну, а когда ставили — какой был ?

— Вот тут уж — целый !

— Да трещина в станине была ?

— Никакой трещины не было, — убежденно ответил Спиридон.

— Да как же ты разглядел, черт слепой? Ты же — слепой?

— Я, гражданин майор, по бумажному делу слепой, верно, — а по хозяйству все вижу. Вы вот, и другие граждане офицеры, через двор проходя, окурочки-то разбрасываете, а я все чисто согребаю, хоть со снега белого — а все согребаю. У коменданта спросите.

— Так что вы ? станок поставили и специально осматривали ?

— А как же ? После работы перекур у нас был, не без этого. Похлопали станочек.

— Похлопали ? Чем ?

— Ну, ладошкой так вот, по боку, как коня горячего. Один инженер еще сказал: « Хорош станочек ! Мой дед токарем был — на таком работал ».

Шикин вздохнул и взял чистый лист бумаги.

— Очень плохо, что ты и тут не сознаешься, Егоров. Будем писать протокол. Ясно, что станок разбил ты. Коли бы не ты — ты бы указал виновника.

Он сказал это голосом уверенным, но внутреннюю уверенность потерял. Хотя господин положения был он, и допрос вел он, а дворник отвечал со всей готовностью и с большими подробностями, но зря пропали первые следовательские часы, и долгое молчание, и фотографии, и игра голоса, и оживленный разговор о станке, — этот рыжий арестант, с лица которого не сходила услужливая улыбка, а плечи так и оставались пригнутыми, — если сразу не поддался, то теперь — тем более.

Про себя Спиридон, еще когда говорил о генерале Егорове, уже прекрасно догадался, что вызвали его не из-за какой Германии, что фотография была т у х т а, кум т е м н и л, а вызвал именно из-за токарного станка — вдиви бы было, если б его не вызвали — тех десятерых неделю полную трясли,

как груши. И целую жизнь привыкнув обманывать начальство, он и сейчас без труда вступил в эту горькую забаву. Но все эти пустые разговоры ему были как теркой по коже. Ему то досаждало, что письмо опять откладывалось. И еще: хоть в кабинете Шикина было сидеть тепло и сухо, но работу во дворе никто не делал за Спиридона, и она вся громоздилась на завтра.

Так шло время, давно отзвенел звонок с перерыва, а Шикин велел Спиридону расписаться об ответственности по статье 95-й за дачу ложных показаний и записывал вопросы и, как мог, искажал в записи ответы Спиридона.

Тогда-то раздался четкий стук в дверь.

Выпроводив Егорова, надоевшего ему своей бестолковостью, Шикин встретил змеистого деловитого Сиромаху, умеющего всегда в два слова высказать главное.

Сиромаха вошел мягкими быстрыми шагами. Принесенная им потрясающая новость и особое положение Сиромахи среди стукачей шарашки равняли его с майором. Он закрыл за собой дверь и, не давая Шикину взяться за ключ, драматически отклонился. Он играл. Внятно, но так тихо, что никак его нельзя было подслушать сквозь дверь, сообщил:

— Доронин ходит — показывает перевод на сто сорок семь рублей. Провалил Любимичева, Кагана, еще человек пять. Собрались кучкой и ловили во дворе. Доронин — ваш ? . .

Шикин схватился за воротник и растянул его, высвобождая шею. Глаза его как будто выдавились из глубины. Толстая шея побурела. Он бросился к телефону. Лицо его, всегда превосходяще-самодовольное, сейчас выражало безумие.

Сиромаха не шагами, но как бы мягкими прыжками опередил Шикина и не дал снять телефонной трубки.

— Товарищ майор ! — напомнил он (как арестант, он не смел сказать « товарищ », но должен был сказать, как друг !), — не прямо ! не дайте ему приготовиться !

Это была элементарная тюремная истина ! — но даже ее пришлось напомнить !

Отступая спиной и лавируя, как будто видя мебель позади себя, Сиромаха отошел к двери. Он не спускал глаз с майора.

Шикин выпил воды.

— Я — пойду, товарищ майор ? — почти не спросил Сиромаха. — что узнаю еще — к вечеру или утром.

В растаращенные глаза Шикина медленно возвращался смысл.

— Д е в я т ь г р а м м ему, гаду ! — с сипением вырвались его первые слова. — Оформлю !

Сиромаха беззвучно вышел, как из комнаты больного. Он сделал то, что полагалось по его убеждениям, и не спешил просить о награде.

Он не совсем был уверен, что Шикин останется майором МГБ.

Не только на шарашке Маврино, но во всей истории министерства это был случай чрезвычайный.

Не от самого Шикина, а через дежурного по институту, чей стол стоял в коридоре, было позвонено начальнику Вакуумной лаборатории и велено Доронину немедленно явиться к инженер-полковнику Яконову.

Хотя было четыре часа дня, но в Вакуумной, всегда темной, давно горел верхний свет. Начальник Вакуумной отсутствовал, и трубку взяла Клара. Она позже обычного, только сейчас, пришла на вечернее дежурство, вошла в лабораторию в меховой шапочке и шубке, заговорила с Тамарой, — и хотя Руська не спускал с нее пламенного взгляда — еще ни разу не посмотрела на него. Трубку телефона она взяла рукою в алой перчатке, отвечала в трубку потупясь, а Руська стал за своим насосом, в трех шагах от нее, и впился в ее лицо. Он думал, как сегодня вечером, когда все уйдут на ужин, охватит эту дорогую голову. От близости Клары он терял ощущение окружающего.

Она подняла глаза (не искала его, чувствовала, что он здесь) и сказала:

— Ростислав Вадимович ! Вас Антон Николаевич вызывает срочно.

Их видели и слышали, и нельзя было сказать иначе, — но глаза ее были уже не те глаза ! Их подменили ! Какой-то безжизненный туск наплыл на них . . .

Подчиняясь механически и не думая, что бы мог значить неожиданный вызов к инженер-полковнику, — Руська шел и думал только о ее выражении. Еще из дверей он обернулся на нее — увидел, что она смотрела ему вслед и тотчас отвела глаза.

Неверные глаза. Испуганно отвела.

Что могло случиться с ней ? . .

Думая только о ней, он поднялся к дежурному, совсем покинув свою обычную настороженность, совсем забыв готовиться к неожиданным вопросам, к нападению, как того требовала арестантская хитрость, — а дежурный, преградив ему дверь Яконова, показал в углубление черного тамбура на дверь майора Шикина.

Если бы не совет Сиромахи, если бы Шикин позвонил в

Вакуумную сам, — Руська бы сразу ждал худшего, он обежал бы десяток друзей, предупредил, — наконец, он добился бы поговорить с Кларой, узнать, что с ней, унести с собой или восторженную веру в нее, или самому освободиться от верности, — а сейчас, перед дверью кума, поздно посетила его догадка. Перед дежурным уже нельзя было колебаться, возвращаться, — чтобы не вызвать подозрения, если его еще нет, — и все-таки Руська повернулся сбежать по лестнице — но на последнюю ступеньку ее как раз поднимался вызванный по телефону тюремный дежурный лейтенант Жвакун, бывший палач.

И Руська вошел к Шикину.

Он вошел, за несколько шагов пристроив себя, преобразившись лицом. Тренировкой двух лет жизни под розыском, особой авантюрной гениальностью своей натуры, — он безо всякой инерции сломил всю бурю в себе, стремительно перенесся в круг новых мыслей и опасностей, — и с выражением мальчишеской ясности, беззаботной готовности, доложил, входя:

— Разрешите ? Я вас слушаю, гражданин майор.

Шикин странно сидел, грудью привалясь к столу, одну руку свесивши и как плетью помахивая ею. Он встал навстречу Доронину и этой рукой-плетью снизу вверх ударил его по лицу.

И замахнулся другой ! — но Доронин отбежал от двери, стал в оборону. Изо рта его сочилась кровь, взбиток белых волос свалился к глазу.

Не дотягиваясь теперь до его лица, коротенький оскаленный Шикин стоял против него и угрожал, брызгая слюной:

— Ах ты, сволочь ! П р о д а е ш ь ? Прощайся с жизнью, Иуда ! Расстреляем, как собаку ! В подвале расстреляем.

Уже два с половиной года, как гуманнейшим из государственных деятелей была навечно отменена смертная казнь. Но ни майор, ни его разоблаченный осведомитель не строили иллюзий: с неугодным человеком что ж было делать, если его не расстрелять ?

Руська выглядел дико, лохмато, кровь стекала по подбородку с губы, пухнущей на глазах.

Однако он выпрямился и нагло ответил.

— Насчет расстрелять — это надо подумать, гражданин майор. П о с а ж у я и вас. Четыре месяца над вами все куры смеются — а вы зарплату получаете ? Снимут погончики ! Насчет расстрелять — это подумать надо . . .

78

УЧЕНИК ЭПИКУРА

Наша способность к подвигу, то есть к поступку, чрезвычайному для сил единичного человека, отчасти создается нашей волей, отчасти же, видимо, уже при рождении заложена или не заложена в нас. Тяжелей всего дается нам подвиг, если он добыт неподготовленным усилием нашей воли. Легче — если был последствием усилия многолетнего, равномерно-направленного. И с благословенной легкостью, если подвиг был для нас естественен и произошел просто, как вдох и выдох.

Так жил Руська Доронин под всесоюзным розыском — с простотой и детской улыбкой. В его кровь, видимо, от рождения уже был впрыснут пульс риска, жар авантюры.

Но для чистенького благополучного Иннокентия недоступно было бы — скрываться под чужим именем, метаться по стране. Ему даже в голову не могло прийти, что он может что-либо противопоставить своему аресту, если арест назначен.

Он совершил свой подвиг быстрым взлетом чувства — и чувства же бросили его теперь в опустошение, в изнеможение. Когда он звонил, он даже и представить себе не мог, что так вырастет в нем, что так будет разорять и выжигать его страх. (Да ни за что бы он и не звонил, если бы предвидел!).

Лишь на вечере у Макарыгиных Иннокентия отпустило. Он вдруг ощутил недобрую легкость, почти наслаждение от игры с опасностью.

Ночь провел он в забытье, с женой.

Но тем более сокрушающим был новый удар страха — с утра понедельника, когда надо было через силу опять начинать жить, ехать на работу, с тревогой ловить, не изменились ли взгляды и голоса вокруг него, не таят ли они угрозу.

Он еще держался, сколько мог, с достоинством, но внутри был уже разрушен, у него отнялись все способности сопротивляться, искать выход, спасаться.

Еще не было одиннадцати утра, когда секретарша, не

допустившая Иннокентия к шефу, сказала, что, как она слышала, назначение Володина задержано заместителем министра.

Новость эта, хотя и не до конца проверенная, так сотрясла Иннокентия, что он не имел даже сил добиваться приема и убедиться в истине. Ничто другое не могло задержать его уже решенный отъезд! Значит, он раскрыт...

Как-то видя все потемневшим и плечи чувствуя потяжелевшими, он вернулся в кабинет и только мог сделать одно: запереть дверь на ключ и ключ вынуть (чтоб думали — он вышел). Он мог сделать так потому, что сосед, сидящий за вторым столом, еще не вернулся из командировки.

Все внутри Иннокентия противно обмякло. Он ждал стука. Было страшно, было раздирающе страшно, что сейчас войдут и арестуют его. Мелькала мысль — не открывать дверей. Пусть ломают.

Или повеситься до того, как войдут.

Или выпрыгнуть из окна. С третьего этажа. Прямо на улицу. Две секунды полета — и все разорвалось. И погашено сознание.

На столе лежал пухлый отчет экспертов — задолженность Иннокентия. Прежде чем уезжать, надо сдать проверенным этот отчет. Но тошно было даже смотреть на него.

В натопленном кабинете казалось холодно, знобко.

Мерзкое внутреннее бессилие! Так и ждать в бездействии своей гибели...

Иннокентий лег на кожаный диван пластом, ничком. Только так, всей длиной своего тела, он принял от дивана род поддержки или успокоения.

Мысли мешались в нем.

Неужели это он? он! — позавчера звонил Доброумову? Да как он осмелился? Откуда он мог набраться такой отчаянной храбрости?

И зачем звонил?.. Бездарная баба! А кто вы такой? А как вы можете доказать, что скажете правду?..

Не надо было звонить. Жаль — себя. В тридцать лет кончать жизнь.

Нет, он не жалел, что звонил. Очевидно, так надо было. Будто кто-то вел его тогда, и не было страшно.

Не то, что не жалел, — а у него не оставалось воли жалеть или не жалеть. Под расслабляющей угрозой он бездыханно лежал, придавленный к дивану, и хотел только, чтобы скорей это все кончилось, чтобы скорей уж брали его, что ли.

Но счастливым образом никто не стучал, не пробовал потянуть двери. И телефон его не зазвонил ни разу.

Он забылся. Налезали друг на друга давящие несуразные сновидения, распирали голову, чтоб он проснулся. Он просыпался не освеженный, а в еще более разбитом и безвольном состоянии, чем засыпал, измученный тем, что его уже несколько раз то пытались арестовать, то арестовывали. Но подняться с дивана, стряхнуть кошмары, даже пошевелиться — не было сил. И снова его затягивала противная сонная немочь. И в последний раз он заснул, наконец, каменно-крепко, — и проснулся уже при оживлении перерыва в коридоре и ощущая, что из его открытого, бесчувственного рта насочилось слюны на диван.

Он встал, отперся, сходил умылся. Разносили чай с бутербродами.

Никто не шел арестовывать. Сотрудники в коридоре, в общей канцелярии встречали его ровно, никто к нему не переменился.

Впрочем, это ничего и не доказывало. Никто же не мог знать.

Но в обычных взглядах и звуках голоса других людей он почерпнул бодрости. Он попросил девушку принести ему чая погорячей и покрепче и с наслаждением выпил два стакана. Этим еще подбодрился.

А все-таки не было сил пробиваться к шефу и узнавать . . .

Покончить с собой — это была бы простая мера благоразумия, это было бы просто чувство самосохранения, жалость к самому себе. Но если наверняка знать, что арестуют.

А если нет ?

Вдруг позвонил телефон. Иннокентий вздрогнул, сердце его — потом, не сразу, — слышно-слышно застучало.

А оказалась Дотти. Голос ее и по телефону был отчетливо ласков, она говорила с вернувшимися правами жены. Спрашивала, как дела, и предлагала вечером сходить куда-нибудь.

И снова Иннокентий ощутил к ней теплоту и благодарность. Плохая-не плохая жена, а все-таки ближе всех !

Об отмене своего назначения он не сказал. Но он представлял себе, как вечером в театре будет в полной безопасности — ведь не арестуют же прямо при всех в зрительном зале !

— Ну, возьми на что-нибудь веселенькое, — сказал Иннокентий.

— В оперетту, что ли ? — спросила Дотти. — « Акулина » какая-то. А так нигде ничего нет. В ЦТКА на малой сцене «Закон Ликурга», премьера, на большой — «Голос Америки». Во МХАТе — «Незабываемый».

— «Закон Ликурга» слишком заманчив. Красиво называют всегда самые плохие пьесы. Бери уж на «Акулину», ладно. А потом закатимся в ресторан.

— О кей ! о кей ! — смеялась и радовалась Дотти в телефон.

(Всю ночь там пробыть, чтоб дома не нашли ! Ведь они приходят ночами !).

Постепенно токи воли возвращались к Иннокентию. Ну, хорошо, допустим, на него есть подозрение. Но ведь Шевронок и Заварзин — те прямо связаны со всеми подробностями, на них подозрение должно упасть еще раньше. Подозрение — это еще не доказательство !

Хорошо, допустим — арест угрожает. Но помешать этому — способов нет. Прятать ? Нечего. Так о чем заботиться ?

Он уже имел силу прохаживаться и размышлять.

Ну, что ж, даже если арестуют. Может быть не сегодня и даже не на этой неделе. Перестать ли из-за этого жить ? Или, наоборот, последние дни — наслаждаться ожесточенно ?

И почему он так перепугался ? Черт возьми, так остроумно вчера вечером защищал Эпикура — отчего ж не воспользуется им сам ? Там, кажется, есть неглупые мысли.

Заодно думая, что надо просмотреть записные книжки, нет ли в них чего уничтожить, и вспоминая, что в старую книжку, кажется, выписывал когда-то Эпикура, он стал листать ее, отодвинув отчет экспертов. И нашел: « Внутренние чувства удовольствия и неудовольствия суть высшие критерии добра и зла ».

Рассеянному уму Иннокентия эта мысль не поддалась. Он прочел дальше:

« Смерти боятся лишь потому, что боятся загробных страданий ».

Ну, это полная чушь ! Смерти боятся потому, что с жизнью расставаться жалко. Натяжка, Учитель !

Иннокентий представил себе сад в Афинах, семидесятилетнего смуглого Эпикура в тунике, поучающего с мраморных ступеней — а себя перед ним в современном костюме, как-нибудь по-американски развязно сидящим на тумбе.

« Но следует знать, — читал он дальше, — что бессмертия нет. Бессмертия нет — и поэтому смерть для нас — не зло,

она просто нас не касается: пока существуем мы — смерти нет, а когда смерть наступит — нет нас ».

А это здорово, — откинулся Иннокентий. И кто это, кто это совсем недавно говорил то же самое ? Ах, этот парень-фронтовик, вчера на вечере.

« Вера в бессмертие родилась из жажды ненасытных людей, безрассудно пользующихся временем, которое природа отпустила нам. Но мудрый найдет это время достаточным, чтобы обойти весь круг достижимых наслаждений, а когда наступит пора смерти — насыщенному отойти от стола жизни, освобождая место другим гостям. Для мудрого достаточно одной человеческой жизни, а глупый не будет знать, что ему делать и с вечностью ».

Блестяще сказано ! Но вот беда: если не природа оттаскивает тебя в семьдесят лет от стола, а люди с пистолетами, и — тридцатилетнего ? . .

« Не должно бояться телесных страданий. Кто знает предел страдания, тот предохранен от страха. Продолжительное страдание — всегда незначительно, сильное — непродолжительно. Мудрый не утратит душевного покоя даже во время пытки. Память вернет ему его прежние чувственные и духовные удовольствия и, вопреки сегодняшнему телесному страданию, восстановит равновесие души ».

Иннокентий стал угрюмо ходить по кабинету.

Да, вот чего он боялся — не смерти совсем. Но что, если арестуют, будут мучить тело.

Эпикур же говорит, что можно победить пытку ? О, если бы такая твердость !

Только не находил он ее в себе.

А умереть ? Не жалко бы, может, и умереть, если бы люди узнали — за что, если б это воодушевило их самих быть твердыми.

Но нет, никто не узнает, никто не увидит твоей смерти. В подземелье застрелят как собаку, а « дело » запрут за тысячами замков.

И вместе с этими мыслями нащупывалось, однако, какое-то спокойствие. Самое жестокое отчаяние как будто уже миновало.

Складывая записную книжечку, он прочел напоследок:

« Эпикур отклонял своих учеников от участия в общественной жизни ».

Куда, как легко ! Философствовать. В Саду . . .

Иннокентий запрокинул голову, как птица запрокидывает, чтобы вода через напряженное горло прошла в грудь.

Ну, нет ! Ну, нет !

Кружевные стрелки бронзовых часов показывали без пяти четыре.

Смеркалось.

79

НЕ ПО МОЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

В сумерках черный долгий « ЗИМ », проехав распахнутые для него ворота вахты, еще наддал на асфальтовых извивах мавринского двора, очищенных широкой лопатой Спиридона и оттаявших дочерна, обогнул стоящую у дома яконовскую « Победу » и с разлету, как вкопанный, остановился у парадных каменных всходов.

Адъютант генерал-майора выпрыгнул из передней дверцы и живо отворил заднюю. Тучный Фома Осколупов, в сизой, тугой для него шинели и каракулевой генеральской папахе, вышел, распрямился и — адъютант распахнул перед ним одну и вторую дверь в здание — озабоченно направился вверх. На первой же площадке за старинными светильниками была отгорожена гардеробная. Служительница выбежала оттуда, готовая принять от генерала шинель (и зная, что он ее не сдаст). Он шинели не сдал, шапки не снял, а продолжал подниматься по одному из маршей раздвоенной лестницы. Несколько зэков и мелких вольняшек, проходивших в это время по разным местам лестницы, поспешили исчезнуть. Генерал в каракулевой папахе величественно, но с усилием идти быстрей, как того требовали обстоятельства, поднимался. Адъютант, раздевшийся в гардеробной, нагнал его.

— Пойди найди Ройтмана, — сказал ему через плечо Оскорлупов, — предупреди: через полчаса приду в новую группу за результатами.

С плошадки третьего этажа он не свернул к кабинету Яконова, а пошел в противоположную сторону — к Семерке. Увидевший его в спину дежурный по объекту « сел » на телефон — искать и предупредить Яконова.

В Семерке стоял развал. Не надо было быть специалистом (Осколупов им и не был), чтобы понять, что на ходу нет ничего, все системы, долгими месяцами налаживавшиеся, теперь распаяны, разорваны и разломаны. Венчание клиппера с вокодером началось с того, что обоих новобрачных разнимали

по панелям, по блокам, чуть не по конденсаторам. Там и сям возносился дым от канифоли, от папирос, слышалось гудение ручной дрели, деловое переругивание и надрывный крик Мамурина по телефону.

Но и в этом дыму и гуле Сиромаха сразу заметил входившего генерал-майора (входная дверь всегда оставалась в уголке его настороженного зрения). Он тут же бросил паяльник на подставку, метнулся предупредить Мамурина, стоя кричавшего в телефон, подхватил его полумягкое кресло и на ц ы р л а х понес его навстречу генералу, ловя указание куда поставить. У другого человека это могло бы выглядеть подхалимством, но у Сиромахи — благородной услугой молодости пожилому уважаемому человеку. И так он замер в ожидании указаний.

Сиромаха не был ни инженер, ни техник, даже электромонтажником он стал лишь в Семерке, но за свою постоянную быстроту, преданность, за готовность работать двадцать четыре часа в сутки и выслушивать все соображения и сомнения начальства, он высоко ценился и никогда не был устранен от совещания ведущих. Он соразмерил, что это будет поверней, чем его стукаческая служба. Так он имел бóльшие шансы на освобождение.

Фома Гурьянович сел, не снимая папахи, лишь чуть расстегнув шинель.

В лаборатории все смолкло, не сверлила больше электрическая дрель, папиросы попригасли, голоса попритихли, и только Бобынин, не выходя из своего закутка, басом давал указания электромонтажникам, да Прянчиков продолжал невменяемо бродить с горячим паяльником вокруг разоренной стойки своего вокодера. Остальные смотрели и слушали, что скажет начальство.

Отирая пот после трудного разговора по телефону (он спорил с начальником механических мастерских, запоровших каркасные панели), подошел Мамурин и изнеможенно приветствовал своего прежнего друга по работе, а теперь недосягаемо-высокого начальника (Фома протянул ему три пальца). Мамурин дошел уже до той степени бледности и умирания, когда кажется преступлением, что этого человека выпустили из постели. Много больней, чем его чиновные коллеги, перенес он удары минувших суток — гнев министра и разломку клиппера. Если еще могли утончиться мускульные связки под его кожным покровом — они утончились. Если кости человеческие способны терять в весе — они потеряли вес. Больше

года Мамурин жил клипером и верил, что клипер, как Конек-Горбунок, вынесет его из беды. Никакое позолочение — приход Прянчикова с вокодером под кров Семерки, не могло скрыть от него катастрофы.

Фома Гурьянович умел руководить, не овладевая познаниями по руководимому им делу. Он давно усвоил, что для этого надо лишь сталкивать мнения подчиненных — и через то руководить. Так и теперь. Он посмотрел насупленно и спросил:

— Ну, так что ? Как дела ?

И тем самым вынудил подчиненных высказываться.

Началась никому не нужная, нудная беседа, только отрывавшая от работы. Говорили нехотя, вздыхая, и если заговаривали сразу двое — оба уступали.

Два тона было в этом разговоре: « надо » и « трудно ». « Надо » проводил неистовый Маркушев, поддержанный Сиромахой. Маленький, прыщеватый, деятельный Маркушев горячечно денно и нощно изобретал — как ему прославиться и освободиться по досрочке. Он предложил слияние клипера и вокодера не потому, что был инженерно уверен в успехе, а потому, что при таком слиянии наверняка падало отдельное значение Бобынина и Прянчикова, значение же Маркушева возрастало. И хотя сам он очень не любил работать на д я д ю , когда не ожидал воспользоваться плодами работ, — сейчас он негодовал, почему его товарищи по Семерке так упали духом. В присутствии Осколупова он косвенным образом жаловался ему на нерадение инженеров.

Он был — человек, то есть из той распространенной породы существ, из которых делают угнетателей себе подобных.

На лице Сиромахи были написаны страдание и вера.

Поникший прозрачно-лимонным лицом в невесомые ладони Мамурин впервые за все время командования Семеркой — молчал.

Хоробров едва прятал в глазах злорадный блеск. Он больше всех возражал Маркушеву и выпирал трудности.

Осколупов же почему-то особенно упрекал Дырсина, виня его в отсутствии энтузиазма. У Дырсина, когда он волновался или страдал от несправедливости — почти отнимался голос. Из-за этой невыгодной черты он всегда оказывался виноват.

К середине разговора пришел Яконов и из вежливости стал поддерживать беседу, бессмысленную в присутствии Осколупова. Затем он подозвал Маркушева, и с ним вдвоем

на клочке бумаги, на коленях, они стали набрасывать вариант схемы.

Фома Гурьянович охотнее всего пустился бы на хорошо ему известную, за годы начальствования, разработанную до интонационных подробностей дорожку разносов и разгрома. Это у него получалось лучше всего. Но он видел, что сейчас разносить — не поможет.

Почувствовал ли Фома Гурьянович, что его беседа не идет на пользу дела, или захотел дохнуть другим воздухом, пока не кончился льготный роковой месячный срок, — но посреди разговора, не дослушав Булатова, встал и мрачно пошел к выходу, оставив полный состав Семерки терзаться, до чего их нерадивость довела Начальника Отдела.

Верный порядку, Яконов вынужден был тоже встать и понести свое большое огрузлое тело вослед папахе, доходившей ему до плеча.

Молча, но уже рядом, они прошли по коридору. За то и не любил Начальник Отдела, чтоб его главный инженер шел рядом с ним — Яконов был выше на голову, причем на свою продолговатую крупную голову.

Сейчас Яконову было не только должно, но и выгодно рассказать генерал-майору об удивительном, непредвиденном успехе с шифратором. Он сразу рассеял бы этим ту бычью недоброжелательность, с которой Фома смотрел на него после абакумовского ночного приема.

Но — чертежа не было в его руках. Удивительное же умение Сологдина владеть собой, продемонстрированная им готовность ехать умирать, но не отдать чертежа зря — убедили Яконова выполнить данное слово и доложить сегодня ночью Севастьянову, минуя Фому. Конечно, Фому это разъярит, но ему придется быстро смягчиться: победителей не судят. (Да можно будет потом ему приврать, что не было уверенности, получится ли у Сологдина, просто проба).

Но не только этот простой расчет был у Яконова. Он видел, как Фома насуплен, перепуган за свою судьбу, и с удовольствием оставлял его помучиться еще несколько суток. Антон Николаевич испытывал даже инженерную оскорбленность за проект, будто сам его составил. Как верно предвидел Сологдин, Фома непременно навязался бы в соавторы. А теперь, когда узнает, — то даже не взглянув на чертеж главного узла, тотчас распорядится посадить Сологдина в отдельную комнату и затруднить к нему доступ тем, кто должен ему помогать: и вызовет Сологдина и начнет его припугивать

и давать жесткие сроки; и потом каждые два часа будет звонить из министерства и подгонять Яконова; и в конце концов будет заноситься, что только благодаря его контролю шифратору дали верный ход.

И так все это было известно и тошно, что Яконов пока с удовольствием молчал.

Однако, придя в кабинет, он, чего никогда не стал бы при посторонних, помог Осколупову стянуть с себя шинель.

— У тебя Герасимович — что делает ? — спросил Фома Гурьянович и сел в кресло Антона, так и не сняв папахи.

Яконов опустился в стороне на стул.

— Герасимович ? — Да, собственно, он со Стрешневки когда ? В октябре, наверно. Ну, и с тех пор телевизор для товарища Сталина делал.

— Вызови-ка его.

Яконов позвонил.

« Стрешневка » была тоже одна из московских шарашек. В последнее время под руководством инженера Бобра в Стрешневке было изготовлено весьма остроумное и полезное приспособление — приставка к обычному городскому телефону. Главное остроумие его состояло в том, что приспособление действовало именно тогда, когда телефон бездействовал, когда трубка покойно лежала на рычагах. Приспособление понравилось, было запущено в производство.

Опережающая мысль начальства (мысль начальства всегда должна опережать) была теперь о других приспособлениях.

В дверь заглянул дежурный:

— Заключенный Герасимович.

— Пусть войдет, — кивнул Яконов. Он сидел особняком от своего стола, в маленьком стуле, и из него почти вываливался вправо и влево.

Герасимович вошел, поправляя на носу пенсне и споткнулся о ковровую дорожку. По сравнению с этим двумя толстыми чинами он казался очень уж узок в плечах и мал.

— По вашему вызову, — сухо сказал он, приблизясь и глядя в стенку между Осколуповым и Яконовым.

— У-гм, — ответил Осколупов. — Садитесь.

Герасимович сел. Он занимал половину сиденья.

— Вы . . . это . . . — вспоминал Фома Гурьянович. — Вы . . . — оптик, Герасимович ? В общем не по уху, а по глазу, так, что ли ?

— Да.

— И вас это... — (Фома поворочал языком, как бы протирая зубы) — Вас хвалят. Да.

Он помолчал. Сожмурив один глаз, он стал смотреть на Герасимовича другим:

— Вы последнюю работу Бобра знаете ?

— Слышал.

— У-гм. А что мы Бобра представляли к досрочному ?

— Не знал.

— Вот, знайте. Вам сколько сидеть осталось ?

— Три года.

— До-олго ! — удивился Осколупов, будто у него все сидели с месячными сроками. — Ой, до-олго ! — (Подбодряя недавно одного новичка, он говорил: « Десять лет ? Ерунда ! Люди по двадцать пять сидят ! ») — Вам тоже б досрочку неплохо заработать, а ?

Как это странно совпадало со вчерашней мольбой Наташи !..

Пересилив себя (ибо никакой улыбки снисхождения он не разрешал себе в разговорах с начальством), Герасимович криво усмехнулся:

— Где ж ее возьмешь ? В коридоре не валяется.

Фома Гурьянович колыхнулся:

— Хм ! На телевизорах, конечно, досрочки не получите ! А вот я вас в Стрешневку на-днях переведу и назначу вас руководителем проекта. Месяцев за шесть сделаете — и к осени будете дома.

— Какая ж работа, разрешите узнать ?

— Да там много работ намечено, только хватай. Задание, прямо вам скажу, самого Лаврентия Павлыча. Есть, например, такая идея: микрофоны вделывать в садовые скамейки, в парках — там болтают откровенно, чего не наслушаешься. Но это — не по вашей специальности ?

— Нет, это не по моей.

— Но и для вас есть, пожалуйста. Две работы, и та важная, и та почет. И обе прямо по вашей специальности, — ведь так, Антон Николаевич ? (Яконов поддакнул головой). Одно — это ночной фотоаппарат на этих... как их... ультракрасных лучах. Чтоб значит ночью вот на улице сфотографировать человека, с кем он идет, а он бы и до смерти не знал. За границей уже наметки есть, тут надо только... творчески перенять. Ну, и чтоб в обращении аппарат был попроще. Наши агенты не такие умные, как вы. А второе вот что. Второе вам, наверно, раз плюнуть, а нам — позарез нужно. Простой фо-

тоаппаратик, только такой манехонький, чтоб его в дверные косяки вделывать. И он бы автоматически, как только дверь откроется, фотографировал бы, кто через дверь проходит. Хотя бы днем, ну, и при электричестве. В темноте уж не надо, ладно. Такой бы аппаратик нам тоже в серийное производство запустить. Ну, как ? Возьметесь ?

Своим суженным худощавым лицом Герасимович был обернут к окнам и не смотрел на генерал-майора.

В словаре Фомы Гурьяновича не было слова « скорбный ». Поэтому он не мог бы назвать, что за выражение установилось на лице Герасимовича.

Да он и не собирался называть. Он ждал ответа.

Это было исполнение молитвы Наташи ! . .

Ее иссушенное лицо со стеклянно-застылыми слезами стояло перед Илларионом.

Впервые за много лет возврат домой своей доступностью, близостью, теплотой обнял сердце.

А сделать надо было только то, что Бобер: вместо себя посадить за решетку сотню-две доверчивых лопоухих вольняшек.

Затрудненно, с препинанием Герасимович спросил:

— А на телевидении . . . нельзя бы остаться ?

— Вы отказываетесь ?! — изумился и нахмурился Осколупов. Его лицо особенно легко переходило к выражению сердитости. — По какой же причине ?

Все законы жестокой страны зэков говорили Герасимовичу, что преуспевающих, близоруких, не тертых, не битых вольняшек жалеть было бы так же странно, как не резать на сало свиней. У вольняшек не было бессмертной души, добываемой зэками в их бесконечных сроках, вольняшки жадно и неумело пользовались отпущенной им свободой, они погрязли в маленьких замыслах, суетных поступках.

А Наташа была подруга всей жизни. Наташа ждала его второй срок. Наташа была на пороге угасания, а с нею угаснет и жизнь Иллариона.

— Зачем — причины ? Не могу. Не справлюсь, — очень тихо, очень слабо ответил Герасимович.

Яконов, до этого рассеянный, с любопытством и вниманием взглянул на Герасимовича. Это, кажется, был еще один случай, претендующий на иррациональность. Но всемирный закон « своя рубаха ближе к телу » не мог не сработать и здесь.

— Вы просто отвыкли от серьезных заданий, оттого и

робеете, — убеждал Осколупов. — Кто ж, как не вы ? Хорошо, я вам дам подумать.

Герасимович небольшой рукой подпер лоб и молчал.

— Но о чем вам думать ? Это прямо по вашей специальности !

Ах, можно было смолчать ! Можно было темнить. Как заведено у зэков, можно было принять задание, а потом тянуть резину, не делать. Но Герасимович встал и презрительно посмотрел на брюхастого, вислощекого, тупорылого в генеральской папахе.

— Нет ! Это не по моей специальности ! — звеняще пискнул он. — Сажать людей в тюрьму — не по моей специальности ! Я — не ловец человеков ! Довольно, что нас посадили . . .

80

У ИСТОКОВ НАУКИ

Рубин с утра был еще в тягостной власти спора. Приходили новые и новые аргументы, не досказанные ночью. Но с разворотом дня ему посчастливилось уйти в большое дело, и спор померк.

Это было в совсекретной тихой комнатке на третьем этаже с тяжелыми занавесками по бокам окна и двери, с неновым диваном и плохеньким ковриком. Мягкое глушило звуки, но звуков почти и не было, потому что магнитные ленты Рубин слушал на наушники, а Смолосидов весь день молчал, грубо прорытым лицом насупясь на Рубина как на врага, а не товарища по работе. В свою очередь и Рубин не замечал Смолосидова иначе, как автомат для перестановки кассет с лентами.

Надевая наушники, Рубин слушал и слушал роковой разговор подозреваемых лиц. То он верил ушам, то отчаивался им верить и переходил к фиолетовым извивам звуковидов, напечатанных по всем разговорам. Длинные многометровые бумажные ленты, не помещаясь даже на большом столе, ниспадали белыми скрутками на пол слева и справа. Порывисто брался Рубин за свой альбом с образцами звуковидов, классифицированных то по звукам - «фонемам», то по « основному тону » различных мужских голосов. Цветным красно-синим карандашом, уже исписанным до закругленно-тупых оконечностей (очинить карандаш был для Рубина труд долгосборный), он размечал особо поразившие его места на лентах.

Рубин был захвачен. Темно-карие глаза его казались огненными. Большая нечесанная черная борода была сваляна клочьями, и седой пепел непрерывно куримых трубок и папирос пересыпал бороду, рукава засаленного комбинезона с оторванной пуговицей на обшлаге, стол, ленты, кресло, альбом с образцами.

Рубин переживал сейчас тот загадочный душевный по-

дъем, которого еще не объяснили физиологи: забыв о печени, о гипертонических болях, освеженным взлетев из изнурительной ночи, не испытывая голода, хотя последнее, что он ел, было печенье за именинным столом вчера, Рубин находился в состоянии того духовного рвения, когда острое зрение выхватывает гравинки из песка, когда память готовно отдает все, что отлагалось в ней годами.

Он ни разу не спросил, который час. Он один только раз, по приходе, хотел открыть форточку, чтобы возместить себе недостаток свежего воздуха, но Смолосидов хмуро сказал: « Нельзя ! У меня насморк », и Рубин подчинился. Ни разу потом во весь день он не встал, не подошел к окну посмотреть, как рыхлел и серел снег под влажным западным ветром. Он не слышал, как стучался Шикин, и как Смолосидов не пустил его. Будто в тумане видел он приходившего и уходившего Ройтмана; не оборачиваясь, что-то цедил ему сквозь зубы. В его сознание не вступило, что звонили на обеденный перерыв, потом снова на работу. Инстинкт зэка, свято чтущего ритуал еды, был едва пробужден в нем встряхиванием за плечи все тем же Ройтманом, показавшим ему на отдельном столике яичницу, вареники со сметаной и компот. Ноздри Рубина вздрогнули. Удивление вытянуло его лицо, но сознание и тут не отразилось на нем. Недоуменно оглядев эту пищу богов, точно пытаясь понять ее назначение, он пересел и стал торопливо есть, не ощущая вкуса, стремясь только скорей вернуться к работе.

Рубин не оценил еды, но Ройтману она обошлась гораздо дороже, чем если бы он сервировал ее на свои деньги: он два часа « просидел на телефоне », созванивая и согласовывая этот завтрак сперва с Отделом Спецтехники, потом с генералом Бульбанюком, потом с Тюремным Управлением, потом с отделом снабжения и, наконец, с подполковником Климентьевым. Те, кому он звонил, в свою очередь согласовывали вопрос с бухгалтериями и другими лицами. Трудность состояла в том, что Рубин питался по арестантской « третьей » категории, а Ройтман для него на несколько дней, ввиду особо-важного государственного задания, добивался « первой », да еще диэтической. После всех согласований, тюрьма стала выдвигать организационные возражения: отсутствие запрашиваемых продуктов на складе тюрьмы, отсутствие оплаченного наряда повару на приготовление индивидуального меню.

Теперь Ройтман сидел напротив и смотрел на Рубина, но не как работодатель, ждущий плодов работы раба, а с ласко-

вой усмешкой, как на большого ребенка, восхищаясь, завидуя порыву, ловя момент, как бы вникнуть в смысл его полудневной работы и включиться в нее тоже.

А Рубин все съел, и на помягчевшее лицо его вернулась осмысленность. В первый раз с утра он улыбнулся:

— Зря вы меня накормили, Адам Веньяминович. Satur venter non studet libenter. Главную часть пути путник проходит до обеденного привала.

— Да вы на часы посмотрите, Лев Григорьич! Ведь четверть четвертого!

— Что-о? Я думал — двенадцати нет.

— Лев Григорьич! Я сгораю от любопытства — что вы выяснили?

Это не только не было начальническим требованием, но сказано было просительно, как если бы Ройтман боялся, что Рубин откажется поделиться. В минуты, когда душа Ройтмана открывалась, он был очень мил, несмотря на нескладную наружность, на толстые губы, всегда незакрытые из-за полипов в носу.

— Только начало! Только первые выводы, Адам Веньяминович!

— И — какие же?

— О некоторых можно спорить, но один несомненен: в науке фоноскопии, родившейся двадцать шестого декабря тысяча девятьсот сорок девятого года, е с т ь-таки рациональное зерно!!

— А вы — не увлекаетесь, Лев Григорьич? предостерег Ройтман. Ему не меньше хотелось, чтобы слова Рубина были верны, но, воспитанник точных наук, он знал, что у гуманитариста Рубина энтузиазм может перевесить научную добросовестность.

— А когда вы видели, чтоб я увлекался? — чуть не обиделся Рубин и разгладил склоченную бороду. — Наша почти двухлетняя собирательная работа, все эти звуковые и слоговые анализы русской речи, изучение звуковидов, классификация голосов, учение о национальном, групповом и индивидуальном р е ч е в о м л а д е — все, что Антон Николаевич считал пустым времяпрепровождением, да греха ли таить? иногда и в вас закрадывалось сомнение! — все это дает теперь свои концентрированные результаты. Надо будет нам сюда Нержина забирать, как вы думаете?

— Если фирма развернется — отчего же? Но пока мы

должны доказать свою жизнеспособность и выполнить первое задание.

— Первое задание ! Первое задание — это половина всей науки ! Не так-то скоро.

— Но... то есть... Лев Григорьич ? Неужели вы не понимаете, насколько срочно все это надо ?

О, еще бы он не понимал ! « Надо » и « срочно » — на этих словах вырос комсомолец Левка Рубин. Это были высшие лозунги тридцатых годов. Не было стали, не было тока, не было хлеба, не было тканей, — но было н а д о и надо с р о ч н о — и воздвигались домны, и запускались блюминги. Потом, перед войной, в благодушных ученых изысканиях, окунаясь в неторопливый Восемнадцатый век, Рубин избаловался. Но клич « срочно надо ! » конечно же оставался внятен душе и попирал привычку доделывать работу до конца.

Из окна уже падало мало дневного света. Они зажгли верхний, присели к рабочему столу, рассматривали выделенные на лентах звуковидов синим и красным карандашом образцы, характерные звуки, стыки согласных, интонационные линии. Все это делали они вдвоем, не обращая внимания на Смолосидова, — он же, за весь день не уйдя из комнаты ни на минуту, сидел у магнитной ленты, сторожа ее, как хмурый черный пес, и смотрел им в затылки, и этот его неотступный тяжелый взгляд, как гвоздь, пронизывал их черепа и давил на мозг. Смолосидов лишал их самого маленького, но главного элемента — непринужденности: он был свидетелем их колебаний и он же будет свидетелем их бодрого доклада начальству...

А они попеременно впадали — один в сомнения, другой в уверенность, и наоборот. Ройтмана обуздывала его математичность, но травило вперед его служебное положение. Рубина умеряло незаинтересованное желание породить настоящую новую науку, но рвала вперед выучка пятилеток.

И сложилось так, что оба они признали достаточным список пяти подозреваемых. Они не высказывали дотошных предположений, что надо бы записать на магнитофон тех четырех, которые были задержаны у метро Арбат (да и слишком поздно их задержали), и еще тех нескольких, кого на крайний случай обещал Бульбанюк. И они отводили предположение, что звонил, может быть, не сам осведомленный в деле человек, а кто-нибудь по его поручению.

Нелегко было охватить и пятерых ! Сравнили с преступ-

ником пять голосов на слух. Сравнили с преступником пять звуковидных лент.

— А посмотрите, как много дает нам звуковидный анализ! — с горячностью показывал Рубин. — Вы слышите, что в начале преступник говорит не тем голосом, он пытается его менять. Но что изменилось на звуковиде? Только сдвинулась интенсивность по частотам — индивидуальный же речевой лад ничуть не изменился! Вот наше главное открытие — речевой лад! Даже если преступник до конца говорил измененным голосом — он бы не скрыл своей характерности!

— Но мы еще плохо знаем с вами пределы изменяемости голосов, — упирался Ройтман. — Может быть в микроинтонациях эти пределы широки.

Если на слух легко было усумниться, где схож голос, где разен, то на звуковидах изменением амплитудно-частотного рисунка разнота выявлялась как будто отчетливей. (Правда, беда было в грубости их аппарата видимой речи: он выделял мало частотных каналов и величину амплитуды передавал неразборчивыми мазками. Но извинением служило то, что его не предназначали для такой ответственной работы).

Из пяти подозреваемых Заварзина и Сяговитого можно было отвести совершенно уверенно (если вообще будущая наука разрешала делать выводы по единичному разговору). С колебаниями можно было отвести и Петрова (разгорячившийся Рубин отводил и Петрова уверенно). Напротив, голоса Володина и Шевронка подходили к голосу преступника по частоте основного тона, имели с ним одинаковые фонемы: о, р, л, ш и были сходны по индивидуальному речевому ладу.

Вот на этих-то сходных голосах и следовало бы теперь развить науку фоноскопии и отработать ее приемы. Только на тонких этих различиях и мог выработаться ее будущий чуткий аппарат. С торжеством создателей откинулись к спинкам стульев Рубин и Ройтман. Их мысленный взгляд прозревал ту, подобную дактилоскопической, организацию, которая когда-нибудь будет принята: единая фонетика, где записаны звуковиды с голосов всех, однажды заподозренных. Любой преступный разговор записывается, и злоумышленник без колебаний изловлен, как вор, оставивший отпечатки пальцев на дверце сейфа.

Но в это время адъютант Осколупова через щелку предупредил о скором приходе х о з я и н а.

И оба очнулись. Наука наукой, но пока что надо было

выработать общий вывод и дружно защищать его перед начальником Отдела.

Собственно, Ройтман считал, что достигнутого — уже много. Зная, что начальство не любит гипотез, а любит определенность, Ройтман уступил Рубину, согласился считать голос Петрова вне подозрений, и твердо доложить генерал-майору, что на подозрении остались только Шевронок и Володин, на которых в ближайшую пару дней надо провести дополнительное исследование.

— Вообще, Лев Григорьич, — мечтательно говорил Ройтман, — мы не должны с вами пренебрегать и психологией. Надо все-таки представить себе — что должен быть за человек, решившийся на такой телефонный звонок? что могло им двигать? А затем сравнить с конкретными образами подозреваемых. Надо будет поставить вопрос, чтобы впредь нам, фоноскопистам, давали бы не только голос подозреваемого и его фамилию, но и краткие сведения о его положении, занятии, образе жизни, может быть — даже биографии. Мне кажется, я мог бы сейчас построить некий психологический этюд о нашем преступнике...

Но Рубин, вчера вечером возражавший художнику, что объективное познание свободно от эмоциональной предокраски, сейчас уже излюбил одного из двух подозреваемых и возражал так:

— Я, Адам Веньяминович, психологические соображения, конечно, уже перебирал, и они бы склонили чашу весов в сторону Володина — в разговоре с женой он как-то особенно вял, подавлен, даже в апатии, это очень свойственно преступнику, опасающемуся преследования, и ничего подобного нет в веселом воскресном щебете Шевронка, я согласен, — но хороши мы будем, если с первых же шагов станем опираться не на объективные данные нашей науки, а на посторонние соображения. У меня уже немалый опыт работы со звуковидами, и вы должны мне поверить: по многим неуловимым признакам я абсолютно уверен, что преступник — Шевронок. Просто за недостатком времени я не смог все эти признаки промерить по ленте измерителем и перевести на язык цифр (на это-то никогда не хватало времени у филолога!). Но если бы меня сейчас взяли за горло и сказали: назови только одно имя и поручись, что именно он — преступник, — я почти без колебаний назвал бы Шевронка!

— Но мы так не станем делать, Лев Григорьич, — мягко

возразил Ройтман. — Давайте поработаем измерителем, давайте переведем на язык цифр — тогда и будем говорить.

— Но ведь это сколько уйдет времени ?! Ведь надо же-срочно!

— Но если истина требует ?

— Да вы посмотрите сами, посмотрите!.. и перебирая снова ленты звуковидов и тряся на них новый и новый пепел, Рубин стал запальчиво доказывать виновность Шевронка.

За этим занятием и застал их генерал-майор Осколупов, вошедший медленными властными шагами коротких ног. Все они хорошо его знали и уже по надвинутой папахе и по искривленной верхней губе видели, что он пришел резко недовольным.

Они вскочили, а он сел в угол дивана, руки засунул в карманы и приказно буркнул:

— Ну!

Рубин корректно молчал, предоставляя докладывать Ройтману.

При докладе Ройтмана вислощекое лицо Осколупова осенило глубокомыслие, веки сонно приспустились, и он даже не встал посмотреть предложенные ему образцы лент.

Рубин изнывал при докладе Ройтмана — даже в четких словах этого умного человека он видел утерянным то содержание, то наитие, которое вело его в исследовании. Ройтман закончил выводом, что подозреваются Шевронок и Володин, но для окончательного суждения нужны еще новые записи разговоров. После этого он посмотрел на Рубина и сказал:

— Но, кажется, Лев Григорьич хочет что-то добавить или поправить ?

Фома Осколупов для Рубина был пень, давно решенный пень. Но сейчас он был также и — государственное око и невольный представитель тех прогрессивных сил, которым Рубин отдавал себя. И поэтому Рубин заговорил, волнуясь, потрясая лентами и альбомами звуковидов. Он просил генерала понять, что хотя вывод дан пока и двойственный, но самой науке фоноскопии такая двойственность отнюдь не свойственна, что просто слишком краток был срок для вынесения окончательного суждения, что нужны еще магнитные записи, но что если говорить о личной догадке Рубина, то...

Хозяин слушал уже не сонно, а сморщась брезгливо. И, не дождавшись конца объяснений, перебил:

— Ворожи-ила бабка на бобах! На что мне ваша

« наука » ? Мне — преступника надо поймать. Докладывайте ответственно: преступник здесь, на столе, у вас лежит, это точно ? На свободе он не гуляет ? Кроме этих пяти ?

И смотрел исподлобья. А они стояли перед ним, ни обо что не опершись. Бумажные ленты из опущенных рук Рубина волочились по полу. Черным драконом Смолосидов припал у магнитофона за их спинами.

Рубин смялся. Он ожидал говорить вообще не в этом аспекте.

Ройтман, более привыкший к манере начальства, сказал по возможности отважно:

— Да, Фома Гурьянович. Я, собственно... Мы, собственно... Мы уверены, что — среди этих пяти.

(А что он мог еще сказать ?..)

Фома слегка прищурил глаз.

— Да, мы... Да... отвечаем...

Осколупов тяжело поднялся с дивана:

— Смотрите, я за язык не тянул. Сейчас поеду министру доложу. Обоих сукиных сынов арестуем !

(Он так сказал это, враждебно глядя, что можно было понять — именно их-то двоих и арестуют).

— Подождите, — возразил Рубин. — Ну еще хоть сутки ! Дайте нам возможность обосновать полное доказательство !

— А вот, следствие начнется — пожалуйста, на стол к следователю микрофон — и записывайте их хоть по три часа.

— Но один из них будет невиновен ! — воскликнул Рубин.

— Как это — невиновен ? — удивился Осколупов и полностью раскрыл зеленые глаза. — Совсем уж ни в чем и не виновен ?.. Органы найдут, разберутся.

И вышел, слова доброго не сказав адептам новой науки.

У Осколупова был такой стиль руководства: никого из подчиненных никогда не хвалить — чтобы больше старались. Это был даже не лично его стиль, этот стиль нисходил от С а м о г о .

А все-таки было обидно.

Они сели на те самые стулья, на которых незадолго мечтали о великом будущем зарождающейся науки. И смолкли.

Как будто растоптали все, что они так ажурно и хрупко построили. Как будто фоноскопия была вовсе и не наука.

Если вместо одного можно арестовать двух, — то почему и не всех пятерых для верности ?

Ройтман внятно почувствовал, как шатка новая группа, вспомнил, что Акустическая наполовину разогнана, — и се-

годняшнее ночное ощущение неуютности мира и одинокости в нем опять посетило его.

А Рубин, освободясь теперь от инерции работы, почувствовал и косвенное облегчение: простота решения Фомы показывала, что п о с а д и л и бы и без Рубина, и без фоноскопии. А вот от трех человек он, пожалуй, удар и отвел.

Угасла его непрерывная многочасовая самозабвенная вспышка. И вспомнил он, что печень у него болит, и болит голова, и выпадают волосы, и стареет его жена; и сидеть ему еще больше пяти лет; и последние годы гнут и гнут куда-то не туда — и вот ошельмовали Югославию.

Но они не высказали всего продуманного, а просто сидели и молчали.

И Смолосидов молчал за их затылками.

На стене уже была приколота Рубиным карта Китая с коммунистической территорией, закрашенной красным карандашом.

Эта карта только и согревала его. Несмотря ни на что, несмотря ни на что — а мы побеждаем...

Постучали и вызвали Ройтмана. Он должен был обеспечить явку вольных сотрудников Акустической на лекцию приезжего лектора. Ведь был понедельник, единый день политучебы.

81

НЕТ, НЕ ТЕБЯ!..

Все слушатели лекции крепились простой надеждой — скоро ли отпустят? Все они выехали из дому трамваями, автобусами и электричкой, кто в восемь, а кто и в семь часов утра, и не чаяли теперь добраться домой раньше половины десятого.

Но напряженнее их ожидала конца лекции Симочка, хотя она оставалась дежурить, и ей не надо было спешить домой. Боязнь и радостное ожидание поднимались и падали в ней горячими волнами, и ноги отнялись, как от шампанского. Ведь сегодня был тот самый вечер понедельника, который она назначила Глебу. Она не могла допустить, чтоб этот торжественный высокий момент жизни произошел врасплох, мимоходом — оттого-то позавчера она еще не чувствовала себя готовой. Но весь день вчера и полдня сегодня она провела как перед великим праздником. Она сидела у портнихи, торопя ее окончить новое платье, очень шедшее Симочке. Она сосредоточенно мылась дома, поставив жестяную ванну в московской комнатной тесноте. На ночь она долго завивала волосы, и утром долго развивала их, и все рассматривала себя в зеркало, ища убедиться, что при иных поворотах головы вполне может нравиться.

Она должна была увидеть Нержина в три часа дня, сразу после перерыва, но Глеб, открыто пренебрегая правилами для заключенных (выговорить ему сегодня за это! надо же беречь себя!), с обеда опоздал. Тем временем Симочку надолго послали в другую группу произвести переписку и приемку деталей, она вернулась в Акустическую уже перед шестью — и опять не застала Глеба, хотя стол его был завален журналами и папками, и горела лампа. Так она и ушла на лекцию, не повидав его и не подозревая о страшной новости — о том, что вчера, неожиданно, после годичного перерыва, он ездил на свидание с женой.

Маленькая, легко уместившаяся между стесненными рядами стульев, она не была видна из-за соседей. Со щеками,

горящими все больше и больше, она следила за стрелками больших электрических часов. В начале девятого они должны были остаться с Глебом одни...

Когда же лекция кончилась, и все повалили на второй этаж к гардеробной, Симочка тоже пошла туда, проводить подруг. Там стоял гам, толкотня, мужчины наспех влезали в шинели и пальто и закуривали на дорогу, девушки балансировали у стен, надевая ботинки. Но как ни торопились подруги Симочки, они нашли время осмотреть и обсудить все подробности ее нового платья.

Коричневое платье это сшито было с пониманием достоинств и недостатков фигуры: верхняя часть его, как бы жакетик, плотно облегал осиную талию, но на груди не был натянут, а собран в неопределенные складки. При переходе же в юбку, чтобы искусственно расширить фигуру, он заканчивался двумя круговыми, чуть вскидывающимися на ходу воланчиками, одним матовым, а другим блестящим. Невесомо тонкие руки Симочки были в рукавах, от плеча волнистосвободных, но туготой обливающих кисти. И в воротнике была наивно-милая выдумка: он выкроен был отдельно долгой дорожкой той же ткани, и свисающие концы его завязывались на груди бантом, походя на два крыла серебристо-коричневой бабочки.

В этом мире подозрительности могло показаться странным, что на служебное вечернее дежурство Симочка обновляла платье, сшитое к Новому году. Но Симочка объясняла девушкам, что после дежурства едет на именины к дяде, где будут молодые люди.

Подруги очень одобряли платье, говорили, что она « просто хорошенькая » в нем и спрашивали, где куплен этот креп-сатин.

Решимость покинула Симочку, и она медлила идти в лабораторию.

Только без двух минут восемь с колотящимся сердцем, хотя и взбодренная похвалами, она вошла в Акустическую. Заключенные уже сдавали в стальной шкаф секретные материалы. Через середину комнаты, сиротливо обнаженную после относки вокодера в Семерку, она увидела стол Нержина.

Его уже не было. (Не мог он подождать ?..). Настольная лампа его была погашена, ребристые шторки стола — защелкнуты, секретные материалы — сданы. Но была одна необычность: центр стола не весь был очищен, как Глеб делал на перерыв, а лежал большой раскрытый американский журнал и раскрытый же словарь. Это могло быть тайным сигналом ей: « скоро приду » !

Заместитель Ройтмана вручил Симочке ключи от секретного шкафа, от комнаты, и печатку (лаборатория опечатывалась каждую ночь). Симочка опасалась, не пойдет ли Ройтман опять к Рубину, и тогда каждую минуту придется ждать его захода в Акустическую, но нет, и Ройтман был тут же, уже в шинели, шапке и, натянув кожаные перчатки, торопил заместителя одеваться. Он был невесел.

— Ну, что ж, Серафима Витальевна, командуйте. Всего хорошего, — пожелал он напоследок.

По коридорам и комнатам института разнесся долгий электрический звонок. Заключенные дружно уходили на ужин. Не улыбаясь, наблюдая за последними уходящими, Симочка прошлась по лаборатории. Когда она не улыбалась, лицо ее выглядело очень строгим, особенно из-за долгонького носа с острым хребетком, лишавшего ее привлекательности.

Она осталась одна.

Теперь он мог прийти !

Она ходила по лаборатории и ломала пальцы.

Надо же было случиться такой неудаче ! — шелковые занавески, всегда висевшие на окнах, сегодня сняли в стирку. Три окна остались теперь беззащитно-оголенные и из черноты двора можно подглядывать, притаясь. Правда, комнату вглубь не увидят — Акустическая в бельэтаже. Но невдалеке — забор и прямо против их с Глебом окна — вышка с часовым. Оттуда видно — напролет.

Или т о г д а потушить весь свет ? Дверь будет заперта, всякий подумает — дежурная вышла.

Но если начнут взламывать дверь, подбирать ключи ? . .

Симочка прошла в Акустическую будку. Она сделала это безотчетно, не связывая с часовым, взгляд которого туда не проникал. На пороге этой тесной каморки она отслонилась к толстой полой двери и закрыла глаза. Ей не хотелось сюда даже войти без него. Ей хотелось, что он ее сюда втянул, внес.

Она слышала от подруг, как все происходит, но представляла смутно, и волнение ее еще увеличивалось, и щеки горели сильней.

То, что в юности надо было пуще всего хранить, уже превратилось в бремя ! . .

Да ! Она бы очень хотела ребенка и воспитывать его, пока Глеб освободится ! Всего только пять годиков !

Она подошла сзади к его вертящемуся гнутому желтому стулу и обняла спинку, как живого человека.

Покосилась в окно. В близкой черноте угадывалась вышка,

а на ней — черный сгусток всего, враждебного любви — часовой с винтовкой.

В коридоре послышались твердые быстрые шаги Глеба. Симочка порхнула к своему столу, села, подвинула к себе трехкаскадный усилитель, положенный на стол боком, с обнаженными лампами, и стала его рассматривать, держа маленькую отверточку в руке. Удары сердца отдавались в голову.

Нержин прикрыл дверь негромко — чтобы звук не очень разнесся в безмолвном коридоре. Через опустевший без стоек Прянчикова простор он увидел Симочку еще издали, притаившуюся за своим столом, как перепелочка за большой кочкой.

Он сам ее так прозвал.

И сам же быстро подходил, чтоб убить одним выстрелом.

Симочка вскинула навстречу Глебу светящийся взгляд — и обмерла: лицо его было сумрачно, не обещало доброго.

До его входа она уверена была: первое, что он сделает — подойдет поцеловать, а она его остановит — ведь окна открыты, часовой смотрит.

Но он не кинулся вокруг столов, а строго, печально первый сказал:

— Окна открыты, я не подойду, Симочка. Здравствуй ! — Опущенными руками он оперся о стол и, стоя, сверху вниз, как прокурор, смотрел на нее. — Если нам не помешают, нам надо сейчас важно переговорить.

— Переговорить ?

— Пе-ре-го-во-рить . . .

Он отпер свой стол. Одна за другой, звонко стукнув, шторки упали. Не глядя на Симочку, деловыми движениями Нержин доставал и развертывал разные книги, журналы, папки — так хорошо известную ей маскировку.

Симочка замерла с отверткой в руке и неотрывно смотрела на его безглазое лицо. Все же мысль ее была, что субботний вызов Глеба к Яконову давал теперь злые плоды, его теснят или должны услать скоро. Но тогда почему же он не подойдет и не поцелует ? . .

— Случилось ? Что случилось ? — с переломом голоса спросила она и трудно глотнула.

Он сел. Попирая локтями раскрытые журналы, он обхватил растягом пальцев себе голову справа и прямым жестким взглядом посмотрел на девушку.

Стояла глухая тишина. Ни звука не доносилось. Их разделяло два стола — два стола, озаренные четырьмя верхними,

двумя настольными лампами и простреливаемые взглядом часового с вышки.

И этот взгляд часового был как завеса колючей проволоки, медленно опускавшаяся между ними.

Глеб сказал:

— Симочка ! Я считал бы себя негодяем, если бы сегодня не исповедался тебе.

— ?

— Я как-то ... легко с тобой поступал, не задумывался ...

— ? ?

— Я вчера ... виделся с женой ... Свидание у нас было.

(Свидание ? ? !)

Симочка осела, стала еще меньше. Крыльца ее воротникового банта бессильно опали на алюминиевую панель усилителя.

— Отчего ж вы ... в субботу ... не сказали ? — переломленным голосом выговорила она.

— Да что ты, Симочка ! — ужаснулся Глеб. — Неужели бы я скрыл от тебя ?

(А почему бы и нет ? ..)

— Я узнал вчера рано утром. Это неожиданно получилось. Мы целый год не виделись, ты знаешь. Но теперь, когда мы снова увиделись, после свидания ... — его голос звучал мукой, он понимал, каково ей это слушать. — Я ... Только ее ! Буду любить ! И, ты знаешь, она жизнь мне спасла, когда я был в лагерях. И еще — она свою молодость убила для меня. Ты хотела ждать меня, но это невозможно ! Я вернусь только к ней. Я не вынес бы причинить ей ...

Нержин мог бы остановиться ! Тихий выстрел, сделанный хрипловатым голосом, уже попал в цель. Симочка не смотрела на Глеба. Она вся обмякла и ткнулась головой в густой строй радиоламп и конденсаторов трехкаскадного усилителя.

Глеб смолк. Он слышал тихие, как дыханье, всхлипывания.

— Симочка, не плачь ! Перепелочка, не надо ! — ласково говорил он через два стола, не шевелясь с места.

А она — почти беззвучно плакала, открыв ему прямой пробор разделенных волос.

Если б он встретил сейчас ее сопротивление, гнев, обвинения — он бы уверенно отвечал и ушел облегченный. Но от ее беззащитности — раскаяние простегнуло его.

— Перепелочка ! — бормотал он, переклоняясь вперед,

через стол. Ну, не плачь ! Ну, я прошу тебя ! Я виноват ! Я причинил тебе горе ! Но какой выход ? Что делать ?

Ему самому до наворачивающихся слез было жаль плачущую девушку, которую он отпускал страдать. Но совсем, совсем невозможно было представить, чтобы так он заставил плакать Надю ! !

После вчерашнего свидания губы и руки были чисты, и казалось немыслимым сейчас подойти к Симочке, привлечь ее, поцеловать.

Как спасительно было, что сняли с окон занавески ! . .

И он однообразно повторял жалкие просьбы — не плакать.

А она — плакала . . .

Нержин еще уговаривал, потом смолк.

А смолкнув, закурил. Средство мужчин, когда находишься в глупом положении.

Будто тихо-тихо зажурчало в нем успокаивающее убеждение, что это — поверхностное, что это — пройдет.

Он отвернулся к окну. Приплюснувшись лбом и носом к стеклу, посмотрел в сторону часового. Ослепленным от близких ламп глазам не было видно вышки, но вдали там и сям виднелись отдельные огни, расплывающиеся в неясные звезды, а за ними и выше — обнимающее треть неба отраженное белесоватое свечение близкой столицы.

Под окном же видно было, что на дворе ведет, тает.

Симочка подняла лицо.

Глеб с готовностью повернулся к ней.

От глаз ее шли по щекам блестящие мокрые дорожки, которых она не вытирала. Глаза ее расширились, лучились страданием и были прекрасны.

Этими светлыми глазами она с неотрывным вопросом смотрела на Глеба.

Но не говорила ни слова.

Ему стало неловко. Он сказал:

— Но ведь она мне всю жизнь отдала ! Кто б это мог ? Ты уверена, что ты бы — сумела ?

— Она с вами — не разводилась ? — тихо раздельно спросила Симочка.

Как почувствовала она самое главное ! Но не хотелось признаваться ей во вчерашней новости.

— Нет.

— Она . . . красива ? — еще спросила Симочка, помолчав. Слезы попрежнему стояли невысохшими на ее нечувствующих щеках.

— Да. Для меня — да...

Симочка резко вздохнула. Кивнула молча сама себе, видя блестящие точки в зеркальных поверхностях радиоламп.

— Так не будет она вас ждать, если красива, — четко грустно определила она.

Эта женщина, оказавшаяся не призрак, не имя пустое, — зачем она добивалась тюремного свидания? из какой ненасытной жадности она протягивала руку человеку, который никогда не будет ей принадлежать?!

Никаких преимуществ законной жены Симочка не могла признать за этой незримой женщиной. Когда-то жила она немного с Глебом, но это было восемь лет назад. С тех пор Глеб воевал, сидел в тюрьме, а она, конечно, жила с другими — не могла же молодая красивая женщина и без ребенка терпеть восемь лет! И ведь ни на этом свидании, ни через год, ни через два он не мог принадлежать ей, а Симочке — мог. Симочка уже сегодня могла стать его женой!..

— Не будет она вас ждать! — повторила Симочка.

Нержина кольнуло ее предсказание.

— Она у ж е прождала восемь лет!.. — возразил он. Его анализирующий ум тут же, впрочем, исправил: — Конечно, к концу будет трудней.

— Не будет она вас ждать! — шепотом уверенно повторила Симочка.

И кистью руки сняла высыхающие слезы.

Нержин пожал плечами и, глядя в окно, на разрозненные желтоватые огни, ответил:

— Что ж, пусть — не будет! Пусть совсем не дождется меня. Только бы ни в чем не могла меня упрекнуть!..

И погасил папиросу.

Симочка снова слышным толчком выдохнула воздух, как бы сжатый, обильно накопившийся в груди.

Она не плакала больше.

Но и не оставалось ей никакого желания — жить...

Сам увлекшись своей последней мыслью, Нержин пояснил:

— Симочка! Я не считаю, что я — хороший человек. Даже — я очень плохой, если вспомнить, что я делал на фронте в Германии, как и все мы делали. И теперь вот с тобой... Но этого я набрался в поверхностно-благополучном мире. То, что плохо, мне не казалось плохим, а — дозволенным, даже похвальным. Но чем ниже я опускался в нечеловечески-жестокий мир, — тем, странным образом, я чутче прислуши-

вался к немногим, кто и там призывает к совести. Она не будет меня ждать ? Пусть не ждет ! Пусть я умру в красноярской тайге никому не нужным. Но, умирая, знать, что ты не подлец — это тоже ведь удовлетворение.

Он напал на одну из своих любимых мыслей. Он мог бы еще долго об этом говорить — особенно потому, что нечего было говорить другого.

А она почти и не слышала этой проповеди. Он говорил, кажется, все о себе. Но как быть ей ? Она с ужасом представила, как придет домой, сквозь зубы что-то процедит надоедливой матери, кинется в постель. В постель, в которую месяцы ложилась с мыслями о нем. Какой унизительный стыд ! — как она приготовлялась к этому вечеру ! Как натиралась, душилась ! . .

Но если один час стесненного тюремного свидания перевесил их многомесячное соседство здесь — что можно было поделать ?

Разговор, конечно, кончился. Все сказано было без подготовки, без смягчения. Надеяться было не на что. Надо было уйти в будку и там еще поплакать и привести себя порядок.

Но у нее не было сил ни прогнать его, ни уйти самой. Ведь это последний раз между ними тянулась еще какая-то паутинка !

А Глеб смолк, увидев, что она его не слушает, что его высокие выводы ей совсем не нужны.

И еще они сидели молча.

И тогда он ощутил, что сидеть с ней и молчать — ему в тягость. Он уже много лет жил среди мужчин, где объяснения происходили коротко. Если все сказано, все исчерпано — зачем же сидеть и молчать ? Бессмысленная женская вязкость » ! Не шевеля головой, чтоб она не догадалась, он одними глазами, исподлобья, посмотрел на стенные часы. Было только без двадцати пяти девять.

Но невозможно, оскорбительно было бы встать, уйти — и погулять оставшееся время перерыва. Приходилось как-то досиживать тут до звонка на поверку.

Кто сегодня заступит вечером ? Кажется, Шустерман. А завтра утром — младшина.

Симочка, сгорбленная, сидела над усилителем, для чего-то вынимая пошатыванием лампы из панельных гнезд и вставляя их опять.

Она и прежде ничего в этом усилителе не понимала. И совсем ничего не понимала теперь.

Однако, деятельный ум Нержина требовал какого-то занятия, движения вперед. На узкой полоске бумаги, поджатой под чернильницу, где он с утра ежедневно записывал программы радиопередач, он прочел:

20.30. — Рс. п и р м (Обх)

Это значило: « Русские песни и романсы в исполнении Обуховой ».

Такая редкость ! И в тихий час перерыва, когда никто не мешал песнями об Отце и Вожде, о Самом Простом Человеке.

Слева от Глеба, только протянуть руку, стоял приемничек с фиксированной на три московских программы настройкой, подарок Валентули. Но удобно ли включить ? А концерт уже идет. В конце века об Обуховой будут вспоминать, как сейчас о Шаляпине. А мы — ее современники. Нержин покосился на неподвижную Симочку и воровским движением включил приемник на самую малую громкость.

И только-только разогрелись лампы, как проступил аккомпанемент струнных и вслед за ним просочился на всю тихую комнату — низкий, глуховато-страстный, ни на чей не похожий голос Обуховой:

« Нет, н е т е б я так пылко я люблю,
Н е д л я м е н я красы твоей блистанье . . . »

Надо же было ! . . Не придумать нарочно. Нержин шарил сбоку себя рукой, ища незаметно выключить. Симочка вздрогнула, с удивлением посмотрела на приемник.

« . . . И молодость,
И молодость
Погибшую мою-у ! —

— метался голос Обуховой на неповторимых низах.

— Не выключайте, — вдруг попросила Симочка. — Сделайте громче.

Долгим певучим переходом тянула Обухова эти ю-у-у-у-у и прервалась на мгновенье для короткого всплеска отчаяния струнной группы, после чего сразу же в грустном вальсе запела опять:

« Когда порой я на тебя смотрю . . . »

Громче этот романс Глеб уже не пустит ни за что, но выключить тоже было опоздано. Как досадно получилось ! Ну, по какой вероятности попались именно эти слова ! . .

Симочка положила на усилитель руки ободком, смотрела на приемник и без всхлипываний, без вздрагиваний стала свободно, обильно плакать.

Только когда романс кончился, Глеб сделал громче. Но не лучше был и следующий:

« Ты скоро меня позабудешь ».

Симочка плакала и плакала.

Все упреки, которых она ему не высказала, Глеб теперь казнен был выслушать под музыку.

Кончился этот, но и в следующем роковой таинственный голос ранил все в то же и в то же место:

« На прощанье шаль с каймою
Ты на мне узлом свяжи... »

— Прости меня ! — потрясенный, сказал Глеб.

— Это — пройдет, — безнадежно улыбнулась Симочка.

И плакала еще сильней.

Но странно: чем больше Обухова пела, тем становилось не тяжелее, а как будто легче. Десять минут назад они были отчуждены так, что даже попрощаться не было сил. А теперь освежающий и мягкий кто-то сошел к ним и прикоснулся.

И была сейчас Симочка так расположена, так освещена, что, по изменчивости женских лиц, именно теперь казалась привлекательной.

Из десяти мужчин девять подняли бы Глеба на смех за его добровольный, после стольких лет воздержания, отказ. Кто заставлял бы потом жениться на ней ? Кто запрещал ему сейчас обмануть ее ?

Но, размягченный, он счастлив был, что именно так поступил. Будто не сам он даже и принял это высшее решение.

А Обухова пела и пела, травя сердце:

« Все немило, все постыло,
Все страдаю я по нем... »

Ах, да никакой тут не было теории вероятностей ! А просто все песни, тысячу лет назад, сто лет назад или вперед через триста — все они об одном. Песен просит разлука, а когда встречаешься — есть чем заняться другим.

Нержин встал, обошел их сплоченные столы и, вовсе не думая про часового, взял Симочку за голову, нагнулся и поцеловал в волосы у лба.

Стрелка на стенных часах еще перепрыгнула.

— Симочка, милая ! Пойди умойся. Сейчас поверка будет. Скоро все придут.

Она вздрогнула, оглянулась на часы, соображая. Потом подняла узкие свои светловатые бровки, будто только теперь с удивлением поняв, что случилось в этот вечер, — и покорно, смущенно отошла в угол к раковине.

А Нержин опять прислонился лбом к стеклу и смотрел и смотрел в черноту ночи. И, как бывает, когда пристально смотришь на бессвязные ночные огни, а думаешь о своем, — огни эти перестали быть огнями московских пригородов, забылось, где они, что они, снизошло на них какое-то новое значение, дополняясь невидимыми контурами.

82

ДА ОСТАВИТ НАДЕЖДУ ВХОДЯЩИЙ !

День прошел благополучно. Хотя тревога не покидала Иннокентия (и могла еще вырасти к ночи), но и равновесное состояние, завоеванное им после полудня, тоже сохранилось в нем. Теперь надо было на вечер обязательно скрыться в театр, чтобы перестать бояться каждого звонка у дверей.

Но зазвонил телефон. Это было незадолго до театра, когда Дотти, раскрасневшаяся, очень милая, выходила из ванной в резиновой шапочке, мохнатом халате и ванных босоножках.

Иннокентий стоял и смотрел на телефон, как собака на ежа.

— Дотти ! Возьми трубку ! Меня нет и не знаешь, когда я буду. Ну их к черту, вечер испортят !

Одной рукою стягивая полы халата, Дотти подошла к телефону.

— Да... Его нет дома... Кто, кто ?.. — и вдруг лицо ее преобразилось приветливо. — Здравствуйте, товарищ генерал !.. Да, теперь узнаю... — Шеф ! Очень любезен.

Иннокентий заколебался. Любезный шеф, звонящий вечером сам... Жена заметила его колебание:

— Одну минуточку, я слышу дверь открылась, как бы не он. Так и есть ! Ини ! Не раздевайся, быстро сюда, генерал у телефона !

Хотя Дотнара не училась, как Динэра в юности, на артистку, но весьма естественно могла сыграть в жизни. Какой бы ни стоял по ту сторону телефона закоснелый в подозрениях человек, он по тону Дотнары почти мог видеть, как Иннокентий медлил в дверях, не снять ли галоши, потом решился, пересек ковер и взял трубку.

Голос шефа был благодушен. Шеф сообщал: только что окончательно утверждено назначение Иннокентия, в среду он вылетит самолетом в Париж, завтра надо сдать дела, а сейчас явиться на полчасика для согласования кое-каких деталей. Машина за Иннокентием уже выслана.

Иннокентий положил трубку. Он вдохнул и выдохнул с такой счастливой глубиной и медленностью, что воздух как

будто имел время распространиться по всему его телу, а потом выйти весь, опустошая его от тяжести сомнений и страха.

— Представь, Дотик, в среду лечу ! А сейчас . . .

Но Дотик, прислонившая ухо к трубке, уже слышала все и сама.

— Как ты думаешь ? — спросила она, смешно держа голову бочком. — « Кое-какие детали » — это и я в том числе ?

— Да, м-м-может быть . . .

— А что ты там вообще говорил обо мне ? . . . — Она вытянула губки. — Неужели Ини сейчас не возьмет свою козочку в Париж ? Козочке очень хочется !

— Конечно возьму, но только не сейчас. Сейчас я там пока представлюсь, познакомлюсь, устроюсь . . .

— А козочке хочется сейчас ! . .

Иннокентий приятно улыбнулся и потрепал ее за плечи:

— Ну, попробую. Раньше разговору не было, теперь, как удастся. А пока одевайся, не торопясь. На первый акт мы не попадем, но цельность « Акулины » от этого . . . А на второй . . . Да я тебе еще из министерства звякну.

Он едва успел надеть мундир, как в квартиру позвонил шофер. Это не был ни Виктор, обычно возивший его, ни Костя. Шофер был худощавый, подвижной, с приятным интеллигентным лицом. Он весело спускался по лестнице, почти рядом с Иннокентием, вертя на шнурочке ключ зажигания.

— Что-то я вас не помню, — сказал Иннокентий, застегивая на ходу пальто.

— А я даже лестницу вашу помню, два раза за вами приезжал. — У шофера была улыбка открытая и вместе плутоватая. Такого разбитнягу хорошо иметь на собственной машине.

Поехали. Иннокентий сел сзади. Он не слушал, но шофер через плечо раза два пытался пошутить по дороге. Потом вдруг резко вывернул к тротуару и впритирку к нему остановился. Какой-то молодой человек в пальто, подогнанном по талии, и мягкой шляпе стоял у края тротуара, подняв палец.

— Механик наш, из гаража, — пояснил симпатичный шофер и стал открывать ему правую переднюю дверцу. Но дверца никак не поддавалась, замок заел.

Шофер выругался в границах городского приличия и попросил:

— Товарищ советник ! Нельзя ли ему рядом с вами доехать ? Начальник он мой, неудобно.

— Да пожалуйста, — охотно согласился Иннокентий, под-

вигаясь. Он был в опьянении, в азарте, мысленно захватывая командировку и визу, уходя от опасности.

Механик, закусив сбоку рта длинную дымящую папиросу, пригнулся, вступил в машину, сдержанно-развязно спросил:

— Вы... не возражаете ? — и плюхнулся рядом с Иннокентием.

Автомобиль рванул дальше.

Иннокентий на миг скривился от презрения (« Хам ! »), но ушел опять в свои мысли, мало замечая дорогу.

Пыхтя папиросой, механик задымил уже половину машины.

— Вы бы стекло открыли ! — поставил его на место Иннокентий, поднимая одну лишь правую бровь.

Но механик не понял иронии и не открыл стекла, а, развалясь на сидении, из внутреннего кармана вынул листик, развернул его и протянул Иннокентию:

— Товарищ начальник ! Вы не прочтете мне, а ? Я вам посвечу.

Автомобиль свернул в какую-то темноватую улицу, вроде как будто Пушечную. Механик зажег карманный фонарик и лучиком его осветил зеленый листик. Пожав плечами, Иннокентий брезгливо взял листок и начал читать небрежно, почти про себя:

« Утверждаю. Зам. Верховного Прокурора СССР... »

Он все по-прежнему был в кругу своих мыслей и не мог спуститься, понять, что механик ? — неграмотный, что ли, или не разбирается в смысле бумаги, или пьян и хочет пооткровенничать.

« Ордер на арест...

читал он, все еще не вникая в читаемое,

...Володина Иннокентия Артемьевича, 1919-го... »

и только тут, как одной большой иглой, прокололо все тело по длине, и разлился вар внезапный по телу — Иннокентий раскрыл рот — но еще не издал ни звука — и еще не упала на колени его рука с зеленым листиком, как « механик » впился в его плечо и угрожающе загудел:

— Ну, спокойно, спокойно, не шевелись, придушу здесь !

Фонариком он слепил Володина и бил в лицо его дымом папиросы.

И хотя Иннокентий прочел, что он арестован и это означало провал и конец его жизни, — в короткое мгновение ему были невыносимы только эта наглость, впившиеся пальцы, дым и свет в лицо.

— Пустите ! — вскрикнул он, пытаясь своими слабыми пальцами освободиться. До его сознания теперь уже дошло, что это действительно ордер, действительно на его арест, но представлялось несчастным стечением обстоятельств, что он попал в эту машину и пустил « механика » подъехать, — представлялось так, что надо вырваться к шефу в министерство, и арест отменят.

Одной рукой он судорожно дергал ручку левой дверцы, но и та не поддавалась толчкам, заело и ее.

— Шофер ! Вы ответите ! Что за провокация ? ! — гневно вскричал он.

— Служу Советскому Союзу, советник ! — с озорью отчеканил шофер через плечо.

Повинуясь правилам уличного движения, автомобиль обогнул всю сверкающую Лубянскую площадь, словно делая прощальный круг и давая Иннокентию возможность увидеть в последний раз этот мир и пятиэтажную высоту слившихся зданий Старой и Новой Лубянок, где предстояло ему окончить жизнь.

Скоплялись и прорывались под светофорами вереницы автомобилей, мягко переваливались троллейбусы, гудели автобусы, густыми толпами шли люди — и никто не знал и не видел жертву, у них на глазах влекомую на расправу.

Красный флажок, освещенный из глубины крыши прожектором, трепетал в прорезе колончатой башенки над зданием Старой Большой Лубянки. Две бесчувственные полулежащие каменные наяды с презрением смотрели вниз на маленьких семенящих граждан.

Автомобиль прошел вдоль фасада всемирно-знаменитого здания и свернул в Большую Лубянскую улицу.

— Да пустите же ! — все стряхивал с себя Иннокентий пальцы « механика », впившиеся в его плечо у шеи.

Черные железные ворота тотчас растворились, едва автомобиль обернул к ним свой радиатор, и тотчас затворились, едва он проехал их.

Черной подворотней автомобиль прошмыгнул во двор.

Рука « механика » ослабла в подъезде. Он вовсе снял ее с шеи Иннокентия во дворе. Вылезая через свою дверцу, он деловито сказал:

— Выходим !

И уже ясно стало, что был совершенно трезв.

Через свою незаколоденную дверцу вылез и шофер.

— Выходите ! Руки назад ! — скомандовал он. В этой ледяной команде кто мог бы угадать недавнего шутника ?

Иннокентий вылез из автомобиля-западни правой дверцей, выпрямился и — хотя непонятно было, почему он должен подчиняться — подчинился: взял руки назад.

Арест выглядел грубовато, но совсем не так страшно, как рисуется, когда его ждешь. Даже наступило успокоение — уже не надо бояться, уже не надо бороться, уже не придумывать ничего. Немотное, приятное успокоение, овладевающее всем телом раненого.

Иннокентий оглянулся на неровно освещенный одним-двумя фонарями и разрозненными окнами этажей дворик. Дворик был — дно колодца, четырьмя стенами зданий уходящего вверх.

— Не оглядываться ! — прикрикнул « шофер ». — Марш !

Так в затылок друг другу строем, Иннокентий в середине, минуя равнодушных в форме МГБ, они прошли под низкую арку, по ступенькам спустились в другой дворик — нижний, крытый, темный, из него взяли влево и открыли чистенькую парадную дверь, похожую на дверь в приемную известного доктора.

За дверью следовал маленький, очень опрятный коридор, залитый электрическим светом. Его новокрашенные полы были вымыты чуть не только-что и застелены ковровой дорожкой.

« Шофер » стал странно щелкать языком, будто призывая собаку. Но никакой собаки не было.

Дальше коридор был перегорожен остекленной дверью с полинялыми занавесками изнутри. Дверь была укреплена обрешеткой из косых прутьев, какая бывает на оградах станционных скверико в. На двери вместо докторской таблички висела надпись:

« Приемная арестованных ».

Позвонили — старинным звонком с поворачивающейся ручкой. Немного спустя из-за занавески подглядел, а потом отворил дверь бесстрастный долголицый надзиратель с небесно-голубыми погонами и белыми сержантскими лычками поперек их. « Шофер » взял у « механика » зеленый бланк ордера на арест и показал надзирателю. Тот пробежал его скучающе, как разбуженный сонный аптекарь читает рецепт — и они вдвоем ушли внутрь.

Иннокентий и « механик » стояли в глубокой тишине перед захлопнутой дверью.

« Приемная арестованных » — напоминала надпись, и

смысл ее был такой же, как « Мертвецкая ». И Иннокентию даже не до того было, чтобы рассмотреть этого хлюста в узком пальто, который разыгрывал с ним комедию. Может быть Иннокентий должен был протестовать, кричать, требовать справедливости ? — но он забыл даже, что руки держал сложенными назади, и продолжал их так держать. Все мысли затормозились в нем, он загипнотизировано смотрел на надпись: « Приемная арестованных ».

В двери послышался мягкий поворот английского замка. Долголицый надзиратель крикнул им входить и пошел вперед первый, выделывая языком то же призывное собачье щелканье.

Но собаки и тут не было.

Коридор был так же ярко освещен и так же по-больничному чист.

В стене было две двери, выкрашенные в оливковый цвет. Сержант отпахнул одну из них и сказал:

— Зайдите.

Иннокентий вошел. Он почти не успел рассмотреть, что это была пустая комната с большим грубым столом, парой табуреток и без окна, как « шофер » откуда-то сбоку, а « механик » сзади накинулись на него, в четыре руки обхватили и проворно обшарили все карманы.

— Да что за бандитизм ? — слабо закричал Иннокентий. — Кто дал вам право ? — Он отбивался немного, но внутреннее сознание, что это совсем не бандитизм и что люди просто выполняют служебную работу, лишало движения его — энергии, а голос — уверенности.

Они сняли с него золотые часы, вытащили две записные книжки, золотую авторучку и носовой платок. Он увидел в их руках еще узкие серебряные погоны и поразился совпадению, что они тоже дипломатические и что число звездочек на них — такое же, как и у него. Грубые объятия разомкнулись. « Механик » протянул ему носовой платок.

— Возьмите.

— После ваших грязных рук ? — визгливо вскрикнул и передернулся Иннокентий.

Платок упал на пол.

— На ценности получите квитанцию, — сказал « шофер », и оба ушли поспешно.

Долголицый сержант, напротив, не торопился. Покосясь на пол, он посоветовал:

— Платок — возьмите.

Но Иннокентий не наклонился.

— Да они что ? погоны с меня сорвали ? — только тут

догадался и вскипел он, нащупав, что на плечах мундира под пальто не осталось погонов.

— Руки назад ! — равнодушно сказал тогда сержант. — Пройдите !

И защелкал языком.

Но собаки не было.

После излома коридора они оказались еще в одном коридоре, где по обеим сторонам шли тесно друг к другу небольшие оливковые двери с овальками зеркальных номеров на них. Между дверьми ходила пожилая истертая женщина в военной юбке и гимнастерке с такими же небесно-голубыми погонами и такими же белыми сержантскими лычками. Женщина эта, когда они показались из-за поворота, подглядывала в отверстие одной из дверей. При подходе их она спокойно опустила висячий щиток, закрывающий отверстие, и посмотрела на Иннокентия так, будто он уже сотни раз сегодня тут проходил, и ничего удивительного нет, что идет еще раз. Черты ее были мрачные. Она вставила долгий ключ в стальную навесную коробку замка на двери с номером « 8 », с грохотом отперла дверь и кивнула ему:

— Зайдите.

Иннокентий переступил порог и прежде, чем успел обернуться, спросить объяснения — дверь позади него затворилась, громкий замок заперся.

Так вот где ему теперь предстояло жить ! — день ? или месяц ? или годы ? Нельзя было назвать это помещение комнатой, ни даже камерой — потому что, как приучила нас литература, в камере должно быть хоть маленькое, да оконце и пространство для хождения. А здесь не только ходить, не только лечь, но даже нельзя было сесть свободно. Стояла здесь тумбочка и табуретка, занимая собой почти всю площадь пола. Севши на табуретку, уже нельзя было вольно вытянуть ноги.

Больше не было в каморке ничего. До уровня груди шла масляная оливковая панель, а выше ее — стены и потолок были ярко побелены и ослепительно освещались из-под потолка большой лампочкой ватт на двести, заключенной в проволочную сетку.

Иннокентий сел. Двадцать минут назад он еще обдумывал, как приедет в Париж на свой новый значительный пост. Двадцать минут назад вся его прошлая жизнь казалась ему одним стройным целым, каждое событие ее освещалось ровным светом продуманности и спаивалось с другими событиями белыми вспышками удачи. Но прошли эти двадцать минут —

и здесь, в тесной маленькой ловушке, вся его прошлая жизнь с той же убедительностью представилась ему нагромождением ошибок, грудой черных обломков.

Из коридора не доносилось звуков, только раза два где-то близко отпиралась и запиралась дверь. Каждую минуту отклонялся маленький щиток и через остекленный глазок за Иннокентием наблюдал одинокий пытливый глаз. Дверь была пальца четыре в толщину — и сквозь всю толщу ее от глазка шло расширяющееся конусом смотровое отверстие. Иннокентий догадался: оно было сделано так, чтобы нигде в этом застенке арестант не мог бы укрыться от взора надзирателя.

Стало тесно и жарко. Он снял теплое зимнее пальто, грустно покосился на « мясо » от сорванных с мундира погонов. Не найдя на стенах ни гвоздика, ни малейшего выступа, он положил пальто и шапку на тумбочку.

Странно, но сейчас, когда молния ареста уже ударила в его жизнь, Иннокентий не испытывал страха. Наоборот, заторможенная мысль его опять разрабатывалась и соображала сделанные промахи.

Почему он не прочел ордера до конца ? Правильно ли ордер оформлен ? Есть ли печать ? Виза прокурора ? Да, с визы прокурора начиналось. Каким числом ордер подписан ? Какое обвинение предъявлено ? Знал ли об этом шеф, когда вызывал ? Конечно, знал. Значит, вызов был обман ? Но зачем такой странный прием, этот спектакль с « шофером » и с « механиком » ?

В одном кармане он нащупал что-то твердое маленькое. Он вынул. Это был тоненький изящный карандашик, выпавший из петли записной книжки. Иннокентия очень обрадовал этот карандашик: он мог весьма пригодиться ! Халтурщики ! Здесь, на Лубянке — и халтурщики ! — обыскивать и то не умеют ! Придумывая, куда бы лучше карандашик спрятать, Иннокентий сломал его надвое, просунул обломки по одному в каждый ботинок и пропустил там под ступни.

Ах, какое упущение ! — не прочесть, в чем его обвиняют ! Может быть, арест совсем не связан с этим злополучным телефонным разговором ? Может быть, это ошибка, совпадение ? Как же теперь правильно держаться ?

Времени еще прошло немного — но уже много раз он слышал равномерное гудение какой-то машины за стеной, противоположной двери в коридор. Гудение то возникало, то стихало. Иннокентию вдруг стало не по себе от простой мысли

— какая машина могла быть здесь ? Здесь — тюрьма, не фабрика, — зачем же машина ? Уму сороковых годов, наслышавшемуся о механических способах уничтожения людей, приходило сразу что-то недоброе. Иннокентию мелькнула мысль несуразная и вместе какая-то вполне вероятная: что это — машина для перемалывания костей уже убитых арестантов. Стало страшно.

Да, — тем временем глубоко жалила его мысль, — какое было упущение, какая ошибка ! — даже не прочесть до конца ордер, не начать протестовать, не настаивать, что невиновен. Он так послушно покорился аресту, что убедились в его виновности ! Как ? ! как он мог не протестовать? почему не протестовал ? Получилось явно, что он ждал ареста, был приготовлен к нему !

Он был пронзен этой роковой ошибкой ! Первая мысль была — вскочить, бить руками, ногами, кричать во все горло, что невиновен, что пусть откроют, — но над этой мыслью тут же выросла другая, более зрелая: что, наверно, этим их не удивишь, что тут часто так стучат и кричат, что его молчание в первые минуты все равно уже все запутало.

Ах, как он мог даться так просто в руки ! — из своей квартиры, с московских улиц, высокопоставленный дипломат — безо всякого сопротивления и без звука отдался отвести себя и запереть в этом застенке.

Отсюда не вырвешься ! О, отсюда не вырвешься ! . .

А, может быть, шеф его все-таки ждет ? Хоть под конвоем, но как прорваться к нему ? Как выяснить ?

Нет, не ясней, а сложней и запутанней становилось в голове.

Машина за стеной то снова гудела, то замолкала.

Глаза Иннокентия, ослепленные светом, чрезмерно ярким для высокого, но узкого помещения в три кубометра, давно уже искали отдыха на единственном черном квадратике, оживлявшем потолок. Квадратик этот, перекрещенный металлическими прутками, был по всему — отдушина, хотя и неизвестно, куда или откуда ведущая.

И вдруг с отчетливостью представилось ему, что отдушина эта вовсе не отдушина, что через нее медленно впускается отравленный газ, может быть вырабатываемый вот этой самой гудящей машиной, что газ впускают с той самой минуты, как он заперт здесь, и что не для чего другого не может быть предназначена такая глухая каморка с дверью, плотно пригнанной к порогу !

Для того и подсматривают за ним в глазок, чтобы следить, в сознании он еще или уже отравлен.

Так вот почему путаются мысли ! — он теряет сознание ! Вот почему он уже давно задыхается ! Вот почему так бьет в голове !

Втекает газ ! бесцветный ! без запаха ! !

Ужас ! извечный животный ужас ! — тот самый, что хищников и едомых роднит в одной толпе, бегущей от лесного пожара — ужас объял Иннокентия и, растеряв все расчеты и мысли другие, он стал бить кулаками и ногами в дверь, зовя живого человека:

— Откройте ! Откройте ! Я задыхаюсь ! Воздуха ! !

Вот зачем еще глазок был сделан конусом — никак кулак не доставал разбить стекло !

Исступленный немигающий глаз с другой стороны прильнул к стеклу и злорадно смотрел на гибель Иннокентия.

О, это зрелище ! — вырванный глаз, глаз без лица, глаз, все выражение собравший в себе одном ! — и когда он смотрит на твою смерть ! . .

Не было выхода ! . .

Иннокентий упал на табуретку.

Газ душил его . . .

83

ХРАНИТЬ ВЕЧНО

Вдруг совершенно бесшумно (хотя запиралась с грохотом) дверь растворилась.

Долголицый надзиратель вступил в нешироκий раствор двери и уже здесь, в каморке, а не из коридора, угрожающе негромко спросил:

— Вы почему стучите ?

У Иннокентия отлегло. Если надзиратель не побоялся сюда войти, значит отравления еще нет.

— Мне дурно ! — уже менее уверенно сказал он. — Дайте воды !

— Так вот, запомните ! — строго внушил надзиратель. — Стучать ни в коем случае нельзя, иначе вас накажут.

— Но если мне плохо ? если надо позвать ?

— И не разговаривать громко ! Если вам нужно позвать, — с тем же размеренным хмурым бесстрастием разъяснил надзиратель, — ждите, когда откроется глазок — и молча поднимите палец.

Он отступил и запер дверь.

Машина за стеной опять заработала и умолкла.

Дверь отворилась, на этот раз с обычным громыханием. Иннокентий начинал понимать: они натренированы были открывать дверь и с шумом и бесшумно, как им было нужно.

Надзиратель подал Иннокентию кружку с водой.

— Слушайте, — принял Иннокентий кружку. — Мне плохо, мне лечь нужно !

— В боксе не положено.

— Где ? Где не положено ? (Ему хотелось поговорить хоть с этим идолом !).

Но надзиратель уже отступил за дверь и притворял ее.

— Слушайте, позовите начальника ! За что меня арестовали ? — опомнился Иннокентий.

Дверь заперлась.

Он сказал — в б о к с е ? « В о х » — значит по-английски ящик.

Они цинично называют такую каморку я щ и к о м ? Что ж, это, пожалуй, точно.

Иннокентий отпил немного. Пить сразу перехотелось. Кружечка была граммов на триста, эмалированная, зелененькая, со странным рисунком: кошечка в очках делала вид, что читает книжку, на самом же деле косилась на птичку, дерзко прыгавшую рядом.

Не могло быть, чтоб этот рисунок нарочно подбирался для Лубянки. Но как он подходил ! Книжечка та была писаный закон, а воробушком хорохорился вчерашний Иннокентий.

Он даже улыбнулся и от этой кривой улыбки вдруг ощутил всю бездну произошедшего с ним. И от этой же улыбки странная радость — радость крохи бытия, пришла к нему.

Он не поверил бы раньше, что в застенках Лубянки улыбнется в первые же полчаса.

(Хуже было Шевронку в соседнем боксе: того бы сейчас не рассмешила и кошечка).

Потеснив на тумбочке пальто, он поставил туда и кружку.

Загремел замок. Отворилась дверь. В дверь вступил лейтенант с бумагой в руке. За плечом его виднелось постное лицо сержанта.

В своем дипломатическом серо-сизом мундире, вышитом золотыми пальмами, Иннокентий развязно поднялся ему навстречу:

— Послушайте, лейтенант, в чем дело ? что за недоразумение ? Дайте мне ордер, я его не прочел.

— Фамилия ? — невыразительно спросил лейтенант, стеклянно глядя на Иннокентия.

— Володин, — уступая ответил Иннокентий с готовностью выяснить положение.

— Имя, отчество ?

— Иннокентий Артемьич.

— Год рождения ? — лейтенант сверялся все время со своей бумагой.

— Тысяча девятьсот девятнадцатый.

— Место рождения ?

— Ленинград.

И тут-то, когда впору было разобраться, и советник второго ранга ждал объяснений, лейтенант отступил, и дверь заперлась, едва не прищемив советника.

Иннокентий сел и закрыл глаза. Он начинал чувствовать силу этих механических клещей.

Загудела машина.

Потом замолкла.

Стали приходить в голову разные мелкие и крупные дела, настолько неотложные час назад, что была потягота в ногах — встать и бежать делать их.

Но не только бежать, а сделать в боксе один полный шаг было негде.

Отодвинулся шиток глазка. Иннокентий поднял палец. Дверь открыла та женщина в небесных погонах с тупым тяжелым лицом.

— Мне нужно... это... — выразительно сказал он.

— Руки назад ! Пройдите ! — повелительно бросила женщина и, повинуясь кивку ее головы, Иннокентий вышел в коридор, где ему показалось теперь, после духоты бокса, приятно-прохладно.

Проведя Иннокентия несколько, женшина кивнула на дверь:

— Сюда !

Иннокентий вошел. Дверь за ним заперли.

Кроме отверстия в полу и двух железных бугорчатых выступов для ног, остальная ничтожная площадь пола и плошадь стен маленькой каморки были выложены красноватой метлахской плиткой. В углублении освежительно переплескивалась вода.

Довольный, что хоть здесь отдохнет от непрерывного наблюдения, Иннокентий присел на корточки.

Но что-то шаркнуло по двери с той стороны. Он поднял голову и увидел, что и здесь такой же глазок с коническим раструбом, и что неотступный внимательный глаз следит за ним уже не с перерывами, а непрерывно.

Неприятно смущенный, Иннокентий выпрямился. Он еще не успел поднять пальца о готовности, как дверь растворилась.

— Руки назад. Пройдите ! — невозмутимо сказала женщина.

В боксе Иннокентия потянуло узнать, который час. Он бездумно отодвинул обшлаг рукава, но в р е м е н и больше не было.

Он вздохнул и стал рассматривать кошечку на кружке. Ему не дали углубиться в мысли. Дверь отперлась. Еще какой-то новый крупнолицый широкоплечий человек в сером халате поверх гимнастерки спросил:

— Фамилия ?

— Я уже отвечал ! — возмутился Иннокентий.

— Фамилия ? — без выражения, как радист, вызывающий станцию, повторил пришедший.

— Ну, Володин.

— Возьмите вещи. Пройдите, — бесстрастно сказал серый халат.

Иннокентий взял пальто и шапку с тумбочки и пошел. Ему показано было в ту самую первую комнату, где с него сорвали погоны, отняли часы и записные книжки.

Носового платка на полу уже не было.

— Слушайте, у меня вещи отняли ! — пожаловался Иннокентий.

— Разденьтесь ! — ответил надзиратель в сером халате.

— Зачем ? — поразился Иннокентий.

Надзиратель посмотрел в его глаза простым твердым взглядом.

— Вы — русский ? — строго спросил он.

— Да. — Всегда такой находчивый, Иннокентий не нашелся сказать ничего другого.

— Разденьтесь !

— А что ? . . не русским — не надо ? уныло сострил он.

Надзиратель каменно молчал, ожидая.

Изобразив презрительную усмешку и пожав плечами, Иннокентий сел на табуретку, разулся, снял мундир и протянул его надзирателю. Даже не придавая мундиру никакого ритуального значения, Иннокентий все-таки уважал свою шитую золотом одежду.

— Бросьте ! — сказал серый халат, показывая на пол.

Иннокентий не решался. Надзиратель вырвал у него мышиный мундир из рук, швырнул на пол и отрывисто добавил.

— Догола !

— То есть, как догола ?

— Догола !

— Но это совершенно невозможно, товарищ ! Ведь здесь же холодно, поймите !

— Вас разденут силой, — предупредил надзиратель.

Иннокентий подумал. Уже на него кидались — и похоже было, что кинутся еще. Поеживаясь от холода и от омерзения, он снял с себя шелковое белье и сам послушно бросил в ту же кучу.

— Носки снимите !

Сняв носки, Иннокентий стоял теперь на деревянном полу

босыми безволосыми ногами, нежно-белыми, как все его податливое тело.

— Откройте рот ! Шире. Скажите « а ». Еще раз, длиннее: « а-а-а ! » Теперь язык поднимите.

Как покупаемой лошади, оттянув Иннокентию нечистыми руками одну щеку, потом другую, одно подглазье, потом другое и убедившись, что нигде под языком, за щеками и в глазах ничего не спрятано, надзиратель твердым движением запрокинул Иннокентию голову так, что в ноздри ему попадал свет, затем проверил оба уха, оттягивая за раковины, велел распялить пальцы и убедился, что нет ничего между пальцами, еще — помахать руками и убедился, что под мышками также нет ничего. Тогда тем же машинно-неопровержимым голосом он скомандовал:

— Возьмите в руки член. Заверните кожицу. Еще. Так, достаточно. Отведите член вправо вверх, влево вверх. Хорошо, опустите. Станьте ко мне спиной. Расставьте ноги. Шире. Наклонитесь вперед до пола. Ноги — шире. Ягодицы разведите руками. Так. Хорошо. Теперь присядьте на корточки. Быстро ! Еще раз !

Думая прежде об аресте, Иннокентий рисовал себе неистовое духовное единоборство. Он был внутренне напряжен, готов к некоему высокому отстаиванию своей судьбы и своих убеждений. Но он никак не представлял себе, что это будет так просто и тупо, так неотклонимо. Люди, которые встретили его на Лубянке, низко поставленные, ограниченные, были равнодушны к его индивидуальности и к поступку, приведшему его сюда, — зато зорко внимательны к мелочам, к которым Иннокентий не был подготовлен и в которых не мог сопротивляться. Да и что могло бы значить и какой выигрыш принесло бы его сопротивление ? Каждый раз по отдельному поводу от него требовали как будто ничтожного пустяка по сравнению с предстоящим ему великим боем — и не стоило даже упираться по такому пустяку — но вся в совокупности методическая околичность процедуры начисто сламливала волю взятого арестанта.

И вот, снося все унижения, Иннокентий подавленно молчал.

Обыскивающий указал голому Иннокентию перейти ближе к двери и сесть там на табурете. Казалось немыслимым коснуться обнаженной частью тела еще этого нового холодного предмета. Но Иннокентий сел и очень скоро с приятностью обнаружил, что деревянная табуретка стала как бы греть его.

Много острых удовольствий испытал за свою жизнь Иннокентий, но это было новое, никогда не изведанное. Прижав

локти к груди и подтянув колени повыше, он почувствовал себя еще теплей.

Так он сидел, а обыскивающий стал у груды его одежды и начал перетряхивать, перещупывать и смотреть на свет. Проявив человечность, он недолго задержал кальсоны и носки. В кальсонах он только тщательно промял, ущип за ущипом, все швы и рубчики и бросил их под ноги Иннокентию. Носки он отстегнул от резиновых держалок, вывернул наизнанку и бросил Иннокентию. Прощупав рубчики и складки нижней сорочки, он бросил к двери и ее, так что Иннокентий мог одеться, все более возвращая телу блаженную теплоту.

Затем обыскивающий достал большой складной нож с грубой деревянной ручкой, раскрыл его и принялся за ботинки. С презрением вышвырнув из ботинок обломки маленького карандаша, он вынул ботинки из галош и стал с сосредоточенным лицом многократно перегибать их подошвы, ища внутри чего-то твердого. Взрезав ножом стельку, он действительно извлек оттуда какой-то кусок стальной полосы и отложил на стол. Затем он достал шило и проколол им наискось один каблук.

Иннокентий неподвижным взглядом следил за его работой и имел силу подумать, как должно ему надоесть год за годом прощупывать чужое белье, прорезать обувь и заглядывать в задние проходы. Оттого и лицо обыскивающего имело черствое неприязненное выражение.

Но эти проблескивающие иронические мысли угасли в Иннокентии от тоскливого ожидания и наблюдения. Обыскивающий стал спарывать с мундира все золотое шитье, форменные пуговицы, петлицы. Затем он вспарывал подкладку и шарил под ней. Не меньше времени он возился со складками и швами брюк. Еще больше доставило ему хлопот зимнее пальто — там, в глуби ваты, надзирателю слышался, наверно, какой-то неватный шелест (зашитая записка ? адреса ? ампула с ядом ?) — и, вскрыв подкладку, он долго искал в вате, сохраняя выражение столь сосредоточенное и озабоченное, как если б делал операцию на человеческом сердце.

Очень долго, может быть более часа продолжался обыск. Наконец, проверив, что галоши действительно состоят из цельной, ничем другим внутри не начиненной резины (при перегибах они послушно гнулись так и этак), обыскивающий швырнул под ноги Иннокентию галоши и стал собирать трофеи: подтяжки, резиновые держалки для носков (он еще раньше объявил Иннокентию, что то и другое не разрешается

иметь в тюрьме), галстук, брошь от галстука, запонки, кусок стальной полоски, два обломка карандаша, золотое шитье, все форменные отличия и множество пуговиц. Только тут Иннокентий допонял и оценил разрушительную работу обыскивающего. Не прорези в подошве, не отпоротая подкладка, не высовывающаяся в подмышечных проймах пальто вата — но отсутствие почти всех пуговиц именно в то время, когда его лишили и подтяжек, из всех издевательств этого вечера почему-то особенно поразило Иннокентия.

— Зачем вы срезали пуговицы ? — воскликнул он.

— Не положено, — буркнул обыскивающий.

— То есть, как ? В чем же я буду ходить ?

— Веревочками завяжете, — хмуро ответил тот уже в двери.

— Что за чушь ? Какие веревочки ? Откуда я их возьму ? . . .

Но дверь захлопнулась и заперлась.

Иннокентий не стал стучать и настаивать ! он сообразил, что на пальто и еще кое-где пуговицы оставили, и уже этому надо радоваться.

Он быстро воспитывался здесь.

Не успел он, поддерживая падающую одежду, походить по своему новому помещению, наслаждаясь его простором и разминая ноги, как опять загремел ключ в двери, и вошел новый надзиратель в халате белом, хотя и не первой чистоты. Он посмотрел на Иннокентия как на давно знакомую вещь, всегда находившуюся в этой комнате, и отрывисто приказал:

— Разденьтесь догола !

Иннокентий хотел ответить возмущением, хотел быть грозным, на самом же деле из его перехваченного обидой горла вырвался неубедительный протест каким-то цыплячьим голосом:

— Но ведь я только что раздевался ! Неужели не могли предупредить ?

Очевидно — не могли, потому что нововошедший невыразительным скучающим взглядом следил, скоро ли будет выполнено приказание.

Во всех здешних больше всего поражала Иннокентия их способность молчать, когда нормальные люди отвечают.

И, входя уже в ритм беспрекословного безвольного подчинения, Иннокентий разделся и разулся.

— Сядьте ! — показал надзиратель на ту самую табуретку, на которой Иннокентий уже так долго сидел.

Голый арестант сел покорно, не задумываясь — зачем.

(Привычка вольного человека — обдумывать свои поступки прежде, чем их делать, быстро отмирала в нем, так как другие успешно думали за него). Надзиратель жестко обхватил его голову пальцами за затылок. Холодная режущая плоскость машинки с силой придавилась к его темени.

— Что вы делаете ? — вздрогнул Иннокентий, со слабым усилием пытаясь высвободить голову из захвативших ее пальцев. — Кто вам дал право ? Я еще не арестант ! (Он хотел сказать — обвинение еще не доказано).

Но парикмахер, все так же крепко держа его голову, молча продолжал стричь. И вспышка сопротивления, возникшая было в Иннокентии, погасла. Этот гордый молодой дипломат, с таким независимо-небрежным видом сходивший по трапам трансконтинентальных самолетов, с таким рассеянным сощуром смотревший на дневное сияние сновавших вокруг него европейских столиц, — был сейчас голый, квелый, костистый мужчина с головой, остриженной наполовину.

Мягкие светло-каштановые волосы Иннокентия падали грустными безвучными хлопьями, как падает снег. Он поймал рукой один клок и нежно перетер его в пальцах. Он ощутил, что любил себя и свою отходящую жизнь.

Он еще помнил свой вывод: покорность будет истолкована как виновность. Он помнил свое решение сопротивляться, возражать, спорить, требовать прокурора, — но вопреки разуму его волю сковывало сладкое безразличие замерзающего на снегу.

Кончив стричь голову, парикмахер велел встать, по очереди поднять руки и выстриг под мышками. Потом сам присел на корточки и той же машинкой стал стричь Иннокентию лобок. Это было необычно, очень щекотно. Иннокентий невольно поежился, парикмахер прикрикнул.

— Одеваться можно ? — спросил Иннокентий, когда процедура окончилась.

Но парикмахер не сказал ни слова и запер дверь.

Хитрость подсказала Иннокентию не спешить одеваться на этот раз. В остриженных нежных местах он испытывал неприятное покалывание. Проводя по непривычной голове (с детства не помнил он себя наголо остриженным), он нащупывал странную короткую щетинку и неровности черепа, о которых не знал.

Все же он надел белье, а когда стал влезать в брюки — загремел замок, вошел еще новый надзиратель с мясистым фиолетовым носом. В руках он держал большую картонную карточку.

— Фамилия ?

— Володин, — уже не сопротивляясь, ответил арестант, хотя ему становилось дурно от этих бессмысленных повторений.

— Имя-отчество ?

— Иннокентий Артемьич.

— Год рождения ?

— Тысяча девятьсот девятнадцатый.

— Место рождения ?

— Ленинград.

— Разденьтесь догола.

Плохо соображая, что происходит, он разделся. При этом нижняя сорочка его, положенная на край стола, упала на пол — но это не вызвало в нем брезгливости, и он не наклонился за нею.

Надзиратель с фиолетовым носом стал придирчиво осматривать Иннокентия с разных сторон и все время записывал свои наблюдения в карточке. По большому вниманию к родинкам, к подробностям лица, Иннокентий понял, что записывают его приметы.

Ушел и он.

Иннокентий безучастно сидел на табуретке, не одеваясь.

Опять загремела дверь. Вошла полная черноволосая дама в снежно-белом халате. У нее было надменное грубое лицо и интеллигентные манеры.

Иннокентий очнулся, бросился за кальсонами, чтобы прикрыть наготу. Но женщина окинула его презрительным, совсем не женским взглядом и, выпячивая и без того оттопыренную нижнюю губу, спросила:

— Скажите, у вас — вшей нет ?

— Я — дипломат, — обиделся Иннокентий, твердо глядя в ее черные армянские глаза и по-прежнему держа перед собой кальсоны.

— Ну, так что из этого ? Какие у вас жалобы ?

— За что меня арестовали ? Дайте прочесть ордер ! Дайте прокурора ! — оживясь, зачастил Иннокентий.

— Вас не об этом спрашивают, — устало нахмурилась женщина. — Вензаболевание отрицаете ?

— Что ?

— Гонореей, сифилисом, мягким шанкром не болели ? Проказой ? Туберкулезом ? Других жалоб нет ?

И ушла, не дожидаясь ответа.

Вошел самый первый надзиратель с долгим лицом. Иннокентий даже с симпатией его встретил, потому что он не издевался над ним и не причинял зла.

— Почему не одеваетесь ? — сурово спросил надзиратель. — Оденьтесь быстро.

Не так это было легко ! Оставшись запертым, Иннокентий бился, как заставить брюки держаться без помочей и без многих пуговиц. Не имея возможности использовать опыт десятков предыдущих арестантских поколений, Иннокентий принахмурился и решил задачу сам, — как и миллионы его предшественников тоже решили сами. Он догадался, откуда ему достать « веревочки »: брюки в поясе и в ширинке надо было связать шнурками от ботинок. (Только теперь Иннокентий досмотрелся: со шнурков его были сорваны металлические наконечники. Он не знал, зачем еще это. Лубянские инструкции предполагали, что из таких наконечников арестант может изготовить пилу для перепиливания решеток !)

Полы мундира он уже не связывал.

Сержант, убедясь в глазок, что арестованный одет, отпер дверь, велел взять руки назад и отвел еще в одну комнату. Там был уже знакомый Иннокентию надзиратель с фиолетовым носом.

— Снимите ботинки ! — встретил он Иннокентия.

Это не представляло теперь трудности, так как ботинки без шнурков и сами легко спадали (заодно, лишенные резинок, сбивались к ступням и носки).

У стены стоял медицинский измеритель роста с вертикальной белой шкалой. Фиолетовый нос подогнал Иннокентия спиной, опустил ему на макушку передвижную планку и записал рост.

— Можно обуться, — сказал он.

А долголицый в дверях предупредил:

— Руки назад !

Руки назад ! — хотя до бокса № 8 было два шага наискосок по коридору.

И снова Иннокентий был заперт в своем боксе.

За стеной все так же взгуживала и смолкала таинственная машина.

Иннокентий, держа пальто на руках, обессиленно опустился на табуретку. С тех пор, как он попал на Лубянку, он видел только ослепительный электрический свет, близкие тесные стены и равнодушно-молчаливых тюремщиков. Процедуры, одна другой нелепее, казались ему издевательскими. Он не видел, что они составляли логическую осмысленную цепь: предварительный обыск оперативниками, арестовавшими его; установление личности арестованного; прием арестованного (заочно, в канцелярии) под расписку тюремной адми-

нистрацией; основной приемный тюремный обыск; первая санобработка; запись примет; медицинский осмотр. Процедуры укачали его, они лишили его здравого разума и воли к сопротивлению. Его единственным мучительным желанием было сейчас — спать. Решив, что его пока оставили в покое, не видя, как устроиться иначе, и приобретя за три первых лубянских часа новые понятия о жизни, он поставил табуретку поверх тумбочки, на пол бросил свое пальто из тонкого драпа с серым каракулевым воротником и лег на него по диагонали бокса. При этом спина его лежала на полу, голова круто поднималась одним углом бокса, а ноги, согнутые в коленях, корчились в другом углу. Но первое мгновение члены еще не затекли — и он ощущал блаженство.

Однако, он не успел отойти в обволакивающий сон, как дверь распахнулась с особенным нарочитым грохотом.

— Встаньте ! — прошипела женщина.

Иннокентий едва пошевельнул веками.

— Встаньте ! Встаньте ! ! — раздавались над ним заклинания.

— Но если я хочу спать ?

— Встаньте ! ! ! — властно и уже громко окрикнула наклонившаяся над ним, как Медуза в сновидении, женщина.

Из своего переломленного положения Иннокентий с трудом поднялся на ноги.

— Так отведите меня, где можно лечь поспать, — вяло сказал он.

— Не положено ! — отрубила Медуза в небесных погонах и хлопнула дверью.

Иннокентий прислонился к стене, выждал, пока она долго изучала его в глазок, и еще, и еще раз.

И опять опустился на пальто, воспользовавшись отлучкой Медузы.

И уже сознание его прерывалось, как вновь загрохотала дверь.

Новый высокий сильный мужчина, который был бы удалым молотобойцем или камнеломом, в белом халате стоял на пороге.

— Фамилия ? — спросил он.

— Володин.

— С вещами !

Иннокентий сгреб пальто и шапку и с тусклыми глазами, пошатываясь, пошел за надзирателем. Он был до крайней степени измучен и плохо чувствовал ногами, ровный ли под ним

пол. Он не находил в себе сил к движению и готов был бы тут же лечь посреди коридора.

Через какой-то узкий ход, пробитый в толстой стене, его перевели в другой коридор, погрязней, откуда открыли дверь в предбанник и, выдав кусок бельевого мыла величиной меньше спичечной коробки, велели мыться.

Иннокентий долго не решался. Он привык к назеркаленной чистоте ванных комнат, обложенных кафелем, в этом же деревянном предбаннике, который рядовому человеку показался бы вполне чистым, ему пришлось отвратительно грязно. Он едва выбрал достаточно сухое место на скамье, разделся там, с брезгливостью перешел по мокрым решеткам, по которым было наслежено и босиком, и в ботинках. Он с удовольствием бы не раздевался и не мылся вовсе, но дверь предбанника отперлась и молотобоец в белом халате скомандовал ему идти под душ.

За простой нетюремной тонкой дверью с двумя пустыми неостекленными прорезами была душевая. Над четырьмя решетками, которые Иннокентий тоже определил как грязные, нависали четыре душа, дававших прекрасную горячую и холодную воду, также не оцененную Иннокентием. Четыре душа были предоставлены для одного человека ! — но Иннокентий не ощутил никакой радости (если б он знал, что в мире зэков чаще моются четыре человека под одним душем, он бы больше оценил свое шестнадцатикратное преимущество !). Выданное ему отвратительное вонючее мыло (за тридцать лет жизни он не держал в руках такого и даже не знал, что такое существует !) он гадливо выбросил еще в предбаннике. Теперь за пару минут он кое-как отплескался, главным образом смывая волосы после стрижки, в нежных местах коловшие его, — и с ощущением, что он не помылся здесь, а набрался грязи, вернулся одеваться.

Но зря. Лавки предбанника были пусты, вся его великолепная, хотя и обкарнанная одежда унесена, и только галоши со вставленными в них ботинками уткнулись носами под лавки. Наружная дверь была заперта, глазок закрыт щитком. Иннокентию не оставалось ничего другого, как сесть на лавку обнаженно-скульптурным, подобно роденовскому « Мыслителю », и размышлять, обсыхая.

Затем ему выдали грубое застиранное тюремное белье с черными штампами « Внутренняя тюрьма » на спине и на животе и с такими же штампами вафельную вчетверо сложенную квадратную тряпочку, о которой Иннокентий не сразу догадался, что она считалась полотенцем. Пуговицы на белье

были картонно-матерчатые, но и их не хватало; были поворозки, но и те местами оборваны. Кургузые кальсоны оказались Иннокентию коротки, тесны и жали в промежности. Рубаха, наоборот, попалась очень просторная, рукава спускались на пальцы. Обменить белье отказались, так как Иннокентий испортил пару тем, что надел ее.

В полученном нескладном белье Иннокентий еще долго сидел в предбаннике. Ему сказали, что верхняя одежда его в « прожарке ». Слово это было новое для Иннокентия. Даже за всю войну, когда страна испещрена была прожарками, — они нигде не стали на его пути. Но бессмысленным издевательствам сегодняшней ночи была вполне подстать и « прожарка » одежды (представлялась какая-то большая адская сковорода).

Иннокентий пытался трезво обдумать свое положение и что ему делать — но мысли путались и мельчились: то об узких кальсонах, то о сковороде, на которой лежал сейчас его китель, то о пристальном глазе, уступая место которому часто отодвигался щиток глазка.

Баня разогнала сон, но истощающая слабость владела им. Хотелось лечь на что-нибудь сухое и нехолодное — и так лежать без движения, возвращая себе истекающие силы. Однако, голыми ребрами на влажные угловатые доски скамьи (и доски те были вразгонку, не сплошь) он лечь не решался.

Открылась дверь, но принесли не одежду из прожарки. Рядом с банным надзирателем стояла румяная широколицая девушка в гражданском. Стыдливо прикрывая недостатки своего белья, Иннокентий подошел к порогу. Велев Иннокентию расписаться на копии, девушка передала ему розовую квитанцию о том, что сего 26-го декабря Внутренней Тюрьмой МГБ СССР приняты от Володина И.А. на хранение: часы желтого металла с крышкой, № часов... № механизма...; автоматическая ручка с отделкой из желтого металла и таким же пером; заколка-брошь для галстука с красным камнем в оправе; запонки синего камня — одна пара.

И опять Иннокентий ждал, поникнув. Наконец, принесли одежду. Пальто вернулось холодное и в сохранности, китель же с брюками и верхняя сорочка — измятые, поблекшие и еще горячие.

Неужели и мундир не могли сберечь, как пальто? — возмутился Иннокентий.

— Шуба мех имеет. Понимать надо! — наставительно ответил молотобоец.

Даже собственная одежда стала после прожарки противна

и чужа. Во всем чужом и неудобном Иннокентий опять отведен был в свой бокс № 8.

Он попросил и жадно выпил две кружки воды все с тем же изображением кошечки.

Тут к нему пришла еще одна девица и под расписку выдала голубую квитанцию о том, что сего 27-го (уже ? . .) декабря Внутренней Тюрьмой МГБ СССР приняты от Володина И.А. сорочка нижняя шелковая одна, кальсоны шелковые одни, подтяжки брючные и галстук.

Все так же погуживала таинственная машина.

Оставшись опять запертым, Иннокентий сложил руки на тумбочке, положил на них голову и сделал попытку сидя заснуть.

— Нельзя ! — сказал, отперев дверь, новый сменившийся надзиратель.

— Что нельзя ?

— Голову класть нельзя !

В путающихся мыслях Иннокентий ждал еще.

Опять принесли квитанцию, уже на белой бумаге, о том, что Внутренней Тюрьмой МГБ СССР принято от Володина И.А. 123 (сто двадцать три) рубля.

И снова пришли — лицо опять новое — мужчина в синем халате поверх дорогого коричневого костюма.

Каждый раз, принося квитанцию, спрашивали его фамилию. И теперь спросили все снова: Фамилия ? Имя, отчество ? Год рождения ? Место рождения ? — после чего пришедший приказал:

— Слегка !

— Что ? — оторопел Иннокентий.

— Ну, слегка, без вещей ! Руки назад ! — в коридоре все команды подавались вполголоса, чтоб не слышали другие боксы.

Щелкая языком все для той же невидимой собаки, мужчина в коричневом костюме провел Иннокентия через главную выходную дверь еще каким-то коридором в большую комнату уже не тюремного типа — со шторами, задернутыми на окнах, с мягкой мебелью, письменными столами. Посреди комнаты Иннокентия посадили на стул. Он понял, что его сейчас будут допрашивать.

Но вместо этого из-за портьеры выкатили полированный коричневый ящик фотокамеры, с двух сторон включили на Иннокентия яркий свет, сфотографировали его один раз в лоб, другой раз в профиль.

Приведший Иннокентия начальник, беря поочередно каждый палец его правой руки, вываливал его мякотью о липкий черный валик, как бы обмазанный штемпельною краской, отчего все пять пальцев стали черными на концах. Затем, равномерно раздвинув пальцы Иннокентия, мужчина в синем халате с силой прижал их к бланку и оторвал резко. Пять черных отпечатков с белыми извилинами остались на бланке.

Еще также измазали и отпечатали пальцы левой руки.

Выше отпечатков на бланке было написано:

Володин Иннокентий Артемьевич, 1919, г. Ленинград.

а еще выше — жирными черными типографскими знаками:

ХРАНИТЬ ВЕЧНО!

Прочтя эту формулу, Иннокентий содрогнулся. Что-то мистическое было в ней, что-то выше человечества и Земли.

Мылом, щеточкой и холодной водой ему дали оттирать пальцы над раковиной. Липкая краска плохо поддавалась этим средствам, холодная вода скатывалась с нее. Иннокентий сосредоточенно тер намыленной щеткой кончики пальцев и не спрашивал себя, насколько логично, что баня была до снятия отпечатков.

Его неустоявшийся измученный мозг охватила эта подавляющая космическая формула:

ХРАНИТЬ ВЕЧНО!

84

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Никогда в жизни у Иннокентия не было такой протяжной бесконечной ночи. Он всю напролет ее не спал, и так много самых разных мыслей протолпились сквозь его голову за эту ночь, как в обыденной спокойной жизни не бывает за месяц. Был простор поразмыслить и во время долгого спарывания золотого шитья с дипломатического мундира, и во время полуголого сидения в бане и во многих боксах, смененных за ночь.

Его поразила верность эпитафии: « Хранить вечно ».

В самом деле, докажут или не докажут, что по телефону говорил именно он (очевидно, все-таки, разговор был подслушан) — но, раз арестовав, его отсюда уже не выпустят. Лапу Сталина он знал — она никого не возвращала к жизни. Впереди было хорошо, если просто лагерь, а то, по положению его, какой-нибудь приспособленный монастырь, где запретят днем сидеть, годами говорить — и никто никогда не узнает о нем, и сам он не будет знать ни о чем в мире, хотя бы целые континенты меняли флаги или высадились бы люди на Луне. Безгласных узников можно и перестрелять в одиночках. Бывало . . .

Но разве он боится смерти ? . .

С вечера Иннокентий был рад всякому мелкому событию, всякому открыванию двери, нарушающему его одиночество, его непривычное сидение в западне. Сейчас, наоборот — хотелось додумать некую важную, еще не уловленную им мысль — и он рад был, что его отвели в прежний бокс и долго не беспокоили, хотя непрестанно подсматривали в глазок.

Вдруг будто снялась тонкая пелена с мозга, — и отчетливо само проступило, что он думал и читал днем:

« Вера в бессмертие родилась из жажды ненасытных людей. Мудрый найдет срок нашей жизни достаточным, чтоб обойти весь круг достижимых наслаждений . . . »

Ах, разве о наслаждениях речь ! Вот у него были деньги,

костюмы, почет, женщины, вино, путешествия — но все эти наслаждения он бы швырнул сейчас в преисподнюю за одну только справедливость.

И других, как он, не известных ни в лицо, ни по имени — сколько их было здесь, за кирпичными перегородками этого здания! И как обидно умереть, не обменявшись с ними умом и душой!

Хорошо сочинять философию под развесистыми ветками в недвижимые, застойно-благополучные эпохи!

Сейчас, когда не было карандаша и записной книжки, тем дороже ему казалось все, что выплывало из тьмы памяти. Явственно вспомнилось:

« Не должно бояться телесных страданий. — Продолжительное страдание всегда незначительно, значительное — непродолжительно ».

Вот, например, без сна, без воздуха сидеть сутки в таком боксе, где нельзя распрямить, вытянуть ног, это какое страдание — продолжительное или непродолжительное? незначительное или значительное? Или — десять лет в одиночке и ни слова вслух?..

Там, в комнате фотографии и дактилоскопии, Иннокентий заметил, что шел второй час ночи. Сейчас может быть уже и третий. Вздорная мысль теперь вклинилась в голову, вытесняя серьезные: его часы положили в камеру хранения, до конца завода они еще будут идти, потом остановятся — и никто больше не будет их заводить, и с этим положением стрелок они дождутся или смерти хозяина, или конфискации себя в числе всего имущества. Интересно, сколько ж они будут тогда показывать?

А Дотти ждет его в оперетту? Ждала... Звонила в министерство? Скорей всего, что нет: сразу же явились к ней с обыском. Огромная квартира! Там пятерым человекам не переворошить за ночь. А что найдут дураки?..

Дотти возьмет развод, выйдет замуж.

Тестя остановят по службе — пятно! То-то будет блеваться, отмежевываться!

Все, кто знал советника Володина, верноподанно вычеркнут его из памяти.

Глухая громада задавит его — и никто на земле никогда не узнает конца его судьбы.

А ведь хотелось бы дожить и увидеть — как это будет? Все на Земле сольется. « Пройдет вражда племен ». Исчезнут государственные границы, армии. Созовут мировой парламент.

Изберут президента планеты. Он обнажит голову перед человечеством и скажет:

— С вещами !

— А ? . .

— С вещами !

— С каким вещами ?

— Ну, с барахлом.

Иннокентий поднялся, держа в руках пальто и шапку, особо милые ему теперь за то, что не попорчены были в прожарке. В раствор двери, отклоняя коридорного, проник смуглый лихой (где набирали этих гвардейцев ? для каких тягот ?) старшина с голубыми погонами и, сверяясь с бумажкой, спросил:

— Фамилия ?

— Володин.

— Имя-отчество ?

— Сколько раз можно ?

— Имя-отчество !

— Иннокентий Артемьич.

— Год рождения ?

— Девятьсот девятнадцатый.

— Место рождения ?

— Ленинград.

— С вещами. Пройдите !

И пошел вперед, условно щелкая.

На этот раз они вышли во двор, в черноте крытого двора опустились еще на несколько ступенек. Не ведут ли расстреливать ? — выступила мысль. Говорят, расстреливают всегда в подвалах и всегда ночью.

В эту трудную минуту пришло такое спасительное возражение: а зачем бы тогда выдавали три квитанции ? Нет, не расстрел !

(Иннокентий еще верил в мудрую согласованность всех щупальцев друг с другом !).

Все так же щелкая языком, лихой старшина завел его в здание и через темный тамбур вывел к лифту. Какая-то женщина с кипой выглаженного серовато-желтоватого белья стояла сбоку и смотрела, как Иннокентия вводили в лифт. И хотя эта молодая прачка была некрасива, низка по общественному положению и смотрела на Иннокентия тем же непроницаемым, равнодушно-каменным взглядом, как и все механические кукло-люди Лубянки, но Иннокентию при ней, как и при девушках из камер хранения, приносивших ро-

зовую, голубую и белую квитанции, стало больно, что она видит его в таком растерзанном и жалком состоянии и может подумать о нем с нелестным сожалением.

Впрочем, и эта мысль исчезла так же быстро, как и пришла: все равно ведь — « хранить вечно ! » . . .

Старшина закрыл лифт и нажал кнопку этажа — но номеров этажей не было обозначено.

Едва загудели моторы лифта — Иннокентий сразу узнал в этом гудении ту таинственную машину, которая перемалывала кости за стеной его бокса.

И улыбнулся безрадостно.

Хотя эта приятная ошибка теперь ободрила его.

Лифт остановился. Старшина вывел Иннокентия на лестничную площадку и сразу же — в широкий коридор, где мелькало много надзирателей с небесными погонами и белыми лычками. Один из них запер Иннокентия в бокс без номера, на этот раз попросторней с десяток квадратных метров, неярко освещенный, со стенами, сплошь выкрашенными оливковой масляной краской. Бокс этот или камера вся была пуста, казалась не очень чистой, в ней был истертый цементный пол, а в стену вделана в одном месте деревянная неширокая лавка, достаточная, чтобы на нее село рядом трое. В боксе было к тому же и прохладно, что усиливало общую неприютность. Был и здесь глазок, но щиток на нем отодвигался не так часто.

Снаружи сдержанно доносилось частое шарканье сапог по полу. Видимо, надзиратели непрерывно приходили и уходили: внутренняя тюрьма жила большой ночной жизнью.

Раньше Иннокентий думал, что будет постоянно помещен в тесном, ослепительном, жарком боксе № 8 — и терзался оттого, что там негде протянуть ног, свет режет глаза и дышать тяжело. Теперь он понял свою ошибку, понял, что будет жить в этом просторном, неприютном, безномерном боксе — и страдал, что ноги будут зябнуть от цементного пола, постоянное снование и шарканье за дверьми будет раздражать, а недостаток света — угнетать. Как здесь необходимо окно ! — хоть самое бы маленькое, хоть такое, какое устраивают в оперных декорациях теремных подвалов — но и его не было.

Сколько угодно можно было слушать об этом рассказов, читать мемуары — и нельзя было себе этого представить: коридоры, лестницы, множество дверей, ходят офицеры, сержанты, обслуга, снует в разгаре ночи Большая Лубянка, но нигде нет ни одного арестанта, нельзя встретить себе подоб-

ного, нельзя услышать неслужебного слова, да и служебных почти не говорят. И кажется, что все огромное министерство не спит в эту ночь из-за одного тебя, одним тобою и твоим преступлением занято.

Уничтожающая идея первых часов тюрьмы состоит в том, чтобы отобщить узника от других арестантов, чтобы никто не подбодрил его, чтобы на него одного давила система, поддерживающая весь развлетвленный, многотысячный аппарат.

Мысли Иннокентия приняли страдальческое направление. Телефонный звонок, еще позавчера казавшийся ему великодушным поступком, сейчас ясно представлялся необдуманным, бесцельным самоубийством.

Теперь было где походить по боксу, но у истомленного, изведенного процедурами Иннокентия не было на это сил. Он прошелся раза два, сел на лавку и плетьми опустил руки мимо ног.

Сколько великих, безвестных потомству намерений погребали в себе эти стены, запирали в себе эти боксы!

Проклятая, проклятая чувствительность... Это сегодня бы или завтра Иннокентий вылетел в Париж, и думать бы забыл о том бедняге, которого хотел спасти и все равно не спас.

И когда он представил себе не поездку вообще, а именно в эти наступающие сутки — у него перехватило дух от головокружительной недостижимости свободы. Впору было стены камеры царапать ногтями, чтобы дать выход досаде!..

Но от этого нарушения тюремных правил его предохранило открытие двери. Снова проверили его «установочные данные», на что Иннокентий отвечал как во сне, и велели выйти «с вещами». Так как Иннокентий несколько озяб в боксе, то шапка была у него на голове, а пальто наброшено на плечи. Он так и хотел выйти, не ведая, что это давало ему возможность нести под пальто два заряженных пистолета или два кинжала. Ему скомандовали надеть пальто в рукава и лишь таким образом обнажившиеся кисти рук взять за спину.

Опять защелкали языком, повели на ту лестницу, где ходил лифт, и по лестнице вниз. Самое интересное в положении Иннокентия было запомнить, сколько поворотов он сделал, сколько шагов, чтобы потом, на досуге понять расположение тюрьмы. Но в ощущении мира в нем совершился такой передвиг, что шел он в бесчувствии и не заметил, на много ли они спустились — как вдруг из какого-то еще коридора на-

встречу им показался другой рослый надзиратель, так же напряженно щелкающий, как и тот, что шел перед Иннокентием. Надзиратель, ведущий Иннокентия, порывисто отворил дверь зеленой фанерной будки, неуклюже загромождавшей и без того тесную площадку, затолкнул туда Иннокентия и притворил собою дверцу. Внутри было только-только где стать и шел рассеянный свет с потолка: будка, оказалось, не имела крыши и туда попадал свет лестничной клетки.

Естественным человеческим порывом было бы — громко протестовать, но Иннокентий, уже привыкая к непонятным передрягам и втягиваясь в Лубянскую молчанку, был безмолвно покорен, то есть, делал то самое, что и требовалось в тюрьме.

Ах, вот отчего, наверно, все на Лубянке щелкали: этим предупреждали, что ведут арестованного. Нельзя было арестанту встретиться с арестантом ! Нельзя было в его глазах черпнуть себе поддержки ! . .

Т о г о, другого, провели — Иннокентия выпустили из будки и повели дальше.

И здесь-то, на ступенях последнего пройденного марша, Иннокентий заметил: к а к были стерты ступени ! — ничего похожего нигде за всю жизнь он не видел. От краев к середине они были вытерты овальными ямами на половину толщины.

Он содрогнулся: за тридцать лет сколько ног ! сколько раз ! должны были здесь прошаркать, чтобы так истереть камень ! И из каждых двух шедших один был надзиратель, а другой — арестант.

На площадке этажа была запертая дверь с обрешеченной форточкой, плотно закрытой. Здесь Иннокентия постигла еще новая участь — быть поставленным лицом к стене. Все же краем глаза он видел, как сопровождающий позвонил в электрический звонок, как сперва недоверчиво открылась, потом закрылась форточка. Затем громкими поворотами ключа отперлась дверь, и некто вышедший, не видимый Иннокентию, стал его спрашивать:

— Фамилия ?

Иннокентий естественно оглянулся, как привыкли люди смотреть друг на друга при разговоре, — и успел разглядеть какое-то не мужское и не женское лицо, пухлое, мягкомясое, с большим красным пятном от обвара, а пониже лица — золотые погоны лейтенанта. Но тот одновременно крикнул на Иннокентия:

— Не оборачиваться !

И продолжал все те же надоевшие вопросы, на которые Иннокентий отвечал куску белой штукатурки перед собой.

Убедившись, что арестант продолжает выдавать себя за того, кто обозначен в карточке, и продолжает помнить свой год и место рождения, мягкомясый лейтенант сам позвонил в дверь, из осторожности тем временем запертую за ним. Снова недоверчиво оттянули форточный задвиг, в отверстие посмотрели, форточку задвинули и громкими поворотами ключа отперли дверь.

— Пройдите ! — резко сказал мягкомясый краснообваренный лейтенант.

Они вступили внутрь — и дверь за ними громкими поворотами заперлась.

Иннокентий едва успел увидеть расходящийся на трое — вперед, вправо и влево, сумрачный коридор со многими дверьми и слева у входа — стол, шкафчик с гнездами и еще новых надзирателей, как лейтенант негромко, но очень явственно скомандовал ему в тишине:

— Лицом к стене ! Не двигаться !

Глупейшее состояние — близко смотреть на границу оливковой панели и белой штукатурки, чувствуя на затылке своем несколько пар враждебных глаз ! . .

Очевидно, разбирались с его карточкой, потом лейтенант скомандовал почти шепотом, ясным в глубокой тишине:

— В третий бокс !

От стола отделился надзиратель и, ничуть не звеня ключами, пошел по полотняной дорожке правого коридора.

— Руки назад ! Пройдите ! — очень тихо обронил он.

По одну сторону их хода шла та же равнодушная оливковая стена в три поворота, с другой минуло несколько дверей, на которых висели зеркальные овалики номеров:

« 47 » « 48 » « 49 »,

а под ними — навесы, закрывающие глазки. С теплотой от того, что так близко — друзья, Иннокентий ощутил желание отодвинуть навесик, прильнуть на миг к глазку, посмотреть на замкнутую жизнь камеры, — но надзиратель быстро увлекал вперед, а главное — Иннокентий уже успел проникнуться тюремным повиновением, хотя чего еще можно было бояться потерянному человеку ?

Несчастным образом для людей и счастливым образом для властителей, человек устроен так, что пока он жив, у

него всегда есть еще что отнять. Даже пожизненно-заключенного, лишенного движения, неба, семьи и имущества, можно, например, еще перевести в мокрый карцер, лишить горячей пищи, бить палками — и эти мелкие последние наказания так же чувствительны человеку, как прежнее низвержение с высоты свободы и преуспеяния. И чтобы избежать этих досадных последних наказаний, арестант равномерно выполняет ненавистный ему унизительный тюремный режим, медленно убивающий в нем человека.

Двери за поворотом пошли тесно одна к другой, и зеркальные овалики на них были:

«1» «2» «3»

Надзиратель отпер дверь третьего бокса и движением, несколько комичным здесь, — широким радушным взмахом, отпахнул ее перед Иннокентием. Иннокентий заметил эту комичность и внимательно посмотрел на надзирателя. Это был парень широкоплечий, невысокого роста, с черными гладкими волосами и неровными, как будто косым ударом сабли прорезанными глазами. Вид его был недобр, не улыбались ни губы, ни глаза — но из десятков лубянских равнодушных лиц, виденных им в эту ночь, злое лицо последнего надзирателя чем-то нравилось.

Запертый в боксе, Иннокентий огляделся. За ночь он мог себя считать уже специалистом по боксам, посравнив несколько. Этот бокс был божеский: три с половиной ступни в ширину, семь с половиной в длину, с паркетным полом, почти весь занят длинной и неузкой деревянной скамьей, вделанной в стену, а у самой двери стоял невделанный маленький деревянный шестигранный столик. Бокс был, конечно, глухой, без окон, была только черная решеточка отдушины высоко вверху. Еще бокс был очень высокий — метра три с половиной, все эти метры были — беленые стены, сверкающие от двухсотваттной лампочки в проволочном колпаке над дверью. От лампочки в боксе было тепло, но больно глазам.

Арестантская наука — из тех, которые усваиваются быстро и прочно. На этот раз Иннокентий не обманывался: он не надеялся долго остаться в этом удобном боксе, но тем более, увидев длинную голую скамью, бывший неженка, час от часу перестающий быть неженкой, понял, что его первая и главная сейчас задача — поспать. И как звереныш, не напутствуемый матерью, под нашептывание собственной природы узнает все нужные для себя повадки, так и Иннокентий

быстро изловчился постелить на лавке пальто, собрать каракулевый воротник и подвернутые рукава комом — так, что образовалась подушка. И тотчас лег. Ему показалось очень удобно. Он закрыл глаза и приготовился спать.

Но уснуть не мог! Ему так хотелось спать, когда не было для этого никакой возможности! Но он прошел насквозь все стадии усталости, и дважды уже прерывал сознание мгновенной дремотой — и вот наступила возможность сна — а сна не было! Непрерывно обновляемое в нем возбуждение расколыхалось и не укладывалось никак. Отбиваясь от предположений, сожалений и соображений, Иннокентий пытался дышать равномерно и считать. Очень уж обидно не заснуть, когда всему телу тепло, ребрам гладко, ноги вытянуты сполна, и надзиратель почему-то не будит!

Так пролежал он с полчаса. Уже начинала, наконец, утрачиваться связность мыслей, и из ног поднималась по телу сковывающая его вязкая теплота.

Но тут Иннокентий почувствовал, что заснуть с этим сумасшедше-ярким светом нельзя. Свет не только проникал оранжевым озарением сквозь закрытые веки — он ощутимо, с невыносимой силой давил на глазное яблоко. Это давление света, никогда прежде Иннокентием не замечавшееся, сейчас выводило его из себя. Тщетно переворачиваясь с боку на бок и ища положения, когда бы свет не давил, — Иннокентий отчаялся, приподнялся и спустил ноги.

Щиток его глазка часто отодвигался, он слышал шуршание, — и при очередном отодвиге быстро поднял палец.

Дверь отперлась совсем бесшумно. Косенький надзиратель молча смотрел на Иннокентия.

— Я вас прошу, выключите лампу! — умоляюще сказал Иннокентий.

— Нельзя, — невозмутимо ответил косенький надзиратель.

— Ну, тогда замените! Вверните лампочку поменьше! Зачем же такая большая лампа на такой маленький... бокс?

— Разговаривайте тише! — возразил косенький очень тихо. И, действительно, за его спиной могильно молчал большой коридор и вся тюрьма. — Горит, какая положено.

И все-таки было что-то живое в этом мертвом лице! Исчерпав разговор и угадывая, что дверь сейчас закроется, Иннокентий попросил:

— Дайте воды напиться!

Косенький кивнул и бесшумно запер дверь. Неслышно было, как по дерюжной дорожке он отошел от бокса, как

вернулся — чуть звякнул вставляемый ключ, — и косенький стоял в двери с кружкой воды. Кружка, как и на первом этаже тюрьмы, была с изображением кошечки, но не в очках, без книжки и без птички.

Иннокентий с удовольствием отпил и в передышке посмотрел на не уходившего надзирателя. Тот переступил одной ногой через порог, прикрыл дверь, насколько позволяли его плечи, и, совершенно неуставно подморгнув, спросил тихо:

— Ты кем был ?

Как необычно это звучало ! — человеческое обращение, первое за ночь ! Потрясенный живым тоном вопроса, тихостью утаенного от начальства, и затягиваемый этим непреднамеренным безжалостным словечком « был », вступая с надзирателем как бы в заговор, Иннокентий шепотом сообщил:

— Дипломатом. Государственным советником.

Косенький сочувственно покивал и сказал:

— А я был матрос Балтийского флота ! — Помедлил. — За что ж тебя ?

— Сам не знаю, — насторожился Иннокентий. — Ни с того, ни с сего.

Косенький сочувственно кивал.

— Так все сначала говорят, — подтвердил он. И неприлично добавил: — А сходить по . . . не хочешь ?

— Нет еще, — отклонил Иннокентий, по слепоте новичка не зная, что сделанное ему предложение было наибольшей льготой, доступной власти надзирателя, и одним из величайших благ на земле, не доступных арестанту вне расписания.

После этого содержательного разговора дверь затворилась, и Иннокентий снова вытянулся на скамье, тщетно борясь с давлением света сквозь беззащитные веки. Он пытался прикрыть веки рукой — но затекала рука. Он догадался, что очень удобно было бы свернуть жгутиком носовой платок и прикрыть им глаза — но где же был его носовой платок ? . . Ай-ай-ай, зачем он тогда не поднял его с пола ? Какой он был глупый щенок еще вчера вечером !

Мелкие вещи — носовой ли платок, пустая ли спичечная коробка, суровая нитка или пластмассовая пуговица — это теснейшие друзья арестанта ! Всегда наступит момент, когда кто-то из них станет незаменимым — и выручит !

Вдруг дверь открылась. Косенький из охапки в охапку передал Иннокентию полосато-красный матрац. О, чудо ! Лубянка не только не мешала спать — она заботилась о сне арестанта ! . . В перегнутый матрац была вложена маленькая

перяная подушка, наволочка, простыня — обе со штампом: « Внутренняя тюрьма », и даже серое одеяльце.

Блаженство ! Вот когда он поспит ! Его первые впечатления от тюрьмы были слишком унылы ! С предвкушением наслаждения (и впервые в жизни делая это собственными руками) он натянул наволочку на подушку, расстелил простыню (матрац несколько свешивался со скамьи из-за узости ее), разделся, лег, накрыл глаза рукавом кителя — ничто больше не мешало ! — и уже начал отходить в сон, именно в тот сон, который назвали объятиями Морфея.

Но с грохотом отперлась дверь, и косенький сказал:

— Выньте руки из-под одеяла !

— Как вынуть ? ! — чуть не плача воскликнул Иннокентий. — Зачем вы меня разбудили ! Мне так трудно было уснуть !

— Выньте руки ! — хладнокровно повторил надзиратель. — Руки должны лежать открыто.

Иннокентий подчинился. Но не так оказалось просто заснуть, держа руки сверх, одеяла. Это был дьявольский расчет ! Естественная укоренившаяся, незамечаемая человеком привычка, состоит в том, чтобы спрятать руки во сне, прижать их к телу.

Долго Иннокентий ворочался, прилаживаясь к еще одному издевательству. Но, наконец, сон стал брать верх. Сладко-ядовитая муть уже заливала сознание.

Вдруг какой-то шум в коридоре донесся до него. Начав издалека и все приближаясь, хлопали соседние двери. Какое-то слово произносилось всякий раз. Вот — рядом. Вот открылась и дверь Иннокентия:

— Подъем ! — непреклонно объявил матрос Балтийского флота.

— Как ? Почему ? — взревел Иннокентий. — Я всю ночь не спал !

— Шесть часов. Подъем, как закон ! — повторил матрос и пошел объвлять дальше.

И тут с особой густой силой Иннокентию захотелось спать. Он повалился в постель и сразу одеревенел.

Но тотчас же — разве минутки две он успел поспать — косенький с грохотом отпахнул дверь и повторил:

— Подъем ! Подъем ! Матрац — закатать в трубку !

Иннокентий приподнялся на локте и мутно посмотрел на своего мучителя, час назад казавшегося таким симпатичным.

— Но я не спал, поймите !

— Ничего не знаю.

— Ну, вот закачу матрац, встану — а что я буду делать ?

— Ничего. Сидеть.

— Но — почему ?

— Потому что шесть часов утра, вам говорят.

— Так я сидя усну !

— Не дам. Разбужу.

Иннокентий взялся за голову и закачался. Как будто сожаление мелькнуло по лицу косенького надзирателя.

— Умыться хотите ?

— Ну, пожалуй, — раздумался Иннокентий и потянулся за одеждой.

— Руки назад ! Пройдите !

Уборная была за поворотом. Отчаявшись уже заснуть в эту ночь, Иннокентий рискнул снять рубашку и обмыться холодной водой до пояса. Он вольно плескал на цементный пол просторной холодной уборной, дверь была заперта, и косенький не беспокоил его.

Может быть, он и человек, но почему он так коварно не предупредил заранее, что в шесть часов будет подъем ?

Холодная вода выхлестнула из Иннокентия отравную слабость прерванного сна. В коридоре он попробовал заговорить о завтраке, но надзиратель оборвал. В боксе он ответил:

— Завтрака не будет.

— Как не будет ? А что же будет ?

— В восемь утра будет пайка, сахар и чай.

— Что такое пайка ?

— Хлеб значит.

— А когда же завтрак ?

— Не положено. Обед сразу.

— И я все время буду сидеть ?

— Ну, хватит болтать !

Он уже закрыл дверь до щели, как Иннокентий успел поднять руку.

— Ну, что еще ? — распахнулся матрос Балтийского флота.

— У меня пуговицы обрезали, подкладку вспороли — кому отдать пришить ?

— Сколько пуговиц ?

Пересчитали.

Дверь заперлась, вскоре отперлась опять. Косенький протянул иглу, с десяток отдельных кусков ниток и несколько

пуговиц разного размера и материала — костяные, пластмассовые, деревянные.

— Куда ж они годятся ? У меня разве такие срезали ?

— Берите ! И этих нет ! — прикрикнул косенький.

И Иннокентий первый раз в жизни начал шить. Он не сразу догадался, как крепить нитку на конце, как вести стежки, как кончать пришивание пуговицы. Не пользуясь тысячелетним опытом человечества, Иннокентий сам изобрел, как надо шить. Он много раз укололся, от чего нежные оконечности его пальцев стали болеть. Он долго пришивал подкладку мундира, вправлял выпотрошенную вату пальто. Иные пуговицы он пришил не на тех местах, так что полы его мундира взморщились.

Но неторопливый требующий внимания труд не только скрал время, а еще и совершенно успокоил Иннокентия. Внутренние движения его упорядочились, улеглись, не было больше ни страха, ни угнетенности. Ясно представилось, что даже это гнездо легендарных ужасов — Тюрьма Большая Лубянка — не страшна, что и здесь люди живут (ах, как хотелось бы с ними встретиться !). В человеке, не спавшем ночь, не евшем, с жизнью, переломленной в десяток часов, открывалось высшее проникновение, открывалось то в т о р о е д ы х а н и е, которое возвращает каменеющему телу атлета неутомимость и свежесть.

Надзиратель, уже другой, отобрал иголку.

Затем принесли полукилограммовый кусок черного сырого хлеба с треугольным довеском и двумя кусочками пиленного сахара.

Вскоре из чайника в кружку с кошечкой налили окрашенного горячего чая и пообещали добавки.

Все это значило: восемь часов утра двадцать седьмого декабря.

Иннокентий бросил весь дневной сахар в кружку, хотел, опростившись, размешать пальцем, но палец не терпел кипятка. Тогда, помешивая вращением кружки, он с наслаждением выпил (есть не хотелось нисколько), поднятием руки попросил еще.

И вторую кружку, уже без сахара, но обостренно ощущая чайный аромат, Иннокентий с дрожью счастья втянул в себя.

Мысли его просветлились до ясности, давно не бывалой.

В тесном проходе между скамьей и противоположной стеной, цепляя за скатанный в трубку матрац, он стал ходить

в ожидании боя — три маленьких шага вперед, три маленьких шага назад.

Еще одна неопровегнутая и вчера на воле трудная для понимания, всплыла в памяти мысль Эпикура:

« Внутренние чувства удовольствия и неудовольствия суть высшие критерии добра и зла ».

Значит, по Эпикуру, то, что мне нравится — то только и добро, а что не нравится мне — то зло.

Философия дикаря ! . .

Сталину приятно убивать — значит, для него это добро ? А сесть в тюрьму за то, что хотел спасти человека, не приносит же все-таки удовольствия, значит — это зло ?

Нет ! Добро и зло для Иннокентия теперь вещно обособились и зримо разделились этой светло-серой дверью, этими оливковыми стенами, этой первой тюремной ночью.

С высоты борьбы и страдания, куда он вознесся, мудрость великого философа древности казалась лепетом ребенка.

Загремела дверь.

— Фамилия ? — круто бросил еще новый надзиратель восточного типа.

— Володин.

— На допрос ! Руки назад !

Иннокентий взял руки назад и с запрокинутой головой, как птица пьет воду, вышел из бокса.

85

УТРО СТРЕЛЕЦКОЙ КАЗНИ

А на шарашке тоже было время завтрака и чая.

День этот, не предвещавший с утра ничего особенного, отмечен был сперва только придирчивостью старшего лейтенанта Шустермана: он готовился к сдаче смены и старался помешать арестантам спать после подъема. И прогулка была неладная: после вчерашнего таяния взял ночью морозец — и прогулочные тореные дорожки обняла гололедица. Многие зэки выходили, делали один круг, оскользаясь, и возвращались в тюрьму. В камерах же зэки, сидевшие на кроватях кто внизу, а кто, свесив или поджав ноги, вверху, не спешили вставать, а чесали грудь, зевали, начинали « с утра пораньше » невесело шутить друг над другом, над своей злополучной судьбой, да рассказывали сны — любимое арестантское занятие.

Но хотя среди этих снов были и переход мутного потока по мостику, и натягивание на себя длинных сапог — не было, однако, сна, который бы ясно предуказывал гуртовой этап.

Сологдин с утра, как обычно, ходил на дрова. Он и ночью держал окно приотворенным, а уходя на дрова, отворил его еще шире.

Рубин, головой лежавший к тому же окну, не говорил с Сологдиным ни слова. Он и сегодняшнюю ночь страдал бессонницей, лег поздно, ощутил теперь холодную тягу из окна, — но не стал вмешиваться в действия обидчика, а надел меховую шапку со спущенными ушами, телогрейку, в таком виде укрылся с головой одеялом и лежал подобранным кулем, не вставая на завтрак, пренебрегая увещеваниями Шустермана и общим шумом в комнате, — стараясь дотянуть свои положенные часы сна.

Потапов из первых встал, гулял, из первых позавтракал, уже попил и чаю, уже заправил койку в жесткий параллелепипед, сидел читал газету — но душой рвался на работу (ему предстояло сегодня градуировать интересный прибор, им самым сделанный).

Каша на завтрак была пшенная, поэтому многие завтракать не шли.

Герасимович, напротив, долго сидел в столовой, аккуратно и неторопливо вкладывая в рот маленькие кванты каши.

Из другого угла полупустой столовой Нержин кивнул ему, сел за стол тоже одиноко и ел вяло.

Отзавтракав, Нержин взобрался на последние пятнадцать свободных минут к себе на верхнюю койку, лег и смотрел в купол потолка.

В комнате продолжалось обсуждение события с Руськой. Ночевать он не приходил, и уже точно, что был арестован. В тюремном штабе была маленькая темная клетушка, там его заперли.

Говорили не вполне открыто, не называли его вслух двойником, но подразумевали. Говорили в том смысле, что п я т ь ему срока уже некуда — но не переквалифицировали б ему двадцать пять ИТЛ на двадцать пять одиночного (в тот год уже строились специальные тюрьмы из камер-одиночек и все больше входило в моду одиночное заключение). Конечно, Шикин не станет оформлять дело на двойничество. Но не обязательно же обвинять человека именно в том, в чем он виноват: если он белобрысый, можно обвинить его, что он чернявый — и дать приговор такой же, какой дают за белобрысого.

Глеб не знал, далеко ли зашло у Руськи с Кларой, и надо ли, и осмелиться ли успокоить ее ? И как ?

Рубин сбросил одеяло и предстал под общий хохот в меховой шапке и в телогрейке. Смех лично над собой он, впрочем, сносил всегда безобидно. Сняв шапку, но оставаясь в телогрейке и не спуская ног на пол для одевания, так как это не имело теперь большого смысла (сроки прогулки, умывания и завтрака все равно были упущены), — Рубин попросил кого-то налить ему стакан чая — и, сидя в постели, со всклокоченной бородой, бесчувственно вкладывал в рот белый хлеб с маслом и вливал горячую жидкость, — сам же, не продравши глаз, ушел в чтение романа Эптона Синклера, который и держал одной рукой рядом со стаканом. В настроении он был самом мрачном.

По шарашке уже шел утренний обход. Заступал младшина. Он считал головы, а объявления делал Шустерман. Войдя в полукруглую комнату, Шустерман, как и в предыдущих, объявил:

— Внимание ! Заключенным объявляется, что после

ужина никто не будет допускаться на кухню за кипятком, — и по этому вопросу не стучать и не вызывать дежурного!

— Это чье распоряжение? — бешено завопил Прянчиков, выскакивая из пещеры составленных двухэтажных коек.

— Начальника тюрьмы, — веско ответил Шустерман.

— Когда оно сделано? ?

— Вчера.

Прянчиков потряс над головой кулаками на тонких худых руках, словно призывал в свидетели небо и землю.

— Это не может быть! ! — возмущенно протестовал он. — В субботу вечером мне сам министр Абакумов обещал, что по ночам кипяток будет! Это по логике вещей! Ведь мы работаем до двенадцати ночи!

Раскат арестантского хохота был ему ответом.

— А ты не работай до двенадцати, му... к — пробасил Двоетесов.

— Мы не можем держать ночного повара, — рассудительно объяснил Шустерман.

И затем, взяв из рук младшины список, Шустерман гнетущим голосом, от которого сразу все стихло, объявил:

— Внимание! Сейчас на работу не выходят и собираются на этап... Из вашей комнаты: Хоробров! Михайлов! Нержин! Семушкин!... Готовьте казенные вещи к сдаче!

И проверяющие вышли.

Но четыре выкрикнутых фамилии как вихрем закружили все в комнате.

Люди покинули чай, оставили недоеденные бутерброды и бросились друг к другу и к окружающим. Четыре человека из двадцати пяти — это была необычная, обильная жатва жертв. Заговорили все разом, оживленные голоса смешивались с упавшими и презрительно-бодрыми. Иные встали во весь рост на верхних койках, размахивали руками, другие взялись за голову, третьи что-то горячо доказывали, бия себя в грудь, четвертые уже вытряхивали подушки из наволочек, а в общем вся комната представляла собой такой разноречивый разворох горя, покорности, озлобления, решимости, жалоб и расчетов, и все это сгромождено в тесноте и в несколько этажей, что Рубин встал с кровати, как был, в телогрейке, но в кальсонах, и зычно крикнул:

— Исторический день шарашки! Утро стрелецкой казни!

И развел руками перед общей картиной.

Оживленный вид его вовсе не значил, что он рад был этапу. Он равно бы смеялся и над своим отъездом. Перед красным словцом у него не устаивала ни одна святыня.

Этап — это такая же роковая грань в жизни арестанта, как в жизни солдата — ранение. И как ранение может быть легким или тяжелым, излечимым или смертельным, так и этап может быть близким или далеким, развлечением или смертью.

Когда читаешь описание ужасов каторжной жизни у Достоевского, — поражаешься: как покойно им было отбывать срок! Ведь за десять лет у них не бывало ни одного этапа!

Зэк живет на одном и том же постоянном месте, привыкает к своим товарищам, к своей работе, к своему начальству. Как бы ни был он чужд стяжанию, неизбежно он обрастает: у него появляется или присланный с воли фибровый или сработанный в лагере фанерный чемодан. У него появляются: рамочка, куда он вставляет фотографию жены или дочери; тряпичные тапочки, в которых он ходит после работы по бараку, а на день прячет от обыска; возможно даже, что он з а н о с и л лишние хлопчатобумажные брючки или не сдал старые ботинки — и все это перепрятывает от инвентаризации к инвентаризации. У него есть даже своя иголка, его пуговицы надежно пришиты, и еще у него хранится пара запасных. В кисете у него водится табачок.

А если он ф р а й е р — он держит зубной порошок и иногда чистит зубы. У него накопляется пачка писем от родных, заводится собственная книга, обмениваясь которой, он прочитывает все книги лагеря.

Но как гром ударяет над его маленькой жизнью этап — всегда без предупреждения, всегда подстроенный так, чтобы застать зэка врасплох и в последнюю возможную минуту. И вот торопливо рвутся в очко уборной письма родных. И вот конвой — если этап предстоит т е л я ч ь и м и красными вагонами — отрезает у зэка все пуговицы, а табак и зубной порошок высыпает на ветер, ибо ими в пути может быть ослеплен конвоир. И вот конвой — если этап будет с т о л ы п и н с к и м и вагонами — ожесточенно топчет чемоданы, не влезающие в узкую вагонную камеру, а заодно ломает и рамочку для фотографии. В обоих случаях отбирают книги, которые нельзя иметь в дороге, иголку, которой можно перепилить решетку и заколоть конвоира, отметают как хлам

тряпичные тапочки и отбирают в пользу лагеря лишнюю пару брюк.

И очищенный от греха собственности, от наклонности к оседлой жизни, от тяготения к мещанскому уюту (справедливо клейменному еще Чеховым), от друзей и от прошлого, зэк берет руки за спину и в колонне по четыре (« шаг вправо, шаг влево — конвой открывает огонь без предупреждения ! »), окруженный псами и конвойными, идет к вагону.

Вы все видели его в этот момент на наших железнодорожных станциях, — но спешили трусливо потупиться, верноподанно отвернуться, чтобы конвойный лейтенант не заподозрил вас в чем плохом и не задержал бы.

Зэк вступает в вагон — и вагон прицепляют рядом с почтовым. Глухо обрешеченный с обеих сторон, не просматриваемый с платформы, он идет по мирному расписанию и везет в своей замкнутой душной тесноте сотни воспоминаний, надежд и опасений.

Куда везут ? Этого не объявляют. Что ждет зэка на новом месте ? Медные рудники ? Лесоповал ? Или заветная сельхозподкомандировка, где порой удается испечь картошечку и можно от пуза есть скотский турнепс ? Скрутит ли зэка цынга или дистрофия от первого же месяца общих работ ? Или ему посчастливится дать лапу, встретить знакомого — и он зацепится дневальным, санитаром или даже помощником каптера ? И разрешают ли на новом месте переписку ? Или на много лет пресекутся от него письма, и родные причтут его к мертвецам ? . .

Может быть, он и не доедет до места назначения ? В телячьем вагоне умрет от дизентерии ? Оттого, что шесть суток эшелон будут гнать без хлеба ? Или конвой забьет его молотками за чей-то побег ? Или в конце пути из нетопленной теплушки будут выбрасывать, как дрова, окоченевшие трупы зэков ?

Красные эшелоны идут до Совгавани месяц . . .

Помяни, Господи, тех, кто не доехал !

И хотя с шарашки отпускали мягко, оставляли зэкам до первой тюрьмы даже бритвы — все эти вопросы с их вечной силой щемили сердца тех двадцати арестантов, которые при утреннем обходе комнат во вторник были выкликнуты на этап.

Беззаботная полу-вольная жизнь шарашечных зэков для них кончилась.

86

ПРОЩАЙ, ШАРАШКА !

Как ни был Нержин охвачен заботами этапа, — в нем вспыхнуло и обострилось настроение о т т я н у т ь на прощание майора Шикина. И по звонку на работу, несмотря на приказ оставаться в общежитии и ждать надзирателя, он, как и все остальные девятнадцать невызванных на этап, ринулся сквозь проходные двери. Взлетев на третий этаж, он постучал к Шикину. Ему велели войти.

Шикин сидел за столом угрюмый, темный. Что-то дрогнуло в нем со вчерашнего дня. Одной ногой он провел над пропастью и знал теперь ощущение, когда не на что стать.

Но прямого и скорого выхода не имела его ненависть к этому мальчишке ! Самое большое (и самое безопасное для себя), что мог сделать Шикин — это помотать Доронина по карцерам, сердечно нагадить ему в характеристику и отправить назад на Вокруту, где с такой характеристикой он попадет в режимную бригаду — и вскоре подохнет. И результат будет тот же самый, что судить бы его и расстрелять.

Сейчас, с утра, он не вызвал Доронина на допрос потому, что ожидал разных протестов и помех со стороны отправляемых.

Он не ошибся. Вошел Нержин.

Майор Шикин всегда не терпел этого худощавого неприязненного зэка с его неуклонно-твердой манерой держаться, с его дотошным знанием всех законов. Шикин давно уже уговаривал Яконова отправить Нержина на этап и сейчас со злорадным удовольствием посмотрел на враждебное выражение входящего, предполагая, что тот будет выяснять, за что его отсылают.

У Нержина был природный дар, не задумываясь, сложить жалобу в немногочисленные разящие слова и произнести их единым духом в ту короткую секунду, когда открывается к о р м у ш к а в двери камеры, или уместить на клочке промокательно-туалетной бумаги, выдаваемой в тюрьмах для письменных заявлений. За пять лет сидения он выработал в

себе и особую решительную манеру разговаривать с начальством — то, что на языке зэков называется культурно оттягивать. Слова он употреблял только корректные, но высокомерно-иронический тон, к которому, однако, нельзя было придраться, был тоном разговора старшего с младшим.

— Гражданин майор ! — заговорил он с порога. — Я пришел получить незаконно отнятую у меня книгу. Я имею основания полагать, что шесть недель — достаточный при транспортных условиях города Москвы срок, чтобы убедиться, что она допущена цензурой.

— Книгу ? — поразился Шикин (потому что так быстро не нашелся ничего умней). — Какую книгу ?

— В равной мере, — сыпал Нержин, — я полагаю, что вы знаете о какой книге речь. Об избранных произведениях Сергея Есенина в серии « Малая библиотека поэта ».

— Е-се-ни-на ? ! — будто только сейчас вспоминая и потрясенный этим крамольным именем, откинулся майор Шикин к спинке кресла. Седеющий ежик его головы выражал негодование и отвращение. — Да как у вас язык поворачивается — спрашивать Е-се-ни-на ?

— А почему бы и нет ? Он издан у нас, в Советском Союзе.

— Этого мало !

— Кроме того, он издан в тысяча девятьсот сороковом году, то есть, не попадает в запретный период тысяча девятьсот семнадцатый тире тысяча девятьсот тридцать восьмой.

Шикин нахмурился.

— Откуда вы взяли такой период ?

Нержин отвечал так уплотненно, будто заранее выучил все ответы наизусть:

— Мне очень любезно дал разъяснения один лагерный цензор. Во время предпраздничного обыска у меня был отобран « Толковый словарь » Даля на том основании, что он издан в 1935 году и подлежит поэтому серьезнейшей проверке. Когда же я доказал цензору что словарь есть фотомеханическая копия с издания 1881 года, цензор мне охотно книгу вернул и разъяснил, что против дореволюционных изданий возражений не имеется, ибо враги народа еще тогда не орудовали ». И вот такая неприятность: Есенин издан в 1940-м.

Шикин солидно помолчал.

— Пусть так. Но вы, — внушительно спросил он, — вы — читали эту книгу ? Вы — всю ее читали ? Вы можете письменно это подтвердить ?

— Отбирать от меня подписку к статье девяносто пятой УК РСФСР у вас сейчас нет юридических оснований. Устно же подтверждаю: я имею дурную привычку *читать* те книги, которые являются моей собственностью и, обратно, держать лишь те книги, которые я читаю.

Шикин развел руками.

— Тем хуже для вас!

Он хотел выдержать многозначительную паузу, но Нержин заметал ее словами:

— Итак, суммарно повторяю свою просьбу. Согласно седьмому пункту раздела Б тюремного распорядка верните мне незаконно отобранную книгу.

Подергиваясь под этим потоком слов, Шикин встал. Когда он сидел за столом, большая голова его, казалось, принадлежала не мелкому человеку, — вставая же, он становился меньше, очень короткими выдавались и ноги его, и руки. Темнолицый, он приблизился к шкафу, отпер и вынул изящный томик Есенина, осыпанный кленовыми листьями по суперобложке.

Несколько мест у него было заложено. По-прежнему не предлагая Нержину сесть, он удобно расположился в своем кресле и стал, неторопясь, просматривать по закладкам. Нержин тоже спокойно сел, оперся руками о колени и неотступно-тяжелым взглядом следил за Шикиным.

— Ну вот, пожалуйста, — вздохнул майор, и прочел бесчувственно, меся как тесто стихотворную ткань:

Неживые чужие ладони!
Этим песням при вас не жить.
Только будут колосья-кони
О хозяине старом тужить.

— Это — о каком хозяине? Это — чьи ладони?

Арестант смотрел на пухлые белые ладони оперуполномоченного.

— Есенин был классово-ограничен и многого *недо*понимал, — поджатыми губами выразил он соболезнование. — Как Пушкин, как Гоголь...

Что-то новое послышалось в голосе Нержина, от чего Шикин исподлобья опасливо на него взглянул. Перед зэками, которые Шикина не боялись, Шикин сам испытывал тайную боязнь — обычную боязнь хорошо одетых и благополучных людей перед плохо одетыми и неблагополучными. Его власть

сейчас плохо защищала его. На всякий случай он встал и приоткрыл дверь.

— А это как понять ? — прочел Шикин, вернувшись в кресло:

Розу белую с черной жабой
Я хотел на земле повенчать...

И дальше тут... На что это намекается ?

Вытянутое горло арестанта вздрогнуло.

— Очень просто, — ответил он. — Не пытаться примирять белую розу истины с черной жабой злодейства !

Черной жабой сидел перед ним короткорукий большеголовый чернолицый к у м .

— Однако, гражданин майор, — Нержин говорил быстрыми, налезающими друг на друга словами, — я не имею времени входить с вами в литературные разбирательства. Меня ждет конвой. Шесть недель назад вы заявили, что пошлете запрос в Главлит. Посылали вы ?

Шикин передернул плечами и захлопнул желтую книжечку.

— Я не обязан перед вами отчитываться ! Книги я вам не верну. И все равно вам ее не дадут вывезти.

Нержин гневно встал, не отводя глаз от Есенина. Он представил себе, как эту книжечку когда-то держали милосердные руки жены и писали в ней:

« Так и все утерянное к тебе вернется ! »

Слова безо всякого усилия выстреливали меж его губ:

— Гражданин майор ! Я надеюсь, вы не забыли, как я два года требовал с министерства госбезопасности безнадежно отобранные у меня польские злотые, и хоть двадцать раз усчитанные в копейки — все-таки через Верховный Совет их получил. Я надеюсь, вы не забыли, как я требовал пяти граммов подболточной муки ? Надо мной смеялись — но я их добился ! ? И еще множество примеров ! Я предупреждаю вас, что эту книгу я вам не отдам ! Я умирать буду на Колыме — и оттуда вырву ее у вас ! Я заполню жалобами на вас все ящики ЦК и совета министров. Отдайте по-хорошему !

И перед этим обреченным, бесправным, посылаемым на медленную смерть зэком майор госбезопасности не устоял. Он, действительно, запрашивал Главлит и оттуда, к удивлению его, ответили, что книга формально не запрещена. Формаль-

но ! ! Верный нюх подсказывал Шикину, что это — оплошность, что книгу непременно надо запретить. Но следовало и поберечь свое имя от нареканий этого неутомимого склочника.

— Хорошо, — уступил майор. — Я вам ее возвращаю. Но увезти ее мы вам не дадим.

С торжеством вышел Нержин на лестницу, прижимая к себе милый желтый глянец суперобложки. Это был символ удачи в минуту, когда все рушилось.

На площадке он миновал группу арестантов, обсуждавших последние события. Среди них (но так, чтоб не донеслось до начальства) ораторствовала Сиромаха:

— Что делают ? ! Та-ких ребят на этап посылают ! За что ? А Руську Доронина ? Какой же гад его з а л о ж и л , а?

Сжимая томик Есенина, Нержин спешил в Акустическую и думал, как побыстрей, пока к нему не приставят надзирателя, уничтожить свои записки. Полагалось этапируемых уже не пускать вольно ходить по шарашке.

Лишь многочисленности этапа да, может быть, мягкости младшины с его вечными упущениями по службе, обязан был Нержин своей последней короткой свободой.

Он распахнул дверь Акустической и увидел перед собой растворенные дверцы железного шкафа, а между ними — Симочку, снова в некрасивом полосатом платьице и с серым козьим платком на плечах.

Ни слова, ни взгляда еще не было между ними после вчерашнего жестокого объяснения.

Она не увидела, но почувствовала вход Нержина и смешалась, замерла, как бы раздумывая, что именно ей взять из шкафа.

Он не думал, не взвешивал — он вступил в пространство между железными дверцами шкафа и шепотом сказал:

— Серафима Витальевна ! После вчерашнего — безжалостно обращаться к вам. Но труд многих лет моих гибнет. Мне его — сжечь ? Вы не возьмете ?

Она уже знала об его отъезде. Она не пошевельнулась, услышав, что он уезжает. Но на последний вопрос подняла печальные, не спавшие сегодня глаза и сказала:

— Дайте.

Кто-то шел, Нержин метнулся дальше, прошел к своему столу и встретил майора Ройтмана.

Лицо Ройтмана было растеряно. С неловкой улыбкой он сказал:

— Глеб Викентьич! Как это досадно! Ведь меня не предупредили... Я понятия не имел... А сегодня уже ничего поправить нельзя.

Нержин поднял холодно-сожалеющий взгляд к человеку, которого до сегодняшнего дня считал искренним.

— Эх, Адам Веньяминович! Ведь я здесь не первый день. Такие вещи без начальников лабораторий не делаются.

И стал разгружать ящики стола.

На лице Ройтмана отразилась боль.

— Но, поверьте, Глеб Викентьич, меня не спросили, не предупредили...

Он говорил это вслух при всей лаборатории. Он предпочитал потерять авторитет у остающихся, чем быть подлецом в глазах уезжающего.

Капли пота выступили на его лбу. Он неосмысленно следил за сборами Нержина.

С ним и в самом дел не посоветовались. Это был очередной удар инженер-полковника.

— Материалы по артикуляции я сдам Серафиме Витальевне? — беззаботно спрашивал Нержин.

Ройтман, расстроенный, не ответив, медленно вышел из комнаты.

Принимайте, Серафима Витальевна, — сказал Нержин и стал носить к ее столу папки, подшивки, таблицы.

И в одну папку уже вложил свои три блокнота. Но какой-то внутренний дух-советник подтолкнул Нержина не делать этого.

Глеб скользнул по вытянутому непроницаемому лицу Симочки. А вдруг это — ловушка? Месть женщины? Долг лейтенанта МГБ?

Но если даже протянутые руки ее теплы — надолго ли хватит девичьей верности? Одуванчик — до первого ветра, девушка — до первого мужчины. И мужу своему принесет: вот у меня тут осталось, милый...

Он переложил блокноты в карман, а папки носил Симочке.

Горела Александрийская библиотека. Горели, но не сдавались, летописи в монастырях. И сажа лубянских труб — сажа от сжигаемых бумаг, бумаг, бумаг, падала на зэков, выводимых гулять в коробочку на тюремной крыше.

Может быть, великих мыслей сожжено больше, чем обнародовано...

Если будет цела голова — неужели она не повторит?

Нержин тряхнул спичками, выбежал, заперся в уборной. ... И через десять минут вернулся бледный, безразличный.

Тем временем в лабораторию пришел Прянчиков.

— Да как это можно ? — разорялся он. — Мы одеревенели ! Мы даже не возмущаемся ! О т п р а в л я т ь на этап ! Отправлять можно багаж, но кто дал право отправлять л ю д е й ? !

Горячая проповедь Валентули встречала отклик в зэческих сердцах. Взбудораженные этапом, все зэки лаборатории не работали. Этап всегда был миг напоминания, миг — « Все там будем ». Этап заставлял каждого, даже не тронутого им зэка подумать о бренности своей судьбы, о закланности своего бытия топору ГУЛАГа. Даже ни в чем не провинившегося зэка годика за два до конца срока непременно отсылали с шарашки, чтоб он все забыл и от всего отстал. Только у двадцатипятилетников не бывало к о н ц а срока, за что оперчасть и любила брать их на шарашки.

Зэки в вольных телоположениях окружили Нержина, иные сели вместо стульев на столы, как бы подчеркивая этим приподнятость момента. Они были настроены меланхолически и философски.

Как на похоронах вспоминают все хорошее, что сделал покойник, так сейчас они в похвалу Нержину вспомнили, каким любителем к а ч а т ь п р а в а он был и сколько раз защищал общеарестантские интересы. Тут была и знаменитая история с подболточной мукой, когда он завалил тюремное управление и министерство внутренних дел жалобами по поводу ежедневной недодачи пяти граммов муки е м у л и ч н о (по тюремным правилам не могло быть жалобы коллективной или жалобы на недодачу чего-либо д р у г и м, в с е м. Хотя арестант по идее и должен исправляться в сторону социализма, но ему запрещается болеть за общее дело). Зэки шарашки в то время еще не наедались, и борьба за пять граммов муки воспринималась острей, чем международные события. Захватывающая эпопея кончилась победой Нержина: был снят с работы « кальсонный капитан », помощник начальника спецтюрьмы по хозчасти, и из подболточной муки на все население шарашки стали варить дважды в неделю дополнительную лапшу. Вспомнили тут и борьбу Нержина за увеличение воскресных прогулок, которая кончилась, однако, поражением: если б арестантам разрешили свободно гулять в воскресенье — кто б из них работал ?

Напротив, сам Нержин почти и не слушал этих эпитафий. Для него наступил миг действия, энергия так и извергалась из него. Теперь уж худшее свершилось, а лучшее зависело только от него. Передав Симочке артикуляционные материалы, сдав помошнику Ройтмана все секретное, уничтожив огнем и разрывом все личное, сложив в несколько стоп все библиотечное, он теперь выгребал последнее из ящиков и раздаривал ребятам. Уже было решено, кому достанется его крутящийся желтый стул, кому — немецкий стол с падающими шторками, кому — чернильница, кому — рулон цветной и мраморной трофейной бумаги. Умерший с веселой улыбкой сам раздавал свое наследство, а наследники несли ему кто по две, кто по три пачки папирос (таково было шарашечное установление: на э т о м свете папирос было изобилие, на т о м свете папиросы были дороже хлеба).

Из совсекретной группы пришел Рубин. Его глаза были грустны, нижние веки обвисли.

Соображая над книгами, Нержин сказал ему:

— Если б ты любил Есенина, — я б тебе его сейчас подарил.

— Неужели отбил ? — удивился Рубин.

— Но ты больше любишь Багрицкого, — и я тебе ничем не могу помочь.

— У тебя помазка нет, — достал Рубин из кармана шикарный по арестантским понятиям помазок с полированной пластмассовой ручкой, — а я все равно дал обет не бриться до дня оправдания — так возьми его !

Рубин никогда не говорил — « день освобождения », ибо таковой мог означать естественный конец срока, — всегда же говорил « день оправдания », так как непрерывно хлопотал о пересмотре своего дела.

— Спасибо, старик, но ты так о ш а р а ш и л с я, что забыл лагерные порядки. Кто же в лагере даст мне бриться самому ?.. Ты мне книги сдать не поможешь ?

И они стали сгребать и складывать книги и журналы. Окружающие разошлись.

Нагрузившись множеством томов, они вышли из лаборатории, поднялись по главной лестнице. У ниши верхнего коридора остановились поправить рассыпающиеся стопки и передохнуть.

Глаза Нержина, все сборы блиставшие огнем нездорового возбуждения, теперь потускнели и стали малоподвижны.

— И вот, друже, — протянул он, — и трех лет мы не

пожили вместе, жили все время в спорах, издеваясь друг над другом, — а сейчас, когда я теряю тебя, должно быть навсегда, я так ясно ощущаю, что ты — один из самых мне... из самых...

Его голос переломился.

Большие карие глаза Рубина, которые многим запоминались в искрах гнева, теплились добротой и застенчивостью.

— Так все сошлось, — кивал он. — Давай поцелуемся, зверь.

И принял Нержина в свою пиратскую черную бороду.

Тотчас за этим, едва вошли они в библиотеку, их нагнал Сологдин. У него было очень озабоченное лицо. Не рассчитав, он слишком хлопнул остекленной дверью, отчего она задребезжала, а библиотекарша оглянулась недовольно.

— Так, Глебчик, так ! — сказал Сологдин. — Свершилось. Ты уезжаешь.

Совершенно не замечая рядом «библейского фанатика», Сологдин смотрел только на Нержина.

Равно и Рубин не нашел в себе примиряющего чувства к «докучному гидальго» и отвел глаза.

— Да, ты уезжаешь. Жаль. Очень жаль.

Сколько они говаривали друг с другом на дровах, сколько спорили на прогулках ! А сейчас не у места и не у времени были правила мышления и жизни, которые Сологдин хотел передать и не успел.

— Слушай, — сказал он. — Время — деньги. Еще не поздно. Дай согласие остаться расчетчиком — и я, может быть, успею тебя оставить. Тут в одну грушу. — (Рубин удивленно метнул взглядом по Сологдину). — Но придется в к а л ы в а т ь, предупреждаю честно.

Нержин вздохнул.

— Спасибо, Митяй. Такая возможность у меня была. Но что-то я и сам уже настроился на эксперимент. Говорит пословица: н е м о р е т о п и т, а л у ж а. Хочу попробовать пуститься в море.

— Да ? Ну, смотри, ну смотри, — с деловым видом быстро говорил Сологдин. — Очень жаль, очень жаль, Глебчик.

Лицо его было озабочено, он торопился, только заставлял себя не торопиться.

Так они стояли трое и ждали, пока библиотекарша с перекрашенными волосами, сильно накрашенными губами и сильно напудренная, тоже лейтенант, хотя и без мундира, лениво сверялась в библиотечном формуляре Нержина.

И Глеб, переживавший разлад друзей, в полной тишине библиотеки тихо сказал:

— Друзья ! Надо помириться !

Ни Сологдин, ни Рубин не повели головами.

— Митя ! — настаивал Глеб.

Сологдин поднял холодное голубое пламя взгляда.

— Почему ты обращаешься ко м н е ? — удивился он.

— Лева ! — повторил Глеб.

Рубин посмотрел на него скучающе.

— Ты знаешь, почему лошади долго живут ? — И после паузы объяснил: — Потому что они никогда не выясняют отношений.

Исчерпав свое служебное имущество и дела по службе, понукаемый надзирателем идти в тюрьму собираться, — Нержин с ворохом папиросных пачек в руках встретил в коридоре спешащего Потапова с ящичком под мышкой. На работе Потапов и ходил совсем не так, как на прогулке: несмотря на хромоту, он шел быстро, шею держал напряженно выгнутой сперва вперед, а потом назад, глаза щурил и смотрел не под ноги, а куда-то вдаль, как бы спеша головой и взглядом опередить свои немолодые ноги. Потапову обязательно надо было проститься с Нержиным и с другими отъезжающими, но едва только он утром вошел в лабораторию, как внутренняя логика работы захватила его, подавив в нем все остальные чувства и мысли. Эта способность целиком захватываться работой, забывая о жизни, была основой его инженерных успехов на воле, а в тюрьме помогала сносить невзгоды.

— Вот и все, Андреич, остановил его Нержин. — Покойник был весел и улыбался.

Потапов сделал усилие. Человеческий смысл включился в его глаза. Свободной от ящика рукой он дотронулся до затылка, как если б хотел почесать его.

— Ку-ку-у . . . — протянул он.

— Подарил бы вам, Андреич, Есенина, да вы все равно кроме Пушкина . . .

— И мы там будем, — сокрушенно сказал Потапов.

Нержин вздохнул.

— Где теперь встретимся ? На котласской пересылке ? На индигирских приисках ? Не верится, чтобы, самостоятельно передвигая ногами, мы могли бы сойтись на городском тротуаре. А ? . .

С прищуром у углов глаз, Потапов проскандировал:

— Для при-зра-ков закрыл я вежды:
Лишь отдаленные надежды
Тревожат сердце и-но-гда.

Из двери Семерки высунулась голова упоенного Меркушева.

— Ну, Андреич! Где же фильтры? Работа стоит! — крикнул он раздраженным голосом.

Соавторы «Улыбки Будды» обнялись неловко. Пачки «Беломора» посыпались на пол.

— Вы ж понимаете, — сказал Потапов, — икру мечем, все некогда.

Икрометанием Потапов называл тот суетливый, крикливый, безалаберно-поспешный стиль работы, который царил в институте Маврино, и не в нем одном, тот стиль, который газеты называли «штурмовщиной» и «текучкой».

— Пишите! — добавил Потапов, и оба засмеялись. Ничего не было естественней сказать так при прощании, но в тюрьме это пожелание звучало издевательством. Между островами ГУЛАГа переписку пресекали.

И снова, держа ящичек фильтров под мышкой, запрокинув голову вверх и назад, Потапов помчался по коридору, почти вроде и не хромая.

Поспешил и Нержин — в полукруглую камеру, где стал собирать свои вещи, изощренно предугадывая враждебные неожиданности шмонов, ожидающих его сперва в Маврино, а потом в Бутырках.

Уже дважды заходил торопить его надзиратель. Уже другие вызванные ушли или были угнаны в штаб тюрьмы. Под самый конец сборов Нержина, дыша дворовой свежестью, в комнату вошел Спиридон в своем черном перепоясанном бушлате. Сняв большеухую рыжую шапку и осторожно загнув с угла чью-то неподалеку от Нержина постель, обернутую белым пододеяльником, он присел нечистыми ватными брюками на стальную сетку.

— Спиридон Данилыч! Глянь-ка! — сказал Нержин и перетянулся к нему с книгой. — Есенин уж здесь!

— Отдал, змей? — По мрачному, особенно изморщенному сегодня лицу Спиридона пробежал лучик.

— Не так мне книга, Данилыч, распространялся Нержин, — как главное, чтобы по морде нас не били.

— Именно, — кивнул Спиридон.

— Бери, бери книгу. Это я на память тебе.

— Не увезть ? — рассеянно спросил Спиридон.

— Подожди, — Нержин отобрал книгу, распахнул ее, и стал искать страницу. — Сейчас я тебе найду, вот тут прочтешь . . .

— Ну, кати, Глеб, — невесело напутствовал Спиридон. — Как в лагере жить — знаешь: душа болит за производство, а ноги тянут в санчасть.

— Теперь уж я не новичок, не боюсь, Данилыч. Хочу попробовать работнуть. Знаешь, говорят: не море топит, а лужа.

И тут только, всмотревшись в Спиридона, Нержин увидал, что тому сильно не по себе, больше, чем только от расставания с приятелем. И тогда он вспомнил, что вчера за новыми стеснениями тюремного начальства, разоблачениями стукачей, арестом Руськи, объяснением с Симочкой, — он совсем забыл, что Спиридон должен был получить письмо из дому. Он отложил книгу.

— Письмо-то ? ! Письмо получил, Данилыч ?

Спиридон и держал руку в кармане на этом письме. Теперь он достал его — конверт, сложенный вдвое, уже истертый на перегибе.

— Вот . . . Да недосуг тебе . . . — дрогнули губы Спиридона.

Много раз со вчерашнего дня отгибался и снова загибался этот конверт ! Адрес был написан крупным круглым доверчивым почерком дочери Спиридона, сохраненным от пятого класса школы, дальше которого Вере учиться не пришлось.

По их со Спиридоном обычаю, Нержин стал читать письмо вслух:

« Дорогой мой батюшка !
Не то, что писать вам, а и жить я больше не смею.
Какие же люди есть на свете дурные, что говорят —
и обманывают . . . »

Голос Нержина упал. Он вскинул глаза на Спиридона, встретил его открытые, почти слепые, неподвижные глаза под мохнатыми рыжими бровями. Но и секунды не успел подумать, не успел приискать неложного слова утешения, — как дверь распахнулась, и ворвался рассерженный Наделашин:

— Нержин ! — закричал он. — С вами по-хорошему, так вы на голову садитесь ? Все собрались — вы последний !

Надзиратели спешили убрать этапируемых в штаб до

начала обеденного перерыва, чтоб они не встречались ни с кем больше.

Нержин обнял Спиридона одной рукой за густозаросшую неподстриженную шею.

— Давайте ! Давайте ! Больше ни минуты — понукал младшина.

— Данилыч-Данилыч, — говорил Нержин, обнимая рыжего дворника.

Спиридон вздохнул с хрипами в груди и махнул рукой.

— Прощай, Глеба.

— Прощай навсегда, Спиридон Данилыч !

Они поцеловались. Нержин взял вещи и порывисто ушел, сопутствуемый дежурным.

А Спиридон неотмывающимися, со въевшейся многолетней грязью, руками снял с кровати развернутую книжку, по обложке обсыпанную кленовыми листьями, заложил дочерним письмом и ушел к себе в комнату.

Он не заметил, как коленом свалил свою мохнатую шапку, и она осталась так лежать на полу.

87

МЯСО

По мере того, как этапируемых арестантов сгоняли в штаб тюрьмы, — их ш м о н и л и, а по мере того, как их п р о ш м а н и в а л и — их перегоняли в запасную пустую комнату штаба, где стояло два голых стола и одна грубая скамья. При них неотлучно присутствовал сам майор Мышин и временами заходил полковник Климентьев. Туго налитому лиловому майору несручно было наклоняться к мешкам и чемоданам (да и не подобало это его чину), но его присутствие не могло не воодушевить в е р т у х а е в. Они рьяно развязывали все арестантские тряпки, узелки, лохмотья и особенно придирались ко всему писаному. Была инструкция, что уезжающие из спецтюрьмы не имели права везти с собой ни клочка писаного, рисованного или печатного. Поэтому большинство зэков загодя сожгли все письма, уничтожили тетради заметок по своим специальностям и раздарили книги.

Один заключенный, инженер Ромашев, которому оставалось до конца срока шесть месяцев (он уже отбухал девятнадцать с половиной лет), открыто вез большую папку многолетних вырезок, записей и расчетов по монтажу гидростанций (он ждал, что едет в Красноярский край и очень рассчитывал там работать по специальности). Хотя эту папку уже просматривал лично инженер-полковник Яконов и поставил свою визу на выпуск ее, хотя майор Шикин уже отправлял ее в Отдел, и там тоже поставили визу, — вся многомесячная исступленная предусмотрительность и настойчивость Ромашева оказалась зряшной: теперь майор Мышин заявил, что е м у ничего об этой папке неизвестно, и велел отобрать ее. Ее отобрали и унесли, и инженер Ромашев остывшими, ко всему привычными глазами посмотрел ей вслед. Он пережил когда-то и смертный приговор, и этап телячьими вагонами от Москвы до Совгавани, и на Колыме в колодце подставлял ногу под бадью, чтоб ему перешибло бадьей голень, и в больнице отлеживался от лютой смерти заполярных о б щ и х р а б о т. Теперь над гибелью десятилетнего труда и вовсе не стоило рыдать.

Другой заключенный, маленький лысый конструктор Семушкин, в воскресенье так много стараний приложивший к штопке носков, был, напротив, новичок, сидел всего около двух лет и то все время в тюрьмах да на шарашке и теперь крайне был перепуган лагерем. Но несмотря на перепуг и отчаяние от этапа, он пытался сохранить маленький томик Лермонтова, который был у них с женой семейной святыней. Он умолял майора Мышина вернуть томик, не по-взрослому ломал руки; оскорбляя чувства сиделых зэков, пытался прорваться в кабинет к подполковнику (его не пустили); — и вдруг выхватил Лермонтова из рук к у м а (тот в страхе отскочил к двери, сочтя это за сигнал бунта), с силой, которой в нем не предполагали, одним рывком оторвал обложки от самого тома, зеленые тисненые обложки, отшвырнул в сторону, а листы книги стал изрывать полосами, судорожно плача и крича:

— Нате! Жрите! Лопайте! и разбрасывать их по комнате.

Шмон продолжался.

Выходившие со шмона арестанты с трудом узнавали друг друга: по команде сбросив в одну кучу синие комбинезоны, в другую — казенное клейменное белье, в третью — пальто, если оно было еще не истрепано, они одевались теперь во все свое, либо же в с м е н к у. За годы службы на шарашке они не выслужили себе одежды. И это не было злобой или скупостью начальства. Начальство было подведомственно оку бухгалтерии.

Поэтому одни, несмотря на разгар зимы, оставались теперь без белья и натянули трусы и майки, много лет затхло пролежавшие в их мешках в конторке такими же нестиранными, какими были в день приезда из лагеря; другие обулись в неуклюжие лагерные ботинки (у кого такие лагерные ботинки были обнаружены в мешках, у того теперь полуботинки «вольного» образца с галошами отбирались), иные — в кирзовые сапоги с подковами, а счастливцы — и в валенки.

Валенки! Вторая душа арестанта!.. Самое бесправное из всех земных существ и меньше предупрежденное о своем будущем, чем лягушка, крот или полевая мышь, — зэк беззащитен перед превратностями судьбы. В самой теплой глубокой норке зэк никогда не может быть спокоен, что в наступившую ночь он обережен от ужасов зимы, что его не выхватит рука с голубым обшлажным окаемком и не потащит на северный полюс. Горе тогда конечностям, не обутым в валенки! Двумя обмороженными ледышками он составит их на Колыме из кузова грузовика. Зэк без собственных валенок всю зиму живет

притаясь, лжет, лицемерит, сносит оскорбления ничтожных людей, или сам угнетает других — лишь бы не попасть на зимний этап. Но бестрепетен зэк, обутый в собственные валенки ! Он дерзко смотрит в глаза начальству и с улыбкой Марка Аврелия получает обходную.

Несмотря на оттепель снаружи, все, у кого были собственные валенки, в том числе Хоробров и Нержин, отчасти чтобы меньше и ш а ч и т ь на себе, а главное, чтобы почувствовать их успокаивающую бодрящую теплоту всеми ногами — засунули ноги в валенки и гордо ходили по пустой комнате. Хотя ехали они сегодня лишь в Бутырскую тюрьму, а там ничуть не было холодней, чем на шарашке. Только бесстрашный Герасимович, отказавшийся ловить человеков, не имел ничего своего, и каптер дал ему « на сменку » широкий на него, никак не запахивающийся длиннорукавный бушлат, « бывший в употреблении », и бывшие же в употреблении тупоносые кирзовые ботинки.

Такая одежда особенно казалась смешна на нем из-за его пенснэ.

Шмон был закончен, все двадцать зэков загнаны в пустую ожидальню со своими разрешенными к увозу вещами, дверь за ними затворилась и, в ожидании воронка, к двери был приставлен часовой. Еще другой надзиратель был наряжен ходить под окнами, скользя по обледенице, и отгонять провожающих, если они появятся в обеденный перерыв.

Так все связи двадцати отъезжающих с двумястами шестьюдесятью одним остающимся были разорваны.

Этапируемые еще были здесь, но уже их и не было здесь.

Сперва, заняв как попало места на своих вещах и на скамьях, они все молчали.

Они додумывали каждый о шмоне — что было отнято у них, и что удалось пронести.

И о шарашке — что за блага терялись на ней, и какая часть срока прожита на ней, и какая часть срока осталась.

Заключенные — любители пересчитывать время: уже потерянное, и впредь обреченное к утере.

Еще они думали о родных, с которыми не сразу установится связь. И что опять придется просить у них помощи, ибо ГУЛАГ — такая страна, где взрослый мужчина, работая в день двенадцать часов, неспособен прокормить себя.

Думали о промахах или о своих сознательных решениях, приведших их к этому этапу.

О том, куда же зашлют ? Что ждет на новом месте ? и как устраиваться там ?

У каждого по-своему текли мысли, но все они были невеселы.

Каждому хотелось утешения и надежды.

Поэтому, когда возобновился разговор, что, может быть, их вовсе не в лагерь шлют, а на другую шарашку, — даже те, кто совсем в это не верили — прислушивались.

Ибо и Христос в Гефсиманском саду, твердо зная свой горький рок, все еще молился и надеялся.

Чиня ручку своего чемодана, все время срывающуюся с крепления, Хоробров громко ругался:

— Ну, собаки ! Ну, гады ! Простого чемодана — и того сделать не могут ! Ведь вот какая-то сволочь рационализацию внесла, драть ее лети, стальную дужку двумя концами загибают и всовывают в ушко ручки. Пока чемодан пустой — держит, а — нагрузи ?

И кусками кирпича, отваленного от печки, выложенной тем же скоростным методом, Хоробров зло сбивал концы дужки в ушко.

Нержин хорошо понимал Хороброва. Всякий раз сталкиваясь с унижением, пренебрежением, наплевательством, издевательством, Хоробров разъярялся — но как об этом было рассуждать спокойно ? Разве изысканными словами выразить вой ущемленного ? Именно сейчас, облачась в лагерное и едучи в лагерь, Нержин и сам ощущал, что возвращается к важному элементу мужской свободы: каждое пятое слово ставить матерное.

Ромашев негромко рассказывал новичкам, какими дорогами обычно возят арестантов в Сибирь и, сравнивая куйбышевскую пересылку с горьковской и кировской, очень хвалил первую.

Хоробров перестал стучать и в сердцах швырнул кирпичом об пол, раздробляя в красную крошку.

Тем временем Нержин, чувствуя, как от лагерной одежды задор овладевает им, встал, через часового вызвал Наделашина и полнозвучно заявил:

— Младший лейтенант ! Мы видим в окно, что уже полчаса, как идет обед. Почему не несут нам ?

Младшина неловко отоптался и сочувственно заявил:

— Вы сегодня ... со снабжения сняты ...

— То есть, как это сняты ? — И слыша за спиной гул поддерживающего недовольства, Нержин стал р у б и т ь. — Доложите начальнику тюрьмы, что без обеда мы никуда не поедем ! И силой посадить себя — не дадимся !

— Хорошо, я доложу ! — сейчас же уступил младшина. И виновато поспешил к начальнику.

Никто в комнате не усомнился, стоит ли связываться. Брезгливое чаевое благородство зажиточных вольняшек — дико зэкам.

— Правильно !

— Тяни их !

— Зажимают гады !

— Крохоборы ! За три года службы один обед пожалели !

— Не уедем ! Очень просто ! Что они с нами сделают ?

Даже те, кто были повседневно тихи и смирны с начальством, теперь расхрабрились. Вольный ветер пересыльных тюрем бил в их лица. В этом последнем мясном обеде было не только последнее насыщение перед месяцами и годами баланды — в этом последнем мясном обеде было их человеческое достоинство. И даже те, у кого от волнения пересохло горло и кому совсем невмоготу сейчас был есть, — даже те, позабыв о своей кручине, ждали и требовали этого обеда.

Из окна видна была дорожка, соединяющая штаб с кухней. Видно было, как к дровопилке задом подошел грузовик, в кузове которого просторно лежала большая елка, перекинувшись через борта лапами и вершинкой. Из кабины вышел завхоз тюрьмы, из кузова спрыгнул надзиратель.

Да, подполковник держал слово. Завтра-послезавтра елку поставят в полукруглой комнате, арестанты-отцы, без детей своих сами превратившиеся в детей, обвесят ее игрушками (не пожалеют казенного времени на их изготовление), Клариной корзиночкой, ясным месяцем в стеклянной клетке; возьмутся в круг, усатые, бородатые и, перепевая волчий вой своей судьбы, с горьким смехом закружатся:

« В лесу родилась елочка,
В лесу она росла . . . »

Видно было, как патрулирующий под окнами надзиратель оттонял Прянчикова, пытавшегося прорваться к осажденным зэкам и кричавшего что-то, воздевая руки к небесам.

Видно было, как младшина Наделашин озабоченно просеменил на кухню, потом в штаб, опять на кухню, опять в штаб.

Еще было видно, как, не дав Спиридону дообедать, его

пригнали разгружать елку с грузовика. Он на ходу вытирал усы и перепоясывался.

Младшина, наконец, не пошел, а почти пробежал на кухню и вскоре вывел оттуда двух поварих, несших вдвоем бидон и поварешку. Третья женщина несла за ними стопку глубоких тарелок. Боясь поскользнуться и перебить их, она остановилась. Младшина вернулся и забрал у нее часть.

В комнате возникло оживление победы.

Обед появился в дверях. Тут же, на краю стола, стали разливать суп, зэки брали тарелки и несли в свои углы, на подоконники и на чемоданы. Иные приспосабливались есть стоя, грудью привалясь к столу, не обставленному скамейками.

Младшина с раздатчицами ушли. В комнате наступило то настоящее молчание, которое и всегда должно сопутствовать еде. Мысли были: вот наварный суп, несколько жидковатый, но с ощутимым мясным духом; вот эту ложку, и еще эту с жировыми звездочками и белыми разваренными волокнами я отправляю в себя; теплой влагой она проходит по пищеводу, опускается в желудок — а кровь и мускулы заранее ликуют, предвидя новую силу и новое пополнение своим клеткам.

« Для мяса люди замуж идут, для щей женятся » — вспомнил Нержин пословицу. Он понимал эту пословицу так, что муж, значит, будет добывать мясо, а жена — варить на нем щи. Народ в пословицах не лукавил и не выкорчивал из себя обязательно высоких стремлений. Во всем многотысячном комплексе своих пословиц народ был более откровенен о себе, чем даже Толстой и Достоевский в своих исповедях.

Когда суп подходил к концу, и алюминиевые ложки уже стали заскребать по тарелкам, — кто-то неопределенно протянул:

— Да-а-а...

И из угла отозвались:

— Заготовляйся, братцы !

Некий критикан вставил:

— Со дна черпали, а не густ. Небось, мясо-то себе выловили.

Еще кто-то уныло воскликнул:

— Когда теперь доживем и такого покушать !

Тогда Хоробров стукнул ложкой по своей выеденной тарелке и внятно сказал с уже нарастающим протестом в горле:

— Нет, друзья ! Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой !

Ему не ответили.

Нержин стал стучать и требовать второго.

Тотчас же явился младшина.

— Покушали ? — с приветливой улыбкой оглядел он этапируемых. И убедясь, что на лицах появилось добродушие, вызываемое насыщением, сказал то, чего тюремная опытность подсказала ему не объявлять раньше: — А второго не осталось. Уж и котел моют. Извините.

Нержин оглянулся на зэков, сообразуясь, буянить ли. Но по русской отходчивости все уже остыли.

— А что на второе было ? — пробасил кто-то.

— Рагу, — застенчиво улыбнулся младшина.

Вздохнули.

О третьем как-то и не вспомнили.

За стеной послышалось фырканье автомобильного мотора. Младшину вызвали — и вызволили этим. В коридоре раздался строгий голос полковника Климентьева.

Стали выводить по одному.

Переклички по личным делам не было, потому что свой шарашечный конвой должен был сопровождать зэков до Бутырок и сдавать там. Но — с ч и т а л и. Отсчитывали каждого совершающего столь знакомый и всегда роковой шаг с земли на высокую подножку воронка, низко пригнув голову, чтобы не удариться о железную притолку, скрючившись под тяжестью своих вещей и неловко стукаясь ими о боковые стенки лаза.

Провожавших не было — обеденный перерыв уже кончился, зэков загнали с прогулочного двора в помещение.

Задок воронка подогнали к самому порогу штаба. При посадке, хотя и не было надрывного лая овчарок, царила та теснота, сплоченность и напряженная торопливость конвоя, которая выгодна только конвою, но невольно заражает и зэков, мешая им оглядеться и сообразить свое положение.

Так село их восемнадцать, и ни один не поднял голову попрощаться с высокими спокойными липами, осенявшими их долгие годы в тяжелые и радостные минуты.

А двое, кто изловчились посмотреть — Хоробров и Нержин, взглянули не на липы, а на саму машину сбоку, взглянули со специальной целью выяснить, в какой цвет она окрашена.

И ожидания их оправдались.

Отходили в прошлое времена, когда по улицам шныряли свинцово-серые и черные воронки, наводя ужас на граждан. После войны в чьей-то гениальной голове возникла догадка: конструировать воронки одинаково с продуктовыми машинами, расписывать их снаружи теми же оранжево-голубыми полосами и писать на четырех языках:

Хлеб. Pain. Brot. Bread.

или:

Мясо. Viande. Fleisch. Meat.

И сейчас, садясь в воронок, Нержин улучил сбиться вбок и оттуда прочесть: Meat.

Потом он в свой черед втиснулся в узкую первую и еще более узкую вторую дверцы, прошелся по чьим-то ногам, проволочил чемодан и мешок по чьим-то коленям, и сел.

Внутри этот трехтонный воронок был не б о к с и р о в а н, то есть, не был разделен на десять железных ящиков, в каждый из которых втискивалось только по одному арестанту. Нет, этот воронок был « общего » типа, то есть, предназначен для перевозки не подследственных, а осужденных, что резко увеличивало его живую грузовместительность. В задней части своей — между двумя железными дверьми с маленькими решетками-отдушинами, воронок имел тесный тамбур для конвоя, где, заперев внутренние двери снаружи, а внешние изнутри, и сносясь с шофером и с начальником конвоя через особую слуховую трубу, проложенную в корпусе кузова, — едва помещалось два конвоира, и то поджав ноги. За счет заднего тамбура был выделен лишь один маленький запасный бокс для возможного бунтаря. Все остальное пространство кузова, заключенное в металлическую низкую коробку, была одна общая мышеловка, куда по норме как раз и полагалось втискивать двадцать человек. (Если защелкивать железную дверцу, упираясь в нее четырьмя сапогами, — удавалось впихивать и больше).

Вдоль трех стен этой братской мышеловки тянулась скамья, оставляя мало места посредине. Кому удавалось — садились, но они не были самыми счастливыми: когда воронок забили, им на заклиненные колени, на подвернутые затекающие ноги доставались чужие вещи и люди, и в месиве этом не имело смысла обижаться, извиняться, — а подвинуться или изменить положение нельзя было еще час. Надзиратели поднаперли на дверь и, втолкнув последнего, щелкнули замком.

Но внешней двери тамбура не захлопывали. Вот еще кто-то ступил на заднюю ступеньку, новая тень заслонила из тамбура отдушину-решетку.

— Братцы ! — прозвучал Руськин голос. — Еду в Бутырки на следствие ! Кто тут ? Кого увозят ?

Раздался сразу взрыв голосов — закричали все двадцать зэков, отвечая, и оба надзирателя, чтоб Руська замолчал, и с порога штаба Климентьев, чтоб надзиратели не зевали и не давали заключенным переговариваться.

— Тише, вы . . . ! — послал кто-то в воронке матом.

Стало тихо и слышно, как в тамбуре надзиратели возились, убирая свои ноги, чтобы скорей запихнуть Руську в бокс.

— Кто тебя предал, Руська ? — крикнул Нержин.

— Сиромаха.

— Га-а-ад ! — сразу загудели голоса.

— А сколько вас ? — крикнул Руська.

— Двадцать.

— Кто да кто ? . . .

Но его уже затолкали в бокс и заперли.

— Не робей, Руська ! — кричали ему. Встретимся в лагере!

Еще падало внутрь воронка несколько света, пока открыта была внешняя дверь, но вот захлопнулась и она, головы конвоиров преградили последний неверный поток света через решетки двух дверей, затарахтел мотор, машина дрогнула, тронулась — и теперь, при раскачке, только мерцающие отсветы иногда перебегали по лицам зэков.

Этот короткий перекрик из камеры в камеру, эта жаркая искра, проскакивающая порой между камнями и железами, всегда чрезвычайно будоражит арестантов.

Немного проехали — и воронок остановился. Ясно, что это была вахта.

— Руська ! — крикнул один зэк. — А бьют ?

Не сразу и глухо донеслось в ответ:

— Бьют . . .

— Да драть их в лоб Шишкина-Мышкина ! — закричал Нержин. — Не сдавайся, Руська !

И снова закричало несколько голосов — и все смешалось.

Опять тронулись, проезжая вахту, потом всех резко качнуло вправо — это означало поворот налево, на шоссе.

При этом повороте очень тесно сплотило плечи Герасимовича и Нержина. Они посмотрели друг на друга, пытаясь различить в полутьме. Их сплачивало уже нечто большее, чем теснота воронка.

Илья Хоробров чуть прикивывая, говорил в темноте и скученности.

— Ничего, ребята, не жалейте, что уехали. Разве это жизнь — на шарашке ? По коридору идешь — на Сиромаху наступишь. Каждый пятый — стукач, не успеешь в уборной звук издать — сейчас куму известно. Воскресений уже два года нет, сволочи. Двенадцать часов рабочий день ! За двадцать грамм маслица все мозги отдай. Переписку с домом запретили, драть их вперегреб. И — работай ? Да это ад какой-то !

Хоробров смолк, переполненный негодованием.

В наступившей тишине, при моторе, ровно работающем по асфальту, раздался чеканный ответ Нержина:

— Нет, Илья Терентьич, это не ад. Это — не ад ! В ад мы едем. В ад мы возвращаемся. А шарашка — высший, лучший, первый круг ада. Это — почти рай...

Он не стал далее говорить, почувствовав, что — не нужно. Все ведь знали, что ожидало их несравненно худшее, чем шарашка. Все знали, что из лагеря шарашка припомнится золотым сном. Но сейчас для бодрости и сознания правоты надо было ругать шарашку, чтоб ни у кого не оставалось сожаления, чтоб никто не упрекал себя в опрометчивом шаге.

А Хоробров настаивал:

— Нет, ребята, — лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой.

Прислушиваясь к ходу машины, зэки смолкли.

Да, их ожидала тайга и тундра, полюс холода Ой-Мякоя и медные копи Джезказгана. Их ожидала опять кирка и тачка, голодная пайка сырого хлеба, больница, смерть. Их ожидало только худшее.

Но в душах их был мир.

Ими владело бесстрашие людей, утерявших в с е до конца, — бесстрашие, достающееся трудно, но прочно.

Швыряясь внутри сгруженными стиснутыми телами, — веселая оранжево-голубая машина шла уже улицами, миновала один из вокзалов и остановилась на перекрестке. На этом скрещении светофором был задержан темнобордовый лакированный автомобиль корреспондента газеты « Либерасьон », ехавшего на стадион « Динамо », на хоккейный матч. Корреспондент прочел на машине-фургоне:

Мясо. Viande. Fleisch. Meat.

Его память отметила сегодня в разных частях Москвы уже не одну такую машину. Он достал блокнот и написал темнобордовой ручкой:

« На улицах Москвы то и дело встречаются авто-фургоны с продуктами, очень опрятные, санитарно-безупречные. Нельзя не признать снабжение столицы превосходным ».

1955 - 1964

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 — А кто вы такой ? 7
2 — Идея Данте 12
3 — Протестантское Рождество 16
4 — Хьюги-буги 21
5 — Мирный быт 27
6 — Женское сердце 33
7 — Остановись, мгновенье ! 39
8 — Пятого года упряжки 44
9 — Розенкрейцеры 50
10 — Зачарованный замок 57
11 — Семерка 64
12 — И надо было солгать ! 72
13 — Синий свет 77
14 — Девушку ! Девушку ! 82
15 — Тройка лгунов 88
16 — Насчет кипятка 97
17 — Сивка-бурка 102
18 — Юбиляр 106
19 — Язык — орудие производства 116
20 — Верните нам казнь, Иосиф Виссарионович ! 123
21 — Старость 137
22 — Бездна зовет назад 142
23 — Церковь Никиты Мученика 148
24 — Пилка дров 157
25 — Работа младшины 170
26 — Работа подполковника 178
27 — Недоуменный робот 186
28 — Как штопать носки 192
29 — Взмывая к потолку 202
30 — Штрафные палочки 210
31 — Звуковиды 219
32 — Поцелуи запрещаются 226
33 — Фоноскопия 230
34 — Немой набат 235
35 — Изменяй мне ! 243
36 — Красиво сказать — в тайгу ! 248
37 — Свидание 255
38 — Еще одно 263
39 — И у молодых 269
40 — Женщина мыла лестницу 276
41 — Псы империализма 284
42 — Замок святого Грааля 293
43 — Двойник 303
44 — Жизнь — не роман 309
45 — Старая дева 322
46 — Огонь и сено 331
47 — За воскресение мертвых ! 337
48 — Ковчег 342

49 — Хохма 345
50 — Князь-предатель 352
51 — Кончая двадцатый 360
52 — Арестантские мелочи 365
53 — Лицейский стол 372
54 — Улыбка Будды 382
55 — Но и совесть дается один только раз ! 394
56 — Званый ужин 404
57 — Два зятя 413
58 — Зубр 422
59 — Первыми вступали в города 431
60 — Поединок не по правилам 439
61 — Хождение в народ 448
62 — Спиридон 452
63 — Критерий Спиридона 461
64 — Сжимая кулаки 467
65 — Дотти 472
66 — Булатной сабли острый клинок 475
67 — Гражданские храмы 483
68 — Космополит безродный 488
69 — Рассвет понедельника 494
70 — Бочка во дворе 504
71 — Любимая профессия 507
72 — Освобожденный секретарь 515
73 — Два инженера 524
74 — Сто сорок семь рублей 534
75 — Воспитание оптимизма 544
76 — Король стукачей 550
77 — Насчет расстрелять 554
78 — Ученик Эпикура 563
79 — Не по моей специальности 569
80 — У истоков науки 577
81 — Нет, не тебя ! 586
82 — Да оставит надежду входящий ! 597
83 — Хранить вечно 607
84 — Второе дыхание 622
85 — Утро стрелецкой казни 636
86 — Прощай, шарашка ! 641
87 — Мясо 654

A. ROSSEELS PRINTING Cº
10, rue du Canal — Louvain
☎ (016) 219.62 — Belgium